

EXCEPT.

34/Roc-Pyc)A

с 16.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

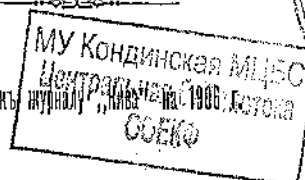
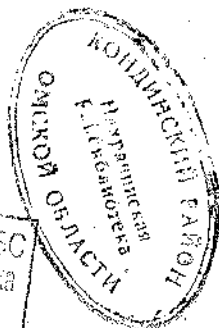
[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ.

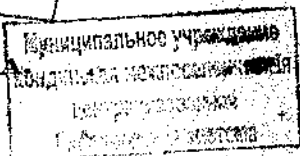
-64667-7-

Съ «Материалами для биографии М. Е. Салтыкова»,  
К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Издание А. Ф. МАРКСА  
1906.



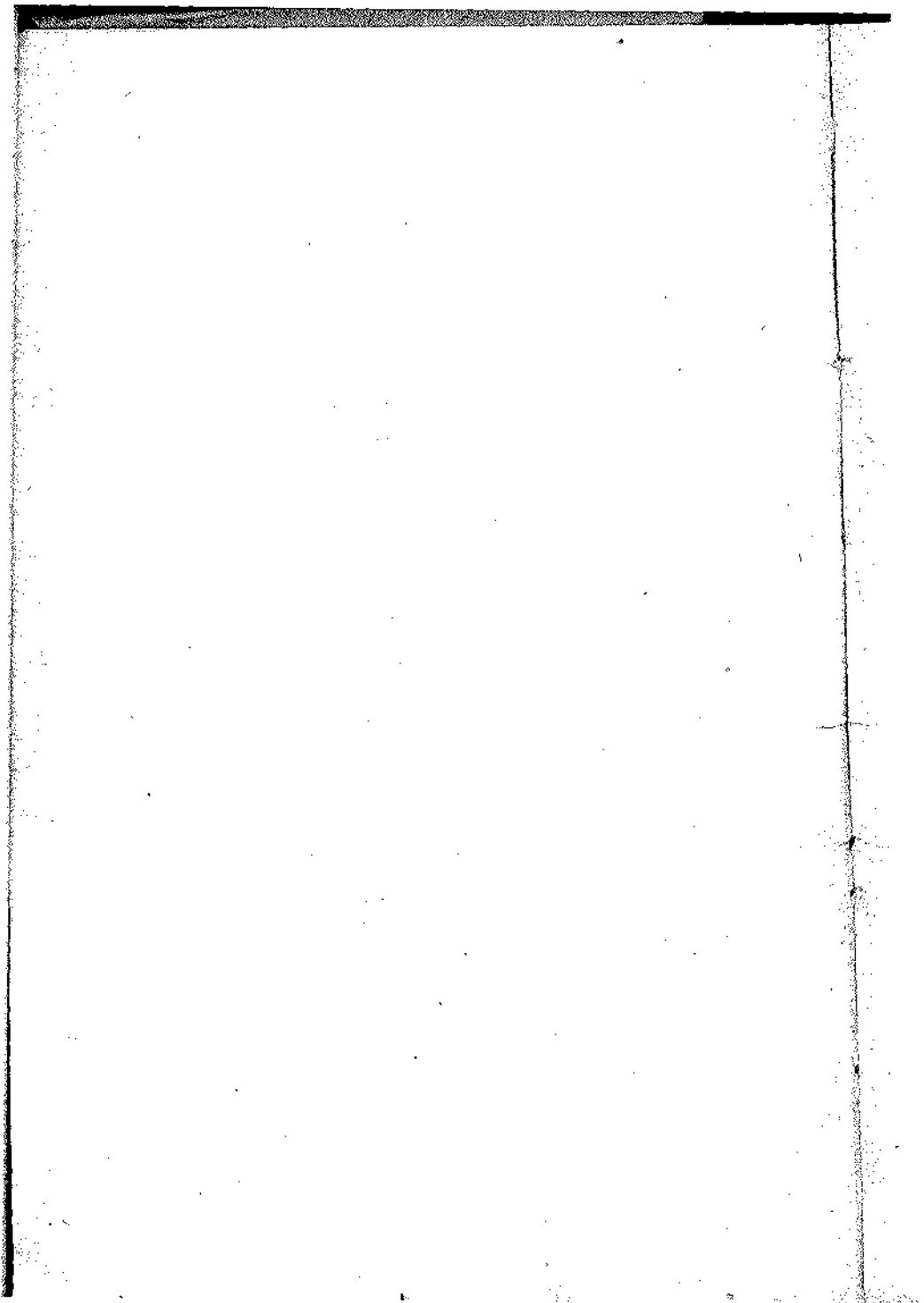


Артистическое заведение А. Ф. НАРКСА. Иамляновскій просп., 23.



# ПЕСТРЫЯ ПИСЬМА.

(1884—1886 гг.).





## Письмо первое.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я совершенно неожиданно лишился употребленія языка. Не то чтобъ даръ слова совсѣмъ оставилъ меня, но языкъ мой сдѣлался способенъ произносить только служительскія слова: «чего изволите?» «какъ прикажете», «не погубите!»—вотъ и все. А прежде я говаривалъ довольно-таки смѣло. Напримѣръ: «коли я ничего не сдѣлалъ, стало-быть и бояться мнѣ нечего»; или: «коли я никого не трогаю, стало-быть и меня никто не тронетъ»... И вдругъ словно съ цѣпи сорвался: «не погубите!»

Сначала я испугался. Ежели простое физическое косноязычье можетъ отравить человѣку жизнь, то еще болѣе отравляющихъ элементовъ заключаетъ въ себѣ косноязычье нравственное. Со страхомъ спрашивалъ я себя: ужели изреченія, въ родѣ: «ежели я ничего не сдѣлалъ» и т. д., заключаютъ въ себѣ такой угрожающій смыслъ, для прекращенія котораго требовались бы натискъ и быстрота? Но ежели это такъ, то кто же можетъ поручиться, что со временемъ и такое изреченіе, какъ «ваше превосходительство, не погубите!»—не будетъ сочтено равносильнымъ призыву къ оружію?

Очевидно, это было новое и совсѣмъ особенное проявленіе внезапности, котораго я еще не испыталъ.

Внезапность не составляетъ для меня новости. Я родился на лонѣ ея, воспитывался подъ ея сѣнью и до такой степени съ ней освоился, что даже никогда не спрашивалъ себя, ушибетъ она меня или помилуетъ. Но я долженъ сказать, что до послѣдняго времени внезапность имѣла несовершенный, переходный характеръ, и это въ значительной мѣрѣ помогало уживаться съ нею. Внезапностей было много, и онѣ постоянно другъ друга побивали. Не-

легко было ориентироваться въ этомъ разнообразіи смѣняющихся внезапноостей, но при извѣстномъ навыкѣ все-таки можно было нѣчто угадать. Это называлось: «ловить моментъ». Поймалъ моментъ — пользуйся! Не поймалъ — пейши на себя! Игра была не весьма нравственная, но настолько замысловатая, что могла заинтересовать. Нылъ эта переходная форма, очевидно, очертила все свое содержаніе. Внезапность окончательно отказалась отъ экскурсій въ сферу случайныхъ вѣяній, которыя своею противорѣчивостью подрывали ее; она сдѣлалась единою, неизмѣнною, сама собѣя довлѣющею. «Моменты» упразднены; ловить больше нечего.

Но это-то именно и пугало меня. Перспектива внезапнаго пріуроченія къ служительскимъ словамъ, безъ надежды, что придетъ другая внезапноость и разрушитъ чары колдовства—эта перспектива казалась чересчуръ ужъ суровою. Неясная тревога сжимала сердце мучительными предчувствіями; душа тосковала, мысль безнадежно искала просвѣта...

Однако прошелъ мѣсяць, прошелъ другой — и пелена сама собою спала съ моихъ глазъ. Недоразумѣнія исчезли, тревога утихла, а положеніе до такой степени выдвинулось, что въ какую сторону ни оглянись—вездѣ лучше не надо быть.

Прежде всего я привыкъ, или, говоря точнѣе, принялся. Нельзя было не приняться, потому что кругомъ вся атмосфера пропахла прочными служительскими словами. Я не утверждаю, что эти запахи сдѣлались мнѣ достолюбезными, но они такой густой, непроницаемой массой заполнили весь мой домашній обиходъ, что незамѣтно для меня самого всѣ факторы моей жизнедѣятельности сами начали работать примѣнительно къ новой атмосферѣ и подчиняясь ей давленію.

Я очень хорошо знаю, что привычка играть въ жизни человѣка роль по преимуществу бессознательную и что, слѣдовательно, она, въ большинствѣ случаевъ, служитъ источникомъ безчисленныхъ недомыслий и даже безнравственностей; но вѣдь для того, чтобъ чувствовать себя вполне удобно въ атмосферѣ служительскихъ словъ, именно это и нужно.

Съ безнравственностью нельзя ужиться иначе, какъ съ помощью безнравственности же, съ безмысліемъ — иначе, какъ при помощи безмыслия.

Нужно такое счастливое стеченіе обстоятельствъ, которое отвѣло бы у человѣка способность отличать добро отъ зла и заглушило бы въ немъ всякое представленіе объ отвѣтственности. Вотъ эту-то именно задачу и выполняетъ привычка. И при этомъ она выполняетъ ее совершеннѣе и съ несравненно меньшей суровостью, нежели другіе факторы, въ томъ же смыслѣ споспѣшествующіе, какъ, напримѣръ, трусость, измѣна, предательство и т. п.

И трусость, и измѣна, и предательство предполагаютъ извѣстную долю насильства и боли, и—что всего важнѣе—ни мало не обезпечиваютъ отъ мучительныхъ пробужденій совѣсти, тогда какъ привычка обвиваетъ человѣка бархатной рукою и бережно и ласково погружаетъ его въ мягкое ложе безпечальнаго служительскаго житія...

Любо дремать, зарывшись подъ ушны въ подушки; любо сознавать, что эти подушки представляютъ своего рода твердь. Забравшись въ нее, человѣкъ не только освобождается отъ обязанности относиться критически къ самому себѣ и къ окружающей средѣ, но только становится на недостижимую высоту патентованной благонамѣренности, но и дѣлается безответственнымъ передъ судомъ своей собственной совѣсти. Ибо о какомъ же судѣ совѣсти можетъ быть рѣчь, коль скоро сама совѣсть, вмѣстѣ со всѣми прочими опредѣленіями человѣческаго существа, потонула въ омутѣ привычки?..

Но, кромѣ привычки, въ дѣлѣ умиротворенія мнѣ много помогъ и опытъ. Опытъ—это, такъ сказать, консолидированный сводъ привычекъ прошлаго. Всѣ уступки, компромиссы, соглашенія, которыми такъ богата исторія личная и общая, всѣ малодунія, обходы и каверзы—все это складывается, по мѣрѣ осуществленія, въ кучу, надпись на которой гласитъ: опытъ или мудрость вѣковъ. Дѣйствія героическія, подвиги самоотверженія, факты, свидѣтельствующіе о безавѣтной преданности идеѣ, — все это не болѣе какъ красивыя безумства, отъ которыхъ никакихъ подспорій въ жизни ожидать нельзя. Правда, что эти безумства освѣщаютъ тьму будущаго, и что плодами ихъ несомнѣнно воспользуются грядущія поколѣнія; но вѣдь, съ одной стороны, подвижничество необязательно и не всякій можетъ его вмѣстить, а съ другой стороны—какъ еще на эти красивыя безумства поглядѣть: иное, быть-можетъ, полезно, а другое, пожалуй, и неблаго временно. Тогда какъ въ той кучѣ, которая именуется мудростью вѣковъ, за что

ни возьмись—все пользително. Трудность только въ томъ развѣ состоятъ, какъ разобратся въ кучѣ, чтобы вытащить именно ту бирюльку, которая какъ разъ впору. Но, во-первыхъ, всѣ бирюльки болѣе или менѣе впору; а во-вторыхъ, въ данномъ случаѣ изъ затрудненія выручаютъ очень простые пріемы, которые тоже освящены опытомъ, напримеръ: загадъ, навѣкъ, наметка, глазомѣръ...

Итакъ, привычка—приготовила мягкое ложе; опытъ—обставилъ его всевозможными подтвержденіями прошлаго. Тѣ боли, которыя чувствовался вначалѣ, очень скоро утратили свою загучность въ виду цѣлой массы преданій, фактовъ и анекдотовъ, которые въ одинъ голосъ вопіяли, что искони въ основѣ человѣческаго счастья лежали служительскія мысли и служительскія слова. Сущность этихъ мыслей и словъ формулируется кратко: «спасай себя!»—и человекъ, который серьезно посвятилъ себя осуществленію этой задачи и безъ заднихъ мыслей призналъ законность ея, можетъ быть заранѣе увѣренъ, что благополучіе его обезпечено. И—что всего важнѣе—обезпечено безъ особыхъ усилій. Ибо стоитъ только отдать себя во власть исполнѣ современности, и она сама собой устроитъ такую блаженную обстановку, при которой вонисту ничего другого не остается, какъ воскликнуть (не съ мысленными оговорками, какъ бывало иѣкогда, а по сущей совѣсти и отъ полноты душевной): «ежели я ничего не дѣлаю—стало-быть и бояться мнѣ нечего!»

«Ничего не дѣлаю»—это идеаль; но его все-таки не слѣдуетъ понимать буквально. Всмотримся ближе въ его содержаніе, и мы убѣдимся, что онъ вмѣщаетъ безконечное множество разнообразнѣйшихъ и дѣятельнѣйшихъ подробностей. Сегодня поютъ дѣвки въ «Аркадіи», завтра—будутъ пѣть въ «Ливадіи», послѣзавтра—въ Jardin des familles russes. И у всякой дѣвки особыя примѣты, о которыхъ во всѣ концы гласитъ стоустая молва. Сегодня пьянство у Донопа, завтра—у Дюссо, послѣзавтра—у Бореля. Изрѣдка—газетные столбцы, отъ которыхъ несетъ исполнимъ бѣльемъ Чичиковскаго Петрушки...

Вотъ это-то именно и разумѣютъ, когда говорятъ: «ежели я ничего не дѣлаю, стало-быть...»

И совсѣмъ не такъ подла эта жизнь, какъ думаютъ унылые люди. Мудрость вѣковъ самымъ несомнѣннымъ образомъ свидѣтельствуетъ, что съ незапамятныхъ временъ такъ жили люди и не только не считали себя посрамленными,

но даже отъ времени до времени восклицали: «не постыдимся во-вѣки!» Воистину оболъщаютъ себя тѣ, которые думаютъ, что такъ-называемое общество когда-нибудь возобновилось высшими вождельными. Въ сущности, возманились только немногіе, и ужъ, конечно, никто не скажетъ, чтобъ существованіе этихъ немногихъ сколько-нибудь напоминало о благополучіи. Почвенный же и русловый людъ всегда и неизмѣнно имѣлъ въ виду только служительское благополучіе. И онъ былъ по-своему правъ, ибо какая надобность изнывать надъ отыскиваніемъ новыхъ жизненныхъ идеаловъ, рискуя при этомъ прогнѣвить начальство и насмѣшить массу однокорытниковъ, тогда какъ существуютъ идеалы вполне сформулированныя, ни отъ кого не возбраненныя и для всѣхъ однокорытниковъ равно любезныя?

Я знаю, что умные люди все-таки не убѣдятся моими доводами и будутъ продолжать говорить: «стыдно!» Но что такое стыдъ?—спрашиваю я васъ. Предложите этотъ вопросъ любому прихвостню современности, и онъ, не обинуясь, отвѣтитъ: «стыдъ есть вывороченная наизнанку наглость». Или, говоря иными словами: и стыдъ, и наглость—игра словъ, въ которой то или другое выраженіе употребляется глядя по дѣлу. Поэтому, когда до слуха моего доходитъ слово: «стыдъ», то мнѣ всегда кажется, что мимо пролетѣла муха и, никого не обезпокоивъ, исчезла въ пространство.

Итакъ, будемъ благополучны и не постыдимся. Къ этому приглашаютъ насъ привычка и опытъ, а, наконецъ, и разсужденіе... Да хоть и кажется съ перваго взгляда, что въ атмосферѣ служительскихъ словъ для разсужденія нѣтъ мѣста, однако это справедливо лишь отчасти.

Разсужденіе бываетъ большое и среднее (малое, какъ червучуръ обидное, пускай останется въ стороне). Большое разсужденіе въ служительскомъ дѣлѣ не только не имѣетъ приложенія, но даже прямо пренятствуетъ. Собственно говоря, его слѣдуетъ даже предварительно покорить, если хочешь удачно разрѣшить задачу: кто истинно счастливый человѣкъ? Случается, конечно, что и большое разсужденіе можетъ служить источникомъ чистѣйшихъ наслажденій; но тутъ уже предполагаются особенные люди и особенная, способствующая обстановка. Для людей среднихъ и при средней обстановкѣ потребно разсужденіе среднее. Оно одно укажетъ человѣку въ перспективѣ безопасное слу-

жительское счастье, одно поможет примириться съ этимъ счастьемъ и преподастъ средства для его осуществленія.

Это среднее разсужденіе какъ разъ кетати явилось ко мнѣ на помощъ. Оно убѣдило меня, что прежде всего слѣдуетъ обезпечить безопасность процесса своего личнаго существованія. Жажда жизни, независимо отъ всякихъ обстановокъ (дурныхъ или хорошихъ), сама по себѣ столь существенна, что ей вполне естественно подчиняются всѣ другія жизненные стремленія и опредѣленія. Жить надо— вотъ главное, хотя бы слово: «жить» было равносильно выраженію: «маяться». Люди, которые годами изнемогаютъ подъ бременемъ непосильныхъ физическихъ страданій, люди, у которыхъ судьба отняла не только радости, но и самое обыкновенное спокойствіе, — и тѣ омертвѣлыми руками цѣпляются за жизнь и коснѣющимъ языкомъ твердятъ: «жизнь есть ликованіе». Жизнь — это жестокая неизбежность, и не всякому дано поднять противъ нея знамя бунта. Поэтому самая простая справедливость требуетъ, чтобы существа, надъ которыми вѣчно виситъ этотъ Дамокловъ мечъ, имѣли, по малой мѣрѣ, возможность принимать его удары безъ особеннаго изумленія.

Услуги средняго разсужденія въ этомъ случаѣ неоцѣнны. Оно съ необыкновенною ясностью убѣждаетъ, что жизнь обязательна, и затѣмъ указываетъ, для соглашенія съ нею, именно на тѣ средства, которыя въ данную минуту благовременны. Оно не поведетъ въ область эмпирей, заблужденій и риска, а прямо предложитъ оголенную отъ всякихъ экскурсій жизнь, не блестящую и не особенно интересную, но зато общепризнанную и вполне защищенную. Но, главное, оно докажетъ, что все старое, колеблющееся, дававшее только кажущіся просторы, исчезло навсегда! Да-съ, навсегда-съ. Что корабли сожжены и, слѣдовательно, ничего другого не остается, какъ совсѣмъ забыть о томъ, что они когда-то были . . . . .

Такимъ образомъ, привычка — воспитываетъ и предрасполагаетъ; опытъ — свидѣтельствуетъ и подтверждаетъ; разсужденіе — убѣждаетъ и преподаетъ нужныя средства. Совокупность всѣхъ этихъ функций производитъ въ результатъ — психологическій моментъ.

Именно этотъ психологическій моментъ и выручилъ меня въ трудную минуту.

Во-первыхъ, онъ ввелъ меня въ заколдованный кругъ патентованныхъ русскихъ пословиць.

Во-вторыхъ, онъ убѣдилъ меня, что жизнь обязательна, и что сохранить и обезпечить спокойное теченіе ея можно только при помощи приспособленій, исполнѣя отвѣчающихъ требованій современности.

Въ-третьихъ, онъ доказалъ, что какія бы усилія я лично ни употреблялъ, какъ бы широко ни захватывалъ, хотя бы даже «жегъ сердца глаголомъ» (на что, впрочемъ, я малѣйше не претендую)—все-таки изолировать меня можно во всякое время, и никто этого не замѣтитъ.

Таковы три элемента, при помощи которыхъ достигается современное человѣческое благополучіе. Но для того, чтобы послѣднее не оставалось только возможностью, но получило практическое осуществленіе, необходимо, чтобы упомянутые сейчасъ элементы были восприняты не только сознательно но и вполнѣ искренно. «Мало обличать—любить надо»,—проричали когда-то наши «почвенники», тонко инстингуируя, что обличеніе равносильно отсутствію патріотизма и измѣнѣ. Я же, отъ себя, въ превосходной степени прибавлю: «Мало любить; надо, сверхъ того, представить несомнѣнныя таковой любви доказательства». Разъ эти доказательства представлены—можно смѣло гадать въ глаза будущему.

Я не стану говорить здѣсь ни о пользѣ русскихъ пословиць, въ качествѣ жизненнаго люденорья, ни о томъ, что принципъ самосохраненія неконнѣ служить главнымъ регуляторомъ поступковъ и дѣйствій почвеннаго человѣка; все это вещи общезвѣстныя. Но не могу не остановиться нѣсколько подольше на вопросѣ о человѣческой изолированности,—вопросѣ тоже небезызвѣстномъ, по который на нашихъ глазахъ пріобрѣлъ очень рѣшительныя и рѣзкія формы.

Я личнымъ опытомъ основательно и безповоротнo убѣдился, что человѣку, который живетъ и дѣйствуетъ внѣ сферы служительскихъ словъ, ни откуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько разъ, въ теченіе моей долгой трудовой жизни, я взывалъ: гдѣ ты, русскій читатель, откликнись!—и право, даже сію минуту не знаю, гдѣ онъ, этотъ русскій читатель. По временамъ, правда, мнѣ казалось, что гдѣ-то просвѣчиваютъ какіе-то признаки, свидѣтельствующіе о самосознаніи и движеніи впередъ; но чѣмъ глубже я уходилъ въ ту страну терній, которая называется русской литературой, тѣмъ болѣе и болѣе убѣждался въ

безплодности моихъ чаяній. Нѣтъ тебя, любезный читатель! еще не народился ты на Руси! Нѣтъ тебя, нѣтъ и нѣтъ.

Русскій читатель, очевидно, еще полагаетъ, что онъ самъ по себѣ, а литература—сама по себѣ. Что литераторъ пописываетъ, а онъ, читатель, почитываетъ. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между нимъ и литературной профессіей существуетъ извѣстная солидарность,—онъ взглянетъ на васъ удивленными глазами.—Ахъ, нѣтъ!—скажетъ онъ:—лучше я совѣмъ не буду «связываться», чѣмъ добровольно наложу на себя какое-то обязательство!

И какъ скажетъ, такъ и сдѣлаетъ. И когда затѣмъ для писателя наступитъ трудная минута, то читатель въ подворотню прыгнетъ, а писатель увидитъ себя въ пустышѣ, на пространствѣ которой тамъ и сямъ мелькають одинокіе сочувстватели изъ команды слабосильныхъ.

Это не вѣроломство, не предательство и даже, пожалуй, не трусость, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно—безсиліе.

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что у писателя должны быть въ запасѣ свои личныя силы, въ которыхъ онъ обзывается почерпать для себя устойчивость... Да, но какія же это силы, коль скоро самой простой мышеловки достаточно, чтобы обратить ихъ въ прахъ?

Спрашивается теперь: ежели ни изнутри, ни извнѣ нельзя ожидать для жизни защиты—гдѣ же ее искать? . . .

Именно такъ я и поступилъ. Сначала испугался, но затѣмъ очень быстро очнулся и безпрекословно погрузился въ пучину служительскихъ словъ.

Теперь я жуирую. Цѣлое лѣто провелъ въ переѣздахъ изъ Аркадіи въ Ливадію и кончилъ тѣмъ, что получилъ флюсь. Это загнало меня на зимнія квартиры, гдѣ, въ ожиданіи открытія Palais de Cristal, я перехожу отъ Дюссо къ Дюнону и отъ Дюнона къ Борелю. И хотя попрежнему «ничего не дѣлаю», но понимаю, что между прежнимъ моимъ ничегонедѣланіемъ и нынѣшнимъ—цѣлая бездна. Прежнее мое «ничегонедѣланье» означало фырканье, фордыбаченье, форсъ, озорство; нынѣшнее—ровно ничего не означаетъ, но зато пользу приносить. Ибо ни въ Аркадію, ни къ Дюссо, ни въ Palais de Cristal—никуда я не могу придти безъ кошелька; а разъ кошелекъ при мнѣ, я тутъ же воочию вижу, какъ, благодаря ему, кругомъ расцвѣгаетъ промышленность и оживляется торговля.

И я чувствую, какъ довѣріе, которое совѣмъ-было утра-



тить, вновь постепенно ко мнѣ возвращается. И дружественные мнѣ тайные совѣтники (въ теченіе длинной жизни я ихъ цѣлую сотню наловилъ), которые еще такъ недавно при встрѣчахъ обдавали меня холодомъ и говорили притчами, теперь вновь начинаютъ одобрительно кивать въ мою сторону, какъ бы говоря: еще одно усиліе—и... ничего въ волнахъ не будетъ видно!

## Письмо второе.

Такъ какъ вы, вѣроятно, позабыли о происшествіи, которое въ іюль 1883 года взволновало весь петербургскій чиновничій міръ, то постараюсь вкратцѣ возстановить его въ вашей памяти. Пропалъ статскій совѣтникъ Никодимъ Лукичъ Передрягинъ. Жилъ онъ на дачѣ, на Сиверской станціи варшавской желѣзной дороги, и утромъ въ воскресный день пошелъ въ лѣсъ по грибы. Ушелъ и не возвращался. На другой день охотникъ изъ мѣстныхъ крестьянъ нашелъ въ лѣсу трехугольную шляпу и лукошко, до половины наполненное подосиновиками, и представилъ свою находку мѣстному уряднику. Оказалось, что эти вещи принадлежали Передрягину...

Такова голая фабула загадочной драмы, столь неожиданно омрачившей мирное теченіе дачной жизни. Я помню удручающее впечатлѣніе, которое произвело это происшествіе на сиверскихъ дачниковъ. Мѣсто это и сейчасъ довольно дикое. Нѣтъ въ немъ ни Аркадій, ни Ливадій и вообще никакихъ распутствъ, которыми экзаменуетъ себя вступившая въ свои права цивилизація. По всему правому берегу излучистой рѣчки, на далекое пространство тянется сплошной хвойный лѣсъ, и покуда только самая незначительная его часть подверглась захвату подъ дачи. Въ этомъ лѣсу великое изобиліе ягодъ, грибовъ, пернатыхъ и... звѣрей. Звѣрей множество, а ни городскихъ, ни подчасковъ нѣтъ. Одинъ урядникъ на всю палестину—спрашивается: какую онъ можетъ представить защиту? Стало-быть, если даже зайцы составятъ злоумышленное общество съ цѣлью похищенія статскихъ совѣтниковъ, то и они имѣютъ возможность свос мерзкое намѣреніе привести въ исполненіе безпрепятственно. До тѣхъ поръ никто не сознавалъ возможности такой перспективы, по послѣ исчезновенія Передрягина

она представилась до того явною и въ то же время унизительною, что все лѣто прошло въ неописанной тоскѣ. Ночныя прогулки при лунѣ прекратились; дѣвцы перестали ходить на станцію навстрѣчу женихамъ; дѣтямъ позволяли рѣзвиться только въ виду дачныхъ балконовъ, и тутъ же, по какой-то странной ассоціаціи идей, мясникъ началъ поставлять провизію очень сомнительнаго качества. Но когда, въ довершеніе всего, узнали, что у крестьянъ во ржакахъ залегъ бѣглый солдатъ, то наняли по подпискѣ отрядъ казѣкъ, вооружили ихъ дубинами и приказали за восемь желтенькихъ бумажекъ въ мѣсяць защищать жизнь и достояніе дачниковъ, такъ точно, какъ въ томъ передъ страшнымъ судомъ отвѣтъ дать надлежитъ. Но и за всѣмъ тѣмъ, какъ только дождалась половина августа, такъ тотчасъ же всѣ разомъ потонули въ городъ.

Въ Петербургѣ, между чиновниками, перенолохъ оказался еще рѣшительнѣе. Прежде всего вопросъ ставился принципиально: если стали пропадать статскіе совѣтники, то чего же могутъ ожидать совѣтники титулярные и другіе? Очевидно, имъ предстоитъ исчезать моментно, и притомъ безъ всякой обстановки, открыто, на виду у всѣхъ. Влѣзь, напримѣръ, титулярный совѣтникъ въ вагонъ конки—и поминай какъ звали! Или: встрѣтился титулярный совѣтникъ на улицѣ, и только-что вы протянули ему руку—глядь, а его ужъ нѣтъ.

Кто же будетъ дѣла вершать? кто будетъ смазывать и пускать въ ходъ эту машину, которая, подобно громадному головоногу, присасывается ко всему, къ чему ни прикоснется ея всепроникающія щупальцы? Ахъ, господа, господа! куда мы идемъ? гдѣ мы живемъ?

Но помимо принципиальной постановки вопроса, въ чиновническихъ волненіяхъ очень важную роль играла и самая личность пропавшаго статскаго совѣтника. Передрыгина любили, потому что онъ былъ малый на всѣ руки и имѣлъ бойкосъ неро. Когда требовалось мыслить либерально—онъ мыслилъ либерально; когда нужно было мыслить консервативно—онъ мыслилъ консервативно. Однажды онъ, по порученію, написалъ проектъ: «О расширеніи, на случай надобности, области компетенцій», а въ другой разъ, тоже по порученію, написалъ другой проектъ: «Или наоборотъ». А можетъ-быть, и оба проекта разомъ написалъ: какъ вашему превосходительству угодно? Сверхъ того, Никодимъ Лукичъ и въ частной жизни всѣмъ сумѣлъ угодить: былъ

привѣтливъ, гостеприменъ, любилъ угостить. И жена у него была бѣлая и разсыпчатая, и называлась Акулиной Ивановной. Каждое воскресенье утромъ бывали у нихъ пироги, а вечеромъ на шести столахъ играли въ винтъ. На одномъ столѣ—тайные совѣтники, на двухъ—дѣйствительные статскіе, на трехъ—статскіе. Прочіе же чины, собравшись въ гостиной, говорили Акулины Ивановны комплименты. И въ заключеніе: «милости просимъ на дорожку закускы!» Разумѣется, эти *jours fixes* начинались только съ открытіемъ осенняго сезона, такъ что, собственно говоря, исчезновеніе Передрагина до половины сентября было бы, пожалуй, и не очень чувствительно, но кто же можетъ поручиться, что къ сентябрю онъ отищется? Въ виду такой невзгоды кровь застыла въ жилахъ чиновниковъ, и они, позабывъ стыдъ, открыто обвиняли начальство въ бездѣйствіи. Такъ что не было во всемъ Петербургѣ того статскаго совѣтника, который бы, при встрѣчѣ съ другимъ статскимъ совѣтникомъ, не вопіялъ во всеуслышаніе: «куда же мы, однако, идемъ?»—и въ отвѣтъ на этотъ вопль не услышалъ бы: «да, батюшка, идемъ! идемъ, сударь, идемъ».

Съ своей стороны, и публицистъ Скомороховъ не преминулъ подкинуть угольковъ въ разгорѣвшуюся суматоху. Въ длинной передовицѣ: «Куда мы идемъ?» (этотъ вопросъ нынѣ сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ кошмара) онъ доводитъ до свѣдѣній публики о новомъ дерзкомъ подвигѣ враговъ порядка и приписывалъ исчезновеніе Передрагина интригамъ газеты «Чего изволите?». Возникла полемика. Газета «Чего изволите?» на первый разъ отвѣтила довольно игриво. Съ одной стороны, она категорически отрицалась отъ всякаго участія въ столь преступномъ дѣлѣ, но, съ другой стороны, ей видимо было лестно, что на нее взводить именно *такую* напраслину. Стало-быть, и она не лыкомъ шита; стало-быть, и она свою лепту... не въ этомъ дѣлѣ, конечно, но вообще... Это малодушное стремленіе за одинъ разъ поймать двухъ зайцевъ очень ловко подхватила газета «Нюхайте на здоровье!» и, нимало не медля, обострила формулированное Скомороховымъ обвиненіе, снабдивъ его нѣкоторыми ядовитыми выдержками, изъ которыхъ половину, впрочемъ, выдумала сама. Тогда «Чего изволите?» обидѣлась и сказала, что это, наконецъ, подло; а «Нюхайте на здоровье!» отвѣчала: «И я знаю, что подло,—давно ужъ мы все говоримъ, что я подлая,—да вѣдь это къ дѣлу не относится; а вотъ какъ-то вы насчетъ статскаго совѣтника Передрагина отвѣ-

тите? Кто его предательски выкралъ, и гдѣ онъ въ настоящую минуту находится? Ась?»

Словомъ сказать, полемика приняла обычный по обстоятельствамъ времени характеръ и, быть-можетъ, кончилась бы безвременною гибелью газеты «Чего позволите?», если бы Передрягинъ самъ не выступилъ на сцену, чтобы положить предѣлъ безпокойствамъ, возникшимъ по его поводу.

На-дняхъ онъ возвратился на свою квартиру въ Гусевомъ переулкѣ, проживъ въ безвѣстной отлучкѣ ровно годъ и четыре мѣсяца. Судя по его разсказу, исчезновеніе его произошло самымъ естественнымъ образомъ.

Будучи страстнымъ охотникомъ до грибовъ, рано утромъ въ праздничный день онъ отправился въ лѣсъ. Тамъ онъ до такой степени увлекся своей страстью, что незамѣтно углубился въ самую чащу. И вдругъ, въ то самое время, когда его взору предстало цѣлое море разнообразѣйшихъ тайнобрачныхъ, онъ почувствовалъ, что кто-то сильно ударилъ его по плечу. И въ то же время чье-то горячее дыханіе обдало его лицо.

То была медвѣдь. Естественно, Передрягинъ свѣта не взвидѣлъ. Въ одно мгновеніе передъ нимъ пролетѣла вся его жизнь и тутъ же утонула въ какой-то зіяющей безднѣ. Эта бездна знаменовала смерть. Хотя онъ зналъ, что всѣ люди смертны, а слѣдовательно и Каи смертенъ; хотя, сверхъ того, онъ былъ вполне увѣренъ, что его вдовѣ будетъ назначена пенсія внѣ правилъ,—однако мысль о роковомъ концѣ все-таки перѣдко заставляла его вдрагивать. Онъ любилъ начальство, любилъ жену, любилъ пироги и понималъ, что *fallida mors* однимъ прикосновеніемъ своей косы можетъ навсегда обратить въ прахъ и его самого, и предметы его привязанностей. Встрѣтившись теперь со смертью такъ близко, онъ стоялъ какъ окаменѣлый и, ничего не понимая, смотрѣлъ медвѣдю въ глаза. Но прошла минута, другая, и медвѣдь не только не отнималъ у него жизни, но привѣтливо и тихо рычалъ, какъ бы стараясь внушить къ себѣ довѣріе. И въ заключеніе, повернувъ Передрягина лицомъ къ востоку, вполне отчетливо произнесъ: «айда!»

Шли они трое сутокъ сплошнымъ лѣсомъ, и въ теченіе всего времени медвѣдь всядчески покорилъ и оберегалъ своего плѣнника. Питалъ онъ его ягодами и дивнымъ медомъ; но когда Передрягинъ жестами объяснилъ, что этого недостаточно, тотъ сбѣгалъ за десять верстъ въ помѣщичью

усадьбу и украсть съ плиты жаренаго поросенка. Даже спички и папирсы у него за паузой нашлись, такъ что и эта прихоть была предусмотрена и удовлетворена. А для ночлеговъ медвѣдь выбирать моховыя болота и, уложивъ Передрягина на мягкомъ ложѣ, самъ, не смыкаячи очей, караулил его на случай внезапнаго нападешя. Словомъ сказать, приключеніе получило такую комфортабельную обстановку, что, даже ѣдучи въ вагонѣ второго класса, Никодимъ Лукичъ такъ не жуировалъ.

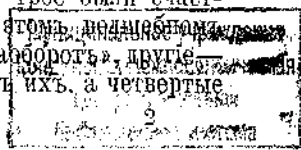
На четвертыя сутки волшебное зрѣлище открылось глазамъ Передрягина. На обширной полянѣ, съ трехъ сторонъ окруженной лѣсомъ, а съ четвертой упирающейся въ озеро, скопилося несмѣтное количество медвѣдей. Повидимому, это былъ народъ веселый, потому что всѣ поголовно находились въ движеніи: рѣзвились, бѣгали взапуски, кувыркались, играли въ чехарду и т. д. Но болѣе всего удивило лѣвняка то, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пылали костры. «Ежели есть костры, — весело сказалъ онъ себѣ: — то должны быть и котлы; а ежели есть котлы, то должна быть и кашница». И сердце его окончательно разыграло, когда онъ увидалъ, что изъ толпы отдѣлились два человѣка въ вицундирахъ и направились къ нему.

О, радость! то были два сослуживца Передрягина, тоже статскіе совѣтники и въ той же мѣрѣ, какъ и онъ, оправдавшіе довѣріе начальства. Оба завѣдывали отдѣленіями: одинъ — Семень Михайловичъ Неослабный — отдѣленіемъ завязыванія узловъ, другой — Петръ Самойлычъ Преступниковъ — отдѣленіемъ развязыванія таковыхъ. Совмѣстное существованіе обоихъ отдѣленій представлялось чрезвычайно полезнымъ, потому что какъ только бывало, Семень Михайловичъ завяжетъ узелокъ, такъ Петръ Самойлычъ сейчасъ его развяжетъ, а потомъ Семень Михайловичъ опять завяжетъ, а Петръ Самойлычъ опять развяжетъ. А покуда они дѣлали свое дѣло, Никодимъ Лукичъ похаживалъ и отмѣчалъ: узелъ первый, узелъ второй и т. д. И когда замѣтокъ накоплялось достаточно, то изъ нихъ составлялась «статистика узловъ, сколько таковыхъ завязано и сколько развязано, а для чего — неизвѣстно». Въ заключеніе же подводился балансъ: приходъ съ расходомъ вѣренъ, и въ кассѣ — ничего.

Всѣ трое жили душа въ душу и всѣ трое были счастливы и къ повышенію достойны. Въ этомъ, однако, мирѣ, гдѣ одни — пишутъ проекты «Или наоборотъ», другіе — завязываютъ узлы, третьи — развязываютъ ихъ, а четвертые

Сочиненіи М. И. Садыкова

Содержательное  
ОБЩЕСТВО



2459

~~2459~~

45-13-6467

64667

радостно потираютъ руки, восклицая: «приходь съ расхо-домъ вѣреть!»—въ этомъ мѣрѣ и Передрягинъ, и Неослаб-ный, и Прелестниковъ не только чувствовали себя какъ рыба въ водѣ, но были серьезно убѣждены, что всякая по-пытка выйти изъ него есть бунтъ и потрясеніе основъ.

Такъ вотъ съ какими ребятами приволь Богъ встрѣтится Передрягину. Оказалось, что Неослабный занималъ дачу на Суйдѣ и былъ выкраденъ три недѣли тому назадъ, ночью прямо съ постели. Прелестниковъ же проводилъ дѣло въ окрестностяхъ Луги и назадъ тому съ мѣсяць взялъ съ прогулки въ глазахъ урядника и увезенъ въ плѣнъ. Но такъ какъ оба они числились въ отпуску, то въ Петер-бургѣ до сихъ поръ ихъ исчезновеніе не было извѣстно.

— Здѣшніе медвѣди совсѣмъ особенные,—сказалъ Неослабный послѣ первыхъ радостныхъ изліяній:—много они нашего брата въ плѣну держатъ. А дѣлъ недѣли тому назадъ даже подковническую вдову Волшебнову, да не одну, а съ племянницей Клеопатринькой, прямо съ поѣзда сняли и привезли.

— Для чего же мы имъ завадобились?—любопытство-валъ Передрягинъ.

— Для реформъ. Народъ молодой; на волѣ жить захо-тѣли—вотъ и скучно неказалось въ скотскомъ видѣ оста-ваться; реформъ захотѣлось. А сами собой совершить не умѣютъ.

— Какія же такія реформы они затѣваютъ.

— Да какъ вамъ сказать... всего хочется! А что именно для нихъ полезнѣе—это ужъ мы должны опредѣлить. Вотъ я—полицію реформирую, а коллега мой—по части юстиціи реформы какъ блины печеть. Помазаньку до покемощку,—можетъ-быть, со временемъ и польза выйдетъ. Три недѣли тому назадъ объ огнѣ въ здѣшнемъ мѣстѣ и не слыхать было, а теперь смотрите, какіе костры горять!

— Но какіе же вы имѣете виды... напимѣръ, по части юстиціи?

— Насчетъ юстиціи мнѣнія въ здѣшнемъ мѣсту раздѣли-лись. Одни говорятъ: «для насъ и палокъ достаточно»; другіе: «надо завести настоящіе суды, какъ на Литейной». Вотъ Петръ Самойлычъ и смекаетъ: палки—само собой, а судъ—само собой. Чтобы всѣмъ было хорошо.

— А по финансовой части они етатскаго совѣтника Че-чатникова залучили,—перебилъ Прелестниковъ:—этотъ пмъ деньги съ картинками печатаетъ. И экономнѣе у нихъ

есть. Этого говорить: прежде всего нужно, чтобы торговый балансъ былъ. Да спрось, да предложеніе, да раздѣленіе труда, да накопленіе богатствъ, а объ распредѣленіи мы въ слѣдующій разъ поговоримъ. Когда все это у васъ будетъ, тогда, молъ, вы будете жить по-благородному!

— Къ сухонутной части оиъ капитана Пѣшедралова приспособили, а къ морской—лейтенанта Жеваккина. Жеваккинъ надѣнетъ мѣшокъ съ козой, а Пѣшедраловъ въ барабанъ бьетъ, а они представляютъ, какъ малые ребята въ полѣ горохъ воруютъ. Это, изволите видѣть, они до непріятеля ползкомъ добравшись, врасплохъ его хотятъ застать.

— И для дамъ у нихъ дѣло нашлось: полковница молодыхъ медвѣдницъ жеманиться учить, а Клеопатринька «науку о женихахъ» преподаеть.

— Ну, а я-то зачѣмъ понадобился?

— Должно полагать, что конституціи писать заставяеть. Давненько они по департаментамъ человѣчка для конституцій ищутъ; сеймъ у нихъ на всякій случай ужъ заведенъ. Сеймъ-то есть, а конституціи нѣтъ—вотъ и выходятъ, что все ихъ рѣшенія какъ будто незаконныя...

Вспомнилъ Иннокимъ Лукинъ свои департаментскіе труды по части конституціи и мысленно сказалъ себѣ: «Ну, это еще не ахти что! Дѣло знакомое, я его въ одинъ часъ кругомъ пальца обведу!» Однако дальнѣйшія свѣдѣнія, полученныя отъ друзей, заставили его задуматься. Во-первыхъ, конституцію предстояло писать на-двое: лѣвую, какъ медвѣди должны поступать, когда на волѣ по лѣсу ходить, и правую, какіе они сны должны видѣть, когда въ берлогу лану сосутъ. Во-вторыхъ, и правительства настоящаго у этихъ новоявленныхъ реформаторовъ не было: ни президента, ни отвѣтственныхъ министровъ. Въ-мѣсто всего этого существовала какая-то самочинная юнта, состоявшая изъ пяти самыхъ проказливыхъ медвѣдей, которые по вопросу о пользѣ конституцій не только разногласили, но каждый, съ обдуманнѣмъ заранѣе намѣреніемъ, нарочно мычать по-своему, въ выку остальныхъ.

Всю эту разногласицу предстояло уладить. Однимъ—вторить въ тонъ, другимъ—ловкимъ образомъ провести, остальныхъ—«обломать». Все эти «штуки» были извѣстны Передрагину, по департаментской практикѣ, какъ свои пять пальцевъ; но онъ уже не скрывалъ отъ себя, что труда предстоитъ много, труда серьезнаго, упорнаго.

Я не буду подробно рассказывать о ходѣ запятій статскаго совѣтника Передрягина. Во-первыхъ, это привело бы меня къ оцѣнкѣ конституцій, что, по моему убѣжденію, неблагоприятно и щекотливо. Во-вторыхъ, сколько мнѣ извѣстно, Никодимъ Лукичъ самъ готовится къ выпуску въ свѣтъ обширное сочиненіе подъ названіемъ: «Годъ въ плѣну въ странѣ Топтыгиныхъ», и я не желалъ бы, чтобы этотъ почтенный трудъ, благодаря моеи нескромности, утратилъ интересъ новизны.

Тѣмъ не менѣе отъ нѣкоторыхъ позаимствованій я все-таки воздержаться не могу.

Прежде всего и долженъ засвидѣтельствовать, что Передрягинъ вель свое дѣло крайне осторожно и умно, и подъ конецъ даже проявилъ не совсемъ обыкновенную твердость души. Какъ человѣку опытному и проникательному, ему неоднократно представлялся вопросъ: что, въ сущности, означаетъ его внезапное, почти волшебное появленіе въ странѣ Топтыгиныхъ? Игра ли это простого случая, или же тутъ слѣдуетъ видѣть косвенную командировку, устроенную съ вѣдома начальства и даже по инициативѣ его? Нерѣдко начальство задается цѣлями, опубликованіе которыхъ считается неблагоприятнымъ, и потому для достиженія ихъ прибѣгаетъ къ косвеннымъ командировкамъ... Ежели это такъ, — а Передрягинъ все больше и больше склонялся къ убѣжденію, что *именно* такъ, — то, очевидно, ему предстоитъ сообщить своимъ дѣйствіямъ такое направленіе, чтобы впоследствии, давая о нихъ отчетъ, онъ могъ ожидать не порицанія, а одобренія своего начальства. Однимъ словомъ, онъ рѣшился дѣйствовать, *не забывая впередъ, но и не отступая назадъ*. Ни тпру, ни ну.

Въ этихъ видахъ, онъ первоначально внесъ въ сеймъ свой проектъ: «Или наоборотъ», какъ уже бывший въ разсмотрѣніи и не приведенный въ дѣйствіе лишь за пеналупленіемъ благопріятной минуты. Впечатлѣніе, произведенное проектомъ, было очень хорошее. Онъ приходился какъ разъ вѣру Топтыгинымъ, такъ что если бы при этомъ еще вѣкнуть членамъ сейма по десятку горяченькихъ, то навѣрное они приняли бы «Передрягинскую конституцію» *par acclamation*. Но тутъ вѣшалась полковница Волшебнова, поддержанная Жевакинымъ, и стала доказывать, что предложеніе Передрягина находится въ прямомъ противорѣчій съ «наукой о женахъ»...

Говоря по совѣсти, никакихъ особенныхъ противорѣчій



не было, и оппозиція Волшебновой имѣла совсѣмъ другую подкладку, весьма неказистую. Дѣло въ томъ, что на первыхъ порахъ Передрягинъ имѣлъ неосторожность повздорить съ Жевакинымъ, а Волшебнова между тѣмъ разсчитывала выдать за послѣдняго Клеопатриньку. Въ сущности, пререканіе вышло изъ-за пустяковъ, такъ что если-бъ Никодимъ Лукичъ могъ предвидѣть послѣдствія, то, конечно, сдержалъ бы себя. Рѣчь шла о предстоящей постройкѣ кораблей. Для Топтыгиныхъ это дѣло было совершенно новое, да, признаться сказать, едва ли и нужное; однако, такъ какъ имъ брюхомъ захотѣлось флотовъ, то Жевакину было поручено представить необходимыя къ осуществленію сего предположенія. Но когда Жевакинскій докладъ поступилъ въ сеймъ, то произошли весьма важныя разногласія. Передрягинъ доказывалъ, что корабли, ради прочности, нужно строить изъ картона съ небольшимъ лишь прибавленіемъ хорошей бумаги (докладной); Жевакинъ же, ища популярности и желая какъ можно скорѣе стать во главѣ флота, утверждалъ, что предлагаемый Передрягинымъ способъ слишкомъ медленъ и обременителенъ для казны, и что на первый разъ можно удовольствоваться кораблями изъ старой афишечной бумаги. «Но будутъ ли таковыя для супостатовъ вредительны?»—не безъ ядовитости спросилъ Передрягинъ и однимъ этимъ вопросомъ сразу «провалилъ» Жевакинскій проектъ...

Эту неудачу Волшебнова приняла къ сердцу и поклялась отомстить. И въ данную минуту исполнила свою клятву. Съ помощью искусныхъ діалектическихъ приѣмовъ и нѣсколькихъ ловкихъ передержекъ она сорвала сеймъ и провалила Передрягинскую затѣю навсегда.

Тогда Никодимъ Лукичъ сдѣлалъ очень ловкій ходъ. До ноября онъ провелъ время въ экивокахъ; но какъ только на землю палъ первый снѣгъ, онъ тотчасъ же изготовилъ «зимнюю конституцію» и внесъ ее въ сеймъ. Конституція заключала только одну статью: «Съ наступленіемъ зимы всякій да заляжетъ въ берлогу и да сосетъ лапу». Разумѣется, интрига и тутъ съ обычною наглостью начала доказывать, что предложенный Передрягинымъ проектъ есть не что иное, какъ подвохъ, пущенный съ цѣлью окончательно похоронить конституціонный вопросъ; но было уже поздно. Берлоги стояли уже совсѣмъ готовыя, и большинство Топтыгиныхъ ходило сонное, мечтая единственно объ удовольствіяхъ предстоящей спячки. Благодаря этому въя-

нѣю, «зимняя конституція» прошла громаднымъ большинствомъ, и принятіе ея ознаменовалось обычными празднествами. Выказали народу нѣсколько бочекъ краденаго вина и наняли хоръ сѣнгерей пѣть пѣсни. Но соловьевъ, за суровымъ временемъ, добыть не могли.

Зима прошла благополучно. Охотничьихъ облавъ въ этой мѣстности не бываетъ, и Топтыгинны наслаждаются такою обеспеченностью, какая и людямъ не всегда достается въ удѣль. Но что всего замѣчательнѣе—и статскіе совѣтники, увидѣвъ себя среди этого соннаго царства, не выдержали.

«Сначала мнѣ сіе удивительнымъ казалось,—пишетъ по этому поводу Передрагинъ:—какъ это живыя существа почти половину года во снѣ проводятъ; но такъ велико было обалдѣе внезапно обступившей насъ тишины, что и мы съ товарищами, какъ ни крѣпились, но недѣли черезъ двѣ тоже вынуждены были общему примѣру послѣдовать. А въ томъ числѣ и госпожа Волшебнова съ родственницею».

Тѣмъ не менѣе, съ наступленіемъ весны, конституціонный вопросъ, силою обстоятельствъ, настойчивѣе прежняго выступилъ на очередь. Топтыгинны вышли изъ берлогъ и не знали, какъ поступать. Ибо зимняя конституція предвидѣла только сосаніе ланы, а такой конституціи, которая бы о прочихъ поступкахъ упоминала, припасено не было. Приступили къ Передрагину; но послѣдній, освѣжившись четырехмѣсячнымъ отдыхомъ, понялъ, что почва, на которую ему предстоитъ вступить, далеко не безопасна. Сверхъ того, онъ вспомнилъ, что, будучи уже однажды призванъ къ отвѣту по поводу проекта о расширеніи компетенціи, онъ и тогда избѣгнулъ ответственности единственно потому, что далъ начальству клятву ни о какихъ компетенціяхъ впредь не помышлять. Сообразивъ все это, онъ принялъ безповоротное рѣшеніе. Безъ запальчивости, но твердо онъ заявилъ, что для существъ, которыя для реформъ отыскиваютъ по департаментамъ статскихъ совѣтниковъ, совершенно достаточно одной зимней конституціи. «Есть народы и почище васъ,—сказалъ онъ:—но и тѣ довольствуются зимней конституціей и подъ снѣгомъ ея благополучно почиваютъ». Словомъ сказать, на все топтыгинскія настоянія отвѣтилъ рѣшительнымъ отказомъ.

Услышавъ это, Топтыгинны совсѣмъ ошалѣли. Прозвошли волненія и даже неистовства въ которыхъ, къ сожалѣнію, не послѣднюю роль играла полковница Волшебнова. Никодимъ Лукничъ пострадалъ

Нужно прочесть въ подлинникъ скорбную повѣсть этихъ страданій, чтобы получить понятіе о томъ запасѣ нравственной чистоты, которымъ долженъ былъ обладать безвѣстный статскій совѣтникъ, вознамѣрившійся лучше пожертвовать своею популярностію, нежели нарушить данную клятву. Но пусть читатель узнаетъ объ этомъ изъ сочиненія самого Передрягина. Я же скажу здѣсь кратко: все лѣто прошло въ поступкахъ самаго безумнаго свойства. Топтыгинъ, не получивъ удовлетворенія въ главномъ своемъ домогательствѣ, и къ прочимъ реформамъ сдѣлался равнодушенъ; они твердили одно: «зачѣмъ намъ суды, зачѣмъ кутузка, зачѣмъ балансъ, коль скоро мы не понимаемъ, по какой причинѣ и на какой предметъ?»

Вообще я долженъ сознаться, что вся эта исторія представлялась бы очень странною и исполненною всякаго рода загадочностей, если бы Передрягину не удалось наконецъ, выиснить, въ чемъ собственно заключался ея секретъ. Съ теченіемъ времени, все болѣе и болѣе всматриваясь въ окружающую его среду, онъ сдѣлалъ открытіе чрезвычайной важности. А именно, убѣдился и неопровержимыми фактами доказать, что существа, державшія его въ плѣну, совсѣмъ не медвѣди, а особаго рода «братушки», которые еще въ древности самолично развелись въ глухой мѣстности Мужскаго уѣзда и доднесъ тамъ жуируютъ, уклоняясь отъ выполненія рекрутской повинности и платежа податей. Многие вѣка они жили въ дикомъ состояніи, не имѣя прочихъ жилищъ, не заводя ни полиціи, ни юстиціи, ни народнаго просвѣщенія и не подавая о себѣ ревизскихъ сказокъ, какъ вдругъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, очнулись безъ повода и даже безъ надобности, сами не зная зачѣмъ. И узнавъ, что въ Петербургѣ есть статскіе совѣтники, которые умѣютъ для братушекъ конституціи писать, стали подыскивать и для себя таковыхъ.

Я не буду перечислять здѣсь факты, приводимые Передрягинимъ въ доказательство справедливости сдѣланныхъ имъ открытій. Но мнѣнію моему, эта справедливость всего лучше подтверждается катастрофою, которою въ концѣ концовъ разрѣшилась эта суматоха.

Извѣстно, что когда жизнь начинаетъ предъавлять требованія, то вмѣстѣ съ тѣмъ въ обществѣ обнаруживается броженіе. Броженіе это преимущественно выражается въ появленіи безчисленнаго множества равномастныхъ политическихъ партій, которыя не пренебрегаютъ никакими сред-

ствами, чтобы подсесть другъ друга. Въ особенности же ожесточенно и даже безчестно дѣйствуетъ въ этихъ случаяхъ партія старыхъ, отживающихъ порядковъ. Составленная изъ людей мелко-самолюбивыхъ, съ потухшими сердцами, воспитанная въ дурныхъ привычкахъ ябеды, своекорыстія и любоначалія, растерявшая, въ теченіе продолжительной и бесплодной житейской суматохи, всякій жизненный смыслъ и все человѣческія побужденія, кромѣ одного: злобы,—эта партія на первыхъ порахъ лицемѣрно подлаживается къ заставшему ее врагплохъ движенію и затѣмъ коварно подстерегаетъ всякое колебаніе, всякій ошибочный шагъ, чтобы броситься на своихъ противниковъ и моментально ихъ задушить.

Такого рода старовѣрческая партія существовала и среди братушекъ Лужскаго уѣзда.

Топтыгинское возрожденіе изумило старовѣровъ своею неожиданностью и испугало крайнею живостью своихъ первыхъ проявленій. Тѣмъ не менѣе они притворились подчинившимися и даже старались выказать самихъ себя въ возможно смирномъ и даже презрѣнномъ видѣ. Но въ дѣйствительности они только выжидали благоприятнаго момента и, постепенно переходя отъ одного коварства къ другому, то подстрекая, то сѣя вражду, вошли, наконецъ, въ секретныя переговоры съ мѣстнымъ урядникомъ.

И—увы!—я не могу скрыть, что душою и руководителемъ этого предательства былъ статскій совѣтникъ Никодимъ Лукичъ Передрягинъ...

Времена созрѣли.

Въ концѣ минувшаго сентября, ровно черезъ четырнадцать мѣсяцевъ послѣ илѣнія Передрягина, въ ту минуту, когда неурядица среди топтыгинскаго племени достигла размѣровъ поистинѣ нетерпимыхъ, до веселой поляны, обитаемой братушками, донеслись звуки приближающагося колокольчика. Топтыгини тотчасъ же догадались, что эти звуки возвѣщаютъ пріѣздъ изъ Луги начальства...

Переборка пошла очень быстро. Зачинщики сейчасъ же были отдѣлены и препровождены; прочіе братушки — тщательно переписаны и внесены въ ревизскія сказки. Затѣмъ имуществу Топтыгинныхъ была произведена опись и оцѣнка, при чемъ открытъ складъ воровскихъ вещей, изъ коихъ нѣкоторыя, какъ, напримѣръ, двадцать дюжинокъ дамскихъ кальсонъ, очевидно, были украдены по недоразумѣнію. Оцѣвекъ былъ и громадный запасъ еловыхъ шишекъ, между

которыми оказалось и нѣсколько геморроидальныхъ. Этотъ плодъ многолѣтняго труда цѣлаго племени былъ опечатанъ и сданъ подъ расписку старѣйшинѣ, съ тѣмъ, чтобы впоследствии найти для него сбытъ на иностранныхъ рынкахъ. Что касается до статскихъ совѣтниковъ и прочихъ инструкторовъ, то ихъ съ первымъ же поѣздомъ отправили въ Петербургъ для распредѣленія по подлежащимъ вѣдомствамъ. И въ заключеніе, съ полковницей и ея родственницей было поступлено по произволению.

Замѣчательно, что при этой переборкѣ всего больше пострадали вожаки изъ партіи старовѣровъ. Хотя нельзя было отрицать, что казенный интересъ, столь продолжительное время поруганный, лишь благодаря ихъ рвенію, вступилъ, наконецъ, въ свои права, но, съ другой стороны, чувство справедливости убѣждало, что старовѣры дѣйствовали въ этомъ случаѣ не столько за совѣсть, сколько за страхъ. Въ сущности, вѣдь они-то, по преимуществу, и поддерживали въ теченіе столѣтій тотъ порядокъ вещей, который помогалъ Топтыгинымъ уклоняться отъ рекрутства и отъ платежа податей. Стало-быть, совѣмъ не усердіе, а только злоба, вызванная утратой привилегированнаго положенія, сдѣлала ихъ поборниками казеннаго интереса.

— Сегодня вы усердіе и покорность выказываете,—сказалъ имъ урядникъ Справедливый, на котораго были возложены всѣ труды по воссоединенію заблудшихъ братушекъ:—а завтра вы опять начнете кляузничать и отвиливать отъ узаконенныхъ властей!

Однимъ словомъ, воздаяніе было полное и справедливое. А черезъ мѣсяцъ къ братушкамъ была проведена столбовая дорога, и на каждую берлогу выданъ отдѣльный окладной листъ. Такъ что въ настоящее время ни урядникъ, ни сборщикъ податей уже не встрѣчаютъ больше препятствій при исполненіи своихъ обязанностей.

И живутъ-себѣ Топтыгины какъ у Христа за пазушкой. Смирно, благородно, безъ конституцій.

Что же стало съ Передригинымъ? получилъ ли онъ за свою твердость соотвѣтственную награду? — спросятъ меня читатели.

Какъ это ни прискорбно, но на послѣдній вопросъ я могу отвѣтить только отрицательно. Почтенѣйшій Никодимъ Луквичъ не только не получилъ награды, но даже вынужденъ былъ подать въ отставку.

Причиною всему было слово: «конституція».

Хотя и Прелестниковъ, и Неослабный, по совѣсти, засвидѣтельствовали о неуклонной борьбѣ Передрягина съ конституціоналистами, но они не могли скрыть, что въ первое время своего плѣна Никодимъ Лукичъ довольно таки ходко пошелъ навстрѣчу толтыгинскимъ затѣямъ, и что во всякомъ случаѣ онъ, а не кто другой, былъ авторомъ пресловутой «внѣшней конституціи», которая на цѣлыхъ полгода отдала раскрытіе злонамѣренныхъ укрывательствъ, грозившихъ казнѣ безвременнымъ оскудѣніемъ.

Разумѣется, распоряженіе не замедлило.

Теперь Передрягинъ скромно живетъ съ своею Акулиной Ивановной и довольствуется обществомъ титularныхъ совѣтниковъ. Статскіе совѣтники его опасаются; дѣйствительные статскіе совѣтники хотя и не выказываютъ явной боязни, но дѣйствуютъ на-двое. Что же касается тайныхъ совѣтниковъ, то они просто-на-просто дразнятся: «конституціонализмъ! конституціонализмъ!»

Тѣмъ не менѣе Передрягинъ не унываетъ и даже, повидимому, совсѣмъ примирился съ своимъ новымъ званіемъ. На-дняхъ я его встрѣтилъ идущимъ въ контору «Полицейскихъ Вѣдомостей», куда онъ несъ, для опубликованія, объявленіе. Объявленіе это гласило:

### **НОВОСТИ СТАТСКІЙ СОВѢТНИКЪ ПЕРЕДРЯГИНЪ!!!**

(Знаменская, Гусевъ переулокъ, 29).

Подготавливаетъ КОНСТИТУЦИИ для всѣхъ странъ и во всѣхъ смыслахъ. Проектируетъ реформы судебныя, земскія и иныя, а равно ходатайствуетъ объ упраздненіи таковыхъ. Имѣетъ аттестаты. Вознагражденіе умѣренное. Согласенъ въ отъѣздъ.

И вы увидите, что объявленіе это, чего добраго, возымѣетъ дѣйствіе, и Передрягинъ получитъ заказъ.

### **Письмо третье.**

Чаще и чаще приходится слышать, что жить становится скучно и тяжело. И нельзя сказать, чтобы эти сѣтованія были безосновательны. Не въ смыслъ сокращенія суммы такъ-называемыхъ развлеченій—ихъ даже черезчуръ достаточно—и не въ смыслъ увеличивающейся съ каждымъ

днемъ суммы утратъ и несбывшихся надеждъ, а просто потому, что понять ничего нельзя. Самыя противорѣчивыя теченія до такой степени перепутались и загромодили пути, что человѣкъ чувствуетъ себя какъ бы въ застѣнкѣ, въ которомъ, вдобавокъ, его ударило по теменн. Онъ измученъ не столько реальностью настигающихъ его золъ, сколько бесплодностью своихъ мечтаній и сознаниемъ, что жизненный процессъ хотя и не прекратился, но въ то же время утерялъ творческую силу. Жизнь утонула въ массѣ подробностей, изъ которыхъ каждая устраивается сама по себѣ, внѣ всякаго соотвѣтствія съ какой бы то ни было руководящей идеей. Неоткуда взяться этой идее, неоткуда и начать. Прощедисе — несостоятельно; будущее — загромождено.

Я знаю, что нѣтъ недостатка въ попыткахъ разобраться въ удручающихъ жизнь противорѣчяхъ, но, говоря по совѣсти, эти попытки не только ничего не объясняютъ, но даже еще больше запутываютъ пониманіе предстоящихъ задачъ. Всѣ онѣ, какъ бы ни были разнообразны ихъ формы и клейма, свидѣтельствуютъ только объ ощущеніи боли и о томъ, что это ощущеніе въ одинаковой мѣрѣ присуще всѣмъ, которые не однимъ прозябаніемъ, но и работою мысли принимаютъ участіе въ совершающемся жизненномъ процессѣ. Всѣмъ присуще, — начиная отъ самыхъ ядовитыхъ и нагло-торжествующихъ и кончая самыми наивными и пригнетенными.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ выражаются эти попытки? Какія даютъ онѣ разрѣшенія, какія открываютъ перспективы безнадежно-матущейся массѣ замученныхъ и недоумѣвающихъ людей? Чтобы отвѣтить на эти вопросы, достаточно, не заходя далеко, остановиться на современной русской публицистикѣ.

Съ одной стороны, раздаются голоса, изрыгающіе проклятія, призывающіе къ ябедѣ, человѣконеапатриотичеству, междоусобию. Нельзя, конечно, отрицать, что эта проповѣдь имѣетъ смыслъ вполне опредѣленный, и что она даже производитъ массу частнаго зла; но самая безсодержательность ея отправныхъ пунктовъ уже свидѣтельствуетъ о ея творческомъ безсиліи. Не проклятіями исправляется жизнь и не человѣконеапатриотичествомъ насаждается миръ и благоволеніе въ сердцахъ — этого самыя закоснѣлыя личности не могутъ не понимать. Стало-быть, если онѣ упорствуютъ въ человѣконеапатриотичествѣ, то не потому, чтобы вѣрили

въ зидительныя свойства его, а потому лишь, что проклятія представляютъ своеобразную формулу, въ которую выливается общій всей современности безсильный вопль противъ массы недоулокъ, недоумокъ и встрѣчныхъ теченій. Но при этомъ очень возможно и то, что проповѣдь ненависти, благодаря сложившимся обстоятельствамъ, сдѣлалась и небезвыгоднымъ ремесломъ...

Съ другой стороны, въ отвѣтъ кляузъ, слышатся голоса наивныхъ, которые тоже чего-то ищутъ и нѣчто стараются разъяснить. Но, въ сущности, они не разъясняютъ, но лишь уклоняются и оправдываются. Положеніе, понестіи, уни- зительное, хотя, по обстоятельствамъ, совершенно понятное. Существуетъ нѣкоторая загадочная подкладка въ спорахъ, касающихся современности, — подкладка, благодаря которой одна сторона вступать въ состязаніе заранѣе торжествующею, а другая — заранѣе виноватою, хотя и не знаетъ за собой ни одного факта, на который могло бы опереться обвиненіе. Ни для кого не тайна, что въ современныхъ полемикахъ рѣчь идетъ совсѣмъ не о вопросахъ, которые ставятъ жизнь, а о чемъ-то постороннемъ, чему вполнѣ произвольно присвоится названіе «образа мыслей». И такъ какъ «правильный» образъ мыслей сдѣлался какъ бы монополіей кляузы, то понятно, что противная сторона прежде всего обязывается облить себя передъ лицомъ кляузы и только уже по выполненіи этого считаетъ себя вправѣ выложить, въ формѣ рискованнаго предположенія, ту скромную крупинку истины, какая имѣется въ запасѣ. Или, говоря другими словами, чтобы пустить эту крупинку въ обращеніе, необходимо предварительно надѣть Петрушкины (Чичиковскаго Петрушки) порты и уже въ этомъ видѣ дерзать. Спрашивается: какихъ результатовъ можетъ достигнуть разъясненіе, обставленное такими условиями?

Какъ плодъ недоулокъ и недоумокъ, появился на сцену «кризисы». Ни о какихъ кризисахъ въ старые годы не слыхивали, а тутъ вдругъ повалило со всѣхъ сторонъ. То слѣбный кризисъ, то фабричный, то промышленный, то желѣзнодорожный, наконецъ, денежный, торговый, сахарный, нефтяной, даже пшеничный. Не говоря ужъ о кризисѣ совѣсти, который, притомъ, никому жить не мѣшаетъ. И, очевидно, этотъ новый бичъ — не выдумка такъ-называемыхъ отрицателей и потрясателей, а самая несомнѣнная правда, потому что сами оракулы современности (они же изрыгатели проклятіи) только о кризисахъ



и говорятъ. Всѣ, безъ различія партій, на этой почвѣ сошлись; всѣ въ одинъ голосъ вопіютъ: «кризисы! еще кризисы! нѣтъ отбою отъ кризисовъ!» И не только вопіютъ, но даже во всѣ зараженныя мѣста пальцемъ тычутъ (вотъ, дескать, гдѣ, и вотъ, и вотъ!), а ноцѣленія все-таки преподать не уміютъ.

Это напоминаетъ мнѣ провинціалку-барыню, которую я въ старые годы знавалъ и которая тоже непрерывно страдала кризисами. Всѣ доктора, къ кому она ни обращалась, въ одинъ голосъ говорили: «Это, сударыня, кризисы!»—но затѣмъ всѣ же, получивъ трехрублевку за визитъ, считали свою задачу выполненною. Да и что другое могли сказать убогіе провинціальные эмпирики, коль скоро и сами они (дѣло происходило въ сороковыхъ годахъ, въ одной изъ самыхъ глухихъ провинцій) никакихъ «средствицъ», кромѣ гофманскихъ капель, бобковой мази да липоваго цвѣта, не знали.

— У кого же вы теперь лѣчитесь, Любовь Ивановна?—спросилъ я однажды, заставъ ее удрученною какимъ-то совсемъ новымъ кризисомъ.

— Да что, голубчикъ, все перепробовала: и лѣкарей, и захарей, и колдуновъ — нѣтъ мнѣ облегченія! Теперь... оборотень лѣчитъ!

— Какъ «оборотень»?

— Какіе бываютъ оборотни! Ни-то человекъ, ни-то хворонья. Наговорили мнѣ о немъ съ три-короба; сказывали, будто бы духъ отъ него здоровый... Да врядъ ли. Чавкаеть... ну, роется... воняетъ... это такъ! А чтобы онъ настоящимъ манеромъ облегчить могъ—не вѣрю!

Хорошо, что впоследствии природа Любови Ивановны взяла свое, и добрая женщина освободилась—таки отъ угнетающихъ ее кризисовъ; но скажите по совѣти, до какой безнадежности она должна была дойти, чтобы довѣрить свою жизнь... оборотню!

Но что, всего знаменательнѣе — указывая на кризисы, люди всѣхъ партій непремѣнно приплещаютъ къ нимъ реформы. Всѣ въ одно слово утверждаютъ, что именно въ реформахъ и заключается весь секретъ. Только одни прибавляютъ: «не дореформили!»—а другіе: «перереформили!»

Я не буду останавливаться на людяхъ первой разновидности. Голоса ихъ имѣютъ столь же мало значенія въ общемъ политиканствующемъ концертѣ, какъ и воркотня того «слуги», который на театральной сценѣ, при подня-

ти занавѣса, мететъ комнату (ворчить, а все-таки мететь) и съ негодованіемъ сообщаетъ, что ужъ двѣнадцатый часъ на исходѣ, а госиода все еще почиваютъ... И вдругъ справа: «Иванъ! одѣваться!»—сѣва: «Иванъ! чаю!»—изъ глубины: «Иванъ! принесли ли афиши?» И мчится Иванъ, какъ угорѣлый, не только позабывъ о недавней воркотнѣ, но весь, съ верхняго конца до нижняго, проникнутый одною мыслью, что ежели эту воркотню подслушала баринъ и ударить его за нее по затылку?

Но люди второй разновидности, тѣ, которые на самое возникновеніе реформаторской дѣятельности (независимо отъ ея содержанія) смотрятъ какъ на катастрофу, породившую всѣ дальнѣйшія злосчастія, эти люди заслуживаютъ того, чтобы побесѣдовать о нихъ подробнѣе, ибо въ настоящее время они — авторитетъ. Каждый день они караютъ: погибнемъ! погибнемъ! погибнемъ! — такъ что отъ однихъ этихъ наскудныхъ проклинаній становится жутко жить. Вся улица гремитъ ихъ угрозами; всѣ столбцы пронахлн ихъ мудростью, и кто знаетъ, далеко ли время, когда, быть-можетъ, и канцеляристы проникнутся убѣжденіемъ, что кляуза и судаченье представляютъ наилучшее средство: если не для того, чтобы выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, то, во крайней мѣрѣ, для того, чтобы хоть временно «отшукаться» отъ нихъ.

Я охотно допускаю, что совершившіяся реформы не для всѣхъ пріятны, и что, слѣдовательно, единомыслія въ ихъ оцѣнкѣ ожидать нельзя. Но для того, чтобы съ успѣхомъ вести по ихъ поводу упразднительную пропаганду, недостаточно ненавидѣть, проклинать и подсаживать, а необходимо ясно и опредѣлительно указать, какъ съ ненавидимымъ предметомъ поступить. Нѣкоторымъ изъ реформъ уже четверть вѣка минуло, а большинство приближается къ концу второго десятилѣтія. Вѣдь это уже въ извѣстномъ смыслѣ храмъ славы, а совсѣмъ не навоеденіе, по поводу котораго достаточно сказать: «дувь и плюнь!» — и ничего не будетъ. Но если-бы даже и возможно было симъ легкимъ способомъ освободиться отъ храма славы, то все-таки надо и самимъ знать, и для другихъ сдѣлать понятнымъ, какой иной храмъ славы предполагается соорудить на мѣсто только-что выстроеннаго и уже предполагаемаго къ упраздненію.

Есая, какъ можно догадываться, безмятежное житіе, проектируемое кляузниками на мѣсто реформенной жизни,

должно заключаться въ томъ, что люди, причастные ему, будутъ служить безмолвными объектами для всевозможныхъ оздоровительныхъ затѣй, то эта перспектива едва ли кого-нибудь соблазнитъ. Потому что даже простодушнѣйшіе изъ простодушныхъ — и тѣ уже понимаютъ, что, при известной обстановкѣ, выраженіе: «оздоровительное предпріятіе» и «битье по теменн» имѣютъ значеніе не только равносильное, но даже съ нѣкоторымъ преферансомъ въ пользу второго.

Что битье по теменн, точно такъ же, какъ и сбѣненіе, никогда не обладало творческой силой — исторія доказала намъ это достаточно. Отъ пачала вѣковы исправникъ сбѣгъ мужика, полагая, что черезъ это числящаяся на немъ недоимка полностью поступитъ въ казначейство, а недоимка и до-днесъ на мужикѣ числится. Стало-быть, сбѣненьемъ немало интереса казны не соблюли, а только шишу мужика понапрасну испортили.

Конечно, большинство исправниковъ оправдываетъ себя въ этомъ случаѣ тѣмъ, что мужикъ, при совершеніи экзекуціи, не только не прекословилъ, но даже, по окончаніи ея, благодарилъ за науку. Стало-быть, говорятъ они, онъ самъ чувствовалъ, что сбѣненъ ему на пользу. Однако едва ли на этотъ разъ можно повѣрить мужику на-слово. Почему онъ молчитъ и даже благодаритъ — это тайна, которую не особенно мудро разгадать. А именно: онъ молчитъ и благодаритъ потому, что ежели онъ будетъ «разговаривать», то исправникъ, пожалуй, не затруднится и опять его «разложить».

Точно то же бесплодное будущее предстаетъ и битью по теменн. Ни фабричный, ни даже иппенный кризисъ не прекратятся оттого, что люди ополоумѣютъ. Очень возможно, что эти ополоумѣвшіе, подобно сейчасъ упомянутому мужику, будутъ кланяться и благодарить; но секретъ этой благодарности будетъ столь же легко объяснимъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Стало-быть, кризисы останутся въ своей силѣ, да вдобавокъ получатся еще громадная масса преломленныхъ головъ. Неужели это можетъ кого-нибудь утѣшить?

Но кромѣ того, здѣсь являеся и другой очень важный вопросъ: кого стукать и за что?

Ежели стукать такъ-называемую интеллигенцію, то она не только не виновна въ кризисахъ, но, можно сказать, даже вполнѣ равнодушна къ нимъ. Въ сущности, и са-

харные, и всякіе другіе кризисы задѣваютъ ее такъ мало, что едва ли она даже видитъ нужду въ опредѣленіи тѣхъ убытковъ, которые она несетъ отъ нихъ. Она безпрекословно уплачиваетъ лишній грошъ въ одномъ мѣстѣ и идетъ въ другое мѣсто, чтобъ уплатить другой лишній грошъ. И при этомъ отлично помнить, что совать носъ не въ свое дѣло не слѣдуетъ. Конечно, не можетъ она отъ времени до времени не разсуждать (а въ томъ числѣ и о кризисахъ), но въ этомъ уже виновны университеты, гимназии и кадетскіе корпуса, гдѣ совершенно открыто внушается, что человѣку свойственно разсуждать. Но, кромѣ того, ежели даже о словахъ говорится: *verba volant*, — то для мыслей у насъ и крыльевъ-то не заведено: гдѣ родятся, тамъ и умираютъ. Вотъ почему, когда, года три тому назадъ, изъ всѣхъ щелей выползли кляузники, вооруженные проектами истребленія интеллигенціи, то громадная масса интеллигентовъ даже протестовать не пыталась, а только въ недоумѣніи спрашивала себя: за что?

Ежели стукать мужика, то онъ еще менѣе виноватъ въ появленіи кризисовъ, хотя преемственность ихъ въ особенности живо отдается на его бокахъ. Мужикъ и до сихъ поръ не знаетъ, что въ существованіе его заползли какіе-то кризисы, но для него не тайна, что съ кризисами или безъ оныхъ онъ все-таки повиненъ работѣ. И работаетъ. Мнѣ возразятъ, быть-можетъ, что во вниманіе къ таковымъ похвальнымъ качествамъ ни одинъ кляузникъ и не выступилъ съ проповѣдью объ истребленіи мужика: пускай, дескать, плодится и множится. Согласенъ; дѣйствительно, объ истребленіи мужика проектовъ не было; однако-жь ни одинъ беспристрастный человѣкъ не будетъ отрицать, что о подкузвленіи его мечтали и мечтаютъ очень многіе. За что?

Существуетъ и еще кляузное мнѣніе: въ самомъ, дескать, правительствѣ накопилось безконечное множество антиправительственныхъ элементовъ, которые, пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ, преднамѣренно поддерживаютъ въ странѣ смуту, служащую источникомъ всѣхъ кризисовъ. Но, во-первыхъ, это мнѣніе вполне обстоятельно опровергается существованіемъ знаменитаго 3-го пункта для смѣняемыхъ и кабинетныхъ собесѣдованій — для несмѣняемыхъ. Во-вторыхъ, если бы даже расколъ, о которомъ идетъ рѣчь, и не былъ баснею, то прежде чѣмъ направо и налево раздавать клички, слѣдовало бы опредѣлить, откуда этотъ расколъ пришелъ, и не имѣется ли орга-

нической причины, которая дѣлаетъ его нестремимымъ. И въ-третьихъ, наконецъ, гдѣ найти компетенцію, которая, не будучи посвящена въ тайну правительственныхъ намѣреній, имѣла бы возможность безошибочно устанавливать признаки правительственности и анти-правительственности? Ужели достаточно заявить себя кляузникомъ, чтобы приобрести себѣ монополію такой компетенціи?

Повторю: проклятыя останутся только проклятіями, человѣконенавистничество пребудетъ только человѣконенавистничествомъ. Не изъ могилъ, разрываемыхъ гѣнами, услышится живое слово... пѣть, не изъ нихъ!

Ахъ, кляузики, кляузики! Вѣдь дѣло совсѣмъ не въ укорахъ и завиненіяхъ заднимъ числомъ; дѣло не въ ябедахъ и не въ подтасовкахъ, а въ томъ, чтобы жизнь не калѣчила живыхъ. Ужели слово «реформы» до того постыло, что даже слышать его больно, то пусть будетъ замѣнено другимъ... напримѣръ, хоть «регламентаціей». Ужели и «регламентація» окажется подозрительною (она отзывается отчасти социализмомъ, отчасти аракчеевщиною), то замѣните ее «постепеннымъ, при содѣйствіи околоточныхъ надзирателей, благооселѣніемъ». И это будетъ хорошо. Не въ словахъ сила, и нѣтъ той номенклатуры, съ которою нельзя было бы помириться; но пускай же исчезнетъ то постыдное пустоутробіе, которое выдаетъ камень за хлѣбъ и подланный доносъ—за содѣйствіе.

Осудѣніе полное. Тѣмъ не менѣе, такъ какъ мысль не можетъ окончательно умереть, то она и подъ иномъ всевозможныхъ недоумѣній продолжаетъ свою работу. Но, очутившись въ живопослой струи руководящихъ началъ, она исключительно устремляется къ мелочамъ обыденной жизни и въ нихъ ищетъ уголить присущую ей потребность творчества.

Отсюда—громадная масса проектовъ и проекцій, удручающая нашу современность. Я не утверждаю, чтобы между ними не было практически-полезныхъ, снабженныхъ всею интересными справками и изложенныхъ прекраснѣйшимъ слогомъ, но не могу скрыть, что даже полезнѣйшіе построены на «песцѣ», зависятъ отъ массы случайностей и вълѣдствіе этого осуждены на полную неустойчивость.

Много мы знали полезныхъ выдумокъ и многія изъ нихъ видѣли даже въ дѣйствіи; но польза, которая отъ нихъ ожидалась, прежде всего парализовалась ихъ внутреннею изолированностью. Въ общемъ укладѣ жизни не было для

нихъ ни соотвѣтствія, ни поддержки, и это сказывалось до такой степени резко, что едва ли можно указать хотя на одно явленіе этой категоріи, которое при самомъ рожденіи не стояло бы подъ угрозой ежеминутнаго упраздненія. Мы создаемъ и вслѣдъ за тѣмъ разрушаемъ, потомъ опять возвращаемся къ разрушенному и, воссоздавъ его, вновь разрушаемъ. Илотина, которая сдерживала бы напоръ пораженнаго паникою произвола, не только не существуетъ, но даже самая мысль о ея необходимости представляется небезопасною.

Тѣмъ не менѣе неустойчивость отнюдь не обезкураживаетъ проектировъ. И это вполнѣ понятно, потому что человѣкъ самый простодушный, чувствуя боль во всѣхъ суставахъ, не можетъ не употреблять усилій, чтобы освободиться отъ нея. Но еще болѣе понятно то, что человѣкъ этотъ, игнорируя общіе законы, управляющіе жизнью, останавливается въ недоумѣніи передъ мало-мальски широкой задачей и спѣшитъ отыгаться на подробности.

Простодушіе цѣнитъ только непосредственныя практическія примѣненія, а ничто такъ легко не поддается практической разработкѣ, какъ подробности. Міръ подробностей—миръ простодушныхъ людей, и ежели вы сообразите, какое разнообразіе подробностей представляетъ даже самая бѣдная содержаніемъ жизнь, то убѣдитесь, что проектировы могутъ черпать изъ этого источника, нимало не опасаясь, что онъ когда-нибудь истощится.

Повторяю: и количество, и разнообразіе ходячихъ проектовъ поистинѣ изумительны. И чѣмъ больше проектъ напоминаетъ принципъ раздѣленія труда, въ силу котораго рабочій на всю жизнь осуждается выдѣлывать одну двадцатую часть булавочной головки, тѣмъ болѣе претензію представляетъ онъ на авторитетность. Чѣмъ онъ ниже, тѣмъ благовременнѣе и назойливѣе. Многіе даже утверждаютъ, будто бы въ основѣ большинства современныхъ выдумокъ—прямо или косвенно, но *непрямьно* лежитъ воровство; но я считаю это мнѣніе чрезчуръ уже рискованнымъ. Меня гораздо болѣе поражаетъ и оскорбляетъ то, что всякій одержимый чесоткою празднолюбецъ, не обинуясь, приурочиваетъ свою личную чесотку къ лицу недугъ общественныхъ и государственныхъ.

Низменности и безсвязности большинства смышляющихся со всѣхъ сторонъ оздоровительныхъ предпріятій таковы, что даже породили мнѣніе о вырожденіи человѣческаг

рода. Старики, по крайней мѣрѣ, положительно утверждаютъ, что въ былыя времена разсуждали обстоятельнѣе, не «растекались мыслью по древу», а начавши долбить стоявшій на очереди сукъ, долбили его во всѣхъ смыслахъ и до конца. И въ примѣръ приводятъ рѣшеніе и поступки, которые хотя и сданы въ архивъ, но въ свое время задали-таки коноты. Тогда какъ вынѣ—возьмите любой оздоровительный проектъ, и вы прежде всего убѣдитесь, что содержаніе его напоминаетъ шпротъ, въ которомъ, вмѣсто съѣдобной начинки, затисканы стружки, глина, песокъ и другой строительный матеріалъ. А затѣмъ и вышности приличной нѣтъ налицо. Начнетъ человекъ: «такъ какъ»,— а объ «то» позабудетъ; или начнетъ съ «хотя», а ни «тѣмъ не менее», ни «но» и въ послѣннѣ пѣтъ. Даже многоточія въ ходъ пойдутъ—на что похоже!

— Фельетоны такъ писать дозвоительно, а не проекты-съ,— негодовалъ на дняхъ безшабашный совѣтникъ Дыба:—скажите на милость, начали прибѣгать къ многоточію! Вѣдь многоточіе-то, государь мой, волненіе чувствъ означаетъ. А развѣ таковое приличествуетъ въ вопросѣ столь несомнѣнной важности, какъ общественное оздоровленіе?

И не буду, однако-жь, разсматривать, насколько правы сѣтующіе старики, хотя вообще думаю, что они многое позабыли и весьма малому научились. Не стану также приводить примѣры полезныхъ оздоровительныхъ проектовъ, въ родѣ обузданія гласности, упраздненія судейской несмѣяемости, неограниченнаго выпуска кредитныхъ билетовъ, учрежденія элеваторовъ и т. п. Не стану, во-первыхъ, потому, что все, что я могу сказать объ этихъ предметахъ, исчерпывается слѣдующими немногими словами: можетъ-быть, хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и не хорошо, и даже зловредно. И я самъ радъ бы какой-нибудь оздоровительный проектъ написать, но что же я, сидя у себя въ кабинетѣ, знаю? Чѣмъ я могу руководиться, кромѣ цифръ, въ качествѣ отправнаго пункта, и логики, въ качествѣ орудія для вывода? Допустимъ, что я—человѣкъ вносившій добро-совѣстный и недюжиннаго ума, что взятая мною цифра вѣрна, и что сдѣланное мною на основаніи ея построеніе вполнѣ согласно съ законами логики; но могу ли я поручиться, что не упустилъ изъ вида тѣхъ примѣсовъ, которыя при всякомъ практическомъ примѣненіи вливаются со дна жизни, вопреки великимъ цифрамъ и построеніямъ. На-

сколько, например, моя выдумка может потерпеть от внимательства воровства, лихоимства, нравственной расшатанности, перяшества или, наконец, от такой пустой и нелюбимой вещи, как провинциальный этикет? Я знаю, конечно, что эти дрянные примеси вполне устранимы, а может-быть, даже знаю, при каких условиях онъ устранимы (впрочемъ, и тутъ не выдаю своего мнѣнія за непогрѣшимое); но до тѣхъ поръ, пока этихъ условий не существуетъ, ни о чемъ ничего сказать не могу, кроме: может-быть, хорошо, а может-быть, такъ нехорошо, что завтра же передѣлывать придется.

А во-вторыхъ, если бы я, даже не останавливаясь передъ этими соображеніями, и началъ вкрявъ и вкось рассуждать, то навѣрное меня на первыхъ же шагахъ останавливать люди болѣе меня опытные и компетентные. И хорошо сдѣлаютъ, ибо фортуна поступила со мною жестоко, отдавъ всю мудрость и опытность въ удѣлъ столоначальниковъ, а мнѣ (впрочемъ, быть-можетъ, и вамъ, читатель) предоставивъ бродить на помочахъ и спотыкаться.

Итакъ, область серьезнаго и дѣльнаго для меня недоступна. Я и не стараюсь проникнуть въ нее и, право, безъ зависти взираю на вереницы коллежскихъ регистраторовъ, передъ которыми настуже растворяется запертая для меня дверь. Я знаю, что существуетъ другая область: область нелѣпнаго и смѣшнаго, на воротахъ которой написано: «entrée libre», и въ которую я, вмѣстѣ съ другими профессорами, могу входить вполне свободно. Почему свободно?— а потому, во-первыхъ, что смѣшное и несерьезно-нелѣпное предполагается исходящимъ отъ людей мизерныхъ, значенія не имѣющихъ, то-есть вообще такихъ, которыхъ можно «касаться», не рискуя быть обвиненнымъ въ потрясеніи основъ. А во-вторыхъ, и потому, что смѣшное и нелѣпное сами по себѣ настолько невинны, что и спотыкающийся, подобно мнѣ, человѣкъ ничего, кроме невиннаго упражненія, извлечь изъ подобной темы не можетъ.

Какъ бы то ни было, но я пользуюсь этой свободой и благодарю.

Изъ числа моихъ школьныхъ сверстниковъ, оставшихся въ живыхъ, ничей удѣлъ не кажется мнѣ столь желательнымъ, какъ тотъ, который выпалъ на долю Федулу Архимедову. И выдать, надо сказать правду, совершенно незаслуженно, единственно благодаря счастливо сложившимся обстоятельствамъ



Въ школѣ мы называли Архимедова «Федотъ да не тотъ», и эта кличка удивительно къ нему шла. Что-то не-свойственное въ немъ было, какая-то заколдованность, абсентеизмъ. Уроки онъ отбывалъ всегда исправно, но учителямъ почему-то казалось, что не онъ лично отвѣчаетъ урокъ, а какая-то суцая въ немъ чертовщина; вель онъ себя добропорядочно, но надзирателямъ казалось, что эта добропорядочность въ немъ не то чтобы лицемѣрная, а какъ бы невѣряемая. Поэтому и баллы ему, какъ въ ученіи, такъ и въ поведеніи, ставились очень умѣренные. И онъ не протестовалъ противъ несправедливости, а только при случаѣ горько улыбался: но эта горькая улыбка была до того беззавѣтно-нелѣпа, что ему тутъ же сбавляли за нее еще баллы или два въ поведеніи,—какъ будто онъ произвелъ невѣсть какое дебоширство. Ни съ кѣмъ онъ не былъ друженъ и ни къ какому занятію не оказывалъ предпочтенія. Охотнѣе всего играть жъ свайку; но и тутъ устроится въ-одиночку гдѣ-нибудь въ уголку и самъ себя задастъ рѣдки. Въ рекреационные часы онъ и по залѣ, и по саду ходилъ всегда одинъ,—и непременно задумавшись; но никто не могъ опредѣлить, дѣйствительно ли онъ думаетъ или у него болитъ голова. Нѣкоторые даже утверждали, что у него въ головѣ завелось мышинное гнѣздо, и приста-вали къ нему, спрашивая, выпросталась ли старая мышь, и не беспокоятъ ли его своей бѣготней молодые мышата. Однако-жъ этотъ вопросъ—только онъ одинъ—приводилъ его почти въ изступленіе. Онъ, какъ бѣшеный, бросался въ толпу обидчиковъ, ничего не разбирая, сыпалъ ударами направо и налѣво, швырялъ чернильницами—и, разумѣется, взаимно украшенный снѣжками, попадалъ, въ концѣ концовъ, въ карцеръ. Между тѣмъ какъ прочіе товарищи интересовались литературой и втихомолку зачитывались журналами, онъ въ продолженіе всего шестилѣтняго курса читалъ одинъ и тутъ же Ж. «Репертуара» (Песоцкаго), въ которомъ былъ помѣщенъ водевилъ: «Отецъ, какихъ мало». Читалъ постоянно и не могъ начитаться. И въ довершеніе всего—лицо у него было похоже на подмалеванный портретъ, въ которомъ художникъ тщетно пытался что-то изобразить и наконецъ бросилъ, подписавъ внизу: «Галиматъя».

По выходѣ изъ школы, онъ вмѣстѣ съ другими товарищами обязательно поступилъ на службу. Однако-жъ и новое начальство довольно долго не могло приспособиться къ нему и разгадать: тотъ ли онъ Федотъ, или не тотъ. По-

этому, на первых порахъ, на него возлагались работы самыя легкія, такъ сказать, ідіотскія; но даже и въ нихъ онъ не обнаруживалъ ни мастерства, ни виртуозности. Запишетъ, бывало, бумагу въ входящій реестръ—и не беспокоится. Всѣ безпокоятся, у всѣхъ сердце болитъ, а ему какъ съ гуся вода! И, можетъ-быть, служебныя дѣла его и до сего дня шли бы тихимъ ходомъ, если бы, на его счастье, въ служебной атмосферѣ не послѣдовало новаго вѣянія. Неизвѣстно почему, но, конечно, не безъ основанія, на Фодотовъ явилось въ бюрократическихъ сферахъ усиленное требованіе. Отъ нихъ однихъ ожидалось усердіе не по разуму, а на ихъ непреклонность въ соблюденіи канцелярской тайны возлагались самыя горячія упованія: «Фодотовъ нужно! никого, кромѣ Фодотовъ!» раздавался «звучъ по всему лагерю, и въ согласность этому кличу произошли существенныя перемѣны и въ-этомъ вѣдомствѣ, въ которомъ служилъ Архимедовъ. Старый начальникъ былъ смѣненъ и на его мѣсто посаженъ другой—тоже Фодотъ да не тотъ. Оба Фодота любили сами себѣ сваячныя рѣдки задавать, оба—ничего не читали, кромѣ водевиля: «Отецъ, какихъ мало», и у обоихъ—подъ портретомъ написано было: «Галиматъя». Взглянули они другъ на друга, да такъ и ахнули. И съ той минуты служебная карьера Архимедова была обезпечена.

И точно, съ перваго же абуга дѣло пошло у нихъ какъ по маслу и въ настоящее время доведено до такого совершенства, какъ дай Богъ великому. Подчиненный-Фодотъ—докладываетъ, а начальникъ-Фодотъ—понимаетъ; начальникъ-Фодотъ—приказываетъ, а подчиненный-Фодотъ—повиноватъ. И не видятъ оба, какъ время летитъ. Всѣ сослуживцы дивятся и говорятъ, что они при дьявольскомъ наводненіи присутствуютъ; а имъ что за дѣло!

И лѣзетъ да лѣзетъ Фодотъ Архимедовъ по лѣстницѣ, видѣнной Іаковомъ во снѣ, и навѣрное до чего-нибудь долѣзетъ. Въ послѣднее время онъ почти сразу получилъ три награды: къ Рождеству его сдѣлали дѣлопроизводителемъ комиссіи для разсмотрѣнія предшествующихъ заблужденій, постомъ онъ получилъ дифтеритъ, а къ святой — орденъ Такова. И живетъ-себѣ прииѣвающимъ въ великолѣпной казенной квартирѣ, и съ часу-на-часъ ожидаетъ курьера. А нѣкоторые даже присовокуливаютъ, что онъ каждое утро казанскимъ мыломъ моется и моделавадомъ ротъ полощетъ, дабы, въ случаѣ чего, не оплошать. Что-жъ!

казанское мыло не одному Федоту открывало путь къ почестямъ.

Такъ вотъ этотъ самый Федотъ съ чего-то началъ ко мнѣ похаживать. Придетъ, разсядется въ креслѣ, вынетъ платокъ, опрысканный лакъемъ-то ни съ чѣмъ лесобразными духами, и начнетъ вытирать пмъ между пальцами. И чтобы я не возмечталъ о себѣ, по поводу его визита, чего-нибудь лишняго, непременно скажетъ:

— Я потому къ тебѣ зашелъ, что нахожу не лишнимъ, отъ времени до времени окунуться въ волны общественнаго мнѣнія...

Оговорившись такимъ образомъ, онъ начинаетъ, не торопясь, разматывать предо мной, одинъ за другимъ, нагроутившея въ его головѣ прожекты. Прожектовъ этихъ у него напасено ровно столько, сколько есть звѣздъ на небѣ; и хоть, по всѣмъ вѣроятіямъ, ни одному изъ нихъ не предстоитъ осуществленія (черезчуръ уже они смѣлы), тѣмъ не менѣе это не мѣшаетъ имъ циркулировать въ сферахъ и даже утруждать вниманіе. Ибо, при всеобщемъ современномъ оглѣтѣніи, Федоты изображаютъ собою силу, съ которой нельзя не считаться и выслушивать которую—обязательно.

Въ большинствѣ случаевъ, эта «сила» всплываетъ на поверхность случайно (какъ это уже и разсказано мною выше); но, разъ всплывши, она устраняется настолько прочно, что сдвинуть ее съ занятой позиціи представляется дѣломъ весьма не легкимъ. Секретъ заключается въ томъ, что Федоты быстро и удалена угадываютъ другъ друга и, угадавши, составляютъ изъ себя, такъ сказать, ассоціацію взаимнаго страхованія. Во главѣ этой ассоціаціи становится Федотъ первый, который гдѣ-то имѣлъ «руку» и; следовательно, считаетъ себя въ правѣ колобродить, не стѣняясь ничѣмъ, кромѣ усердія не по разуму. У перваго Федота имѣеть руку Федотъ второй, у втораго Федота—третій и т. д. Всѣ замѣствуются свѣтомъ другъ у друга и всѣ колобродятъ. Колобродятъ серьезно, сосредоточенно и сердито, такъ что ежели въ разгаръ этого колобродства подвернется профанъ и попыбуетъ высказать не то чтобы несогласіе, а только равнодушіе, то ему навѣрное не сдобровать.

Въ силу такихъ счастливыхъ условій колобродятъ и Федотъ Архимедовъ. Сознавая себя Федотомъ по преимуществу, онъ не ограничивался тѣмъ, что разводилъ свои колобродства въ тѣсномъ кругу подобныхъ ему Федотовъ, но

находить наслаждение угнетать ими и людей совершенно посторонних. А въ томъ числѣ и меня.

Всѣ кризисы постепенно прошли черезъ горнило его умопомраченія, всѣ одинаково вызывали на его лицѣ озабоченное выраженіе, и всѣ оныя пріурочивали къ одной и той же причинѣ: разнузданности. Долгое время онъ ограничивался, въ разговорахъ со мною, одними общими мѣтаниями на эту тему, но, наконецъ, не выдержавъ и раскрылъ мнѣ подробности своего плана.

— Ты уже знаешь,—сказалъ онъ мнѣ:—что, по мнѣнію моему, прежде всего необходимо уничтожить разнузданность. Разъ мы успѣемъ въ этомъ, жизнь естественнымъ порядкомъ войдетъ въ надлежащую колею. Внутренніе враги разсѣются, а съ внѣшними мы, съ Божьею помощію, и сами справимся. Надѣюсь, что ты ничего не имѣешь противъ этого результата?

Разумѣется, я не только не имѣлъ ничего, но былъ даже очень радъ. На то враги и существуютъ, чтобы ихъ обуздывать. Но такъ какъ время нынѣ стоитъ загадочное, то и я смѣлъ дужнымъ отвѣтствовать загадочно. То-есть, не отрицать, но и безусловнаго согласія не изъявлять.

— Какъ тебѣ сказать, душа моя,—резонировалъ я:—можетъ-быть, оно и хорошо выйдетъ, а можетъ-быть, и пехорошо. Обуздывать, вообще говоря, полезно и даже всегда благовременно; однако не мѣшаетъ при этомъ имѣть въ виду и слѣдующее: а что, если вдругъ понадобится снова разнуздывать? Кто будетъ тогда виновать въ безвременномъ обузданіи? Но, съ другой стороны, можетъ случиться и такъ: ежели мы оставимъ разнузданность необузданною, то какъ бы потомъ не пришлось быть въ отвѣтъ за то, что мы своевременно ее не обуздали. Словомъ сказать, все въ этомъ предпріятіи сводится къ пословицѣ: и повернешься—бьютъ, и не повернешься—бьютъ. Вотъ чего я боюсь.

Высказавши это мнѣніе, я вдругъ очутился: что, бишь, такое я сказалъ? Къ счастью, Архимедовъ не только не казался наумленнымъ, но даже понялъ.

— Ты слишкомъ остороженъ,—укорилъ онъ меня.—Завѣсу будущаго приподнимать полезно, но не всегда. Есть вещи, которые необходимо приводить въ исполненіе сразу, не разсуждая. Разсужденіе—вотъ корень угнетающаго зла. Разсуждая, я, конечно, всегда рискую встрѣтиться съ препятствіями. Сперва придетъ одно препятствіе, потомъ другое, третье, и, наконецъ, накопится такое множество, что для

разборки ихъ потребуется цѣлая коммиссія, которая, послѣ десяти лѣтъ неуспѣшныхъ трудовъ, подобно тебѣ, резюмируетъ свою мысль въ трехъ словахъ: «бабушка пѣ-двое сказала». Но это мы ужъ давно знаемъ; это написано въ видѣ эпиграфа во главѣ всѣхъ нашихъ начинаній, и, къ сожалѣнью, мы нимало не дѣлаемся отъ него благополучны. Намъ нужно совѣтъ другое, а именно: отзвонилъ — и съ колокольни долой. Правду ли я говорю?

— Какъ тебѣ сказать, мой другъ?.. Быть-можетъ, безъ разсужденія выйдетъ хорошо, но можетъ быть и вехоршо. А равнымъ образомъ — и насчетъ звону. Иной звонарь бухаетъ въ колоколь зря, а другой — старается попасть въ тонъ... Словомъ сказать — загвоздка.

Но онъ даже не отвѣтилъ на мое возраженіе, а само-вольно выпрямился и сказалъ:

— Ну, ужъ насчетъ звону... можешь не беспокоиться: слишкомъ тридцать пять лѣтъ я звону, и, кажется... Но не будемъ увлекаться голословными препирательствами, а обратимся къ фактамъ, которые, я надѣюсь, лучше всякихъ разсужденій убѣдятъ тебя въ моей правотѣ.

И тутъ-то вотъ онъ, пунктъ за пунктомъ, развилъ передо мной свой проектъ объ уничтоженіи разнузданности.

По его мнѣнью, наша современность представляла два главныхъ вмѣстелища разнузданности: во-первыхъ, современную молодежь; во-вторыхъ, печать. Онъ не отрицалъ, впрочемъ, что если копнуть, то могутъ открыться и еще два-три вмѣстелища (напримѣръ: земство, судъ, акцизное вѣдомство, контроль), но повуда еще позволять себѣ смѣрять снова пальцы на ихъ «недостойную игру». Зато на вопросахъ о молодежи и печати онъ сосредоточилъ все свое вниманіе и изучилъ ихъ до тонкости.

— Относительно нашей молодежи, — началъ онъ: — я полагаю, что прежде всего необходимо упорядочить ея воспроизведеніе..

И, прочитавъ на моемъ лицѣ испугъ, поспѣшилъ успокоить меня.

— Не прекратить — я соглашаюсь, что это было бы чересчуръ радикально, — но «упорядочить». Не пугайся и выслушай меня до конца. Наблюденія сибудущихъ людей показываютъ намъ съ послѣднею очевидностью, что качества, какъ физическія, такъ и нравственныя, наследственно переходятъ отъ производителей къ производимымъ. Какимъ образомъ это происходитъ — никому неизвѣстно; но таковъ

законъ природы. Отецъ, обладающій большимъ носомъ, передаетъ его по наслѣдству сыну, а въ некоторыхъ случаяхъ, къ несчастью, и дочери. Точно то же явленіе замѣчается и относительно характера (особенно ежели характеръ строптивъ), и ежели бываютъ искаженія изъ этого общаго правила, то они доказываютъ лишь внимательство восторженныхъ факторовъ, котораго никакой законъ ни предотвратить, ни предусмотрѣть не можетъ. Слѣдовательно, дабы получить молодое поколѣніе, вполне соответствующее требованіямъ благоустройства и благочинія, необходимо, главнымъ образомъ, упорядочить производительную среду. Но гдѣ мы отыщемъ эту среду? Ежели мы будемъ искать ее среди нашихъ сверстниковъ, то врядъ ли поиски наши приведутъ къ плодотворному результату. Мы, старики, свое дѣло сдѣлали. Чтѣ съ возу упало, то пропало. Тщетно стараться объ упорядоченіи того, что самую природою до такой степени упорядочено, что можетъ сказать о себѣ только: на нѣтъ и суда нѣтъ. Конечно, найдутся и среди насъ... между прочимъ, не скрою и о себѣ... но это уже, такъ сказать, особое благоволеніе природы, на которое законъ смотритъ, какъ на явленіе въ высшей степени пріятное, но не обязательное... Не правда ли, mon vieux, такъ вѣдь я говорю?

— То-есть какъ тебѣ сказать... Конечно, въ такихъ дѣлахъ молодые люди болѣе компетентны, но, съ другой стороны, ежели взглянуть на дѣло съ точки зрѣнія осмотрительности...

— Ну, ну, чтѣ ужъ, не оправдывайся, Богъ проститъ! Итакъ, продолжаемъ. Истинная производительная сила, та, которая производитъ обязательно и съ увлеченіемъ, сосредоточивается въ самомъ молодомъ поколѣніи. И вотъ отъ этой-то именно силы, то-есть отъ ея доброкачественности или недоброкачественности, и зависятъ судьбы будущаго. Или, говоря языкомъ науки: «всякій молодой человѣкъ, воспроизводящій въ лицѣ ребенка подобіе самого себя, не только удовлетворяетъ этимъ естественной склонности къ самовоспроизведенію, но и въ то же время вліяетъ и на дальнѣйшія судьбы своего отечества». Это аксіома, или, лучше сказать, краеугольный камень, на которомъ долженъ произрасти цвѣтъ будущаго. Заручившись этимъ основаніемъ, я говорю себѣ: такъ какъ составъ и свойство грядущихъ поколѣній находится въ тѣсной зависимости отъ состава и свойствъ нынѣ дѣйствующаго молодого поколѣ-

ня, то, дабы усовершенствовать первое, необходимо произвести въ послѣднемъ такой подборъ людей, который представлялъ бы несомнѣнное ручательство въ смыслѣ благонадежности. Или, говоря языкомъ науки, необходимо, наряду съ прочими возникшими въ послѣднее время институтами, образовать еще институтъ племенныхъ молодыхъ людей, признавъ чисто-правоспособными только тѣхъ молодыхъ людей, кои добрымъ поведеніемъ и успѣхами въ древнихъ языкахъ (а на первое время хотя бы въ одномъ изъ нихъ, — прибавилъ онъ снисходительно) окажутся того достойными; тѣмъ же, которые подобнаго ручательства не представляютъ, доказывать свою правоспособность отъ дѣла сего особо. Такъ ли я говорю?

— Какъ бы тебѣ сказать...

— Позволь. Твоя рѣчь впереди, — перебилъ онъ меня нетерпѣливо. — Прому замѣтить, что я ни экзаменовъ, ни пробныхъ лекцій, ничего такого не требую. Хорошо вель себя въ школь, знаешь наизусть двѣ-три басни Федра (но надобно знать ихъ твердо, мой другъ!) — иди и шествуй! Хоть сейчасъ подь вънець. Наше вѣдомство не токмо не встрѣтитъ препятствій, во даже окажетъ дѣятельнѣйшее въ себѣ смыслѣ содѣйствіе. И еще замѣть: я и строптиваго не обезкураживаю. Я, такъ сказать, только отчислю его по инфантерін, но не навѣваю, ибо въ то же время говорю: старайся оправдаться, и ежели представишь подлинное удостоеніе — дерзай! И чѣмъ больше будетъ расканвающихся, тѣмъ полнѣе будетъ наша радость. Одного не могу допустить и не допущу: это — чтобъ элементы неблагонадежны или сомнительныя могли проникнуть въ корпорацію правоспособныхъ... Нѣтъ, не допущу!

— Но неужели эка тѣ, которые, по упорству или по нерадѣнію, все-таки не выучатъ двухъ-трехъ басенъ Федра, неужели они будутъ навсегда осуждены влачить безотрадное существованіе по инфантерін?

— Всенепремѣнно; въ этомъ заключается вся экономія предлагаемаго мною проекта. Впрочемъ, не огорчайся; вѣдь это только издали кажется страшно; но какъ только дѣло дойдетъ до практики, то опасенія твои навѣрное дойдутъ до минимума. Инстинктъ самовоспроизведенія настолько силенъ въ человѣкѣ, что даже самыя строптивыя будутъ прилагать старанія къ скорѣйшему духовному и нравственному возрожденію. А сверхъ того, право, не такъ ужъ трудно выучить двѣ-три басни Федра, чтобъ изъ-за этого

подвергать себя столь существенному лишению. Немного терпѣнія и очень много твердости со стороны наблюдающих — и ты увидишь, что въ самое короткое время за кадрами останутся только закосячѣлые.

— Но ежели...

— Никакихъ «ежели» въ проектѣ моемъ не допускается. Вопросъ поставленъ ясно и категорически, а сверхъ того, чтобы кадры не номинально только, а дѣйствительно оставались замкнутыми, имѣется въ виду неуспѣшное наблюдение и строго соображенная система взысканій. Прорваться не будетъ возможности. Сначала, конечно, въ отношеніи къ покупающимся будутъ пущены въ ходъ мѣры кротости и убѣжденія, потомъ — взысканія, постепенно усиливаемые, наконецъ...

— Ахъ!

— И я знаю, что жестоко, но иначе нельзя. И ты увидишь, что, благодаря содѣйствію племенныхъ молодыхъ людей, слѣдующее же поколѣніе получитъ совсѣмъ другую окраску. О разнузданности не будетъ и въ поминіи, а ежели и останутся отдѣльные индивидуумы, имѣющіе унылый и недоброкачественный видъ, то они мало-по-малу изноютъ сами собой.

Онъ умолкъ и самонадѣянно смотрѣлъ на меня, ожидая одобренія. Но любовь мое настолько была задѣта за живое, что я уже и самъ пожелалъ нѣкоторыхъ поясненій.

— Но мужички, — спросилъ я: — неужели и они...

— О, нѣтъ, до нихъ мой проектъ не касается, — разубѣдилъ онъ меня: — крестьянское сословіе можетъ плодиться и множиться на прежнихъ основаніяхъ! Для усмиренія крестьянской разнузданности существуютъ спеціальныя установленія: волостная управа, волостные суды, клоповники и наконецъ... чикъ-чикъ! Этого вполне и надолго будетъ достаточно... разубѣется, если какая-нибудь коммисія и тутъ не подпуститъ... Но какъ ты находишь мой проектъ въ цѣломъ? Не правда ли, онъ въ настоящую точку бьетъ?

— Какъ тебѣ сказать? Конечно, можетъ выйти хорошо, но можетъ выйти и не хорошо. Вѣдь Рыковъ думалъ: — дай-ка я оживлю земледѣліе и торговлю, — и, разубѣется, ждалъ, что выйдетъ хорошо. Однако теперь онъ за свою выдумку сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ. А почему? — потому, что это была его личная выдумка, которую онъ увлекся, да что-нибудь и упустилъ... А можетъ-быть, и подпустилъ...

— Рыковъ! — какія, однако-жъ, у тебя тривиальныя сравненія!



— Ахъ, итъ, я не объ томъ... Я говорю только: если у тебя все пойдетъ какъ по маслу, то выйдетъ хорошо; если же, напримеръ, люди, зачисленные по нифантерин, прорвутся въ дѣйствующіе кадры, хотя бы даже въ качествѣ посторонней стихи... Ну, не сердись, не сердись! Это я по простотѣ... Наверное ты уже все заранее предуготовилъ и предусмотрѣлъ, и слѣдовательно... отлично выйдетъ, отлично! Одно только меня интригуетъ: какимъ путемъ ты додумался до такой изумительной комбинаціи? Ужасно это любопытно!

— Какимъ путемъ? Наблюдалъ, размышлялъ, прислушивался, сопоставлялъ... Свои личныя наблюденія проверялъ наблюденіями добрыхъ друзей—и наоборотъ. Я, голубчикъ, еще въ то время, когда реформы только-что начались, уже о многомъ думалъ. И многое предусмотрѣлъ и даже предупредилъ, но... Впрочемъ, оставимъ эти дурныя воспоминанія и обратимся къ предмету нашего собесѣдованія. Теперь мнѣ предстоитъ изложить мои предположенія относительно другого вмѣстелища современной разнузданности — печати.

Онъ остановился и испытующе взглянулъ на меня. Очевидно, онъ вспомнилъ, что я, до известной степени, не чуждъ печати, и это какъ будто стѣснило его. Разумѣется, я поспѣшилъ его разувѣрить.

— Итакъ, будемъ откровенны! — началъ онъ. — Впрочемъ, это будетъ для меня тѣмъ легче, что, въ сущности, я совсемъ не врагъ печати, а только желаю, такъ сказать, оплодотворить ее.

Онъ опять остановился и, какъ бы предвидя, что все-таки нельзя обойтись безъ того, чтобъ не огорчить меня, взялъ мою руку и крѣпко, по-товарищески ее сжалъ.

— Да не стѣсняйся, голубчикъ, говори! — убѣждалъ я, растроганный до глубины души.

— Итакъ, будемъ откровенны, — вновь началъ онъ послѣ нѣкотораго колебанія. — Не безызвѣстно тебѣ, что въ настоящее время печать служитъ предметомъ очень тяжкихъ обвиненій. Я считаю, впрочемъ, излишнимъ излагать здѣсь многообразную сущность этихъ обвиненій; она извѣстна тебѣ, по малой мѣрѣ, столь же подробно, какъ и мнѣ. Нельзя похвалить современную печать, мой другъ, нельзя! И хотя я стараюсь быть безпристрастнымъ, но во всякомъ случаѣ не могу не признать, что дѣло поставлено очень и очень неправильно! И я увѣренъ, что ты самъ внутренне

согладаешься со мной, хотя, конечно, по чувству солидарности, и не высказываешь... Признайся, вѣдь соглашаешься? а?

— Что-жь, коли тебѣ все ужь извѣстно...

— Ну, вотъ видишь, я такъ и зналъ! Есть что-то такое въ этой печати, чего ни подъ какимъ видомъ нельзя допустить. И даже въ самой формѣ. Вызывающее что-то... дерзкое! А притомъ и не всегда понятное. Вотъ почему многіе заявляютъ открыто, что печать слѣдуетъ или совсемъ упразднить, или, по малой мѣрѣ, надѣть на нее намордникъ!

— Намордникъ!

— Да, намордникъ. И замѣть, это говорятъ люди, которые въ обществѣ сльзуть за людей обязательныхъ, мягкихъ и вѣжливыхъ. Они мягки и обязательны во всемъ... кромѣ литературы! Какъ только рѣчь коснется литературы... намордникъ! Я, однако-жь, этого мнѣнія и-не раз-дѣ-ля-ю!

Онъ произнесъ послѣднія слова съ нѣкоторою торжественностью, такъ что я не воздержался и воскликнуть:

— Одетъ! ты великодушенъ!

— Я только справедливъ,—отвѣтилъ онъ томно.—Тѣмъ не менѣе, не раздѣля мнѣнія столь крайняго, я въ то же время признаю, что мѣры необходимы, и мѣры рѣшительныя. И имѣю основаніе думать, что такія мѣры... возможны!

— О!

— Не пугайся, выслушай меня. Вѣроятно, ты ужь замѣтилъ, что въ основѣ всѣхъ моихъ предположеній лежитъ, главнымъ образомъ, не упраздненіе, а упорядоченіе. Или, лучше сказать, возрожденіе. Такъ поступаю я и въ данномъ случаѣ. Многіе противопоставляютъ моей системѣ существенный страхъ, но я нахожу, что послѣдній уже въ значительной мѣрѣ утратилъ свое обаяніе. Съ самаго пришествія варяговъ мы живемъ подъ дѣйствіемъ спасительнаго страха, а дурныя страсти, какъ были разнузданы при Гостомислѣ, такъ и теперь остаются разнузданными. Другъ мой, что пользы въ томъ, что мы, подобно Сатурну, будемъ глотать своихъ дѣтей?! Проглотимъ одного, проглотимъ другого, третьяго, четвертаго... что-жь дальше? Не расточать надобно, а собирать въ житницы—вотъ мой девизъ. Тотъ девизъ, какъ тебѣ извѣстно, я примѣнилъ къ той части моего проекта, которая касается нашей молодежи; его же предполагаю примѣнить и къ печати.

— О!

— Вот выратцѣ содержаніе моихъ предположеній по этому предмету. Печать, говорю я, сама по себѣ не могла бы существовать, если бы не существовало дѣятелей печати. Ежели дѣятели печати хороши, то и печать хороша; ежели дѣятели дурны или вредны, то и печать дурна или вредна. Это... аксіома. А ежели это аксіома, то очевидно, что сущность или, такъ сказать, стрѣла всякаго проекта, написаннаго въ здравомъ умѣ и твердой памяти, должна быть направлена не противъ печати собственно, а противъ ея дѣятелей. Такъ оно у меня и выходитъ. Дѣятелей печати я раздѣляю на два разряда: къ первому отношу современныхъ литераторовъ и публицистовъ; ко второму—публицистовъ и литераторовъ будущаго. Что касается первыхъ, то на ихъ возрожденіе надежда плохая. Они слишкомъ закоснѣли въ дурныхъ привычкахъ, слишкомъ избалованы. Поэтому я полагаю удобнѣйшимъ оставить ихъ подѣ дѣйствіемъ спасительнаго страха, подѣ коимъ они до-днесь пребывали, не чувствуя оттого для себя отягощенія...

— Ну, не совсѣмъ-таки безъ отягощенія...

— Извини меня, но со стороны господъ писателей это уже прихоть! Все вамъ предоставлено, все! И предостереженія, и предупрежденія, и совѣты! Если же и затѣмъ... согласись со мной, что самая снисходительная система дальше идти не можетъ, не рискуя попасть пальцемъ въ небо. Впрочемъ, повторяю: на нынѣшній составъ литературы я и не полагаю никакихъ надеждъ. *Alea jacta est.* Что будетъ, то будетъ, а будетъ, что Богъ дастъ. Намордниковъ я не предлагаю, но думаю, что сама природа, наконецъ, возмутится и явится на помощь благонамѣреннымъ людямъ съ естественной раввязкой. Уже достаточно количество сошло съ арены; остальные... не замедлятъ! Жалко, но дѣлать нечего—таковъ законъ природы! Ну-съ, а затѣмъ прошу тебя выслушать меня внимательно, потому что я приступаю.

— Съ большимъ удовольствіемъ, хотя я не могу не сказать, что мнѣніе твое насчетъ современной литературы...

— Ни слова объ этомъ. Ежели я не требую намордниковъ, то и идти дальше по пути ослабленія нимаю не желаю. Словомъ сказать, я возлагаю упованіе на будущее. Въ этихъ видахъ я связываю мои предположенія о возрожденіи печати съ проектомъ объ уиорядоченіи молодого поколѣнія вообще. Ты видишь, какъ не трудно и даже легко достигается послѣднее, а по послѣднему можешь су-

дить и о первомъ. Какъ скоро образуется, благодаря содѣйствию племенныхъ молодыхъ людей, молодое поколѣнiе, усовершенствованное и очищенное отъ неблагонадежныхъ элементовъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ получатся и нитательные кадры, изъ которыхъ выйдутъ пополняться ряды дѣятелей печати. Но здѣсь—какъ, впрочемъ, и вездѣ—возникаютъ нѣсколько очень существенныхъ вопросовъ, которые необходимо разрѣшить впередъ. Вопросъ первый: слѣдуетъ ли слѣдовать входить въ литературную среду общедоступнымъ? Или полезнѣе будетъ ограничить число дѣятелей печати опредѣленнымъ количествомъ? Я долго колебался между этими двумя системами, но, по обсужденiю доводовъ про и contra, пришелъ къ такому заключенiю: первая хороша—вообще, вторая—въ частности. А такъ какъ наше время—не время широкихъ задачъ, то хотя и съ болью въ сердцѣ, но приходится предпочесть частное общему. Въ этихъ видахъ я полагаю бы на первыхъ порахъ комплектъ дѣйствующихъ литераторовъ ограничить числомъ 101. Сто—это потребность настоящаго; одинъ—это, такъ сказать, окно, изъ котораго открываются перспективы будущаго. Гдѣ есть одинъ, тамъ есть начало новой сотни, или, по крайней мѣрѣ, надежда на опую—вотъ! Или, говоря точнѣе, я не только не закрываю дверей будущаго, но, напротивъ, приглашаю достойнѣйшихъ: идите! Вотъ этотъ *сто первый* укажетъ вамъ путь къ славл!

— Прекрасно! — воскликнуть я. — Стало-быть, ты все-таки сознаешь, что и литературѣ не чуждъ путь славы!.

Но онъ вмѣсто отвѣта только махнулъ рукою и продолжалъ:

— Второй вопросъ, касается организацiи. Не имѣя въ виду прецедентовъ, которые указывали бы, какъ въ данномъ случаѣ поступить, я былъ вынужденъ довольствоваться собственной изобрѣтательностью. И поему полагаю бы: сто русскихъ литераторовъ раздѣлить на десять отрядовъ, по десяти въ каждомъ, а сто первому литератору предоставить переходить по очереди изъ одного отряда въ другой до тѣхъ поръ, пока время не укажетъ на необходимость образованiя новаго, одиннадцатаго отряда, къ которому онъ и примкнетъ. Во главѣ этихъ отрядовъ, на первое время, я предлагаю поставить старѣйшихъ изъ числа дѣятелей современной русской литературы, но исключительно изъ такихъ, которые, по преклонности лѣтъ, уже мышей не ловятъ. При этомъ я отдаю бы предпочтене

составителям хрестоматий, которымъ, по свойству ихъ занятій, всё роды литературы доступны. Когда все будетъ готово, тогда, по совершении молебствія и по воспользованіи пригласительнаго сигнала, отряды начнутъ между собою полемику. Но полемику благородную и притомъ сливающуюся въ одномъ общемъ чувствѣ признательности.

Онъ остановился, чтобы передохнуть, и я воспользовался этимъ, чтобы слегка походатайствовать.

— Вотъ ты упомянулъ о старѣйшинахъ,—робко психнулъ я:—вотъ кабы...

— Имѣю въ виду,—обнадежилъ опъ меня кратко.—Затѣмъ продолжаю. Вопросъ третій: слѣдуетъ ли членамъ литературныхъ отрядовъ присвоить штатное содержаніе, или же удобнѣе считать ихъ занятія безвозмездными? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ тройко: одни—въ утвердительномъ смыслѣ; другіе—въ отрицательномъ и, наконецъ, третьи говорятъ: слѣдуетъ, но въ видѣ частнаго пособія и притомъ келейно. Отрицательной системы я не допускаю вовсе, потому что она до известной степени подрываетъ принципъ ответственности и притомъ уже доказала на дѣлѣ свою несостоятельность. Систему келейныхъ пособій я тоже не могу одобрить, потому что она, страдая тѣмъ же недостаткомъ, какъ и система отрицательная, имѣетъ сверхъ того и еще неудобство: такъ-называемыя субсидіи стобятъ казнѣ, по малой мѣрѣ, столь же дорого, какъ и гласно выдаваемое жалованье. Затѣмъ остается система утвердительная, которую я и принимаю. Но что касается размѣра предлагаемыхъ содержаній, то таковой поставленъ мною въ зависимости отъ состоянія бюджета. Хорошъ бюджетъ—и жалованье хорошо; дуренъ бюджетъ—нѣтъ ничего. Но расписываться въ полученіи и въ томъ, и въ другомъ случаѣ—обязательно.

— Вотъ-то будутъ о неисполненіи хорошаго бюджета Бога молить!—невольнo вырвалось у меня.

— Га! ты понялъ теперь, въ чемъ заключается соль моего проекта! Вотъ это-то именно мнѣ и нужно. Да-съ, перестанутъ господа публицисты хихикать надъ бюджетомъ! Перестанутъ-съ, будутъ Бога молить-съ! Но пора кончить. Остается четвертый и послѣдній вопросъ: какому порядку надлежитъ слѣдовать въ видахъ пополненія отрядовъ, какъ при образованіи ихъ, такъ и на случай убылей? На это я отвѣчаю кратко: тѣ же правила, какія проектированы мною для признанія правоспособности молодыхъ

людей, могутъ быть примѣнены и здѣсь. Въ средѣ племенныхъ молодыхъ людей дѣятели печати составятъ какъ бы status in statu; это будутъ дѣятели племенные по преимуществу. Только одно лишнее требованіе я считаю полезнымъ допустить—это знаніе латинскихъ пословицъ и изреченій. Знаніе это сообщаетъ слогу колоритность, а писателю даетъ видъ, какъ будто онъ нѣчто знаетъ, но только не все сказать хочетъ. Затѣмъ остальное—пускай устроитъ жребій.

Онъ кончилъ и заторопился. На этотъ разъ онъ даже не заинтересовался моимъ мнѣніемъ: до такой степени реально выступала въ его сознаніи непрерываемость проекта. Впрочемъ, онъ общалъ невдолгъ вновь меня пофитить и изложить мнѣ свои проекты относительно упорядоченія судовъ и земства.

— А при этомъ, быть-можетъ, придется намъ коснуться и элеваторовъ,—присовокущилъ онъ, загадочно подмигнувъ мнѣ глазомъ.

### Письмо четвертое.

Чтобы «Пестрыя письма» воистину оправдывали это названіе, позвольте мнѣ сдѣлать небольшую экскурсію въ область прошлаго.

До «катастрофы» моя сосѣдка, добрая Арина Михайловна Окѣнцева, жила очень смиренно. Къ этому времени ей было ужъ за тридцать, а мужу ея, Севастьяну Игнатьичу, годовъ-двумя побольше. Имѣніе у нихъ было изъ среднихъ—по старому счету, душъ триста; но, какъ люди старозавѣтные и неприхотливые, они довольствовались и малымъ. А такъ какъ, сверхъ того, они изъ деревни не выѣзжали, то это малое настолько граничало съ изобиліемъ, что домъ Окѣнцевыхъ представлялъ собой полную чашу, въ которой все говорило о занасливости и предусмотрительности домовитой хозяйки.

И мужъ, и жена жили душа въ душу. Она взяла на себя всѣ хлопоты по домашнему обиходу и по управленію имѣніемъ; на немъ—лежала только сладкая обязанность любить ее. Восемнадцати лѣтъ Ариша была бодрюю, свѣжою и сильною дѣвужкой; такою же казалась она Севастьяну Игнатьичу и въ тридцать лѣтъ, хотя значительно пошла

въ кость, обзавелась усиками и фигурой скорѣе напоминала солидно скроеннаго мужчину, нежели деликатную даму. Съ своей стороны, и Севастьянъ Игнатьичъ, въ глазахъ Арины Михайловны, оставался все тѣмъ же обаятельнымъ гусаромъ, какимъ онъ былъ, когда впервые пропѣлъ передъ нею модный въ то время романсъ: «Гусарь, на саблю опираясь», хотя черезъ шнадцать лѣтъ, благодаря усиленной выкормкѣ, онъ скорѣе напоминалъ среднихъ лѣтъ скопца, нежели лихого корнета. Время не наложило своей всевластной руки на ихъ взаимныя отношенія. Какъ въ первую, такъ и въ послѣднюю минуту оба помнили и понимали одно: онъ—что она Ариша, она—что онъ Савося. И что лучшаго ничего они не выдумаютъ, какъ любить другъ друга.

Богатствъ у нихъ не было, но не было и загѣй, которыя заставляли бы чувствовать отсутствие богатства. Было все «свое», и въ этомъ «своемъ» они себя не отказывали. Своя живность, свое варенье, свои наливки, свои смоквы, свое тепло, свой просторъ. Все некупленное и притомъ являющееся какъ будто само собой, безъ усилий, безъ думы, точно волна за волной плыветъ, а за этой волной и еще волна видѣется. Поѣсть захотятъ—поѣдятъ; посидѣть захотятъ—посидятъ, а не то такъ и походить. Пріемовъ они не дѣлали и съ гостями скучали (глаза при гостяхъ у нихъ спинались), хотя отъ хлѣбосолюства не отказывались. Всего охотнѣе, по случаю всегдашней взаимной любви, они оставались съ-глазу-на-глазъ, вдвоемъ.

Встанутъ, бывало, часовъ въ восемь утра, Ариша по хозяйству исчезнетъ, а Савося временно остается одинъ въ цѣлой анфиладѣ комнатъ. Посидитъ онъ и походить, какъ вздумается: иногда подумаетъ, а иногда и такъ въ окошко поглядитъ; и во всякомъ случаѣ чего-нибудь покушаетъ («пить» она ему позволяла только одну рюмку водки передъ обѣдомъ). Но пройдетъ часть-другой, и онъ уже начинаетъ просовывать голову въ коридоръ, выглядывая, не пройдетъ ли мимо Ариша. И, разумѣется, поймаетъ.

— Ариша, ты?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

Подъблуются, и оиять каждый за дѣло. Оиять пройдетъ часть-другой...

— Ты, что ли, Ариша?

— Ахъ, ты мо-о-ой!

И не увидитъ, какъ день пролетитъ. А вечеромъ, еще

восьми часовъ на дворѣ пѣтъ. Савосея ужъ начинаетъ торопиться. Перестанетъ ходить и усядется въ кресло, точно невѣсть какъ уморился. Увидѣвъ Савосею въ этомъ положеніи, Арinna Михайловна и съ своей стороны начинала спѣшить. Заказавши завтрашнюю ѣду, она шла къ мужу и говорила:

— Чтѣ, пѣтушокъ, къ курочкѣ подѣ крылышко балныки собрался?

Словомъ сказать, тѣмъ горячѣе они любили другъ друга, что и любовь у нихъ была «своя», не купленная. Но въ особенности преданно и горяче любила она. Почему-то она предполагала, что Савосея, какъ бывшій гусарь, долженъ имѣть вкусы изысканные. А такъ какъ она съ каждымъ годомъ все больше и больше шла въ кость, то и ставила мужу въ большую заслугу, что онъ, несмотря на это, не только ни разу ей не измѣнилъ, но никогда ни на одну горничную завистливымъ окомъ не взглянулъ.

— Чтѣ я такое—мужикъ—мужикомъ!—открывалась она ключницѣ Платопидушкѣ:—кожа на мнѣ словно голенище выростковое, на рукахъ—мозоли, на ногахъ—сапожищи! Ты думаешь, онъ этого не понимаетъ? Понимаетъ, мой другъ, ахъ, какъ понимаетъ! И ему, голубчику, любовники-то хочется! И чтобы бѣленькая, и чтобы нѣжненькая... А онъ, вмѣсто того, одну меня, бабу-чернавку, любить. Должна ли я это цѣнить?

И вознаградила Савосею за любовь тѣмъ, что окружала его всевозможными попеченіями. Вѣтру не давала на него вѣнуть, любимыя его блюда наперечетъ знала и нарочно по коридору лишній разъ пробѣгала (хотя дѣла у нея всегда по горло было) на случай, не вылянетъ ли Савосея изъ комнаты.

Дѣтей имъ Богъ не далъ, копить было не для кого. Такимъ образомъ, они имѣли полную возможность жить исключительно для себя. Конечно, Божьяго добра зря не транжирили, но и не скондометвовали, а только всемѣрно другъ друга холмили, чувствуя, какъ мягко подхватываетъ ихъ волна за волной, и зная напередъ, что и конца этимъ ласкающимъ волнамъ не предвидится.

И крестьяне, и дворовые не могли нахвалиться ими; говорили: «у насъ не господа, а ангелы». Никого они не обременяли ни непосильной работой, ни оброками, а довольствовались тѣмъ и другимъ лишь въ той мѣрѣ, въ какой это было нужно, чтобъ въ господскомъ домѣ полная



чаща была. И чтобы не въ однихъ господскихъ покояхъ, но и въ застойной, и на скотномъ и конномъ дворахъ—вездѣ чтобы изобиліе и сытость царствовали. Чтобы дѣвка—такъ дѣвка, корова—такъ корова, пѣтухъ—такъ пѣтухъ,—вотъ у насъ какъ!

Денегъ въ домѣ Окѣнцевыхъ въ обращеніи мало водилось. Было у Арины Михайловны «маменькино приданое», но оно хранилось въ «Совѣтѣ», и проценты ежегодно при-совокуплялись къ капиталу. Что касается до текущаго дохода, то онъ почти всецѣло получался натуральными произведеніями, изъ которыхъ только малая часть поступала въ продажу. Вообще на деньги Окѣнцевы смотрѣли какъ на что-то исключительное, волшебное, долженствующее придти на выручку въ «черный день». Для обихода на наличныя деньги приобреталась только бакалея и матеріалъ для одежды, и все «покупное» расходовалось до крайности расточливо и даже скупю. Кассой завѣдывалъ Севастьянъ Игнатьичъ, который приходилъ въ неописанное волненіе всякій разъ, когда по хозяйству предстоялъ денежный расходъ. Раза два въ годъ онъ считывалъ себя, и ежели оказывался излишекъ, то супруги уѣзжали на короткое время въ Москву (въ «Совѣтъ»), гдѣ Севастьянъ Игнатьичъ велъ переговоры съ приказными, что-то «вынималъ» и что-то «клатъ», но при этомъ велъ свои операціи въ такомъ секретѣ, что ни одинъ сосѣдъ не пронюхалъ, что у Окѣнцевыхъ пахнетъ деньгами, и не попросилъ взаимы.

Это была идиллія, содержаніе которой не разнообразилось даже проявленіями такъ-называемыхъ патріархальныхъ отношеній. Сосѣди-помѣщики смѣялись вадъ непо-врежденной годами страстностью счастливыхъ супруговъ и сочиняли по этому поводу пикантные анекдоты; но Окѣнцевы жили такою замкнутою жизнью, что никакое судаченье не доходило до нихъ. Зато имъ довольно часто приходилось выслушивать реприманды по поводу слабого управленія крѣпостными людьми. Время тогда было серьезное и предусмотрительно во всѣхъ частяхъ согласованное. Человѣкъ представлялся чѣмъ-то въ родѣ сатанина сосуда, который надлежало держать тщательно закупореннымъ, такъ какъ, при малѣйшей оплошности, сатава выскочитъ и начнетъ чертить. Но ежели таково было предоставленіе о человѣкѣ вообще, то по отношенію къ крѣпостному человѣку оно являлось уже совсѣмъ непререкаемымъ. Окѣнцевыхъ

предостерегали (преимущественно съ точки зрѣнія дурного примѣра), предсказывали, что они и сами раскаются, но будетъ поздно, и специально указывали на Макарку-идола, который отъ корму да отъ праздности, того гляди, съ жиру лопнетъ. Послѣ подобныхъ увѣщаній Савося нерѣдко задумывался и прищуривалъ однимъ глазъ, какъ бы некушаемый вопросомъ: не вспрыснуть ли Макарку-идола, чтобы ходилъ веселѣе? Но Арина замѣчала эту задумчивость и успокаивала мужа однимъ словомъ: «пустяки». Никогда даже колебаній по этому поводу ей на умъ не входило.

— Дѣтей намъ Богъ не далъ, — говорила она: — чего захочется, и безъ тиранства всего у насъ вдоволь; а они на-тѣо что выдумали: людей тѣготить!

И жили они среди этой идилліи, забытые не только неправникомъ, но даже станovýmъ приставомъ, жили счастливые, довольные, сытые... до самаго дня «катастрофы».

Слухи о приготовленіи къ «катастрофѣ» дошли до нихъ поздно. Сельскій батюшка за третнимъ жалованьемъ въ городъ поѣхалъ и засталъ тамъ большой съѣздъ. А на постояломъ дворѣ ему сказали, что дворяне съѣхались, потому что имъ дозволено насчетъ «воли» просить. Но Обществу не вдругъ повѣрили, а истолковали съѣздъ дворянъ въ томъ смыслѣ, что, какъ прежде бывало, «пошущутся-пошущутся дворянчики, да и развѣдутся». Однако-жъ мѣсяца черезъ два пришла изъ губерніи печатная разграфленная бумага на имя Арины Михайловны Окднцевой, владѣлицы сельца Присыпкина съ деревнями. Требовали статистику.

— Статистику требуютъ, — сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ, прочитавши бумагу. — Вотъ, прочти!

Арина прочла и поблѣднѣла.

— Разорвать, что ли? — предложилъ онъ рѣшительно.

— Разорви! — отвѣтила она, не задумавшись.

Это было первое открытое неповиновеніе властямъ, которое Севастьянъ Игнатьичъ позволилъ себѣ въ теченіе всей своей мирной жизни. Разорвавши бумагу и предавши клочки сожженію, онъ, повидимому, успокоился; но спокойствіе это было только наружное. Ни онъ, ни Арина Михайловна уже не могли забыть. Домашній обиходъ не измѣнился, но въ сердца заноситъ страхъ будущаго. «Отпихнуть!» — неоступно мелькало въ умѣ Севастьяна Игнатьича, и ему казалось, что стѣны господскаго дома, въ которомъ росла и провела жизнь его Арина (имѣніе было ея, а онъ только свою красоту въ домъ принесть), начинаютъ коле-

баться. «Отнимут!» шептала, съ своей стороны, и Арина Михайловна и автоматически вперед взоръ въ Платонидушку, словно думая: «вотъ она, эта самая птица... вотъ она сейчасъ полетитъ!»

Такъ и не написала Савося статистики.

— Никакой я бумаги не получала, прете вы!—мало-душно отпирался онъ, когда становой приставъ наименовалъ ему о скорѣйшемъ отвѣтѣ.

— Вамъ же хуже будетъ, Севастьянъ Игнатьичъ!—уговаривалъ его становой:—теперича въ губерніи господа собрались; стараются, какъ бы для господъ помѣщиковъ получше сдѣлать—ну, и надобно, значить, все по сущей правдѣ показать. Земля, моль, черноземъ, дуга—человѣка въ травѣ не видать, а опречь того тальки, грибы, куры, бараны—покорно прошу вознаградить!

— А они, вмѣсто награжденія-то, обложеніемъ пожалуютъ...

— Помилуйте, какнумъ же манеромъ?

— Да безъ всякаго манера—такъ. Коли у васъ черноземъ, скажутъ, такъ пожалуйте по рублику серебрецомъ съ десятинки, да съ луговъ, да съ талекъ, да съ куръ... Да еще за фальшь, за то, что ты глину за черноземъ показалъ... Пожалуйте!

Тѣмъ не менѣе, несмотря на то, что многіе Севастьяны Игнатьичи статистики не доставили, дѣло освобожденія состоялось. Господа Окунцевы собственными глазами увидѣли, какъ однажды утромъ потянулся мимо усадьбы народъ въ ближайшее село къ обѣднѣ и часа черезъ три-четыре воротился назадъ. А послѣ обѣда Платонидушка доложила барынѣ, что на посадѣ мужички воду пили.

— Теперь будутъ пить—не безлокойся! теперь... будутъ!—рѣшила Арина Михайловна, но безъ гнѣва, а скорѣе въ тонѣ пророчества, который она съ этихъ поръ и усвоила себѣ навсегда.

Обстоятельства, въ которыхъ очутились Окунцевы, были тѣмъ болѣе затруднительны, что, вплоть до самаго осуществленія эмансипаціоннаго дѣла и мужъ, и жена были увѣрены, что оно уничтожится изморомъ. Поэтому никакихъ бумагъ они не принимали, и даже когда становой оставилъ на столѣ въ конвертѣ печатный экземпляръ «Положенія», то и его велѣли подальше убрать. Тѣмъ не менѣе фактъ совершился, и надобно было жить...

Можно ли приказывать, или нельзя? Какъ поступать съ

кушаньемъ; со стиркой бѣлья, съ тонкой печей, съ уборкой комнатъ? И поступать не когда-нибудь, въ болѣе или мѣнѣе отдаленномъ будущемъ, а именно сегодня, сейчасъ?

Какъ ни странно были эти вопросы, но они первые—или, лучше сказать, они одни—пришли на умъ. Допустимъ, что сегодняшній обѣдъ еще вчера былъ заказанъ—ну, съ этимъ еще какъ-нибудь можно... ну, рыбки солененькой, рыжичковъ... Но завтрашній обѣдъ? Что такое этотъ завтрашній обѣдъ и вообще все завтрашнее—утопія это или достовѣрность?

Для Севастьяна Игнатьича перемена была не столько чувствительна, потому что онъ и сегодня, какъ вчера, шагая взадъ и впередъ по афиладѣ, не принимая участія въ распоряженіяхъ; но Арина Михайловна положительно почувствовала себя какъ въ каменномъ мѣшкѣ. Вчера она мелькала по дому, спрашивая, приказывая, объясняя; сегодня—внезапно смуталась и оторопѣла. Точно она куда-то шла, хотѣла что-то нужное сдѣлать и вдругъ забыла. Остановилась, смотритъ во все глаза и даже не усиливается припомнить.

Въ домѣ все стихло; господа—уклонялись, дворовые—выжидали. Что-то существенное перестало дѣйствовать въ этомъ механизмѣ, какой-то скрытый рычагъ, который приводилъ его въ движеніе. Такъ бываетъ, когда въ домѣ умеръ главный человѣкъ, и никто еще не опредѣлялъ себѣ съ ясностью, какъ и что нужно дѣлать, чтобы опять все мало-мальски наладилось. Сперва нужно покойника похоронить, а потомъ ужъ и о «дѣлахъ» думать.

Недѣли черезъ двѣ къ барскому дому подъѣхали троечныя сани, и изъ нихъ выскочилъ молодой человѣкъ. Онъ надѣлъ въ передней цѣпь на шею, вошелъ въ комнаты и отрекомендовалъ участковымъ мировымъ посредникомъ.

— Такъ-съ,—отвѣтилъ Севастьянъ Игнатьичъ и до того сконфузился, что даже не подалъ молодому человѣку руки и не предложилъ сѣсть.

Молодой человѣкъ съ минуту поколебался и сѣлъ безъ приглашенія.

— Я пріѣхалъ къ вамъ,—началъ онъ:—чтобы предложить, не пожелаетъ ли ваша супруга приступить къ составленію уставной грамоты?

— Не желаемъ-съ.

Молодой человѣкъ, услышавъ этотъ неожиданно-ясный отвѣтъ, окинулъ Савосю удивленнымъ взоромъ.

— То-есть, въ какомъ смыслѣ?—недоумѣвать онъ.

— Не «въ смыслѣ», а просто не желаемъ-сь.

— То-есть, покуда или вообще?

— Не «покуда» и не вообще-сь... не желаемъ-сь!

— Но въ такомъ случаѣ я вынужденъ буду лично выполнить за вашу супругу эту обязанность.

— Это... смотря-сь...

— Какъ это... «смотря»?

— Смотря-сь... только и всего.

— Въ такомъ случаѣ... до пріятнаго свиданія!

— Но мы... не желаемъ-сь!

Молодой человекъ шаркнулъ ножкой и ретировался, а Севастьянъ Игнатичъ проводилъ его до передней и, покуда онъ укутывался, разъ десять повторилъ одну и ту же фразу:

— Но мы... не желаемъ-сь!

Молодой человекъ былъ въ великомъ смущеніи. Какъ усердный малый, онъ успѣлъ ужъ почти весь участок объѣхать, но еще нигдѣ подобнаго пріема не встрѣтилъ. Въ одномъ мѣстѣ его встрѣчали общимъ подколоднымъ ливнѣишемъ, въ которомъ принимали участіе даже малолѣтки; въ другомъ—несли къ нему навстрѣчу съ распростертыми объятіями и съ возгласомъ: «привѣтствуемъ васъ, благоую вѣсть приносящего!» Но во всякомъ случаѣ вездѣ съ нимъ настоящій разговоръ разговаривали и вездѣ предлагали вмѣстѣ хлѣба-соли откушать. И вотъ, наконецъ, выискался домъ, гдѣ ему только какія-то рыцарскія слова говорятъ. «Не желаемъ-сь!» Ахъ, чортъ побери, они «не желаютъ»! И не желайте, любезнѣйшіе, и лядко васъ не принуждаютъ! Только помните...

Однако вотъ будетъ потѣха, ежели весь уѣздъ, по примѣру Оконцевыхъ, вмѣсто исполненія благихъ предначертаній, начнетъ рыцарскія слова говорить!

А Севастьянъ Игнатичъ, между тѣмъ, тотчасъ по отъѣздѣ посредника, кликнувъ Аришу, и затѣмъ съ часъ они, обнявшись, ходили по залѣ, о чемъ-то по секрету совѣщаясь. Послѣ обѣда Савося, спустивши предварительно въ окнахъ шторы, залерся въ кабинетъ, вынулъ изъ потайнаго ящика ломбардные билеты, нѣсколько разъ прикинулъ ихъ на счетахъ, потомъ сосчиталъ наличность, и къ вечернему чаю его работа была готова. Оказалось, что маменькино приданое, вмѣстѣ съ нарощенными на него процентами и съ ежегодными присовокупленіями изъ доходовъ, представляло

круглую цифру въ шестьдесятъ тысячъ рублей. Результатъ этотъ, повидимому, настолько удовлетворилъ супруговъ, что весь остальной вечеръ они были веселы.

На другой день начались сборы. Укладывали все вообще, кромѣ громоздкихъ вещей. Ищили съ неособенно нужными вещами заирали въ кладовую, а что понуждѣе—готовились къ отправкѣ. Очевидно, господа торопились воспользоваться послѣднимъ зимнимъ путемъ; но куда и надолго ли они собрались—никто не зналъ. На другой день Благовѣщенья, рано утромъ, господа съѣздили на могилки къ Аришинымъ родителямъ, и когда дорожный возокъ былъ окончательно уложенъ и снаряженъ, созвали въ залу дворовыхъ людей и простились.

— Буду отъ васъ. Не могу!—сказалъ Севастьянъ Игнатьичъ.—За службу—благодарю. Хотя вы и не мои были, а барынины, а все-таки, по ея великой ко мнѣ милости (онъ сдѣлалъ низкій поклонъ въ сторону Арины Михайловны... «Ахъ, что ты, Савося!»), я за вами много лѣтъ покоенъ былъ. И ежели кто отъ меня обиду видѣлъ—простите!

— И меня простите! — прибавила Арина Михайловна, низко кланяясь.

— Провизию, которая въ погребахъ осталась,—продолжалъ Севастьянъ Игнатьичъ.—барыня вамъ жалуется. А о томъ, какъ вамъ быть до рѣшенья судьбы, спрашивайте у вышняго начальства, а мы тому не причинны. Живите!

Въ тотъ же день мировой посредникъ получилъ отъ при-сыпкинской барыни бумагу слѣдующаго содержания:

«Господину мировому посреднику.

«Не желая быть свидѣтелями онаго происшествія, каковое, кромѣ разоренія, не иначе, какъ къ общей гибели почитаемъ, возбуждаемъ мы съ мужемъ изъ имѣнія сельца При-сыпкина и возлагаемъ на васъ. И въ случаѣ будетъ выдана за сіе отъ вышняго начальства награда, а равно и насчетъ угодьевъ, какъ-то: лѣсовъ, пустошей, рыбныхъ ловлей и прочаго, то просимъ таковое выслать по жительству.

*«Жена хорнета Арина Окѣнцова».*

А внизу была особая приписка рукою Арины Михайловны: «Я пашеньку покойнаго вашего зпала и увѣрена, что онъ сего бы не допустилъ».

Однако-жъ искусственное возбужденіе, поддерживавшееся новостью факта и дорожными сборами, упало съ первыхъ

же шаговъ по вступленіи супруговъ въ область вольной жизни. Арина Михайловна, впрочемъ, выдерживала постигшую ее невзгуду довольно стойко, по Севастьянъ Игнатьичъ сразу раскисъ. Вдобавокъ ѣхать пришлось по пути уже почти разрушенному и на цѣлыя сутки дольше обыкновеннаго. На четвертый день пріѣхали въ Москву и остановились на постояломъ дворѣ у Сухаревой. Тотчасъ же по пріѣздѣ Севастьянъ Игнатьичъ сталъ жаловаться, что у него вздохи точно клещами зажало, но за лѣкаремъ не послалъ; думалъ, что и безъ лѣкаря отъ липоваго цвѣта пройдетъ. А черезъ недѣлю Арину Михайловну постигло великое горе, о которомъ она и въ мысляхъ никогда не держала: Севастьянъ Игнатьичъ скончался.

Сверхъ ожиданія, Арина Михайловна перенесла свою потерю довольно мужественно. Но въ Присыпкинѣ не воротилась, а устроилась навсегда въ Москвѣ и съ этой минуты окончательно закоснѣла. Не озлобилась, а именно закоснѣла, т. е. начала всѣ невзгоды, не только личныя, но и государственныя, какъ-то: войны, неурожаи, эпидеміи, хищенія, недоимки и проч., неизмѣнно пріурочивать къ «катастрофѣ». Проворуетъ ли кто—это оттуда идетъ; произойдетъ ли грандіозное убійство—это оттуда идетъ; поразитъ ли цѣлую губернію неурожаи—это оттуда идетъ; случится ли на желѣзной дорогѣ крушеніе поезда—это оттуда идетъ. Гессенская муха, кузька, новые суды, суслики, расхищеніе власти, свобода книгопечатанія, ослабленіе релігіознаго чувства—все оттуда. Она не злорадствовала, не ехидствовала, а только любила проричать: «не то еще будетъ, вотъ погодите!» Казалось, у нея былъ наготовѣ цѣлый каталогъ бѣдствій, и она цитировала то одно, то другое, автоматически приговаривая: «это еще цвѣточки, а вотъ ужъ ягодки будутъ!»

Между тѣмъ личное ея положеніе, въ сущности, было совсѣмъ недурное. Въ ломбардѣ у нея лежалъ приличный капиталъ, который она съ выгодой помѣстила въ пятипроцентныхъ банковыхъ билетахъ. И домъ для жительства своего, въ одной изъ Мѣщанскихъ, она задешево приобрѣла, и устроилась на новосельѣ какъ нельзя лучше. Выписала изъ Присыпкина все барское добро, не исключая и мебели, составила себѣ небольшой штатъ изъ старой присыпкинской дворни, сѣла у окошка въ то самое вольтеровское кресло, въ которомъ нѣкогда Севастьянъ Игнатьичъ послѣ обѣда

дремаль, и начала шерстяной шарфъ вязать. Провизія въ то время была еще не особенно дорога, денегъ было достаточно; дрова, правда, кусались—ну, да погодите, ужъ то ли еще будетъ! Послѣ деревенской хозяйственной суетоки она точно на дно рѣки опустилась. Никому до нея дѣла нѣтъ, и ей ни до кого и ни до чего дѣла нѣтъ. Скучно, но зато покойно. Сидитъ она у окошка, и все ей на улицѣ видно. Кто ни пройдетъ, ни прѣдетъ—она ко всѣмъ постепенно присматривалась. Вотъ это «здѣшній» идетъ—аблакать; вотъ и это «здѣшній» же—онъ «не при занятіяхъ» состоитъ, но по имени его звать Иваномъ Ивановичемъ. А вотъ это «чужой» прошелъ—куда это онъ лыжи наострилъ? Ишь спѣшить, точно въ аптеку торопится. А вотъ кто-то у Семень Семеныча звонится. Звонится-звонится, не отпираютъ бѣдному, а дождикъ такъ на него и льетъ. Наконецъ, однако, отперли. Выглянула въ дверь баба, злая-презлая. Она, должно-быть, блохъ у себя въ бѣльѣ ловила, а ей посѣтитель помѣшалъ—ахъ, пропасти на васъ, шатуновъ, нѣтъ!

— Дома Семень Семенычъ?

— Ни свѣтъ, ни заря ушелъ. Его у насъ одна зря выгонитъ, а другая вгонитъ!

Дверь съ азартомъ захлопывается, и посѣтитель задумчиво впернеть взоры вглубь Четвертой Мѣщанской, какъ бы испытывая: гдѣ ты, Семень Семенычъ? ахъ!—А Семень Семенычъ, съ «Гамлетомъ» въ рукахъ, съ Гамлетомъ въ сердцѣ и съ Гамлетомъ въ головѣ (есть въ Москвѣ чудачки, которые до сихъ поръ Мочалова да Цынскаго забыть не могутъ!), тутъ же, неподалѣчку, передъ Сухаревой башней въ восторженномъ оцѣпенѣніи стоитъ и мысленно разрѣшаетъ вопросъ: кто выше—Шекспиръ или Сухарева башня?

Словомъ сказать, всю подготовную Арина Михайловна знала и отлично къ ней прижилась. А вдобавокъ, спустя немного послѣ «катастрофы», и еще деньги къ ней привалили. Мировой посредникъ не попомнилъ Савосинова невѣжества и добросовѣтно занялся имѣніемъ Арины Михайловны. И уставную грамоту написалъ, и на выкупъ крестьянъ выпустилъ, и занадѣльную землю по частямъ распродалъ, такъ что у Арины очутился новый капиталъ тысячь въ шестьдесятъ. Жить бы да поживать при такомъ капиталѣ, а она вмѣсто того заладила: «погодите, не то еще будетъ, вотъ увидите!»

И точно: нужно было сквозь особенныя очки смотрѣть.



чтобы не видѣть, что свѣтопреставленіе ужъ на посу. А такъ какъ Арина Михайловна безъ очковъ своей шерстяной шарфъ вязала, то, разумеется, она видѣла.

Началось съ того, что волю вину объявили. И съ боковъ, и напротивъ, и наконецъ стѣны домовъ расцвѣтились вывѣсками «раснивночно и на-выносъ». Всѣ Мѣщанскія наполнились стономъ. Одно хлопанье кабацкими дверьми, одно визжаніе кабацкихъ блоковъ способны были разстроить самые крѣпкіе первы. Арина Михайловна не могла привыкнуть къ этимъ звукамъ; непрерывно она вдрагивала, крестилась и, глядя въ окно, прорицала:

— Ишь, пьяница! ишь поперекъ улицы, словно на печи, на свѣгу разлеся! Погодите, то ли еще будетъ! Сотнями мертвыхъ тѣла по улицамъ подымать будутъ!

Потомъ явились новые суды, и застонали Иверскія ворота, заскрежетали Страстной бульваръ... Вой подъячихъ былъ такъ пронзителенъ, что вмѣстѣ съ эманациями Охотнаго ряда явственно доносился до самой Крестовской заставы. Опять пришлось Аринѣ Михайловнѣ вдрагивать и прорицать.

— И за чтѣ только старичковъ обидѣли? — жалѣла она подъячихъ. — Развѣ за то, что денежкие они были, именно развѣ только за это! Ахъ, да то ли еще будетъ, погодите, и не то увидимъ ужѣ!

Наконецъ, подошло и земство... Тутъ ужъ самъ квартальный сказалъ: «ну, теперь, братъ, капуть!» А Арина Михайловна сначала было не поняла, — думала, что дворянамъ будутъ жалованье раздавать, но потомъ вдругъ все сдѣлалось для нея ясно.

— Пойдутъ теперь во всѣ стороны тащить! — прорицала она. — Вотъ помянете мое слово: оглянуться не успѣемъ, какъ все до послѣдней нитки растащатъ! Останется одинъ шпикъ!

Даже привольное житіе въ собственномъ домѣ не удовлетворяло ее, даже капиталъ не примирялъ съ вѣяніями новаго жизненнаго уклада.

— На чтѣ мнѣ капиталъ, — говорила она: — вотъ кабы андѣсь мой быль живъ — тогда, дѣйствительно... Еще лукавый съ этими деньгами попутаетъ...

Увы! она имѣла нѣкоторое основаніе помнать о лукавомъ. Во-первыхъ, Иванъ Ивановичъ (тогъ самый, который «не при занятіяхъ» состоялъ), какъ только узналъ, что она выкупную ссуду получила, такъ сейчасъ же къ ней

свахъ прислать. Во-вторыхъ, какой-то молодой приказный, изъ самаго квартала, мимо ея дома ходить повадился. Ходить да посвистываетъ, и какъ только поровняется съ окномъ, около котораго она сидитъ, такъ сейчасъ же руку къ сердцу прижметъ и глазами выграетъ... Насилу она отъ него отдѣлалась! Помощнику квартальнаго трехрублевенную ножегровала, такъ онъ раза четыре его, козла несытаго, въ кутузку сажать и только по пятому разу смирилъ. И въ-третьихъ, ей самой, несмотря на то, что со смерти Савоси прошло ужъ пять лѣтъ, безпрестанно чудилось, что ея «ангелъ», словно живой, выглядываетъ въ дверь и ищетъ ея. «Ариша! ты, что ли?...»

А вдругъ это выглядываетъ не Савося... а «лукавый»?

Нельзя не опасаться «лукаваго». Нельзя, живучи въ Четвертой Мѣщанской, не ожидать съ-часу-на-часъ появленія его. Москва — такой большой городъ и притомъ до того простодушно затѣянный, что въ немъ, только и есть два сорта людей: лукавые и простофили, изъ коихъ первые хайло развѣваютъ, а вторые въ разинутое хайло сами лѣзутъ. Лукавые больше въ центрѣ города ютятся; простофили — по окраинамъ жмутся, а въ томъ числѣ и во всѣхъ четырехъ Мѣщанскихъ. Отъ времени до времени, однако-жь, «лукавые» дѣлаютъ на окраины набѣги, и тогда простофили, какъ куры, только крыльями хлопаютъ, но прекословить не пробуютъ.

На этотъ разъ «лукавый» объявился въ образѣ молодого, черноглазого брянета, Тимофея Удалого.

Въ одно прекрасное утро онъ явился къ Аришѣ Михайловнѣ, подошелъ къ ручкѣ, назвалъ ее тетенькой, а себя — сыномъ кузины Машы.

— Какой же это Машы?... словно я не помню! — смутилась Арина Михайловна. — У меня троюродная сестра... какъ будто Даша... такъ та, кажется, за Недотыкина вышла.

— За Недотыкина — это сначала; а потомъ за корнета Метислава Удалого. А теперь паченька съ маменькой скончалась-сь.

— Не знаю; помнится, была не Маша, а Даша, а впрочемъ... Какъ же ты обо мнѣ, мой другъ, узналъ?

— Иду по улицѣ и вижу: дѣмъ госпожи Оконцевой. Тутъ все и открылось.

— Ну, что-жь... коли племянникъ — видно, такъ Богу угодно. Садись, гость будешь.

Арина Михайловна совсѣмъ растерялась: до такой сте-

пени она отвыкла отъ людского общества. Думала одна-однѣшенька вѣкъ скоротать, а тутъ вотъ родственникъ проявился—какъ его изъ дому выгонишь? И чужихъ сиротъ грѣшно не приглубить, а тѣмъ паче троюродныхъ: А вдобавокъ и Тимоеей не полѣзъ сразу нахаломъ, а повелѣ дѣло умненько. Посидѣть недолго и на вопросъ тетеньки, при какой онъ службѣ состоитъ, объяснилъ, что онъ просто «молодой человекъ»—только и всего.

— Это что же за званіе такое: «молодой человекъ», поди, чай, присутствіе какое-нибудь есть?

— Комитетъ-съ, — скромно объяснилъ Удалой: — дама-старушка председательствуетъ, а прочія старушки присутствуютъ-съ. А я при нихъ—молодой человекъ-съ!

На этомъ свиданіи и кончилось. Въ сущности, ничего угрожающаго не произошло, но, какъ на грѣхъ, у Арины Михайловны сердце съ чего-то завыло. Глаза у него окамяныя; у этого Тимоеея,—это она сразу замѣтила. Самъ весь почти-тельный, а глаза—большущіе-большущіе, такъ вотъ и подманиваютъ, такъ ядомъ и поливаютъ! Какъ взглянетъ онъ такими-то глазами, да ежели тутъ оплошать...

И пообѣдала она въ этотъ день безъ аппетита, и вечеръ скучно провела; а укладывалась на ночь въ постель, прямо сказала Платовидущей:

— Вотъ и родственникъ проявился! Погоди, ужъ и не то еще будетъ!

И затѣмъ цѣлую ночь проворочалась безъ сна, и все думала:

«Возьметъ онъ меня, какъ поморенную курицу, ощиплетъ, да и съестъ, какъ ему вздумается!»

Время однако-жъ шло, а Удалой продолжалъ вести себя благородно. Приходитъ только по воскресеньямъ, но не къ обѣду, а къ тому времени, какъ тетенька отъ обѣда воротится и за самоваръ сядетъ. Выпьетъ чашечку и онъ, посидитъ у стѣнки, расскажетъ, въ какомъ году когда Москва-рѣка вскрылась, или что прежде къ масляной балаганы подъ Новинскимъ строили, а нынче ихъ на Дѣвичье-Поле перевели,—и уйдетъ.

Тѣмъ не менѣе Аринѣ Михайловнѣ почему-то казалось, что онъ это только зубы ей заговариваетъ, исподтишка стѣя на ея погибель раскидываетъ. Она и сама не могла себѣ уяснить причину этихъ опасеній, но убѣжденіе, что въ Тимоееѣ кроется нѣчто угрожающее, съ каждымъ днемъ зрѣло въ ней больше и больше. И откуда онъ выскочилъ?

Сидѣла она смиреннѣе, ни о чемъ не думала, а онъ шелъ, распостылый, мимо, да и пришелъ. И выгнать его нельзя, потому онъ кузины Машы сынокъ... Маша или Даша... ахъ, прахъ тебя побери! И должность за собой объявилъ: «при старушкахъ... молодой человѣкъ!»— вотъ какая должность! Не быть тутъ добру, не быть! Не даромъ сразу сердце зачуяло! «При старушкахъ»... «кузина Маша»... Вытаращить глазници да дурманомъ ей душу и поливаетъ! А она сидитъ и ждетъ... дура, ахъ, дура! Вотъ увидите, не то еще будетъ!

Встревоженная предчувствіями, она съ любовью обращалась къ недавнему прошлому, когда она жила въ Присынкннѣ, и «ангелъ» ся былъ живъ, и никакнхъ стѣей они не боялись, а жили, жили, жили... И продолжали бы жить и поднесъ, кабы не оно... ахъ, кабы не это «злое ужасное дѣло»! И «ангелъ» ея былъ бы живъ, и она бы за нимъ, какъ за каменной стѣной, жила. А теперь куда она одна-одинѣшенька послѣла! Куда ни обернешь—вездѣ словно кашкановъ наставили. Въ ряды за покупками пойдешь—пожалуйте къ мировому! Въ церковь помолитесь пойдешь—пожалуйте въ кварталъ! Намедни съшла этакъ-то сосѣдка Марья Ивановна погузять, а домой только на третій день воротилась. Водила ее по мытарствамъ, водили и по судамъ, и по участкамъ, и по кварталамъ, наконецъ, ужъ самъ оберъ-полицеймейстеръ взошелъ: «въ чемъ же вы, сударыня, виноваты?»

— Никакъ ниче съ жизнью не сообразишь,—жаловалась она сама себѣ:—законовъ много, да иное, по старости, въ забвѣе пришло, а въ другомъ, по новости, еще смаку не нашли. И правители есть—вотъ онъ, правитель, тротуаръ гранитъ, ишь каблучками постукиваетъ!—да словно они въ отлучкѣ, и воротятся ли, иѣтъ ли—неизвѣстно. И деньги есть, только чьи онѣ—тоже неизвѣстно. Ни-то мои, ни-то чужія, и въ какой силѣ—тоже не знаю. Вчера онъ былъ рубль, а сегодня, сказываютъ, онъ ужъ не рубль, а полтинникъ. Какимъ манеромъ? почему? Вонъ мать Митрофанія деньги-то присовокупляла-присовокупляла, а ее за это по Владиміркъ...

Удалой замѣтилъ эту наклонность ея къ пророчаніямъ и поддерживалъ ее въ этомъ настроеніи. Какъ ни придется, непременно какую-нибудь судебную проказу расскажетъ, а иногда и соединенную судебную-земскую.

— Въ баламутовскомъ земствѣ господинъ управскій

председатель сумму присвоить, а судъ его, милая тетенька, оправдалъ-сь.

— Это, мой другъ, чтобъ и на предбудущее время воровали. И пусть воруютъ! Воруйте, батюшки, воруйте! Нынче по этой части свободно, потому вездѣ голъ да имоль завелась—какъ тутъ деньгамъ уцѣлѣть! Вотъ хоть бы насчетъ Присыпкинна—сколько лѣтъ и я имъ владѣла, и маменька владѣла, и бабенка, и прочіе которые... И всё говорили: мое! А теперь спроси, чье оно? Былъ домъ, былъ садъ, скотный дворъ былъ, погреба—чи теперь они? гдѣ? Платонидушка лѣтось тетку въ Присыпкинѣ навѣститъ ходила: «искали мы, искали, говорить, того мѣста, гдѣ барскій домъ стоялъ,—такъ и не нашли!» Ни намъ, ни вамъ—словно въ воздухѣ растаять! Такъ вотъ, мой другъ, съ имѣніемъ, съ настоящимъ имѣніемъ, съ недвижимымъ—какое чудо случилось! А деньги ему что—тыфу!

Или:

— Въ Петербургѣ, тетенька, одинъ чиновникъ начальнику нагрубилъ, а судъ его оправдалъ-сь.

— И по дѣломъ начальнику. Не ходи въ суды, самъ распорядись. А если самъ распорядиться не умѣешь, предоставь другимъ, а себя въ сторонкѣ держи. Вотъ я: сколько времени за ворота не выхожу—а почему?—потому знаю, что только потоль я и жива. Видь я на минуту—сейчасъ меня окружаютъ. Пойдутъ во всё стороны теребить, одинъ сюда, другой туда—смотришь, аякъ судъ да дѣло! Они-то правы изъ суда вышли, а я, простофиля, въ дуракахъ осталась. Нѣтъ, нынче только держись... какъ разъ!

Но больше всего заинтересовать Арину Михайловну процессъ червонныхъ валетовъ. Въ подробности этого дѣла она вслушивалась съ захватывающимъ интересомъ, а смѣлые подвиги главнаго валета положительно приводили ее въ восторгъ.

— Такъ-таки до сихъ поръ его и не нашли?—спрашивала она въ волнении.

— Такъ и не нашли-сь. И представьте себѣ, тетенька, какія онъ штуки выкидывалъ! Его по всей Москвѣ ищутъ, а онъ въ своемъ кварталѣ по вольному найму письмоводствомъ занимается. Однажды даже къ самому председателю письмо написалъ: я, говорить, завтра самолчно въ судъ явлюсь. Ну, тотъ и ждетъ, думаетъ, что съ повинной. А онъ придти-то пришелъ, да въ залѣ между публикой все время и присидѣлъ!

— Вот так ловко!

— Его, тетенька, въ Бакастовомъ трактирѣ ищутъ, а онъ въ «Крымъ» съ артистами отличается. Они — въ «Крымъ», а онъ къ цыганамъ въ «Грузины» закатился! Наслѣдуетъ имъ слѣдовъ — ищи да свини!

— Да, нынче этимъ ловкачамъ... только имъ однимъ и житье!

— Нынче, тетенька, ежели кто съ дарованіемъ, такъ даже очень хорошо можно прожить. Главное дѣло, выдумку надо въ записѣ имѣть, чтобы никто такой выдумки не ожидалъ. Сегодня — онъ кунецъ, завтра — генералъ, послѣ-завтра — архіерей... Квартальщикъ-то — «ахъ, ахъ, ахъ, никакъ это онъ самый и есть!» — а его ужъ и слѣдъ простыть.

— Такъ, такъ, такъ. «Онъ» по волѣ гуляетъ, а просто-филя за него въ кутузкѣ сидитъ. Это — такъ, только этого и можно по нынѣшнему времени ожидать. Поди, онъ и сію минуту гдѣ-нибудь фишты-фанты выкидываетъ.

— Теперь, милая тетенька, и слѣды его потеряли. Можетъ-быть, въ земствѣ гдѣ-нибудь скрывается-сь.

— Ха-ха! именно такъ! Именно, именно въ земствѣ. Суды ищутъ — земство покроетъ; земство ищетъ — суды покроютъ... такъ, такъ, такъ!

Въ этотъ день Арина Михайловна даже обѣдать его оставила, а онъ и послѣ обѣда осмѣлился посидѣть.

— Хотите, тетенька, я васъ въ ералашъ съ двумя болванами научу?

И она согласилась. Сперва даромъ играла, а потомъ по орѣху за нуанъ, и онъ ей цѣлый фрунтъ сразу проигралъ. Наконецъ, въ десятомъ часу, когда онъ прощаться сталъ, Арина Михайловна посмотрѣла на него пристальнѣе обыкновеннаго и не удержалась.

— Что это у тебя глаза-то... словно волшебные! — сказала она, не то шуткой, не то конфузясь. — Ишь вѣдь ты какъ глядишь! Нехорошо это, мой другъ, дурно! Ежели и есть въ тебѣ что-нибудь этакое, такъ ты долженъ стараться себя побѣдить!

— Это у меня, тетенька, отъ природы-сь. У лапеньки такіе глаза были и ко мнѣ отъ него перешли. Ахъ, тетенька, вѣдь я сирота!

Онъ произнесъ послѣднія слова такъ жалобно и при этомъ такъ крѣпко прижалъ губы къ ся рукѣ, что она не могла его не пожалѣть. Ей было съ небольшимъ сорокъ лѣтъ, и сердце ея еще не замерствѣло. Напротивъ того, отъ

спокойной жизни она даже расцвѣла. Мужчина въ сорокъ лѣтъ дѣйствительно вступаетъ въ періодъ холоднаго разсужденія и осмотрительности, а женщина въ эту пору именно и становится неосмотрительною. Покуда есть у нея молодость да красота—она кокетствомъ занимается; а чуть дѣло модъ гору понизо—у нея и ушки на макушкѣ. Именно это самое случилось и съ Арипой Михайловной. По уходѣ Удалого, всѣ сомнѣнія относительно его личности окончательно разсѣлились. Она все припомнила. Дѣйствительно у нея была кузина не Даша, а Маша, которая сначала за Недотыкипа вышла, а потомъ овдовѣла и вышла... да, именно, за Удалого и вышла! И нашенька-покойникъ сколько разъ, бывало, говаривалъ:—«Гдѣ-то теперь наша «удалая» хвосты треплетъ?..» А это она самая и была! Да и о Мстиславѣ Удаломъ она гдѣ-то слыхала... когда, бишь?.. Въ дѣвицахъ еще, должно-быть, когда была, а только навѣрное слышала... Стало-быть, Тимошей-то и взаправду приходится ей племянникомъ.

— «Ахъ, эти сироты! Ни отца у него, ни матери! Вошь и сергучонко на немъ... ничего еще сергучокъ, а вес-таки... А приодѣнь-ка его да приглядь--тѣ ли изъ него выйдетъ!

Я не буду описывать здѣсь подробности послѣдовавшаго затѣмъ сближенія, такъ какъ не мастеръ въ воспроизведеніи любовныхъ эпіодей, да и изъ дѣлу онѣ въ настоящемъ разсказѣ не относятся. Но не могу не отмѣтить, что въ короткое время Арина Михайловна совѣмъ растерялась. Она настолько подчинилась охватившей ее страсти, что даже о внутренней политикѣ позабыла и перестала проричать. Пускай суды оправдываютъ, пускай расхищаютъ власть, пускай изъ земскихъ сундуковъ исчезаютъ мужицкія денюжки, пускай желѣзнодорожныя поѣзда другъ друга въ любовь бьютъ!—дѣла ей ни до чего нѣтъ. Вся она, всѣмъ своимъ существомъ, неслась къ ненаглядному «сиротѣ», который случайно шелъ мимо, да и пришелъ. Пришелъ и нашолъ ей жизнь теплою, свѣтлою, счастливою! Даже на деньги она получила совѣтъ иной взглядъ, и ежели не говорила прямо, что онѣ на то и даши, чтобъ ихъ тратить, то потому только, что она просто-на-просто тратила, не размысливая, въ силу какихъ логическихъ построеній она такъ поступала.

Съ своей стороны Удалой былъ весьма признателенъ. Когда она подарила ему сюрпризомъ щегольскую сергучую пару, то онѣ съ такимъ увлеченіемъ бросился цѣло-

вать ея руки, что она, вся взволнованная, автоматически твердила:

— Ну, вот! ну, вот! вотъ опять какъ радуется... Ахъ, бѣдный ты мой!

На что онъ скромно и жалобно отвѣтилъ:

— Ахъ, тетенька, вѣдь я—сирота!

За первымъ подаркомъ послѣдовали другіе. Прекраснѣйшая скунсовая шуба, потомъ ланка-боярка, потомъ часы, а также и деньги. Онъ не просилъ денегъ—ужасно онъ былъ на этотъ счетъ деликатенъ, — но она настояла. Она понимала, что молодому человѣку нельзя безъ денегъ. У него есть товарищи, друзья, съ которыми ему и повеселиться хочется, и покутить,—ну, вотъ тебѣ, мой другъ, пятирублевенская, повеселись! Молодые естественно къ молодому льнетъ—это не нами заведено, не нами и кончится. Таки-то и онъ, сироточка. Съ нею—какая она ему пара!—посидить, послушать, въ родѣ какъ жертву ей принесть, а на умѣ у него все-таки, какъ бы въ театрѣ да на дѣвчускѣ посмотреть, да съ товарищами пѣсенки попѣть! А на веселье-то деньги нужны—гдѣ ему, сиротѣ, взять? А ей для кого деньги беречь? Дѣтей у нея нѣтъ, близкихъ родственниковъ—тоже; къ кому же, сиротѣ троюродному, все со временемъ перейдетъ!

Словомъ сказать, опять въ жизни Арины Михайловны началась идиллія, но на этотъ разъ въ подданность ея вѣрjala только она одна. И Платонидушка, и старшій Савосипъ камердинеры, Евсеньчъ, инстинктивно возненавидѣли Удалого и не выражали ему своего пренебреженія только потому, что барыня при первыхъ же въ этомъ смыслѣ попыткахъ внушила имъ, что она никого служить себѣ не вынуждаетъ, что ежели кто ею недоволенъ, то на мѣсто недовольныхъ не трудно сыскать другихъ, довольныхъ...

Однажды, однако-жъ, Тимоша (она начала звать его уменьшительнымъ именемъ), вопреки своей обычной деликатности, вдругъ совершенно неожиданно озадачить ее вопросомъ:

— А что, тетенька, у васъ много денегъ?

Услышавши эти слова, она ужасно смутилась. Какъ будто что-то въ этомъ родѣ уже не разъ мелькало у нея въ головѣ, и она до смерти этого боялась. Не потому, чтобъ она жалѣла денегъ, — она даже что есть на свѣтѣ разсчетливости позабыла, — а потому, что ей было стыдно. И вотъ, наконецъ, оно пришло. «Вотъ оно!» — подумалось



ей какъ-то само собою, и она почти со страхомъ его спросила:

— На что тебѣ?

— Такъ. Вы, тетенька, женщина; съ деньгами обращались мало. Получаете проценты съ капитала, а тотъ ли это процентъ, и въ какомъ смыслѣ его слѣдуетъ понимать—это вамъ неизвѣстно. А проценты-то—онѣ разныя. Одно дѣло—пять копеекъ съ рубля, другое—десять и двадцать, а наконецъ и капиталъ на капиталъ.

Въ голосѣ, которымъ онъ высказалъ эту финансовую теорію, не слышалось ни нетерпѣнія, ни особенной личности, но при словѣ «процентъ» у Арины Михайловны словно голову туманомъ застлало. Она сидѣла, опершись подбородкомъ на одну руку, а пальцами другой руки перебирала по столу. И молчала, точно даже забыла, что нужно что-нибудь отвѣтить.

— Вы, тетенька, гнѣваетесь?—спросила онъ ее съ ласковымъ укоромъ.

— Ахъ, ибѣтъ! что ты! что ты! Это я такъ... О чемъ, бишь, ты спрашивала? о деньгахъ?

— Такъ, глупость въ голову пришла... Оставьте этотъ разговоръ! Забудьте, тетенька, прошу васъ, забудьте!

— Что-жъ тутъ такого—отчего не поговорить? Поговоримъ! Ну, ну, хорошо, не сердась! Если не хочешь говорить, такъ и не будемъ... Да отстань, безпутный... не стану! Вотъ съ ними, съ деньгами—только грѣхъ отъ нихъ! Ты бы лучше къ товарищамъ пошелъ, повеселился бы... Хочется? а?

— Позвольте! тетенька!

— И прекрасно. Вотъ тебѣ красенькая, сдѣлай себѣ удовольствіе! Ахъ, спроточка ты мой, спроточка! Тетеньку свою пожалѣлъ? а? А подумать ли ты, мой другъ, что если бы всё-то капиталъ на капиталъ...

— Оставьте, тетенька! Прошу васъ, оставьте! Простите, не буду! Простили? Ну, вотъ и панька! Можно ручку поцѣловать?

Весь этотъ вечеръ Арина Михайловна была взволнована. Въ мысляхъ ея носился хаосъ, но она чутьемъ угадывала, что готовится что-то чрезвычайное. И вотъ опять, послѣ недавнихъ дней забвенія, передъ ней воскресло прошлое, а вмѣстѣ съ нимъ и та причина всѣхъ причинъ, которая разбила это прошлое. «Все отсюда, все оно, это злое, ужасное дѣло!» твердила она себѣ, ворочаясь съ боку

на бокъ въ тишинѣ безсонной ночи. Кабы не оно, жила бы она теперь въ Присыпкинѣ, и Савося при ней, и всего было бы у нихъ вдоволь! И индюшечка своя, и курочка своя, и картофельцу, и морковки... Ужъ Савося денегъ не растратяжилъ бы, онъ за десятирублевенькой-то сто разъ бы въ ящикъ сходилъ, прежде чѣмъ разстаться съ нею! А она—натко—каждый день, каждый день! То пятирублевенькую, то десятирублевенькую... вынь да положь! И куда только онъ, распостылый, деньги изводитъ... Не иначе какъ съ мамзелями проклажается! А къ ней придетъ: «тетенька, позвольте ручку поцѣловать»... На, мой другъ! А за обѣдомъ соусъ да бланманже... А что провизія-то, по пыпшину времени, стѣить? И что такое случилось? какимъ манеромъ, куда она, куда? Конецъ-то, конецъ-то будетъ ли? Ахъ, Савося!

По Савося не приходилъ, а камень между тѣмъ былъ брошенъ, и Арина Михайловна убѣдилась, что до тѣхъ поръ она не успокоится, покуда не вытащитъ его.

— Что ты такое насчетъ процентовъ вчера говорилъ? — начала она на другой день уже сама.

— Забудьте, милая тетенька, прошу васъ, забудьте!

— Загѣмъ забывать, коли что выгодное предвидится, такъ мнѣ и самой любо! Я вотъ теперь пять копеекъ со своихъ билетовъ получаю... мало, что ли, говори!

— Мало, тетенька, такъ мало... даже обидно! Ужъ десять-то процентовъ — это вамъ всякій съ удовольствіемъ дастъ!

— А какъ же съ билетами-то съ моими... себѣ, что ли, онъ ихъ возьметъ, или такъ?

— Извините, тетенька, я васъ не понимаю.

— То-то вотъ: не понимаешь, а судишь! Опрочь, что ли, онъ мнѣ десять процентиковъ отсчитаетъ, а билеты само собой, или ужъ съ билетцами съ моими распространиться придется... ахъ, голубчики!

— Онъ, тетенька, билеты на деньги переведетъ да деньгами, по обончанію, и расчитается. А кромѣ того проценты.

— А ежели онъ билеты-то возьметъ да съ ними и улетѣтъ?

— Помилуйте, а обезпеченіе? Домъ, напримѣръ, или имѣніе... Да позвольте, я къ вамъ Ому Омича приведу: онъ для васъ это дѣло кругомъ пальца обвертнуть.

Привели Ому Омича. Передъ Ариной Михайловной

предсталъ сѣденымъ, но еще бодрый старичокъ, въ синемъ свертукѣ стараго фасона и въ чистой коленкоровой манишкѣ. Въ этотъ день онъ выбрился, вымылъ лицо мыломъ, волосы помадой вымазалъ, сапоги со скриномъ надылъ, точно къ причастію собрался. Брови у него были густыя и стояли дыбомъ; изъ продолговатыхъ поздней лѣтъ волосъ; на щекахъ и на носу запекся фиолетовый румянецъ. Велъ онъ себя солидно, и когда Арина Михайловна попросила его сѣсть, то сначала сказалъ: «постою-съ», а потомъ сѣлъ. Но когда, во время бесѣды, собесѣдница, хотя и невзначай, возвышала голосъ, то онъ, какъ бы подъ вліяніемъ страха, приставалъ. Говорилъ ровнымъ и пріятнымъ тепоркомъ; когда сморкался, то, въ знакъ почтенья, отвертывался въ сторону, а когда на колокольнѣ раздавался звонъ — хотя бы это былъ бой часовъ — творилъ крестное знаменіе. Сначала онъ разсказалъ, что у жены его, двадцать лѣтъ тому назадъ, ноги отнялись — такъ и до сихъ поръ она на кровати безъ движенія лежитъ; что родители у него были дмитровскіе мѣщане, а онъ, съ теченіемъ времени, въ Москву переиначился; что у него двое дѣтей: сынъ да дочь; сына онъ, за непочтенье, проклялъ, а дочь за хорошимъ человѣкомъ замужемъ, и теперь они рыбную ловлю въ Ханиловскомъ прудѣ снимаютъ и, слава Богу, едятъ. Затѣмъ повелъ рѣчь о купцахъ и сдѣлалъ общее замѣчаніе, что у нихъ въ настоящее время отъ прежняго благосостоянія остались только жены толстыя, семьи большія, свои лошади и злые собаки при домахъ, но денегъ уль ибѣтъ. Поэтому въ Москвѣ теперь ничѣмъ не занимаются, только ищутъ. Кому не очень нужно, тотъ восемь копеекъ за рубль дастъ; ежели у кого пужда ерественная, тотъ дастъ десять и двѣнадцать копеекъ, а ежели у кого зарѣвъ — не прогнѣвайся, и всѣ тридцать заплатитъ. Но не иначе, какъ подъ вѣрпое обезпеченіе. Такимъ манеромъ оно и идетъ. Который слышетъ — тотъ какъ будто на время поправится, а который не слышетъ — баланецъ подводитъ.

— Такъ что ежели у кого теперича свободный капиталъ есть, — говорилъ онъ: — тотъ хорошую пользу можетъ получить. Только нужно надо разсматривать, а по ней и процентъ назначать. Вотъ у меня знакомый купецъ Трифоновъ, въ Ножовой линіи торгуетъ, тому хоть и не пужно, а и онъ, для оборота теченія, восемь процентовъ съ радостью дастъ. Опять же другой есть купецъ, Сыровъ Карлъ

Десятьгичь,—тому средственно деньги пужны, онъ десять-двѣнадцать копеекъ заплатитъ. А тутъ же, на углу, господинъ Фарафонтьевъ—этотъ и за двадцать пять копеекъ въ ножки поклонится. Вотъ какъ, сударыня.

— Ну, двадцать-то пять ужъ грѣхъ! — посоветилась Арина Михайловна.

— Много нынче грѣха, сударыня. Ежели все-то сосчитать, такъ камня на камнѣ въ Москвѣ не останется. Бываютъ, доложу вамъ, и такія дѣла: взбѣется купеческій сынъ и зачнетъ, при жизни родителей, капиталы объявлять—ну, этотъ и рубль на рубль съ удовольствіемъ посулитъ. Только я вамъ, сударыня, на такія дѣла идти не совѣтую. По-моему, лучше десять копеекъ на рубль пошлеть, только чтобы вѣрно!

Словомъ сказать, говорилъ резонно. Съ своей стороны и Арина Михайловна внимательно выслушала предложенія старичка и даже не оставила ихъ безъ возраженія.

— Боюсь я, — сказала она: — не твердо нынче у насъ. Законы хоть и есть, да сумнительные: ни-то слѣдуетъ ихъ исполнять, ни-то не слѣдуетъ; правители есть, да словно въ отлучкѣ... Намедни съ сосѣдки двухъ куриць со двора свези—она въ кварталъ, а приказные надъ ней же смѣются. Не въ то, видишь, мѣсто пришла. Ступай, говорятъ, къ Калужской заставѣ... Ближнее мѣсто!

— А у насъ обезпеченіе, сударыня, будетъ. Въ случаѣ чего мы и запрещеніе наложимъ. И насчетъ правителей вы напрасно беспокоитесь: у насъ ихъ даже въ палинствѣ-съ. Только вотъ въ центру никакъ не могутъ понасть—это такъ! Не беспокойтесь, сударыня. У насъ все будетъ по-благородному; какъ взяли, такъ и отдай. А проценты — впередъ-съ!

Однимъ словомъ, «лукавый» одержалъ полную побѣду. Только одну сдѣлку съ совѣстью допустила Арина Михайловна: объявила не весь свой капиталъ, а тысячь сорокъ утаила. Она Ѳомичъ повернулъ дѣло круто. На другой же день къ Аринѣ Михайловнѣ явился будущій залогодатель, купецъ Воротилицъ, молодой мужчина, плотный, точно изъ древесной пакли выточенный, веселый, румяный, съ русою бородой и съ сѣрыми глазами на выкатѣ. И онъ дѣвушекъ знаетъ, и дѣвушки его знаютъ—по всей Дербеновскѣ слава о немъ гремитъ. Онъ объявилъ, что хотя деньги занимаетъ единственно «для обороту теченія», но десять копеечекъ заплатитъ съ удовольствіемъ; что домъ, который

будетъ служить обезнеченіемъ, чисть какъ огурчикъ и, за всѣми расходами, даетъ сходу десять тысячъ; что еще надаяхъ Коня Коничъ подь этотъ домъ сто тысячъ предлагаь, да онъ не взялъ, потому что предпочитаетъ дѣло дѣлать по-благородному. Затѣмъ Арину Михайловну повали по Москвѣ возить и въ одинъ день окрутили. Сначала отслужили у Иверской молебень и поѣхали къ Триумфальнымъ воротамъ домъ смотрѣть. Приѣхали, встали все четверомъ на тротуарѣ по другую сторону улицы — видятъ: дѣйствительно стоитъ домъ трехэтажный, каменный, бѣлою краской выкрашенъ. Средній этажъ подь трактирнымъ заведеніемъ, вверху—номера («ежели примѣрно у насъ съ вами, мадамъ, раддеву.—такъ вотъ сюда-съ», фамиллярно пояснитъ Воротиловъ, и Арина Михайловна хотя поморщилась, но смолчала: разстроить «дѣло» побоялась); внизу, по одну сторону воротъ, «завѣденье», по другую — портернал; въ одномъ подвалѣ—прачки живутъ, въ другомъ—ночлежникиовъ пускаютъ; во дворѣ—все помѣщеніе снимаютъ извозчики. Пошли и во дворъ; Арину Михайловну такъ и ошибло запахомъ навоза и трактирныхъ помоевъ; по Воротиловъ и Тома Томичъ съ наслажденіемъ вдыхали гнусные ароматы, которые такъ и валили изъ всѣхъ падворныхъ отверстій этого дома.

— Денги-то и завсегда такъ пахнутъ,—хвалился Воротиловъ:—а клопа здѣсь сколько! Кажется, ежели весь собрать, такъ Москву-рѣку запрудить можно!

Мало этого: «для вѣрности» («чтобы вамъ, мадамъ, безсумленія было») дворника Антова кланкуди, и дворникъ тоже удостовѣрилъ, что домъ настоящій, московскій, и квартирантъ въ немъ живетъ тоже настоящій, что хозяинъ хоть сколько угодно плату на него набавляй — все равно этому квартиралту дѣваться некуда.

Осмотрѣвши домъ, поѣхали на Плющиху, въ переулочъ, къ нотаріусу. А тамъ ужъ и закладная готова, и надпись внизу: «Я, нотаріусъ Печенкинъ, въ своемъ собственномъ присутствіи» и т. д. Словомъ сказать, все какъ слѣдуетъ.

— Теперь остается только вручить-съ,—сказалъ господинъ Печенкинъ торжественно:—вы, Арина Михайловна, Спиридону Прохорычу денежки пожаауете, а Спиридонъ Прохорычъ — закладную-съ. Такъ и обмѣняйтесь. А расходи—на счетъ залогодателя.

И тутъ Воротиловъ выказалъ себя веселымъ и податли-

вымъ малымъ. Хотя Арина Михайловна привезла въ уплату не деньги, а банковые билеты, по оны за разницей не погнался и принять билеты рубль за рубль, и проценты впередъ полностью отдать.

— Убытку я тысячи двѣ, барыня, черезъ вась потерпѣлъ,—сказалъ оны:—ну, да ужь что съ вами подѣлаешь! Видно, въ другомъ мѣстѣ наживать надо. Только вотъ что: вспрыснуть нашу сдѣлочку требуется,—это ужь какъ угодно!

Но Арина Михайловна наотрѣзь отказалась. Тогда Воротилинъ ужь совсѣмъ нагло сталъ ее упрямивать—«хоть Тимофея Стиславича на сегодняшний день одолжить, а къ завтраму мы вамъ его опять въ полное удовольствіе во всей красотѣ предоставимъ». Арина Михайловна совсѣмъ зааѣблаась и посиѣшила уѣхать домой.

Дома она вдругъ почувствовала гнетущую пустоту. Какъ будто душу изъ нея выпули или такое надругательство сдѣлали, что она ничего настоящимъ манеромъ понять не можетъ, а только чувствуетъ, что ноги у нея подкашиваются. Пѣсколько разъ она заирала закладную въ денежный шкапчикъ и опять ее оттуда вынимала, и всякій разъ ее поражали слова. «Я, потарюсъ Печенкинъ, въ собственномъ своемъ присутствіи...» Что-то какъ будто неладно; словно насмѣшкой какой-то звучать эти странные слова... И не съ кѣмъ ей посоветоваться, никому показать, не у кого спросить! А все оно, все это «злое, ужасное дѣло»! Кабы не «оно», сдѣла бы она теперь... Савося! ангель-хранитель, неужто ты такъ ипустишь! Охъ, грѣшная, прегрѣшила! охъ, прегрѣшила!

Никогда она не проводила такой мучительной ночи. Ночи совсѣмъ глазъ не смыкала и все припоминала. Никакой у нея ни Даши, ни Маши не было. Была кузина Наташа Педотыкина, дяденьки Сатира Платоныча дочь, такъ и та умерла: мужъ искалѣчилъ. Вотъ о Метиславѣ Удаломъ она точно что слынала... Когда, бишь? Помнителъ, что еще въ дѣвкахъ она въ то время была, а впрочемъ, можетъ, и отъ Севастьяна Игнатьича. Однако, можетъ, бишь, и Маша... Какая это Маша-кузина у нея была? Не смѣшалъ ли Тимою? Не въ Савосиной ли роднѣ была кузина Маша? Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»! Понадѣлали какихъ-то потарюсовъ да какихъ-то «собственныхъ свои присутствія»—пу, какъ тутъ не пропасть?! Какъ не погибнуть въ этомъ омутѣ огомѣлаго, озлобленнаго хищничества, гдѣ

всякій думаетъ только о томъ, какъ бы ближняго своего заллотать! Что ему счастье человѣческое? что ему человѣческая жизнь?—тъфу! Ахъ, это «злое, ужасное дѣло»— вотъ оно къ чему привело!

Полная этихъ разрозненныхъ мыслей, она въ невыразимой тоскѣ всакивала съ постели и ходила изады и впередъ по комнатамъ. Ходила, ходила, пока утомленіе снова не загоняло ее въ постель. Но ежели ей и удавалось на короткое время забыться, то и во снѣ на нее нападали вольѣ, врываясь когтями въ ея грудь и начинавъ грызть.

Утро встало холодное, мрачное. Во многихъ домахъ еще съ огнями сидѣли, а двери у кабаковъ ужъ визжали. Арина Михайловна съѣла на обычномъ мѣстѣ у окна и сквозь заиндевѣвшія стекла автоматически смотрѣла на темныя силузты прохожихъ, стремившихся по направленію къ кабаку. Одинъ, другой, третій—вонъ ихъ сколько! Безсознательно она выпила чай и съѣла цѣлую гривенную просвиру, потому что, не спавши ночь, была голодна. Затѣмъ, когда ужъ совсѣмъ развѣло, она начала идти. Пробило девять, десять часовъ, а Удалого—пѣтъ какъ нѣтъ. Опъ, впрочемъ, и прежде никогда въ эту пору не приходилъ, но ей почему-то казалось, что *сегодня* онъ *обязанъ* быть придти. Наконецъ пробило и двѣнадцать.

Арина Михайловна не вытерпѣла—захватила закладную и поѣхала. Реакція произошла въ ней такъ быстро, что она почти ужъ не сомнѣвалась. Приѣхала къ Триумфальнымъ воротамъ, вошла въ ворота «заложеннаго» дома и кликнула дворника Антона. Такого не оказалось.

— Какъ же это? Вчера мы все вчетверомъ здѣсь были и съ Антономъ разговаривали?—добивалась она съ какой-то горькой настойчивостью.

— Можетъ, и разговаривали съ Антономъ, только дворника такого у насъ нѣтъ.

«Вотъ оно!»—мелькнуло у нея въ головѣ.

Въ переулкѣ, на Плющихѣ, она даже дома, въ которомъ вчера помѣщалась нотаріальная контора, не могла признать. Все дома были на одинъ манеръ, и ни на одномъ не было нотаріальной вывѣски. Ей почудилось, что она въ адъ попала, и бѣсы около нея кружатся. Вотъ Гома Гомиць, вотъ Воротилянъ-купецъ, а вотъ и онъ... самъ Тимоня! Ишь, распостылый, глазищи выгарациль, такъ петлю за петлей и закидываетъ!

«Какъ предсказала, такъ и сбылось!—подумалось ей. — Взялъ ты меня, поморенную курицу, оцигаль и какъ захотѣлъ, такъ и скушалъ!»

Съ Плющихи она поѣхала на Тверскую, уже къ настоящему потариусу, вынула закладную и показала:

— Вотъ я вчера совершила... взгляните!

Потариусъ чуть не прыснулъ со смѣха, но взглянуть на нее и воздержался.

— Надо къ прокурору-съ, — сказать оны: — не медлите-съ!

Однако она жаловаться прокурору не пожелала, а поѣхала къ Иверской, вспомнивъ, какъ вчера о счастливомъ «свершении» молилась. Тутъ она долгое время стояла какъ потерянная, вверивъ глаза въ образъ и не молясь; но когда раздалась слова канона: «потщися! погибаетъ!»—она вышла впередъ и, вся дрожа, словно въ лихорадкѣ, пропѣла:

— Владычица... видѣла? Ты... Ты... Ты... видѣла?!

Наконецъ воротилась домой и съ крикомъ: «все оно! все это злое, ужасное дѣло!»—ушла на постель и такъ мучительно зарыдала, что всѣ домашніе сбѣжали въ соседнюю комнату и, блѣдые и оцѣпенѣлые, ждали окончанія кризиса.

Съ слѣдующаго же дня жизнь Арины Михайловны пошла по-новому. Она чувствовала, что весь воздухъ около нея пропитался срамомъ, что она сама вся съ ногъ до головы срамная, срамная, срамная! И ежели она не убѣжала изъ этого срамного дома, то потому только, что бѣжать отсюда некуда. Но мысль о возможности жаловаться или хлопотать на разу не представилась ей уму. Этакой срамъ, да еще нести его на судъ—Боже избави! Надо его погребсти, надо совѣмъ забыть этотъ срамной утаръ, въ которомъ она растеряла и умъ, и стыдъ, и память о прошлыхъ, когда-то счастливыхъ дняхъ!

Какъ женщина хозяйственная, она тотчасъ же сократила размѣры своей жизни, сообразно съ тѣми средствами, которыми давалъ ей уменьшенный на двѣ трети капиталъ. Однако штатъ прислуги рѣшилась не трогать. Попрежнему при ней остался и Платонидушка, и Евсеичъ, и дворникъ Палладій, тоже изъ присыпкинскихъ дворовыхъ. Никому изъ нихъ она ничего не открыла, но всѣ видѣли съ недавнее возбужденіе и хлопоты, и понимали, что съ барыней случилось что-то чрезвычайное. И втайнѣ радовалась,



что Тимошкѣ-лучеглазому въ ихъ тихій, старозавѣтный домъ навсегда дорога замала.

Устроивши свой домашній обиходъ, Арина Михайловна усѣлась въ кресло и замолчала. Даже отъ окна отодвинулась, потому что однажды ей показалось, будто бы она прокатилась мимо на лихачѣ и сдѣлать ей ручкой. Вязальные спицы быстро шевелились въ ея рукахъ; шарфъ посылалъ за шарфомъ. Думала ли она о чемъ-нибудь во время этой работы—трудно сказать; скорѣе всего, мысли мелькали въ ея головѣ урывками, не задерживаясь и пропадая безслѣдно вслѣдъ за своимъ зарожденіемъ. Но скоро и это времяпровожденіе пришлось оставить, потому что шарфы дарить было некому, а персть между тѣмъ денегъ стояла. Пасьянсовъ никакихъ она не знала, а въ ералашъ съ тремя болванами хотя и попробовала сыграть, но это занятіе слишкомъ живо напоминало *его*. Со всѣхъ сторонъ она чувствовала себя безпомощною. Ничего она не знала, ни къ чему не чувствовала охоты. Однако жила же она прежде? И не какъ-нибудь жила, не сложа руки сидѣла, а дѣлалъ день устраивала и ухививала. Ахъ, это «язое, ужасное дѣло»! Но теперь даже и къ этой сердечной боли, къ этой причинѣ всѣхъ причинъ, она начала относиться какъ-то туго. Извѣстъ ничто до нея не доходило; даже того лакейскаго говора она не слышала, который по всѣмъ дни стономъ стоитъ надъ Москвою. Некому было рассказать ей ни о новыхъ проказахъ суда, ни о земскихъ «штукахъ», ни о желѣзнодорожныхъ крушеніяхъ. Ничто не шло въ ея мысли, ничто не подавало повода восклицать: «зотъ погодите! ужъ еще не то будетъ!» Она знала, конечно, навѣрное, что будетъ что-то ужасное; но такъ какъ подтвердительнаго факта подъ руками у нея не было, то прориданія, даже въ ея собственныхъ глазахъ, приобрѣтали характеръ совершенно бездѣльной назойливости.

И внѣ дома, и въ домѣ,—все умерло. Тишина водворилась такая, что каждое хлопанье наружными дверьми, сообщавшими барскіе покровъ съ кухней, гулко раздавался по всему дому, заставляло ее вздрагивать. Прислуга приходила въ комнаты только за тѣмъ, чтобы зажечь въ сумерки лампу въ залѣ, накрыть на столъ, привѣять, подать, и затѣмъ вновь скрывалась по своимъ угламъ. Арина Михайловна сидѣла одна въ своемъ креслѣ и дремала.

1-го мая она отрѣзала у билетовъ купоны и лично побѣжала въ банкъ получать деньги. Теперь ужъ она никому,

кромѣ банка, не довѣряла, хотя прежде обыкновенно размѣнивала купоны въ первой попавшей банкирской конторѣ. Еще скажутъ, что купоны не настоящіе, или фальшивыми деньгами награждать—почемъ она знаетъ! Съ тѣхъ поръ какъ это «злое, ужасное дѣло» сдѣлалось—всего можно ждать. Даже въ банкѣ объявленія стали вывѣшивать: просить не ходить разиня ротъ, ежели у кого деньги въ карманѣ есть. Чтѣ «ему» деньги! ужъ ежели мѣсто, на которомъ стоялъ присылкинской домъ, Платонцунка не могла найти, такъ деньги ему... тѣфу!

Выѣздъ этотъ на время ее оживилъ. Она и въ ряды сѣвздила, шерсти купила, но во время разѣздовъ такъ крѣпко зажимала въ руку маленькій кожаный сакъ съ деньгами, что развѣ ужъ жизнь у нея отнимутъ, только развѣ тогда... ну, да тогда и денегъ ей, пожалуй, не нужно! Приѣхавши домой, она раздѣлила полученную сумму на шесть равныхъ кучекъ (съ мая до ноября), а затѣмъ сѣла въ кресло и опять на время раздѣлила себѣ шарфъ вязать. А, можетъ-быть, со временемъ она подберетъ всѣ связанные шарфы подъ тѣшь, пришьетъ бокъ къ боку, и выйдетъ у нея прекраснѣйшее одѣяло.

Съ наступленіемъ красныхъ лѣтнихъ дней сдѣлалось веселѣе. Отворили окна, и изъ соседняго сада полился весенній запахи. Сначала цвѣтущей черемухой запахло, потомъ зацвѣла сирень, липа. Вмѣстѣ съ началомъ этого цвѣтенія начала мало-по-малу затягиваться и душевная рана Арины Михайловны.

Денегъ только мало. Всего двѣ тысячи въ годъ—и въ пирь, и въ мѣръ.

Тутъ и поземельные отдай, и страховку заплати, и на ремонтъ по дому часточку отдай. На сладенькое-то да на лакоменькое и нѣтъ ничего. А она, признаться, избаловалась, привыкла. Еще Савосья-покойникъ ее избаловалъ. Подадутъ, бывало, индюшку, и непремѣнно они изъ-за попова поса поспорятъ. Оба его любятъ; только онъ—ее заставляетъ взять, а она—его; возьмутъ, наконецъ, да и подѣлятъ. А теперь сколько времени она и въ глаза индюшечки не видала! Но въ особенности ее тяготилъ долгъ. Тепло въ немъ, привольно, но зато онъ четверть дохода ея сѣвдаетъ. Того гляди, зимой надо будетъ парадную половину заколотить, въ двухъ каморочкахъ пріютиться, чтобы лишнихъ дровъ не трагить. И все-таки ей казалось, что лучше она ни да кашу будетъ ѣсть, нежели съ квартиры на квартиру переѣзжать.

— Иная, пожалуй, найметъ квартиру-то да еще жильцовъ пустить, — говорила она: — около нихъ и питается. И идетъ у нихъ съ утра до вечера шумъ да гамъ, ибени да пляски, випище да табачище, а она сиди въ своей каморкѣ да помалчивай. Неужто-якъ и мнѣ такъ жить!

И вотъ судьба, какъ бы въ отвѣтъ на ея сѣтованія, улыбнулась ей. Однажды сидитъ она у окна и видитъ — мимо дома знакомый отецъ-дьяконъ идетъ. Въ рукавѣ узелокъ плотно зажалъ, полы у ряски по вѣтру развѣваются, волосы въ беспорядкѣ, лицо радостно-озабоченное, на лбу капли пота дрожатъ. Очевидно, торопится.

— Куда больно экстренно, отецъ-дьяконъ? — обликула его Арина Михайловна.

— Некогда, сударыня, сѣбшу, — отвѣтилъ онъ: — въ «банку» бѣгу, какъ бы къ пріему не опоздать. Вонъ сколько денегъ набралъ! А изъ «балки», извольте, и къ вамъ забѣгу.

Дѣйствительно, управившись въ банкѣ, отецъ-дьяконъ сообщилъ Аринѣ Михайловнѣ нѣчто весьма серьезное. Оказалось, что родился благодѣтельный для Россіи финансовъ, который «залюбовъ» вѣтъ по десяти копеекъ съ рубля платить. И живетъ этотъ финансовъ во градѣ Скопинѣ-Рязанскомѣ и отголѣ на всю Россію благодѣянія изливаетъ. Кто принесетъ ему тыщу — тому онъ сто рублей, кто двѣ тыщи — двѣсти. Живи какъ у Христа за пазухой. Хочешь все истратить — все истрать; хочешь прикупить — прикапливай; накопишь — опять къ нему иди. А онъ наберетъ денегъ, да изъ интереса желалющимъ и раздаетъ. Иному — подѣ обезпеченіе, другому — который, значить, пографить сузѣлъ, мнѣше объ себѣ пріятное внушилъ — просто «залюбовъ», подѣ расписку. Саднѣе и пиши: столько-то тыщъ сполна получилъ, а когда будутъ деньги — отдамъ. Только и всего. И такъ онъ этою выдумкою всѣхъ обрадовалъ, что теверича ежеди у кого хоть грошъ въ кошнѣ зацутался — всѣ къ нему бѣгутъ. Потому дѣло чистое, у всѣхъ на виду. И «банка» такая при господинѣ Рыковѣ выстроена, которая у однихъ беретъ деньги, а другимъ выдаетъ, а Скопинѣ-градъ за все про все отвѣчаетъ. Стало-быть, чуть какаѣ заминочка — сейчасъ можно этотъ самый градъ, со всѣми потрехами, «сукиону» продать. А кромѣ того и объявленіе отъ господина Рыкова печатное ко всѣмъ разослано, а подѣ нимъ подписано: «Пе-

чатать дозволяется. Цензоръ Вируковъ \*)). Стало-быть, и со стороны начальства одобреніе видится.

— Вотъ и нашъ причтъ заблагоразсудить,— объявился отецъ-дьяконъ: — какіе у кого рублѣшки сбереглись — всё въ градъ Скопинъ при просительномъ письмѣ къ господину Рыкову преслать. А причетники такъ даже ложки у кого свѣтленькія были, и тѣ продали, въ чайникъ, что господинъ Рыковъ впоследствии угробить. Для этого собственно я и въ государственнѣйшій банкъ бѣгалъ въ родѣ какъ довѣренный. Сдалъ наличностью полностью—и прагъ. А оттуда она по телеграфу—въ Скопинъ-градъ.

Отецъ-дьяконъ останоуился и издалъ губами звукъ, какъ деньги по телеграфу въ Скопинъ побѣгутъ.

— И вамъ, сударыня, совѣтую, — продолжалъ онъ. — Конечно, по нынѣшнему времени, и пятнадцать копеечекъ подъ вѣрный залогъ охотно дадутъ, да залоги-то нынѣшніи его потому да свищи! А тутъ, въ «банкѣ», разлюбившее дѣло: положить деньги, и уповай!

Разсказалъ отецъ-дьяконъ, точно на бобахъ развелъ, наполнилъ чаю и ушелъ. А Арина Михайловна задумалась. Какъ ни расчитывай, какъ ни сокращай себя, а на двѣ тысячи рублей, имѣя на рукахъ цѣлый домъ, трудно прожить. А господинъ Рыковъ между тѣмъ на тотъ же самый капиталъ четыре тысячи выдастъ — вѣдь это разомъ удвоить ея доходъ. Ежели она даже не очень понравится господину Рыкову, такъ и тогда онъ восемь-то копеечекъ навѣрное дастъ. Восемь копеекъ — это уже всёми даютъ. И причтамъ церковнымъ, и раненымъ, а кто по интендантской части деньги нажилъ—тѣмъ больше. Что, ежели и она, по примѣру прочихъ... положимъ, не весь капиталъ, а тысячъ этакъ тридцать... вотъ девятьсотъ рубльковъ и въ карманъ!.. Это ежели по восьми копеекъ, а коли по десяти... тутъ ужъ другой будетъ разговоръ! И расходы по дому, и отопленіе, и прислуга— все тутъ. А дьяконъ— онъ деньгамъ счетъ знаетъ; не подѣзеть онъ сбуха-баракты: извольте, господинъ Рыковъ, наши денюжки получить! Итъ, онъ почешетъ да и почешетъ затылокъ, прежде нежеланную монну выворотить!

Въ принципѣ Арина Михайловна рѣшила вопросъ очень скоро. Тутъ не частный человѣкъ, въ родѣ Воротиллина,

---

\*) Очевидно, что о. дьяконъ ошибся: цензора Вирукова въ это время не было въ цензурномъ ведомствѣ.

деньги береть, а банкъ — все равно что ломбардъ. Банка не спрячешь. И притомъ дѣло ведется чисто, у всѣхъ на знати: сколько одѣхъ провѣрокъ! Ужь ежели тутъ невѣрно, стало-быть и вездѣ невѣрно: и билеты ся невѣрны, и домъ невѣрентъ — ложись въ гробъ и умирай! Однако и за всѣмъ тѣмъ, какъ женищина, недавно еще выдержавшая глубокое матеріальное и нравственное потрясеніе, она все-таки рѣшилась предварительно самолично удостовѣриться, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать городъ Скопинъ, и точно ли находится въ немъ банкъ, о которомъ съ такой выгодной стороны отозвался отецъ-дьяконъ. Слыхала она про Скопинъ, когда еще въ дѣвкахъ была, что это тотъ самый городъ, въ которомъ никому жить незачѣмъ, — ну, да вѣдь иногда и калѣку Богъ умудритъ. У насъ и сплошь такъ бываетъ: лежитъ куча павоза, и вдругъ въ ней человѣкъ зародится и начнетъ вертѣть. Вертитъ-вертитъ — смотришь, началъ-то онъ съ покушки для города новой пожарной трубы, а кончилъ банкомъ! Вотъ ты его и ловимай!

Сѣла Арипа Михайловна на машину и поѣхала. Видитъ: городъ не городъ, село не село. Воняетъ. Жителей — десять тысячъ. И въ томъ числѣ двѣ тысячи кредиторовъ. Со всѣхъ концовъ Россіи слѣпые да хромые собрались, поселились въ слободѣ, чтобъ поближе къ процентамъ жить, и уповаютъ. Тутъ и пошп заштатные, и увѣчные вошпы, и даже одинъ интендантъ. Интендантъ жениться собрался. Пошла она по городу банкъ искать, пришла на площадь, а онъ тутъ какъ тутъ: пожалуйте! Она-было прочь бѣжать: сгниль-пропади! — ахъ штъ, бѣжать не приказано! Дѣлать нечего, пришлось къ директору съ повинной идти. Тотъ слова не сказалъ, сразу десять процентовъ опредѣлилъ и бумажку ей въ руки далъ: идите къ бухгалтеру. Бухгалтеръ взялъ билеты, раскрылъ большущую книгу и сказалъ:

— У насъ, сударыня, на итальянскій манеръ. Сначала вотъ въ этомъ мѣстѣ тридцать тысячъ запишемъ — это будетъ «лого»; значить: ваше. А потомъ ихъ же вотъ въ этомъ мѣстѣ запишемъ — это будетъ «nostro»; значить: наше. И нашимъ, и вашимъ. А затѣмъ вотъ вамъ, сударыня, фитапецъ — значить: адью!

Такъ и уѣхала она изъ Скопина, песолоно хлѣбавни.

— Такъ у нихъ просто, такъ просто! — рассказывала она отцу-дьякону, прѣбавши въ Москву: — сначала пальмо записали, потомъ — направо и, окруживши такимъ манеромъ, выдали фитапецъ.

— Вот до чего люди дошли!—умилялся отецъ-дьяконъ.

Прожила Арина Михайловна такимъ образомъ лѣтъ пять сряду и, нечего сказать, благородно прожила. Проценты получала своевременно и сполна, и не разъ подумывала о томъ, не свезти ли ей и остальные десять тысячъ къ господину Рыкову, но откладывала да откладывала—такъ и проспидѣла, не выполнивши своего намѣренія. И такъ какъ ничто столь не украшаетъ человѣка, какъ спокойное житіе, то она мало-по-малу начала и объ «этомъ зломъ и ужасномъ дѣлѣ» забывать. Напротивъ, стала находить, что «нѣкоторое» даже хорошо вышло. Благодѣтельный для Россіи финансистъ ужь народился, а со временемъ, чего добраго, народится и благодѣтельный для Россіи публицистъ. То-то пойдутъ у насъ смѣхи да утѣхи! Присышкино-то, думали, пропало, а оно вдругъ опять... тѣфу! тѣфу! тѣфу! Какъ бы только не слазить! Но ей и безъ Присышкина настолько хорошо, что она даже дичиться людей перестала. Къ ней ходитъ и отецъ-дьяконъ, и отецъ-протоиерей, и супруги ихнія, а иногда зайдетъ выкушать чашку чаю и самъ господинъ квартальный. Сидятъ они и разговариваютъ, какъ пьиче всѣмъ хорошо и какая это для всѣхъ лѣгость, что г. Рыковъ въ Скопнѣ «банку» открылъ и оттуда на всю Россію благодѣліе изливаетъ. Однажды даже самъ Семенъ Семеновичъ зашелъ къ ней, прочиталъ монологъ изъ «Гамлета», потомъ вскочилъ, за что-то ее обругалъ, крикнулъ: «ахъ, ничего-то вы, идола, не понимаете!»—и убѣжалъ къ Сухаревой баннѣ.

Словомъ слазати, жилось хорошо, а ожидалось еще лучше.

И вотъ, однимъ утромъ, сидѣла она на своемъ любимомъ мѣстѣ и по обыкновенію вязала шарфъ. Вдругъ видитъ, что отецъ-дьяконъ, *какъ и въ тотъ разъ*, на всѣхъ рыскахъ бѣжитъ. Но узелка у него въ рукахъ ужь нѣтъ, и лицо блѣдное и растерянное.

— Что случилось, отецъ-дьяконъ?—крикнула она ему.

— «Банка» лопнула! бѣгу!

Недавно, проѣздомъ черезъ Москву въ деревню, я воспользовался промежуточнымъ между поѣздами временемъ, чтобы поросенка купить. Сдѣлавши это, вспомнилъ объ Аринѣ Михайловнѣ и отыскалъ ее.

Домъ свой въ Четвертой Мѣщанской она уже продала и живетъ теперь у Сухаревой, въ какомъ-то неслыханномъ переулкѣ, въ крохотной квартиркѣ, по стѣнамъ которой зи-

мой погоди бѣгутъ. Живеть бѣдно: какъ говорится, съ хлѣба на квасъ. Состарѣлась, посѣдѣла, осунулась; блуза висить на ней какъ на вѣшалкѣ. Изъ прислуги осталась при ней только Платонидушка, да и та еле бродитъ. Бвсечѣ опредѣлился въ какую-то газету вольнонаемнымъ редакторомъ (изумительно, только въ Москвѣ да въ Петербургѣ это и бываетъ!), а Палладій догадался и умеръ.

Въ то же время въ Ариѣ Михайловнѣ совершилась и еще одна, довольно важная, перемена. Она выписываетъ «Куранты» и усердно читаетъ ихъ. И великій разъ, какъ прочтетъ какое-нибудь карканье, начинаетъ и въ свою очередь пророчить: «погодите! то ли еще ужъ будетъ!» Платонидушка потихоньку пожаловалась мнѣ, что «барыню» объѣдаютъ и оииваютъ какіе-то литераторы отъ Иверской (въѣсто прежнихъ приказныхъ, по случаю свободы книгопечатанія, завелись), которые отъ времени до времени украшаютъ задніе столбцы «Курантовъ» заявленіями, извѣщеніями и удивленіями. Соберутся, жрутъ водку, удивляются и судачатъ. А когда ужъ, что называется, до зѣла напыются, возьмутъ другъ дружку за руки и застонутъ: «погодите! то ли еще будетъ! вотъ увидите!»

Меня Арина Михайловна приняла довольно холодно, даже закусить не пригласила, хотя я видѣлъ, что въ столовѣ, на столѣ, стоитъ штофъ и тарелка съ ломтиками углицей колбасы. Должно-быть, иверскихъ литераторовъ поджидала.

### Письмо пятое.

Вы, конечно, ужъ знаете, что господство хищенія кончилось. Что касается до меня, то я узналъ объ этомъ изъ газетъ и, признаюсь откровенно, сейчасъ же повѣрилъ. Еще такъ недавно, на нашихъ глазахъ происходилъ такой грандіозный обмѣнъ хищеній, что многіе не безъ основанія отводили этому явленію ту же роль, какую играетъ обмѣнъ веществъ въ жизни отдѣльнаго индивидуума. И вдругъ прилетаетъ вѣсть: обмѣнъ веществъ прекратился! Какимъ образомъ? съ чего? Да такъ, ни съ того, ни съ сего. Прекратился, и будетъ съ васъ.

И радостно, и жутко. Что-то будетъ? какъ-то вынесетъ общество столь внезапную утрату? чтѣ станется съ нашими

раутами, пинниками, каганьями на тройкахъ и другими увеселеніями? выдержать ли неизбежный кризисъ торговыхъ модными, бакалейными и гастрономическими товарами? перелѣть къмъ и на какой предметъ будутъ обнажать себя наши дамочки? отыщется ли общество новыя основы для жизнедѣятельности или просто-на-просто возьметъ да и захирѣетъ?

Повторяю: и радостно, и жутко...

Откуда, однако-жь, взялась эта добрая вѣсть? кто первый ее распубликовалъ? Оказалось, что первый пустилъ ее въ обращеніе Подхалимовъ, извѣстный отвѣтчикъ, корреспондентъ и публицистъ. Я—къ Подхалимову. Любезный другъ! неужто ты не солгалъ? — «Вѣрно, говоритъ, вотъ и доказательство». Смотрю, и глазамъ не вѣрю: «Печатать дозволяется. Цензоръ Вируковъ».

О, коли такъ—стало-быть, и сомнѣнія не можетъ быть!

Вируковъ — онъ навѣрное все зараньше разсчиталъ и предусмотрѣлъ. Простофиль — около концессій пристроилъ, хищниковъ — по церковнымъ попечительствамъ раскассировалъ. Наживайтесь, простофили, а вы, хищники, кладите зубы на полку. *Sapienti sat.*

«Не обличать надо, а любить», — говаривалъ покойный Прутковъ, а я съ своей стороны присовокупляю: не сомнѣваться надо (сомнѣваться-то всякій умѣетъ!), а радоваться. Да, кетати, и близкихъ о приключившейся радости увѣдомлять. Поэтому я прежде всего сообщалъ о вычитанномъ мною извѣстіи нашему деревенскому старостѣ. «Знай, Денисъ, — писалъ я ему: — что господство хищненія кончилось — это мнѣ самъ Подхалимовъ подтвердилъ. Стало-быть, деньги, которыя прежде на сей предметъ съ мужичковъ сходили, останутся у нихъ въ кошелькѣ. А потому, ежели впрелѣ погравы или порубки въ моихъ дачахъ окажутся, то я буду въ оба смотрѣть и никакнхъ послабленій не допущу: теперь есть чѣмъ штрафы платить». А черезъ мѣсяцъ получилъ отъ старосты отвѣтъ. «И мы насчетъ хищниевъ черезъ урядника обнадѣжены, и хищниевъ теперь у насъ нѣтъ, а кон мужички допрежь сего воровали, тѣ и сейчасъ другъ у дружки взаимно поворовываютъ; только надо полагать, что сіе въ скорости прекратится, потому что въ настоящемъ случаѣ у насъ въ деревнѣ только подковы остались, а лошади всѣ до одной на уплату хищниевъ побили. И что вы насчетъ погравъ нишете — оное я объявлять, и мужички платить штрафъ согласны, только про-



сятъ, но будетъ ли милости ради такого случая два ведра на общество выставить?»

Разумѣется, я не только разрѣшилъ, но на радостяхъ написалъ къ мужичкамъ цидулу:

«Друзья!

«Называю васъ этимъ именемъ, потому что теперь вы уже не меньшіе братья, а самые достовѣрные друзья. Въ васъ, какъ нынче во всѣхъ газетахъ объявлено, здравый смыслъ проявился, а по слабому нашему времени это ахъ какъ дорого! Берегите оный, не пропивайте. А ежели кому хочется выпить, то поступайте такъ: одну рюмку—передъ завтракомъ, другую—передъ обѣдомъ, а третью—передъ ужиномъ. Подъ симъ условіемъ и я разрѣшилъ Денису просимыя два ведра выставить, и буду весьма огорченъ, ежели хотя нѣкоторые изъ васъ воспользуются симъ случаемъ, чтобы здраваго смысла лишиться. Только насчетъ штрафовъ—чтобы вѣрно было. Помните, друзья, что у насъ, интеллигентовъ, съ тѣхъ поръ, какъ хищенія кончались, только на штрафы и надежда осталась, а здраваго смысла мы еще до хищеньевъ лишились. А еще будетъ лучше, ежели вы, съ помощью крестьянскаго банка, всю угодку у меня купите. Я лишняго немного возьму, а вамъ это удовольствие доставить. Вы знаете, что я и прежде хищникомъ не былъ, а теперь и радъ бы, да руки коротки: не приказано. А ежели приказано—значить, аминь. И вамъ не совѣтую. Будьте здоровы, друзья!

*«Отставной полтавщикъ Сцицистовъ».*

Отославши это письмо, я, однако-жъ, задумался.

Какъ они должны быть счастливы, думалось мнѣ, что господство хищенія кончилось! Всѣ эти фасоны и фестоны, которые мы, правящіе классы, граня мостовыя, выдумываемъ,—все это въ концѣ концовъ вѣдь на насъ обрушивается! Кузьма Прутковъ, отъ нечего-дѣлать, уфимскую землю задешево похитилъ, а у Васьки Чувашенина отъ этого фестона загривокъ болить. Столоначальникъ департамента преуспѣяній и прогрессовъ кратчайшій способъ безъ пороха палить изобрѣлъ, а у обывателей деревни Пролѣзанной мурашки по спинѣ ползутъ. Губошлеповъ концессію получилъ, а въ селѣ Ненаѣдовѣ бабы воемъ воють. Феденька Кротиковъ рядъ рѣзвыхъ циркуляровъ издалъ, а у дедохиныхъ мужиковъ животы съ толочна подвело. Tout

s'enchaîne, tout se lie dans ce monde, какъ сказалъ нѣкогда Ламартинъ.

Самъ Подхалимовъ (теперь онъ, конечно, безъ слезъ вспомнить объ этомъ не можетъ) былъ въ свое время не прочь похихидничать. Пойдетъ, бывало, по гостинному двору и крикнетъ кличъ: «а ну-те, брюханы! чтобъ было по столько-то рублей съ каждаго купеческаго брюха, а не то я въ газетнѣхъ мораль на васъ пуцать буду!» И какъ сказалъ, такъ и сдѣлаетъ. А заугольниковскій мужикъ, бывало, дивится: съ чего, молъ, это ситцевая рубашка вдругъ на поляну дорожке стала? Ахъ она вонъ куда, на подметки Подхалимову, поляна-то ушла!

Купецъ купца къ мировому потащитъ—корела судебныя издержки плати! Кредитка подъ залогъ туляковскихъ домовъ зря деньги выдала — мордва убытки возмѣщай! Посчитайте-ка, ахъ денегъ-то и многонько выйдетъ.

И ни дедохицкiе мужики, ни Васька Чувашенникъ, ни пенафдовскiя бабы никогда ничего и ни о чемъ не знали. Думали, что это «такъ». Не знали, что губошленовскую концессию надо гарантировать, прутковское хищенiе оформить, кротиковскiе циркуляры оплатить, выдумку счастливаго столоначальника — осуществить. Да, признаться сказать, едва ли было и желательно, чтобъ они понимали и знали.

Относительно деревни самое главное условiе—это чтобъ она какъ можно дольше сохранила невинность. Въ противномъ случаѣ она захандритъ. Поэтому тѣ, которые, видя въ Губошленовскихъ раскутствахъ отчасти неизбежное зло, а отчасти свойственное цивилизованному обществу украшенiе, принимаютъ мѣры, чтобъ слухи объ этихъ интеллигентныхъ раскутствахъ не проиыли въ деревню, — поступаютъ, по мнѣнiю моему, совершенно резонно. Пускай хоть думобы, древлане, радимичи и пр. останутся вѣкъ района интеллигентнаго растлѣнiя; пускай хоть они спасутся. Деревня обязывается знать твердо свой окладной листъ — и ничего больше. Чтѣ пользы знать, что гужефѣдъ Губошленовъ и проворный Мовина Гудковъ вылезъ въ этотъ окладной листъ и разбѣдаютъ его точно такъ же, какъ мириады мелкихъ, но жадныхъ паразитовъ разбѣдаютъ мощный организмъ кита? Такого рода знанiе не можетъ ни возвеселить, ни удовлетворить, а только наведетъ на сердце суматоху. Спите, други, и почивайте!

Но ежели хорошо, чтобы деревня оставалась въ невѣ-

двѣи, то, разумѣется, еще будетъ лучше, если и самаго материала, на основаніи котораго составяются несвойственныя деревнѣ знанія, не окажется валяно. Или, говоря другими словами, вполне резонно и предусмотрительно поступаютъ и думаютъ только тѣ, которые ни въ Губошленовыхъ, ни въ Кротиковыхъ не видятъ ни лишнѣшняго зана, ни свойственнаго цивилизаціи украшенія. Право, Губошленовы вовсе не такъ необходимы и не такъ изящны, какъ это кажется съ перваго взгляда, и общество, будь оно хоть расцивилизованное, прожить безъ нихъ очень можетъ. Говорятъ, будто бы они настолько въѣлись въ интимную жизнь общества, настолько овладѣли умами и волей интеллигенціи, что полное ихъ устраненіе представляеть трудности почти непреоборимыя. Но прежде всего—«ночи» еще далеко не значить «совѣтъ». И согласенъ, что сладить съ Губошленовымъ довольно трудно, но попробовать и постараться все-таки можно. Напримѣръ, ежели напуститъ на него анти-Губошленовыхъ — и даже не «напуститъ», а только дать имъ возможность появиться, то Губошленовъ самъ догадается, чѣмъ пахнетъ, и будетъ постепенно себя сокращать. То же самое и относительно Гудковыхъ, Кротиковыхъ и проч. Разомъ всѣхъ ихъ вытравить — нельзя, но повсеможку—можно. Это хоть кого угодно спросите.

Но есть и еще одно вѣское соображеніе въ пользу огражденія обывательской невѣжливости, не прибѣгая къ форте-лямъ, а непосредственно воздѣйствуя на самое хищничество. А именно: какъ искусно ни оберегайте деревню отъ вторженія несвойственныхъ знаній, послѣднія рано или поздно все-таки проникнутъ въ нее. Деревня ужъ давно не живетъ тою изолированной жизнью, которая позволяла смотрѣть на нее, какъ на отрѣзанной дотомъ. Рѣдкомъ онъ теперь, тотъ пещерный мужичокъ, который родился, жить и умиралъ въ невѣдѣніи интеллигентныхъ затѣй. Нынѣшній мужичокъ многое видѣлъ лично, многое изъ видѣннаго на усъ себѣ накопалъ и многое другимъ, не выдавшимъ, поразказалъ. Онъ знаетъ, какъ Губошленовы съ Гудковыми въ столицахъ помахиваютъ, и только еще не сообразилъ, какая существуетъ связь между этимъ помахиваньемъ и имъ, проплеванскимъ короломъ. А что ежели эту связь возьметъ на себя объяснить ему окладной листъ? Право, едва ли можно навѣрное поручиться, что это дѣло недостаточное. Но, сверхъ того, и сами интеллигенты нынѣшніе стали противъ прежняго куда легкомысленнѣе. Нѣтъ—

пѣтъ, да и открываютъ сами себя. Побѣдетъ, напримѣръ, интеллигентъ на тройкѣ за городъ—вотъ тебѣ десять рублей на водку! Прибѣдетъ на звѣря охотиться—вали всей деревней въ загонщики,—вотъ вамъ сто, двѣсти рублей! Нѣтъ чтобы поприжаться: у меня, дескать, денежки трудовыя, ой-ой, какъ много я шевелить мозгами долженъ, чтобы ихъ добыть! «Плѣвъ сто рублѣвъ!» — только это неумное восклицаніе и перекачивается изъ края въ край. А гдѣ ты, позвошь спросить, рубли-то взять? откуда они въ мощпу-то къ тебѣ наполнили?.. Ахъ, сдѣлай милость!

Вотъ почему я и говорю: ежели проникательно поступаютъ тѣ, кои оберегаютъ деревню отъ вторженія псевдо-ственныхъ знаній, то еще болѣе проникательными являютъ себя тѣ, кои устраниаютъ самый матеріалъ, служащій для этихъ знаній основаніемъ.

Этихъ-то послѣднихъ дѣятелей, повидимому, и имѣлъ въ виду Подхалимовъ, возвѣщая изумленному міру, что господство хищенія кончилось.

Да, дожили-таки мы — вотъ до чего мы дожили! Губошлеповъ съ тоски въ монахи постригся; Соломонъ Мерзавскій все имѣніе нищимъ роздалъ и поступилъ кассиромъ въ общество добродетной копейки; Мовша Гудковъ плачетъ, но ѣсть акриды... Ахъ, аспиды, аспиды! Это ли не результатъ? это ли не волшебное представленіе? Живіо! брависсимо! bis, bis!

Но не привралъ ли, однако, Подхалимовъ? Какъ будто черезчуръ уже волшебно у него выходитъ... «Кончилось»... «постригся въ монахи»... «роздалъ нищимъ имѣніе»... Что-то какъ будто густо... Какія слова тутъ настоящія, какія — лишнія? Подхалимовъ — малый ловкій, но онъ не прочь поврять, а еще больше любитъ порадоваться и другихъ обрадовать. Онъ, того гляди, и отъ себя сочинить, лишь бы имѣть случай иллюковать въ своей газеткѣ. Спрось нынче на газетныя ликованія большой; и сверху, и снизу, и съ боковъ только и слышется голоса: да ликуйте же, наконецъ! Вотъ Подхалимовъ и проникся этой потребностью. Во-первыхъ, онъ по природѣ къ ней всегда былъ предрасположенъ, а, во-вторыхъ, за ликованія-то нынче по десяти копеекъ со строчки платять, за сѣтованія — по пяти, а уныніе, пытье и пристрастіе и совсѣмъ прочь гонять. Такъ что если-бъ явился, напримѣръ, съ того свѣта докторъ Фаустъ и объявилъ, что результатъ усилій человѣческой мысли и жизни исчерпывается словомъ *ничто*, то всѣ по-

росята навѣрное въ одинъ голосъ бы завопили: какъ «ничто»! а земскія учрежденія? а свобода книгопечатанія? а новые суды? а рѣшеніе кассационнаго департамента за № такимъ-то?..

Такъ вотъ не упустилъ ли, въ самомъ дѣлѣ, Подхаалимовъ чего-нибудь въ радостныхъ помыслахъ?

Сознаюсь откровенно: этотъ вопросъ предсталъ передо мной не совсѣмъ своевременно; но, разъ возникнувъ, онъ уже неотступно преслѣдовалъ мою возбужденную мысль. Я такъ давно живу на свѣтѣ, такъ много видѣлъ и, главное, такъ много помню, что, помимо убѣжденій разсудка, одинъ жизненный опытъ заставляетъ меня относиться къ газетнымъ извѣстіямъ съ осторожностью. Я помню, что когда впервые появилось слово «хищеніе» и въ газетахъ раздались по его поводу стелавія, то меня озадачило стремленіе публицистовъ щегольнуть передъ читателемъ новою новинкою. Совсѣмъ тутъ никакой новинки не было. Хищеніе, сирѣчь высасываніе выморочныхъ сокогъ, извѣстно было издревле и издревле же значилось во всѣхъ азбукахъ подъ всевозможными рубриками. Если же и воспослѣдовала, лѣтъ двадцать тому назадъ, въ этомъ отношеніи какаль-нибудь реформа, то она коснулась только внѣшнихъ приемовъ, размѣровъ и названія. Въ древности слова «хищеніе» не было, но зато было слово: «лафа», и вся до-реформенная Русь отлично понимала, что слово это означаетъ именпо высасываніе выморочныхъ соговъ. Но такъ какъ конструкция этого слова слишкомъ отзывалась провинціализмомъ и татарщиной, то понятно, что съ поднятіемъ уровня образованности почувствовалась потребность и въ поднятіи уровня терминологии. Отсюда — замѣна слова: «лафа» — словомъ: «хищничество». То же поднятіе уровня образованности не могло не повліять и на внѣшніе приемы высасыванія, устранивъ все рѣжущее и грубо-реальное и сообщивъ этому занятію характеръ порядочности и даже нѣкоторой щеголеватости. А дороговизна съѣстныхъ припасовъ, увеличеніе таможеннаго тарифа на предметы роскоши и непомѣрное вздорожаніе кокогъ довершили остальное, расширивъ понятіе о выморочности до такихъ размѣровъ, о которыхъ, конечно, и во свѣ не случилось скромнымъ эксплуататорамъ «лафы».

Старая, до-реформенная Русь вовсе не была чужда процессу сосанія; она только понимала его безъ вывертовъ, исполнѣ конкретно. Объектъ сосанія представлялся ей въ

формѣ сочащагося мяса, къ которому она принадлежала и зубами, и губами, и языкомъ, и отъ котораго отваливалась только тогда, когда вмѣсто лафы оставалось сухое, безвкусное волокно. Даже въ переносномъ смыслѣ она недалеко отступала отъ этого конкретнаго представленія; даже и тутъ ее по преимуществу привлекалъ непосредственный процессъ сосанія и тѣ результаты, которые были ясны и доступны для самаго неповрежденнаго ума.

Бывало, кто-нибудь изъ «тутошнихъ» вмѣсто исправника получить—про него говорили: «теперь ему будетъ не житье, а лафа». Или суета между «тутошними» проявится и начнетъ «прочихъ жителей» разбосмъ, лобедою и волокитою донимать—про него говорили: «ему лафа; онъ такого страху на всѣхъ напалъ, что передъ нимъ слова шкото не шкнеть!» Или «умища» подходящаго «дурака» на распутьѣ обрѣтетъ и начнетъ его «чистить»—про него говорили: «этому человѣку лафа съ неба свалилась; теперь только не зѣвай!» Или, наконецъ, такъ человѣкъ устроится, чтобы ничего не дѣлать, а только спать да жрать — про него говорили: «такую онъ лафу обрящилъ, что умирать не надо!» Даже красивую женщину (жену или любовницу) называли «лафовъ» и говорили: «ну, братъ, дорвался ты до лафы; теперь смотри на нее да стереги!»

Естественно, что для нашего образованнаго времени подобныя представленія и слишкомъ грубы, и слишкомъ узки. Нынче исравническими доходами никого не удивишь, да и «дуракомъ», ежели онъ въ единственномъ числѣ, сытъ не будешь, а надо, чтобы, по крайней мѣрѣ, хоть небольшое стадо дураковъ было въ резервѣ. Поэтому и придумали: воровать съ такимъ расчетомъ, чтобы, во-первыхъ, пельзя было съ достовѣрностью указать, кто именно обворованъ, да и самъ обворованный не умѣлъ бы себя объяснить, дѣйствительно ли онъ обворованъ, или только сдѣлался естественною жертвою современнаго вѣянія; и, во-вторыхъ, чтобы воровство, оставаясь воровствомъ по существу, имѣло всѣ признаки занятія не только не предосудительнаго, но вполне приличнаго, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и полезнаго.

Разрѣшить эту задачу взялись «хищники». «Хищниками», однако-жъ, ихъ называютъ только газеты, да и то не всѣ (нѣкоторыя даже указываютъ на нихъ, какъ на сыновъ отечества); сами же себя, въ домашнемъ быту, они называютъ «дѣльцами», а въ шуточномъ толкѣ—воротилами.

Открываетъ, напримѣръ, плутъ Архикалаки торговлю деньгами. Съ утра до вечера онъ твердитъ: «продать-купить, купить-продать»; обертывается, перевертывается, сперва въ одну книгу запишетъ, потомъ въ другую; словомъ сказати, занимается «дѣломъ». А соки между тѣмъ капля-по-каплѣ такъ и текутъ черезъ открытый кранъ въ заранѣе приготовленное сокохранилище... Или: издаетъ Фединька Кротиковъ циркуляръ совершенно философическаго содержания; не упомянуть ни о «барашкѣ въ бумажкѣ» (очень древнее выраженіе, нѣчто въ родѣ нецѣрной конституціи), ни даже о дивидендахъ (выраженіе позднѣйшее, стоящее на рубежѣ древней и новѣйшей исторіи, но нынче и его ужъ стремятся упорядочить), а только Цицеронову рѣчь «De officiis» на русскіе нравы перелагаетъ — смотришь, а незримое сокохранилище наполняется да наполняется... Или: выхлонтываетъ Губошленовъ концессию — сирѣчь, право за умѣренную плату возить обывателей взадъ и впередъ по желѣзной дорогѣ: польза-то кака! — и при семъ только одно слово прибавляетъ: «съ гарантіею» (пять процентовъ, не больше, да и то «въ томъ случаѣ, если») — и что-жъ! соки такъ и плывутъ въ поставленные на каждой станціи сокопріемники!

Таковы внутренніе и внѣшніе признаки явленія, прославившаго себя подъ именемъ «хищничества». Но не соблазняйте его показнымъ изяществомъ, а отыщите сокохранилище и постарайтесь угадать «простофилю», который наполняетъ это сокохранилище приличествующимъ содержаниемъ. Если вы это выполните, то навѣрное убѣдитесь, что между «хищничествомъ» и «лафою» существуетъ столь же несомнѣнная преемственность, какъ между червикою деревенской молодухи и изящной ботинкой модной кокетки. Неуклюжъ и тяжелъ деревенскій червикъ, но не подлежитъ спору, что онъ — отецъ легковѣсной кокеткиной ботинки.

Вотъ два факта, въ непрерываемости которыхъ мы даже ни на минуту усомниться не можемъ. Во-первыхъ, древнее преданіе и, во-вторыхъ, недавняя практика. Въ виду такой устойчивости и общепризнанности явленія, столь мало загадочнаго, — какъ надлежитъ поступить? Повѣрить ли на слово газетчикамъ, возмѣщающимъ его внезапное исчезновеніе, или же, напротивъ, отнестись къ газетнымъ ликованіямъ съ благоразумною осмотрительностью?

По моему мнѣнію, въ такихъ случаяхъ всего правильнѣе поступать на-двое: прежде всего обрадоваться, дабы

тѣмъ засвидѣтельствовать; а потомъ, буде для продолжительной радости не представится надлежащаго питанія, то постараться привести дѣло въ ясность.

Именно такъ я и сдѣлалъ. Сначала и самъ обрадовался, и мужичковъ посылалъ обрадовать (ништо имъ! за два ведра они и не такую радость на плечахъ вынесутъ!), а по прекращеніи радости — рѣшилъ дѣло привести въ ясность.

Сидѣть-сидѣть, думалъ-думалъ — что за чудо, не могу концы съ концами свести, да и шабашъ! Начнешь строить силлогизмъ, первые два термина какъ-нибудь поймашь, а третій хоть и не лови! Скользить какъ вьюнъ: вонъ онъ, вонъ онъ — ахъ пѣтъ его!

Нѣтъ, думаю, такъ нельзя. Пойду опять къ Подхалимову, объяснюсь. Пускай онъ докажетъ, — не на основаніи одной Вируковской подписи (помилуйте! развѣ это доказательство), а ясно и осизательно, — что хищничество во истину поражено остракизмомъ и не возвратится даже подъ скромнымъ наименованіемъ «лафы». И что въ будущемъ пастъ ожидается тишь и гладь — хоть шаромъ покати!

Я засталъ Подхалимова въ самомъ пріятномъ душевномъ настроеніи. Наканунѣ онъ написалъ какое-то послыханное число строчекъ, а на утро получилъ за каждую по гривеннику. Онъ только-что возвратился изъ утренняго обхода, во время котораго собиралъ матеріалъ для завтрашнихъ строчекъ, и въ ожиданіи адмиральскаго часа благодушевствовалъ. А вечеромъ — опять въ обходъ и затѣмъ, на сонъ грядущій, часа четыре сряду — строчки, строчки, строчки. Сколько посидитъ, столько и напишетъ. Собачья это жизнь, господи!

Подхалимовъ былъ малый легкій и веселый, и никогда ни о чемъ не думалъ. Матеріалъ для строчекъ онъ находилъ какъ-то внезапно: выйдетъ на улицу — тутъ и есть. Иногда онъ и по домамъ за матеріаломъ ходилъ — и тоже препятствій не видѣлъ. Осмотритъ, воротится домой, а строчки такъ сами собой и лютуютъ изъ-подъ пера; на лѣстницѣ — коверъ, въ гостиной — коверъ, на входной двери — мѣдная доска, давно, впрочемъ, не чищенная; звонки — электрическіе, въ кабинетѣ — письменный столъ. Такова квартира, а коли есть квартира — стало-бытъ, есть и хозяинъ. Вотъ и онъ: на носу пенсне, причесанъ гладко, но волосы длинные, пиджакъ подержанный, панталоны не пер-



вой молодости, подошвы на сапогахъ — палицо, сморкается часто и притомъ въ фуляровый платокъ. Запасшись этими данными, придетъ Подхалимовъ домой, посидитъ, а черезъ два часа уже плетъ въ типографію «оригиналъ», убѣжденный, что человѣка такъ живьемъ и съеваль.

Жадности въ немъ особенной не замѣчалось. Гонораръ онъ любилъ, но не до безумія. Есть деньги — онъ говоритъ: — «вотъ онѣ!», нѣтъ денегъ — говоритъ: — «надо идти на улицу!» Пойдетъ, въ участкѣ побываетъ, въ камеру къ мировому судѣ заглянетъ, въ окружномъ судѣ справится, плутократовъ (такъ называлъ онъ содержателей ссудныхъ каскъ и мѣшалъ) обойдетъ — сколько тутъ строчекъ-то выйдетъ! А ежели по гривеннику за строчку — вотъ и жить можно. Но по временамъ его озаряла мысль: «сдѣлаю дѣвицамъ удовольствіе!» — и такъ какъ осуществленіе этой мысли требовало болѣе или менѣе серьезныхъ издержекъ, то онъ отправлялся въ гостинный дворъ и облагалъ тамошнихъ старожилковъ по столько-то съ купческаго брюха. А вечеромъ принималъ нѣсколько троекъ, приглашалъ менѣе обласканныхъ фортуною публицистовъ, прихватывалъ соответственное количество дѣвицъ и бѣшеннымъ аллюромъ мчалъ всей компаніей въ «Самаркандъ».

Несмотря на легкость, съ которою доставались ему деньги, лишнихъ у него никогда не было. Какъ человѣкъ одинокій, онъ могъ бы устроить себѣ порядочную домашнюю обстановку, но онъ предпочиталъ оставаться бездомнымъ, ютился въ меблированныхъ комнатахъ, одѣвался въ магазинѣ готовыхъ платьевъ, курилъ воночія папирсы (за то только, что онѣ назывались «Слава») и водился съ такими субъектами, одно приближеніе которыхъ позывало на тошноту. Вообще, онъ не чувствовалъ ни малѣйшей потребности въ жизненныхъ удобствахъ и только въ одномъ не могъ себѣ отказать: въ ежедневномъ посѣщеніи Палкина трактира. Здѣсь онъ проводилъ лучшіе часы своей жизни; но при этомъ не преслѣдовалъ никакихъ гастрономическихъ цѣлей, а просто любилъ на загаженномъ диванѣ посидѣть и полежать. Онъ зналъ поименно не только всѣхъ половыхъ, но новарятъ и кухонныхъ мужиковъ; разговаривалъ по душѣ съ швейцаромъ, буфетчику дѣлалъ shake hands, смѣялся на плавающихся въ сажалкѣ стерлядей и ежели замѣчалъ исчезновеніе какой-нибудь особенно-крупной рыбины, то спрашивалъ, кто ее съѣлъ; безъ надобности ходилъ на кухню и въ ватерклозетъ, и вообще старался по-

казать, что онъ у Палкина, какъ дома. Обѣдать всегда по картѣ—два неизмѣнныхъ блюда: московскую сельанку и жареную утицу—и расплачивался аккуратно каждый день. Пилъ изрядно, но пьянъ не напивался, а только жуировалъ. Замѣчательно, что онъ какъ будто даже принуждалъ себя, какъ будто изобрѣталъ, какимъ бы способомъ побольше денегъ издержать, чтобы купецъ Палкинъ остался доволенъ. Въ этомъ заключалось его самолюбіе. На водку сыпалъ направо и налево: Андрею—за то, что сельанку ему подавалъ; Ивану—за то, что на машинѣ валь перемѣнилъ; Семену—за то, что воротился изъ деревни; Никанору—за то, что собрался въ деревню. И со всѣми былъ необыкновенно любезенъ: буфетчику сообщалъ повѣстия внутреннія извѣстія, а метрдотелю (изъ тирольцевъ) такія штуки-фигуры руками показывалъ, что тотъ себя отъ восторга не помнилъ. Но передъ купцомъ Палкинымъ етѣснялся и ежели, во время разговора съ нимъ, замѣчалъ гдѣ-нибудь у себя въ одеждѣ разстегнутую пуговницу, то немедленно ее застегивалъ.

Хозяевамъ газетныя, при которой онъ состоялъ публицистомъ и корреспондентомъ, онъ былъ преданъ до самоубвенія, хотя обыкновенно называлъ ихъ «міроѣдами». Какой смельчакъ имѣло въ его устахъ это слово, ругательный или ласкательный—разобрать было невозможно. Скорѣе всего—просто разузданный. Не завидовалъ онъ имъ нисколько, и даже тогда, когда ему однажды за вѣрное сообщеніе, что за истекшій годъ отъ однихъ объявленій «міроѣды» получили какую-то чудовищную сумму,—онъ только вымолвилъ: «вогъ бы теперь самое время ихъ обокрасть!» Но, разумѣется, тутъ же и позабылъ. Никогда хозяева не приглашали его къ себѣ въ качествѣ гости, но онъ и этимъ не обижался, а только говорилъ: «свиньи!» Порученія хозяйскія онъ выполнялъ быстро и буквально: нужно къ Покрову сбѣгать—сбѣгаетъ; оттуда въ Колтовскую улицу—и туда слетаетъ. «И никогда вѣдь, ироды, на извозчика не предложатъ!»—только и слышали его ропотъ въ такихъ случаяхъ. Писалъ тоже всяко: и забористо, и благодушно, и хлѣстко, и съ «прохвалою»—какъ для хозяйскаго интереса пригоднѣе. Умиленіе по обстоятельствамъ потребуется—онъ умилится; ликованіе—онъ возликуетъ; вѣра въ славное будущее—онъ и отъ вѣры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части «протраціи» даже смѣшныя каламбуры отпускалъ. Но ежели потребуется серьезно уронить

слезу—онъ слова не скажетъ, уропитъ. «Нельзя, скажетъ, безъ сердечной боли видѣть, какъ многіе, вмѣсто того, чтобы уповать...» И пойдетъ, и пойдетъ. А потомъ утретъ слезу—смотришь, и опять всёмо весело. Словомъ сказать, на всѣ руки парень: колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ; сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится. Въ гостиномъ дворѣ брюханы такъ и покатываются: «ахъ, каторжннй!»

Хозяйскнхъ враговъ (разумѣя подъ этимъ именемъ всёхъ прочнхъ газетчнковъ и даже ихъ сотрудинокъ) онъ считалъ своимн личнымн врагамн и отъ всей души ненавидѣлъ. Но когда врагъ умиралъ или инымъ образомъ со сцены дѣятельности сходилъ, то отдавалъ ему должную справедливость: это, говорить, былъ противникъ, съ которымъ приятно было дѣло имѣть. Такъ что и при жизни ругательски человѣка ругаетъ, и по смерти на могилу его напаковтъ. Но не отъ злобы, а отъ собачьей жизни.

О происхожденн его никто ничего достовѣрнаго не знаетъ. Самъ онъ происхожденн о родителяхъ своихъ неохотно; но когда его ужъ черезчуръ донекали вопросамн объ этомъ предметѣ, то восклицалъ: «да, батюшка, родился я, могу сказать, прродился!» Вслѣдствіе этого въ редакціи «нашей уважаемой газеты» мнѣнн объ его родонроисхожденн раздѣлились на-двое. Однн утверждали, что онъ родился въ Москвѣ на Дербеновкѣ, другіе—что тайну его появленн на свѣтъ сабдуетъ отыскивать въ извѣстной пѣснѣ: «Бхалъ, принцъ Оранскій». И онъ ни перваго, ни втораго мнѣнн серьезно не опровергалъ.

Наружность у него была тоже не самостоятельная: сейчасъ бровнетъ, сейчасъ—блондинъ. Отсвѣчиваетъ. Голова—сквозная, звонкая: даже въ бурю слышно, какъ одна отбѣтка за другую цѣпляется. Въ глазахъ—ландшафтъ, изображающій Паллявъ трактнръ. Язычнна — точно та безконечная лента, которую въ старину фокусннкн изъ горла у себя выматывали. Онъ составлялъ его гордость.

Но Подхалимовъ былъ несомнѣнно талантливъ и несомнѣнно воспрнмчивъ—и это многнхъ подкупало. Была въ немъ искорка добродушнн. Все это, вмѣстѣ взятое, заставляло говорить: если-бъ этого человѣка выдержать—золото, а не человѣкъ бы изъ него вышелъ! Но такъ какъ выдержать не откуда было взяться (у насъ, въ литературномъ мнрѣ, какъ и вездѣ, всякій только о томъ думаетъ, какъ бы особнякомъ устроиться), то талантливостъ послужила

лишь для прикрытія нравственной неустойчивости. Другой, болѣе характерный субъектъ, при подобной силѣ воспримчивости, пришелъ бы къ озлобленію, а онъ даже не *смирился*, но прямо вошелъ во вкусъ.

Я лично не питалъ къ Подхалимову никакого враждебнаго чувства, а просто смотрѣлъ на него, какъ на жертву общественнаго темперамента. Случайно встрѣчаясь съ нимъ, я не испытывалъ особенной радости, но въ то же время и не безъ любопытства прислушивался къ его пестрой болтовнѣ. Какъ хотите, а вѣдь его статьи служили украшеніемъ столбцовъ распространеннаго литературнаго органа, а совѣтъ плохому нисакѣ такая роль не подѣ силу. Развязность его, нерѣдко переходившая въ прямую наглость, казалась мнѣ наносною, охватившею его согласно съ обстоятельствами времени и мѣста. А когда онъ, внезапно очнувшись отъ угара пестрыхъ словъ, говорилъ: «это я не отъ злобы, а отъ собачьей жизни!», то мнѣ сдавалось, что и моей вины тутъ капля есть. Да, виноватъ и я. Виноватъ тѣмъ, что я безсиленъ, что слова мои мимо идутъ и се не бѣ. Однако чья же слова когда-нибудь шли не мимо, позвольте спросить?

Но есть и еще вопросъ, близко касающійся Подхалимова. Теперь онъ и злится, и умиляется, и иронизируетъ, и скорбитъ: чтѣ ему вздумается, то и сдѣлаетъ. Но заглядываетъ ли онъ когда-нибудь въ будущее, — не въ то будущее, на которое намекаетъ шумно бѣгущій жизненный потокъ, — туда ему, Подхалимову, пожалуй, и резону нѣтъ заглядывать, — а въ свое собственное, личное будущее?

Бѣдный Подхалимовъ!

Когда я пришелъ къ Подхалимову, онъ лежалъ съ ногами на кровати, а въ головахъ у него сидѣлъ субъектъ, отъ котораго несло водами Екатерининскаго канала. Комната была свѣтла и довольно просторна, но табачнаго дыма скопилось столько, что неприятно было дышать.

— Кого я вижу! Отецъ (онъ называлъ меня такъ въ виду преклонности моихъ лѣтъ)! — воскликнулъ хозяинъ, вставая съ постели. — Ужъ не собрались ли открыть гласную кассу сеудъ? А мы только-что о нихъ бесѣдовали. Садитесь, пожалуйста! Рекомендую: бывшій казанской части дипломатъ по внутренней полтиннѣ, господинъ Оячукъ, а нынѣ отъ занятій освобожденъ и возымѣлъ намѣреніе открыть кассу сеудъ. Сначала кассу сеудъ откроетъ, потомъ убійство совершитъ, а въ заключеніе попадетъ на каторгу. Вотъ и карьера.

— Что вы, Григорій Григорьевич! Кажется, вамъ мои правила довольно извѣстны!—не то обидѣлся, не то пошутилъ господниъ Олчуковъ.

— Оттого и говорю, что извѣстны. А слышали ли вы, отче, какъ онъ на-дняхъ одного юнца подсеидѣлъ?... Хочешь, разскажу?

— Ахъ, что вы, что вы-съ! Вѣдь это тайность-съ!—испугался господниъ Олчуковъ.

— Ежели тайность, такъ зачѣмъ ты ко мнѣ съ тайностью лѣзъ? Вотъ видите ли, сидитъ этотъ самый господниъ, отъ котораго не розами нахпетъ...

— Нѣтъ, ужъ позвольте, ничего я вамъ такого не говорилъ! Сдѣлайте ваме такое одолженіе, увольте! Прекратите-съ!—рѣшительно возмолвилъ господниъ Олчуковъ.

— Не интересно вѣдь это, Подхалимовъ, оставьте!—присоединился и я съ своей стороны.

— Ну, ладно, все равно, потомъ разскажу. А теперь брысь, Анчутка! Видишь, «чистые» гости пришли!

Олчуковъ помялся на мѣстѣ, глянулъ исподлобья какъ-то подозрительно—и, къ удивленію, глянулъ не на Подхалимова, а на меня—и исчезъ.

— Погодите говорить, онъ у двери подслушиваетъ!—обязательно предупредилъ меня Подхалимовъ. — Береги пось, Анчутка, сейчасъ дверь отвори!

Послышались торопливо удаляющіеся шаги.

— Ну-съ, отче, чѣмъ потчевать прикажете! Чаю? кофею? мороженого? селедочки?

— Я на минуту, только два слова спросить пришелъ. Скажите, Подхалимовъ, вы не соврали, возбѣгая въ «вашей уважаемой газетѣ», что господство хищенія кончилось?

— Господи! никакъ ял ужъ во второй разъ по этому случаю беспокоитесь! Да неужто я въ самомъ дѣлѣ такъ ужъ рѣшительно и намекалъ?

— Совершенно рѣшительно.

— Что хищенія прекратились... совѣмъ? Страшно. Дѣйствительно, что-то въ этомъ родѣ какъ будто было... Но чтобы такъ-таки прямо... съ тѣмъ, чтобы на службу ни по какимъ вѣдомствамъ впредь не опредѣлять... Да вамъ-то, наконецъ, не все ли равно? Есть хищенія—такъ есть, нѣтъ ихъ—такъ нѣтъ! Эка бѣда!

— Ну, нѣтъ, это совѣмъ не такъ безразлично, какъ вы полагаете! Поймите, Подхалимовъ, вѣдь это не реформа какая-нибудь, которую взяли, похерили, и никто не замѣ-

тить. Это цѣлая нравственно-обычная революція! Старые идола въ прахъ повергнуты, старыя преданія нарушены, исторія прекратила теченіе свое... Вотъ вѣдь это чѣмъ пахнетъ!

— Скажите, сколько, однако-жъ, я накуралесилъ! И это, такъ сказать, въ «минуту жизни трудную»... За «оригиналомъ» изъ типографіи пришли — я и черкнулъ... но нѣтъ, впрочемъ, я лучше ужъ откровенно передъ вами сознаюсь. Призывають меня «мірофды» и спрашиваютъ: «можете вы, Подхалимовъ, «стихотвореніе въ прозѣ» написать?» Ну, я... мнѣ что-жъ!

— А я, по милости вашего легкомыслія, выросахъ пональ. Къ мужичкамъ въ деревню написалъ: радуйтесь! Губошлепова на цѣнь посадили! Кротикова — въ заштатъ отчислили! Знаете, чѣмъ такія извѣстія пахнутъ?

— Ахъ, бѣда!

— Вотъ вы всегда такъ, Подхалимовъ; вы и теперь шутите. Удивительно, право, какъ васъ земля за такія проделки не поглотитъ!

— А по-моему, такъ еще удивительнѣе, что вы столько лѣтъ живете, а до сихъ поръ всякое лыко въ строку пишете.

— Но какъ же васъ читать? Неужто, взявши газету, нужно предварительно сказать себѣ: все, что тутъ написано, есть мистификація?

— Не мистификація, а «такъ». «Такъ» — и ничего большаго. На вашемъ мѣстѣ я, главнымъ образомъ, обращалъ бы вниманіе не на сущность газетной статьи, а на то, какъ она написана, игриво или возвышенно, забористо или благодушно. А что касается до меня, то ежели моя статья подходит подъ одно изъ этихъ опредѣленій, — я и доволенъ.

— Да вѣдь это же и есть мистификація!

— Мистификація — это ежели преднамѣренно, а тутъ, повторю, просто «стихотвореніе въ прозѣ» — и только. Это — «морсѣ», которое, въ случаѣ крайности, можно въ какую угодно хрестоматію помѣстить.

— Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ! Неужели вамъ не страшно жить?

— Перемогаю себя — оттого, должно-быть, и живу. Страшно сдѣлается — я ною: «страха не страшусь, смерти не боюсь!» — какъ рукой сниметъ! Платъ ихъ, отче, надо, страхи-то — вотъ и не страшно будетъ!

— Слѣдовательно однимъ пѣніемъ спасаетесь, думать не желаете?

— Пишу—стало-быть, все-таки какъ-ни-на-есть думаю; безъ того пензля. Но прямолинейнымъ быть не желаю и до цортиковъ додумываться не вижу надобности. Смотрю на мѣръ непредубажденными глазами и нахожу, что все идетъ своимъ чередомъ:

И прежде кровь лилась рѣкою,  
И прежде плакала чезовѣкъ...

Это вы во вѣхъ хрестоматіяхъ найдете; стало-быть, ежели вы «плакать» желаете, то къ этому источнику и обратитесь. Но и тутъ имѣйте въ виду, что хрестоматіи на то и издаются, чтобы метафоры и синекдохи въ нихъ подтвержденіе находили. Следовательно... а впрочемъ, хотите, я къ завтраму передовицу на манеръ Теофана Прокоповича напишу?

— Любопытно. О чемъ, напримѣръ?

— Какъ вамъ сказать... ну, хоть о правосудіи. Сегодня напишу, что правосудіе бодрствуетъ, завтра — что правосудіе на оба ока спитъ; сегодня—что въ голову гидръ ударено и на хвостъ наступлено (слогъ-то какой!), завтра — что у гидры новая голова и новый хвостъ выросли.

— Отлично. Но не будемъ разбрасываться. Подхалимовъ, и возвратимся къ первоначальному предмету нашей бесѣды. Скажите, вѣдь были же какіе-нибудь факты, которые послужили вамъ отправнымъ пунктомъ для передовицы, о которой идетъ рѣчь?

— Какъ фактамъ не быть! За фактами никогда дѣло не станеть. Есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищеніе прекратилось (таковы: предписанія, распоряженія, благія начинанія и т. п.), и есть факты, которые свидѣтельствуютъ, что хищенія продолжаютъ кругъ своего дѣйствія (таковы: отчеты общихъ собраній промышленнаго общества, балковъ и т. п.). Стало-быть, все зависятъ отъ того, какъ посмотреть. Ежели однимъ окомъ взглянуть — есть хищенія; ежели другимъ — нѣтъ хищеній. Но, кромѣ того, есть еще читающая публика. Огорчена наша публика, отче, такъ огорчена всевозможными лѣтописями и хрониками изъ области хищничества, что голосомъ вопить начинаетъ: угнѣйте вы меня, скажите, что господство хищенія кончилось! Вотъ мои «мірофды» и догадались, что теперь самый разъ «стихотвореніе въ прозѣ» пустить. Ну, и набрали же они въ это утро пятаковъ!

— Но вѣдь это явный обманъ! Можно подумать, что вы только одну цѣль и въ виду держите: какъ бы кого-нибудь

въ дуракахъ оставить! Остроумно, что ли, это вамъ кажется, или такъ ужъ само перо у васъ жезетъ?.. Ахъ, Подхалимовъ, Подхалимовъ!

— А вы позабыли, отче, что еще Пушкиниъ сказали: «тымы низкихъ истинъ мнѣ дороже насъ возвышающій обманъ!» — это во-первыхъ. А во-вторыхъ, вы хоть и читаете нашу газету, но многого не догадываете. Въ томъ же №, гдѣ возмѣчалось о прекращеніи хищниковъ, напечатана цѣлая хроника, явно свидѣтельствовавшая, что хищничество нмало не чувствуетъ себя обезкураженнымъ. Но, сверхъ того, неужто вы, кромѣ нашей, никакихъ другихъ газетъ не читаете? Напрасно. Читайте хоть «Помехонскіе Куранты» — несомнѣнную пользу получите. Хроника хищней вы тамъ, правда, не найдете, но зато «Куранты» свои задніе столбцы всевозможнымъ добровольцамъ въ полное распоряженіе предоставили. И тутъ вы не то что мелкіе факты, а цѣлые проекты громаднѣйшихъ хищней обрѣтете. Тутъ и элеваторы предлагать, и запретительныхъ пошлинъ требуютъ (кто чѣмъ торгуется, тотъ и соответственное положеніе проектируетъ), и замѣну книгопечатанія билетопечатаніемъ проновѣдуютъ, а на-дняхъ одинъ неунывающий плутократъ проектъ объ отдалѣ казны въ безсрочную аренду акціонерной компаніи сочинилъ... Да вотъ увидите: скоро такое столпотвореніе пойдетъ, что эти Божьей за тучей проектовъ не видно будутъ! Спичевые фабриканты будутъ домогаться, чтобъ каждому изъ нихъ отъ казны извѣстный доходъ гарантированъ былъ; землевладельцы начнутъ вопить, чтобъ казна гарантировала имъ вѣрный урожай и выгодный сбытъ сельскихъ произведеній; торговцы благовоинными товарами потребуютъ, чтобъ для всѣхъ франтовъ было обязательно употребленіе такихъ-то и такихъ-то духовъ. Того гляди, мужички пожелаютъ, чтобъ имъ гарантировали исправную плату податей...

— Вотъ, тутъ-то бы вамъ и ошлчиться!

— Могу и это. Но, стало-быть, не ко двору. Впрочемъ, и «мірофды» мои отъ ошлченья не прочь — они вѣдь у меня лихіе — да и у нихъ руки, видно, коротки. А можетъ-быть, и на розничную продажу не надѣются. Притки мы, но не сизны.

— Однако какіе ужасные нравы!

— У насъ ниче насчетъ правотъ даже очень простоно. Только размѣры «куша» и стѣняють. Кому — знатный размѣръ приличествуетъ; кому — средній; кому — малый.



Но все-таки вездѣ на первомъ планѣ — «кушг». Недавно, доложу вамъ, у одного «репортера» маменька скончалась — ну, онъ и пошелъ съ похороннымъ счетомъ по коммерсантамъ, да черезъ три-четыре часа все расходы покрывалъ, а лишки къ Палкину снесъ.

— А что ежели коммерсантъ-то соберется съ духомъ, да въ шею попрошайку?

— Нельзя, стало-быть.

Подхалимовъ остановился на минуту, иронически взглянулъ мнѣ въ глаза и съ разстановкой произнесъ:

— Печать-то вѣдь — сила! Такъ ли, отче?

Признаюсь, у меня даже въ глазахъ зарыбило отъ этого вопроса. Что-то далекое пронеслось передо мною, далекое, свѣтлое, бодрое. Ни одинъ изъ бывшихъ свидѣтелей этого далекаго — я не исключаю даже старинныхъ изъ Подхалимовыхъ — не можетъ вспомнить о немъ безъ удивленія. Гдѣ-то, когда-то я слышалъ эти самыя слова, не въ этой обстановкѣ, не изъ этихъ устъ, но слышалъ, несомнѣнно слышалъ. Я помню, что они поднимали мой духъ и наполняли мое сердце сладостною тревогою. Эта тревога не обескураживала меня, а какъ бы даже подстрекала: впередъ!

Вмѣстѣ съ другими я вѣрилъ, что печать есть сила, и что этой силѣ суждено развиваться и сдѣлаться несокрушимою. Быть-можетъ, говорилъ я себѣ, — процессъ этого развитія совершится туго, не безъ горькихъ перипетій — пожалуй, даже не безъ утратъ... Все это я допускалъ, но и за всемъ тѣмъ ни на минуту не переставалъ утверждать, что печать есть сила и пребудетъ ею во вѣкъ. И никогда я не предполагалъ...

Нѣтъ, никогда, никогда, даже въ самые черные дни, я не могъ представить себѣ, чтобы сила печати могла осуществиться въ тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ я узналъ ее здѣсь, въ эту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое злое волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовыхъ, сдѣлало ее орудіемъ для обложенія сборами «брюхановъ»? Когда это произошло, и какъ-таки лично этой перестановки не замѣтилъ?

Очевидно, процессъ перемѣщенія новой силы изъ одного центра въ другой произошелъ постепенно и втихомолку. Первоначальныя притязанія печати, должно-быть, оказались чрезчуръ цѣльными и разномастными, чтобы привести къ соглашенію. Это было, впрочемъ, совершенно естественно, покуда рѣчь шла о соглашеніи по существу.

Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ по существу утрачено было изъ виду, что печать и сама по себѣ, въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, для всѣхъ мгновій и партій одинаково обязательнаго. Даже въ этомъ индифферентномъ смыслѣ никакого соглашенія не состоялось. Напротивъ того, въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслий, свидѣтельствовавшихъ о полномъ отсутствіи дисциплины. Распря, постепенно переходя съ почвы принциповъ на почву уязвленныхъ самолюбій, приняла, наконецъ, такіе размѣры, что въ одно прекрасное утро на фронтонѣ храма печати сами собой выступили слова: *образъ мысли*.

Принципы были побѣждены, и въ то же время всякая надежда, что слово: «печать» когда-нибудь получитъ объединяющій смыслъ, исчезла навсегда.

Вотъ этотъ-то моментъ и подстергали Подхалимова. Они поняли сразу, что ни принципы, ни руководящіе идеалы — не ко двору; что свѣточъ мысли не освѣщаетъ и не убѣждаетъ, а производитъ раздраженіе и панику, полную грядущихъ отпущеній; что, следовательно, ежели печать хочетъ быть силой, то она должна отыскивать почву для этой силы въ той низменной сферѣ, которая не оставяла бы никакихъ сомнѣній насчетъ ея проинципальнаго ничтожества. А именно, въ сферѣ мелочей, прожектерства и личнаго, такъ-сказать, наглядно-физическаго облеченія.

И вотъ снова выступили Подхалимовы *вчерашніе*, которые еще во дни возрожденія руку набили. Выступили и поразили всѣхъ юркостью и непринужденною остротою ума. Они первые наглядно доказали, что можно жить и безъ принциповъ. За ними появились Подхалимовы *нынѣшніе*, такіе, у которыхъ даже литературныхъ преданій не было, а были только недолжныя способности по части изслѣдованія корней и нитей, мантажа и обезкураженія «брюхановъ». Первые говорили: «Пріятно этакой въ некоторомъ родѣ арбузъ щелкнуть, чтобъ онъ по всѣмъ ливамъ тресцуетъ!» Вторые прибавляли: «и при семъ чтобъ у него изъ всѣхъ целей ассигнаціи пошозли».

— Нынче, я вамъ скажу, по умственной части тихо, — продолжалъ между тѣмъ Подхалимовъ: — зато бойко по части промышленной и коммерческой. Вотъ эту-то воду мы и разрабатываемъ. Безъ содѣйствія печати нынче ни одно промышленное предпріятіе шагу ступить не можетъ. Вся

воздыбляющая, пронзодящая, экзекотирующая и спенулирующая Россія раздробилась на безчисленное множество клиентуръ, которыя сами признали свою подсудность печати. Стало-быть, рѣчь идетъ только о качествѣ клиентуръ. Кто покрупнѣе клиентуру захватитъ, тотъ и умница; но ужь во всякомъ случаѣ тутъ не фунтомъ икры пахнетъ, какъ во времена Вулгарина.

— Однако мнѣ кажется, что вѣдь и разработка промышленности и торговыхъ интересовъ, несмотря на свой специальный характеръ, не исключаетъ возможности честнаго отношенія къ дѣлу?

— Гм! миліонами вѣдь тутъ, отче, пахнетъ, миліонами.

— Помилуйте, Подхалимовъ! сами же вы сейчасъ разсказывали о репортерѣ, который съ похороннымъ счетомъ по «брюханамъ» путешествовалъ,—надѣюсь, что ему и во свѣ миліоны не снились!

— Ахъ, что вы, развѣ я о немъ! Вѣдь и въ нашемъ дѣлѣ есть табель о рангахъ, да еще престрогая! Одинъ — къ миліонамъ приставленъ, другой — къ сотнямъ тысячъ, третій — къ тысячамъ, а четвертый — около десятковъ съ удовольствіемъ руки погрѣеть.

— Но какъ вы не перегрызаетесь другъ съ другомъ? Вѣдь досадно, я думаю, въ четвертомъ-го рангѣ состоять да зубами щелкать, особенно ежели сознаешь себя способнымъ и достойнымъ.

— Не скажу, чтобы особенно было досадно. Тутъ судьба, и какъ-то сразу это дѣлается непонятнымъ. Возму для примѣра себя: я себѣ цѣну знаю, но только и всего. Не продаешлю, но и дорожиться не стану. Ежели дѣло не моей компетенціи, я за него не возьмусь, а направлю по адресу. Есть «дѣятели печати» гораздо въ худшемъ противъ меня положеніи, но и гѣ, покуда здоровы, не роншутъ. Вотъ ежели силы слабѣть начнутъ — тогда капутъ. Но я лично могу и кризисъ выдержать: я и помимо репортерства работу найду. У меня — черо, а въ наше просвѣщенное время это порядочная-таки рѣдкость!

— Вотъ вы на эту *дружную* работу и употребляли бы ваше «черо».

— Нельзя. Для этого нужно, чтобы въ личномъ существованіи человѣка рѣшительный переворотъ произошелъ. Наша дѣятельность вѣдчива; не результатами она заманиваетъ — о результатахъ думать нѣтъ времени, — а самымъ процессомъ своимъ. Въ этотъ процессъ вошло такое

множество случайных и другъ отъ друга независимыхъ подробностей, что каждый день втягиваешь въ себя по-новому. Я не работаю, а увлекаюсь. Увлекаюсь каждый день по-новому, не такъ, какъ вчера. Пишу и думаю: ну, теперь нужно полагать, что «онъ» восчувствуетъ! «Онъ» — это мой *сегодняшний* избранникъ, котораго я *вчера* и въ умѣ не держала. Я не помню моего вчерашняго дня и не загадываю о завтрашнемъ; но сегодняшняя моя мысль исполнѣ для меня ясна. Сегодня я создалъ себѣ такой-то пунктъ, и ежели я въ ударѣ, то одно за другимъ выведу изъ него всѣ послѣдствія. Весело, бойко, неустойчиво. Мнѣ и работать весело... ежели я «въ ударѣ». Ничто другое не привлекаетъ, уйти отъ работы не хочется. Вотъ и судите теперь, легко ли при такихъ данныхъ на другую работу перейти?

— Но вѣдь это своего рода хроническое опьянѣние, и я положительно не понимаю, какимъ образомъ оно можетъ не изнурить. А сверхъ того сдается мнѣ, что для литературнаго дѣятеля не мѣшаетъ подумать и о репутационной порядности, а такого рода работой се не приобрятешь.

— Да, относительно низшихъ классовъ ваше замѣчаніе справедливо. Мы, анонимная сила, дѣйствительно живемъ какъ въ чадѣ, и объ относительной цѣнности нашей знаютъ только въ редакціяхъ да въ нашемъ интимномъ кругу, да, пожалуй, еще въ трактирахъ, гдѣ мы зашедагельствуемъ. Анонимами мы родились и анонимами же большая часть изъ насъ сойдетъ въ могилу. Но о высшихъ рангахъ — не говорите такъ. Тѣ ужъ вышли изъ опьянѣнія, а репутационная привада къ нимъ сама собой, какъ приходится она ко всякому хищнику, который рветъ крупные куски, а мелкими пренебрегаетъ. Вы скажете, можетъ-быть, что эта репутационная привада, фиктивная, — ну, да вѣдь ежели кто къ потомству не апеллируетъ, такъ и фиктивная репутационная привада сойдетъ. Дѣйствія этихъ высшихъ дѣятелей розничной публицистики уже до такой степени говорятъ о выдержкѣ, что они сумѣли создать въ свою пользу особое право самопротипорѣчія, которое заранее гарантируетъ имъ свободу отступничества. Посмотрите, какъ какой-нибудь Скомороховъ подступаетъ къ вопросу: точно кошка съ мышкой играетъ. Сначала пробный шаръ пустить, будто стороной что-то слышалъ, и при этомъ сознается, что покуда еще не имѣетъ достаточныхъ данныхъ для сужденія. Затѣмъ слегка помолчитъ — и опять попробуетъ. Слѣва заглянетъ, справа пощупаетъ, предоставитъ какому-нибудь добровольцу на за-

дахъ нескладницу проурчать—и опять притворится спящимъ. И вдругъ у него сердце зацеमितъ! И любовь къ отечеству, и интересъ къ казифъ, и нужды промышленности—что есть въ печи, все на столь мечи! Вопросъ расцетъ и съ каждымъ днемъ осложняется. Независимо отъ *rièce de résistance*, появляются публицистическія приправы: либерализмъ, нигилизмъ, упраздненіе властей и т. п. Это онъ пугаетъ и въ то же время товаръ лицомъ показывается. Наконецъ, когда приправа возымѣла дѣйствіе, начинается «апофеозъ»... Рыба клюнула; данайцы восчувствовали. Ибо ко всякому вопросу пригнана соответствующая рыбина, соответствующій данасецъ. Достигнувъ цѣли, газета временно успокаивается; репутація ея въ качествѣ узорѣшительницы установлена, а заправилы ея исподволь подмекиваютъ новый вопросъ и оттачиваютъ перья для новаго похода... Вотъ какъ идетъ дѣло въ высшихъ публицистическихъ сферахъ. Тутъ ужъ не о свачушемъ штандартѣ идетъ рѣчь, а о служеніи на чредъ государственный, не статейками пахнетъ, а актами мудрости... чортъ побери!

— Прекрасно, но зачѣмъ же вы «чортъ побери» прибавили? Вѣдь вы и сами въ этомъ водоворотѣ кружитесь... Какъ хотите, а неприятно поражаетъ въ васъ эта двойственность!

— Иривычка, отче; да, въ сущности, и сказать что-нибудь другое трудно. Впрочемъ, не въ томъ дѣло: надѣюсь, вы теперь понимаете, что печать есть дѣйствительно сила, которую игнорировать не полагается. Только не та печать, по которой вы, государь мой, періодически тоскуете.

— Ну, да, разумѣется, не та. Стало-бытъ, вы въ концѣ концовъ своимъ положеніемъ довольны?

— Не роншу. У меня клиентъ по преимуществу мелкій. Одинъ домогается благосклоннаго отзыва, другой — благосклоннаго умолчанія, третій — и самъ не знаетъ, чего ему нужно. Вотъ Опчурковъ, напримѣръ, который ужъ разъ приходитъ,—все спрашиваетъ: ловко ли будетъ, ежели онъ по пятнадцати процентовъ въ мѣсяцъ станетъ съ заемщиковъ брать?

— Неужели вы, однако, и эту «видю» въ ванихъ перловницахъ проводить будете?

— Нѣтъ, онъ еще погодитъ; это онъ такъ, безкорыетнаго сочувствія ищетъ. Замѣйте, отче, что даже самый темный жуликъ—и тотъ жаждетъ, чтобъ ему посочувствовали или, по крайпей мѣрѣ, хоть пожалѣли о немъ. Одинъ ему скажетъ: «молодецъ!»; другой: «э, да ты еще не совсемъ та-

кой негодяй, какъ о тебѣ повѣствуютъ!»— онъ и доволенъ. Нѣтъ ничего тяжелѣе, какъ глотать втихомолку свои собственные мерзавства—съ этимъ ужъ только самые отбитые сживаются. Большинство ищетъ хоть частичку удручающаго его негодяйства вынести на свѣтъ, чтобы облегчить себя.

— Но какимъ манеромъ вы сходитесь съ такими людьми?

— Вся моя жизнь на народѣ проходить—вотъ и схожусь. Въ трактирахъ, въ судахъ, въ участкахъ, на конкахъ—ездѣ люди. Вся улица человѣчествомъ полна! Нужно же привести эту массу въ извѣстность, расчленивъ, разбѣить по группамъ. Я сознаю, что до сихъ поръ совѣмъ не это дѣло у меня на первомъ планѣ стояло, но увѣренъ, что работа ассимилированія человѣческаго матеріала все-таки своимъ порядкомъ идетъ. Можетъ-быть, этотъ матеріалъ соскельзаетъ и безслѣдно, но, можетъ-быть, иѣчто и задержится. Провѣдѣнія не искушаю и кризиса, который сразу оборвалъ бы меня и заставилъ бы обратиться внутрь,—не призываю. Но ежели наступитъ критическая минута, я увѣжденъ, что найду свой матеріалъ палица. И, быть-можетъ, буду въ состояніи подлинную картину почтеннѣйшей публикѣ предоставить. Только вотъ таланта хватить ли? Или же тѣ, что мы теперь называемъ талантомъ, есть не болѣе какъ усовершенствованное тряпичничество?

Высказавши послѣднія слова, Подхалимовъ остановился, какъ бы сожалѣя, что черезчуръ ужъ далеко зашелъ въ область самообличенія. Я съ своей стороны тоже понялъ, что какъ ни затягивай бесѣды съ Подхалимовымъ—результатъ получится только одинъ: будетъ двоиться въ глазахъ. Въ эту минуту онъ, пожалуй, и посентиментальничать быль не прочь, а черезъ полчаса, блеснетъ въ глаза подходящій сюжетъ,—и опять штандартъ поскакалъ.

— Ну, прощайте,—сказалъ я,—желаю вамъ! Ужъ ежели вы сами специальную табель о рангахъ для себя облюбовали, то не задерживайтесь на низшихъ ступеняхъ, а держите! Бесплодно на судьбу не ропщите—это и смѣшно, и не интересно,—но и мѣроѣдамъ въ зубы не смотрите. И ежели увидите, что изъ ропота можетъ воспослѣдовать полезный для васъ плодъ, то средствомъ зтигъ не пренебрегайте.

Возвращаясь отъ Подхалимова, я нѣкоторое время чувствовалъ себя какъ въ туманѣ. Я не только не разрѣшалъ

себѣ вопроса о хищничествѣ, но даже пересталъ имъ интересоваться, забыть о немъ. Совѣтъ другая мысль назойливо билась въ головѣ: откуда пришла и зачѣмъ понадобилась эта безпощадная жестокость въ извращеніи внутренней сущности явленій, которыя, будучи взяты сами по себѣ, занимаютъ далеко не послѣднее мѣсто въ ряду отличительныхъ опредѣленій человѣческой природы?

Что такое Подхалимовъ? Безспорно, это воспримчивый, отзывчивый и очень даровитый человѣкъ. Вотъ опредѣленіе, которое ближе всего подходитъ къ нему, ежели отринуться отъ того гадливаго чувства, которое вызывается его практическою дѣятельностью.

Воспримчивость и отзывчивость составляютъ едва ли не самое драгоценное достоинство человѣка. Безъ нихъ немислима ни дѣятельная честность, ни постиженіе идеи общаго блага. Только воспримчивый человѣкъ можетъ всего себя отдать на служеніе высшему идеалу; только въ немъ можетъ созрѣть идея о человечествѣ и ожидающихъ его перспективахъ; только онъ способенъ возвыситься до самоотверженія. Признать законность самоотверженія, какъ фактора человѣческой жизнедѣятельности,—это уже значить внести въ жизнь элементъ правды и человечности; но познать на дѣлѣ сладость самоотверженія—это значить дать такое доказательство превосходства человѣческой природы, противъ котораго не можетъ быть и возраженія.

Вотъ какимъ поистинѣ поразительнымъ проявленіемъ можетъ дать начало человѣческая воспримчивость; вотъ сколько свѣта, тепла, бодрости она можетъ внести въ существованіе человѣка! И что же: та же самая воспримчивость помогаетъ Подхалимову разбираться въ сору постыднѣйшихъ отбросковъ, приближаться къ нимъ всѣмъ существомъ, перебѣгать отъ одного хищника къ другому, встряхивать рыночныхъ «брюхаловъ», поднимать на смѣхъ «простофилю», гнѣшить ихъ бесплодными фикціями. Жарь, жарь, жарь...

Понимаетъ ли Подхалимовъ, что онъ лжетъ, или не понимаетъ? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той фальши, которую онъ распространяетъ вокругъ себя, или эта фальшь льется изъ него сама собою, какъ льется вода изъ незапертаго крана?

Но какой странный, почти невозможный процессъ перерожденія долженъ былъ произойти въ промежуткѣ двухъ полюсовъ, чтобы вмѣсто служенія высшимъ идеаламъ полу-

чалось подавлялись подходящих сюжетовъ, вмѣсто самоотверженія—выпучиванье «простофиль»!

Кто виноватъ въ этомъ превращеніи? Какъ оно создано? Ссылаются обыкновенно (и, пожалуй, не безъ основанія) на общее паденіе нравственнаго уровня; но въ этомъ-то паденіи кто виноватъ?

Точно то же слѣдуетъ сказать и о даровитости. Даровитость племени дѣлаетъ его свѣточемъ міра; даровитость отдѣльнаго индивидуума дѣлаетъ его свѣточемъ страны. При низкомъ уровнѣ даровитости нѣтъ ни хорошаго управленія, ни умственной жизни, ни матеріальныхъ успѣховъ, ни развитія. Нѣтъ цвѣтенія. Всеъ блага, которыми въ данную эпоху пользуется страна, приносятся ей даровитостью сыновъ ея; а жажда этихъ благъ такъ жива и естественна, вліяніе ихъ на разширеніе жизненныхъ горизонтовъ такъ бесспорно, что это одно вполне объясняетъ, почему даровитые люди занимаютъ исключительное положеніе въ средѣ своего народа и общества.

И вотъ передъ нами экземпляръ несомѣнно даровитаго индивидуума—Подхалимовъ! Экземпляръ, который, кромя вольнаго обращенія, распутства и полнаго индифферентизма въ двѣ убѣжденія, ничего другого страшъ своей дать не можетъ! Не колдовство ли это?

Въ послѣднее время чаще и чаще приходится слышать жалобы на оскуднѣе русской литературы. Говорятъ: старые таланты доиѣваютъ свои послѣднія иѣсни, повыхъ—не нарождается. Тутъ и адвокатуру приплетають, и педагогическую дѣятельность, и другія болѣе или менѣе доступныя профессіи: вотъ, дескать, куда ушла даровитость русскаго культурнаго человѣка. Но, по моему мнѣнію, во всѣхъ этихъ жалобахъ и ссылкахъ нѣтъ ничего, кромя недоразумѣнія. Прочитайте любое изъ Подхалимовскихъ упражненій, которыя онъ съ такою легкостью изъ себя ежедневно вымываетъ, точно у него въ запасѣ неистощимая бутылка,—и вы въ каждой строкѣ найдете больше таланта, больше жизненной образности, нежели во всѣхъ «послѣднихъ иѣсныхъ» потухающихъ стариковъ. Не объ отсутствіи даровитости идетъ рѣчь, а о томъ, что Подхалимовъ сумѣлъ дать своему таланту омерзительную, гнусную, безчестную окраску. И не въ томъ бѣда, что онъ размыивалъ себя на мелочи—онъ справедливо выразилъ въ разговорѣ со мною увѣренность, что работа ассимилированія человѣческаго матеріала идетъ въ немъ своимъ чередомъ и дастъ въ свое



время плодъ,—а въ томъ, что эти мелочи до такой степени запакошены, до того провоняны, что подло къ нимъ близко подойти.

И такой же, сжати не горшій, плодъ дастъ и происходящій въ немъ процессъ ассимилированія человеческого матеріала. Очень возможно, что въ результатъ этого процесса окажется картина очень широкая и написанная рукою мастера, но каждый штрихъ ея будетъ запечатанъ подлостью и тѣмъ обязательнымъ присутствіемъ низменности, которую проводить за собой продолжительное и упорное общеніе съ постыднѣйшими проявленіями торжествующаго безстыжества.

И опять же вопросы: кто же виноватъ въ этомъ перерожденіи? Какимъ образомъ оно создалось? Ежели же и тутъ непосредственнымъ виновникомъ окажется упадокъ общаго нравственнаго уровня, то кто въ этомъ упадкѣ виноватъ?

Публицистъ, которою мы пользуемся, черезчуръ скудна. Вся она сосредоточивается въ печати, а печать, по обстоятельствамъ, всецѣло эксплуатируется Скомороховыми и Подхалимовыми. Все, что мы знаемъ о нашей родной странѣ,— все выходитъ изъ этого источника. Скомороховъ—явно лжетъ и подтасовываетъ; Подхалимовъ—неизвѣстно чему вѣселятъ и скачутъ съ штабдартомъ. Скомороховъ, подъ видомъ защиты принциповъ, порядка и устойчивости, безсовѣстно пользуется ими въ качествѣ полемическаго приема, чтобъ зажать ротъ своимъ противникамъ; Подхалимовъ—отъ великихъ принциповъ отлучивается и напрямки заявляетъ, что, кромѣ унынія и скуки, ничего они обществу дать не могутъ. Таковы установившіеся нравы, а послѣдніе, въ свою очередь, опредѣляютъ и отношеніе печати къ читателю. Читатель—это «простофиля», который обязывается оставаться въ угарѣ недоумѣнія и невѣдѣнія.

И за всѣмъ тѣмъ Подхалимовъ сказалъ правду: никогда печать съ такою рѣзкостью не заявляла о своей силѣ. Но какаа печать, и какого качества ея сила?—вотъ въ чемъ вопросъ.

## Письмо шестое.

По вторникамъ у генерала Чернобровова устраивались интимные рауты. Генералъ былъ отставной и старенькій, лѣтъ подъ восемьдесятъ. Въ свое время и полкомъ коман-

доваль, и по ифвантерин числился, и губернаторомъ былъ, а потомъ его обидѣли. А онъ—простилъ. Получилъ пенсію да аренду, да «такъ» и поселился на Пескахъ. Семейства у него не было, кромѣ старушки-жены, которая, лѣтъ со-рокъ тому назадъ, отъ совѣтниковъ губернскаго правленія амурныя письма на золотообрѣзной бумагѣ получала и тоже давно всѣмъ простила. Жили они скромно, но безъ нужды, и по вторникамъ (черезъ два въ третій) устраивали вечеринки.

Собирались на эти вечеринки, по преимуществу, старые губернаторы. Генералы: Краснощекоевъ, Пучеглазовъ и Балаболкинъ. Тайные совѣтники: Гвоздиковъ и Покатиловъ. Изъ не-губернаторовъ рауты посѣщала инженеръ-полковникъ Купидоновъ, который въ древности первые мостки черезъ Неву построилъ, да статскій совѣтникъ Набрюшниковъ, который, съ писарскихъ чиновъ, вмѣстѣ съ Покатиловымъ, въ качествѣ маперника, всю службу проработалъ. Купидоновъ обыкновенно привозилъ генеральскія сюрпризы: либо нкры зернистой, либо семги, либо колчапаго сига, и за эту галантерейность игралъ въ компаніи роль молодого человека, чтò, впрочемъ, очень къ нему шло, потому что онъ обыкновенно приходилъ въ досинахъ. Набрюшниковъ не приносилъ ничего, кромѣ преданнаго сердца и замѣчательно исправнаго аппетита. Всѣхъ ихъ въ свое время обидѣли, и всѣ они простили, кромѣ, впрочемъ, Набрюшникова, который за себя простилъ, но за Чернобровова—никогда-съ!

Люди эти были и различнаго происхожденія, и различнаго воспитанія, но ихъ соединило, съ одной стороны, общее губернаторство, съ другой—общая обида. Чернобрововъ, Краснощекоевъ и Покатиловъ были настоящіе столбовые, имѣли приличныя и благосклонныя манеры, хранили преданія дворянской извѣженности и любили пофродировать. Въ древности такихъ губернаторовъ цѣнили и называли «хозяевами». Въ частности, Чернобрововъ славился открытою физиономіей, съ помощью которой такъ искусно управлялъ вѣтреннымъ краемъ, что только черезъ двадцать лѣтъ понадобилось отправить туда сенаторскую ревизію. Краснощекоевъ славился шмыкостью. Паскочить со-всѣмъ не на того исправника, на котораго нужно, обру-гаетъ, но, какъ рыцарь, первый сознаетъ свою ошибку и скажетъ: «ну-ну, ничего! впередъ пригодится!» Покатиловъ—былъ умница, и рапорты его приводили сенатъ въ

восхищеніе (одинъ изъ мѣстныхъ садоводовъ даже одну разновидность георгинъ въ честь Покатилова назвалъ: «уѣнненіе севана»). Такъ что когда ихъ въ ту пору разомъ, въ числѣ двадцати генераловъ, обидѣли, и онъ прѣехалъ въ Петербургъ объясняться: за что? — то ему только одно слово и сказали въ отвѣтъ: «такъ». Съ этимъ онъ и отъѣхалъ.

Всѣ трое были женаты на родныхъ сестрахъ: Прасковій Ивановнѣ, Лукеріи Ивановнѣ и Людмилѣ Ивановнѣ, вслѣдствіе чего и губерннн, которыми управляли ихъ мужья, назывались ихъ именами: Парашина, Лушина и Милочкина.

Гвоздиковъ былъ происхожденія темнаго, характеръ имѣлъ угрюмый и вступалъ въ собесѣдованіе урывками, какъ будто зналъ за собою какое-то необыкновенно постыдное дѣло и боялся проговориться. Былъ слухъ, будто онъ съ откупщикомъ новодорилъ. Онъ утверждалъ, что откупщикъ ему фальшивую десятирублевую бумажку всучилъ, а откупщикъ говорилъ, что отдалъ все по чести какъ слѣдуетъ, а самъ-де губернаторъ свою собственную фальшивую бумажку всучить хочетъ. Тогда Гвоздиковъ нагрязнулъ на откупщика въ подвалъ, а откупщикъ въ Петербургъ уѣхалъ, и черезъ мѣсяць — Гвоздиковъ обидѣли. Въ древности о такихъ губернаторахъ говорили: «у насъ губернаторъ и на губернатора-то не похожъ». Пучеглазовъ и Фролъ Терпѣвичъ Балаболкинъ были выслужившіеся кантонисты аракевской школы, которые вмѣсто посковъ послали онучи, а деньги прятали за голенище; впрочемъ, подъ старость, изъ всего губернаторскаго проишаго они помнили только одну фразу: «направляй кишку въ огонь, направляй!» Въ древности о такихъ губернаторахъ совсѣмъ ничего не говорили, а только ожидали, что еще немощко — и ось земная либо переломится, либо покривится. Что касается до Куиндова, то онъ въ 805-мъ году былъ найденъ принцемъ Оранскимъ въ корзинкѣ на мосту и въ той же корзинкѣ былъ сданъ въ институтъ путей сообщенія съ тѣмъ, дабы, по пришествіи въ совершенные годы, употребить его для постройки мостовъ.

Тѣмъ не менѣе, повторяю, несмотря на различіе воспитанія, происхожденія и характеровъ, всѣ эти люди соединялись подъ однимъ знаменемъ во имя общей обиды, которую они, впрочемъ, простили.

Отъ времени до времени на этихъ раутахъ появлялся еще кузень хозяйки, дѣйствительный тайный совѣтникъ Крокодиловъ, человекъ сравнительно не старый (лѣтъ подѣ

шестьдесятъ), но до того уже изслужившейся, что желудокъ у него ничего, кромѣ кашницы изъ свода законовъ, не варилъ. Но онъ оставался не больше получаса. Посидитъ, выпьетъ чашку жиденькаго чая и спѣшитъ дальше, потому что ему надо карьеру дѣлать.

Итакъ, соберутся часамъ къ восьми всѣ восемь генераловъ, сначала дѣбета янтраются, потомъ садутъ за ужинъ и начнутъ припоминать. Припоминаютъ прошлая дѣянiя, приводятъ примѣры губернаторской осмотрительности, дипломатической тонкости, распорядительности и благоразумной экономiи; сами съ собою полемизируютъ, но не настойчиво, а больше затѣмъ, дабы въ полемикѣ еще вѣнее къ прославленiю прошлаго основанiе почерпнуть; сравниваютъ прошедшее съ настоящимъ и, надо сказать правду, порядочные таки недочеты въ послѣднемъ усматриваютъ. Но не сквернословить прямо, а только правду говорить да отъ времени до времени вздыхаютъ: «людей нѣтъ!» Наговорятся, наѣдятся и разбрѣдутся, часу въ первомъ, по Пескамъ.

Живи съ Чернобрововыми на одной лѣстницѣ, дверь противъ двери, я зналъ объ этихъ раутахъ и, разумѣется, горѣлъ желанiемъ понасть на нихъ.

Во-первыхъ, хотѣлось мнѣнiя солидныхъ людей о современной политикѣ знать: какъ и что; можно ли ожидать, или совѣтъ нельзя. Я у кормила никогда не становилъ, а они цѣлую жизнь все по морю—ахъ, по морю, да по Хвалыньскому, въ косной лодочкѣ погуливали, да и причалили, наконецъ, благополучно къ Пескамъ. Понятно, что у нихъ сформировался взглядъ, а у меня не сформировалось ничего. Во-вторыхъ, мнѣ всего шестьдесятъ лѣтъ, а имъ каждому подъ восемьдесятъ катить—сколько ума въ этотъ двадцатилѣтнiй перiодъ накопилось! А въ-третьихъ, и Купидоновской игры хотѣлось отвѣдать, а если Богъ поможетъ, то и обыграть стариковъ гривенъ этакъ на шесть. Словомъ сказать, я и спать и видѣть, какъ бы въ компанiи съ хорошими людьми посидѣть и заодно съ ними портвить воздухъ сѣтованiями и вздыханiями.

А такъ какъ я каждоедневно встрѣчался съ генераломъ на лѣстницѣ, то, вѣроятно, и онъ, наконецъ, догадался, что у меня сердце не на мѣстѣ. По крайней мѣрѣ утромъ, въ одинъ изъ вторниковъ, кухарка моя предупредила меня:— «Васъ нынче будутъ къ генералу на вечеръ звать».

А черезъ часъ, когда я встрѣтился съ генераломъ на

подъездѣ, опъ, послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, благосклонно протянулъ мнѣ руку и сказалъ:

— Что бы вамъ, молодой человекъ, по-сѣбѣнн... вечеркомъ? Поиграемъ, поведемъ, поведемъ, съ Прасковьей Ивановной познакомитесь. У васъ еще цѣлая жизнь впереди—можетъ-быть, и полезное что-нибудь отъ стариковъ услышите. Прощу.

Разумѣется, я не преминулъ. Въ восемь часовъ заведутъ были уже налицо, а изъ женскаго пола, кромѣ хозяйки, присутствовали еще сестры ея: Людмила Ивановна Краснощекова и Лукерья Ивановна Шокатилова. Какъ я уже сказалъ выше, всѣ три были въ свое время губернаторшами и слѣдовательно всѣ три вкусили сладостей и ограды власти.

Когда я появился, бесѣда была въ полномъ ходу. Лукерья Ивановна рассказывала, какъ она однажды въ Москву изъ «своей» губернии ѣздила. Сначала по своей губернии ѣхали—ну, натурально... «Тише, сумасшедшие, тише! Куда вы сломя голову летите!...»—Не безпокойтесь, ваше превосходительство, мы въ отвѣтъ!..—«Ну, коли такъ, Богъ съ вами, поѣзжайте!» Потомъ въѣхали въ губернію къ генералу Колякову, — ну, и натерѣлась же она тутъ ямщики закладываютъ—не закладываютъ, смотрители—ну, буквально, ходи снятъ, лошади бѣгутъ—не бѣгутъ... Испозать вамъ, ваше превосходительство, одолжали, нечего сказать, въ порядкѣ свою губернію содержать! И вдругъ... Милочкина губернія пошла! Полетѣли! Ну, такъ летѣли, такъ летѣли! Это... это... ну, просто какое-то волшебство! Но только если бы сломалась ось... ахъ!

— Да, были лошади, были!—отозвался генералъ Краснощековъ.—И лошади были, и колокольчики были, и ѣзда была, и ямщики были! Все было!

Онъ на мгновеніе поникъ головой и многозначительно, густой октавой, присовокупилъ:

— И страхъ былъ.

— А страхъ Божій есть начало премудрости,—вставилъ свое слово генералъ Чернобрововъ.

— Божій страхъ—это само по себѣ,—возразилъ Краснощековъ:—это ежели кто къ обѣднѣ дѣнится ходить—ну, того, дѣйствительно, припугнуть не мѣшаетъ... Но страхъ вообще—вотъ что важно!

— Притомъ же—не знаю, какъ теперь,—а въ наше время страхъ Божій епархіальному начальству подвѣдомъ

былъ; следовательно и вмешиваться въ предѣлы чужого вѣдомства губернатору не подобало,—присовокупилъ «умница» Покатиловъ.

— А помните, сестрица, какъ, бывало, Флигель-адъютантъ къ рекрутскому набору придетъ?—смѣшила Лукерью Ивановну Прасковья Ивановна.—Ахъ, что это за пріятный гость былъ! Только при нихъ, бывало, и отдохнешь... особенно графъ Вьюшпль-Стречковъ! Никогда объ этихъ противныхъ дѣлахъ—всегда около дамъ! «Mesdames! нынче въ Петербургѣ платья совсѣмъ въ обтяжку посятъ; mesdemoiselles! нынче шестую фигуру совсѣмъ не такъ танцуютъ! Les messieurs en avant! Chaîne des dames! balancé! messieurs, saluez vos dames... c'est çal» Мужья, бывало, трепещутъ; Степанъ Михайловичъ мой подойдетъ ко мнѣ и шепчетъ: «помилуй, матушка, вѣдь это око царево»,—а я и въ усь себя не дую! «Графъ, извольте-ка распорядиться, чтобъ пятую кадрили начинали!»—«Madame, je suis sur les dents!»—«Ну, что съ вами дѣлать, противный, садитесь... вотъ тутъ! Хотите—Сонечку Волшебнову позову?.. Признайтесь, вѣдь влюблены? Сонечка, mon enfant, садитесь вотъ тутъ, рядомъ съ графомъ, да постарайтесь, чтобы ему не скучно было!» Усадишь ихъ, а сама пойдешь кавалеровъ своихъ побранить. «Ахъ, господа, господа! Дѣвщины одиѣ ходятъ, а вы забрались въ уголъ да анекдоты рассказываете... Хоть бы вы съ графа примѣръ брали! Музыканты, вальсы!»

— А помните катанье на масляницѣ въ traineau-monstre!

— А пикники въ загородномъ саду! А балы во время выборовъ! И вдругъ, въ самый разгаръ бала—полицеймейстеръ: «ваше превосходительство въ Раздерикинской слободѣ пожаръ!»

«— Это въ оврагѣ?»

«— Точно такъ, ваше превосходительство!»

Подъ шумокъ этихъ разговоровъ Цабрюшниковъ распечатывалъ карточныя колоды и усаживалъ игроковъ. Усадили и меня, какъ младшаго, съ дамами, но сотой. Но генералъ былъ правъ, предвараю, что я вынесу изъ его раута много полезнаго для себя. Въ какихъ-нибудь полчаса я уже узналъ главныя основанія, на которыхъ зиждилась до-реформенная губернаторская власть. А именно: страхъ (впрочемъ, не Божій, а вообще), быстрота вѣда на почтовыхъ, поддержаніе въ обществѣ единодушія при содѣйствіи пикниковъ и пожары,—и все это прекрасно.

Я не стану распространяться о томъ, какъ мы играли въ карты, и какіе при этомъ происходили интересные (а иногда даже и страшные) случаи. Въ десять часовъ старики начали ужь зѣвать, и всё поспѣшили за ужинъ. Обыкновенно въ это время генералы ложились спать, но по вторникамъ дозволяли себѣ небольшую льготу, поочередно собираясь для критики существующихъ установлений, то у Чернобрововыхъ, то у Краснощекыхъ, то у Цокатиловыхъ, такъ какъ прочіе были люди безсемейные, а Кунцодовъ, кромѣ того, велъ дома предосудительную жизнь.

За ужиномъ я позналъ и еще одну руководящую петлю, но она уже касалась не основаній до-реформенной губернской власти, а тѣхъ, на которыхъ зиждется отставное человеческое существованіе вообще и губернаторское въ особенности. А именно: изъ всѣхъ присутствующихъ только бывшіе кантонисты Нучеглазовъ и Балаболкинъ рвали твердую пищу зубами, прочіе же сосали, такъ что когда, наконецъ, подали манную кашу, то у всѣхъ изъ груди вырвался крикъ восторга.

Когда первыя требованія алименты были удовлетворены, началась критика существующихъ установлений. Было что-то трогательное въ этихъ старикахъ, которые могли бы еще послужить, если-бъ не были такъ безвременно остановлены въ самую нуду своего административнаго бѣга. И что всего печальнѣе: судьба, лишившая ихъ возможности совершать славныя дѣянія, не лишила ихъ памяти. Они все помнили, все до послѣдней нитки, даже бумагу, на которой печатались губерскія вѣдомости.—и ту помнили. Только у кантонистовъ память, повидному, совсѣмъ отшибла; но и они, разрывая зубами пищу, потихоньку бормотали: «направляй кишку! направляй, направляй, направляй!» Стало-быть, и они нѣчто представляли себѣ: пожаръ, драку, вообще что-нибудь такое, на что по преимуществу было направлено ихъ административное остроуміе. Впрочемъ, нужно сказать правду: во время диспутовъ кантонисты болѣею частью дремали.

Разсмотрѣніе современныхъ установлений началось съ того, что Гвоздильовъ сообщилъ вычитанный имъ въ газетахъ слухъ о томъ, что дѣйствія комисіи псевденія кощовъ съ концами въ непродолжительномъ времени имѣютъ вступити въ новый фазисъ. Выказавши это, Гвоздильовъ, однако-жъ, вспомнилъ, что у него на душѣ лежитъ постыдное дѣло, и умолкъ. Но искра была уже брошена и,

разумѣтея, сейчасъ же произвела въ сердцахъ соответствующее воспламененіе.

— Вотъ они у меня, эти комиссіи, гдѣ!—первый воскликнулъ генералъ Краснощеконъ, ударяя себя кулакомъ по затылку.

Но Краснощеконъ былъ пылкій, и потому мнѣнія его авторитетомъ не пользовались. Чернобрововъ первый не согласился съ нимъ.

— Не въ комиссіяхъ сила, — возразилъ онъ резонно:— а въ томъ, какія комиссіи, въ какое время и на какой предметъ. Кто суть члены? Своевременно или преждевременно? Поставленъ ли вопросъ прямо: вотъ вамъ предметъ, разсуждайте!— или же о предметѣ умолчено? Если все сіе предусмотрено, возбуждено и опредѣлено, то почему же комиссіямъ и не быть?

— Да ужъ дождемся мы когда-нибудь съ этими комиссіями...— продолжалъ кивать генералъ Краснощеконъ; но Чернобрововъ вновь и столь же солидно остановилъ его.

— Позвольте, Капитанъ Федотычъ, такъ сторяча нельзя. Критическій взглядъ необходимъ, но на какой предметъ и въ какое время? Сегодня мы будемъ говорить сторяча, завтра сторяча— когда-же-нибудь и опомнитесь надо! И въ наше время перѣдко бывали комиссіи— вспомните-ка! Но какія комиссіи?—въ этомъ-то и загвоздка. Скажу вамъ изъ собственной практики случай: я самъ въ одной комиссіи участникомъ былъ и очень хорошо помню. Собрали насъ въ ту пору сорокъ семь полковниковъ, положили передъ нами два пистолета; одинъ кремневый, другой ударный—который лучше, господа? Не вопросъ о пистолетахъ предложили, а прямо такъ-таки въ натуральномъ видѣ два пистолета: тотъ или другой? А при семъ особаго содержанія за присутствованіе не присвоили, часомъ не поили, табаккомъ не потчивали, а посадили стараго генерала презусомъ и сказали: «сидите и дѣло дѣлайте». Такъ и тутъ одинъ молодой полковникъ выискался, который чуть-было всѣхъ насъ не подкузьмилъ. «Позвольте, говорить, ваше превосходительство, взглядъ на славное историческое прошлое бросить!»—Извольте, говорить презусъ,—«Извѣстный законодатель Ликургъ...»—Те-те-те! пѣтъ, это ужъ атанде-съ!.. вотъ вамъ пистолеть...—«Ваше превосходительство! только на минуточку!»—Извольте, что съ вами дѣлать! Говорите, но не задерживайте!—«Затѣмъ, когда несмѣтные полчища татаръ...»—Позвольте, объ татарахъ мы съ вами надосугѣ



побесѣдуемъ, а теперь извольте говорить по долгу присяги, не обвиняясь: вотъ два пистолета — который лучше?—«Вотъ этотъ-съ».—Садитесь. Слѣдующій!—И всѣхъ такимъ образомъ въ одночасье окрутиль.—Слѣдующій, слѣдующій, слѣдующій!.. Считайте, господинъ секретарь, голоса!—Стали считать—никакъ сосчитать не могутъ: все выходитъ поровну. А презусъ, между прочимъ, своего голоса не подаетъ.—Не хочу, говоритъ, грѣха на душу брать! А вотъ, говоритъ, мы что сдѣлаемъ: позвать фельдфебеля Охременко!—Охременко, какой пистолетъ лучше?—«Какъ же возможно, вашескородіе, сравнить!»—Господинъ секретарь, извольте записать въ журналъ: вотъ этотъ!—Написали журналъ, мы въ тотъ же день его подписали, на другой отложились—и по домамъ!

— Да, были комиссиі, были!—согласился генералъ Краешкоковъ:—и комиссиі были, и неправники были... все было! И страхъ былъ.

Къ сожалѣнію, Чернобрововъ увлекся воспоминаніями и продолжалъ:

— И что же, сударь, потомъ случилось! Пошли мы съ этими пистолетами подъ Севастополь—смотримъ, а намъ комиссаріатъ, вмѣсто кремней, чурки крашенныя поставилъ! А должно вамъ сказать, что передъ этимъ всѣ адреса подавали, а между прочимъ и комиссаріатскіе чиновники... «Станемъ грудью... докажемъ врагу... до послѣдней капли крови...» Ну, мы идемъ и думаемъ: нуужто-жъ послѣ такого, можно сказать, всенароднаго заявленія съ нами подлость сдѣлаютъ? Начали палить—щелкаютъ наши курки, а пальбы нѣтъ! Тутъ-то вотъ и оказалось...

Только тутъ Чернобрововъ спохватился, что, кажется, черезъ край ужъ хватилъ. Съ минуту смотрѣлъ на всѣхъ удивленными глазами, какъ бы спрашивая самого себя: что такое я слышу? Однако помолчалъ-помолчалъ и поправился.

— Вотъ и выходитъ, — заключилъ онъ:—не въ томъ сила, что комиссиа, а въ томъ, какая комиссиа и на какой предметъ!

— То-то, что нынче комиссиі-то...—началь-было Гвоздоловъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло, обробѣлъ и умолкъ.

— Знаю я это и не одобряю. Конечно, если-бъ и передъ нами не помужили прямо вотъ этихъ двухъ пистолетовъ, а сказали: разсуждайте о пистолетахъ вообще, а

между прочимъ и о тесакахъ,—весьма возможно, что и мы бы изрядный огорождь нагородили. Но именно этого-то и умѣли въ старые годы избѣгнуть. Ежели рѣчь о пистоляхъ шла, такъ именно вотъ объ *этихъ*; ежели объ административныхъ предметахъ—такъ вотъ объ *этихъ*. Вотъ какъ. Но, ранумѣется, ежели каждый членъ комиссiи, пользуясь симъ случаемъ, будетъ о своихъ собственныхъ душевныхъ ранахъ говорить,—а именно симъ личнымъ характеромъ и отличаются члѣны комиссiи,—то понятно, что конца-краю разговорамъ не будетъ!

— Я слышать,—сфискалилъ Набряшниковъ:—что недавно въ этой самой комиссiи одинъ членъ говорил-говорилъ, а остановиться не можетъ. Наконецъ до того договорился, что даже Анна на шеѣ у него покраснѣла. Смотрятъ—ахъ съ нимъ истерика!

— Это дѣло возможное,—подтвердилъ Чернобрововъ:—а я объ чемъ же говорю? О томъ именно я и говорю, что ежели комиссiя, то нужно прежде всего опредѣлить: для чего, по какому случаю и на какой предметъ. Вотъ вамъ два пистолета и конченъ балъ. И чтобы безъ статистики. Вы только одно сообразите: плече иной плуга слово ки-нѣтъ, да возьмѣтъ да статистикой его пригвоздитъ: свиней столько-то, барановъ столько-то. Статистику-то эту онъ самъ, бѣдучи дордой, сочинитъ, а смотришь—и настоящую статистику потревожить нужно, чтобы слова-то эти къ настоящему знаменателю привести. Прибѣдетъ онъ изъ Чухломы—готовъ для него одну статистику. А тамъ, гляди, изъ Наровчата другой ѣдетъ—и для него опять готовъ статистику. А статистика-то вѣдь времени требуетъ, подика надъ ней поспѣи! А ему что! Онъ выдаетъ собѣ да выдаетъ словами, и очень радъ.

— И бы, съ своей стороны, со вѣсьми этими комиссiями строго поступить,—отозвался умный Покатилогъ:—разсѣять ихъ по комнатамъ, содержанiе прекратить, заперъ на ключъ да и ушелъ. Вотъ вамъ, сидите, покуда не кончатъ.

— И кончили бы!—соответственно откликнулся Набряшниковъ.

— Направляй книжку, направляй!—вдругъ безъ всякаго резона крикнулъ Пучеглазовъ, такъ что всѣ вздрогнули.

— А я объ чемъ же говорю?—возобновить собесѣдованiе Чернобрововъ, когда первое впечатлѣнiе испуга про-

шло.—Объясните предметъ, говорю я, и очертите кругъ (генераль очертилъ пальцемъ на скатерти кругъ); вотъ здѣсь, и чтобы за предѣлы этого круга—ни-ни! Или *того* пистолетъ, или *этого*, а не пистолеты вообще. И при семь чтобы въ срокъ. Кончите въ срокъ—исполать! Не кончите—стыдно, сударь! Въ старину такъ оно и бывало. Скажутъ: стыдно—и понимаешь, что стыдно. А нынче слово-то это въ забвеніе пришло; скажутъ ему, а онъ только кудрями встряхнетъ.

— И прежде—не всегда...—чуть-чуть не проговорился Гвоздяловъ, по вспомнилъ и замолчалъ.

— Многого нынче не понимаютъ, многого! — протифвался Краснощекъ:—я помню, когда я губернаторомъ былъ, такъ за версту, бывало, становому погрозишь, а онъ уже понимаетъ! Тридцать верстъ не кормя во всё лопатки улететьваешь, и все не можешь пальца этого позабыть!

— То было время, а теперь другое,—резонно пояснилъ умный Покатиловъ.

— Какое такое особенное время? И тогда было время, и теперь время—всѣ времена одинаковы!

— Ну, что ужъ тутъ, другъ мой!—вступился Чернобрововъ:—что правда, то правда! Темро... Темро... Набрюшниковъ! скажи, братецъ!

— *Tempora mutantur*, ваше превосходительство, *et nos mutantur in illis*.

— Слышишь, мой другъ! А по-русски это значить: канцельмейстеръ другой темпъ взять, и мы по-другому восплашали... Что дѣлать! Когда мы у кормила стояли, губернаторская-то власть...

Чернобрововъ вздохнулъ и умолкъ; но сдѣланное имъ напоминаніе уронило новую искру въ сердца и причинило новое воспламененіе. На арену выдвинулась новая неизбывная рана—въ формѣ вопроса о губернаторской власти.

Всѣ помнить, какъ волновалъ этотъ вопросъ русское общество въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ. Теперь онъ нѣсколько поутихъ; но тогда образовалась цѣлая публицистическая доктрина, которая называла себя послѣднимъ словомъ науки и которая безъ обвиняловъ вопіяла: дадутъ губернаторамъ власть (почему-то вдругъ всѣмъ показалось, что это самыя беззащитныя существа)—и все процвѣтетъ; не дадутъ—и все завянетъ.

Если не дадут—произойдет бесплодная и изнеуряющая централизация; если дадут—произойдет умѣренная, но плодотворная децентрализация. Что лучше?

Взгляните на Соединенные Сѣверо-Американскіе Штаты—примѣръ наиболѣе для насъ подходящий. А съ другой стороны примите въ соображеніе пагубные результаты, которые произвело ограниченіе губернаторской власти во Франціи. Самъ Наполеонъ III понималъ это. А Токевиль подтвердилъ. Монталамбертъ присовокупилъ я Гнейстъ запечатлѣлъ. Что касается до губернаторовъ того времени, то о нихъ и говорить нечего: всѣ они въ однихъ голоса утверждали, что Токевиль правъ. Не помню, что именно я лично тогда объ этомъ вопросѣ думалъ—кажется, впрочемъ, надвое: и такъ хорошо, и такъ недурно, смотря по тому, какъ лучше; но во всякомъ случаѣ внезапное возобновленіе забытыхъ дебатовъ на Пескахъ, въ почтуную пору и въ сейчасъ описанной обстановкѣ, до того живо воскресило въ моей памяти недавнее прошлое, что я въ одну минуту помолодѣлъ и весь превратился въ слухъ. Какъ и слѣдовало ожидать, застрѣльщикомъ въ данномъ случаѣ явился «умница» Покатилловъ.

— Въ наше время,—сказалъ онъ,—губернаторская власть стояла твердо, но въ то же время была свободна отъ нареканій, ибо находилась въ предѣлахъ и требовала осмотрительности.

Сказалъ и умолялъ. И всѣ пренебрегающіе, не исключая даже кантонистовъ, утвердительно покачали головами, какъ будто для нихъ быть осмотрительными столь же легко, какъ для обыкновеннаго обывателя быть твердымъ въ бѣдствіяхъ.

Но на меня эта *profession de foi* произвела удручающее впечатлѣніе. Признаюсь откровенно, съ нѣкоторыхъ поръ я смотрю на твердость власти совѣмъ другими глазами.

Во-первыхъ, я не только не смѣшиваю власти съ осмотрительностью, но, напротивъ, вижу въ послѣдней нѣкоторое прегрѣновеніе; во-вторыхъ, о предѣлахъ я даже и не мыслю до такой степени самое упоминаніе о нихъ представляется мнѣ несвойственнымъ. И вѣдь этимъ я обязанъ «послѣднему слову науки», выработанному современною русскою публицистикою.

Ступить на горы—горы дрожать,  
Лягнетъ на воды—воды кипятъ.

Вотъ въ какомъ видѣ понимаетъ власть «послѣднее слово науки», и въ какомъ не перестаетъ рекомендовать ее русская публицистическая доктрина, начиная съ шестидесятихъ годовъ. Послѣдняя совѣтуетъ, отъ времени до времени, даже не безъ умысла допускать известную дозу неосмотрительности, дабы съ ея помощью осуществить твердость власти въ принципиальной ея чистотѣ. И я не только раздѣляю это убѣжденіе, но вмѣстѣ съ Токавилемъ восклицаю: катать такъ катать! По-американски: all right!

Несомнѣнно, что до-реформенная власть была обставлена очень серьезными усложненіями; но несомнѣнно и то, что усложненія эти не способствовали ея развитію, но составляли большое мѣсто, противъ котораго и протестовало послѣднее слово науки. И что-жъ! Именно въ пользу этихъ-то усложненій и раздалось здѣсь прочувствованное слово! Гдѣ раздалось? — въ средѣ одряхлѣвшихъ и обиженныхъ старцевъ, которые, по самой природѣ своей, скорѣе должны быть склонны къ упрощенію, нежели къ усложненію!

— Позвольте, ваше превосходительство, обратился я къ Покатилону: — съ одной стороны, твердость власти, съ другой — предѣлы... осмотрительность... что-то я не понимаю! Такъ ли это? Не говоритъ ли намъ послѣднее слово науки, что осмотрительность равносильна колебанію, и что для освѣженія власти, отъ времени до времени, не безусловно даже съ умысломъ выходить изъ предѣловъ осмотрительности?

— Напримѣръ-съ?

— Допустимъ, напримѣръ, что исправникъ, въ видахъ пенитенціи, предприметь мѣропріятіе...

— Зачѣмъ-съ?

— Положимъ, хоть бы для того, чтобы доказать, что распоряженіе, даже и не исполнѣе законное, должно быть выполнено...

— Всенепремѣнно-съ. Если распоряженіе послѣдовало, то оно должно быть выполнено. Но зачѣмъ же непременно незаконное? Почему не начать прямо съ «закононаго-съ»?

— Зачѣмъ? Почему? Да просто вздумалось, захотѣлось. Взять да и сдѣлать!

— Направляй кишку! направляй! — гаркнулъ спросонья Балаболкинъ (точно онъ слышалъ мои слова и хотѣлъ выразить мнѣ сочувствіе), но такъ громко, что съ Людмилой Ивановой сдѣлалось дурно.

— Ты бы, Фрозь Терентьичъ, потише бредилъ! Вѣдь этакъ не трудно и навѣкъ человека уродомъ сдѣлать!— вскинулся Краснощековъ на оторопѣлаго кантониста и затѣмъ, обращаясь къ мнѣ, прибавилъ:—Есть въ вашихъ словахъ нѣкоторое основаніе, молодой человекъ, есть!

— Твердость власти и осмотрительности!— продолжалъ я, поспрещенный сочувствіемъ Краснощекова:— но ежели я, облеченный властью, не обладаю осмотрительностью, ежели природа не надѣлила меня этимъ даромъ? Ежели, напротивъ, она надѣлила меня рыцарскою пылкостью и способностью слѣдовать первымъ необдуманнымъ движеніямъ благороднаго сердца? Ужели я изъ-за этого навсегда долженъ быть лишень возможности осуществить власть?

— На это я могу вамъ, молодой человекъ, сказать слѣдующее: въ наше время даже лишень осмотрительности человекъ силою вещей становился осмотрительнымъ, или, по крайней мѣрѣ, вынужденъ былъ неосмотрительности своей давать другое назначеніе. Да-съ.

И види, что лицо мое продолжаетъ выражать недоумѣніе, умница поднялъ кверху указательный палецъ и продолжалъ:

— Обстановка была—только и всего.

И затѣмъ началъ по пальцамъ пересчитывать.

Губернскій прокуроръ былъ—разъ-съ; губернский штабъ-офицеръ былъ—два-съ. Вотъ вамъ, съ перваго же абзуга, два лица, у которыхъ и обязанностей другихъ не было, кромѣ одной: неослабно имѣть въ виду начальственную неосмотрительность.

— Вспомните, однако, ваше превосходительство, что вѣдь, въ сущности, это былъ лишь источникъ пререканій, который и начальство не мало огорчалъ!

— Дѣйствительно-съ. Именно такъ эти дѣйствія и назывались. По въ наше время словъ не боялись, ибо всякому было вѣдомо, что за пререканіями скрывается власть, сама себя проверяющая. Если-бъ не существовало пререканій, какое зрѣлище представилось бы глазамъ нашимъ? Не знаю, какъ вы на этотъ предметъ смотрите, но я весьма опасаясь, что мы увидѣли бы пространство, отдаиное въ распоряженіе неосмотрительному человеку, который ни самъ себя сдержатъ не въ силахъ, ни обстановки подъ руками не имѣетъ, которая благовременно его въ чувство привести бы могла!

— И сколько мы видимъ примѣровъ...—началъ было На-

брюшниковъ, который, въ качествѣ добраго подчиненнаго, до сихъ поръ преимущественно помахиваніями головы свѣдѣтельствовалъ о своемъ сочувствіи, но теперь, очевидно, не могъ уже сдерживать постигшаго его умиленія.

— Я не вижу даже надобности скрывать, что я и на самомъ себѣ эти примѣры испыталъ,—прервалъ его Показиловъ.—Разскажу вамъ, какой однажды со мной случай былъ. Задумала моя Лукерья Ивановна выкинуть въ загородной рощѣ устроить. Прекрасно. Выдумали они тамъ дороги какія-то необикновенныя, чтобъ полгорода на нихъ усадить: и натурально ко мнѣ: позволъ да позволъ въ эти дороги пожарныхъ лонгадей запречь! Я—туда-сюда; однако переговорилъ съ полицеймейстеромъ; тотъ, съ своей стороны, обнадеежилъ,—бери, матушка! А на другой день ко мнѣ штабъ-офицеръ; «по ежели, говоритъ, пожаръ?» Я опять туда-сюда; и полицеймейстера за бока, и почему же, говорю, такъ-таки ужь непременно и пожаръ?—а онъ уперся на своемъ: «по ежели, говоритъ, пожаръ?»—И что же-съ! подосадовалъ я, признаться, однако вижу: полковникъ-то вѣдь и правъ! Протянуть ему руку и говорю: благодарю, полковникъ! если-бъ не вы, я, быть-можетъ, противъ закона бы поступилъ! Позвольте васъ спросить: такъ ли мнѣ слѣдовало, на основаніи «последняго слова науки», поступить?

— По моему мнѣнію, на основаніи последняго слова науки, полковнику никогда бы и въ голову не пришло настаивать въ такомъ дѣлѣ, *которое самъ лучше извѣстно.*

— И я полагаю, что по нынѣшнему времени онъ бы не настаивалъ. Но въ старыя годы такъ не полагали; а если-бъ полагали иначе, такъ управляемымъ и дѣвлялся, пожалуй, было бы некуда. А въ скоромъ времени послѣ того и другой казусъ со мной случился. Открывалась въ городѣ вакансія частнаго пристава, а меня кума давно ужь о мѣстѣ для мужа просила. Вотъ я и говорю ей: съ Богомъ, кума! А на другой день ко мнѣ прокуроръ прикатилъ. «Это, говоритъ, духовная симонія! Я, говоритъ, обязанъ буду довести!» Ну, и тутъ опять: подосадовалъ я подосадовалъ, да и долженъ былъ согласиться, что прокуроръ правъ! Какъ объ этомъ новая наука-то ваша говоритъ?

Я хотѣлъ отвѣтить, что такія дѣйствія наука называетъ расхищеніемъ власти; но величіе покатиловской души до того подавило меня, что я безмолвствовалъ.

— А я вамъ скажу, какъ она говоритъ,—продолжалъ

неумолимый старикъ:—она видитъ въ таковыхъ поступкахъ противодействие... А наша, старинная наука видѣла въ нихъ содѣйствіе и лицъ, на которыхъ это содѣйствіе было возложено, именовала «надзоромъ». Да-съ, было такое слово въ старину, которое нынѣ даже у старожиловъ изъ памяти исчезло. И начальство, съ своей стороны, ежели и огорчалось, какъ вы говорите, пререканіями, то огорчались больше столоначальники, коимъ приходилось таковыя разрѣшать; настоящее же начальство, напротивъ, радовалось, ибо знало, что ежели власть въ соответственномъ видѣ проявлять себя желаетъ, то надзоромъ за подчиненными ей органами она не подрывается, а укрѣпляетъ себя. Можеть-быть, это укрѣпленіе устроено было на старинный манеръ, но все-таки оно существовало, и никому въ голову не приходило сказать, что оно не укрѣпленіе, а потрясеніе. Позвольте спросить: что, ежели бы я, воспользовавшись послѣднимъ словомъ науки, поѣхалъ на пожарныхъ лошадяхъ на шикниѣ, а у меня бы въ это время полгорда огнемъ бы выдрало? Или если бы я, по слабости человѣческой, губернію кумъ предоставилъ, а она, въ свою очередь, прочимъ кумовьямъ ее раздарила? Утѣшительный ли бы получился отъ сего для начальства результатъ?

Вопросъ былъ поставленъ такъ рѣшительно, что даже капитаны испугались и вытаращили глаза, а генералъ Краснощекъ, который въ свое время, вѣроятно, не разъ отдавалъ губернію на поддержаніе кумъ, смугился и молчалъ. Что касается до Набряшниковъ, то онъ находился въ такомъ восхищеніи, что безъ словъ декламировалъ руками.

— Но вѣдь несомнѣнно, что подобныя дѣйствія, рано или поздно, и сами собой вышли бы наружу,—попытался я возразить.

— Самы собой-съ? или, говоря другими словами, при помощи скандала-съ? Черезъ посредство газетныхъ корреспондентовъ-съ? Цокорнѣйше благодарю-съ.

Умница приветалъ и поклонился; за нимъ, машинально, тотъ же жестъ повторилъ и Набряшниковъ.

— Но развѣ непременно необходимъ скандалъ? а кейлейно?

— Нельзя-съ. Коль скоро обстановка нарушена, и некому, въ законномъ порядкѣ, начальственную неосмотрительность ограничить, другого выхода, кромѣ скандала, нѣтъ-съ. Да въ наше время, признаться, кейлейностей-то и не признавали. Открыто дѣйствовали, не опасались. Въ со-



рокъ седьмомъ году, когда Фролъ Терентьичъ Балаболкинъ, по неосмотрительности, три четверти города спалилъ, а остальную четверть, по строптивости характера, въ кандалы заковалъ, прислали за нимъ изъ Петербурга фельдъегеря, посадили въ телѣжку и увезли-съ.

Всѣ взоры на минуту устремились на Балаболкина, который, не подозрѣвая, что о немъ идетъ рѣчь, тяжело со-нѣлъ и въ полудремотѣ бормоталъ:—Направляй книшку! на-правляй! направляй! направляй!

Лицо его было блѣдно, какъ бы измучено, и въ то же время выражало совѣтъ персонную непреклонность. Съ перваго взгляда по этому лицу нельзя было угадать, что именно этотъ человѣкъ въ состояніи предпринять, по ежели скажутъ—всему повѣрить можно. Что касается до меня, то въ свое время и я слышалъ рассказы объ этомъ путеше-ствіи на телѣжкѣ, но, признаюсь, считалъ ихъ басносло-виемъ. И вдругъ Богъ привелъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ самимъ виновникомъ торжества!

А «ушница» между тѣмъ продолжалъ:

— А какъ вы о губернскихъ управленіяхъ полагаете? Легко было съ ними ладить? Развѣ тѣ они были, что те-перь? Развѣ могъ я совѣтникомъ поминать: извольте, го-сударь мой, подавать въ отставку; мы мнѣ не нравитесь, вы съ дамами обращаться не умѣете? Въ наше время, су-дарь, у совѣтника-то поясица желѣзная была, голось какъ у протодьякона; весь онъ, бывало, пропитанный сводомъ-законовъ ходить, и у всѣхъ, на обѣдѣ ли, на вечерникѣ ли,—вездѣ первый гость. И у преосвященнаго—свой чело-вѣкъ. У меня одинъ такой-то былъ, такъ я каждый день съ нимъ до седьмого пота спорилъ. Я говорю свое, а онъ — свое; иногда я его, иногда — онъ меня. Неприятно оно — что и говорить! — но, съ другой стороны, и тутъ для на-чальствующаго лица провѣрка. Пробовалъ-было я, на пер-выхъ порахъ, начальству докучать: возьмите, говорю, отъ меня сего строптивата чиновника,—а мнѣ въ отвѣтъ: «не угодно ли, предварительно, факты таковой строптивости представить!» Факты-съ! вотъ вѣдь какое слово было, а нынче и выговорить-то его порядкомъ не всякій сумѣетъ!

— Но вѣдь они взятки брали, совѣтники ваши! Кому же это, наконецъ, не извѣстно!

— Не отрицаю, дѣло возможное-съ. Только скажу вамъ одно: если бы люди съ такимъ умомъ и съ такими познани-ями жили въ нынѣшнее время, то, судя по нынѣшней

жадности, миллионерами бы они были — вотъ что-съ! А я между тѣмъ изъ современниковъ моихъ только одного совѣтника губернскаго правленія и зналъ, который настоящее состояніе себѣ составить. Да и тотъ впоследствии въ мопяхи пострится, а капиталы свои на Азовъ пожертвовалъ.

— И все-таки позволяю себѣ думать, что относительно фактовъ можно было бы и поиснехидитольше взглянуть. Видь губернское правленіе — это, такъ сказать, домашнее учрежденіе, въ которомъ и допустить разногласію неудобно. А притомъ же совѣтника — то видь подчиненію вышлибли...

— Да вы читали ли, молодой человекъ, «Учрежденіе губернскихъ правленій»? Прочтите-съ. Это не законъ, а музыка-съ. Никакихъ домашнихъ учреждений въ государствѣ не полагается-съ. И учрежденія, и формы — все пригвано такъ, чтобы предѣлы обозначить. И совѣтники совѣтъ не подчиненные были, а члены коллегіи-съ. Бывало, присутствуютъ журналы-то губернскаго правленія, такъ въ иномъ пальца три толщину, и всякій объ особенномъ дѣлѣ трактуетъ! И весь онъ задомъ напередъ написанъ, сперва конецъ, потомъ начало, а середину — самъ ищи! Читайте-съ — и постепенно тебя объѣмлетъ. А въ заключеніе: подтвердишь.

— И подтверждали-съ! — весь сія восторгомъ, воскликнуть Набрюшниковъ.

— А затѣмъ и стороннія вѣдомства. Вышнія наука въ нихъ претензіе видить, а старая видѣза полезное раздѣленіе властей. И это, въ свою очередь, предѣлы полагало. Я полагаю вотъ такъ поступить, а, наиримѣръ, вѣдомство государственныхъ имуществъ — вотъ этакъ. Мы и переписываемся.

— Воля ваша, а это положительно расхищеніе власти!

— По-вышнему — такъ. Даже странно кажется, ежели кто возражаетъ. А въ старину требовалось, чтобы власть сама себя оправдывала, а не ради того одного властью называлась, что ей мундиръ присвоенъ. Мундиръ давалъ вышнія преимущества — этого и достаточно. Бывало, у обѣдни въ соборѣ — я впереди всѣхъ стою; у головы на пирогѣ — мнѣ первый кусокъ; на балѣ въ польскомъ — я съ предводительней въ первой парѣ; въ засѣданіи комитета — я на предѣдательскомъ мѣстѣ; по губерліи на ревизію поѣхалъ — отъ границы до границы уѣзда впереди исправникъ скачетъ; въ уѣздный городъ прѣбхалъ — кушцы хлѣбъ-соль подносятъ; уѣзжать собрался — прово-

жаютъ... Польщенъ, уваженъ, почтенъ, сытъ—какихъ еще знаковъ больше!

При этомъ краткомъ перечнѣ почестей, которыми окружена была до-реформенная губернаторская власть, у всѣхъ стариковъ глаза разгорѣлись. Даже Гвоздиковъ позабылъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежало, и целинулъ языкомъ.

— А то, помилуйте, мундиръ во всей силѣ остался, а обстановка—упразднена!

— Ваше превосходительство! но развѣ можно такъ рѣшительно утверждать, что обстановка упразднена? А суды? а земство? Развѣ это...

— Знаю-съ; но вѣдь послѣднее слово науки и въ этихъ учрежденіяхъ расхищеніе власти усматриваетъ. Я же, съ своей стороны, скажу вамъ: суды и прежде, и нынче — всегда судами были. Всегда они особнякомъ стояли, а ежели послѣднее слово науки и дразнится независимостью, такъ это, во-первыхъ, одно пустословіе, а во-вторыхъ, къ вопросу о прерогативахъ власти совѣмъ не относится. И прежде выберутъ, бывало, отставного прапора въ председатели — смыслу въ немъ ни кашельки, а попробуй-ка кто-нибудь коснуться къ нему! Что же касается земства, то развѣ наука ваша принимаетъ его въ сурьезъ? И тутъ она только дразнится и малодушествуетъ. Ахъ, молодой человекъ, молодой человекъ! нынче даже сенатъ—и тотъ предостерегающее значеніе утратить... Сенатъ-съ!

При упоминаніи о сенатѣ въ комнатѣ водворилась такая тишина, что даже лаксѣй, убиравшій со стола тарелки, и тотъ останавливался какъ вкопанный. Первый нарушилъ очарованіе Набрюшниковъ, но и то шопотомъ, единственно по чувству преданности.

— Нынче даже радуются, ежели сенатъ оторчелъ,—шепчутъ онъ сосѣду своему, Кулидионову.

— Все упразднено-съ, — заключилъ Покатиковъ слабымъ голосомъ:—«надзоръ»—упраздненъ-съ; коллегія—упразднена-съ; а что вновь установлено, то въ смѣшномъ и вредномъ видѣ представляется...

«Умница» махнулъ рукою и умолялъ. На его мѣсто, въ роли обличителя, выступилъ генералъ Чернобрововъ.

— Сенатъ-съ, — сказалъ онъ: — а особенно московскіе онаго департаменты... Это я вамъ доложу, въ своемъ родѣ, антикъ былъ! Указы-то, бывало, охашами съ почты таскаютъ, такъ что ежели посторонній человекъ при этомъ

случится, такъ только руками разведеть: неужели, молъ, на всю эту оханку отвѣчать падо? А тамъ, спустя время, пойдуть и донесенія на оханку: «зачѣмъ, по присланному изъ сената указу, исполненія учинить невозможно». Принесуть, бывало, изъ губернскаго правленія оханку рапортовъ — иной въ палецъ толчины — такъ только объ одномъ думаешь: все ли тутъ откровенно написано? И ежели чуть гдѣ замѣтишь: «къ сему необходимо присовокупить», или вообще умствование какое-нибудь, — «те-те-те, голубчикъ! прошу отъ умствованій уволить! сенатъ и самъ разбереть, что худо, что хорошо, — нечего его наводить!» Вотъ, мой другъ, какіе мы, старики, чувства къ сенату питали!

— Великій, бывало, ябедникъ, и тотъ въ сенатъ, — заикнулся-было Гвоздиковъ, но вспомнилъ, что у него на душѣ постыдное дѣло лежитъ, и замолчалъ.

— И ябедники свою долю пользы приносили-съ! — холодно замѣтилъ ему Покатиловъ.

— Ябедники! Но вѣдь это лаялъ! — воскликнулъ я.

— И они предѣлы полагали-съ.

Я былъ побѣжденъ. Какой, однако-жь, изумительный механизмъ! сколько гарантій! Губернаторскій прокуроръ — разъ, губернскаго штабъ-офицеръ — два, губернскаго правленія три, посторонняго вѣдомства (въ томъ числѣ и начальникъ земской конюшни) — четыре, почтмейстеръ — пять, ябедники — шесть. И въ облакахъ — сенатъ... московскіе опата департаменты!

И никто не жаловался, что много, никто не кричалъ: караулъ! власть расхищаютъ! Вотъ бы хоть чуточку позлить!

Правда, что передъ моими глазами сидѣли такіе два экземпляра минувшихъ дней, которые не весьма свидѣтельствовали въ пользу устойчивости гарантій, а именно: Балаболкинъ и Пучеглазовъ (а очень вѣроятно — и Гвоздиковъ съ Краснощекковымъ); но вѣдь зато Балаболкинъ и пробѣжалъ съ жандармомъ въ телѣжкѣ. Что же касается до Пучеглазова, то онъ и до сихъ поръ хорошенько не знаетъ, какимъ образомъ онъ губернаторства лишился. Догадывается только, что, должно-быть, правитель канцеляріи подsunулъ ему прошеніе объ отставкѣ подписать, а его и уволили. Такъ вѣдь и это своего рода гарантія. Кабы дать Пучеглазову волю, какъ этого требуетъ послѣднее слово науки, такъ онъ, чего добраго, всю бы губернію сквозь строй прогналъ, а правитель канцеляріи попятъ это и предупредилъ.

Было двѣнадцать, но никому и въ голову не приходило,

что это часъ привидѣній. Напротивъ, всё продолжали сидѣть за столомъ, совсѣмъ какъ бы живые. Но если-бъ не крикнуть въ эту минуту на соседнемъ дворѣ пѣтухъ — ко-печью, нельзя поручиться, какое превращеніе могло бы произойти!

Однако все обошлось благополучно, и любезный хозяинъ первый ободрилъ насъ, подновивъ потухающую бесѣду разсужденіями на тему распорядительности.

— Вотъ вы сейчасъ о предѣлахъ слышали, — сказалъ онъ: — но не думайте, что сжали кто предѣлъ исполнить, тотъ ужъ освобожденъ отъ распорядительности. Требовалось, чтобъ губернаторъ и въ предѣлахъ оставался, и въ то же время хозяйникомъ во всей губерніи быть, чтобъ вездѣ самъ. Дорогу березками обсадить, пожарную трубу выпилить, новый шрифтъ для губернской типографіи приобрести, мостовыя въ городѣ исправить, бульваръ устроить, фонари на улицахъ завести — вотъ задачи, которыя въ старину каждый начальникъ губерніи обязанъ былъ выполнить. А затѣмъ и все остальное. Условился я, напримеръ, съ начальникомъ земской конюшни, чтобъ по всей губерніи лошади у крестьянъ были саврасыя, — и выполнять. И не мѣрами строгости и попущенія я результатовъ достигъ, а единственно съ помощью распорядительности. И такъ эта масть у насъ прижилась, что послѣ того, сколько ни старались созданіе мое разрушить, а и теперь еще въ захолустьяхъ крѣпкая саврасая порода сердце поселянца радуетъ!

Его превосходительство изволило московскій трактъ березками усадить, — присвокупилъ Набрянниковъ, почтительно указывая на Покатилова: — а послѣ нихъ приказали эти березки рубить. И что же-съ! даже нынѣшчасъ въ иномъ мѣстѣ березка цѣлехонька стоитъ!

— Такъ вотъ что значить, мой другъ, распорядительности! — обратился ко мнѣ Чернобрововъ: — только разъ ее стоить проявить, такъ потомъ вѣка невѣжества пройдутъ, но и тѣ плоды ея волюнѣ истребить не могутъ! Хотя одна березка, а все-таки останется.

— И просвѣщеніе, и продовольствіе, и народная правдивость, и холера, и сибирская язва, и оспа — въ одной горсти было! — вторилъ Чернобровову Набрянниковъ.

— И на все хватало времени. А иначе куда все это дѣвалось? Говорять: отошло... по куда?

— Да туда же, куда и все прочее: изморомъ изныло! — несколько раздраженно откликнулся Покатиловъ.

Воцарилось глубокое и скорбное молчаніе, до краевъ переносищенное вздохами. Прасковья Ивановна потихоньку встала и отворила въ сосѣдней комнатѣ форточку.

— Ваше превосходительство! вѣдь вы такую картину современности нарисовали, что трудно даже представить, какъ люди жить могутъ! — обратился я къ Покатилову.

— Развѣ жизнь отъ насъ зависить-сь? Предоставлено намъ жить—и живемъ-сь.

Эти страшныя слова еще больше усилили общее уныніе. А тутъ еще и Краснощековъ подбавилъ.

— Бывало, я ѣду по губерціи — и понимаю! — воскликнулъ онъ, троя оцями: — и себя самого, и другихъ — все понимаю! Направо посмотрю и лѣво посмотрю — вижу-сь! Чуть ежели что — стой! выльзу изъ экипажа и распорядусь-сь! А нынче «онъ» что? Потуда онъ себя и чувствуетъ, покуда лизъ квартиры до вокзала желѣзной дороги, облакомъ одѣянный, ѣдетъ! Прѣхаль, сѣлъ въ вагонъ — что «онъ» такое? — кладь-сь. Везутъ его, какъ и всякую прочую кладь, а куда везутъ — онъ не знаетъ! Силу нара остановить не можетъ, рельсамъ съ дороги снять — не имѣеть права! Задній ходъ дать — не умѣеть! А ежели на станціи шумѣть начнетъ — сейчасъ протоколъ. И пойдутъ передъ всѣмъ честнымъ народомъ разбирать, въ какой силѣ онъ шумъ производилъ: «при исполненіи» или просто въ качествѣ разношница. Срамъ-сь.

— Направляй книжку! — зывылъ во снѣ Балаболкинъ и въ то же время такъ сильно покачнулся вбокъ, что едва не свалился со стула.

Это была послѣдняя вѣшшка; приближался процессъ старческаго разложенія. У всякаго что-нибудь затосковало. У Чернобровова — пога, у Покатилова — лопатка, у Краснощекова — поносница. Всѣ чувствовали потребность натереться па ночь маслицемъ и надѣть на голову колпакъ. Даже дамы не безъ умысла любоньствовались, какое сегодня число?

Увы! предъ мною приводягь былъ лишь край таинственной завѣсы, скрывавшей прошлое. Собственно говоря, я получилъ болѣе или менѣе ясное представленіе только о «среднякахъ»; о творческой же дѣятельности до-реформенныхъ губернаторовъ я зналъ только одно: что они могли распространить саврасую масть. Но какъ они относились

къ сокровищамъ, въ недрахъ земли скрывающимся? Какъ понимали вопросъ о движеніи народонаселенія? Одобряли ли заведеніе фаланстеровъ, доставляли ли въ срокъ свѣдѣнія, необходимыя для изданія академическаго календаря, и въ какомъ смыслѣ: тенденціозныя или научныя? Признавали ли пользу травосѣянія, вѣрили ли въ чудеса, или считали оныя лишь полезнымъ мѣропріятіемъ въ видахъ обузданія простолюдности? Находили ли достаточно существующую астрономическую систему, или полагали оную, для пользы службы, отбросить? Провидѣли ли гессенскую муху, сусликовъ, кузьку, скопическій банкъ, саранчу? Какими идеалами руководились при опредѣленіяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ? — Вотъ сколько вопросовъ разомъ пронеслось передо мной, и всѣ они остались такою же загадкой, какъ и въ то утро, когда генераль Черныбрововъ благосклонно почтилъ меня приглашеніемъ.

По примѣру прочихъ, я уже собрался вѣтать, какъ встрѣтить устремленный на меня взоръ Кушидонова, который какъ бы говорилъ: такъ неужто же отъ меня и научиться ужь нечему?

— Можетъ-быть, и вы имѣете что-нибудь сказать, полковникъ? — обратился я къ нему.

— Немного, — отвѣтить оны: — по тожѣ въ своемъ родѣ... Первые мостки черезъ Неву я еще при блаженной памяти Александрѣ I устраивать и затѣмъ ежегодно весной и осенью, въ теченіе тридцати лѣтъ, несъ на себѣ эту обязанность. И сошлое на всѣхъ: каковы были до-реформенныя мостки и каковы нынѣшніе! Только и всего.

Онъ простеръ руку и щелкнулъ языкомъ. Но уже врядъ ли кто изъ стариковъ порядкомъ слышалъ его слова. Только Прасковья Ивановна слегка плеснула руками, но и то, по правдѣ сказать, больше въ знакъ благодарности за провѣсную сѣбоярыбницу, которую Кушидоновъ въ этотъ вечеръ для закуски доставилъ.

Черезъ пять минутъ я былъ уже дома. Въ душѣ у меня была музыка, такъ что когда кухарка, вся заспанная, отворила мнѣ дверь, то первыя мои слова, обращенныя къ ней, были:

— Ахъ, Мавра, Мавра! ты спишь, а того и не подозреваешь, что я весь вечеръ сегодня проведу... съ утѣшеніемъ сенага.

## Письмо седьмое.

И что же на другой день оказалось!

Что весь вчерашний вечер и провель среди членовъ тайнаго общества «Антиреформенныхъ Бунтарей»!

Покатиловъ—глава и основатель общества; Краснощечковъ—человѣкъ судьбы, долженствующій, въ случаѣ надобности, выхватить на бѣломъ конѣ; Пучеглазовъ—правая рука; Балаболкинъ—лѣвая; Набрюшниковъ—вѣстникъ; Гвоздильковъ—предатель. Словомъ сказать—вся обстановка, не исключая и дамъ, на которыхъ возложено цинпаніе корини и приготовленіе бунтовъ.

Какъ однако-же обманчива наружность! До сихъ поръ я представлялъ себѣ члена тайнаго общества не иначе, какъ въ видѣ възрѣющаго челоуѣка, который питается сильно дѣйствующими веществами и походя изрыгаетъ изъ себя подозвучныя прокламаціи. — и вдругъ что же увидѣлъ?—Самыхъ обилновечныхъ плѣшивыхъ стариковъ, которые даже твердой нищи разжевать не въ силахъ, которые не то говорятъ, не то урчатъ и вообще ведутъ себя до того тлетворно, что безъ хорошаго вентилятора съ ними невозможно быть! А между тѣмъ въ нихъ-то именно и засѣло потрясеніе основы! Поди, угадай!

Общество «Антиреформенныхъ Бунтарей» имѣетъ обширныя развитія по всей Россіи, но существенныя разнопріяженія разрабатываются предварительно на Пескахъ и отсюда уже расходятся, въ видѣ лозунговъ, по всѣмъ закоулкамъ. Въ провинціи главный контингентъ общества составляютъ оставшіе неправшики, при благосклонномъ содѣйствіи господъ предводителей дворянства. Въ столицѣ—оставшіе губернаторы, при благосклонномъ содѣйствіи любителей, не возжелавшихъ, чтобъ имена ихъ были извѣстны.

У общества имѣется свой уставъ и своя печать. Уставъ написанъ такъ, что можно читать и сверху, и снизу, и зѣвать, вынувъ середку, опять читать. Печать изображаетъ птицу съ распростертыми крыльями, обращенную голову внизъ; подъ нею девизъ общества: «Послѣдней обраткѣ».

Цѣль общества: возстановленіе московскихъ департаментовъ сената. А сверхъ того—и все остальное.

Махинаціи общества долго оставались незамѣченными; но въ послѣднее время за ними стали слѣдить, такъ какъ



дошло до свиданья, что для Краснощечкова уже притворно-вылают облаго коня. И ежели бы вчера вечером обелоточный не позабыл подать свистокъ, то очень можетъ быть, что теперь...

— Мавра! Мавра! куда я понась!

Все это сообщалъ мнѣ Кунидоновъ. Онъ тоже членъ общества, но притворный. Съ помощью икры, провѣнной бѣлорыбницы и другихъ, не особенно цѣнныхъ подарковъ, онъ успѣлъ овладѣть довѣремъ женщинъ и черезъ нихъ узналъ корни и нити. Въ послѣднее время онъ приобрѣлъ очень цѣнное свидѣніе: узналъ имя извозчика, у котораго продается бѣлый конь. На всякій случай Кунидоновъ тоже вооруженъ свисткомъ, который онъ мнѣ и показывалъ. Видомъ своимъ этотъ свистокъ напоминаетъ трубу, которую мы въ свое время услышали на страшномъ судѣ.

Тѣмъ же менѣе Кунидоновъ рассказывалъ все это такъ неостаточно и противорѣчиво, что я долгое время не зналъ, слѣдуетъ ли мнѣ испугаться, или не слѣдуетъ. Тамъ, напримѣръ, сначала онъ сказалъ, что свистокъ ему подарилъ «генералъ», въ знакъ особеннаго къ нему довѣрія. Но черезъ минуту хвалился, что онъ этотъ свистокъ приобрѣлъ у отставнаго околоточнаго за шесть гривенъ. То же самое и насчетъ коня: никакъ нельзя было понять, слѣпой онъ или зрячій... Однако, разсудивъ зрѣло, я пришелъ къ убѣжденію, что испугаться во всякомъ случаѣ безопасно. Можетъ-быть, Кунидоновъ и пустяки нагородилъ, а все-таки недаромъ послонца говорить, что береженаго Богъ бережетъ.

На этомъ основаніи я сейчасъ же раскрылъ все ящики моего письменнаго стола и, къ ужасу своему, нашелъ въ нихъ два глубоко компрометирующихъ письма. Въ одномъ мени утѣждали, что въ конциративной квартирѣ три заговорщика уже собрались и съ нетерпѣніемъ ожидаютъ четвертаго, дабы «присутить». Въ другомъ — сообщали, что «рецептъ порошка возвращается съ благодарностью»... Поди, доказывай, что въ первомъ письмѣ говорится о «винтѣ», а не о революціи, а во второмъ — о зубномъ порошокѣ, а не о динамитѣ! Сейчасъ же, тайно отъ кухарки Мавры, я сжегъ оба документа и неспѣшь развѣвалъ по вѣтру. Затѣмъ взялъ шапку и побѣжалъ къ Чернобровову, чтобы заявить ему о своемъ несочувствіи...

Но было уже поздно: вся наша афетивна была запружена конятыми. А черезъ часъ насъ всѣхъ направили «въ

комиссію... Тайныхъ совѣтниковъ повезли въ извозничьихъ каретахъ, меня—повели пѣшкомъ.

Молчаніе.

Современники не должны знать о такого рода дѣлахъ, ибо они секретныя. Впоследствии, когда тайности мрака времени сами собой выступаютъ на сцену исторіи, потомуки съ удивленіемъ узнають, въ какихъ преступленіяхъ погрязли ихъ предки. А до тѣхъ поръ я могу открыть только слѣдующее: что лишь благодаря дѣлому ряду ловко обдуманыхъ афишъ я успѣлъ выйти изъ дѣла неповрежденнымъ...

Черезъ два часа наше дѣло округлило и уже собрались отсутствовать насъ на все четыре стороны, какъ вдругъ при прощаньи арестантовъ оказалось, что одного изъ насъ называли: Гвоздиковъ обжаловалъ изъ-подъ стражи. Сию минуту разошлись во все стороны хожалыхъ, а черезъ короткое время одинъ изъ нихъ принесъ вице-мундиръ Гвоздилова, найденный на берегу Невы, за Кулашниковскою пристанью. Увы! почтенный старикъ предпочелъ добровольную смерть ожидавшему его позору разоблаченія...

Потужили, составили протоколъ и, какъ водится, рассказали нѣсколько анекдотовъ изъ жизни покойнаго, не къ стыду его относящихся. И такъ какъ адмиральскій часъ уже наступилъ, то презусъ окружательной комиссіи велѣлъ подать водку и, наполнивъ рюмку, помянулъ безвременно погибшую жертву охранительнаго недоразумѣнія. При чемъ съелъ не лишнимъ выразить предположеніе, что съ самаго основанія Петербурга Гвоздиковъ явилъ собою едва ли не первый примѣръ тайнаго совѣтника, обрѣтшаго забвеніе своихъ вигъ въ хладныхъ объятіяхъ Невы, но что, впрочемъ, нужно падѣяться, что сей первый примѣръ будетъ и послѣднимъ. Ибо даже въ самыя горькія минуты жизни человѣкъ не имѣетъ права распоряжаться симъ драгоцѣннымъ даромъ Творца, но обязанъ съ покорностью выкидать начальственныхъ по сему предмету распоряженій.

Наконецъ моментъ разставанія наступилъ. Объявляя намъ свободу, презусъ комиссіи намѣлъ полезнымъ произнести напутственное слово, допустивъ въ немъ нѣкоторыя, не лишеныя извѣстности, отѣвки.

Господинъ тайный совѣтникъ Пожаниловъ!—сказалъ овъ, обращаясь къ главѣ заговорщиковъ:—что преступленіе, въ которомъ обвиняетесь вы и ваши почтенные еди-

помышленники, было действительно вами совершено—это не подлежит для меня никакому сомнѣнію. Вы собирались по ночамъ въ конспиративной квартирѣ; вы замыслили перевернуть въ пользу восстановления московскихъ департаментовъ сената, а затѣмъ и всего остального; у васъ найдены значительные запасы корнѣи и бинтовъ, что свидѣтельствуетъ, что замыслу вашему не чуждо было и предположеніе о кровопрлитіи... Все это доказано достоверными свидѣтельскими показаніями, такъ что ежели бы къ дѣйствіямъ вашимъ примѣнить общепринятыя понятія о возмездіи, то я не ручаюсь, что вы вышли бы отсюда неповрежденными. Но коммисія наша разсудила иначе. Она нашла, что намѣренія ваши столь благовременны и столь тайнымъ совѣтникамъ свойственны, что мнѣ ничего другого не остается, какъ сказать вамъ: идите съ миромъ и продолжайте вашу благонамѣренно-преступную дѣятельность! Объ одномъ прошу васъ: будьте осмотрительны въ выборѣ вашихъ соумышленниковъ! Не увлекайтесь минуруо популярности, не допускайте необдуманныхъ и опасныхъ сближеній! Помните, что коварство на каждомъ шагу подстерегаетъ васъ, и что, благодаря ему, благовременное можетъ сдѣлаться неблагоприятнымъ и благонамѣренное—благонамѣреннымъ.

Затѣмъ, обратившись ко мнѣ, онъ продолжалъ:

— Вы свободны. Благодаря вашей ловкости, Немезида правосудія и на сей разъ остается неудовлетворенною. Но знайте, что ежели настоящее изслѣдованіе не дало вполнѣ непреерекаемыхъ узлъ для опредѣленія характера и состава содѣяннаго вами преступленія, то намѣренія, которыя одушевляють вашу общую дѣятельность, ни для кого уже не составляютъ тайны. Довольно! безъ возраженій! Я не для того обращаю къ вамъ рѣчь, чтобы вступать съ вами въ пререканія, а для того, чтобы вы прониклись моими благими пожеланіями и приняли ихъ къ руководству. *Sapientē sat.*

Высказавши это, презусъ целкнулъ каблукъами (хотя онъ былъ итатскій, но торжественность минуты до такой степени покорила его, что онъ безъ шпоръ не могъ себя мыслить) и вышелъ. На прощанье онъ послалъ воздушный поцѣлуй въ сторону тайныхъ совѣтниковъ, а въ мою сторону погрозилъ очами.

Я возвращался изъ коммисіи съ понурою головою и съ завистью смотрѣлъ на генерала Краснощекова, который

пешь вперед, горделиво выгнуть шею и выдвигая ногами лапсасы. Къ тому же я чувствовалъ, что у меня что-то ползеть по спицѣ: очевидно, это были клопы, которыхъ, въ отместку за отсутствіе уликъ, меня снабдили въ комиссіи. Несколько разъ я норовился нанять извозчика, чтобы поскорѣе покинуть домой, но извозчики пристально обматривали меня съ головы до ногъ и, ни слова не говоря, настегивали лошадей. Очевидно, печать преступленія, несмотря на короткое время, уже успѣла лечь неизгладимымъ клеймомъ на моемъ челѣ.

Тщетно изслѣдовалъ я свое житіе, чтобы уяснить себѣ, что именно могло внушить почтеннѣйшему презуу округительной комиссіи столь невыгодное мнѣніе объ общемъ характерѣ моей дѣятельности.— я не прикидывалъ въ прозіомъ ни одного факта, который подтверждалъ бы это мнѣніе. Правда, что я либераль — это такъ точно, вамъ простижительно! — но либераль до такой степени скромный и смиренный, что даже въ участкахъ, въ графѣ: «чѣмъ занимается» — прописанъ: «всего опасается». Живу я уединенно, бесѣдую съ кухаркой Марфой и не только оружія, но даже простого тесака у себя въ квартирѣ не имѣю. Одинъ только и есть за мной грѣхъ: отъ времени до времени пишываю ну, да вѣдь нельзя же совѣмъ ужъ замоченѣть, потому только, что кругомъ дымятъ коромыслами стоять...

Но и въ писаніяхъ своихъ я въ высшей степени скромный. Я не препятствую такъ-называемымъ консерваторамъ быть консерваторами, не обвиняю ихъ ни въ измѣнѣ, ни въ революціонныхъ замыслахъ, и не удивляюсь, что изъ ихъ лагеря сыплются насмѣшки и обличенія на либерализмъ. Все это въ порядкѣ вещей, все такъ и слѣдуетъ. Но когда эти люди для защиты своихъ мнѣній прибѣгаютъ къ предательскимъ полемическимъ приѣмамъ — признаюсь, это меня возмущаетъ. По моему мнѣнію, это — гнусность, въ которой нѣтъ надобности ни для оживленія столбцовъ, ни для розничной продажи.

Поэтому, когда я устно или печатно заявляю, что всякое убѣжденіе, какова бы ни была его окраска, можетъ и должно быть защищаемо безъ подвоховъ (а я, покуда, имѣю только этого я добиваюсь), то мнѣ положительнѣе иногда не приходится на мысль (или, по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ не приходило), чтобы подобное заявленіе заключало въ себѣ попытку на цотрясеніе основъ и непризнаніе авто-

ритетовъ. Я просто-на-просто призываю къ чести и опрятности и ничего больше.

Но, къ сожалѣнью, приходится убѣдиться, что при измѣнѣхъ обстоятельствъ и потрясеніи, и посягательствахъ все блѣднѣетъ и стирается передъ вопросами о какихъ-то личныя привилегіяхъ самаго низменнаго свойства. Такъ что если-бъ я завелъ въ своей квартирѣ пѣный складъ те-саковъ, то въ глазахъ очень многихъ людей это дѣйствіе представлялось бы менѣе вреднымъ, нежели, напримѣръ, выраженіе удивленія по поводу какого-нибудь безшабашнаго публичнаго, который, засѣвши по-уши въ грязь, брызжетъ ею во всѣхъ, имѣющихъ дерзновеніе не признавать его мудрецомъ.

Такъ мало-по-малу мельчаетъ и вырождается старинная распря между либералами и охранителями. Содержаніе спора все болѣе и болѣе тускнѣетъ, а на мѣсто его выступаютъ микроскопическіе детали и подвохи, которымъ, ради декорума, присваивается наименованіе ловкихъ приемовъ. И очень возможно, что не далеко время, когда, по волѣ всемогущихъ судьбъ, либерализмъ совсѣмъ оцутится въ боя, а охранители, почувствовавъ себя окончательно свободными отъ всякой узды, будутъ на всей своей волѣ безъ пороку палить въ пустое пространство...

Я знаю, найдутся читатели, которые скажутъ, что все описанное выше не только преувеличено, но просто-на-просто представляетъ сплошную небывальщину. Замѣчаніе это, впрочемъ, немало мени не смутитъ, потому что я и самъ вполне съ нимъ согласенъ. Я лучше, нежели кто-нибудь, знаю, что въ натурѣ не было ни уланца Покатилова, ни рыцаря Краснощекова, ни канерсниковъ, ни конспиративной квартиры на Нескахъ, ни тайнаго общества антиреформенныхъ бунтарей. Никогда ничего подобнаго я не видалъ; о необходимости восстановленія московскихъ департаментовъ сената ни отъ кого не слыхалъ и за подобныя разговоры ни въ какую комиссію призывается не быть. Но и за всѣмъ тѣмъ я утверждаю по совѣсти, что все написанное мною объ этомъ предметѣ съ подлиннымъ вѣрно, и что ежели, напримѣръ, не существуетъ въ натурѣ общества антиреформенныхъ бунтарей, то существуетъ духъ времени, который нельзя назвать иначе, какъ антиреформенно-бунтарскимъ и который съ каждымъ днемъ приобретаетъ все болѣеую и болѣеую авторитетность.

Я утверждаю, что этим духом пропитана вся влиятельно-интеллигентная Россия, и что консервативные сбитованія, раздающиеся на Пескахъ (зри выше), во-стократъ меньше каррикатурны, нежели тѣ, которыя на каждомъ шагу приходится слышать и на улицахъ, и въ публичныхъ мѣстахъ, и — по преимуществу — въ салонахъ и кабинетахъ. Вездѣ мы встречаемся съ несомнѣнными сивыми меринами, которые пронагадвудируютъ несомнѣнно нелогичныя фантази и бреда и, не обвиняясь, присваиваютъ имя наименованіе политическихъ и административныхъ программъ.

Поэтому, ежели читатель справедливъ и притомъ не ограничивается однимъ буквальнымъ пониманіемъ читаемаго, то онъ будетъ вынужденъ признать, что въ предыдущемъ моемъ письмѣ я не только ничего не преувеличилъ, но во многихъ отношеніяхъ стоялъ далеко выше дѣйствительности. А сверхъ того у меня имѣется въ запасѣ и еще одна оправдательная оговорка: подождите! Почему вы знаете, чѣмъ чревато будущее? Вѣдь перспективы бредовы до такой степени растяжимы, что никакая карриатура не въ силахъ намѣтить границу, гдѣ обязательно долженъ завершиться ихъ циклъ.

По моему мнѣнію, въ общемъ нестройномъ хорѣ антиреформенной разнузданности умница Показиловъ выдѣляется съ несомнѣнною для себя выгодною. Сопоставленія, на которыя онъ основываетъ свои тяготѣнія къ до-реформенности, не лишены нѣкоторыхъ странностей, но въ то же время свидѣлствуютъ о замѣчательномъ остроуміи и подлинной резонности. Логическій умъ стараго практика не допускаетъ ни разброда, ни скачковъ, ни игры въ прятки, ни даже рыцарскихъ порываній невѣдомо куда (въ чемъ достаточно изобличается, напримѣръ, благородный генералъ Красношековъ), но прямо укрывается подъ сѣнь закона и въ немъ отыскиваетъ все, что нужно для того, чтобы утѣнить сенатъ. Показиловъ отнюдь не притворяется, являясь горячимъ защитникомъ гарантій; нѣтъ, онъ вполнѣ понимаетъ, что безъ гарантій невозможно существовать ни правящимъ, ни управляемымъ. Конечно, обстановка, въ которой онъ представляетъ себѣ обезпеченность, нѣсколько устарѣла и, въ сущности, сама не весьма обезпечена, но это ужъ вина не его, а его времени. Онъ воспитанъ въ идеалахъ самой простецкой обстановки и другихъ, болѣе утонченныхъ формъ легальности не знаетъ. Но такъ какъ онъ относится къ своимъ «простымъ» идеаламъ безъ малѣйшаго тумане-

ня и притомъ всякому недовольному его дѣйствіями охотно рекомендуетъ: идите, жалуйтесь! вонъ сколько гарантій начальствомъ для васъ наготовлено!—то, очевидно, въ немъ происходитъ въ это время процессъ довольно близкій къ представленію объ отвѣтственности. Ибо какъ ни простъ обыватель, но и ему, въ виду указанія гарантій, можетъ придти въ голову: а что, въ самомъ дѣлѣ! пойду да и пожалуюсь!

На что собственно Покатиловъ негодуетъ? Онъ негодуетъ на то, что мундиръ остается въ прежней силѣ, а обстановка упряднена. По его мнѣнію, мундиръ, лишенный обстановки, прикрываетъ собой самоципную пустоту, которая можетъ извлечь изъ себя только одинъ звукъ: фюнь!.. Но развѣ можно въ словѣ «фюнь» видѣть какую-нибудь гарантію?

Но что важнѣе всего: требуя гарантію для жизни вообще, умница Покатиловъ понимаетъ, что гарантія эта прежде всего ограждаетъ его самого. Несмотря на свое властное положеніе, онъ никогда не причислялъ себя къ сонмищу боговъ, но положительно сознавалъ себя смертнымъ. Всѣ великія дѣла на землѣ были совершены «смертными»—отчего же и ему, обсадившему березками московскій трактъ, не признать себя таковымъ? Ничего тутъ ужаснаго нѣтъ. А коль скоро онъ съ этимъ примирился, то и отношенія его къ прочимъ властѣ имѣющимъ лицамъ, и къ управляемымъ, и даже къ природѣ, пріобрѣли болѣе человѣчный характеръ. Онъ не артачился, когда жандармскій штабъ-офицеръ предупредилъ его, что пожарныя лошади сунцетвуютъ не для шкниковъ, и не фордыбачить, когда прокуроръ явился съ протестомъ противъ отдачи губерніи или части ея въ распоряженіе родственникамъ кумы. Напротивъ, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ приклонялъ ухо и, выслушавши протестъ, подвергалъ его всестороннему и зрѣлому обезуденію. Согласитесь, что это съ его стороны было и мило, и вполне согласно съ законами.

Точно то же и относительно управляемыхъ. Зная, что существуютъ особенно аккредитованныя лица, которымъ достоверно извѣстно, что онъ, Покатиловъ, не для того присланъ, чтобы нествовать и сокрушать, а для того, чтобы приклонять ухо и, по мѣрѣ возможности, оказывать удовлетвореніе, онъ не бросался на управляемаго какъ озаренный, не огорошивалъ его, а съ терпѣніемъ выслушивалъ его рѣчи, хотя бы онѣ были и не исполнѣ вѣчны.

На первых порах и онъ, по поводу этой неясности, не мало скверныхъ словъ потратилъ; но когда однажды жандармскій штабъ-офицеръ ему доложилъ: «ахъ, ваше превосходительство! вѣдь и вы не всегда внятно изволите говорить!»—то онъ запомнилъ эти слова и разъ навсегда сказалъ себѣ, что задача умнаго администратора не въ томъ состоитъ, чтобы совмѣщать въ своемъ лицѣ глубокомысленныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Невтоновъ, а въ томъ, чтобы обладать снисходительностью и терпѣливостью. Ибо нужды обывательскія такъ скромны, что не требуютъ ни быстроты разума, ни глубокомыслия, а только простой справки съ законами и бывшими примѣрами. На этомъ основаніи онъ даже и ябедниковъ не особенно преслѣдовалъ. Говорить, будто бы онъ ихъ боялся; но я позволяю себѣ думать, что не одинъ страхъ заставлялъ его такъ поступать, но и убѣжденіе, что есловіе ябедниковъ представляетъ собою убѣжище, въ которомъ находить себѣ защиту поруганная общественная совесть.

Что же касается до отношеній къ природѣ, то смягченіе ихъ является какъ естественное послѣдствіе общаго умнротворенія административныхъ нравовъ. Администраторъ, который не состоитъ въ постоянной борьбѣ съ закономъ и не ставитъ себѣ задачей поврежденіе управляемыхъ, встрѣчаетъ солнечный восходъ съ несравненно большимъ умилевіемъ, нежели администраторъ, который накануне раскопталъ законъ и самочинно огорчилъ цѣлую уйму обывателей. И не по тому одному его умиляетъ солнышко, что онъ считаетъ его своимъ дворянскимъ братцемъ, но и потому, что лучи его одинаково свѣтятъ и правичимъ, и управляемымъ, и вообще всю природу согрѣваютъ и оживляютъ. Цускай же онъ одинъ, а всѣ вообще радуются и согрѣваются—онъ не только этому не препятствуетъ, но готовъ даже содѣйствіе оказать.

Пыль все это избѣжило. Увы! изъ пыльныхъ администраторовъ едва ли найдется такой, который можетъ свободно на солнце взглянуть... А почему?—потому что такое ужъ пыльное вѣяніе: и въ зѣбрѣ, и въ птицѣ, и въ землѣ, и въ водахъ, и даже въ свѣтилахъ небесныхъ—во всемъ видѣтъ посягательство и грубьянство, которое необходимо усмирить.

Повторяю: формы, въ которыхъ облечены идеалы Шокашова, были нѣсколько неуклюжи, но самое зерно этихъ идеаловъ несомнѣнно заслуживало сочувствія и похвалы.



Онъ прежде всего пламенѣлъ передъ закономъ и не только не позволялъ себѣ выражаться, что такой-то законъ изданъ вопиющихъ, а такой-то представляетъ собой плодъ бунтующей плоти, но даже къ известному афоризму: «по нуждѣ и закону премѣна бывасть» — отнесся съ величайшею осмотрительностью. «Бывасть премѣна, — говорилъ онъ: — но лишь тогда, когда таковая въ законодательномъ порядкѣ утверждена». Равнымъ образомъ онъ не только суконнымъ языкомъ, что сенатъ есть учрежденіе крамольническое, но, пылая къ нему сыновнею любовью, всякое разъясненіе съ его стороны принимать яко даръ, а порицаніе или похвалу — яко мзду и воздаяніе. Однимъ словомъ, создавая себя лишь спицей въ колесницѣ, онъ выѣтъ съ другими спицами скромно вертѣлся въ поддежащемъ колесѣ, трещеща и ревающа, такъ точно, какъ въ томъ передѣ Богомъ, на странномъ Его судѣ, отвѣтъ дать надлежитъ.

Вотъ каковъ былъ умница Покатиловъ. Конечно, это былъ въ своемъ родѣ антикъ, которому за его непреодолимое уваженіе къ закону не напрасно было присвоено наименование «Утѣшеніе сената»; однако-жь я очень хорошо помню цѣлую школу администраторовъ, которые воспитаны были въ страхѣ сенатскомъ и нимало этимъ не тяготились. И хотя не всѣ послѣдователи этой школы были столь же непреодолимы, какъ Покатиловъ, однако ни одинъ изъ нихъ человѣческой своею слабостью хвалиться во вслушаніе не дерзалъ.

Очень возможно, что таковыя качества тайнаго совѣтника Покатилова побудили и презуса окружной комиссии отнестись къ злоумышленіямъ его съ благосклонною симпатіей. Но, по мнѣнію моему, это было съ его стороны недоразумѣніе. Презусъ, очевидно, не понималъ покатиловскихъ идеаловъ, пац, лучше сказать, понималъ только ту ихъ часть, которая выражала стремленіе къ восстановленію московскихъ департаментовъ сената. Мысль о гарантияхъ (а она-то именно и составляла главное зерно) положительно ускользнула отъ него, и я убѣжденъ, что если-бы онъ ее понималъ...

Но не будемъ увлекаться гаданіями, а лучше подвигнемъ мудрости Покатилова, который и въ самомъ бунтарствѣ своемъ явилъ несомнѣнную прощательность.

Онъ понималъ, что съ гарантиями, во шагнѣвшему времени соваться не приходится, и потому преднамѣренно утойилъ свою мысль въ цѣломъ морѣ белиберды. Белиберда — это,

такъ сказать, воздухъ, которымъ мы дышимъ, хлѣбъ, которымъ питаемся. Это не только существеннѣйшій признакъ времени, но и отличнѣйшая во всѣхъ смыслахъ рекомендація. Во всѣхъ видахъ она хороша: и какъ *riche de résistance*, и въ видѣ гарнира. Безъ ея содѣйствія—все будетъ трукдаться вилкущей; съ ея помощью—даже возстановленіе московскихъ департаментовъ сената представляется лишь вопросомъ времени...

Но и за всѣмъ тѣмъ, сравните белоберду покатиловскую съ тою, которую источаетъ его дальній родственникъ, тайный совѣтникъ Крокодиловъ, и вы удивитесь, какое существуетъ разнообразіе белоберды и какъ громадно можетъ быть разстояніе между ними.

Несо—и земля; солнце—и сальная свѣча; слонъ—и мосыка; мраморная палата—и скромный досчатый кіоскъ для проходящихъ...

Никогда антиреформенные бунтари не дѣйствовали такъ рѣшительно, никогда не расплодилось въ такомъ множествѣ, какъ въ наше время. Вся интеллигентствующая Россія охвачена сѣтью конспиративныхъ белоберды, которыя не могутъ опредѣлить предмета своихъ возжеланій и протестуютъ единственно подъ вліяніемъ взбурдаженного темперамента. Въ глазахъ знаменосцевъ кутеры весь существующій порядокъ, поскольку въ немъ слышится стремленіе къ установленію принципа законности, есть не что иное, какъ плодъ нечаяннаго недоразумѣнія. Это не порядокъ, а мѣръ призраковъ, на который стонть лишь дунуть, чтобъ птица съ письмомъ: «послѣпай назадъ»—немедленно доставила его по адресу.

Но что всего замѣчательнѣе—нигдѣ это противостественное, во имя белоберды протестующее, движеніе не распространено такъ сильно, какъ въ той средѣ, которая, по самой своей профессіи, обязывается стоять на стражѣ установившихся порядковъ.

Нѣтъ той мелкой сонки, которая не угрожала им или не глумилась, смотря по темпераменту. Долго сдержанные инстинкты разнузданности канли всекиданно свободный исходъ, а безтолочь, десятками лѣтъ накопывшаяся въ умахъ, вышла изъ береговъ и, какъ въ половодье, глѣвно разлилась во все стороны. Это уже не протестъ, исходъ котораго болѣе или менѣе гадателенъ, а цѣлая побѣда, сразу доведенная до безчиства. Надъ чѣмъ безчиство?

Идти порядкомъ, который на каждой страницѣ кодекса по-литъ наименование «установленнаго», надъ порядкомъ, благодаря которому сыты, обуты и одѣты тѣ самые, которые ежеминутно, и прямо, и косвенно, его подрываютъ.

Прислушайтесь къ безпутному гомону, перекатывающемуся изъ края въ край и окончательно находящему убѣжище въ торжествующей части нашей такъ-называемой прессы, и убѣдитесь, что самый баснословный вѣтухъ не отличитъ, что въ этой пенстовой околесницѣ жемчужное зерно, и что — навозъ. И не отличитъ по очень простой причинѣ: ничего, кромѣ навоза, тутъ нѣтъ. Одно вполне ясно въ этой суетлосѣ: на каждомъ шагу продается отечество. Продается и при содѣйствіи элеваторовъ, и при содѣйствіи транзитовъ, и даже при содѣйствіи дугтовыхъ мѣшковъ. Все это, въ сущности, вимало белибердоносцевъ, не интересующихся, а представляющихъ лишь одинъ изъ современныхъ таинственныхъ лозунговъ (несмѣняемость, динамитъ, конституція и т. п.), дающихъ вѣкій поводъ для надругательства.

Живые притаились въ могилкахъ; мертвые самочинно встали изъ гробовъ и ходятъ по стогнамъ, стуча костями. Кладбищенское волшебство замѣнило здоровую, реальную жизнь. Такія слова вновь вошли въ обиходъ, которые считались давно упрямденными; такія мысли приобрѣли авторитетъ, отъ которыхъ недавно даже осель отказывался: что вы! никогда ничего подобнаго я не мыслялъ! На-дняхъ мнѣ случилось въ одной изъ газетъ вычитать «правду», въ четырехъ строчкахъ нѣкоторымъ обывателемъ нацарапанную, — кланусь, я и не подозревать, чтобы человѣческій языкъ былъ способенъ выговорить тѣ звуковыя сочетанія, которые въ этой «правдѣ» безъ малѣйшаго затрудненія въ обнаженномъ видѣ осуществлены.

Я не говорю, чтобы такое положеніе вещей могло считаться серьезно-угрожающимъ, но не скрываю отъ себя, что многое въ этомъ случаѣ зависитъ отъ того, глубоко ли укоренилась белиберда, или же юрны ея распозались только по поверхности.

Въ первомъ случаѣ умственное оскуднѣніе можетъ со временемъ всѣ функции общественной жизни извратить и довести до негодности; во второмъ — это оскуднѣніе постигнетъ лишь тѣ слои общества, которые, за свое дурное поведеніе, окажутся вполне того заслуживающими.

Но даже въ этомъ послѣднемъ, смягченномъ видѣ ум-

ственная атрофія представляется далеко не безопасною. Бжеды знаменосцы беллиберды и не настолько сильны, чтобы пропитать безмыслицей весь общественный организмъ, то все-таки у нихъ имѣется въ рукахъ цѣлая номенклатура мелкихъ укуловъ, съ помощью которыхъ представляется возможность сдѣлать массу частнаго зла. У насъ это частное зло какъ будто даже и въ счетъ не идетъ. Нечезъ человекъ, наложить на себя руки, дошелъ до послѣдней степени отчаянія—велика важность! Намъ надо цѣлую уйму погибшихъ людей, чтобы встревожиться и признать въ этомъ фактѣ достойное явленіе...

Ахъ, господа, господа! согласитесь однако, что и единственный человекъ—все-таки человекъ! Въ мірѣ червей, конечно, не особенно существенно, если раздавленъ какой-то *одинъ* червякъ. На червяка наступаютъ печально, да и ему самому быть раздавленнымъ не такъ больно, потому что онъ ничего не предвидитъ и, слѣдовательно, ни въ чему не готовится. Но человекъ сознаетъ и предусматриваетъ; онъ видитъ погу, которая занесена надъ нимъ, онъ знаетъ, зачѣмъ она занесена, и зрѣяще это, несомнѣнно, должно породить въ немъ соответствующія ощущенія. Какія?

Эта легкая возможность частнаго зла совершенно удовлетворительно объясняетъ тайну успѣховъ беллиберды. Герои, которые въ состояніи дать отпоръ, составляютъ исключеніе, а средній человекъ, которымъ кишитъ вселенная, судорожно цѣпляется за свою неповрежденность. Онъ-то своими богами и демонстрируетъ властность беллиберды. Онъ охотно сторонится передъ беллибердой, поддакиваетъ ей, лишь бы она прошла, не замѣтивъ его. И нерѣдко, дѣйствительно, проскальзываетъ, хотя и не безъ мучительныхъ изворотовъ. Ибо и беллибердоносцы враждуютъ и препираются между собою, и они образуютъ партіи, между которыми приходится выбирать. Такъ, въ данную минуту человекъ зарекомендовываетъ *вотъ эта* беллиберда, а не *та*; не покатиловская, а напимѣръ, а крокодиловская... Слѣдовательно и поддакивать нужно *вотъ этой* беллибердѣ, а не *той*. Какъ тутъ угадать?

Мало кликнуть кличъ: «послѣшай назадъ!»—надобно съ точностью указать, въ какой именно мѣсткѣ надлежитъ послѣшай. Мало сказать: «намъ ничего не нужно, кромѣ помоевъ»,—надобно съ достовѣрностью опредѣлить вкусъ, цвѣтъ и запахъ искомымъ помоевъ. Какъ разобраться въ

этомъ разнообразіи, какъ угадать, какая белиберда надеждѣ, какой предетойтъ болѣе прочная будущность?

Белиберда, не только требующая безусловной сдачи на капитуляцію, но и доходная въ этихъ требованіяхъ до прихотливости—кто скажетъ, что это реальность, а не постыднѣйшее словидвіе обезумѣвшаго отъ страха раба?

А еще говорить о преувелченіяхъ, о карикатурѣ, о клеветѣ... О, малоумры!

Однако каковы же образы жить? Какими образы устроиться съ чувствомъ самосохраненія, которое все-таки нельзя не принимать въ расчетъ? Герои, конечно, легко отыщутъ выходъ и изъ самыхъ мучительныхъ затрудненій, но повторяю: не о герояхъ идетъ здѣсь рѣчь, а о тѣхъ среднихъ людяхъ, которые совершаютъ среднія, законами не возбраняемыя, дѣла и прежде всего желаютъ осуществитъ свое право на существованіе.

Какими образы имъ спастись, то-есть не одно брюхо спасти, но и хоть съ-остолько души?

Къ счастью, у меня есть старинный другъ и товарищъ, Глузовъ, у котораго всегда на всякіе вопросы отвѣтъ готовъ. Это—несомнѣнный мудрецъ. Въ древности онъ навѣрное выдумалъ бы цвѣтоторовы штаны, а въ наше время ограничивается тѣмъ, что знакомитъ друзей съ наилучшими приспособительными приемами, при помощи которыхъ можно привѣтливо жизнь провести! Съ самыхъ равнинъ лѣтъ онъ только и дѣлаетъ, что приспособляется, и наконецъ до того вошелъ во вкусъ, что во всеуслышаніе заявляетъ, что если-бъ отнять у жизни необходимость приспособленій, то она сдѣлалась бы столь же безвкусно, какъ каша безъ масла.

— Непремѣнно нужно, чтобы насъ что-нибудь подерживало, — говоритъ онъ: — какое-нибудь чтобы мы мучительство впередъ видѣли, которое заставило бы насъ приспособиться... Иначе мы и вовсе спустя рукава жить начнемъ.

Только разъ въ жизни блестяло у него въ головѣ, что и безъ приспособленій прожить можно. Это было въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда всякъ вообще приспособленія до того надобли, что даже звѣри радостнымъ рычаніемъ привѣтвовали эру освобожденія отъ нихъ.

— Теперь,—говоритъ мнѣ въ то время Глузовъ, потирая руки:—только черезъ одно приспособленіе еще пройти надо.

а именно: приспособиться, какъ на будущее время безъ приспособленій прожить...

Но не успѣлъ онъ закончить процедуру этого самоприспособляющаго приспособленія, какъ уже вновь, потирая руки, возвѣщала:

— Вотъ и опять приспособленія пошли! А я-то, профессоръ, разлетѣлся! Чуть-было и совсѣмъ не отвыкъ, да, къ счастью, остерегся. И вотъ теперь сразу на старый манеръ всѣ детали паладиль, и опять у меня житьишко какъ по маслу пойдетъ.

Съ тѣхъ поръ, какія бы перемѣны въ температурѣ ни происходили, онъ какъ-то сталъ на стражѣ, такъ и не сходить съ позиціи. Аккуратно каждый годъ подписывается на куранты—и слѣдить. Прочтается объ элеваторахъ—къ элеваторамъ готовится начать; прочтается о транзитѣ—къ транзиту готовится начать; прочтается о джутовомъ мѣшкѣ—не знаетъ, какъ быть. И всѣмъ объявляетъ: «теперь меня хоть на куски рѣжь!» А въ послѣднее время впасть въ такое забвеніе чувствъ, что прямо на себя въ благопріятномъ свѣтѣ клеветать: «у меня, говоритъ, ни чувства, ни ума—ничего не осталось! Весь я, и съ головой, и съ потрохами, насквозь приспособился!»

Само собою разумѣется, что усердіе это даромъ ему не прошло. Не успѣли мы оглянуться, какъ онъ уже и мѣстечко хорошенъкое ненарокомъ занозучилъ. Прежде, вотъ видите ли, его поодаль держали, опасались, какъ бы «онъ не отключилъ», а теперь убѣдился, что въ немъ даже мочи—кромѣ необходимаго, для облегченія, количества—не осталось, и въ соответствии сему отвели гдѣ-то въ провинціи прехорошенькій кіоскъ. Сидитъ онъ тамъ да приспособляется, а временемъ и въ Петербургъ найдетъ. Справится, какіе новыя фасоны приспособленій вышли, и—опять домой, въ кіоскъ.

Въ одинъ изъ такихъ нарядовъ онъ и обо мнѣ вспомнилъ. У курьера, по сообществу, младенца отъ купели воспринимать, да и надумался: «дай, думаетъ, зайду, и вѣдь теперь уже такъ приспособился, что и заподозрить меня нельзя!» Взялъ да и пришелъ. Разумѣется, у подъѣзда не сразу за ручку схватился, а потоптался-таки минуточку-другую, но наконецъ съ шумомъ распахнулъ дверь, взлетѣлъ въ третій этажъ: съ нами крестная сила... урррра!

Радостнымъ изліяніямъ конца не было. — Какъ дѣла? все ли у тебя по кіоску благополучно? — «Все, кажется,

слава Богу, благополучно!»— Ну, слава Богу лучше всего, и т. д. Словомъ сказать, обычный дружески-свѣтскій разговоръ,

— Ну, а ты какъ?— обратился опъ ко мнѣ.

— Да чтѣ... нехорошо, братъ, мнѣ!

— Чтѣ такъ?

Да вотъ, молъ, такъ и такъ. Началъ я ему излагать, и чтѣ больше, то хуже выходитъ. Тайный, молъ, совѣтникъ Крокодиловъ на новый судъ ударилъ; лѣвое крыло ужъ перебилъ пополамъ, а правымъ хотъ судъ еще и помахиваетъ, однако увѣренности на полное восстановление полета ужъ нѣтъ.

Не успѣлъ я докончить, какъ уже лицо Глумова потемнѣло.

— Ну?

А еще, молъ, прибылъ сюда «свѣдущій» корнетъ Отлетаевъ и говоритъ, нимаго не стѣсняясь: все, молъ, надобно уничтожить: и земство, и суды, а отыскать, вмѣсто всего, благонадежнаго отставнаго прапорщика и ему преноручить: пускай вѣзмъ помышляетъ. А Крокодиловъ ему въ отвѣтъ: ахъ, какъ это хорошо!

— Ну?

— Помилуй, любезный другъ, чего же еще нужно?

— А тебѣ чтѣ за дѣло?

Я такъ и ахнулъ: вотъ этого-то именно вопроса я и не ожидалъ. Удивительно это, право. Всю жизнь только и чувствуешь, какъ этотъ вопросъ долбитъ тебѣ голову, а вотъ, когда надобно, чтобы онъ возымѣлъ практическое дѣйствіе, — тутъ-то именно его и нѣтъ какъ нѣтъ. Существуютъ должно-быть, такіе вопросы, относительно которыхъ и ошггъ вѣбокъ, и воснитательные афоризмы — все оказывается всею и втуяѣ. Никогда они не укладываются такъ плотно въ сознаниі, чтобы не было совѣстно сразу ихъ формулировать.

— Послушай, голубчикъ, да вѣдь необходимо же, до нѣвѣстной стѣсни, принимать въ расчетъ, что существуютъ разговоры, которые изнурительнымъ образомъ влияют на мозги...

— Мозги? какіе мозги? по какому случаю? на какой предметъ? Взять его подъ сумленіе!

Глумовъ всталъ въ позу Любима Торцова и при послѣдней фразѣ вытянулъ правую руку съ устремленнымъ указательнымъ перстомъ, какъ дѣлывалъ актеръ Садовскій.

Глумовъ, сколько я помню, и прежде любилъ копировать Садовскаго въ роли Торцова; но теперь онъ, повидимому, сдѣлалъ изъ этого копирования прищесобительный приѣмъ. Вотъ, молъ, господа милостивцы, я каковы! всякое колѣнице для вашего увеселенія отколоть готовъ! Хотите—сцену изъ народной жизни сейчасъ разекажу!

— Глумовъ! да выслушай же меня! — взмолился я: — вѣдь Крокодиловъ проходу не дастъ! Поймасть, возьметъ за пуговицу и держитъ. И говорить... ахъ, что онъ говорить! А въ заключеніе: «надѣюсь, что вы вынѣтъ съ моимъ мнѣніемъ согласны?»

— А ты что на это?

— Я???

И этого вопроса я не ожидалъ. Я? что, бишь, я такое дѣлалъ, покуда Крокодиловъ разлагательствовалъ? Кажется, я... Но позвольте однако-жь... я! что такое я?

— Но что же такое я? — пробормоталъ я въ отвѣтъ: — что я могу? Съ одной стороны — Крокодиловъ, съ другой... я!! Согласенъ...

— Понимаю и соглашаюсь. Собесѣдованія съ Крокодиловымъ, особливо сжали онъ держитъ тебя за пуговицу, дѣйствительно нельзя назвать безопасными. Это — вѣрно. Но затѣмъ возникаетъ вопросъ: можешь ли ты избѣгать этихъ собесѣдованій, или не можешь?

— Какъ же ихъ избѣжить? Вѣдь Крокодиловъ — пми собирательное: уйдешь отъ одного, попадешь къ другому...

— И это вѣрно. Дѣйствующая практика именно въ такомъ смыслѣ и разрѣшаетъ этотъ вопросъ. Я, братецъ, и самъ, какъ увидѣлъ себя въ плѣну у Крокодиловыхъ, то воскликнулъ: экъ ихъ изъ всѣхъ щелей напоздно! ну, теперь уай не выкарабкаешься! Но тутъ же, впрочемъ, всееленъко прибавилъ: ничего, наше дѣло привычное: жили въ плѣну у Покатиловыхъ, жили въ плѣну у Гвоздильныхъ; проживемъ и у Крокодиловыхъ!

— Зачѣмъ же, однако, ты это прибавилъ, да еще «вселенъко»?

— Да такъ, любезный другъ, должно-быть, само собой, по старой привычкѣ, прибавилось. Чудно словно: столько плѣновъ перетерѣли и все-таки никакъ отъ плѣновъ не отвертятся!

— И силу крокодиловскую одолѣть не можемъ; но обьясн же, по крайней мѣрѣ, откуда эта сила взялась?



— Вот-вот-вот. Именно этот самый вопрос я себя в ту пору и предложил. Откуда, мол? что за причина? И по некоторомъ размысленіи рѣшилъ такъ. Прежде всего съ того крокодиловская сила взялась, что мы, простецы, «сладкую привычку жить» никакъ въ себя ограничить не можемъ. Ругаемъ мы эту жизнь распостылаю, а у самихъ только и есть одна мысль въ головѣ: ахъ, хоть бы чуточку намъ пожить позволили! Вотъ Крокодиловъ этимъ и пользуется. Возьметъ тебя за пуговицу, растабарываешь, а ты передъ нимъ ослабляешься, подтанцовываешь. Это значить, что ты «живешь». Или увидить тебя Крокодиловъ по другую сторону улицы—не успеетъ пальцемъ помянуть, а ты ужъ стремглавъ навстрѣчу его тайнымъ поминаниемъ летши. И это значить, что ты «живешь». Ты могъ бы пройти мимо, могъ бы притвориться невидящимъ, могъ бы, наконецъ, въ проходныя ворота шмыгнуть, а ты вмѣсто того оставаешься, нарочно въ глаза лѣзешь: позвольте въ присутствіи вашемъ пожить! Неужто же онъ не видитъ этого? Ахъ, голубчикъ, не только онъ это видитъ, но и тебя самого, со всѣми твоими потрохами, насквозь видитъ! — Эге, говорить онъ, такъ вотъ его на чемъ подловить можно! — И нахрасть, и нахрасть, до тѣхъ поръ, пока не уткнетъ носомъ въ самый оный кіоскъ живи!

— Глумовъ! по развѣ можно ставить людямъ въ вину, что «сладкая привычка жить», — въ существѣ своемъ виоциѣ законная, — сопрягается для нихъ съ такими осложненіями?

— Я не обвиняю, а только объясняю. И говорю: Крокодиловъ только до некоторой степени силу свою самолично создаетъ; въ значительной же мѣрѣ онъ отъ насъ, простецовъ, ее получаетъ. Все въ насъ наиблагоприятнѣйшимъ образомъ для него сложилось. «Сладкая привычка жить» — это само по себѣ; но рядомъ съ нею, и какъ отличившее къ ней допознание, еще другая особенность: необыкновенная готовность къ приспособленіямъ. Вспомнилось мнѣ на-дняхъ, случайно, какъ меня въ дѣтствѣ у пацана прощенья просить заставляли, такъ повѣришь ли — такъ я и ахнулъ: вотъ они съ которыхъ поръ, приспособленія-то наши, начались! Огорчишь, бывало, пацашу, а прощенья просить не хочется. Вотъ заманива съ тетеньками и похаживаютъ около тебя. «Развѣ тебѣ убудетъ отъ того, что ты скажешь наненекѣ: пардонъ, папаша?» — уговариваетъ

мамаша. «Развѣ у тебя языкъ отвалится?» — убѣждаетъ одна тетенька. «Развѣ у тебя заболитъ головка?» — подбадриваетъ другая тетенька. Слушаешь-слушаешь эти предки, возьмишь да и выпалишь: «пардошь, пала!» И что-жъ, дѣйствительно, какъ по-писанному, такъ и сбывалось. Ни самого меня не убывало, ни языкъ не отваливался, ни голова не болѣла... Прошло дѣтство, настала настоящая жизнь, и что дальше, то больше. Стоишь кругомъ стоишь: развѣ тебя убудеть? развѣ языкъ у тебя отвалится? Тутъ и литература, и наука, и нравственный кодексъ—все тутъ. А вдали, въ перспективѣ, дилемма: съ одной стороны—храмъ славы съ надписью: «Не убудеть»; съ другой—вольче существованіе среди наушкывашій и шпифній. Спрашивается: какъ съ этимъ быть? какъ безъ срама устроиться съ «сладкой привычкой жить», которая, какъ ты самъ сейчасъ сказала, въ существѣ своемъ вполне законна? Тутъ-то вотъ Крокодилы и подстерегаютъ тебя, цыпъ-цыпъ-цантъ...

На этомъ наша бесѣда и кончилась. Вызвана она была вопросомъ: какъ съ этимъ быть?—и разрѣшилась... тѣмъ же вопросомъ.

### Письмо восьмое.

Если бы не одно дѣльце, да дядя Захаръ Ивановичъ въ-время удержался, то былъ бы онъ воротилою наравнѣ съ прочими.

Дядя Захаръ Ивановичъ Стрѣловъ—старикъ старый. Родился онъ въ 1812 году, во время француза, и следовательно теперь ему слишкомъ семьдесятъ лѣтъ. Однако онъ еще довольно проворно сбѣменить ногами, да и руки у него еще цѣныя, такъ что если бы пошла въ нихъ хватка, то, мнѣ кажется, онъ могъ бы ее ухватить. Сверхъ того онъ сохраняетъ вкусъ къ жизни, любить поѣсть и выпить, по лицу у него начинаетъ уже походитъ на лицо младеица, который только-что началъ понимать зажженную свѣчу и радуется, когда ею передъ глазами махнутъ. Этому сходству много способствуетъ лысина во всю голову, напоминающая голое колѣно. Новыхъ порядковъ онъ не любитъ, не исключая даже новаго обмундированія. Въ шкалу у

него висить старинный путейскій мундиръ, съ расходящимся сзади фалдочками, и онъ отъ времени до времени надѣваетъ его, подходитъ къ зеркалу, поиграетъ фалдамы и вздохнетъ.

Во время коронаціи императора Николая онъ былъ уже кадетоу, а въ началѣ тридцатыхъ годовъ получилъ первый офицерскій чинъ и въ качествѣ инженера рылъ каналы въ Шлюшинѣ\*).

Хищникомъ, въ современномъ значеніи этого слова, онъ не былъ — въ то время люди были для этого слишкомъ безхитростны, — но вятки брать болѣе чѣмъ охотно и въ казніи черпалъ неуустойчиво. Уже въ Шлюшинѣ онъ изыскивалъ недурные въ этомъ смыслѣ случаи. Выроетъ, бывало, одинъ кубикъ, а паншетъ два: одинъ — кесарю, другой — себѣ. Скончивши такимъ образомъ сокровище, онъ не только самъ жилъ въ свое удовольствіе, но и доставлялъ удовольствіе другимъ. Съѣздитъ на лодкѣ въ Петербургъ, пакуетъ конфетъ, анельсеновъ и угощаетъ шлюшинскихъ дамъ. Сверхъ того былъ мастеръ устраивать вечерники, пикиники; словомъ сказать, былъ душою общества. Поэтому дамы говорили о немъ: «точь-въ-точь кавалергардъ!» Онъ же, придя въ умиленіе отъ такой похвалы, сравнивалъ исправничиху съ княгиней Шенгаевой, а предводительшу — съ графиней Подстаканиковой, которыя, по его словамъ, составляли цѣвь тогдашняго петербургскаго бомонда и принимали его въ своихъ салонахъ за то, что онъ имъ привозилъ въ презентъ конченыхъ ледоженихъ снговъ.

Въ сороковыхъ годахъ онъ былъ уже штабсъ-капитанъ и почувствовалъ у себя въ карманѣ такія деньги, что хоть подполковнику не стыдно. Сороковые годы вообще были странные годы. Съ одной стороны Грановскій, Вѣлиискій и ихъ кружокъ (обратившійся потомъ въ стадо свиней), съ другой стороны — Стрѣловъ, крѣпостныя дѣла и цѣлая армія исправничовъ и становыхъ. Сгѣшеніе человеческого образа съ звѣринымъ. Кстати, въ это время уже началъ ходить слухъ, что Петербургъ намѣреваются соединить съ Москвою желѣзнымъ путемъ. Надѣялись, что въ Петербургъ подешевѣетъ икра. Дядя Захаръ нохнулъ изъ воздуха и унохалъ, что тутъ уже не шлюшинскими кубиками пахнетъ. Причислился къ главному управленію и началъ

\*) Народное названіе Шлюссельбурга.

показывать по коридорамъ, въ надеждѣ попасть на глаза власти изумленному. Стрѣловъ былъ подвиженъ, изворотливъ и коростъ, имѣлъ хорошенькое брюшко и веселую турнюру, что при тогдашней аммуниціи выходило очень мило. Ставить дяденька передомъ у него пупочекъ играетъ, ставить задомъ—играють фалдочки; не удивительно, что зоркій глазъ начальника, при первой же встрѣчѣ въ коридорѣ, замѣтилъ его.

— Кто этотъ расторопный офицеръ? — спросилъ генералъ.

Назвали Стрѣлова.

— Мы такіе люди нужны!

Объяснилъсь. Начальникъ возложилъ его на лоно, подчиненный—такъ и прилипъ къ лону. Въ скоромъ времени Стрѣловъ очутился въ самомъ сердцѣ желѣзнодорожныхъ вожделѣній и какъ только почувствовалъ, что навстрѣчу ему ходитъ лафа, то съѣздили въ Муромскіе лѣса, набрали тамъ найку и держали атаманамъ такую рѣчь:

— Вы будете у меня замѣсто подрядчиковъ и строителей. Если кто у васъ спроситъ: кто ты таковъ? — то не отвѣчайте: я муромскій разбойникъ, а говорите: десятникъ, поставникъ и т. п. Слушайте теперь. Вотъ, примѣрно, передъ вами рельсъ; стѣбитъ онъ, положимъ, хоть двадцать рублей, а мы заищемъ сорокъ. Если спросятъ: кто ставилъ? — говорите: разбойникъ... то, бивъ, подрядчикъ Будмычъ. Вотъ и все. А когда уйдутъ спрашиватели, мы возьмемъ да двадцать рублей отдадимъ кесарю, а изъ другихъ двадцати десять возьму я себѣ за выдумку, а остальные десять—вамъ на вино. Любо ли?

— Любо! любо! — крикнули въ отвѣтъ атаманъ-молодцы.

— Или: вотъ вамъ глина, вотъ камень, шпалы, песокъ, рабочія силы, — продолжалъ дядя, припоминая строительные элементы. — И вездѣ одна половина — кесарева, другая — наша. Любо ли?

— Любо! любо!

И дѣятельность по дорогѣ закипѣла. Дядя Захаръ бѣгалъ и бѣдилъ днемъ по работамъ, а ночью металъ разбойникамъ банкъ. Денегъ появилась такая масса, что не знали, куда дѣвать. Выискивали изъ Петербурга прелестницъ и гдѣ-нибудь въ селѣ Едровѣ устраивали аонскіе вечера. На одномъ такомъ вечерѣ цыганку Стѣшку ввещивали такъ, что для того, чтобы замаять дѣло, потребовалось отдать табору не меньше двадцати тысячъ рублей. Цели-

вали другъ друга шампанскимъ, пили шампанскимъ рѣку, загоняли на станціи лошадей, чтобъ побывать вечеромъ въ Александринскѣ, съ рѣскомъ понасть на таунтвахту, или чтобъ какой-нибудь кралѣ, поселенной въ Едронѣ съ снѣдальною цѣлью увеселить муромскихъ разбойниковъ, доставить букетъ. Словомъ сказать, груды денегъ извлекались изъ вѣдръ казначейскихъ кладовыхъ, распределялись по карманамъ и исчезали невѣдомо куда.

Въ самый разгаръ этого распутства Стрѣловъ женился. Онъ уже настолько имѣлъ въ ломбардѣ, что могъ безъ боязни глядѣть впередъ. Маргія ему представлялась прекраснѣйшая, даже знаменитая. Россія, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, подчинилась одинъ изъ касимовскихъ князей, Абдулка. Но искренности его подчиненія не сразу повѣрили, а посадили въ клетку и приказали возить взадъ и впередъ по Касимовскому уѣзду, покуда онъ, не познаетъ свѣта истинной вѣры. Разумстеезъ, онъ позналъ очень скоро, его окрестили, наименовали Михаиломъ и оставили за нимъ княжескій титулъ съ фамиліей Мамалыгина. Тогда же окрестилъ его дочь, назвавъ Надеждой и помѣстивъ въ Екатерининскій институтъ. Тамъ ее выжидали, но училась она плохо, что не помѣшало ей въ свое время придти въ совершенномъ возрастѣ и сдѣлаться невѣстой. Вотъ на это и обратилъ взоръ дядя Захаръ Ивановичъ. Съ мѣсяцъ времени кормилъ онъ Абдулку въ Палкинскомъ трактирѣ шанлыккомъ, а будущую невѣсту — шепталой, и наконецъ получилъ согласіе. Ему лестно было вѣдать съ визитамъ съ женой, у которой на карточкахъ было напечатано: «Надежда Михайловна Стрѣлова, рожденная княжна Мамалыгина». При этомъ онъ намекалъ, что жена его происходитъ по прямой линіи отъ Мехмеда-Кула, «сибирскихъ странъ богатыря», который первый воскликнулъ: «Нѣтъ, лучше смерть, чѣмъ жизнь поносная!» — а за нимъ этотъ возгласъ стали повторять и прочіе арміи и флоты.

Теперь бы майору Стрѣлову остепениться и начать бы жить да поживать съ капиталцемъ и молодой женой, по его лукавый понуталъ. Дорога велась по ровному мѣсту, а онъ рапортовалъ, что срылъ гору, и потребовалъ сверхсѣйтнаго назначенія. На его несчастіе, мѣсто это было хорошо знакомо, и потому рапортъ его прозвезеть изумленіе. Любостязаніе его замѣтили гдѣ-то очень высоко и послали фельдшера... Фельдшеръ, вѣзшего двадцати четырехъ часовъ, судилъ всего двадцать четыре минуты, поса-

дядя Стрѣлова въ телѣжку и привезъ въ Петербургъ. Покуда онъ сидѣлъ въ кутузкѣ и мыкался по мытарствамъ, Надежда Михайловна отчаянно вопіяла:

— Неужто я буду солдаткой?

Но дѣло кончилось благополучіемъ, нежели можно было ожидать. Начальство вспомнило прежнія заслуги майора (онъ нѣсколько такнхъ горъ прежде срылъ) и велѣло ему подать въ отставку, вмѣсто того, чтобъ забить лобъ.

Стрѣловъ поселился безвыѣздно въ деревнѣ и снѣгаль деньги. Очень рѣдко онъ заѣзжалъ въ Петербургъ, и именно только въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ будетъ упомянуто ниже. Жена его, отъ скуки, народила груду дѣтей, которыхъ впоследствии все сдѣлалось инженерами. Наступило полное одиночество, которое еще болѣе отравлялось воспоминаніями о прошлыхъ блестящихъ дняхъ.

— И чортъ меня понуталъ,—жаловался майору, расказывая насмѣясь:—въ другомъ мѣстѣ двѣ горы могъ бы срыть, а тутъ изъ-за одной горюшки пропадаю!

Онъ видѣлъ окончаніе монументальной дороги и строить воздушные замки. Теперь онъ былъ бы ужъ полковникомъ и, навѣрное, завѣдывалъ бы дистанціей. Нѣкоторое время онъ велъ переписку съ прежними друзьями, посылалъ имъ откормленныхъ индюковъ, просилъ похлопотать, но постоянно получалъ въ отвѣтъ: «Ничего не подѣлаешь!» Наконецъ друзья совсѣмъ замолчали, и онъ мало-по-малу окупулся на самое дно рѣки забвенія.

Но вотъ въ воздухѣ почувались новыя вѣянія. Сначала радовались, потомъ стали тужить. Наконецъ Подхалимовъ открылъ эпоху упраздненія хищничества и торжества покаянія...

Повторяю: дядя Захаръ не былъ хищникомъ въ современномъ значеніи этого слова. Въ его время было въ модѣ казнокрадство и взяточничество, и дядя сдѣловалъ общей модѣ. Хищничество же зародилось поздиѣе, совершенно неожиданно, и не устранило ни воровства, ни взяточничества (на всякій случай), а только презирало ихъ. Да и нельзя было не презирать, потому что съ этими явленіями сопрягались разныя постыдные поступки. Тутъ встрѣчались и мертвыя тѣла, и подшестки, и преднамѣренныя ошени, и валомъ судуговъ. Все это можно было на картинкѣ написать. Въ хищничествѣ, напротивъ того, все такъ тонко,

чисто и даже благородно, что о картинкахъ и рѣчи не можетъ быть.

Но и въ хищничествѣ имѣются подраздѣленія. Бываетъ хищничество простое и бываетъ сложное. Въ первомъ можно указать на дѣйствующихъ лицъ и на претерпѣвшихъ. Сверхъ того, оно до известной степени наказуемо, и составъ его можно безъ труда опредѣлить. Разнится оно отъ воровства тѣмъ, что пошло далѣе сферы станovýchъ приставовъ и обставило себя благороднѣе. Иногда оно надѣваетъ на себя даже личину государственнаго интереса: заселеніе отдаленнаго края, культура, обрусеніе и т. д. Въ сложномъ хищничествѣ дѣйствующихъ лицъ совѣтъ нѣтъ, и только приходится удивляться, какимъ образомъ человекъ, котораго незадолго передъ симъ знали безъ штановъ, въ настоящую минуту воруяетъ милліонами. Сложное хищничество есть порядокъ вещей—ничего больше.

Дядя съ грѣхомъ пополамъ могъ додуматься до простаго хищничества; однако и тутъ онъ понималъ, что безъ связей ничего не подѣлаешь. Чтобы захватить землицы по гривеннику за десятину, нужно имѣть «руку», умѣть угадывать моментъ, кланяться, просить, что требовало времени и извурительныхъ хожденій. Что же касается до сложнаго хищничества, то онъ положительно его не постигалъ и только наравнѣ съ другими простецами ахалъ:

— Безъ штановъ знали! безъ штановъ! — восклицалъ онъ:— а теперь въ соболяхъ ѣздить! Лошади не лошади, экипажъ не экипажъ! Занимаетъ цѣлый дворецъ, задаетъ банкеты; во всѣхъ комнатахъ картины съ голыми женщинами! Жену—купишь, а потомъ предоставишь, а самъ двухъ французенокъ содержишь! Ну, скажите на милость, зачѣмъ ему понадобились двѣ? И какимъ образомъ все это случилось?

Онъ забывалъ при этомъ и свое прошлое, и свои теперешнія вожделѣнія, и даже то, что онъ былъ бы несказанно счастливъ, если-бъ очутился на мѣстѣ этого голоштаника, который теперь въ соболяхъ ходитъ.

Тѣмъ не менѣе жажда хоть что-нибудь урвать заставляла его довольно чутко прислушиваться къ новымъ вѣяніямъ и отъ времени до времени посѣщать Петербургъ.

Что такое «вѣяніе»? Это — одно изъ выраженій той наскучившей терминологіи, которая получила у насъ право гражданства тридцать лѣтъ тому назадъ. Означаетъ

оно; вотъ что нужно дѣлать, чтобъ какъ можно больше насакостить.

Вся эта терминологія есть плодъ личной аличности и совершеннаго отсутствія предстаконной объ интересѣ общественномъ. Здѣсь нѣтъ рѣчи ни объ отечествѣ, ни о сограждацахъ, ни объ общемъ благѣ. Одна обнаженная аличность— только и всего.

Такихъ вѣяній въ нашемъ обществѣ было много, но я намѣчу лишь главнѣйшія. Во-первыхъ, вѣяніе радостныхъ ожиданій; во-вторыхъ, вѣяніе горестныхъ утратъ; въ-третьихъ, вѣяніе хищничества; въ-четвертыхъ, вѣяніе сапоговъ въ смятку, и наконецъ...

Въ первый разъ, послѣ многихъ лѣтъ воздержанія, дядя Захаръ посетилъ Петербургъ въ эпоху радостныхъ ожиданій. Тогда говорили: земля наша обильна: и на поверхности, и въ нѣдрахъ—всего у насъ довольно и для себя, и для Европы. Европа гнѣсть и переживаетъ себя, а мы возрождаемся. До сихъ поръ мы жили какъ слѣпые, по милости крѣпостного права, а теперь вольный трудъ всѣ наши богатства откроесть. Въ особенности отличался по части пророчества и предвидѣній публицистъ Кокоревъ, который даже въ кучахъ навоза открывалъ золотыя россыпи.

Хорошее это было время, свѣтлое, хотя, какъ потомъ оказалось, не особенно умное. Но кто же могъ думать, что изъ всѣхъ этихъ чаяній ничего не выйдетъ путнаго, кромѣ переворачиванія давно петлѣвшаго хлама? Многіе скрывавшіеся въ завѣтныхъ кубышкахъ милліоны увидѣли тогда свѣтъ, побывали въ «Обществѣ жизненныхъ продуктовъ», въ «Сельскомъ хозяйствѣ» и проч., и пропали невѣдомо куда. Удѣ они теперь? Не можетъ же быть, чтобъ не нашли себѣ пристанища и хоть кого-нибудь не ошлѣботворили. Не тогда ли было положено начало тому грандіозному финансовому раснутству, которое впоследствии дало такой пышный цвѣтъ?

То было время сѣвооборотовъ, покупки машинъ, продажи выкупныхъ свидѣтельствъ и преимущественно тракторныхъ безобразій. Денегъ появилось множество; почти вся Россія была вымѣсна на выкупныя свидѣтельства. Явились ростовщики и кроводѣльцы, которые скупали эти свидѣтельства за грошъ. Но владѣльцы не обращали на это вниманія, въ надеждѣ, что вольный трудъ вознаградитъ сторицею.



— Видѣли вы жнею, которую я купилъ у Бугенша? Прїѣзжайте, батюшка, посмотрите, какъ чисто работаетъ! А моя сѣноворошилка? А мои плужки? Прелесть!— раздалось изъ края въ край.— Теперь мнѣ рабочихъ на двѣ трети меньше надо будетъ.

А черезъ недѣлю жнея и сѣноворошилка лежали въ сараѣ поломанными, и баба по-старому копошилась въ морѣ ржи, которое сгораяча не по разуму насѣяли.

Крестьянинъ скоро раскусилъ помѣщика и вихомолку посмѣивался. Помѣщикъ, ни къ чему не приготовленный, лѣнивый и безпечный, способенъ былъ только питаться надеждами и зря бросать деньги. Онъ не понималъ, что для того, чтобъ извлекать изъ сельскаго хозяйства двугривенныя, нужно вставать съ зарею, цѣлые дни бродить по полю и, придя вечеромъ домой, учитывать себя.

Впрочемъ, нѣкоторые (а въ томъ числѣ и дядя Захаръ) снохватились и пустили въ ходъ «прижимку». Отрѣзывали хитросплетенные надѣлы, обрабатывали землю неполу, дожимали крестьянъ штрафами и хожденіемъ по судамъ и, наконецъ, занялись ростовщичествомъ.

Но вообще, несмотря на чаянія и упованія, обійей годось быть: «всего у насъ довольно»—и несмѣтная сокровища въ настоящемъ, и свѣтлая перспектива въ будущемъ,—только людей вѣтъ. Публицистъ Кокоревъ говорилъ это громко, совѣтовалъ пустить въ ходъ добрую чарку вина, и цензура ему въ томъ не пренятствовала.

Дядя Захаръ подслушалъ эти жалобы и явился на клѣтъ. Разумѣется, онъ остановился у меня и не безъ увѣренности объявилъ:

— Теперь мое дѣло выигранное. Нужны люди, а я человекъ бывалый, опытный и не безъ царя въ головѣ, чего еще?

— Но вѣдь вы, дядя, не изъ сочувствующихъ?— возразилъ я.

— Чтѣ ты, чтѣ ты! Христось съ тобою! Я, братъ, всему сочувствую. Я и адресъ изъ первыхъ подписалъ. Прїѣхалъ въ ту пору въ собраніе губернаторъ: «господа, говорить, надо доказать...» Ну, я и доказалъ: обмокнуть перо въ чернильницу—дай Богъ счастье!

— Да, но съ мужичками-то вы все-таки не очень охотно разстались.

— Я-то? Да я мужичка даже очень люблю. Дай только мнѣ...

Онъ выспросилъ у меня, передъ кѣмъ и въ какихъ канцеляріяхъ предстоить хожденія, и на другой же день начались поиски. Онъ ходатайствовалъ неутомимо, съ утра до ночи, возвращался домой измученный и часто разочарованный, но все-таки надѣющийся.

— Вотъ говорили, что людей нѣтъ!—воскликнулъ онъ:— а ихъ тутъ, куда ни придеши, труба детолченая!

Счастье, однако же, повидимому, улыбнулось ему. Прошедшее его, за общей суматохой, было забыто; люди у дѣла стояли совсѣмъ повые, и передъ ними предсталъ тоже новый человекъ, свѣжій деревенскій коренникъ, съ чувствомъ говорившій о мельномъ братѣ. Его выслушивали съ видимымъ интересомъ, разспрашивали, сколько можетъ ужаты въ день баба, сколько можетъ въ день скосить, запахать и забороновать мужикъ, существуютъ ли у крестьянъ огороды, конопляники, отхожіе промыслы, ремесла, самъ-сколько родится рожь, овесъ, ячмень, сколько требуется муки въ годъ на продовольствіе одного фдока и т. д. Онъ отвѣчалъ на вопросы бойко, но спѣша. Докладывалъ, что если мужикъ чувствуетъ въ чемъ-нибудь недостатка, то этому всему виной крѣпостное право; что ежели нѣтъ травосѣянія, то этому виной тоже крѣпостное право; что ежели вообще сельское хозяйство въ упадкѣ, то и тутъ благодаря крѣпостному праву. При этомъ при-совокуплялъ, что онъ уже въ то время мечталъ, когда мечтанія строго воспрещались... Словомъ сказать, отрекомендовалъ себя съ самой отрадной стороны.

Но тутъ онъ увидѣлъ вѣщій сонъ.

И помню, онъ пришелъ къ чаю пасмурный и задумчивый. Едва дотронулся до калача и долгое время сидѣлъ молча и барабанилъ по столу пальцами. На вопросы мои отвѣчалъ односложно и невнятно.

— Чтѣ съ вами, дядя?—наконецъ спросилъ я его.

— Сонъ видѣлъ, голубчикъ!

— Неужели сонъ можетъ такъ встревожить?

— Сонъ ему рознь; иной и можетъ встревожить. Представь себѣ: вижу я во снѣ громадную стаю собакъ, и я будто бы между ними въ собачьемъ видѣ. Только прочія собаки всѣ о четырехъ ногахъ, а у меня будто бы только три, а четвертая оторвана. И будто бы я за стаей никакъ поспѣшить не могу, а ковыляю взади всѣхъ... Вотъ!

— Такъ чтѣ же такое?

— А то я есть, что не добиться мнѣ ничего: что-нибудь да случится.

— Охъ, дядя, никто какъ Богъ! Можетъ-быть, и на трехъ погахъ вы скорѣе добѣжите, нежели другіе на четырехъ.

— Дай Богъ, дай Богъ! Но сомнительно. Повѣрь, что такіе сны не даромъ. Уфхаты, видно, мнѣ обратно въ Муромъ, несолоно хлебавши.

Прошло еще нѣсколько недѣль, а дядя не только ничего не терялъ въ глазахъ начальства, а, напротивъ, все больше и больше правился. Онъ уже успѣлъ убѣдить, что какъ только паступить вольный трудъ, то мы однимъ овсомъ Ибропу побѣдимъ. Позабывъ о вѣщемъ снѣ, онъ ходитъ веселый и радостный, ѣзъ съ анкетомъ, шитъ въ мѣру, вечеромъ ѣздитъ на Минерашки и перемигивался съ мамзель Суветтой. Наконецъ однажды пришелъ къ обѣду домой и съ торжествомъ объявляетъ:

— Ну, теперь можемъ меня поздравить! Сегодня я получилъ вѣрное слово...

И вдругъ онъ понерхнулъ: на столѣ лежалъ адресованный на его имя пакетъ.

Въ пакетѣ было приглашеніе пожаловать для личныхъ объясненій.

— Это вы срыли гору на ровномъ мѣстѣ?— спросилъ его начальникъ.

Дядя стукнулъ каблуками и отретировался.

Кто-то шепнулъ...

Возвратившись домой, дядя вынулъ сряду нѣсколько рюмокъ водки и поскрипѣлъ зубами, а дядя черезъ два выѣхалъ въ Муромъ.

Увы! онъ навѣрное воспрянулъ бы духомъ, если-бъ зналъ, что въ ту же ночь я видѣлъ продолженіе его вѣщаго сна. Снилось мнѣ: добѣжала стая собакъ до порога и въ колебачіи остановилась: одѣвъ предлагали сейчасъ же разнести пороги на части, другія пытались отступать и защищаться. Но защитники дѣлали свое дело такъ неуверенно и неуспѣшно, что нападающіе безъ труда одоляли. Порогъ былъ разорванъ мгновенно. Затѣмъ собаки смѣряли другъ друга глазами и стали грызться.

Польский мятежь дядя Захаръ какъ-то пропустилъ и догадался только тогда, когда дѣло подошло къ концу, и началось брусеніе. Въ это же время и въ Петербургѣ

что-то замутилось: начались пожары, покушения, допросы, судбища, выселки; явились корни и вить. Кликушан клячь. Обрустители, задешово получившіе куски конфискованных земель, уже были готовы. Они отчасти продали земли, отчасти сдали их въ аренду жодамъ, абеа за контрактвали на срубъ и первые явились на клячь. Разумѣется, это были избраницки. Вездѣ за ними явился и майоръ Стрѣловъ.

На этотъ разъ онъ остановился не у меня, а гдѣ-то въ померахъ на Мѣдианской. Должно-быть, онъ меня и заподрить. Немедленно явился онъ къ генералу и имѣлъ съ нимъ непродолжительное объясненіе.

— Прежде чѣмъ удовлетворить вашей просьбѣ, я требую, чтобы вы были вполне откровенны,—сказалъ генералъ, провинцательнымъ окомъ взглянувъ на просителя.

Дядя смутился и совсемъ машинально отвѣтилъ:

— Срылъ гору...

— На ровномъ мѣстѣ?

— Точно такъ, вашество!—выпалилъ дядя.

Это нехорошо: казну слѣдуетъ беречь, она царская. Но я вамъ не судья, я надѣюсь, что съ тѣхъ поръ вы не правились. Мнѣ люди нужны, и именно люди, готовые заплатить... Василий Андреечъ!—обратился онъ къ секретарю:—запишите майора Стрѣлова. Вамъ скажутъ, майоръ, что нужно дѣлать. Кстати: отчего вы не явились въ Западнѣй край?

— Въ деревнѣ жить, вашество, не поспѣтъ, какъ, по вашему маю, все уже пришло въ настоящій видъ...

— Жаль-съ. Мнѣ и тогда нужны были люди.

Стрѣловъ бросился впередъ съ очевиднымъ намѣреніемъ поцѣловать генерала въ плечико, но генералъ уклонился.

Ахъ, какое это было время! Мрачное, наполненное привидѣніями и кажимъ-то удушливомъ безмолвіемъ. Улицы были почти пусты. Немногіе встрѣчавшіеся люди смотрѣли испуганно, ничего не помышая. Въ окнахъ домовъ не было видно по вечерамъ огней, точно все живущее куда-то спряталось. Прѣзжавшіе съ дачъ спѣшили скорѣе окончить дѣла и убѣжали обратно. По ночамъ слышались оклики дворничковъ и бряцаніе оружія по тротуарамъ. Ночныя посвященія производились наудачу, случайно, безъ малѣйшей системы. Больше всего пострадали либералы, такъ какъ предполагалось въ нихъ начало и корень всѣхъ послѣдующихъ бѣдъ. Кто могъ сечь старую черенку — сечь; до-

рогія имела, дорогія рѣчи—все приносилось въ жертву. Кто не успѣлъ сжечь, или жаль было расстаться съ дорогими собесѣдниками, тотъ впоследствии горько расказывался. Ужасно было, ужасно! Но необходимо...

— Оказался-сь, — говорили оправдавшимся: — вы, положимъ, оказались жертвой ошибки, но, согласитесь, безъ этого нельзя. Такое теперь время, что нужно жертвовать собой.

И «жертвы ошибокъ» уходили домой утѣшенныя.

Дядя дѣйствовалъ такъ усердно, что вскорѣ обратилъ на себя вниманіе; онъ дѣйствительно кого-то «поймалъ» и во всякомъ случаѣ каждый вечеръ таскалъ вороха бумагъ въ подлежащую канцелярію. Его переименовали въ штатскій чинъ и обѣщали подумать о немъ.

— Мнѣ бы, вашество, хоть въ губернію, — умолялъ онъ: — жена, воспитаніе дѣтей...

— Да, но покамѣсть и здѣсь дѣла много; прежде надо главное кончить; надо зло вырвать съ корнемъ, начавши съ самаго начала, съ заводчиковъ. Никого не жалѣйте, хотя бы... Главное зло—либералы; надо сорвать съ нихъ личину, потому что они заразили даже правящіе классы. Долгогривые—эти ужь потомъ явились... это—жертвы, орудія! Отъ либераловъ все пошло; если-бъ не они, государство наше было бы сильно и грозно непрежнему, и все мы были бы благополучны...

— Точно такъ, вашество!

— Гм!.. да... но надѣюсь, что вы на будущее время горь на ровныхъ мѣстахъ рыть не будете?—пошутилъ генералъ съ ангельской улыбкой.

— Никакъ нѣтъ-сь, вашество!

— Ну-сь, до свиданія. Сегодня вамъ предстоитъ трудовая ночь. Надѣюсь!

Я числился тогда въ либералахъ и проводилъ время въ самомъ деморализующемъ страхѣ. Ночью за входною дверью и за стѣною сосѣдней квартиры чудились шорохи. Еще минута—и звонокъ... пожалуйста! На дачу я не поѣхалъ. Такая тоска сосала сердце, что, казалось, никуда не уѣжишь. Чтобъ заглушить ее, я ѣздилъ по вечерамъ въ «Демидронъ» и, возвращаясь домой, подѣлывалъ къ воротамъ въ гнетущемъ смущеніи. Даже дворники замѣтили это, и такъ какъ я совершенно ни съ того, ни съ сего увеличилъ имъ помѣсячную подачку, то они ободряли меня, говоря:

— Ничего, Богъ милостивъ!

«Какъ-то они меня аттестуютъ въ кварталѣ?—думалось мнѣ.—Дворники! шутка сказать!»

Однако для меня все обошлось благополучно; я подозревалъ, что тутъ помочь мнѣ дядя. Мало-по-малу и кругомъ стихло. Ни корней, ни нитей не было найдено, а обнаружился полный сумбуръ и совершенная общественная несостоятельность. Много оказалось вздорнаго хлама, а главное испуга, испуга—безъ конца. Наконецъ наступила осень, и всеъ вдохнули. Въ это же время, однимъ утромъ, появился у меня и дядя Захаръ.

— Дядя! давно вы здѣсь?—воскликнулъ я въ удивленіи.

— Давно, мѣсяца съ три. У тебя не остановился, потому что... Ну, да ты самъ отлично понимаешь, почему...

— Понимаю... Ахъ, дядя, дядя! Чтѣ же вы дѣлали въ эти три мѣсяца?

— А поступалъ, какъ слѣдуетъ всякому сыну отечества поступать. Сколько, братецъ, я этихъ долгогривыхъ да стрижекъ перетаскалъ... Страсти! Но главное—либералы. Отъ нихъ все зло. Я, душа моя, помню, какъ они меня въ ту пору травили.

— Ну, ужъ и травили! Вѣдь у всеъ свои убѣжденія. Да и гдѣ же кого-нибудь травить—либераламъ! Даже въ лучшія времена ихъ травили, а не они.

— Итъ, это аттаиде. Я помню, какъ «онъ» меня на одну доску съ канальей-поваромъ ставилъ. И я стою, и поваръ стоитъ, а онъ... судить. Я, голубчикъ, тогда два дня со всей семьей безъ обѣда сидѣлъ, а потомъ вмѣсто повара судомойку нашли.

— Да вѣдь это было сдѣлано по закону?

— Какой законъ?—книжка какая-то. Неужто законъ только въ пользу хамовъ? Нѣтъ, законъ—такъ законъ, а кромѣ того и Священное Писаніе: рабы да повинуются—вотъ это законъ!

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ съ азартомъ продолжалъ:

— А сколько твоя тетя въ то время вытерпѣла! Представь себѣ, никто не кланяется! Да этого мало: какъ ни придешь, въ лакейскую ли, въ дѣвничью ли—нѣтъ никого! «Гдѣ ты, шельма, была?»—Нужно же мнѣ погулять, человекъ же тоже... Человекъ! Она—человѣкъ! мерзавка! А «онъ» ѣздитъ по своему участку и популяризируетъ. «Прасковья Ивановна, здравствуйте!»—Это Пашкѣ-то! И вѣдь ни разу онъ ко мнѣ обѣдать не заѣхалъ: все на постоя-

лѣй дворъ, а тутъ, кстати, и распивочная продажа... Пришлетъ мнѣ повѣстку—и я туда же бѣги! Наслажившено, нагажено, въ сосѣдней комнатѣ мужичье чай и водку пьеть—срамъ! А онъ сидитъ и улыбается, и Прасковья Ивановна улыбается. Ахъ, что было, что было! Тяжело, мой другъ, и до сихъ поръ тяжело!

Дядя снова смолкъ и скорбно склонилъ голову подъ гнетомъ горькихъ воспоминаній.

— А вы вѣщихъ снова теперь не видите, дядя?—спросилъ я, чтобъ переменить разговоръ.

— Нѣтъ, я нынче вообще снова не вижу. Теперь мое дѣло вѣрно. И я поревновать, и за меня поревнуютъ. Не только общались, но даже вѣрное слово дали. И знаешь, куда?—въ нашу губернію, въ самое что ни на есть гнѣздо!..

— Ну, дай вамъ Богъ!

Дядя позавтракалъ у меня и ушелъ. Недѣли двѣ я опять не видалъ его, какъ вдругъ онъ приходитъ, разстроенный и смущенный.

— Опять этотъ сонъ!—вымозвилъ онъ глухимъ голосомъ.

— Дядя! вѣдь это несносно! Вы намѣренно разстраиваете себя!—разувѣрялъ я его.

— Вотъ увидишь!

Дѣйствительно, конкурентовъ на значимыя мѣста явилось такое множество, что всѣхъ «достойныхъ» было неммыслимо удовлетворить. Пришлось принимать въ соображеніе стороннія ходатайства. За одного просила графиня Шассѣ-Крузадъ, за другого—баронесса Думкопфъ, за третьяго—самъ князь Сампалтре, за четвертаго—желѣзнодорожникъ Губошлемовъ и т. д. Среди этой общей травы дядя былъ незамѣтно отгертъ.

Онъ явился ко мнѣ и бросилъ на столъ бумагу.

— На, прочти!

Въ бумагѣ было изображено, что въ настоящую минуту для коллежскаго совѣтника Стрѣлова подходящаго мѣста въ виду не имѣется; но что заслуги его оцѣнены по достоинству, и, вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ одна изъ первыхъ вакансій будетъ предоставлена ему.

— Да, держи карманъ! Наши дураки!—воскликнулъ съ горечью дядя.—Что же, по-ихнему, я долженъ пропекаться въ Петербургѣ и ждать?.. Кукинь съ масломъ! Жить цѣлѣный годъ на Мѣщанской, въ протухлыхъ номерахъ, и

каждый день шататься по канцеляріямъ... Мерси боку! И безъ того кучу денегъ прожилъ, а теперь и еще. Нѣтъ, зло не въ либералахъ, а вотъ въ этихъ Сампантрѣ да Шассѣ-Крузѣ... Довольно съ меня. Я не ропщу, но... Видѣлъ къ себѣ милость генерала—ну, и будетъ! Надежду Михайловну жаль; она, бѣдняжка, думала хоть въ губерніи поселиться—и что-жъ!

Дядя опять надолго исчезъ, сообщивъ, однако, канцеляріи свой адресъ. На всякій случай.

Къ сожалѣнію, на этотъ разъ и продолженія вѣщаго сна не выдалъ.

Въ третій разъ дядя пріѣхалъ въ самый разгаръ желѣзнодорожной свалки.

Дѣятели того времени раздѣлялись на два разряда: на званныхъ, знавшихъ всѣ ходы и выходы, и на незванныхъ, явившихся внезапно, сбоку-припеку. Послѣдніе принадлежали къ числу деревенскихъ жантильменовъ, прожившихъ выкупныя свидѣтельства, продавшихъ «лишнія земли» и жаждавшихъ поправиться. Въ особенности выдѣлялись тѣ изъ нихъ, которые имѣли въ Петербургѣ такъ-называемую «руку»: старыхъ сослуживцевъ, родственниковъ и т. д.

— А что, не попытать ли отъ Углича до Пошехонья дорожку провести?—мечтали они.—Мнѣ тети Анюта отхлопочетъ!

И жены принимали участіе въ этихъ мечтаніяхъ и успешно поощряли ихъ.

— Конечно, поѣзжай, — говорили они: — надо пользоваться; тети Анюта теперь—сила!

Пускались въ ходъ послѣдніе гроши. Петербургское населеніе значительно увеличилось отъ наплыва искателей; гостиницы были полны. Жаждущіе наживы сидѣли по номерамъ, въ штабріаны и ожидали, предварительно исколесивъ весь городъ. Множество празднующевъ ходило изъ дома въ домъ, изумляя тетенокъ и кузинъ неожиданностью проектовъ и повсюду суля участіе въ учредительскихъ паяхъ. Нѣкоторые даже усиляли. Проекты ихъ, конечно, такъ и остались проектами, но тети Анюта помогала пристегнуться къ какому-нибудь другому предпріятію, и, благодаря ея назойливости, празднующевъ уѣзжалъ домой не съ пустыми руками.

Многіе проектиеры изъ сосѣдей по деревнѣ и ко мнѣ тогда захаживали. Одни—съ готовыми проектами, другіе—



такъ, послушать, что умные люди говорятъ. Но изъ послѣднихъ рѣдкіе воздерживались. Посидать, поговорять, выпбють, закусятъ—и вдругъ:

— А что, ежели соединить Тверь съ Калугою желѣзнымъ путемъ? Вѣдь пренитательная вышла бы дорожка!

Присядуть къ столу—и черезъ полчаса проектъ готовъ, благо разграфленная бумага для статистическихъ свѣдѣній продавалась въ изобиліи. Тотчасъ же всѣ графы наполнились словно волшебствомъ: сапоги, сапоги, сапоги! А изъ Корчевы—лапти.

Однажды, около одиннадцати часовъ утра, въ квартирѣ моеѣ раздался звонокъ. Звонили громко, самоувѣренно, какъ звонятъ люди, у которыхъ въ карманѣ вѣрный проектъ.

Оказался дядя.

— Пріѣхали?—спросить я совѣмъ нестати.

— Да, надоѣло хлопать глазами да облизываться. Вѣдь Губошлеповъ-то у меня десятникомъ на дорогѣ служилъ, а теперь, поди, какіе куски рветъ.

— Стало-быть, проектецъ привезли?

— Такъ, лёгонькій. Но въ общей государственной сѣти необходимый. Отъ Нижняго въ Харьковъ, а можетъ-быть, и дальше, коли Богъ поможетъ. Въ Бахмутъ, Кременчугъ—мало ли мѣстъ найдется!

— Вотъ какъ!

— Да, это будетъ — дорога! Надо тебѣ сказать, что теперь главный торговый центръ не въ Москвѣ и не въ Петербургѣ, а въ Нижнемъ. Тамъ сліяніе Оки съ Волгой, двухъ важнѣйшихъ водныхъ артерій; тамъ ярмарка, гдѣ встрѣчаются отдаленный Востокъ съ отдаленнымъ Западомъ, гдѣ можно найти все, чего только пожелаешь, отъ ювелирнаго украшенія, отъ тончайшей кашемировой шали и изысканнаго наряда, которому позавидуетъ любая блестящая красавица, до лапти, котораго вождѣтебъ мужикъ. Оттуда, наконецъ, сибирскій трактъ. Скоро ли мы дождемся сибирской желѣзной дороги, а оттуда все везуть да везуть. Куда?—въ Москву, въ Петербургъ?—Но тамъ и безъ того своего довольно. Напротивъ того, Малороссія, съ Харьковомъ въ центрѣ, даже въ гвоздѣ нуждается. Вотъ самый естественный истокъ. А въ Харьковѣ, въ свою очередь, хлѣбныя богатства, сало, шерсть—опять истокъ на сѣверъ, гдѣ въ атомъ нуждаются.

— Скажите на милость!—изумился я.

— А при этомъ дорога пройдетъ черезъ мое имѣніе;

стало-быть, и я останусь не безъ выгоды. Я, братъ, умненько все это подстроилъ. Сначала Горбатовъ, потомъ Муромъ (питательная вѣтвь въ Арзамасъ), Темниковъ, Шацкъ, Спасскъ-Тамбовскій (питательная вѣтвь въ Ардатовъ), Моршанскъ... А оттуда сдѣлаю въ Харьковъ. Кромѣ отправокъ пунктовъ, сколько тутъ по дорогѣ добра найдется!..

— Да, пожалуй, и не увезете, ежели все...

— Увеземъ, не безпокойся! Пусть только разрѣшать. А не разрѣшить—нельзя: такъ все очевидно.

— Можно мнѣ полюбопытствовать?

— Съ удовольствіемъ, даже прошу. Я не дѣлаю изъ этого секрета, и ежели ты найдешь что-нибудь замѣтить, то говори прямо. Я буду даже благодаренъ. Ты прочтешь, другой прочтеть—смотришь, кто-нибудь и заинтересуется.

Черезъ часъ мы уже сидѣли за бумагами.

— Вотъ это объяснительная записка,—говорилъ дядя:— мы ее послѣ прочтемъ, а вотъ тебѣ карта дороги. Видишь: Горбатовъ, Муромъ, Темниковъ, Шацкъ... Вотъ здѣсь Надежда Михайловна красный кружокъ поставила, а я его послѣ подсчиталъ—это наша Куриловка. Здѣсь предполагается устроить станцію съ буфетомъ и остановку въ 20 минутъ. Поѣзды будутъ такъ расписаны, что каждый будетъ у насъ или завтракать, или обѣдать, или ужинать. А кому угодно чай или кофе пить—милости просимъ!.. Буфетъ будетъ содержать пашъ поваръ Акимъ, такъ что мы даже стола дома имѣть не будемъ, а все со станціи. Масло, молоко мы будемъ ставить на станцію свое; телятъ, индюшекъ, гусей, поросятъ—все тащи на станцію. У насъ въ нрудѣ крупныя барасаи водятся, и ихъ, стариковъ, туда же. А ягоды, овощи, фрукты,—всему найдется близкій и выгоднѣйшій рынокъ. Кромѣ того: дрова, ингалы—все изъ собственныхъ дѣсовъ. А со станціи мы будемъ получать отъ мѣстнаго управленія. Всякій поѣздъ что-нибудь унесетъ и что-нибудь оставить, не говоря уже о служащихъ. При станціи постоялый дворъ—опять сбытъ, опять удобреніе. Въ заключеніе, жетоны на даровой проѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ цѣлаго міра—всему семейству. Я и тебѣ пришлю.

Я поблагодарилъ и невольно при этомъ облизнулся: такъ онъ отчетливо и вкусно все мнѣ объяснилъ.

— А теперь смотри: вотъ статистическія таблицы!—сказать онъ.

Онъ развернулъ листъ разграфленнаго бумажнаго, на которомъ я прочиталъ:

НИЖЕГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.

Назв. мѣстностей.	Предметы перевозки.	Пуд.	Фун.	Особ. при-мѣчан.
Нижний - Новгородъ съ ярмаркой . . .	Рыбный товар: осетрина, бѣлужина, севрюжина, сельди, балыки, икра . . .	000	00	
	Щепной товаръ . . . . .	000	00	
	Кожевенный, сапожный и шубный товаръ . . . . .	000	00	
	Дары Сибири и Урала: пушной товаръ, чай, золото, минералы, дичь и пр.	000	00	
	Произведенія Востока: халаты, плащи, термамамы, ковры и проч. . . . .	000	00	
	Мануфактура: холсты, полотна, ситцы, набойки и проч. . . . .	000	00	
	Ювелирные и модные издѣлія . . . . .	000	00	
	Монументы, памятники старинныя и проч. . . . .	000	00	
	Пушные: медвѣжья, волчья и заячья шкура . . .	000	00	
	Рогожи, цыновки, мочало, лыко, лапти . . . . .	000	00	
Семеновскій и Макарьевскій уѣзды.	Старопечатныя книги и прочія принадлежности раскола . . . . .	000	00	
	Замки секретныя и простые, отмычки, ножи перочинныя, столовыя и хлѣбныя, сошники, гвозди, суидки и проч. . . . .	000	00	
Горбатовскій уѣздъ.	Муромскіе огурцы . . . . .	000	00	
	Муромскіе разбойники . . . . .	000	00	
Муромскій уѣздъ . .	Грибы всѣхъ сортовъ, сушенныя, соленныя, маринованныя и проч. . . . .	000	00	
	Гуси . . . . .	000	00	
Арзамасскій уѣздъ.	Произведенія искусствъ. Телѣжные кузова, колеса, деревянные оси, мочало, рогожи и проч. . . . .	000	00	
	Малороссійское сало, хлѣбъ всѣхъ сортовъ, скотъ . . . . .	000	00	
Темниковскій уѣздъ.				
Харьковъ и такъ далее . . . . .				
Итого . . . . .		000	00	

Съ минуту стоялъ я очарованный. Не можетъ быть, чтобы такого проекта не разрѣшили,—думалось мнѣ. Мало-по-малу однако рассудокъ вступилъ въ свои права.

— Ноль-ноль-ноль! Какая же это статистика? — вымолвить я.

— Это, любезный другъ, не есть важно. У меня въ самой статистикѣ служить человекъ, который какія угодно цифры проставитъ, да и особыя примѣчанія напишетъ. Эти цифры, можетъ, хотя и противорѣчатъ официальнымъ даннымъ, но вѣдь всѣмъ извѣстно, какъ у насъ собирается официальная статистика; здѣсь же проставленныя цифры суть плодъ опытныхъ наблюдений, несомнѣнныхъ и вѣрныхъ... Вотъ онъ какъ напишетъ—и все будетъ прекрасно!

— О, коли такъ... Но почему же вы думаете, — Горбатовскій, на примѣръ, уѣздить... почему вы предполагаете, что онъ *весь* свои замки повезетъ въ Харьковъ, а не въ Сибирь, не въ Алатырь, куда тоже, пожалуй, дорогу поведутъ?

— Непремѣнно въ Харьковъ. Торговля, душа моя, это такая вещь, что гдѣ вѣрнѣе и быстрѣе ожидается оборотъ, туда она и тянется. Вездѣ хоть гвоздь сдѣлать умѣютъ; вездѣ есть свои слесаря, а слѣдовательно и замки; въ Харьковѣ ничего и въ заводѣ нѣтъ. Есть только сало.

— Да, коли такъ, то дѣйствительно... Ну, а какъ насчетъ пассажирскаго движенія?

— Мужичья будетъ ѣздить пропасть. Вотъ первый и второй классы — эти будутъ прихрамывать. Видишь, я не скрываю отъ тебя и слабыхъ сторонъ моей дороги.

— Но въ такомъ случаѣ нельзя ли устроить такъ?.. Просить—такъ просить. Объявить, на примѣръ, обязательнымъ, чтобы однажды въ годъ *весь* Харьковъ побывалъ въ Никопемѣ и *весь* Нижній—въ Харьковѣ. Ну, шикники, что ли, такіе объ масляницѣ и Святой устроить...

— А въ имѣніи у меня полчаса остановки: блины, булочки, яйца... Да, это ид-до-я! Только трудненько будетъ ее провести съ нашимъ русскимъ сквалыжничествомъ. У меня, впрочемъ, тоже проектець про запасъ припасенъ, но ужъ не знаю...

— Въ чемъ же онъ состоитъ?

— Да очень просто: обложить каждаго пассажира обязательно по двугривенничку на предметъ вознагражденія за увѣчья и смерть. Небреженительно, а для пассажировъ—прямаго выгода: обезпеченіе въ будущемъ. За увѣच्या

будемъ платить по таксѣ; за смерть—смотря по человѣку. За крестьянскую бабу и ста рублей за глаза довольно.

— И выгодно это для васъ будетъ?

— Ничего, дѣтишкамъ на молочнишко останется. Предположить, что по дорогѣ пройдетъ—пу, мало триста тысячъ человѣкъ въ годъ. Съ каждаго по двугривенному—это шестьдесятъ тысячъ рублей. А заплатимъ за увѣчья много-много пять тысячъ.

— Ахъ!

— Да, голубчикъ, на все требуется смѣтка, все нужно предвидѣть и взвѣсить заранее—тогда и будетъ все ладно. А впрочемъ, соловья баснями не кормятъ. Пора и въ походъ.

Цѣлый мѣсяцъ послѣ того дядя прожилъ въ Петербургѣ, и я его видѣлъ только урывками. Вставалъ спозаранокъ, пилъ чай одинъ и исчезалъ на цѣлый день. Сначала онъ мнѣ кое-что рассказывалъ, но потомъ замолкъ. Стороной я слышалъ, что онъ былъ у Губошлепова, но тотъ отвѣчалъ, что у него своихъ дѣловъ по горло, а чужими заниматься недосугъ. Тогда дядя напомнилъ ему про бывшее.

— Что было, то будемъ поросло, — равнодушно отвѣтилъ ему Губошлеповъ:—вмѣстѣ горы рыли, и вы пользовались достаточно. А теперь я желаю.

Одинъ изъ бывшихъ сослуживцевъ, — теперь уже власть имущій, — къ которому онъ тоже явился, сказалъ:

— Проектъ твой превосходный, и я даже удивляюсь, какъ никому прежде не пришло на умъ... Харьковъ, Нижній—это именно... Къ сожалѣнью, ты опоздалъ. Наше казначейство такъ скудно средствами, что можетъ удѣлать намъ лишь нѣсколько милліоновъ въ годъ. Эти милліоны уже распределены на нѣсколько лѣтъ впередъ, и сѣтъ утверждена окончательно. Но послѣ, когда все предположенное будетъ выполнено, — милости просимъ!

— Но неужто-жъ нельзя... сверхъ того?

— Невозможно. Не вѣрно даже съ представленіями входить.

Дядя бросился къ еврейскъ; но тамъ потребовали, чтобы онъ обрѣзался. Къ чести его я могу сказать, что онъ не согласился отступить отъ прародительскихъ вѣрованій.

Тогда онъ началъ искать, нельзя ли найти путь къ чѣй-нибудь «любезенькой». «Любезенькую» нашелъ и даже порастрася тамъ не мало денегъ. Надежды его оживились...

Но вдругъ онъ явился однажды утромъ къ чаю, махнулъ рукою и сказалъ:

— Сегодня уѣзжаю въ Муромъ!

— Что такъ?

— Сонъ видѣлъ...

Наконецъ я видѣлся съ дядою на этихъ дняхъ. Онъ уже служить предводителемъ, извѣстенъ, какъ человекъ, который держитъ свое знамя твердо и грозно, и слухи о его благонамѣренномъ пахальствѣ доходили даже до Петербурга. Къ тому же, на этотъ разъ онъ поступилъ толковѣе: не поѣхалъ прямо мозолить глаза своимъ проектомъ, а послалъ его куда слѣдуетъ заблаговременно и уснѣлъ заинтересовать. Послѣдовао приглашеніе прибыть въ Петербургъ.

— Те... новость! -- сказалъ онъ, являясь ко мнѣ на постой.

— Новости... изъ Мурома?

— А ты думалъ, откуда? Нынче и всё новости изъ Мурома да изъ Кирсанова. У насъ — источникъ всего а вы, петербургскіе, только пережевываете.

Затѣмъ онъ съезъ просвирку отъ муромскихъ чудотворцевъ и началъ свою пропаганду.

Просить его носить заглавіе:

## ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТЬ!

### Проектъ обновленія.

Въ сущности, это былъ проектъ всеобщаго упраздненія; но такъ какъ нынѣ всё уже согласны, что въ упраздненіи-то и заключается обновленіе, то терминологія его была принята безъ особенныхъ затрудненій.

Онъ предлагалъ упразднить все: суды, земство, крестьянское самоуправленіе. Даже исправниковъ и становыхъ приставовъ. О кабакахъ говорилъ съ оговоркой: вредны, но на нихъ зиждется... Всё уѣзды онъ дѣлилъ на попечительства, по числу наличныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ или ихъ довѣренныхъ, и съ подчиненіемъ всѣхъ попечителей предводителю. Въ рукахъ попечителей перепутана была власть судебная, административная и полицейская. Они завѣдывали народною правственностью, образованіемъ, зрѣлищами, играми и забавами. Обязаны были устранять вредные обычаи и искоренять сквернословіе. Но преимущественно смотрѣть, чтобъ мужикъ не лѣнился. Своевременно созывать сходки и объяснять крестьянамъ ихъ обязанности

и необходимость повиновения. За хорошее поведение дарить мужикам кушаки, а бабамъ—платки

Проектъ былъ простъ и ясенъ, какъ день, и потому удивительно, что имѣлъ успѣхъ. Фамилія Стрѣлова повстрѣялась въ салонахъ. Его приглашали, съ нимъ совѣщались. Дамочки называли его не иначе, какъ «le bourgeois bienfaisant». Но, сверхъ того, ему и пообѣщали. Замѣчательно, что и тутъ не обошлось безъ завистниковъ: кто-то шепнулъ о скрытой горѣ; но на этотъ разъ извѣтъ не имѣлъ успѣха и даже былъ встрѣченъ съ нѣкоторымъ неудовольствиемъ.

— Все въ свое время горы рыли!—отвѣчали извѣтчику. — То было время, а теперь — другое; господинъ Стрѣловъ повялъ это лучше, нежели кто-нибудь, и конечно...

Дядя ходилъ радостный и полный надеждъ. Проектъ его былъ приобщенъ къ числу прочихъ, съ тѣмъ, что его примутъ въ соображеніе въ своемъ мѣстѣ и въ свое время. Пройдутъ десятки лѣтъ, народится новое поколѣніе, и какой-нибудь трудолюбивый собиратель старинныхъ курьезовъ прочтетъ его и напечатаетъ съ энграфомъ:

Вотъ какъ жили при Аскольдѣ  
Наши дѣды и отцы...

Словомъ сказать, жизнь вновь улыбнулась дядѣ, какъ въ эпоху ранней молодости. Ни одного вечера не видалъ я его дома—все на раутахъ среди дамъ или въ мудрой бесѣдѣ со старцами.

Но здѣсь я долженъ оговориться и пояснить приведеніемъ этой исторіи къ концу. Исторія вообще (въ томъ числѣ и настоящая) обязана относиться къ современности сдержанно. Нѣтъ ничего раздражительнаго, какъ современность, и историкъ напрасно будетъ усиливаться въ соблюденіи справедливости при оцѣнкѣ фактовъ. Его всегда упрекнутъ въ пристрастіи. Еще Гоголь сказалъ: напиши что-нибудь про одного титулярнаго совѣтника—все титулярные совѣтники примутъ на свой счетъ. Точно такъ и тутъ: напишите какую угодно небылицу—все современные небылицы въ лицахъ примутъ на свой счетъ.

Кончаю. Въ заключеніе скажу только, что дядя Захаръ теперь фигурируетъ въ губерніи, величается вѣществомъ, и солдаты на тюремной гауптвахтѣ выбѣгаютъ, когда онъ проѣзжаетъ мимо...

Вѣщихъ снова онъ не видитъ.

## Письмо девятое.

Въ пестрыхъ письмахъ было бы ненатурально не упомянуть о пестрыхъ людяхъ, замолочившихъ въ настоящее время вселенную. Исправляю въ этомъ письмѣ сдѣланный мною пропускъ.

Пестрое время, пестрые люди. Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что вѣрить; вездѣ шатаніе, нустодушіе, пестрота. Чего не ждешь, то именно и случится; отъ кого не чаешь—тотъ именно и стукнется тебѣ по темни. Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совѣсти потеряли.

Общій признакъ, по которому можно отличать пестрыхъ людей, состоитъ въ томъ, что они совѣсть свою до дыръ изнасили. А взамѣтъ выросло у нихъ во рту по два языка, и оба лгутъ иногда по очереди, а иногда—это еще постыднѣе—оба заразъ. Жизнь ихъ представляетъ перепутанную, безсвязную и не согрѣтую внутреннимъ смысломъ театральную пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодѣваніемъ. Всѣмъ они въ теченіе своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «спцилистами», какъ теперь говорятъ. Но нигдѣ не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все ихъ искусство всегда состояло въ томъ, чтобы выждать потребный моментъ и какъ можно проворнѣе переодѣться и загримироваться. Словомъ сказать, это вполне оголѣлые, въ нравственномъ отношеніи, люди, у которыхъ что ни слово, то обманъ, что ни шагъ, то вѣроломство, что ни поступокъ, то предательство и измѣна.

За всѣмъ тѣмъ необходимо различать три сорта пестрыхъ людей. Во-первыхъ, тѣ, которые сами себѣ выработали пестрое сердце и пестрый умъ и преднамѣренно освободили себя отъ всѣхъ стѣненій совѣсти. Это коноводы и зачинщики. Они пишутъ передовыя статьи, шпыряютъ по улицамъ, забираются въ публичныя мѣста, пишутъ доносы, проникаютъ въ переднія власть имѣющихъ лица — и вездѣ каркаютъ, вездѣ призываютъ кару. И въ либеральномъ смыслѣ каркаютъ, и въ ежово-рукавичномъ, хотя въ послѣднемъ уже по тому одному энергичнѣе, что самое представленіе объ ежовой рукавицѣ необходимо слетается съ представленіемъ объ энергіи. По наружному виду ихъ можно



по временамъ принять за фанатиковъ убѣжденіе, но они просто фанатики казеннаго или общественнаго пирога. Злы они неимоверно, потому что хоть и въ формѣ робкаго шепота, а все-таки доходить до нихъ напоминаніе о предательствѣ. И вотъ, благодаря этимъ напоминаніямъ, рядомъ съ вождельшіемъ къ пирогу, въ нихъ возникаетъ потребность отомстить за всѣ прежнія переодѣванія. А на комъ же слаще излить мечь отравленной души, какъ не на бывшихъ случайныхъ единомышленникахъ, свидѣтеляхъ этихъ переодѣваній?

Во-вторыхъ, люди, которые нестрятъ ради шкурнаго спасенія. Собственно говоря, ихъ даже нельзя причислять къ категоріи нестрыхъ людей. Это не нестрога, а истязаніе, вымученный отвѣтъ на допросъ съ пристрастіемъ. Ужасно несчастны эти люди. Помните, я однажды рассказала, какъ свинья Правду чавкала, а Правда передъ свиньей заминалась, изворачивалась и бормотала. Такъ вотъ это самое и есть тотъ же процессъ. Изъ всѣхъ истязаній чавканье живого тѣла—самое ужасное, и потому люди, которые ему подвергаются, приобретаютъ растерянный и испуганный видъ. По собственной инициативѣ они не нестрятъ, а только поддакиваютъ. Но быть свидѣтелемъ этихъ поддакиваній—не дай Богъ никому.

Третій сортъ «нестрыхъ людей» представляютъ собой тѣ, которымъ фея жизни, при рожденіи, нестрое ремесло, въ видѣ дара, въ колыбель положила. Таковы, напримѣръ, всѣ Молчалины. Всю жизнь они издерживаютъ на нестрые дѣла, но чтѣ означаетъ эта нестрога, полезна она или вредна, и даже сопровождается ли какими-нибудь осязательными послѣдствіями и для кого именно—ничего не знаютъ. Большинство такъ и умираетъ, не догадавшись. Жалко этихъ людей, со стороны глядя, но сами они неудобства такого существованія не сознаютъ. Они обязательно принимаютъ нестрогу къ исполненію и, исполнивъ, чтѣ по программѣ слѣдуетъ, обязательно же сдадутъ свою работу другимъ безознательно-нестрымъ людямъ, а сами исчезаютъ въ могилѣ.

---

Первообразомъ нестрыхъ людей, разумѣется, служить индивидуумъ первой категоріи. Остальныя двѣ категоріи составляютъ только естественный и неизбежный придатокъ.

Первообразъ потому представляется наиболѣе мучитель-

нымъ и опаснымъ, что онъ былъ некогда нашимъ сочувствителемъ и загъмъ, совершивъ обрядъ переодѣванія, подкрался къ намъ внезапно и исподтишка впился своими когтями. Правда, мы и прежде замѣчали въ немъ наклонность къ переодѣваніямъ, но добродушно подсмѣивались надъ тѣмъ, не придавая этому факту особеннаго значенія. Между тѣмъ эта наклонность росла и росла, и наконецъ выросла въ мѣру совершеннѣйшаго. А я увѣренъ, что онъ и теперь, заглядывая по временамъ въ будущее, думаетъ: ежели «вѣяніе» и переѣбится, то я всегда успѣю заново переодѣться и заgrimироваться.

И онъ заgrimируется, и опять все забудется, и опять мы отведемъ ему мѣсто среди «своихъ». Мы, люди убѣжденія, люди естественнаго и логическаго преусиженія, люди, беззавѣтно отдавшіе своей странѣ все свои душевные помыслы и силы. Я не однажды ратовалъ противъ этой повадливости, но предостереженія мои не имѣли успѣха. Это, впрочемъ, и понятно. Честнымъ и убѣжденнымъ сердцамъ столь же мало свойственны злопыхательство и мстительность, сколько они естественны въ людяхъ переодѣваній. Какъ я уже сказалъ выше, послѣдніе мстятъ не за обиды, которыхъ имъ никто не наносилъ, а за собственную душевную оголѣтость, за то, что есть живые свидѣтели этой оголѣтости.

И живо помню время, когда впервые народилась идея хожденія въ народъ. Въ основѣ этой идеи лежала отнюдь не пропаганда «науки преступленій», какъ ябедничали тогда взбудораженные и еще помные жизненности крѣпостники (да не живы ли они и теперь?), а внесеніе луча свѣта въ омертвѣлыя массы, подъемъ народнаго духа. Распространеніе грамотности и здравыхъ понятій о силахъ природы и отношеніяхъ къ нимъ человѣка — вотъ что стояло на первомъ планѣ. Расскажите эпизоды этой печальной исторіи и подробности возбужденной ею паники любому культурному нѣмцу, — и вы увидите на его лицѣ только недоумѣніе. Онъ вспомнитъ свою добрую молодость, вспомнитъ, какъ онъ цѣлымъ обществомъ, съ посохомъ въ рукахъ, исходилъ пѣшкомъ все уголки Германіи, посѣтилъ ея горы и долины, изучая родную страну и входя въ непосредственное общеніе съ ея народомъ. И неизменно скажетъ, что все это послужило къ пользѣ народной, къ поднятію общаго уровня народнаго самосознанія и къ освѣженію самой культурной среды.

Вѣроятно, изъ Германіи пришла и къ намъ идея холжденія въ народѣ. И все тогда сгруппировались вокругъ нея, все горѣли нетерпѣніемъ и энтузіазмомъ, и ждали не объявляли о своихъ намѣреніяхъ во всеуслышаніе, то единственно по привычкѣ опасаться, что всякое честное начинаніе искони является у насъ подозрительнымъ. Были въ числѣ энтузіастовъ и «переодѣватели», и наравнѣ съ прочими горѣли и плескали руками.

Я не принималъ въ этомъ движеніи непосредственнаго участія,—у меня было и есть свое собственное дѣло,—но всегда относился къ нему съ сочувствіемъ. Кромѣ прямой пользы для народа и для правящихъ классовъ, я не видѣлъ никакихъ угрозъ въ будущемъ. Находя по чистой совѣсти, что управлять народомъ, уже вступившимъ въ періодъ самосознанія, гораздо славнѣе и легче, нежели управлять полудикой толпой, гонимой страхомъ, я такъ, въ этомъ смыслѣ, и велъ мою бесѣду съ читателемъ. Я никогда не претендовалъ на роль вожака; я уклонялся отъ разговоровъ о распредѣленіи богатствъ, предоставляя рѣшеніе этого вопроса будущему; не говорилъ ни о нивелированіи, ни о крамоулѣ, и даже не выражался, что мы танцуемъ на вулканѣ. Никакихъ вулкановъ я не замѣчалъ, да и теперь не вижу, хотя времени прошло съ тѣхъ поръ достаточно. Я призывалъ къ справедливости—только и всего.

Тѣмъ не менѣе извѣстно, какъ встрѣчены были мои бесѣды и какихъ постыдныхъ издѣвокъ онѣ мнѣ стоили со стороны такъ-называемыхъ охранителей.

Но бодрые люди шли и шли. Въ числѣ ихъ внезапно, но, повидимому, вполне искренно очутился и Семенъ Скорняковъ.

Скорняковъ былъ моимъ сверстникомъ по школьной скамьѣ. Въ школѣ онъ былъ скорѣе нелюбимъ, нежели любимъ, и нелюбимъ потому, что черезчуръ ужъ ласково глядѣлъ въ глаза начальству. Последнее благоволило къ нему и ставило въ примѣръ, исключая, впрочемъ, учителя латинскаго языка, который почему-то называлъ его крокодиломъ.

— Чтѣ ты, крокодилъ, все хнычешь (дѣйствительно, когда его обижали, то онъ не плакалъ, а хныкалъ)?—говаривалъ онъ.—Знаешь, какъ твои собратья изъ Нила купающихся ребятъ утаскиваютъ, гложутъ ихъ и при семъ хнычутъ? Такъ и ты со временемъ. Правду будешь глотать и хныкать.

И странное дѣло! когда учитель это говорилъ, то всёми казалось, что Скорняковъ вотъ-вотъ сейчасъ захнычетъ. Но онъ въ отвѣтъ только застѣнчиво опускалъ глаза, точно просилъ у учителя прощенья, что огорчилъ его.

По выходѣ изъ школы, Скорняковъ, благодаря своимъ скуднымъ средствамъ, не послѣдовалъ примѣру товарищей, отдавшихъ себя въ жертву портнымъ и лихачамъ-извозчикамъ. По крайней мѣрѣ, этотъ угаръ ежели и былъ, то прошелъ въ немъ очень скоро. Напротивъ, онъ выработалъ въ себѣ вкусъ къ книжкѣ, поступилъ вольнослушателемъ въ университетъ и черезъ два года сдалъ кандидатскій экзаменъ.

Вкусъ къ книжкѣ сблизилъ насъ, такъ что нѣкоторое время мы даже вмѣстѣ жили. Я тогда уже началъ пописывать, впрочемъ, только молкія рецензіи. И Скорнякову доставалъ работу. То было время самага разгара распри между западниками и славянофилами. Разумѣется, мы не были не только первостепенными, но даже третъестепенными дѣятелями въ этомъ движеніи, но все-таки слѣдовали за общимъ литературно-полюмическимъ потокомъ. Я былъ горячій и искренній поклонникъ Вѣлинскаго и Грановскаго; Скорняковъ тоже выдавалъ себя за западника, но съ оговорками и какъ бы оставляя себѣ лазейку въ будущемъ.

— А община?!—говорилъ онъ, многозначительно поднимая указательный перстъ.

Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдѣлались пустопорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ убѣдилось, что есть община и община; что община, на которой они созидали благополучіе и силу Россіи, не обезпечиваетъ ни отъ пролетаріата, ни отъ обидъ, приходящихъ извнѣ, что наконецъ будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, стоитъ еще для всѣхъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею сопряжена круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять.

Но тогда все кипѣло и рвалось сразиться...

Для Скорнякова однако-жъ западническое кипѣніе получило очень скорый, хотя и случайный конецъ. Умеръ его отецъ, и онъ вынужденъ былъ поселиться въ Москвѣ. Съ этихъ поръ для меня онъ надолго исчезъ. Повидимому, тутъ впервые у него зародилась мысль о карьерѣ. Въ Мо-

свѣтъ онъ успѣлъ приютиться подъ крылышко одной изъ дамъ-патронессъ, очень еще интересной старушки, и черезъ нее пробился въ славянофильскій кружокъ. И тутъ онъ выдающейся роли себѣ не нашель, а былъ только «вхожь»,—и за это спасибо. Славянофилы того времени были люди богатые, титулованные, имѣли въ Петербургѣ связи и родство и жили подъ прикрытіемъ митрополитской ряссы. Скорнякову не понравились, однако-жъ, ихъ напыщенность, чванство и семинарская надменность, но онъ рѣшился терпѣть во имя будущаго и вскорѣ сдѣлался ревностнымъ прозелитомъ. Писалъ въ «Москвитинѣ» филиппики противъ западниковъ и громилъ послѣднихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. Хомяковъ ему улыбался, Юрій Самаринъ подавалъ два пальца, Погодинъ показалъ свое книгохранилище (вмѣсто гонорара за статьи), Константинъ Аксаковъ цѣловалъ. Въ заключеніе патронесса опредѣлила его чиновникомъ особыхъ порученій къ важному лицу.

Здѣсь онъ чуть-было опять не сдѣлался западникомъ, потому что важное лицо не любило славянофиловъ и называло ихъ кутейниками. Но оно же не любило и западниковъ, подозревая ихъ въ замыслахъ къ ниспроверженію порядка. Потому Скорняковъ рѣшился сдѣлаться простымъ здоровымъ русскимъ человекомъ, такимъ же, какимъ былъ его начальникъ. Съ этою цѣлью онъ выработалъ себѣ особую русскую точку зрѣнія, въ основѣ которой лежало исполненіе предписаній начальства.

Въ это время судьба завела меня въ одинъ изъ отделенныхъ уголковъ Россіи, гдѣ я пробылъ около восьми лѣтъ, забытый и оставленный. О Скорняковѣ, разумѣется, я никакихъ свѣдѣній не имѣлъ.

1856-й годъ опять насъ столкнулъ. Пошли слухи объ эмансипаціи, и оба мы ликовали, что наконецъ сравнялись съ Европой.

— Вотъ увидишь, какую роль будетъ играть наша община!—восклицалъ онъ.

Мнѣ, впрочемъ, и самому начинало казаться, что община скажетъ что-то новое. «Упраздните крѣпостное право, и сейчасъ же на сцену выступитъ община!»—вотъ какъ тогда говорили всѣ и даже западники, которые стояли тогда во главѣ движенія и уже провидѣли удобство круговой поруки.

Когда все было кончено и новое «Положеніе» издано, Скорняковъ сталъ задумываться. Онъ уже высмотрѣлъ

неподволь людей, которые готовы были появиться на сѣбѣ дѣятелямъ «Положенія», и подъ рукой наводилъ справки.

— Знаешь ли что, — говорилъ онъ мнѣ:—не слишкомъ ли мы постиглили? То-есть, ты понимаешь, я совѣмъ не въ томъ смыслѣ... Это дѣло святое, необходимое... но тѣмъ не менѣе годикъ-другой...

— Эй, Скорняковъ! Виллени хвостомъ! — возражалъ я, впрочемъ, нимало не сердясь.

— Итъ, совѣмъ не то. Я только говорю, что бѣдные помѣщики... Въдь это все-таки представители нашей культуры...

Вдругъ онъ опять исчезъ изъ Петербурга. Одновременно съ этимъ исчезновеніемъ, на столбцахъ одной «уважаемой» московской газеты начали появляться разнашныя статьи, въ которыхъ проливались слезы въ пользу бѣдныхъ помѣщиковъ, а о мужикѣ рассказывались смѣшныя, а отчасти и возмутительныя анекдоты. Обвинялись по преимуществу мировые посредники, а за ними и всѣ вообще сочувствующіе новосозданному порядку вещей. Прямо говорилось, что они революціонеры, нивеляторы и подрыватели основъ. Прошли слухи, что въ составленіи этихъ статей, и не безъ косвеннаго поощренія, принимаетъ дѣятельное участіе Скорняковъ. Дѣйствительно, онъ былъ тамъ. Писалъ и спереди, и сзади; спереди—клеветать серьезно и убѣжденно, сзади—въ шутливомъ русскомъ тонѣ. Статьи эти были замѣчены.

— Вы имѣете перо,—прогудѣлъ ему нѣкоторый сановникъ:—держите его бодро на страхъ разрушителямъ и на пользу добрымъ порядкамъ. Это теперь нужнѣе, нежели когда-нибудь.

Прошла китейная реформа, но Скорняковъ не соблазнился ею. Онъ говорилъ, что дивидендъ—дѣло преходящее и немного даже зазорное, и что истинное его назначеніе—внутренняя политика, которая, конечно, вознаградитъ его превыше всякихъ дивидендовъ.

И онъ не ошибся. До тѣхъ поръ онъ былъ только многообѣщающимъ бутонемъ, но невдолгѣ этотъ бутонъ распустился въ пышный и далеко разливающий ароматъ цвѣтокъ. Карьера его двинулась быстро и блестяще. Прежде всего онъ попалъ въ обрусители. Исполнялъ свято предначертанія, но въ то же время и самъ почтительно представлялъ соображенія. И дѣлалъ это такъ ловко, что предначертателю оставалось только сказать: «вотъ именно моя

мысль, вы именно угадали ее». За эту ловкость и скромность онъ получилъ, кромѣ всего прочаго, хорошій кусокъ пирога и увѣренность, что на будущее время онъ «необходимъ».

Вслѣдъ за тѣмъ онъ опять появился въ Петербургѣ и тутъ уже прогремѣлъ не на шутку. Имя его сдѣлалось страшно, и даже наружность измѣнилась. Лицо обрюзгло и получило коричневый тонъ, глаза горѣли плотоядно; голосъ сдѣлался громкій и вылеталъ какъ изъ пустой бочки. Изъ крокодила благообразнаго выработалось настоящее чудовище. Онъ не перебѣгалъ съ одной стороны улицы на другую, какъ дѣлаютъ болѣе робкіе предатели, но шелъ прямо впередъ, выпячивая грудь, размахивая руками и изрыгая хулу. Однажды онъ встрѣтился со мной на Невскомъ, но даже не поздоровался, хотя мы много лѣтъ не видались, а только погрозилъ мнѣ пальцемъ. Стало-быть, даже относительно стараго одноклассника онъ уже не считалъ себя обязаннымъ стѣсняться. Любимою его поговоркою въ то время было: «насъ не обманешь, мы сами тамъ были», — и онъ повторялъ ее съ неизреченнымъ нахальствомъ человека, который вполне убѣжденъ, что онъ до того негодяй, что можетъ сказать себѣ: ну, что-жь, негодяй, такъ негодяй!

Какую массу злыхъ, постыдныхъ и, въ сущности, бесполезныхъ дѣлъ совершилъ онъ въ короткое время—это трудно перечислить. Плакали отцы, плакали матери, а онъ, сильный мѣднымъ лбомъ и съ камнемъ въ груди, шелъ дальше и дальше вглубь. Онъ достигъ того адекаго равновѣсія, что уже не мстилъ за свои прежнія переодѣванія, но указывалъ на нихъ какъ на подготовительный материалъ: вотъ, молъ, черезъ какую школу я прошелъ! Самы товарищи по ремеслу дивились ему; нѣкоторые его сдерживали, но большинство благоговѣло передъ нимъ.

— Всякій изъ насъ,—говорили они:—имѣетъ какую-нибудь личную неходную точку. Иной сводитъ счеты за прошлыя обиды, другой—ради семьи хлопочетъ, третій—сословный интересъ стерсжаетъ. У Скорякова—ничего позади нѣтъ. Онъ одинъ какъ перстъ; въ прошломъ никто его не обидѣлъ, никто ничего у него не стнялъ; о сословномъ интересѣ онъ и не знаетъ... Это единственный, въ своемъ родѣ, образецъ опричника безпримѣнаго, надрысующаго себя ради цѣлей, имѣющихъ только абстрактное значеніе.

Судебная реформа тоже не обошлась без него; но, разумеется, онъ предпочелъ стоячую магистратуру судячей. Отмежевавши себѣ сферу внутренней политики, онъ обвинялъ безоговорочно, хотя болѣе бойко, нежели доказательно. Въмѣсто доказательства и разбора побудительныхъ причинъ, у него были въ запасѣ завытныя слова, которыя заграждали уста защитѣ. И чѣмъ чаще пускалъ онъ ихъ въ оборотъ, тѣмъ больше преуспѣвалъ.

— И ничего другого не нужно!—повторяли хоромъ всѣ единомышленники: — коли любишь — прикажи, а не любишь—откажи. Безъ разговоровъ.

Только одинъ выжившій изъ ума членъ англійскаго клуба, князь Селищевъ, ничего не уразумѣвъ изъ разсказа про усѣбхи Скорнякова, выразился:

— Пыиче, куда ни посмотришь—вездѣ хамы да крапивное сѣмя. Прежде были Кочубен, Панины, Дозгрукіе, Голицыны, а нынче—Скорняковы да Боголѣбовы. Хамъ онъ, вашъ Скорняковъ, оттого ему и везетъ! А скоро придетъ пора—и санкюлоты явятся. Ça ira... Я ужъ десять лѣтъ въ деревню постою не ѣзжу и дѣтей за границей держу...

Конечно, Скорняковъ первый посмѣялся, услышавъ разсказъ объ этой княжеской бутафѣ; однако, на всякій случай, помѣстилъ въ своей записной книжкѣ замѣточку: «князь Селищевъ—выжившій изъ ума старикъ, но дѣти его...»

Въ послѣднее время Скорняковъ, повидимому, угомонился. Приобрѣлъ прекраснѣйшее (хотя и не первенствующее) служебное положеніе и подаетъ мудрыя совѣты. Но изъ всѣхъ его совѣтовъ самый ясный и отчетливый выражается въ двухъ словахъ: «искоренить и истребить». И ему внимаютъ, и, быть-можетъ, недалеко время, когда онъ...

Онъ помнитъ, что князь Селищевъ называлъ его хамомъ, и крѣпко надѣется, что это званіе послужитъ ему рекомендательнымъ письмомъ. По временамъ глаза его источаютъ блудящія огни, и онъ бессознательно бормочетъ: «буду—не буду, буду—не буду...»

Будеть!

Вторая категорія пестрыхъ людей—это люди, замученные жизнью. Жизнь къ нимъ пришла въ видѣ западни, изъ которой они не имѣютъ ни силы, ни умѣнья выбраться. Пенались и бьются тамъ, не подавая голоса.



Въ послѣднее время такихъ людей развелось очень много. Великій нестрѣй человѣкъ первой категоріи приводитъ за собой массу подневольныхъ. Живутъ они особнякомъ и при встрѣчѣ съ старыми знакомыми мгновенно исчезаютъ. Но что они переживаютъ, оставаясь одни сами съ собой... что переживаютъ! Каждый день приноситъ имъ къ исполненію новую измѣну, и каждый день они должны вынести эту измѣну на своихъ плечахъ, зная, что это измѣна, проклиная ее и все-таки прикованные къ ней несокрушимою дѣлю. Отбывъ дневную жизненную повинность и подводя ей итоги, они должны сознавать, что все ими сдѣланное чуждо ихъ убѣжденію, что послѣднее затоптано въ грязь... какъ? почему?

А между тѣмъ это убѣжденіе несомнѣнно существовало и даже нѣкогда составляло гордость и радованіе жизни. И какъ нарочно, въ тѣ скорбныя минуты, когда прошлое уже затмилось настоящимъ, когда оно поругано и побито, памятливая совѣсть всего охотнѣе возвращается къ этому прошлому. Припоминаются былыя рѣчи, старые образы... все припоминается, все.

Ходить нестрѣй человѣкъ взадъ и впередъ по комнатѣ до усталости, до изнеможенія. Звонокъ. Пришелъ «посидѣть» знакомецъ изъ «новыхъ». Пришелъ, можетъ-быть, для того, чтобы испытать сердце человѣческое и потомъ сфискалить.

— Ну, вотъ, и вы съ нами,—говорить онъ:—не правда ли, такъ-то лучше?

— Да, да, и я... конечно, конечно... Надо же.

— А читали вы записку, которую подаль Е.?

— Да, да, читаль... прекрасно, прекрасно.

— И какъ тонко дано почувствовать! И въ то же время горячо, съ огонькомъ!

— Да! тонко и въ то же время дѣйствительно... но, впрочемъ, намъ-то что-жъ!

— Какъ что-жъ? Мы вѣдь тоже въ этой колесницѣ значимся! Дѣло, стало-быть, общес.

И такъ далѣе.

Посидитъ знакомецъ, выпьетъ чашку чая и уйдетъ. А новообращенный сядетъ къ рабочему столу и начнетъ готовить работу къ завтрашнему дню. Изъ каждой строки этой работы явственно сочтется одно слово: искоренить. Прежде онъ былъ сторонникомъ и ревнителемъ женскаго образованія, теперь — придумываетъ подвохи въ ущербъ

ему; прежде онъ видѣлъ въ свободѣ величайшее благо человѣческихъ обществъ, теперь — онъ называетъ ее не иначе какъ разнузданностью; прежде онъ признавалъ судъ общественной совѣсти, какъ наилучшее мѣрило для оцѣнки человѣческихъ дѣяній, теперь — онъ утверждаетъ, что въ основѣ этого суда лежитъ одна анархія. И онъ излагаетъ это отчетливо, ясно, сиѣша пѣспѣтъ къ сроку, ибо знаетъ, что завтра же всѣ эти новыя измышленія должны быть пущены въ ходъ. Одно только умѣряетъ его стыдъ — это нелѣпость написаннаго и надежда, что сама жизнь отвернется отъ нея.

Какимъ путемъ люди приходятъ къ такой раздвоенности мысли и чувства — все въ этомъ вопросѣ смутно и спутанно. Бѣда ли, впрочемъ, тутъ не играть значительной роли недостатокъ матеріальныхъ средствъ и происходящая отъ того зависимость. Многие не придаютъ этому факту никакого значенія и даже не безъ презрѣнія отзываются о немъ. И въ большинствѣ случаевъ это презрѣніе идетъ отъ тѣхъ, которые исподлобья пускаютъ жадные взоры на видѣющіеся выданы широкъ. Но не нужно забывать, что бѣдность и недовольство выброшенныхъ судьбою кускомъ есть фактъ до того безспорный, что ради него возникаютъ не только частныя преступленія, но общественная рознь, междоусобія и всевозможныя неурядицы. А еще менѣе надо забывать, что большинство людей состоитъ не изъ героевъ, а изъ простыхъ смертныхъ. Тамъ, гдѣ герой возвышается до самоотверженія, простой смертный ограничивается однимъ сочувствіемъ, далѣе котораго его экспансивная сила не идетъ. Простой смертный есть зритель по преимуществу, и надо ужъ и то ставить ему въ заслугу, ежели зрѣлище самопожертвованія умиллетъ и согрѣваетъ его сердце любовью къ ближнему.

Затѣмъ въ дѣлѣ подневольной апостазіи имѣютъ громадное значеніе жизненныя ошибки. Служеніе убѣжденію не терпитъ суеты. Оно строго до неумолимости и въ своей логичности не пугается частныхъ крайнихъ выводовъ. Разъ допущенное уклоненіе уводитъ человѣка все далѣе и далѣе отъ предначертанной линіи, и возвратъ къ исходному пункту дѣлается не только труднымъ, но и невыполнимымъ.

Всѣ, которые вышли вмѣстѣ, уже далеко, да и возвратный путь исковерканъ и заваленъ наноснымъ хламомъ до того, что нужны нечеловѣческія усилія, чтобы пробраться

сквозь трудобу. Приходится или оставаться на томъ мѣстѣ, гдѣ застало самосознаніе, и горько сѣтовать на свое легкомысліе, или идти далѣе, все уклоняясь и уклоняясь, и всеѣмъ отдаться въ жертву мамонѣ.

Наконецъ есть и третья причина: это внезапно охватившая общество со всѣхъ сторонъ паника. Законы, порождающіе панику и управляющіе ею, до сихъ поръ неизвѣстны. Она представляется намъ въ формѣ обезумѣвшаго пса, случайно сорвавшагося съ цѣпи. Она бѣжитъ впередъ, брыжжа бѣшеною слюною и изъязвляя всѣхъ, кто стоитъ на ея пути. Происходитъ общій переломъ; со дна общества поднимаются чудовища. Пареніе мысли, идеалы будущаго, чистота дунни—все погибаетъ въ этомъ адскомъ водоворотѣ, уступая мѣсто бѣшеному лаю и наглому смѣху остервенившихся чудовищъ. И нужно громадную силу воли, чтобы устоять среди этой торжествующей душевной оголѣлости и не сдѣлаться хотя невольнымъ слѣдующимъ. Цѣлая масса сложившихъ оружіе идетъ за колесницей побѣдителей, осужденная на рабство. И если бы исторія не указывала на просвѣтъ изъ этой кромѣшной тьмы, то міръ давно былъ бы отданъ въ жертву безнадежности и отчаянію.

Разумѣется, я указалъ здѣсь лишь на самыя характернѣшкія черты процесса превращенія. Существуетъ множество другихъ, второстепенныхъ и третъестепенныхъ, которыя присущи каждому отдѣльному индивидууму. Но главнымъ двигателемъ все-таки является отсутствіе героизма.

Спрашивается: что такое героизмъ?

Позволяю себѣ думать, что героизмъ представляетъ собой явленіе вполне бесспорное лишь въ примѣненіи къ открытіямъ и изобрѣтеніямъ, которыя обнажаютъ тайны природы и дѣлаютъ ихъ доступными для человѣчества. Люди, совершающіе полярныя экспедиціи, проникающіе въ неизвѣданныя страны, люди, проливающіе свѣтъ и благосостояніе въ темныя народныя массы,—вотъ герои, которые, такъ сказать, пишутъ исторію человѣчества и производятъ въ его судьбахъ дѣйствительные повороты. Что же касается до героизма политическаго, то это — явленіе преходящее, вызываемое данною минутой. И, быть-можетъ, недалеко время, когда въ немъ не будетъ больше надобности. Исчезнутъ изгнания, умолкнутъ воли—и тогда поистинѣ наступитъ «время, всѣхъ освѣщающее».

Третья категория—это plebs, или, какъ говорятъ въ сельскомъ хозяйствѣ, живой рабочей инвентарь. Это—материалъ, который всякое новое вѣяніе находитъ готовымъ. Люди эти всеѣмъ восхищаются, особливо стилемъ бумагъ и острою пера. «Вотъ такъ загнулы!» восклицаютъ они въ восторгѣ: «поди, расхлебай!» Силошней массой наполняя канцеляріи, они до того сродняются съ атмосферой «своего мѣста», что перестаютъ даже различать, чѣмъ пахнутъ.

Грибоѣдовъ воспроизвелъ этотъ типъ въ своемъ безсмертномъ Молчалинѣ. Это человѣкъ, въ пеленкахъ познавшій натискъ судьбы и потому готовый отдать себя въ рабство кому угодно и куда угодно, готовый поклониться и истинному Богу, и пустому идолу, не имѣя ни способности, ни навыка проникать въ сущность вещей. Одно качество, которое до извѣстной степени смягчаетъ его суетливую готовность—это отсутствіе злобности. Все въ дѣятельности этихъ людей запечатлѣно неразумнѣемъ и твердой рѣшимостью удержать за собой тотъ нищенскій кусокъ, который имъ выбросила судьба. Это неразумнѣе, эта прирожденная, несознанная приниженность спасаетъ ихъ отъ проклятій.

Тѣмъ не менѣе внѣшніе признаки, въ которыхъ выражается то или другое вѣяніе, они отличаютъ прекрасно. Знаютъ, что Петръ Иванычъ—не то, что Ѳедоръ Семенычъ, что каждый изъ нихъ «загибаетъ» по-своему, и что за каждымъ слѣдуетъ своя свита. Понимаютъ, что когда Петръ Иванычъ въ ходу, то Ѳедора Семеныча съ его свитой слѣдуетъ избѣгать—и наоборотъ. Умѣютъ опускать очи при встрѣчѣ, дѣлать видъ, что не узнаютъ или не замѣчаютъ, охотно прислушиваются къ слухамъ и въ особенности выказываютъ тревожное расположеніе духа передъ праздниками, когда Петры Иванычи смѣняются Ѳедоровъ Семенычей, а Ѳедоры Семенычи—Петровъ Иванычей. Не то чтобъ они видѣли впереди какую-нибудь угрозу—«безъ насъ не обойдутся!»—говорятъ они съ гордостью,—но все-таки надо хоти накалунѣ почиститься и перемѣнить бѣлье, чтобы хоть по наружности предстать въ новомъ образѣ.

Дѣятельной роли они не играютъ. Встаютъ съ мѣста, когда входитъ начальство, и садятся, когда оно уходитъ. Ежели начальникъ—бель-омъ, то они радуются; ежели начальникъ маленькій и мозгиливый, то и тутъ не печалются, а говорятъ: «птичка невеличка, да ноготокъ востѣръ». Всѣ начальники хороши, и все идетъ прекрасно въ наилучшемъ

изъ міровъ. Нерѣдко имъ приходится совершать дѣла прямо вредныя; но такъ какъ сущность вещей закрыта для нихъ, то они всю свою дѣятельность вообще прикрываютъ словомъ: «мѣтропріятіе» и затѣмъ никакихъ душевныхъ тревогъ уже не ощущаютъ.

Ни въ обществѣ, ни въ публичныхъ мѣстахъ ихъ не встрѣтишь, кромѣ извѣстныхъ улицъ, которыя въ опредѣленные часы бываютъ запружены ими. Издали видно, какъ въ толпѣ людей всякаго наименованія спѣшнѣе маленькій пестрый человѣкъ въ «свое мѣсто», чтобы за утро пустить нѣсколько стрѣлъ въ невѣдомое пространство. Куда летятъ эти стрѣлы, кого онѣ уязвляютъ—это тайна, въ которую онъ никогда не проникаетъ.

Дома онъ счастливъ. Рассказываетъ ходячіе канцелярскіе анекдоты и восхищается начальствомъ.

— Какая сегодня записка насчетъ либераловъ къ намъ отъ NN поступила—просто романъ!—сообщаетъ онъ женѣ.

— Расчухали наконецъ!—радуется и жена.

— Да, пора-таки, а не то... Вѣдь отъ нихъ все зло пошло!

И такъ далѣе.

По праздникамъ онъ рѣжетъ пирогъ той самой рукой, которая невѣдомо кому разбила существованіе. Ежели у него есть дѣти, то онъ радуется на нихъ и спрашиваетъ, хорошо ли учили уроки и довольны ли ими начальники. Этимъ людямъ никогда не приходитъ въ голову, что дѣти могутъ со временемъ ужаснуться той обстановки и тѣхъ разговоровъ, среди которыхъ они выросли. Вообще никакого представленія о той грызущей семейной боли, которая сторожитъ ихъ впереди, они не имѣютъ. Идутъ безъ ясно опредѣленной цѣли до тѣхъ поръ, пока боль сама не подкрадется и не заставитъ изойти кровью сердца ихъ. Выбѣстъ съ этою болью подкрадутся и старческія немощи, и они будутъ изнемогать подъ этимъ двойнымъ бременемъ... опять-таки безъ разумнія.

И благо имъ, ибо разумніе не устраняетъ и не утишаетъ болей, а только мучительнѣе и мучительнѣе растравляетъ сердечныя раны.

Въ сущности, это прирожденные жертвы общественного темперамента. Общество исконно воспитало въ себѣ особую среду и заранѣе обрело ее. Выходъ изъ нея представляетъ рѣдкую случайность, область которой нѣсколько расширилась лишь въ послѣднее время, благодаря ббльшей доступ-

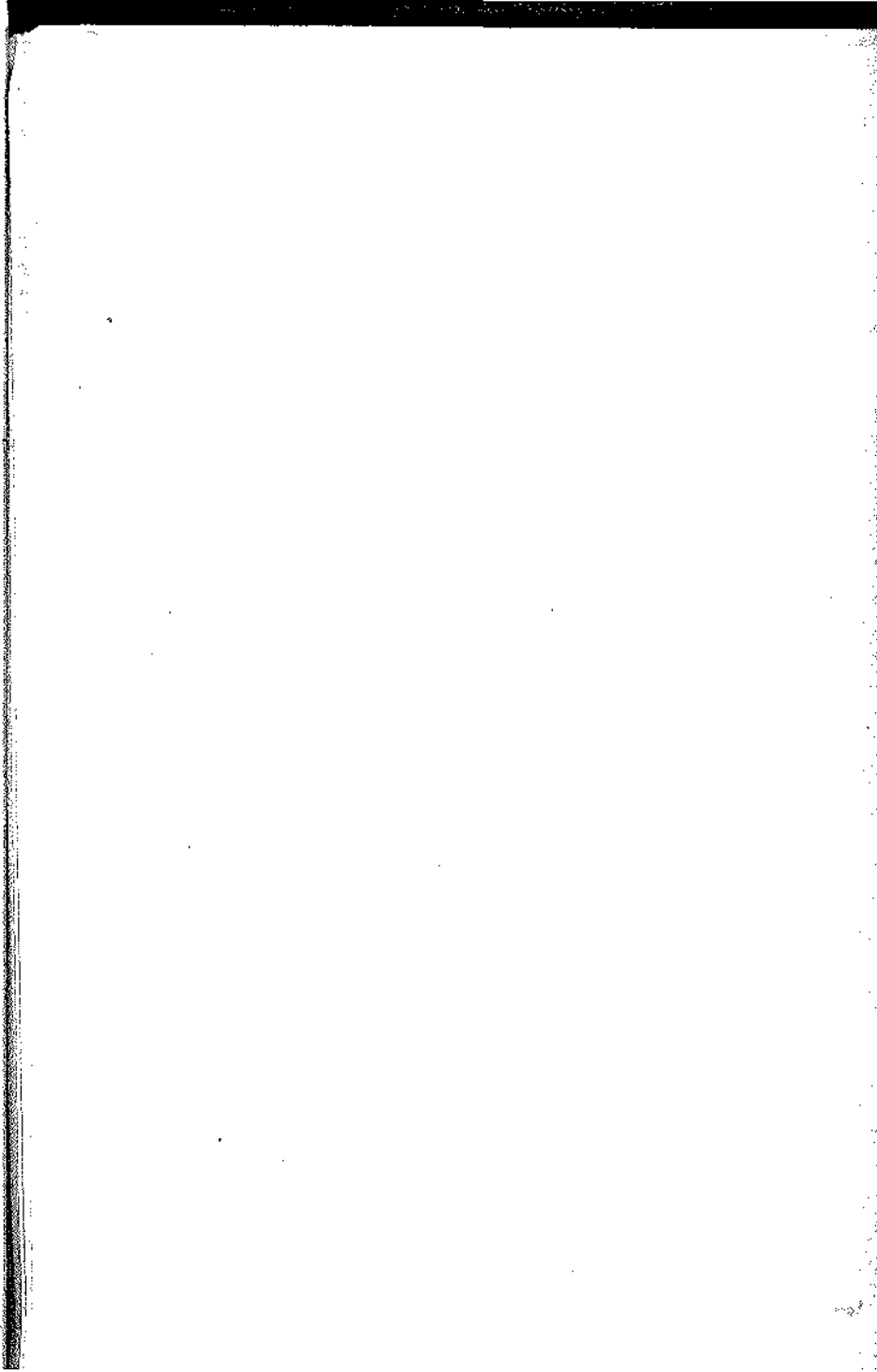
ности публичнаго образованія. Но въ то же время расширилась и область больныхъ мѣстъ.

Повторяю: всѣ три категоріи пестрыхъ людей одинаково вредны, каждая въ своей сферѣ; но люди двухъ послѣднихъ не могутъ не возбуждать сожалѣнія, хотя бы съ той точки зрѣнія, что, въ качествѣ рабовъ, они несутъ только иго аллестазіи, не пользуясь ся осязаемыми благами. Въ награду за эту отрицательную заслугу судъ исторіи пройдетъ о нихъ молчаніемъ.

На этомъ я заканчиваю «Пестрыя письма».

# НЕДОКОНЧЕННЫЯ БЕСѢДЫ.

(1873—1884 гг.).





## ГЛАВА I.

Пріятель мой Глузовъ— человекъ очень добрый, но въ то же время до крайности мрачный. Ни одной веселой мысли у него никогда не бываетъ, ни одного такъ-называемаго упованія. Еще будучи въ школѣ, онъ не питалъ ни малѣйшаго довѣрія ни къ профессорамъ, ни къ воспитателямъ. По выходѣ изъ школы, онъ перенесъ тотъ же безнадежный взглядъ и на болѣе обширную сферу жизни. Самое отрадное явленіе жизни, отъ котораго всѣ публицисты приходятъ въ умиленіе, онъ умѣетъ опципнать и сократить до такихъ размѣровъ, что въ результатѣ оказывается или выѣденное яйцо, или пакость. На самыя свѣтлыя чаянія онъ въ одно мгновеніе ока набрасываетъ такой сермяжный мундиръ, что просто хоть не уповай! Это до такой степени тяжело, что когда онъ приходитъ ко мнѣ, человѣку «упованій» по преимуществу, то мнѣ положительно становится не по себѣ.

И не то, чтобы Глузовъ былъ обойденъ судьбою, былъ бѣденъ или по службѣ терпѣлъ неудачи — нѣтъ, въ этомъ отношеніи онъ устроился очень удовлетворительно. А просто ропщеть—и все тутъ. Придетъ, сядетъ, задумается, обопрется головой объ руку и начнетъ черезъ часъ по ложкѣ задавать самыя неожиданныя, можно сказать, даже щекотливыя вопросы.—Куда дѣвалось наше молодое поколѣніе? Отчего въ настоящее время люди такъ охотно лишаютъ себя жизни? Отчего у насъ нѣтъ критики? Правда ли, что на-дняхъ должно послѣдовать, въ административномъ порядкѣ, окончательное рѣшеніе женскаго вопроса? Правда ли, что въ газетѣ «Чего изволите?» готовится рядъ статей объ учрежденіи единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? и т. д. По всѣмъ этимъ вопросамъ онъ разсуждаетъ пространно и озлобленно, и хотя я не разъ пытался поворотить его на путь упованій, но долженъ сознаться, что всѣ мои усилія въ этомъ смыслѣ остались тщетными.

Теперь я большею частью выслушиваю его молча и только в случаѣ крайней необходимости играю роль актера, подающаго реплику.

Но, несмотря на постоянно придиричивое настроеніе духа моего пріятеля, я считаю его человѣкомъ въ высшей степени для меня полезнымъ. Мы оба воспитывались въ одномъ и томъ же заведеніи, оба принадлежимъ къ школѣ сороковыхъ годовъ, но онъ пошелъ по пути озлобленія, а я—по пути упованія. Что-жъ! если намъ такъ нравится, то въ этомъ еще большой бѣды нѣтъ. Для меня даже удобно, что мы идемъ разными дорогами, потому что, при моемъ безнечномъ характерѣ, Глумовъ играетъ въ моей жизни роль *memento mori*, возвращающаго меня къ чувству дѣйствительности. Повидимому, мое существованіе идетъ вполне благополучно, ибо я постоянно живу въ сферѣ сладкой увѣренности, что со временемъ все разъяснится. Вчера я былъ въ Михайловскомъ театрѣ—видѣлъ «*La fille de m-me Angot*»; сегодня иду въ театръ Буффъ—увидю «*La fille de m-me Angot*»; завтра отправляюсь въ Маринскій театр—и опять возобновляю въ своей памяти «*La fille de m-me Angot*». Что можетъ быть благополучнѣе этого не разнообразнаго, но зато совершенно вѣрнаго благополучія! Нѣтъ у меня ни митинговъ, ни парламентовъ, зато есть «*La fille de m-me Angot*» въ трехъ интерпретаціяхъ; а быть-можетъ—на милость образца нѣтъ!—будетъ и «*Tumbale d'argent*». Хожу я безнечно по солнечной сторонѣ Невского проспекта и напѣваю:

*Pour qu'on admire tes appas,  
Il faut que les miens ne se montrent pas!*

—и вдругъ, несмотря на полнѣйшее благополучіе, чувствую, что мнѣ чего-то хочется. Чего именно хочется—этого, по безнечности характера, я и самъ съ достовѣрностью опредѣлить не могу. Можетъ-быть, хочется парламента (съ жиру какія фантази не забредутъ въ голову?); можетъ-быть, съѣсть чего-нибудь; можетъ-быть, опять послушать «*La fille de m-me Angot*» въ четвертой интерпретаціи; можетъ-быть, забратъся въ какую-нибудь канцелярскую комиссію и тамъ заснуть... Но заснуть...

...не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы,

а такъ, чтобъ и день, и ночь надо мною заливались канцелярскіе соловьи...

И вотъ, въ эту-то тяжкую минуту недоумѣній, когда я отъ нечего-дѣлать готовъ освѣдомиться у перваго встрѣч-

наго, на какой улицѣ помѣщается нашъ парламентъ, со мною равняется мой озлобленный другъ и озадачиваетъ меня вопросомъ:

— Да скоро ли же наконецъ начнется печатаніе ряда статей о единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи? Что они мямлять!

Услышавши этотъ вопросъ, я вдругъ возвращаюсь къ чувству дѣйствительности и начинаю понимать, чего мнѣ хочется. Да, говорю я себѣ, не нужно для моего благополучія ни парламентовъ, ни митинговъ, ни земскихъ собраній! А нужно только, чтобы газета «Чего изволите?» каждый день неунысительно твердила мнѣ, что Россія тогда только будетъ счастлива, когда вполнѣ исчерпается вопросъ о необходимости учрежденія единой и нераздѣльной желѣзнодорожной станціи.

«Господи!—думаю я:—сколько разнообразнѣйшихъ эпизодовъ заключаетъ въ себѣ этотъ, повидимому, бросовый вопросъ! У сколькихъ читателей можно будетъ вымотать душу, если умненько развивать его и не торопясь доводить до предѣловъ послѣдней ясности!»

Такъ вотъ объ этомъ-то пріятелѣ я и намѣреваюсь отъ времени до времени бесѣдовать, или, лучше сказать, не столько о немъ самомъ, сколько о тѣхъ мрачныхъ вопросахъ, которыми онъ имѣетъ обыкновеніе возвращать меня къ чувству дѣйствительности. Если обстоятельства позволяютъ, я постепенно переберу большую часть занимавшихъ насъ вопросовъ, а чтобы не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, начинаю теперь же съ одного изъ канитальнѣйшихъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

На-дняхъ приходитъ ко мнѣ Глумовъ, какъ-то особенно мрачно настроенный. Садится, подпираетъ рукой голову, закуриваетъ сигару и начинаетъ исподволь рычать.

— Чортъ знаетъ что дѣлается! Отвратительно становится жить!—разражается онъ наконецъ.

Я сижу какъ на иголкахъ, въ ожиданіи, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ огоршитъ меня.

— Правда ли, — говоритъ онъ наконецъ, съ трудомъ сдерживая свой гнѣвъ:—правда ли, что газета «Чего изволите?» предполагаетъ въ будущемъ году украшать столбцы полнымъ переводомъ заграничныхъ путеvodителей Бедкера?

— Послушай, мой другъ! Отчего у тебя всегда такіа унылыя мысли?

— Гм!.. унылым! почему же ты называешь их унылыми?

— Потому что это наконецъ Богъ знаетъ какой отчаянный скептицизмъ! Кто же когда-нибудь сомнѣвался, что подъ тою или другою формою, а «Чего изволите?» *неприменно* нанечатать полный переводъ *всѣхъ* «путеводителей» Бедекера!

— Такъ, стало-быть, правда?

— Столь же истинно, какъ и то, что вслѣдъ за Бедекеромъ предполагается перепечатать географію Ободовскаго со всѣми выпусками, сдѣланными цензурою въ первомъ ея изданіи!

Наступило нѣсколько минутъ тягостнѣйшаго молчанія, въ продолженіе котораго лицо моего друга дѣлалось все мрачнѣе и мрачнѣе. Ясно было, что эффектъ, произведенный на меня вопросомъ о Бедекерѣ, не удовлетворилъ его, и что онъ обдумываетъ средства такъ меня огоршить, чтобы я, какъ говорится, не усидѣлъ, не устоялъ. Наконецъ идея созрѣла. Онъ поднялся съ кресла и почти угрожающимъ тономъ обратился ко мнѣ:

— Ну, чертъ съ нимъ, съ Бедекеромъ! Нѣтъ, ты мнѣ вотъ что скажи: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

Переходъ былъ такъ неожиданъ, что по началу я не вдругъ собрался съ мыслями. Мнѣ показалось, что я не въ первый разъ слышу этотъ вопросъ, что и въ моей головѣ когда-то мелькало нѣчто подобное. Но отчего же вопросъ этотъ только мелькалъ и ни разу не нашелъ для себя ясной формулы? Оттого ли, что мысль моя слишкомъ робка и лѣнива для разработки подобныхъ сюжетовъ, или оттого, что самый вопросъ неоснователенъ и не имѣетъ никакихъ корней въ современной дѣйствительности?

Вскорѣ однако-жъ я оправился отъ смущенія. Обратившись къ своей памяти, я нашелъ въ ней такую безконечную вереницу молодыхъ адвокатовъ, молодыхъ земскихъ дѣятелей, молодыхъ бюрократовъ, молодыхъ фельетонистовъ (они же, по нуждѣ, и публицисты), что подозрительность моего друга-мизантропа показалась мнѣ просто смѣшнымъ парадоксомъ.

— А наши адвокаты?—началъ я.—Надѣюсь, что ты не будешь отрицать...

— Адвокаты, ты говоришь? Но развѣ ихъ можно называть представителями, а тѣмъ болѣе руководителями интеллигенціи? Люди, которые занимаются отниманіемъ чужой

собственности! Развѣ это свойственное «молодому поколѣнію» занятіе? Развѣ это занятіе вообще?

— Позволь! Ты сказать: люди, занимающіеся отниманіемъ чужой собственности! Но-моему, это не совѣтъ вѣрно. Есть, конечно, адвокаты, которые свою дѣятельность посвящаютъ преимущественно отниманію; но я увѣренъ, что есть многіе, которые занимаются не отниманіемъ, а только возвращеніемъ собственности отъ незаконнаго плательца къ законному!

— Во-первыхъ, разграничить это очень трудно, если не невозможно. Адвокатъ не исповѣдникъ, и самый честный изъ нихъ не можетъ поручиться, что ему извѣстна интимная сторона дѣла, а между тѣмъ она-то, собственно говоря, и составляетъ настоящую суть. Поэтому ни ты, ни онъ не въ состояніи опредѣлить, гдѣ кончается «отнятіе» и гдѣ начинается «возвращеніе». А во-вторыхъ, это даже и не существенно для меня. Отнимаетъ ли адвокатъ собственность, или возвращаетъ ее,—все-таки онъ занимается ремесломъ, къ которому молодое поколѣніе, взятое въ смыслѣ двигающей интеллигенціи, должно относиться совершенно безразлично.

— Но вѣдь если гражданскій судъ существуетъ, нельзя же его игнорировать, душа моя! Есть истицы, есть отвѣтчики—не можетъ же общество...

— Обойтись безъ адвокатовъ? Совершенно вѣрно. Общество нуждается въ самыхъ разнообразныхъ профессіяхъ, я это понимаю. Но вѣдь есть безчисленное множество молодыхъ сапожниковъ, молодыхъ слесарей, молодыхъ золотарей,—и никому однако-жъ не приходится въ голову считать ихъ къ «молодому поколѣнію»! А ежели говорить по совѣсти, такъ, пожалуй, эти почтенные ремесленники имѣютъ даже больше правъ на это названіе, нежели адвокаты. Ихъ мысль не изувѣчена, въ ихъ дѣйствіяхъ нѣтъ злости. Если сапожникъ шьетъ тебѣ сапоги, то онъ дѣлаетъ это безъ предвзятаго намѣренія устроить у тебя на ногахъ мозоли, между тѣмъ какъ большинство адвокатовъ именно одну мозоль и имѣетъ въ виду.

— Какъ хочешь, но это парадоксъ, mon cher!

— Очень возможно; но я того мнѣнія, что слово: «парадоксъ» глупые люди выдумали. Тѣ люди, которымъ не понутру истина и которые въ то же время не знаютъ, что возразить противъ нея. А, впрочемъ, парадоксъ такъ парадоксъ: меня, братъ, жалкими словами не огоронишь! По-

старается быть еще парадоксальнѣе. Хочешь ли ты, на-  
примѣръ, знать, какое старинное ремесло напоминаетъ мнѣ  
ремесло современныхъ русскихъ адвокатовъ?

— Любопытно...

— Ремесло непомнящихъ родства бродягъ. Эти люди ни-  
когда не могли опредѣлить себѣ заранѣе, гдѣ они прове-  
дутъ слѣдующій часъ или, по крайней мѣрѣ, слѣдующую  
ночь. Такъ точно и современный русскій адвокатъ: онъ  
никогда не можетъ сказать, въ какомъ вертепѣ проведетъ  
слѣдующій часъ своей жизни, въ вертепѣ ли «возвраще-  
нiя», или въ вертепѣ «отнималiя».

— И опять-таки парадоксъ! Блестящiй... но парадоксъ!

Мой другъ взглянулъ на меня удивленными глазами и  
потянулся за шляпой.

— Блестящiй... но парадоксъ!—передразнилъ онъ меня:—  
и откуда ты выражателься такъ выучился? Ему дѣло гово-  
рять, а онъ: «блестящiй... но парадоксъ!» И кто далъ  
тебѣ право думать, что я желаю блистать передъ тобой?  
Прощай.

— Постой! Зачѣмъ уходить! Поговоримъ. Ты знаешь,  
*du choc des opinions...*

— Оставь!

— Ну, хорошо, хорошо! Не буду! Но согласишься, что и  
между адвокатами... вѣдь не всѣ же чужую собственность...  
возвращаютъ! Я знаю очень многихъ, которые даже къ  
мысли о вознагражденiи относятся безъ особенной страст-  
ности, а просто увлечаются тонкостями ремесла. Юридниче-  
ская практика, душа моя, представляетъ такой разнообраз-  
ный мiръ, который самъ по себѣ можетъ увлечь... право,  
даже независимо отъ вознагражденiя!

— Ну?!

— Есть, братецъ, такiе юридическiе вопросы, разрѣ-  
шенiе которыхъ даже въ общечеловѣческомъ смыслѣ далеко  
не бесполезно. Напримѣръ, представь себѣ, что я обѣщаль  
тебѣ подарить что-нибудь—что означаетъ это дѣйствiе?  
Представляетъ ли оно обязательство, или только обольще-  
нiе? Въ законахъ-то, братъ, на этотъ счетъ бабушка на-  
двое сказала, а между тѣмъ для челоуѣчества... Какъ же  
тутъ не увлечься... даже помимо мысли о предстоящемъ  
вознагражденiи?

— А я, стало-быть, долженъ разыгрывать роль *anima  
viva*, на которой ты будешь упражнять свою юридическую  
любопытность? Прощай.

— Да постои же. Ну, пожалуй, уступлю тебѣ адвокатовъ. Коли хочешь, уступлю еще бюрократовъ...

— Слава Богу, еще на двугривенный уступил!

— Ну, да, уступаю тебѣ и адвокатовъ, и бюрократовъ! *Que diable!* Въ самомъ дѣлѣ, какое же это «молодое поколѣние»? Какую двигающую мысль они собой представляют! Одни исполняютъ предназначенія начальства, другіе находятъ болѣе выгоднымъ исполнять предназначенія своихъ клиентов! Да, я согласенъ: тутъ даже интеллигенція вѣтъ никакой! Но что ты скажешь, напримѣръ, о нашихъ земскихъ дѣятеляхъ?

— Это о тѣхъ, что ли, что въ земскихъ-то собраніяхъ гудятъ?

— Гудятъ? — опять-таки рѣзкое выраженіе, и ничего больше. Гудятъ или не гудятъ—это вѣдь безразлично, мой другъ! Для насъ важно одно: сила это или не сила?

— Сила... комариная!

— Комариная... позволь! Но вѣдь и комаръ иногда можетъ... вспомни-ка басню о комарѣ и львѣ!

— Такъ вѣдь тотъ комаръ умный былъ, онъ въ самую мягкость залѣзъ, а наши земскіе комары и мѣста-то такіа излюбилл, откуда ихъ всего удобнѣе смахнуть можно! Смахнулъ—и вѣтъ его! Да и какое это «молодое поколѣние»? Я, братъ, прошлымъ лѣтомъ въ «своихъ мѣстахъ» былъ, такъ на земское собраніе взглянуть полюбопытствовалъ: все подъ рядъ свое меринье сидитъ.

— Ну, вотъ видишь, какъ же тебѣ не сказать, что ты парадоксы говоришь! Свое меринье!.. Но развѣ у стариковъ не могутъ быть молодыя мысли?

— Но Глузовъ даже не отвѣтилъ на мой вопросъ. Онъ ходилъ взадъ и впередъ по кабинету, хмура брови и что-то вполголоса нагѣвая. По временамъ онъ останавливался противъ меня, вперялъ въ меня мутно-сосредоточенный взглядъ и какъ бы машинально произносилъ:

— Душка!

Однако я далеко не сознавалъ себя побѣжденнымъ. Мнѣ даже показалось нѣсколько обиднымъ, что онъ такъ легко относится къ своимъ мнѣніямъ. Душка! что это за слово! развѣ это опроверженіе! И я пустилъ ему въ упоръ:

— Такъ и земскіе дѣятели не угодили тебѣ! Отлично! Люди, которые такъ охотно сами себя облагаютъ сборами... которые такъ смѣло выразились по вопросу о всеобщей воинской повинности... Это не интеллигенція! И не забудь,

что независимо отъ сейчасъ названныхъ вопросовъ у нихъ на плечахъ всѣ мосты и перевозки! И это не интеллигенція... прекрасно! Что же ты послѣ этого скажешь о нашей новой литературѣ? Надѣюсь...

— Надѣйся!

— Душа моя, это не отвѣтъ! Если ты хочешь диспутировать, то диспутируй серьезно! Прежде всего надо уважать мнѣнія своего противника!

— Хорошо. Хоть я и не согласенъ насчетъ «уваженія» (въѣдъ уваженіе достается само собой, а не предписывается), но пусть на этотъ разъ будетъ по-твоему. Давай диспутировать. Хочешь ли ты знать, что такое твоя новая литература?

— Желая знать.

— Изволь. Это средней руки коготка, которая утратила даже сознание, что женщипѣ легкаго поведенія больше, нежели всякой другой, необходимо соблюдать опрятность.

— Ого-го!

— Ты не думай однако-жь, что я говорю это въ видахъ защиты старой литературы нашей. Я знаю, что литература у насъ во всѣ времена занималась гимнастикой недомолвокъ и иззаурительнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Но у старой литературы была извѣстная опрятность, безъ которой податливая женщина дѣлается просто отвратительною. Она умѣла во-время остановиться, умѣла видѣть въ читателѣ честнаго человѣка. А нынче даже руководящій принципъ опрятности утратилъ свою обязательность.

— И онять-таки пара...— заикнулся-было я, но, вспомнивъ, что употребленіе слова «парадоксъ» строгаише воспрещено, продолжалъ: — подумай однако-жь, мой другъ, не отзывается ли такой взглядъ на нашу новую литературу слишкомъ неключительнымъ ригоризмомъ? Воля твоя, а это ригоризмъ!

— И «парадоксъ», и «ригоризмъ» — два родные братца. Впрочемъ, это я только къ слову, и если ты окончательно не можешь безъ того обойтись, то сдѣлай милость, уснащай свою рѣчь ригоризмами, парадоксами и вообще всеми пустошорожными выраженіями, которыми такъ богатъ пѣнокснимательный лексиконъ. Затѣмъ прошу тебя понять мою мысль. Я самъ не цепенеленъ, и ежели мнѣ приходится выбирать между славословіемъ и сквернословіемъ — я всегда предпочту послѣднее. Что дѣлать, таковъ, братецъ, духъ



русского языка! Сквернословіе образиѣе, а образность — слабость моя. Поэтому я не о виѣшней опрятности говорю, которая можетъ нравиться и не нравиться, по которая ни въ какомъ случаѣ не задѣваетъ внутренняго человѣка. Я говорю о той внутренней опрятности, которая заставляетъ человѣка если не бороться съ нечистоплотными мыслями, то, по крайней мѣрѣ, не такъ свободно выбалтываться!

— Примѣровъ, душа моя, примѣровъ!

— Примѣровъ? А какой афоризмъ выработала новѣйшая русская литература, въ качествѣ руководящаго жизненнаго принципа? Этотъ афоризмъ: «наше время—не время широкихъ задачъ». Развѣ это не довольно погано? Съ какимъ словомъ обращалась литература къ нашему «молодому поколѣнію»?..

— Вотъ видишь, ты, стало-быть, самъ признаешь, что у насъ есть молодое поколѣніе?—перебилъ я.

— Было, да сплыло... по не перебивай; объ этомъ рѣчь еще впереди... Итакъ: съ какимъ словомъ обращалась литература къ «молодому поколѣнію»? Съ словомъ глумленія и много-много съ словомъ дряблага соболѣзнованія! Укажи мнѣ на то увлеченіе, которое не было бы въ нашей литературѣ забрызгано грязью и не возведено въ квадраты! Скажи, когда въ другое время литература, сколько-нибудь опрятная, позволила бы себѣ остановиться на мысли, что жизнь есть непрерывная игра въ бирюльки, и кто больше бирюлекъ вытащитъ, тотъ больше и заслужитъ передъ любезнымъ отечествомъ. «Наше время—не время широкихъ задачъ!» И это говорится въ такую минуту, когда ни широкимъ, ни какимъ задачамъ доступа въ литературу нѣтъ! Растолкуй, что это такое: отупѣлость, подвизиваніе или просто глупость?

— Но вѣдь нельзя же, чертъ побери, запрещать людямъ высказывать свои убѣжденія! Если мое убѣжденіе таково, что наше время—не время широкихъ задачъ, то почему же я, изъ-за какихъ-то ложныхъ опасній, стану воздерживаться и насиловать себя?

— Да по тому же закону приличія, по которому ты воздерживаешься отъ нѣкоторыхъ естественныхъ отиравленій въ публичныхъ мѣстахъ. Но если таково твое *убѣжденіе*...

— Постой. Я совсѣмъ не говорю, что это мое убѣжденіе. Напротивъ, я самъ всегда говорилъ, что приведенная тобой фраза чересчуръ уже рѣшительна. Я сознаюсь, что можно бы и другую форму употребить... а пожалуй даже

и никакой формы не употреблять... Но вѣдь ежели отбросить форму, ежели взглянуть только на сущность... согласитесь, qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci!

Но онъ опять оставилъ мое возраженіе безъ отвѣта и молча ходилъ по кабинету, такъ что я имѣлъ нелѣпный видъ челоуѣка, говорящаго «мысли вслухъ», адресуемая въ пространство. Можетъ-быть, его разсердила моя заключительная французская фраза. Онъ всегда говорилъ мнѣ, что я съ своими французскими фразами, пересыпанными «парадоксами», «ригоризмами» и проч., представляю счастливое сочетаніе кокодеза и пѣпкоснимателя. Какъ бы то ни было, но черезъ минуту послѣ того онъ вновь остановился противъ меня, вперилъ въ меня не то безпредметный, не то лукавый взглядъ и, ущипнувъ меня за обѣ щеки (что дѣлать! ради стараго товарищества, я даже эту фамиллярность прощаю ему), произнесъ:

— Душка!

Потомъ, проскакавъ на одной ножкѣ изъ одного конца въ другой (что было въ немъ признакомъ рѣдкаго прилива веселости), поддѣвлялъ:

Ахъ! не могу я не сознаться!  
Но и признаться не могу!

— Въ этихъ словахъ — вся суть современной русской литературы! — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Тутъ есть все: и малодушіе, исправленное малоуміемъ, и малоуміе, ищущее для себя смягчающихъ обстоятельствъ въ малодушіи!

— Но развѣ ты не знаешь условій нашей литературы. Развѣ не ужаснѣйшее это положеніе: надобно говорить, а говорить нельзя!

— Или, другими словами: хоть тресни, а говори! Прекрасно. Но въ такомъ случаѣ будь же опрятенъ. Не забѣгай, не заносчивай! Не гаркай во все горло афоризмовъ, которые ничего, даже состраданія въ литературныхъ мещенатахъ, возбудить не могутъ!

— Согласись однако-жь, что при необходимости говорить ежедневно не мудрено и провратъся!

— У кого есть въ головѣ царь, кто выработалъ себѣ извѣстный взглядъ на общность жизненныхъ явленій, тотъ такимъ капитальнымъ образомъ не проврется. Но довольно объ литературѣ. Резюмируемъ нашъ споръ. Изъ трехъ образчиковъ современнаго молодого поколѣнія, на которые ты указалъ, одинъ занимается отниманіемъ чужой собствен-

ности; другіе представляют собой принципъ безсодержательнаго гудѣнія и комариной силы; третьи, наконецъ, провозглашаютъ: не теропитесь! ждите разъясненій! наше время—не время широкихъ задачъ! Гдѣ же молодое-то поколѣніе?

На этотъ разъ задумался и я. Во мнѣ происходила борьба. Съ одной стороны, слова этого лишеннаго упованій человѣка дѣйствовали на меня заразительно; съ другой—я никакъ не могъ побѣдить въ себѣ мысли: какъ же это такъ, каждый день я гуляю по Невскому и вижу пропасть молодыхъ людей всевозможныхъ оружіи,—и вдругъ вопросъ: куда дѣвалось наше молодое поколѣніе?

— Душа моя,—сказалъ я тоскливо:—да сооризи же ты, сдѣлай милость! Вѣдь если бы не существовало молодого поколѣнія, не прекратился ли бы человѣчскій родъ?!

— Чудакъ, развѣ я въ жеребичьемъ смыслѣ съ тобой говорю!—отвѣтилъ онъ мнѣ съ нетерпѣніемъ.—Я вѣдь знаю, что въ *производителяхъ* нигдѣ никогда недостатка не бывало!

Опять горькое сомнѣніе! Ужели вся эта молодежь, гремящая саблями о тротуары, наполняющая воплями наши суды, разливающая на всю Россію потокъ циркулярвъ, увлекающаяся вопросами о дареніи, объ единоутробіи, объ истинныхъ признакахъ излома, произносящая въ земскихъ собраніяхъ угнетающія рѣчи о неизбѣжности мостовъ и переправъ, добросовѣстно переживающая въ литературѣ вопросы о необходимости ожидать дальнѣйшихъ разъясненій—ужели все это только производители, способные лишь на то, чтобы производить другихъ такихъ же производителей?

Если это такъ, если Глузовъ говоритъ правду, то что же ожидаетъ насъ впереди? Не должна ли, при подобныхъ условіяхъ, самая исторія прекратить теченіе? Положимъ, что наше, то-есть нынѣ дѣйствующее молодое поколѣніе—отифгое; допустимъ, что за него, въ смыслѣ двигающей силы, нельзя дать поль-гроша, но въ такомъ случаѣ какъ же мы живемъ? Вопросы о неизбѣжности мостовъ и перевозовъ, о необходимости ожидать разъясненій—все это вопросы безснорно полезныя, но развѣ ими человѣчество живетъ и движется, развѣ они составляютъ содержание исторіи? Должна же быть гдѣ-нибудь эта необходимая двигающая сила! Быть-можетъ, она скрывается въ школахъ; быть-можетъ, разъединенная, но умудренная опытомъ, она продолжаетъ дѣлю движенія, измѣнивъ лишь обстановку его и

набросивъ на него, до поры до времени, пелену непроницаемости?

— Есть у насъ наконецъ цѣлый міръ учащихся!— рискнуть замѣтить я.

— Да, есть; есть учащіе, должны быть и учащіяся.

— Неужели же ты и ихъ не причисляешь къ молодому поколѣнію?

— Вотъ видишь ли, любезный другъ, я имѣю привычку говорить только о томъ, что доподлинно знаю, а развѣ можно что-нибудь знать объ учащихся! Учащіяся поколѣніе находится вѣдь арены исторической жизни; въ массѣ это—матеріалъ, на которомъ такъ или иначе можетъ отрапиться духъ современности, по не агентъ этого духа. Взгляни на кадановъ-тѣксоснимателей современной литературы, вѣдь и они были когда-то учащимся поколѣніемъ и даже, пожалуй, горѣли энтузіазмомъ къ Грановскому,—а что изъ нихъ вышло?

— Но если я не ошибаюсь, наша литература именно въ учащихся и видѣла «молодое поколѣніе», когда указывала на нѣкоторыя особенности современной русской жизни?

— Да вѣдь это, братецъ, дѣлалось для того, чтобы смѣшнее вышло. Въ послѣднее время наша литература поставила себѣ новую задачу: изобразить въ смѣшномъ видѣ все цѣли, къ которымъ стремилась передовая мысль. Какимъ образомъ достигъ этого? Заставить начальника отдѣленія разсуждать «о пицѣ» по Молемотту и «происхожденіи видовъ» по Дарвину—пожалуй, выйдетъ и смѣшно, но смѣхъ надъ такими «особами» нежелателенъ. Заставить дѣйствительнаго представителя молодого поколѣнія о тѣхъ же предметахъ бесѣдовать—того гляди, не будетъ смѣшно. Стало-быть, лучше всего взять подростка и предоставить ему излагать своимъ родителямъ, что они отъ обезьяны происходятъ. И проиэительно, и смѣшно. Вѣдь я же говорилъ тебѣ, что новѣйшая русская литература есть средней руки кокетка, которая позабыла, что для нея прежде всего обязательенъ законъ чистоплотности!

— Однако нельзя же предполагать, чтобы литература такъ нагло лгала. Вѣроятно, было же нѣчто подобное, если даже наша печутная литература о томъ засвидѣтельствовала?

— Еще бы не было! Дѣло дѣтское. Но вѣдь подобныя факты доказываютъ только одно: что въ обществѣ въ данный моментъ господствуетъ извѣстное направление. Если

въ обществѣ царствуетъ вкусъ къ военнымъ упражненіямъ—дѣти маршируютъ, играютъ въ солдатки и бьютъ въ барабаны; если общество озабочено только огражденіемъ общественной безопасности—дѣти фискалятъ, наущиваютъ и т. п.; если въ общество проникаетъ стремленіе проверить авторитеты, дотолѣ руководившіе имъ,—дѣти начинаютъ объяснять родителямъ, что они происходятъ отъ обезьянъ. Это вопросъ педагогическій, а не политическій; а потому тотъ, кто хочетъ рисовать общество, а не карикатуру на него, долженъ брать предметомъ для своихъ изслѣдованій взрослыхъ, а не дѣтей.

Такимъ образомъ и эта попытка отстоять существованіе «молодого поколѣнія», въ качествѣ дѣйствующей, двигающей силы, рушилась. Нѣтъ молодого поколѣнія. Есть адвокаты, есть земскіе дѣятели, есть литераторы, сапожники, золотари, производители—все, что угодно, исключая «молодого поколѣнія»!

— Да вѣдь ты сейчасъ же самъ обмолвился, что оно было, это искомое «молодое поколѣніе»?—обратился я къ Глумову.

— Не «обмолвился», а говорилъ утвердительно, и теперь утвердительно повторяю: было!

— Гдѣ же оно?

— Это, братъ, исторія длинная и горестная. Можетъ-быть, разскажу ее тебѣ—но *въ другой разъ*...

## ГЛАВА II.

Первый часъ утра; вслѣдъ за сильнымъ звонкомъ вбѣгаетъ въ мой кабинетъ Глумовъ, на лицѣ котораго я читаю, что онъ намѣренъ въ чемъ-то поймать или уличить меня.

Наканунѣ мы съ нимъ такъ-поспорили. По обыкновенію, онъ предложилъ загадку: отчего умственный уровень упалъ вездѣ, во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, исключая желѣзнодорожной?—и по обыкновенію же я отвѣчалъ, что прежде надобно еще доказать пониженіе умственнаго уровня, а потомъ ужъ искать причину, такъ какъ, по мнѣнію моему, умственный уровень не только не понижился, но съ Божьею помощью идетъ все въ гору и въ гору. Въ подтвержденіе я сослался на музыку и ука-

заль на блестящую плеяду молодых русских композиторовъ, на ея стремленіе осмыслить міръ звуковъ, приспособить его къ точному выраженію разнообразнѣйшихъ жизненныхъ функций, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ и кончая самыми сложными.

— Прежде, — говорилъ я: — музыка выражала только неясныя ощущенія печали и радости, да и тутъ все зависѣло не столько отъ содержанія звуковыхъ сочетаній, сколько отъ замедленія или ускоренія темпа. Теперь же найдены такія звуковыя сочетанія, въ которыхъ можно уложить даже полемику между Съеновымъ и Кавелинымъ. И ты ни разу не ошибешься опредѣлить: когда полемизируетъ Съеновъ и когда — Кавелинъ.

— То-есть, тебѣ скажетъ Неуважай-Корыто: вотъ это поетъ Съеновъ, а это — Кавелинъ, — и ты долженъ вѣрить.

— Нѣтъ, не Неуважай-Корыто, а ты самъ поймешь, что Съеновъ — *basso profundo*, а Кавелинъ — *tenore di grazia*.

— Да въдь и Катковъ, братецъ, *basso profundo*!

— Ну, нѣтъ, Катковъ — это симфонія особаго рода!

Тѣмъ бы, можетъ-быть, разговоръ нашъ и кончился, но Глузовъ вдругъ заиѣлъ. Сначала онъ прогремѣлъ коронаціонный маршъ изъ Мейсберера «Пророка», а вслѣдъ за тѣмъ проурчалъ нѣсколько тактовъ изъ *Vorspiel*'я къ «Каменному гостю». Предѣлавши это, онъ какъ-то злорадно взглянулъ на меня.

Признаюсь: при всемъ несовершенствѣ голосовыхъ средствъ Глузова, разница была такъ ощутительна, что мнѣ сдѣлалось неловко. Дѣйствительно, думалось мнѣ, есть въ этомъ *Vorspiel*'ѣ что-то такое, что скорѣе говоритъ о «посѣщеніи города Чебоксаръ холерою», нежели о сказочной Севильѣ и о той теплой, благоухающей почвѣ, среди которой такъ загадочно и случайно подкашивается жизненная мощь Донъ-Жуана.

— Да ты Неуважай-Корыто знаешь? — вдругъ спросилъ меня Глузовъ.

— Немного знаю, а что?

— Ладно. Завтра скажу.

Онъ ушелъ, не произнеся больше ни слова. Теперь онъ лвился.

— Идемъ! — сказалъ онъ, злорадно потирая руки.

— Куда? зачѣмъ?

— Говорю: идемъ!

Черезъ четверть часа мы были въ квартирѣ Неуважай-Корыта. Я съ любопытствомъ осматривался кругомъ, ибо здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, разрабатывался типъ той новой музыки, которой предстояло изобразить полемику Съченова съ Кавелинымъ. Лично Неуважай-Корыто не былъ композиторомъ (онъ, впрочемъ, сочинилъ музыкальную теорему, подъ названіемъ: «Похвала равнобедренному треугольнику»), но былъ подстрекателемъ и укрывателемъ. Онъ осуществлялъ собой критика-реформатора, котораго день и ночь преслѣдовала мысль объ упраздненіи слова и о замѣнѣ его инструментальною и вокальною музыкой. Мы застали его въ халатѣ, пробующимъ какой-то невиданный инструментъ, купленный съ аукціона въ частномъ ломбардѣ (впослѣдствіи это оказалась балалайка, на которой нѣкогда игралъ Микла Селяниновичъ). Это былъ длинный человекъ, съ длиннымъ лицомъ, длиннымъ носомъ, длинными волосами, прямыми прядями падавшими на длинную шею, длинными руками, длинными пальцами и длинными ногами. Халатъ у него былъ длинный, охваченный кругомъ длиннымъ поясомъ съ длинными кистями. Это до такой степени было поразительно, что самый кабинетъ его и все, что въ немъ было, казалось необыкновенно длиннымъ.

— Вотъ тебѣ, Никифоръ Гаврилычъ, новый агентъ!— представилъ меня Глумовъ.

— Очень радъ! очень радъ! Мы немного знакомы, по на почвѣ музыки покуда еще не встрѣчались... позвольте привѣтствовать!

Онъ протянулъ мнѣ обѣ свои длинныя руки и такъ сказалъ мнѣ въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, что мнѣ показалось, словно я попалъ въ передѣлъ къ самому «Каменному гостю».

— И скажу вамъ,—продолжалъ онъ:—что вы покаловали очень кетати, потому что Василій Иванычъ здѣсь.

— Василій Иванычъ? кто же такой этотъ Василій Иванычъ?—легкомысленно спросилъ я.

Неуважай-Корыто сначала удивился и даже откинулся корпусомъ назадъ, но потомъ вспомнилъ нѣчто, ударилъ себя по лбу и снисходительно улыбнулся.

— Да! что-жъ я!—воскликнулъ онъ:—я и забылъ, что вы новичокъ! Вы знаете Мусоргскаго, Римскаго-Корсакова, Кюи—и думаете, что съ васъ этого будетъ! Но мы, ба-

тенька,—совѣтъ другое дѣло! Мы такъ легко не удовлетворяемся! Мы не отдыхаемъ-съ! Мы ищемъ—и находимъ-съ! И находимъ.—Василья Иваныча-съ!

Сказавши это, онъ троекратно вздрогнулъ отъ наслажденія и началъ длинными погами шагать по длинному кабинету, ежеминутно длинными руками отбрасывая назадъ длинные волосы.

— Да-съ, — продолжать онъ:—Василій Иванычъ—это, доложу вамъ, своего рода аэролитъ-съ! Бываетъ это! Бываетъ, что вокругъ царствуетъ полнѣйшее и гнуснѣйшее затишь—и вдругъ словно камнемъ по лбу хватить! Это—Василій Иванычъ!

— Да что за Василій Иванычъ такой? откуда ты его выкопалъ?—заинтересовался Глузовъ.

— Ну, кѣтъ! Это покуда еще секретъ! Онъ у насъ еще подъ спудомъ! Вотъ мы его сначала выдержимъ, вышпилюемъ, а потомъ и отдадимъ Ларошамъ на поруганіе!

— По крайней мѣрѣ покажешь ты его намъ?

— Нѣтъ, и не покажу. Услышать вы его услышите, а видѣть—ни-ни. Вотъ онъ у меня здѣсь, въ этой комнатѣ, рядомъ. Съ полчаса тому назадъ онъ позавтракалъ и теперь спитъ. Вообще онъ ведетъ удивительно правильную жизнь: половину дня бѣтъ и спитъ, другую половину на фортепьяно играетъ. Представьте себѣ, онъ никогда никакой книги не читалъ, кромѣ моихъ критическихъ статей да еще полного собранія либретто, изданнаго книгопродавцемъ Вольфомъ!

— Но ежели онъ ничего не читалъ, то вѣдь умственный его кругозоръ...

— Долженъ быть ограниченъ, хочешь ты сказать? Я совершенно съ тобою согласенъ. Но мы нашли его такъ недавно, что ничего еще не успѣли сдѣлать для умственного его развитія; это придетъ со временемъ. Впрочемъ, дѣло не въ томъ, откуда онъ почерпаетъ содержаніе для своего творчества, а въ томъ, что у него есть это содержаніе, и онъ относится къ нему вполнѣ правильно. Жизнь цѣлой вселенной есть не что иное, какъ безконечный контрапунктъ—вотъ исходная точка. До сихъ поръ онъ поднималъ только одинъ край завѣсы, онъ наблюдалъ только простыя и несложныя явленія, но надобно видѣть, съ какою изумительною осязаемостью онъ ихъ воспроизвелъ! Засимъ, когда онъ отъ простыхъ задачъ постепенно будетъ переходить къ болѣе и болѣе сложнымъ, то самъ собою придетъ



и къ воспроизведенію безконечнаго: это ужъ наша забота, какъ направить его!

При этихъ словахъ онъ инстинктивно оттопырилъ губы и испустилъ звукъ въ родѣ трубнаго. Вѣроятно, подѣвліемъ идеи безконечнаго онъ вспомнилъ о страшномъ судѣ.

— Онъ скоро проснется! Вы услышите его!—продолжалъ онъ послѣ кратковременной остановки, подойдя къ спущенной портьерѣ и заглядывая въ сосѣднюю комнату.— Вотъ онъ уже плюнулъ—вѣрный знакъ, что скоро проснется!

И дѣйствительно, не прошло минуты, какъ мы услышали такое чудовищное званіе, что я разомъ перенесся воображеніемъ въ зало Маринскаго театра въ одно изъ представлений «Псковитянки».

— Каковъ подишь зѣвоты!—воскликнулъ Неуважай-Корыто и вдругъ ударилъ себя по лбу:—ба! идея!

Онъ подбѣжалъ къ письменному столу и что-то вѣско­ро написалъ на листѣ бумаги. Потомъ онъ взялъ этотъ листъ и поднесъ его къ своимъ глазамъ. Я прочиталъ: «Симфоническая рандодія (A-dur): чиновникъ департамента разныхъ податей и сборовъ, зѣвующій надъ чтеніемъ музыкальнаго обозрѣнія г. Лароша».

— Департаментъ разныхъ податей и сборовъ уже не существуетъ,—сказалъ я:—онъ распался на-двое: на департаментъ окладныхъ сборовъ и департаментъ неокладныхъ сборовъ.

— Благодарю васъ, ваше замѣчаніе важнѣе, нежели вы полагаете! Мы обязаны изображать въ звуковыхъ сочетаніяхъ не только мысли и ощущенія, но и самую обстановку, среди которой они происходятъ, не исключая даже цвѣта и формы вицмундировъ. Все должно быть слажено такъ, чтобъ никто не могъ уличить насъ въ клеветѣ.

Въ это мгновеніе изъ сосѣдней комнаты донесся новый звукъ: Василий Ивановичъ отдувался.

— Опять идея!—воскликнулъ Неуважай-Корыто, снова подбѣгая къ письменному столу.

Я прочиталъ: «Симфоническая идиллія (F-moll): Ной, послѣ извѣстнаго злоупотребленія винограднымъ сокомъ, просыпается и не понимаетъ, что вокругъ него происходитъ».

— Это для Василия Ивановича?

— Да, для него. Разумѣется, постепенно. Сначала онъ обрабатываетъ тему о чиновникѣ департамента окладныхъ

оборотов, а потом и къ Ною приступить. Кстати, не забыть бы, надо купить для Василя Ивановича Священную Исторію...

— Ты, братъ, съ картинками!—посоветовала Глузовъ.

— Господи! прости наши прегрѣшенія!—вдругъ раздалось въ сосѣдней комнатѣ.

— Слышите! слышите! кажется, онъ говоритъ!—какъ-то испуганно засуетился Неуважай-Корыто.

— Да; а что?

— Онъ никогда... никогда не говоритъ! Это новости! Василя Иванычъ! батюшка! что съ вами?

— Му-у-у!

— Вотъ это—такъ! Онъ всегда выражаетъ свои ощущенія простыми звуками! Иногда это очень оригинально выходитъ. Однажды онъ вдругъ крикнулъ: «ЫЫ!»—и что бы вы думали: сейчасъ же послѣ этого съѣлъ за фортепяно и импровизировалъ свою безсмертную буффонаду: «Извозчикъ, въ темную ночь отыскивающій потерянный кнутъ!»

— И ты такъ-таки и не покажешь намъ автора этой безсмертной буффонады?—упрекнулъ Глузовъ:—Господи! хоть бы глазкомъ на него взглянуть!

— Нельзя, душа моя! Я тебѣ говорю: онъ подъ сундукъ у насъ! Пускай онъ тамъ, въ той комнатѣ, для насъ поиграетъ, а мы его отсюда послушаемъ! Василя Иванычъ!—крикнулъ онъ:—пришли господа, которые желаютъ васъ послушать! Сыграйте, голубчики! И знаете ли что: сыграйте-ка сначала «Плеленку»!

— Го-го-го!—откликнулся Василя Иванычъ.

Мы съѣли всѣ трое на диванѣ: Неуважай-Корыто по секрету, мы съ Глузовымъ—по бокамъ. Раздался аккордъ.

— Слушайте! слушайте! динканти! замѣйте работу динканти!—шепнулъ намъ Неуважай-Корыто, сдерживая дыханіе.

Дѣйствительно, динканти работали сильно; Василя Иванычъ необыкновенно быстро перебиралъ пальцами по клавишамъ верхняго регистра, перебиралъ-перебиралъ—и вдругъ простукала нѣсколько нотъ въ басу.

— Это—няня Пафнутьевна!—шепотомъ объяснилъ Неуважай-Корыто.

Опять динканти; щебечуть, взвизгиваютъ и все словно на одномъ мѣстѣ толкутся, и вдругъ—бумъ!—опять няня Пафнутьевна! Бумъ-бумъ-бумъ!—и слова динканти! Защебетали, застрекотали—бумъ!—и затѣмъ хаосъ... Руки за-

бѣгали по всей клавиатурѣ, отъ верхняго конца до нижняго—и наоборотъ...

— Поленька поссорилась съ Пафнутьевой...

Пауза. Неуважай-Корыто, не сводя глазъ съ портьеры, хватается насъ обѣими руками за рукава сюртуковъ, какъ бы желаетъ воспрепятствовать, чтобы мы не ушли. Глузовъ открываетъ ротъ, чтобы сказать, но Неуважай-Корыто мгновенно закрываетъ ему ротъ рукою и дѣлаетъ головою жестъ не то умоляющій, не то приказательный. Пауза длится пять минутъ, послѣ чего игра возобновляется. Въ дѣлѣ принимаютъ участіе уже только двѣ самыя верхнія октавы, на пространствѣ которыхъ пальцы Василя Ивановича безъ усталы переливаются изъ пустого въ порожнее; темпъ постепенно замедляется и впадаетъ въ арпеджіо.

— Поленька просить прощенія!—чуть дыша, произносить Неуважай-Корыто.

Бумъ!—Пафнутьевна не прощаетъ! Звукъ сливаются; дишканты, басы, средній регистръ—все смѣшалось. Руки Василя Ивановича аккордами забѣгали по клавишамъ... бацъ!—кто-то всѣмъ тѣломъ сѣлъ на клавиатуру и извлекъ...

— Это примиреніе!—воскликнуть Неуважай-Корыто и поднявъ такой громъ ладонями, что можно было подумать, что онъ у него косямя.

— Каково?—обратился онъ къ намъ, когда въ сосѣдней комнатѣ водворилась тишина.

— Хорошо, братецъ!—отвѣтилъ Глузовъ:—только вотъ чего я не понимаю: почему это «Поленька», а не «Наденька»?

— Глузовъ! ты ничего не смыслишь! ты не понимаешь даже, что у Наденьки совсѣмъ другой музыкальный образъ, нежели у Поленьки! Наденька мечтательна и сентиментальна, Поленька—бойка и игрива. Наденька никогда не ссорится съ Пафнутьевой, Поленька—на каждомъ шагу! Наденька—F-moll, Поленька—C-dur. Неужели наконецъ это не ясно?

— Ясно-то ясно, а все-таки...

— Глузовъ! ты профанъ! Василя Ивановича душенька! Слышите, Глузовъ утверждаетъ, что это «Наденька», а не «Поленька»!

— Цыркы!

— Вотъ видишь—онъ разсердился! И онъ не будетъ больше играть! Нельзя такъ, душа моя! Вѣдь онъ художникъ, онъ очень на эти вещи чувствителенъ!

— Цыръть, цыръть, цыръть!—раздавалось за портьерой.

— Теперь—кончено, теперь—онъ ни за что не станетъ играть! А кто виноватъ? Нельзя такъ, мой другъ! Ежели ты ничего не смыслишь въ музыкѣ, то это тѣмъ меньше даетъ тебѣ правъ оскорблять человѣка... художника!

— Господи! да развѣ я назѣренно? развѣ я знаю ваши обычаи? Ты бы сказалъ, что сомнѣній не допускается! Хорошо, я у него прощенія попрошу?

— Хорошо, только это еще вопросъ! Онъ—художникъ, а для художника раскаянье—еще не все! Не въ томъ дѣло, что ты просишь забыть о своей опрочетчивости, а въ томъ, что тутъ есть прискорбный фактъ, котораго уничтожить нельзя! Это не какой-нибудь Мендельсонъ-Вартольдн, у котораго («Гебриды») нельзя понять, море ли плещеть, или пьяные матросы покачиваются (однако и у него есть уже представленіе о «качкѣ»!—прибавилъ онъ, приложивъ длинный палецъ къ длинному лбу): это Василій Ивановичъ... понимаешь? Тотъ Василій Ивановичъ, у котораго всякій звукъ такъ тишиченъ, такъ ясенъ и реаленъ, что онъ имѣетъ полное право требовать, чтобъ слушатель, безъ всякаго предувѣдомленія, прямо сказалъ: да! это она! это «Поленька»! И ежели нашелся слушатель, который этого не сказалъ, ежели...

— Постой, я все-таки попробую! Можетъ-быть, онъ и проститъ!.. Василій Ивановичъ, батюшка!—обратился Глузовъ по направленію къ сосѣдней комнатѣ:—по глупости вѣдь я! Ну, какая же это «Наденька», ежели вы говорите, что это «Поленька»! Простите же, голубчикъ, да сыграйте еще что-нибудь!

Но Василій Ивановичъ ни однимъ звукомъ не отвѣтилъ на мольбу Глузова. Мы приняли бы это молчаніе въ неблагоприятную сторону, если-бъ Цеувакай-Корыто не успокоятъ насъ.

— Не цыркаетъ—значитъ, смягчается!—шепнулъ онъ.—Самолюбивъ онъ у насъ—страшно! У всѣхъ этихъ художниковъ раны какія-то—точно ножь Севастоподемъ они изувѣчены! Прикоснись только—бѣда! Просите, просите еще!

— Ты-то что-жъ стоишь! проси!—толкнулъ меня Глузовъ.

— Василій Ивановичъ!—началъ я:—за что же я-то наказанъ! Я-то собственно вѣдь ни на минуту даже не усомнился, что это «Поленька»!

— Му-у-у!—слабо раздалось по ту сторону портьеры.

— Ну, вотъ, слава Богу! отлегло!—болѣе знаками, чѣмъ

словами, объяснилъ намъ Неуважай-Корыто и, обратившись къ портьеру, громко прибавилъ:—Василій Ивановичъ! милѣйшій! и въ самомъ дѣлѣ сыграйте-ка... ну, что бы такое? Ну, вотъ хоть вашу «симфоническій tableau de genre»: «Торжество начальника отдѣленія департамента полиціи исполнительной по поводу полученія чина статскаго совѣтника»... Сыграете?

— Го-го-го!

Мы опять въ томъ же порядкѣ усьлись на диванъ; но Неуважай-Корыто выпятился нѣсколько впередъ и простеръ передъ нами руки.

— Начинается!—шепнуть онъ.

Tremolo въ нижнемъ регистрѣ, потомъ tremolo въ среднемъ регистрѣ, наконецъ tremolo въ верхнемъ регистрѣ. Pianissimo, piano, sforzando, forte, fortissimo, потомъ diminuendo, piano, pianissimo—разъ десять одно и то же.

— Это онъ мечтаетъ. Что лучше,—спрашивать онъ себя:—чинъ статскаго совѣтника или ордена святаго Анны второй степени? Забудьте эту фразу: свиты-ы-ы-ыя Анны-и! Забудьте, какъ онъ вдругъ обрушилъ: Анны-и!

Василій Ивановичъ пальцемъ ударилъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ по клавишамъ—это «переходъ». Загѣмъ слѣдуетъ трель, которая попеременно продѣлывается во всѣхъ регистрахъ и изъ-за которой смутно выступаетъ какой-то мотивъ. Не то «Во дузяхъ», не то «По улицѣ мостовой», не то «Шли наши ребята»...

— Онъ охорашивается передъ зеркаломъ... слышите: ззз?—это щетка по головѣ ходить... А вотъ и ибени... слышите, русская пѣсня раздается?—это онъ дѣтство воспоминаетъ... Онъ—сынъ пана... слышите эту трель въ динканти—это вица, вица свиститъ!

Минутная пауза («онъ идетъ въ департаментъ!»). Нѣсколько разъ сряду повторяется звукъ, образуемый двумя соседними клавишами, ударяемыми одновременно («онъ пришелъ въ департаментъ и снимаетъ калоши... слышите, плетаются!»), потомъ rrrr... («это сторожъ Михенчъ харкаетъ») и вдругъ—бумъ! буми-бумъ! бумъ-бумъ!

— Директоръ звонитъ:—въ ужасѣ шепчетъ Неуважай-Корыто.

Coda; отдаленные звуки альпійскаго рожка и тирольской пѣсни... чокъ-чокъ-чокъ!

— Директоръ цѣлуетъ его.

Sforzando, forte, fortissimo... Динканти звенятъ, средній

регистръ подзвониваетъ, басы рожочуть... Общій торже- ственный гимнъ—во вся. Радаются нѣсколько аккордовъ «Славься!»—и утопаютъ въ невыразимой трескотнѣ.

— Слышите: какофонія—это поздравляютъ его разомъ все прочіе начальники отдѣленія, а также сослуживцы и подчиненные. Слышите: оттолчка въ басу?—это экзекуторы! Но такъ какъ все они не имѣютъ ни малѣйшаго понятія о правильной постройкѣ звуковыхъ сочетаній, то понятное дѣло, что хоръ выходитъ, какъ говорится, кто въ дѣсь, кто по дрова...

Первая часть кончена. Послѣ пятиминутнаго антракта начинается вторая часть. Я не буду, впрочемъ, слѣдить за игрой Василя Ивановича, а подѣлюсь съ читателемъ только объясненіями Неуважай-Корыта.

— Онъ возвращается домой и передаетъ жепѣ о случившемся. *Allegro energico*, въ которомъ выражается его признательность начальству. Слышите? слышите? динканты! динканты! Это дѣти веселой гурьбой врываются въ комнату и поздравляютъ отца. Но вотъ и дѣти, и жена уходятъ; онъ остается одинъ. Чу! звуки пастушьей свирѣли *Lentamente con tranquillizza*. Опять отзывается прошлое. Воспоминанія плывутъ, плывутъ... Свѣрый дождь, петоледная печь, отецъ—понть, мать—нападья, па столѣ—политофъ сивухи... Слышите: буль-буль—это они наливаютъ вино... А на дворѣ—онъ! Онъ засучилъ рубашонку и шлепаетъ по грязи... шлепъ! шлепъ! шлепъ! Трахъ! полетѣли брызги—онъ упалъ въ лужу... слышите: въ динкантахъ!—это брызги! Вотъ онъ барахтается, а въ это время издали доносится удалая пѣснь дьячка, возвращающагося изъ кабака... Ближе, ближе—и вотъ...

Цѣлый громъ льется на насъ изъ-за портьеры. Я прислушиваюсь и узнаю «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»... Но подъ пальцами Василя Ивановича она скорѣе похожа на «херувимскую» Львова, нежели на разгульную бурдацкую пѣсню.

— Чи-рикъ! чи-рикъ!—продолжаетъ объяснять Неуважай-Корыто: — *allegro giocoso*... Это поздравляютъ департаментскіе сторожа. Слышите, какъ отбиваютъ нижнее до—это Михеичъ; а тамъ вверху, словно брызгами, вторить ему *si-bemol*—это разливается директорскій курьеръ Семенчукъ... Пятирублевая бумажка—замѣтьте, какъ мимоходомъ удивительно обрисованъ Дмитрій Донской!—полагаетъ предѣлъ этимъ восторгамъ. Общій гимнъ, на манеръ «Тебе Бога хвалимъ»...

Вторая часть кончена.

Часть третья. Содержание ся: пирושка по случаю получения чина статскаго совѣтника. Подаютъ пироги («съ снѣгомъ и съ капустою! слышите! слышите, какъ запахло! слышите, какъ звякають ножи и вилки, какъ сыплются на тарелки крошки сига, какъ чавкаетъ экзекуторъ Иванъ Михайлычъ?»). Чи-рикъ! чи-рикъ! *Agitato*. Входитъ отставной, похожій на старинной формы подсѣвчикъ, губернаторъ, находящійся двадцать лѣтъ подъ судомъ и пользующійся лишь половинной пенсией. Выпивъ предварительно рюмку очищенной, онъ начинаетъ «рассказъ» о претерѣнныхъ имъ бѣдствіяхъ.—Двадцать лѣтъ, говоритъ онъ, я былъ губернаторомъ и двадцать же (*tremolo*) лѣтъ нахожусь подъ судомъ! Самое дѣло о моихъ гнусныхъ преступленіяхъ продало въ сенатѣ, а меня все не рѣша-а-а-а-ють, и я все нахожусь на половинной пенсїи! И вотъ теперь, вмѣстѣ съ многими другими генералами, я состою въ качествѣ загошца при Самуилѣ Соломонычѣ Поляковѣ («Замѣтьте этого разсказа! онъ весь держится на одной ногѣ, то замедляемой, то ускоряемой!»)—Милости просимъ, ваше превос-о-о-о-о-ходительство!—говоритъ виновникъ торжества:—хоть я и забылъ васъ пригласить, однако въ такой день и для незаванныхъ кусокъ пирога найдется («Замѣтьте эту фразу: «хѣтъ я и забы-ы-ылъ ва-асъ пригласить»... а какова язвительность этого *sol-diezel*! замѣтьте, какъ отодвигаются стулья, чтобы дать мѣсто новому гостю... тррр... трр... изумительно!»). Опять ѣда; ножи звякають, крошки пирога сыплются. Подаютъ шампанское. Василій Ивановичъ по ту сторону, а Неуважай-Корыто по сю сторону портьера подражають губами хлопанью пробки. Входитъ еврей. «Насе вамъ поцеліе!—подшъваетъ Неуважай-Корыто:—кольцы, броски хороши! и помада, и духи!» («Понимаете? это, собственно говоря, полемическій приѣмъ! Это Мендельсонъ-Бартольдъ и Моѣберберъ... жида!»). Жида обступаютъ, торгуются съ нимъ и въ заключеніе показываютъ свинное ухо. Жидъ убѣгаетъ. Общій хоръ (*alla capella*), оканчивающійся приглашеніемъ на преферансъ.

Четвертая часть. Иванъ Михайлычъ объявляетъ семь въ червяхъ. Отставной губернаторъ подсматриваетъ въ карты и, видя, что Иванъ Михайлычъ принялъ туза пикъ за туза червей, провозглашаетъ: «виетую и приглашаю—въ темную!» Мгновенно обнаруживается роковая ошибка. Трио: «онъ (и) безъ трехъ?»—къ которому незамѣтно присоеди-

пяются голоса прочихъ.—Гррахъ!—раздается раздражающій уши звукъ...

— Конецъ еще не додѣланъ,—объявляетъ Неуважай-Корыто:—мы даже не знаемъ, слѣдуетъ ли остановиться на четвертой части, или написать еще съ десятокъ частей. Нѣкоторые изъ «нашихъ» говорятъ, что надо ограничиться четвертой частью, но Василій Ивановичъ, а вмѣстѣ съ нимъ и я, полагаемъ, что необходимо продолжать. Не забудьте, что вслѣдъ за праздникомъ у виновника торжества должно послѣдовать приглашеніе отъ Ивана Михайлыча, у котораго кстати жена родила, потому приглашеніе (на се-ледку) отъ находящагося подъ судомъ губернатора, гдѣ гости уличаютъ хозяина въ нечестной игрѣ въ карты; потомъ намъ герой ѣдетъ благодарить директора (который знакомитъ его съ своею женою), потомъ—министра, и наконецъ, поблагодаривъ всѣхъ, убѣждается, что ему ничего больше не остается, какъ благодарить Создателя. Если ограничиться только четырьмя частями, то придется все это оставить. Не правда ли, жалко?

— Да еще какъ жалко-то! Не оставляй! Слушай, у него поясница... надежная?

— Поясница у него—удивительная!

— Пусть продолжаетъ! пускай пишетъ всѣ десять частей!

— Василій Ивановичъ, голубчикъ! вотъ и Глуховъ на нашей сторонѣ, онъ тоже говоритъ, что надо продолжать! — Му-у-у!

— Итакъ, будемъ продолжать! — говоритъ Неуважай Корыто, весело потирая руки.—А теперь, господа, не хотите ли чего-нибудь летонькаго, буфонаду какую-нибудь... напри-мѣръ: «Извозчикъ, отыскивающийъ въ темную ночь потерянный кнутъ»?

Но мы уже ничего не слушали. Мы наскоро простились съ гостеприимнымъ хозяиномъ, наскоро накиннули шубы на плечи и выбѣжали на улицу.

Нѣкоторое время мы шли подавленные, ошеломленные.

— И ты не хочешь понять, отчего яиче такъ много самоубійствъ!—вдругъ обратился ко мнѣ Глуховъ.—Вотъ хоть бы этотъ самый Василій Ивановичъ... Какъ освобо-дился онъ отъ этихъ звуковъ, которые со всѣхъ сторонъ осаждаютъ его, которые, какъ онъ ни бѣги отъ нихъ, все-таки настигнутъ его. Одно средство... прорубь!



Г Л А В А III.

На этотъ разъ Глуховъ пришелъ въ настроеніе самообличенія.

— Да, братъ,—сказалъ онъ:—всѣ мы только по наружности объ какихъ-то новыхъ порядкахъ разлагольствуемъ, а разбери-ка хорошенько: вѣдь мы только и дышимъ тѣмъ, что въ насъ отъ старой закваски осталось, да еще тѣми лазейками, которыми эта закваска отыскиваетъ для себя въ такъ-называемыхъ новыхъ порядкахъ.

— Не черезъ край ли ты, однако-жъ, хватилъ?—возразилъ я:—вѣдь жить тѣмъ, что мы прячемъ, въ чемъ не можемъ открыто сознаться—право, дѣло довольно трудное. Какъ бы ни сильно говорила въ насъ старая закваска, мы все-таки чувствуемъ, что обнаруживать ее не совѣмъ для насъ удобно: какъ же жить, опираясь на такой сомнительный матеріалъ? Да и сама формальная обстановка современной жизни такъ ужъ сложилась, что волей-неволей приходится оставить старую закваску.

— Что касается до того, что мы не имѣемъ смѣлости открыто обнаруживать живущую въ насъ старую закваску, то это обязываетъ насъ совѣмъ не къ тому, чтобы разстаться съ нею, а только къ тому, чтобы дѣйствовать исподтишка. Поэтому для своего прикрытія мы выдумали цѣлую безсодержательную фразеологию; мы изобрѣгаемъ каждый день новыя обстановки, въ которыхъ новое представляютъ собственно только формы; однимъ словомъ, потихоньку блудимъ и пакостимъ въ руку старинѣ. И ежели все это, взятое вмѣстѣ, дѣйствительно представляеть очень сомнительный жизненный матеріалъ, то усилия, которые мы употребляемъ для огражденія его отъ гибели, все-таки доказываютъ, что онъ намъ дорогъ, несмотря на свою негодность. А что касается до вліянія формальной обстановки современной жизни, то само собою разумѣется, что я не подаю въ уѣздный судъ съ просьбой, коль скоро знаю, что уѣздные суды упразднены. Это такъ, это вліяніе я признаю.

— Послушай, вѣдь это у тебя ужъ привычка такая—все въ странномъ свѣтѣ представлять. Не одни уѣздные суды, а кой-что и другое. И даже по кой-что, а очень многое. Разумѣется, старики, вотъ какъ мы съ тобой...

— Да я объ старикахъ-то собственно и говорю, потому

что покуда они одни и стоять на виду. Что будетъ съ подрастающимъ поколѣніемъ, какъ будетъ оно дѣйствовать и какія чувства проявлять—этого я не знаю, хотя приблизительно и могу догадываться, что оно будетъ лучше, да и ему будетъ лучше. Я говорю о дѣятеляхъ минуты—кто это дѣятель? Въѣдь это, братъ, мы съ тобой, мы, пропитанные насъкозь преданіями крѣпостного права, мы, для которыхъ упраздненіе старыхъ судовъ, напиримѣрь, означаетъ только, что отнынѣ до такой-то суммы человекъ мировому судѣ подсуденъ, а свыше этой суммы—окружному суду.

— Нѣтъ, съ этимъ я положительно согласиться не могу. Не говоря уже о томъ, что, кромѣ насъ и нашихъ сверстниковъ, въ числѣ современныхъ дѣятелей найдется достаточно молодыхъ людей, почти чуждыхъ преданіямъ крѣпостного права, я утверждаю, что даже мы, старики,—да, и мы измѣнились къ лучшему. Скажу, напиримѣрь, про себя. Конечно, отмена крѣпостного права встрѣчена была мною съ сочувствіемъ преимущественно съ точки зрѣнія идеальной, какъ величайшая и либеральнѣйшая мѣра нашего времени; конечно, личные матеріальные мои интересы были настолько задѣты ею, что я... ну, да, я сознаюсь въ этомъ... я не могъ не *почувствовать* послѣдствій ея... Но въѣдь въ человекѣ есть умъ, душа моя, умъ, который доказываетъ, что въ известныхъ случаяхъ возврата не можетъ быть. Я понялъ, что личное чувство мое должно подчиниться... я убѣдилъ себя, я дѣлать въ этомъ смелѣе усилія.

— И успѣлъ въ этихъ усиліяхъ?

— Да, успѣлъ.

— И никогда тебя не подымало дать подножку новымъ порядкамъ? Никогда, даже инстинктивно, ты не старался утинуть что-нибудь, устроить какую-нибудь возможность... ну, хоть возможность тыкать впередъ руками?

— Никогда!

Глумовъ посмотрѣлъ на меня не то прощательно, не то съ укоромъ, какъ смотрять на человека, отъ котораго не ждали, чтобъ онъ солгалъ.

— Ну, исполняй тебѣ,—произнесъ онъ:—а вотъ я, постепенно объ себя размышляючи, знаешь ли, на какое открытіе я набрелъ?

— На какое?

— А на такое, что и до сихъ поръ, несмотря ни на

какіе новыя порядкі, іць для мяня удольствія вышэ, какъ на травлю смотрѣть.

— Какъ такъ?

— Да такъ вотъ. Люблю, братецъ, видѣть, какъ связаннаго чловѣка бьютъ. Иць для моего нутра усладительнѣе этого зрѣлища! Искаженія чловѣческаго лица, корчи, подавленные вздохи... прелесты!

— Да гдѣ же ты ухитряешься нынче отыскивать подобныя зрѣлища?

— Вездѣ, голубчикъ, на каждомъ шагѣ; а чтобъ не захватывать слишкомъ широко, ограничимся хоть камерою суда.

— Помилуй! отправленіе правосудія...

— Отправленіе правосудія—само собой, а травля—сама собой. Въ томъ-то и вещь, душа моя, что отправленіе-то правосудія интересуетъ меня на золотникъ, а отъ травли—у меня дыханіе въ зобу смирается. И я тоже думалъ, какъ крѣпостное-то право рухнуло: ну, думаю, пропали мы теперь! Теперь и досуговъ нашихъ дѣвать намъ некуда, потому что огнѣвъ все на тонкой деликатности пойдетъ. И вдругъ меня словно озарило: сѣмъ-ка на уголовное судоговореніе схожу. Пришелъ,—и духомъ обновился: такъ на меня изъ старой кладовой и пахнуло. Боже ты мой, какъ они его били! Сперва вышелъ одинъ молодой чловѣкъ—и смаху по щекѣ ударилъ; потомъ разбѣжался другой молодой чловѣкъ—и вырвалъ клокъ волосъ; потомъ выступилъ развязаннымъ шагомъ третій молодой чловѣкъ—и залустилъ живого ска въ глотку; четвертый молодой чловѣкъ, ради шутки, всталъ сбоку—и облилъ помоями. Бойко, весело, остроумно, съ полной увѣренностью въ безнаказанности... ахъ, молодые люди!

Я молча выслушалъ эту діатрибу и нѣкоторое время раздумывалъ, что бы такое возразить. Мысль Глумова поражала странностью, почти неожиданностью. Я зналъ очень хорошо, что въ современномъ уголовномъ судопроизводствѣ дѣйствуютъ представители такъ-называемыхъ «сторонъ», которые и устраиваютъ промежъ себя обвинительно-защитительный турниръ, но чтобы можно было по этому случаю набрести на мысль о «травлѣ»—это и въ голову мнѣ не приходило. Поэтому разоблаченіе Глумова произвело на меня оглушительное впечатлѣніе. Проверая это впечатлѣніе, я не могъ, впрочемъ, не сознаться сейчасъ же, что и во мнѣ таится какое-то словно бы болѣзненное пристрастіе къ со-

временному русскому уголовному процессу. Тѣмъ не менѣе до сихъ поръ я старался объяснить себѣ это явленіе нѣкоторыми естественными мнѣ формами, въ которыя этотъ процессъ облеченъ: публичностью, скоростью, равноправностью обвиненія и защиты, наконецъ присутствіемъ присяжныхъ заседателей, выражающихъ живую общественную совѣсть. И вотъ является человѣкъ, который говоритъ мнѣ: не то, совѣмъ не отправленіе правосудія тебя занимаетъ, а травля! Конечно, Глузовъ преувеличиваетъ, но почему же однако, когда я прочитывалъ стенографическіе отчеты, напримеръ, процессовъ сурруговъ Непениныхъ или игумены Митрофанія, у меня то и дѣло вырывались восклицанія: «молодецъ!» «хорошенько его!» «такъ его, такъ... катай!» Какое отношеніе имѣли эти восклицанія къ «отправленію правосудія»? Не говорило ли во мнѣ въ этомъ случаѣ, напротивъ, то животное чувство травли, которое заставляетъ человѣка сосредоточивать вниманіе исключительно на защитительно-обвинительномъ турнирѣ, совершающемся по поводу процесса, а не на содержаніи самого процесса или на предполагаемомъ исходѣ его?

— Да, братъ, люблю видѣть, какъ связаннаго человѣка бытъ!—продолжалъ между тѣмъ Глузовъ, какъ бы отвѣчая на мои тайныя размышленія:—да вѣдь и вообще вся наша публична это любить и только іезуитствуетъ, ссылаясь на какой-то либерализмъ. Почему, изъ всѣхъ новшествъ современной жизни, она исполнилась примирилась только съ преобразованнымъ уголовнымъ судопроизводствомъ? Почему ко всему прочему она отнеслась съ тревогой и даже съ желаніемъ подставить ножку, а къ публичной уголовницѣ стремится съ ненасытной жадностью, и ежели по временамъ и поворачиваетъ, то потому только, что суды-де воровъ и убійцъ слишкомъ часто оправдываютъ: нужно бы ихъ, кападьевъ, въ три кнута! А потому, мой другъ, что только уголовная реформа не произвела въ русскомъ человѣкѣ внутренней ломки, что она одна не парушила его инстинктовъ, одна дозволила ему остаться самимъ собою, то-есть тѣмъ же любителемъ травли, какимъ онъ всегда былъ.

— Душа моя!—собрался я наконецъ съ духомъ:—очевидно, ты смѣшиваешь травню съ судовороніемъ и въ тѣхъ спасительныхъ обвинительно-защитительныхъ пререканіяхъ, безъ которыхъ немисливо произнесеніе правильнаго приговора, видишь...

Но онъ только махнулъ рукой, словно бы отогналъ докучливую муху, и продолжалъ:

— Знаешь ли ты, что я не пропускаю ни одного застѣданія, въ которомъ есть надежда услышать, какъ связанному человѣку кинуть публично въ глаза, что онъ воръ и злодѣй; что онъ былъ таковымъ въ утробѣ матери и пребудетъ таковымъ до могилы; что онъ поиралъ законы Божескіе и человѣческіе; что онъ святогатаетвенной рукой подорвалъ основы, на которыхъ зиждется общественность; что онъ оскорбилъ человѣческую совѣсть; что украденный имъ рубль вошетъ къ небу; что нужно немедля, сейчасъ же, сію минуту отсѣчь этотъ омерзительный, гангренозный членъ, дабы оградить общественный организмъ отъ еже часно угрожающаго ему разложенія. Знаешь ли, что, слыша эти горячія слова, я чувствую, что кровь бьетъ въ голову, что еще одна минута, еще одно обвинительное усиліе -- и я зарычу, какъ скотина? Знаешь ли ты, что мнѣ даже этого мало, что я всѣ гадости перечитываю, чтобы быть, такъ сказать, очевидцемъ всякаго удара, наносимаго связанному человѣку по всему лицу нашего обширнаго отечества?

— Воля твоя, а ты на себя влезешь, — прервалъ я: — ты вообще человѣкъ неумѣренный въ выраженіяхъ, и вотъ...

Но онъ, опять-таки не слушал, продолжалъ:

— И никогда, — говорилъ онъ: — зрѣлище травли не было сопряжено съ такими удобствами, какъ теперь. И прежде русскій человѣкъ любилъ взглянуть, какъ бьютъ связаннаго человѣка, но онъ дѣлалъ это келейно, гдѣ-нибудь на конномъ дворѣ, а подъ конецъ, когда уже стали показываться признаки освобожденія, то началъ понимать, что такого рода зрѣлища даже не безопасны. И прежде почтеннѣйшая публика охотно смотрѣла на развязку уголовной драмы, въ видѣ торговой казни на площади, но при этомъ она вынуждалась вытерпѣть множество неудобствъ: спозаранку встать, стоять и ждать на открытомъ воздухѣ, подвергаясь неблагоприятнымъ атмосферическимъ вліяніямъ, видѣть обнаженную спину осужденнаго, наблюдать, какъ плеть, свистя въ воздухѣ, симметрически укладываетъ одинъ рубецъ подлѣ другого, пока не образуется сплошной кровавый полумѣсяцъ, и проч., и проч. Все это воздерживало отъ зрѣлищъ, налагало на охотниковъ узду. Теперь это дѣло обставлено удивительнѣйшимъ комфортомъ. Утромъ ты встаешь въ свое время, не торопясь пьешь чай, прочиты-

васъ газету и въ урочный часъ отправляешься въ судъ. Тамъ ты въ теплой комнатѣ, сидишь на скамьѣ, даешь своему тѣлу то положеніе, какое находишь для себя удобнѣйшимъ, ищешь въ толпѣ знакомыхъ, разсуждаешь, споришь, шутишь. Тессе... вдругъ все замерло! Это онъ... Это «связанный человѣкъ»! Онъ еще не осужденъ, онъ предполагается еще невиннымъ, но по унынію, разлитому въ его лицѣ, ты замѣчаешь, что онъ смутно о чемъ-то догадывается, нѣчто предчувствуетъ. И точно: подожди часть другой, и по тому, какъ онъ замечется и скорчится на скамьѣ своей, ты убѣдишься, что самыя горькія его тревоги были ничто въ сравненіи съ огорошившею его дѣйствительностью. А! ты еще не осужденъ! ты еще предполагаешься невиннымъ! Такъ вотъ же тебѣ, вотъ! вотъ! вотъ!

— Но надобно же, чтобъ общество въ лицѣ...

— Постой! знаю я и «общество», и «въ лицѣ» — все знаю. Дай кончить. Корчится «связанный человѣкъ», а между тѣмъ ты не видишь ничего рѣжущаго, ничего бьющаго въ глаза, ничего такого, что могло бы видимымъ, осязательнымъ образомъ быть причиной этихъ корчей. Передъ глазами твоими нѣтъ ни обнаженной спины, ни кроваваго полумѣсяца, ничего такого, что нѣбогда заставляло «даму пріятную во всѣхъ отношеніяхъ» опускать стыдливо глаза. Теперь она можетъ дать волю и зрѣнію, и слуху, потому что дѣйствующимъ лицомъ въ повѣйшей травлѣ является не плеть, а психологія. Подъ дѣйствіемъ ея, обвиняемый (не обвиненный, а обвиняемый!) обливаема потомъ, блѣднѣетъ, краснѣетъ, бросаетъ то умоляющіе, то дурачки-угрожающіе взгляды... «Что, если этой психологини повѣрять? — мерещится ему: — что, если мой защитникъ въ отвѣтъ на эту обвинительную психологію не выдумаетъ такой же защитительной психологини?» А ты, едва сдерживая дыханіе, не пропускаешь ни одного мимолетнаго подергиванья мускуловъ лица, которое облачаетъ разнообразныя нравственныя судороги, ея обуревающія, — и тебѣ не стыдно, и ты не опасавшись, что тебя уличатъ въ звѣрскихъ инстинктахъ, какъ уличали (хоть изрѣдка, да уличали!) нашихъ отцовъ, когда они злоупотребляли помѣщичьей властью. Вотъ видишь: пресяде все-таки хоть особенный видъ преступленія былъ, называвшійся «злоупотребленіемъ помѣщичьей власти» и именно означавшій неизлечимую страсть къ травлѣ, а плоче даже и этого нѣтъ. Да и кому же, въ самомъ дѣлѣ, придетъ на умъ вы-

думать такой видъ преступленія, который назывался бы «злоупотребленіемъ хожденія въ суды для присутствованія при уголовныхъ судебныхъ разбирательствахъ?»

Онъ остановился наконецъ, чтобъ перевести духъ.

— Ну, вотъ видишь ли, — воспользуясь я воспользоваться этой паузой: — самъ же ты говоришь, что пѣтъ ни обнаженной спины, ни крови, и хоть, по словамъ твоимъ, все это съ избыткомъ возмѣщается психологіей, но я убѣжденъ, что внутренно ты все-таки согласишься, что тутъ есть разница...

— Разница, разумѣется. Во-первыхъ, психологія казнить обвиняемаго, не вынуждая его осужденія, а во-вторыхъ, она принимаетъ въ расчетъ брезгливость «дамы пріятной во всѣхъ отношеніяхъ» и освобождаетъ ее отъ обязанности выказывать хотя внѣшніе признаки стыда. Разница камитальная.

— Любезный другъ! я не объ дамѣ пріятной во всѣхъ отношеніяхъ говорю: и ей, и тебѣ вольно присутствовать или не присутствовать при уголовномъ судебномъ разбирательствѣ. Но я утверждаю, что психологія, какъ средство разобраться въ многообразіи признаковъ, сопровождающихъ преступленіе, есть все-таки прогрессъ сравнительно съ тѣмъ дѣйствіемъ дикаго самовластия или уединенной канцелярской казунстики, которая еще такъ недавно творила судъ и расправу по всему лицу земли русской.

— И которыя... впрочемъ, не будемъ вдаваться въ полемику съ «временами возрожденія»... Ты ошибаешься, мой другъ! Психологія въ смыслѣ орудія травли — не только не прогрессъ, но шагъ назадъ. Она меньше убѣждаетъ, нежели плеть и пощечина, и больше уязвляетъ, ибо захватываетъ не только тѣло человека, но и его внутреннее существо. Даже предки наши, вообще не большіе психологи, понимали это и охотно допускали вымѣнательство психологій въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было совершить что-нибудь дѣйствительно звѣрское, поражающее.

— Надѣюсь, что ты не докажешь этого!

— Не надѣйся. Разумѣется, я не объ тѣхъ временахъ говорю, когда наши предки были чистыми дикарями, когда они, вмѣстѣ съ татарами, печенѣгами, самовлазцами и прочими охочими людьми — ихъ же имена Ты, Господи, вѣси! — предавали огню и мечу Россію. Тогда психологій дѣйствительно не существовало. Подвиги этихъ людей были грубы, составляли, такъ сказать, *modus vivendi* тѣхъ вре-

мень и свидетельствовали не о преднамеренной жестокости, а о молодечестве и благородной жаждѣ славы. Но какъ только нравы начали смягчаться, такъ тотчасъ же отцы наши догадались, что безъ психологін обойтись нельзя, и отъ огня и меча перешли къ «застѣвкѣ» и «дыбѣ». Вѣдь допросъ-то съ пристрастіемъ немислимымъ безъ участія психологін!

— Гм!.. хождение по снитцамъ, вздержка на дыбу... хо-роша психологін!

— Не одна вздержка, а съ аккомпанементомъ... — съ аккомпанементомъ психологін, милый другъ! «Давно ли ты скверный свой замыселъ задумалъ? и кто тебѣ такое противное дѣло внушилъ? и кому ты оныя скверныя слова говорилъ? и во время тѣхъ разговоровъ не было ли кого еще?» — что это, какъ не психологін? Люди, чуждые психологін, не допрашиваютъ, они просто бьютъ — и дѣло съ концомъ. Что психологін застѣвка была недостаточно упорная и недостаточно *блкая* — съ этимъ я, пожалуй, соглашусь; но причина ея слабости заключалась не въ ней самой, а въ тѣснотѣ арены и въ недостаткѣ публичности. Отцы наши сознавали себя слишкомъ властными господами, чтобы доводить истязаніе внутренняго человѣка до конца, при помощи одной, безразной, блдой психологін. Ихъ раздражало всякое прештетвіе, имъ хотѣлось *поскорѣе*... Отсюда — внезапные переходы отъ психологін къ дыбѣ и снитцамъ. «А! психологін-то, видно, не проищаетъ тебя, такъ попробуй-ка по снитцамъ пройтись!» — вотъ какъ разсуждали они. Но это нисладо не устраняло идеи объ ужестивости психологическихъ пріемовъ, которые и призывались на помощь во всѣхъ случаяхъ, когда простое наказаніе по тѣлу оказывалось блднымъ и сознавалось необходимость болѣе утонченнаго уголовного фестиваля.

Итакъ, вотъ оно, вотъ откуда ведетъ начало психологін! — думалось мнѣ, покуда Глумовъ разъясняетъ свою теорію родства психологін съ пыткой. Прекрасно, но почему же однако внимательство психологическаго разсаѣдованія въ сферу тѣлесныхъ истязаній все-таки повсюду принимается, какъ признакъ смягченія нравовъ? Почему даже этотъ слабый проблескъ дѣятельности человѣческой жизни представляется уже успѣхъ сравнительно съ той темнотой, которая облекаетъ простыя, безсознательныя заушенія? Не потому ли, что мысль имѣетъ такіа разлагалющія свойства, передъ которыми все неустойчивое, дринное облызывается



непремѣнно сойти со сцены и пропасть? Вотъ она какъ будто въ первыхъ порахъ и скрасила пытку, но, въ сущности, уличтожила ее. А затѣмъ, конечно, поведетъ свою разлагающую работу и дальше. Ужъ и теперь она изобрѣла чистую, безкровную, *бѣлую* психологію и, можетъ-быть, со временемъ, она же эту самую бѣлую психологію... ну, впрочемъ, тамъ еще чтò Богъ дастъ! Правда, Глузовъ говорить, что эта *бѣлая* психологія и есть самая язвительная... ну, вѣтъ, это онъ вретъ! Конечно, она узвѣляетъ не тѣло, а внутреннее существо человека, — да какъ же иначе поступить? Вѣдь надо же какъ-нибудь высленить, выйти изъ лабиринта противорѣчій, которыя, какъ облако, окутываютъ преступленіе? Да и притомъ, ежели существуетъ психологія обвинительная, то рядомъ съ нею существуетъ и психологія защитительная, а слѣдовательно *du choc des opinions* (знаю я, что Глузовъ недолюбливаетъ этихъ афоризмовъ, да и безъ нихъ, однако, нельзя!)... Съ одной стороны — психологія обвинительная, съ другой — защитительная... нашла коса на камень! чья-то еще возьметъ! А между тѣмъ у меня рубль украли — надо удовлетворить и меня. Конечно, ущербъ не Богъ знаетъ какой, но для меня, какъ для человека развитого, важно не рубль отыскать, а то, чтобы идея правды и справедливости была отомщена. Ни я, ни другіе не знаютъ, кто укралъ мой рубль, а между тѣмъ открыть и обвинить укравшаго — необходимо, потому что иначе почва ускользнетъ у насъ изъ-подъ ногъ, и никто не будетъ знать, гдѣ кончается пріобрѣтеніе и гдѣ начинается воровство. А какъ же обвинить безъ психологій, какъ доказать недозрѣвавшему, что никто другой не можетъ быть воромъ, кромѣ его, не покопавшись въ его внутренностяхъ, не высленивъ, передъ лицомъ почтеннѣйшей публики, его всегдашнее правдивное тяготивіе къ воровству? Не спорю: въ этомъ случаѣ могутъ быть недоразумѣнія очень прискорбныя. Можетъ случиться такъ, что сперва обругаютъ человека, припомнятъ, что онъ, еще въ школѣ будучи, колбасу у товарища украсть, а потомъ окажется, что въ данномъ случаѣ онъ совсѣмъ не виноватъ. Но, во-первыхъ, *ergo humanum est*, а во-вторыхъ, «ошибка въ фальшь не ставится». Это не мы выдумали, это сама мудрость вѣковъ говорить. А главное все-таки: какъ иначе поступить? Я увѣренъ, что Глузовъ не отвѣтитъ на этотъ вопросъ. Вотъ то-то и есть! Всѣ эти желчные люди, страдающіе недугомъ самообличенія, недовольные ни собой, ни

другими—все они таковы! И то имъ не правится, и другое не понутру, а спроси-ка: какимъ образомъ въ семь случаевъ поступить?—они сейчасъ и въ кусты!

— Ужъ на что, кажется, было аляповато, грубо и пошло наше крѣпостничество, разбросавшееся по деревенскимъ захолустьямъ и медвѣжьимъ угламъ, — продолжалъ уместовывать Глузовъ: — а и оно было не чуждо психологii, какъ средства поставить травлю на известную высоту. Не говоря уже о помѣщикахъ, даже между дворовыми встрѣчались психологи очень искусные. У насъ были, напримѣръ, поваръ Кузьма, который собаку Полкана избралъ предметомъ своихъ психологическихъ изслѣдованiй. Онъ не бросалъ въ него мимоходомъ осколки кирпича, не опшаривалъ зря кипяткомъ, какъ обыкновенно дворовые — пс-психологи, не создавалъ цѣлый мартирологъ, въ основанiи котораго лежала эксплуатация склонностей и инстинктовъ Полкашки, или, говоря высокимъ слогомъ, истязанiе его внутренняго пса. Задача, впрочемъ, была не трудная, потому что у Полкашки, что у малаго ребенка, все инстинкты сильны, кромѣ непреодолимаго стремленiя къ ѣдѣ. И Кузьма воспользовался этимъ инстинктомъ широкой рукой. Каждый день, во время поварской работы, онъ по цѣлымъ часамъ бесѣдовалъ съ Полкашкой, ласкалъ его, обольщалъ зрѣлищемъ всевозможныхъ мясныхъ обрѣзковъ, заставлялъ умиляться, взвизгивать, вилять хвостомъ, и вотъ въ тотъ моментъ, когда кушанье было уже отпущено, когда Полкашка уже съ увѣренностью взираетъ на кучу костей, красовавшуюся на столѣ, — Кузьма мгновенно его опшаривалъ, а кости и обрѣзки выбрасывалъ другимъ собакамъ. И что всего замѣчательнѣе — несмотря на ежедневное повторенiе этой продѣлки, Полканку такъ и тянуло къ Кузьмѣ. Каждое утро, въ одинъ и тотъ же часъ, онъ являлся на кухню, садился на заднiя лапы, присутствовалъ при варенiи и жаренiи, облизывался, вилялъ хвостомъ, и каждый же день, безъ перерыва, въ одинъ и тотъ же часъ, получалъ свою порцiю кнiятку. Надѣюсь, что это была психологiя!

— Но надѣюсь также, что ты возмущался... этою психологiей!

— Не помню: я былъ въ то время слишкомъ малъ, чтобъ отдавать себѣ отчетъ въ получаемыхъ впечатлѣнiяхъ. Но я знаю навѣрное, что подобная психологiя имѣла въ наше время громадное воспитательное влiянiе. Кузьма былъ востину протѣземъ вышней уголовой психологiи, хотя

совершил свою воспитательную задачу въ безвѣстности и исчез со сцены никѣмъ неоплаканный. Но я-то вѣдь помню его, и потому каждый разъ, какъ мнѣ приходится присутствовать при современномъ обвинительно-защитномъ турпирѣ — всякій разъ мнѣ словно живой представляется поваръ Кузьма, ведущій неустанныю психологическую игру съ Полканомъ.

— Зачѣмъ же ты ходишь смотрѣть на эти турпиры, коль скоро они для тебя омерзительны?

— То-то и есть, что не омерзительны. Разумомъ-то я, пожалуй, и смеаю, что зрѣлище травли не есть человѣка достойно, да нутро воть унять не могу. Вѣдь ни домашнее воспитаніе, ни публичная школа просто-пѣ-просто не дали намъ никакихъ идеаловъ, — чѣмъ же тутъ жить? Съ дѣтскихъ лѣтъ нами управляло лишь представленіе о дозволенномъ и недозволенномъ, и такъ какъ понять, почему одно называлось дозволеннымъ, а другое недозволеннымъ, было очень трудно, то весьма естественно, что дисциплина являлась единственнымъ средствомъ, съ помощью котораго можно было регулировать поведеніе молодыхъ людей. Дисциплину эту мы ненавидѣли и употребляли всё усилія, чтобъ освободиться отъ нея. Изъ чему же привели насъ эти усилія? — съ одной стороны, къ лицемерію, съ другой — къ подсматриванью и наматыванью на усь. Мы рано подсматривали, что въ дѣйствительной жизни первое мѣсто занимала травля. И она правилась намъ, потому что представляла нѣчто положительное, широкое, возбуждающее, тогда какъ дисциплина вся состояла изъ недомолвокъ. Вспомни, душа моя, что даже наименѣе циничныя изъ нашихъ сверстниковъ — и тѣ только теоретически титотились видомъ «связаннаго человѣка». На практикѣ же «связанный человѣкъ» до того вошелъ въ обиходъ, что не внушалъ ничего, кромѣ инстинктивныхъ проявленій, свойственныхъ тому или другому темпераменту.

— Замѣть однако, что именно эти-то проявленія и сдѣлались невозможными въ настоящее время.

— Уступаю. Дѣйствительно нынче сфера заушений матеріальныхъ значительно сузилась. Но, повторяю, все это отлочно замѣнено психологіей. Последняя до такой степени усовершенствовалась, что человѣкъ уже не чувствуетъ нужды ни въ матеріальной пыткѣ, ни въ заушеніяхъ. Она сама по себѣ представляетъ высшую пытку, и я увѣренъ, что человѣкъ умственно развитой охотнѣе предпочтетъ даже

незаслуженное наказание, лишь бы не заставляли его проходить через психологию, составляющую обязательное преддверие къ краткому: «да, виновень», или, «нѣтъ, певниовень», изрекаемому старшиной присяжныхъ заседателей.

— Воля твоя, а тутъ есть что-то недосказанное. Положимъ, что та психологія, о которой ты говоришь, имѣетъ свои неприятныя стороны; но ежели это единственно-доступное средство обличить, доказать...

— Въ томъ-то и дѣло, что психологія только дѣлаетъ видъ, что доказываетъ, а въ дѣйствительности ничуть ничего не доказываетъ. Она только для формы признаетъ своимъ исходнымъ пунктомъ суровый фактъ, называемый поличнымъ, но на дѣлѣ сейчасъ же оставляетъ его и сочиняетъ по поводу его романъ, — романъ косвенныхъ уликъ, который по очереди принимаетъ то обвинительный, то защитительный характеръ. Призываютъ, наиримѣръ, въ свѣдѣтели прошлое обвиняемаго и говорятъ: на основаніи такихъ-то и такихъ-то данныхъ, подтвержденныхъ достоверными свидѣтельскими показаніями, письмами, журналомъ подсудимаго, его отрывочными, повольно вырванными признаніями, — вы должны считать это прошлое не просто косвенною уликою, но уликою, имѣющей почти характеръ поличнаго. Съ помощью психологическихъ приеѣмовъ это сдѣлать очень удобно. Психологія или искусно скрываетъ тѣ первоначальныя положенія, изъ которыхъ она выходитъ, или же предлагаетъ ихъ, какъ вѣчто неопредѣленное и обязательное. Затѣмъ она начинаетъ группировать факты: одни оставляетъ въ тѣни, другіе подводитъ ближе къ свѣту. Въ результатѣ получается очень тонкая, почти кружевная работа, которая можетъ нравиться, но въ которой никакъ нельзя отличить, что правда и что нагапо. Но, должно-быть, нагапо достаточно, потому что слѣдомъ приходитъ другой психологъ и начинаетъ именно съ того пункта, какъ и его предшественникъ. Этотъ новый психологъ тоже имѣетъ въ запасѣ цѣлый романъ, темою котораго служить правдивное перерожденіе. «Я, говоритъ онъ, нимало не отрицаю того интереса, который могутъ имѣть экскурси въ прошлое обвиняемаго, и съ наслажденіемъ слѣдилъ за превосходнымъ изслѣдованіемъ моего почтеннаго сопсихолога. Но въ данномъ случаѣ превосходная работа его оказывается сдѣланною втунѣ. Дѣло въ томъ, что незадолго до того момента, когда произошла кража со взломомъ рубля, составляющая предметъ настоящаго судоговоренія, въ под-

судимомъ совершился полный нравственный переломъ, который дѣлаетъ немислимымъ всякое предположеніе о вліяніи на него его порочнаго прошлаго. Онъ тосковалъ, плалъ, а многіе даже слышали, какъ онъ проклиналъ часть своего рожденія. Мой сопсихологъ каснулся этого факта лишь слегка и для того только, чтобы видѣть въ немъ признаки пересказанности. Я же не только не вижу здѣсь пересказанности, но, напротивъ того, усматриваю несомнѣнные признаки той сердечной боли, которой не можетъ не ощущать человѣкъ, рѣшившійся окончательно разсчитаться съ заблужденіями прошлаго и идти по новой стезѣ». Затѣмъ опять начинается группированье, опять одни факты освѣщаются, другіе остаются въ тѣни, словомъ сказать, развивается цѣлый романъ... Или вотъ тебѣ еще одинъ примѣръ: человѣкъ совершилъ убійство. Онъ самъ ужъ призналъ себя убійцей, но для психологін важно опредѣлить—и Христось ее знаетъ, зачѣмъ это такъ важно для нея!—съ обдуманнмъ ли намѣреніемъ, или безъ обдуманнаго намѣренія совершено преступленіе. Прежде всего она обращается къ орудію преступленія, которымъ оказывается тяжелая трость съ налитымъ свинцомъ набалдашикомъ. Этою тростью преступникъ прямо угодилъ въ темя своей жертвы. Вопросъ: мѣнить ли обвиняемый въ темя, или это сдѣлалось случайно, помимо его воли? Подсудимый говорить на это: «лѣтъ, я не цѣплялся, я очень хорошо помню, что билъ его какъ попало, срывая свой гнѣвъ и не имѣя никакой мысли о нанесеніи смертельнаго удара». Но передъ этимъ тотъ же подсудимый, относительно множества обстоятельствъ, сопровождавшихъ совершеніе преступленія, показалъ, что совершенно ничего не помнитъ. Отсюда поводъ для психологической игры. Одинъ психологъ говоритъ: «какъ! вы это помните? Вы забыли вотъ это, вотъ это, вотъ это, вы утерали изъ памяти все несущественные факты и помните только одинъ фактъ, тотъ, который помогаетъ вамъ выпутаться изъ бѣды!» На это другой психологъ возражаетъ: «тѣ, что кажется страннымъ моему сопсихологу, въ сущности представляются явленіемъ очень обыденнымъ въ области психологін. Душевный міръ есть міръ пробѣловъ по пренуществу, и хотя существованіе ассоціацій идей не подлежитъ сомнѣнію, но я думаю, что величайшій изъ психологовъ, Шекенриръ,—и тотъ отказался бы сослѣдить се въ такомъ сложномъ, необычайномъ случаѣ. Онъ сказалъ бы: «да, подсудимый все забылъ; онъ только

это помпиль!» Представь себя теперь положенію присяжныхъ при такомъ судоговореніи! Что могутъ они вынести изъ этого разговора, кромѣ мысли, что подсудимый съ обѣихъ сторонъ оболганъ: и въ видахъ обвиненія, и въ видахъ защиты. А еще лучше,—представь себя, что и со стороны обвиненія, и со стороны защиты стоятъ лицомъ къ лицу два равносильныхъ Шекспира: каково должно быть положеніе подсудимаго, слышащаго, что его съ двухъ сторонъ возводятъ въ перлъ созданія и дѣлаютъ героемъ двухъ взаимно другъ друга уничтожающихъ романовъ, которые вдобавокъ не имѣютъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ романомъ его жизни?

— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать—вотъ хоть бы на мѣстѣ г. Шайкевича. Какъ ты думаешь, обѣлилъ ли бы Шекспиръ мать Митрофанію, или не обѣлилъ бы?

— Полагаю, что обѣлилъ бы. Опъ сумѣлъ бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всѣмъ тѣмъ это было бы только произведеніе его личнаго художественнаго генія, которое, несмотря на свой оправдательный тонъ, быть-можетъ, гораздо сильнѣе подавило бы мать Митрофанію, нежели даже восхожденіе на Синай, предпринятое г-мъ Плевако. Да знаешь ли, впрочемъ, я думаю, что Шекспиръ одинаково отказался бы и отъ роли защитника, и отъ роли обвинителя. Вѣдь его психологія чувствовала себя гораздо свободнѣе и независимѣе, имѣя подъ руками Гамлета и Ричарда III, нежели тотъ уголовный матеріалъ, который украшаетъ скамьи подсудимыхъ въ современныхъ судахъ.

— Стало-быть, по-твоему, окончательный-то исходъ дѣла зависитъ отъ того, кто кого перевертеть?

— Понимай, какъ знаешь.

— Такъ что ежели я, напримеръ, совершая преступленіе, имѣю возможность рассчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожаетъ психологическая помощь адвоката, назначаемаго отъ казны?

— Стало-быть.

— Однако, братъ, очень печально!

— Печалься; не возбраняется.

— Ну, хорошо; оставимъ печаль въ сторонѣ и резюмируемъ нашъ разговоръ. Изъ сказаннаго тобой выходитъ: во-первыхъ, что мы не только не воспользовались благами возрожденія, но и до сихъ поръ продолжаемъ жить остатками старинной дикости; во-вторыхъ, что характеристическій вы-

разитель этой дикости — травля не упразднилась, но при помощи психологин получила характер болѣе утонченной жестокости и притомъ сдѣлалась, такъ сказать, à la portée de tout le monde. Такъ, кажется?

— Вѣрно.

— Теперь, спрашиваю тебя, отвѣтъ мнѣ по совѣсти: какъ же, по твоему мнѣнію, въ этомъ случаѣ поступить? что нужно сдѣлать, чтобы избѣжать этого?

Я формулировалъ этотъ вопросъ не безъ торжественности. По моему мнѣнію, всѣ человѣческія стремленія, негодованія, анализы, утопіи — все это приводится къ вопросу: прекрасно, но какъ въ семь случаевъ поступить? Поэтому я надѣялся настигнуть Глумова въ послѣднемъ его убѣжищѣ, заставить его перенести дѣло на практическую почву и затѣмъ ужъ поговорить по душѣ о перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ, о разъясненіи такой-то статьи и дополненіи такой-то... Но, къ удивленію, Глумовъ не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся къ ней какъ бы иронически.

— Прежде всего, — сказалъ онъ: — я не вижу никакой надобности «поступать». А потомъ, вѣдь подъ словомъ «поступать» нельзя же разумѣть исключительно: совершить мѣропріятіе, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать фактъ — тоже значить «поступать». Вотъ я и «поступаю», то-есть констатирую фактъ.

#### ГЛАВА IV.

Я — русскій литераторъ и потому имѣю двѣ рабскія привычки: во-первыхъ, писать иносказательно и, во-вторыхъ, трепетать.

Привычку писать иносказательно я обязанъ до-реформенному цензурному вѣдомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, какъ будто поклялось стереть ее съ лица земли. Но литература упорствовала въ желаніи жить и потому прибѣгала къ обманнымъ средствамъ. Она и сама преисполнилась рабынмъ духомъ, и заразила тѣмъ же духомъ читателей. Съ одной стороны, появились аллегоріи, съ другой — искусство понимать эти аллегоріи, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая можетъ быть названа эзоповскою, —

манера, обнаруживавшая замѣчательную изворотливость въ изобрѣтеніи оговорокъ, педомовствъ, пноскананій и прочихъ обманныхъ средствъ. Цензурное вѣдомство скрежестало зубами, но, въ виду всеобщей мистификаціи, чувствовало себя безсильнымъ и дѣлало безпрерывныя по службѣ упущенія. Публика рабски-восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоровъ сажали на гауптвахту и когда ихъ смѣняли. На мѣсто смѣщенныхъ цензоровъ являлись другіе, которыхъ также смѣняли и сажали на гауптвахту. А публика вновь принималась хохотать и замѣчалась статьями, въ родѣ: «Китайскія ассигнаціи», или «Австрійскій министръ финансовъ Врусъ» (см. «Русскій Вѣстникъ», издатель-редакторъ М. Катковъ). И существовала эта манера долго-долго, существуетъ и дониндѣ, такъ что объявленіе въ 1866 году воли кингопечатанію почти совсѣмъ не повдѣяло на нее. Аллегорическій, рабій языкъ продолжалъ пользоваться правомъ гражданственности, хотя справедливость требуетъ сказать, что современные молодые писатели стараются избѣгать его. Я не беруся опредѣлять, хорошо или дурно они поступаютъ, но думаю, что въ виду общей рабской складки умовъ аллегорія все еще имѣетъ шансы быть болѣе понятной и убѣдительною и, главное, привлекательною, нежели самая понятная и убѣдительная рѣчь. Иснад рѣчь умѣстна тамъ, гдѣ уже народилась читатель, втораго страшными словами не удивившій; но тамъ, гдѣ читатель съ повода и безъ повода привыкъ развѣвать ротъ, тамъ простая и безфигурная рѣчь можетъ только свидѣтельствовать о рабствѣ самогнѣи и наложить еще новый балластъ на плечи писателя, то-есть ко всѣмъ прочимъ не легкимъ обязанностямъ прибавить еще новую и тяжчайшую: обязанность ежемгновенно трепетать.

Привычка трепетать я обязанъ послѣ-реформенному цензурному вѣдомству. Я не стану распространяться о томъ, что именно сдѣлало это послѣднее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живымъ можетъ быть принята за лесть — я только констатирую фактъ. Я знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ мы получили свободу прессы, — я трепещу. Покуда я пишу — я не боюсь. Иногда и даже дѣлаюсь храбрымъ; возьму да и напишу: напрасно, молъ, думаютъ пѣкорные, что благожелательное и ничѣмъ, кромѣ почтительности, не стѣпяемое обсужденіе дѣйствій (замѣтьте аллегорію: я даже умалчиваю, чьихъ и какихъ дѣйствій) равносильно нападенію съ оружіемъ въ рукахъ... Но какъ только процесъ



писанія кончился, какъ только статья поступила въ наборъ, боязнь чего-то неопредѣленнаго немедленно вступать въ свои права. И она усиливается и усиливается по мѣрѣ того, какъ исправляется корректура и пастушается часть, съ котораго долженъ считаться четырехдневный для журналовъ и семидневный для книгъ срокъ нахождения произведеній человеческого слова въ чревѣ китовомъ. Чудятся провинности, преступленія, чуть не уголовщина.

И въ то же время ласкаетъ рабская надежда: а можетъ-быть и пройдетъ! Я знаю, что это надежда гнусная, неопытная, что она есть не что иное, какъ особое видоизмѣненіе трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляетъ единственную руководящую нить въ современномъ литературномъ ремеслѣ. Избавиться отъ нея, правда, очень легко; стдѣтъ только забросить перо, распротиться съ корректурами и какъ чумы обѣгать типографинъ — по вотъ подите же... Сдѣтается, что не будь этой надежды — пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы одиѣ «Московскія Вѣдомости»...

Само собой однако-жь разумѣется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабій трепеть, и мой рабій надежды. Я — либераль, и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нѣтъ! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно: — теперь цензору до меня какъ до звѣзды небесной далеко!» И начинаю горячиться, начинаю рассказывать анекдоты изъ до-реформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое ничѣшнее положеніе... «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господиномъ своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что мы были прежде и чѣмъ сдѣлались теперь! Теперь ежели что, такъ вѣдь я и тово... Я вѣдь и самъ ноги покажу... нѣтъ, теперь не такъ-то ловко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтобъ нуще себя ободрить, и — о, ужась! — въ это же время чувствую, какъ невидимый трепеть ползеть по всему моему организму, ползеть, ползеть и незамѣтно разрѣшается сладкой надеждой, что, «можетъ-быть, и пронссетъ»...

Но пріятели мои понимаютъ, что все это съ моей стороны не больше какъ напускное хвастовство, напомнимающее тѣ «невидимыя міру слезы сквозь видимый міру смѣхъ», о которыхъ упоминалъ еще Гоголь. И такъ какъ они — люди русскіе, веселые, то нерѣдко я служу для нихъ предметомъ довольно жестокихъ шутокъ, канвою которымъ служатъ:

слухи о преднамѣреніяхъ и предначертаніяхъ, свидѣнія, почерпнутыя изъ достовѣрныхъ источниковъ, канцелярскія тайны и проч. Иногда рассказываются даже цѣлыя сцены, рассказываются въ лицахъ, такъ живо и съ такими характеристическими подробностями, не повѣрить которымъ нѣтъ никакой возможности. Какъ тутъ не вѣдаться въ обманъ, какъ не счесть себя погибшимъ, когда и самъ ужъ заранѣе, такъ сказать, признаешь, что гибель есть только снисходительно-отсроченное возмездіе за тѣ преступности, которыя съ помощью нера содѣлаа правая рука твоя?

Но особенную озорливость въ этомъ смыслѣ являетъ пріятель мой Глумовъ. Онъ отлично знаетъ мою склонность увлекаться трепетомъ и надеждами, и потому каждый разъ, какъ я попадаю въ чрево кита (а это случается почти ежемѣсячно), является ко мнѣ съ спеціальною цѣлью паблюсти, въ какой степени я боюсь. Изрѣдка онъ бываетъ и въ добромъ расположеніи духа, и тогда мы вмѣстѣ твердимъ: «побось! ничего! можетъ-быть, и пронесеть!» Но чаще всего онъ приходитъ преисполненный глумливаго подстрекательства, въ которомъ я никогда не могу отличить искренности отъ неискренности и которое еще болѣе увеличиваетъ мой страхъ.

Именно въ такомъ озорливомъ настроеніи явился онъ ко мнѣ на-дняхъ. Уже три дня лежалъ я въ чревъ; оставалось еще двадцать четыре мучительныхъ часа... Пронесеть или не пронесеть?

— Да, братъ, видно, быть бычку на веревочкѣ! — сразу огорочилъ онъ меня, войдя въ кабинетъ.

— Что? что такое? развѣ что-нибудь слышно? — встре-пенулся я.

— Какъ не слышать! слухомъ земля полнится! Да, братъ, пельзя! Пельзя, мой другъ, такимъ образомъ... невозможно!

— Что такое случилось? Говори, сдѣлай милость, не мямли!

— Покуда еще ничего не случилось, но признаки есть, и признаки серьезные... Сейчасъ иду я къ тебѣ, и вдругъ навстрѣчу мнѣ человекъ одинъ... Понимаешь? Идетъ этотъ человекъ къ мѣсту служенія, и на челѣ у него: пельзя!

— Господи!

— «Пельзя» — только одно это слово! Но ты понимаешь: завтра тебѣ срокъ, а сегодня... Понимаешь?

— Какъ не понимать! Но какъ же это однако... нельзя!  
И что это за слово «нельзя»? Нельзя! вѣдь это даже по-  
нять трудно!

— Нельзя—и все тутъ.

— Да ты, можетъ-быть, ошибся! Можетъ-быть...

— Неужто-жъ мнѣ въ первый разъ на словахъ-то чи-  
тали! Да и парокказничали же вы, должно-быть! Идетъ  
«онъ» и словно обдумываетъ: какую бы пытку на васъ  
изобрѣсти.

Зачѣмъ мы начали горевать. Я, какъ истинный либе-  
ральный, оглашалъ стѣны кабинета возгласами: «за что же,  
Господи! за что?» Глумовъ подавалъ мнѣ реплику, боль-  
шею частью пословицами. Наконецъ, когда я достаточно  
высказалъ, что всѣ мои обычные разглагольствованія о ка-  
кихъ-то якобы правахъ разлетаются какъ дымъ отъ при-  
косновенія одного слова: «нельзя», тогда Глумовъ сознался,  
что никого, «идущаго къ мѣсту служенія», онъ не видалъ,  
ни на какихъ словахъ ничего не читалъ, и что вообще вся  
эта исторія была имъ выдуманна въ видахъ испытанія, къ  
надлежащей ли степени я боюсь. И вновь сладкая на-  
дежда озарила мою душу, и вновь я сталъ предаваться  
работѣ проникновенія въ мракъ будущаго: пронесетъ или  
не пронесетъ?

— Нѣтъ, ты ужь эти глупости-то оставь, — прервалъ  
меня Глумовъ:— это, братъ, дѣло изслѣдовать нужно!

— Какое дѣло?

— А вотъ хоть то, что вы, русскіе писатели, обязы-  
ваетесь не только услаждать досуги публики вашими пи-  
саніями, но и періодически подвергаться уважительному  
трепету.

Но я, разувѣренный насчетъ предстоящей опасности,  
уже настолько ободрился, что взглянулъ на друга моего  
не только самоуверенно, но почти нахально.

— Я не знаю,—сказалъ я:— о какомъ ты трепетѣ гово-  
ришь! Я думаю, что въ настоящее время положеніе мое,  
какъ русскаго писателя...

— Пхе! вотъ твое положеніе! Дунуть на тебя — ты и  
погасъ!

— Ну, нѣтъ, любезный другъ, это не совсѣмъ такъ! Я  
свои права...

— А кто сейчасъ восклицалъ: за что, молъ, о, судьба  
прежестокая!.. Кто восклицалъ?

— Еще бы! ты бы побольше выдумывай!

— Да какъ же иначе съ тобой поступать? Какъ иначе остененить твою малодушіе? Взгляни ты на себя, сдѣлай милость! Вѣдь даже понять нельзя, какимъ образомъ ты эту пытку выдержиwasишь! Двадцать шесть дней въ мѣсяцъ ты приготовляешься къ трепету, а четыре дня трепещешь! Удѣ, скажи, въ какой сферѣ дѣятельности возможно такое существованіе!

— Ну, хорошо! Положимъ, что въ настоящую минуту мое положеніе... ну, да, допустимъ это. Но дѣло вѣдь не въ одной той минутѣ, которую мы переживаемъ, а въ тѣхъ залагахъ, которые представляютъ намъ будущее...

— А ты про эти залогн слыхалъ?

— Не только слыхалъ, но даже изъ достовѣрныхъ источниковъ знаю...

— Срамникъ ты -- вотъ что!

Сказавши это, Глумовъ такъ строго взглянулъ на меня, что я совершенно явственно почувствовалъ, какъ краска разлилась по моему лицу.

— Такъ ты до того доволенъ своимъ положеніемъ, -- продолжать онъ: -- что даже не хочешь подумать о томъ, почему ты всегда долженъ чего-то бояться, хотя, въ сущности, никакой вины за тобой нѣтъ?

— Ну, какъ никакой вины? Винъ-то, любезный другъ, а нами -- слава Богу!

— И опять-таки срамникъ! Самъ на себя клеветать, да еще ломается! Никакихъ, понимаешь ты, *никакихъ* за тобой винъ нѣтъ, и ты на себя неблизко не выдумывай! До такой степени нѣтъ никакихъ винъ, что тебѣ даже и въ голову не приходило разобрать, дурно или хорошо твое положеніе, и отчего оно такъ устроилось, а не иначе. Вѣдь если-бъ что-нибудь за тобой было -- ужъ навѣрное ты хоть бы понять постарался, что тутъ такое есть!

— Да, дѣйствительно я какъ-то мало объ этомъ думалъ; корректура, знаешь, сѣшная работа...

— И это говоритъ человѣкъ, который весь по уши погруженъ въ литературное ремесло! Человѣкъ, у котораго не только умственные, но и матеріальные интересы, словомъ, вся жизнь до такой степени связана съ литературой, что завтра отними у него возможность писать, и онъ исчезъ -- безъ слѣда! И тебѣ не совѣстно сознаваться, что ты ни разу не подумалъ, отчего литературное ремесло у насъ такъ странно поставлено, что, занимаясь имъ, почти трудно оставаться порядочнымъ человѣкомъ! Вѣчно холоуствовать,

вѣчно думать о какихъ-то «обстановочкахъ»!—помилуй, да самый послѣдній мастеровой, и тотъ не выдержитъ этого, и тотъ прежде всего позаботится о томъ, чтобы сдѣлать свое положеніе по возможности независимымъ отъ случайностей! А вы, литераторы, вы, люди, называющіе себя выразителями умственного уровня страны, — вы только и дѣлаете, что бѣгаете какъ угорьляке, обдумывая, какъ бы такъ схорониться, чтобы и пайти васъ никто не могъ!

— И прибавь еще, что какъ ни хоронимся, а все-таки насъ умѣютъ пайти!

— Да ужъ не думаешь ли, что васъ оттого находятъ, что вы идягъ въ васъ что-нибудь опасное? Какъ бы не такъ! Просто видягъ въ васъ, во всей русской литературѣ (даже исключенія, и тѣ допускаются нехотя, скрѣпя сердце), что-то омерзительное, какую-то пресмыкающуюся гадину, при видѣ которой безъ всякаго повода приходитъ на мысль: а дай-ка я ее раздавлю! Кто васъ читаетъ? Скажи по совѣсти: кто читаетъ васъ?

— Ну, братъ, что касается до читателей, то это—фактъ несомнѣнный, что число покупающихъ книги и подписывающихся на журналы съ каждымъ годомъ все увеличивается и увеличивается.

— Да, это—явленіе дѣйствительно загадочное. Число читателей какъ будто и въ самомъ дѣлѣ увеличивается, если судить по расходу книгъ и журналовъ. Но скажи по совѣсти: знаешь ли ты своего читателя? Можешь ли ты указать, къ кому именно ты обращаешь свою рѣчь? Кого ты хочешь воспитывать? Нѣтъ, ты не отвѣтишь на эти вопросы, потому что современный русскій читатель до того разбросанъ, что дѣлается неуловимъ. Во всякомъ случаѣ, что касается до вліятельныхъ классовъ, до такъ-называемыхъ представителей культурнаго слоя, то они—честью тебя завѣряю—до такой степени игнорируютъ васъ, писателей, что единственное твердое свѣдѣніе, которое они имѣютъ о русской литературѣ, заключается въ томъ, что она омерзительна.

— Но какая же надобность литературѣ до этого! Что ее игнорируютъ, а пожалуй и презираетъ небольшая кучка вырождающихся людей, размыкивающихъ свои досуги по Баденъ-Баденамъ, Висбаденамъ и Вильдбаденамъ, разорвавшихъ всякую связь съ Россіей, за исключеніемъ полученіи доходовъ, и составляющихъ себѣ библиотеки изъ Монтепе-

повъ, Февалей и Самаровыхъ—такъ вѣдь это еще небольшая потеря!

— Постой! Покуда я называлъ только одинъ изъ числа игнорирующихъ васъ классовъ—классъ людей, именующихъ себя культурнымъ,—но можно вѣдь идти и дальше. Вообще, я думаю, гораздо легче отвѣтить на вопросъ, кто *не читаетъ* русскихъ книгъ, нежели на вопросъ, кто ихъ *читаетъ*. Знаетъ ли васъ народъ? Нѣтъ, онъ даже не подозреваетъ о существованіи русской литературы. Знаетъ ли васъ молодое поколѣніе? Нѣтъ, оно хуже нежели не знаетъ: оно относится къ современной русской литературѣ какъ къ чему-то недомысленному, лишнему какихъ бы то ни было правъ на воспитательный авторитетъ. Знаетъ ли васъ такъ-называемое учное сословіе? Нѣтъ, и оно смотритъ на литературу, какъ на проявленіе легкомыслія, которое въ благоприятномъ случаѣ можно считать бесполезно-невиннымъ, а въ бѣльшей части случаевъ имѣетъ характеръ раздражающій и, стало-быть, вредный. Кто же, спрашивается, читаетъ васъ? Отъ кого вы ждете оцѣнки себя? На кого думаете вліять?

— Согласенъ однако, что если бы насъ не читали, если-бы вліяніе русской литературы не существовало, то и вниманія никто бы на насъ не обращалъ, и писателю не для чего было бы ни лукавить, ни бояться.

— И съ этимъ не соглашусь. Повторю тебѣ: современный русскій читатель неуловимъ и разсѣянъ по лицу земли какъ іудей. Онъ читаетъ въ-одиночку; онъ ничего не ищетъ въ литературѣ и ни съ кѣмъ не дѣлится прочитаннымъ. Печатное русское слово не зажигаетъ сердце и не рождаетъ подвиговъ. Нигдѣ и ни на чемъ не увидишь ты слѣдовъ вліянія дѣйствующей русской литературы. И благонамѣренность, и неблагонамѣренность одинаково зрѣютъ и развиваются въ ея воздѣйствіи. И ежели за всѣмъ тѣмъ на литературу обращаютъ вниманіе и заставляютъ васъ трепетать, то это отчасти по старой укоренившейся привычкѣ, а отчасти по недоразумѣнію...

— Однако-жъ...

— Да, именно по недоразумѣнію, потому только, что культурный-то слой нашъ очень ужъ плохъ—и плохъ, и пугливъ. Вотъ ты сейчасъ сказалъ, что для литературы еще небольшая потеря, что се презираетъ шайка людей, которая шляется по Баденямъ да Висбаденамъ; но встань на практическую почву, да и отвѣчай мнѣ: отчего трепеть-то твой происходитъ?

— Да оттого, полагаю, что строго нынче ужь очень. Руководствъ надлежащихъ не издано, которыя содержали бы отчетливую и для всѣхъ внятную классификацію предметовъ, которыми можетъ или не можетъ заниматься литература, — вотъ и пугаются словно въ тенѣтахъ.

— Ты не остри, а выкинуть старайся. Строго, ты говоришь? да отчего строго-то? то-есть даже и не строго, а просто-на-просто презрительно? А оттого, любезный другъ, что эти самые культурные люди, которые размыкиваютъ за границей свое отвращеніе къ Россіи, вотъ они-то ужь слишкомъ большую силу взяли! Цинизтъ они, душа моя, клеветуютъ, сплетничаютъ, смуту сѣютъ! А ты вотъ тутъ сидишь да обдумываешь: какъ бы мнѣ такъ мою мысль выразить, чтобы никто не поймалъ!

— Ну, это ужь ты преувеличиваешь! Конечно, когда происходитъ процессъ печатанія и выхода книжки — и не изъять отъ нѣкоторыхъ безпокойствъ; но пишу я всегда...

— Стой! сейчасъ же тебя поймалъ! Вотъ хоть бы теперь: ты пишешь и хочешь выразить самую простую и стиюдь не закипательную мысль. Ты желаешь сказать: безсиліе русской литературы зависитъ, во-первыхъ, оттого, что у нея нѣтъ достойнаго читателя, на котораго она могла бы опереться; и, во-вторыхъ, оттого, что въ составленіи ея репутаціи слишкомъ большое участіе принимаютъ такъ-называемые культурные люди, то-есть бродяги, оторванные отъ всѣхъ интересовъ Россіи. Такова ли твоя мысль?

Я долженъ былъ сознаться, что такова.

— Ну, такъ смотри же, сколько ты обходовъ долженъ былъ сдѣлать, чтобы пустить въ ходъ эту совершенно простую мысль, на которую нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не обратилъ бы вниманія; да, пожалуй, въ другомъ-то мѣстѣ она и у самого себя, за неизвѣнемъ новода, зародиться бы по могла... Во-первыхъ, ты долженъ былъ затѣять статью въ печатный листъ, тогда какъ все дѣло ясно изъ пяти-шести строкъ; во-вторыхъ, ты долженъ былъ выдумать, что у тебя есть какой-то пріятель Глузовъ, который періодически съ тобой бесѣдуетъ, и пр. Сознайся, что ты этого Глузова выдумалъ только для рещавки, чтобъ объективности припутить, на тотъ случай, что ежели что, такъ имѣть бы готовую отговорку: я, молъ, самъ по себѣ ничего, это все Глузовъ напугалъ!

И съ этимъ я долженъ былъ согласиться.

— Что касается до меня,—продолжалъ Глузовъ:—то я тебя извиняю. Потревожилъ ты меня, другъ любезный, ну, да это—еще небольшая бѣда! Но зачѣмъ ты все это дѣлалъ? зачѣмъ ты мозги свои безпокоилъ? Вѣдь все-таки никто изъ культурныхъ людей мыслей твоихъ не узнаеть и съ объективностью твоей не познакомится!

— Да, но вѣдь ты самъ же сейчасъ сказалъ, что ежели человекъ чувствуетъ себя нехорошо, то прежде всего онъ долженъ уяснить себѣ, отчего это нехорошее ощущение происходитъ. Ну, я и выбралъ для достиженія этого способъ, который мнѣ показался наиболѣе подходящимъ.

— И прекрасно. Стало-быть, я послужилъ къ тому, что заставилъ тебя высказаться,—и то барышъ. Теперь ты знаешь источникъ твоего трепета; следовательно остается только разработать эту тему, и буде возможно, то идти и дальше. А такъ какъ безъ объективности ты все-таки не обойдешься, то я, съ своей стороны, всегда къ твоимъ услугамъ готовъ!

Итакъ, причина сказалась, хотя, быть-можетъ, и не единственная, но, во всякомъ случаѣ, одна изъ причинъ. Глузовъ правъ: достовѣрнаго, всѣаго читателя современная русская литература не имѣетъ, а между тѣмъ культурные Бобчинскіе и Добчинскіе до того ужъ расцебетались, что даже, повидному, совсѣмъ забыли, что еще очень недавно Сквозникъ-Дмухановскій безъ церемоніи называлъ ихъ «сороками короткохвостыми». Не будь короткохвостыхъ сорокъ, слястичающихъ, стрекочущихъ, праздно порхающихъ—много бессмысленной кутерьмы умерло бы въ самомъ зародышѣ, не оцутывая своими тенѣтами добронерядныхъ людей. Но спрашивается: что же тутъ дѣлать? какъ унять сорочье племя? какъ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать безвреднымъ его стрекотаніе? Убѣждать ихъ? Но развѣ можно имѣть дѣло съ слястичающимъ племенемъ, которое прежде всего не знаетъ даже предмета своихъ слястичъ? Сдѣлать ихъ слястичи безвредными? Но вѣдь для этого нужно еще доказать, что сорока—ни больше, ни меньше, какъ дрянная и не заслуживающая довѣрія птица; а какая же возможность достигнуть этого, когда весь міръ склоненъ видѣть въ Бобчинскихъ представителей культуры и ужъ по малой мѣрѣ носителей благонадежныхъ элементовъ? Сколько разъ были дѣлаемы попытки въ этомъ родѣ! Сколько разъ я самъ и убѣждалъ, и удостоверялъ, и даже до начальства доходилъ!



— Ваше превосходительство,—говорилъ я:—вѣдь это—птица!

— Ну-съ, дальше-съ.

— Вѣдь птица, ваше превосходительство, глупа и робка. Ей, съ глупости да со страху, Богъ вѣсть что привидѣться можетъ... Птица—это, ваше превосходительство, птица!

— Птицы да птицы—затвердили одно! Знаю, что—не люди, но есть случаи, когда птица... Птицы, милостивый государь, не волнуютъ общественнаго мнѣнія, не смущаютъ умовъ, а люди, а вы-съ...

Это—единственный результатъ, котораго я добился цѣною многоякихъ усилій. Неужели же мнѣ предстоитъ опять приниматься за ту же работу убѣжденія, т.-е. возобновлять сейчасъ приведенный разговоръ? Но если бы я и дѣйствительно могъ убѣдить, что не я волную и смущаю, а именно Бобчинскіе и Добчинскіе, которые своими безсмысленными сплетнями свѣютъ повсюду не менѣе безсмысленную панику, то развѣ его превосходительство поцеремонится отвѣтить мнѣ:

— Ну, что же-съ! пусть будетъ и такъ-съ! Они и смущаютъ, и волнуютъ—я съ вами согласенъ-съ! Но Бобчинскіе намъ милы, въ Добчинскихъ мы увѣрены, а въ васъ-съ...

И дѣло съ концомъ. Ужаси я и тутъ еще не умолкну? «Они намъ милы», «мы въ нихъ увѣрены»—развѣ этого мало? Кого же наконецъ и баловать, какъ не людей, относительно которыхъ существуетъ увѣренность, что ужъ они-то никакихъ затрудненій представить для насъ не могутъ?

Ставиви на эту почву, мнительное воображеніе уже не оставалось въ созиданій перспективѣ, исполненныхъ всякаго рода препятствій. Мнѣ чудилось, что я стою среди безчисленной стаи сорокъ и держу имъ такую рѣчь: «Сороки короткохвостыя! понимаете ли вы, что такое литература и что такое, въ сравненіи съ нею, ваше сорочье стрекотанье? Литература—о, легкомысленнѣйшія изъ птицъ!—есть воплощеніе человѣческой мысли, воплощеніе вѣчное и непреходящее! Литература есть вѣчно такое, что, проходя черезъ вѣка и тысячелѣтія, записитъ на скрижали свои и великія дѣянія, и безобразія, и подвиги самоотверженности, и гнусныя подстрекательства трусости и легкомыслія. И все однажды занесенное ею не пропадаетъ, но передается отъ потомковъ къ потомкамъ, вызывая благословенія на головы однихъ и глумленія на головы другихъ. Понимаете ли вы все безсиліе ваше въ виду этого неподкупнаго и непоколебимаго величія? Если вы этого не понимаете, то

подумайте хоть то, что есть судъ въковъ, и что у васъ есть дѣти: что если вы лично и равнодушны къ суду исторіи, то ваши дѣти могутъ, ради вашего всеу звенящаго срамословія, извѣмочь подъ его тяжестью! Остановись же, Бобчинскій, и не извергай яда легкомыслия на то, что недоступно твоему скудному пониманію! Ибо сыпъ твой, который будетъ несомнѣнно лучше и прозорливѣе тебя, угадаетъ твои дѣянія—и, можетъ-быть, устыдится признать въ тебѣ отца своего!»

Однимъ словомъ, я спускаюсь на почву чисто-практическую, хватаюсь за самую живую струну—за дѣтей, хочу растолковать, что ради нихъ, этихъ многолюбимыхъ дѣтей, не бесполезно держать языкъ за зубами, даже въ томъ случаѣ, если имѣется въ перспективѣ медаль за спасеніе погибающаго культурнаго общества. И что—жъ! сороки сначала смотрятъ на меня и другъ на друга недоумѣвающими глазами, но потомъ мало-по-малу осмѣливаются, цеголевато подскакиваютъ къ самымъ ногамъ, расправляютъ крылья, чистятъ носы и, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжаютъ прерванное стрекотаніе... «А наплевать намъ на исторію! наплевать на дѣтей! И мы—навозъ, и исторія—навозъ, и дѣти наши—навозъ!»—слышится мнѣ среди безнадежнаго хаоса звуковъ...

Ахъ! никогда я не зналъ ничего болѣе унижительнаго и до боли гнетущаго, какъ это праздное сорочье стрекотаніе! Есть въ немъ что-то посяражняющее слухъ человѣческій и въ то же время дразнящее, подуськивающее. Бобчинскіе не вызываютъ гнѣва, а именно только дразнятъ, нахально опираясь при этомъ на свою сорочью невѣжливость. Дѣлая пакости, иногда равноспяльныя злодѣяніямъ, они вовсе не сознаютъ исключимости своего творчества, но лишь выполняютъ провиденціальное свое назначеніе. И вотъ къ этому-то подневольному, невѣжному и, вдобавокъ, неопытному виду человѣка я долженъ обращаться, долженъ думать о немъ, объяснять его и обличать сорочье его щебетаніе! Гдѣ, въ какой странѣ возможенъ подобный подвигъ, исключая гнѣхъ постылыхъ сорочьихъ угловъ, гдѣ Бобчинскіе и Добчинскіе даютъ тонъ жизни, гдѣ, быть-можетъ, даже совсѣмъ погасла бы жизнь, если-бъ не будило ее ихъ назойливое стрекотаніе!

Да и съ какимъ правомъ я обращу свою проповѣдь къ Бобчинскимъ? гдѣ тотъ противовѣсъ, на который я могъ бы опереться при этомъ? гдѣ онъ, гдѣ тотъ загадочный

русский читатель, отъ которого я имѣлъ бы право ожидать  
оцѣнки и одобренія?

Покуда я такимъ образомъ размышлялъ, Глузовъ молча  
ходилъ по комнатамъ и, повидному, тоже что-то обдумывалъ.  
Наконецъ онъ остановился противъ меня и сказалъ:

— Знаешь ли что, вѣдь я на-дняхъ Петьку Износкова  
встрѣтилъ!

— Ну, и Богъ съ нимъ!

— Да ты слушай. Идетъ онъ по Морской, а въ глазахъ  
у него такъ и свѣтится культурность. Словомъ сказать, про-  
изводитель во всѣхъ статьяхъ. Встрѣтился—ничего. Дру-  
гихъ культурныхъ людей поблизости не случилось—стало-  
быть, и мнѣ вихомолку руку подать можно. Постояли, по-  
глядѣли другъ на друга, школьную жизнь вспомнили. Вы-  
правился онъ, раздобрѣлъ—страсти! Въ плечахъ—косая са-  
жень, грудь колесомъ, тѣло круничатое, румянецъ такъ и  
хлопаетъ во всю щеку. Такъ вотъ весь, веѣмъ нутромъ  
словно говорить: а хочешь, я сейчасъ тебѣ цѣлую десятину  
упаваю! А картавить какъ—заслушаешься!

— И охота тебѣ говорить объ немъ!

— Вотъ видишь, любезный, ты объ немъ и говорить не  
хочешь, а онъ объ тебѣ вспоминалъ! «Гдѣ, говорить, онъ?  
я, говорить, слышать, что онъ съ мерзавцами связался?»

— И ты, разумеется, подтвердить?

— Еще бы! Да, говорю, жаль малаго, скружился!

Затѣмъ Глузовъ, по своему обыкновенію, засматъ меня  
анекдотами изъ жизнеописанія русскаго культурнаго чело-  
вѣка, такъ что мало-по-малу и меня самого увлекъ въ область  
воспоминаній о нашей совмѣстной школьной жизни.

— А помнишь ли,—сказалъ я:—какъ ми въ школѣ ро-  
дословную Износкову сочинили: отецъ—Бычокъ, мать—  
Святлана, бабка—Рѣзвая, отъ Громобоя и Гориславы, пра-  
прапуръ—самъ Синеустъ?

— А дядя, которъй въ то время полковникомъ въ гу-  
саряхъ служилъ,—сѣрый въ яблокахъ Борисосепъ? А помнишь,  
какъ онъ рассказывалъ: «у меня маман такая слабенъ-  
кая, что даже родить меня сама не рѣшилась, а тетенкѣ  
поручила»?

— Да, да, да! какъ давно одноао все это было, и  
сколько воды съ тѣхъ поръ утекло!

— Такъ много утекло, что онъ даже поумнѣть успѣлъ.  
Серьезно говорю. Прежде, бывало, только зубы показывалъ,  
бѣлые-разбѣлые, а нынче и говорить началъ. «Пальто, го-

ворить, у меня отъ Шармега, панталоны—отъ Тедески, жакетка—отъ Жюжжé!» И объ заграничномъ житиѣ тоже: «въ Германіи, говоритъ, горы зеленныя, въ Швейцаріи—горы голыя, въ Италиі—небо синее, а въ Римѣ—римскій папа сидитъ!» Словомъ сказать, ведетъ свѣтскій разговоръ да и шабашъ!

— Въ администрагоры, чай, мѣтить?

— Нѣтъ, эта въ пемѣ благородная черта есть: безъ дѣла слоняться предпочитать. А то какъ бы не повасть: вѣдь ему графиня Нахлесткина теткой родной приходится! Да ему и не зачѣмъ: и безъ того его положеніе завидное. Нынче, братъ, такой особенный чинъ пародился: всякій, кому голову приклонить некуда, представителемъ культурнаго слоя себя называетъ. Вотъ онъ приписался къ этому чину, да и щеголяетъ въ немъ по-бѣлу-свѣту. Лѣтомъ—на водахъ и въ Швейцаріи, осенью и весной—въ Парижѣ, на зиму—въ Петербургъ: ѣсть и пить онъ отлично, спитъ въ мѣру, желудокъ у него варитъ на-славу, огорченій никакихъ—чего еще, какихъ еще почестей нужно!

— Да, братъ, хорошо бы хоть годокъ такъ пожить! А то маешься-маешься, словно бы и дѣло дѣлаешь, а результатъ одинъ: боочію видишь, какъ подтачивается и засыхаетъ твоя жизнь!

— А я тебѣ знаешь ли, что хотѣлъ предложить? Сходимъ-ка вмѣстѣ къ Износкову!

— Это зачѣмъ?

— Во-первыхъ, для разогнанія хандры. По моему мнѣнію, что съ Износковымъ повидаться, что на хорошій пирогъ съ начинкой посмотреть—однаково сердцемъ расцвѣтешь. А во-вторыхъ, хотѣлось бы и предполагаемаго читателя твоего тебѣ показать—вѣдь ты говоришь, что у васъ ихъ много,—чтобы ты самъ убѣдился, какъ онъ на тебя смотритъ и о тебѣ разговариваетъ.

— Да вѣдь Износковъ, пожалуй, сдѣлаетъ видъ, что не узнаетъ меня! Или и узнаетъ, да какую-нибудь глушость брякнетъ!

— А мы, для предосторожности, такой часъ выберемъ, когда у него культурныхъ людей не бываетъ. Часовъ, этакъ, около половины двѣнадцатаго утра. Въ это время онъ всегда отлично себя чувствуетъ. Выспался превосходно, пищевареніе совершилось благополучно... добръ онъ тогда! Много-много что легонькій репримандецъ сдѣлаетъ... Ну, да вѣдь ты насчетъ репримандовъ-то—травленный волкъ!

По обыкновенію, я нѣкоторое время слегка противорѣчить и по обыкновенію же въ концѣ концовъ сдался.

Мы застали Изюскова за занятіемъ, которому онъ, по-видимому, придавалъ большую важность. Онъ сидѣлъ за туалетнымъ столомъ передъ зеркаломъ, въ брюкахъ безъ жилета, въ точнейшей и бѣлой какъ снѣгъ рубашкѣ, и по-вязывалъ на шею галстукъ. Подтяжки такъ и врѣзывались въ его пухлыя плечи. Я ужъ лѣтъ двадцать пять не встрѣчался съ Изюсковымъ, и мнѣ вдругъ почудилось, что я вновь очутился въ школѣ, и что Петя Изюсковъ показываетъ мнѣ свои ослѣпительно-бѣлые зубы. Высокій, широкогрудый, румяный и бѣлый, онъ подавлялъ своимъ могучимъ здоровьемъ, которое такъ и лучилось изъ всѣхъ его поръ. На лицѣ его ни одной морщинки; глаза съ какимъ-то сизо-металлическимъ блескомъ, словно сейчасъ отчеканенные пятиалтынные сорокъ второй пробы; губы пухлыя, аллы, ослѣплены топенькими усиками, вытянутыми въ литку; щеки чистыя, румяныя; тѣло, правда, нѣсколько тучное, но крѣпкое; грудь высокая, почти женская. Однимъ словомъ, время скользнуло по немъ, не оставивъ ни на одной части его организма никакого слѣда.

— Ва! литераторъ!—воскликнулъ онъ, протягивая руки съ тѣмъ порывистымъ жестомъ, который употребляютъ актеры Михайловскаго театра, когда хотятъ выразить радостіе:—какими судьбами?

— Да вотъ, какъ видишь!

— Пойтой! всталъ-ка ближе къ свѣту, вотъ такъ! Постарѣлъ, душа моя! Все стихи пишешь?

— Какіе же онъ стихи пишешь!—вспунился Глумовъ:—отродясь, я чай, ни одного стиха не сочинилъ!

— Ну, все равно—прозой пишешь! Я, признаюсь откровенно, съ русской литературой незнакомъ. C'est à dire, я, конечно, знаю... Derjavine, Karamzine, Pouschkin, le comte Sollogoub... Но тебя, мой другъ,—кажись!—не читаю! Но какъ ты однако-жъ невозвратно постарѣлъ! Эта сѣдая борода, этотъ землистый тонъ лица, эти морщины... Я нарн готовъ держать, что все это у тебя отъ стиховъ!

— Ну, а ты такъ совсѣмъ не измѣнился: какъ въ школѣ красавцемъ былъ, такъ и теперь молодцомъ глядишь!

— Да, но вѣдь это—цѣлая наука, mon cher! Конечно, не столь трудная, какъ, напримѣръ, стихи писать!

Онъ сѣлъ и усадилъ меня противъ себя, держа за руки и смотря мнѣ прямо въ глаза. При этомъ лицо его озярилось не то глушою, не то лукавою улыбкой, какъ будто онъ хотѣлъ сказать: хоть я стиховъ и не пишу, по тебя вижу и даже насквозь тебя, голубчикъ, понимаю!

Я помню, эта улыбка еще въ школѣ меня ужасно смущала, хотя я никогда не могъ хорошенько опредѣлить, въ чемъ собственно состоитъ ея смущающее свойство. Слѣдить передъ нами человекъ, смотреть намъ прямо въ глаза и улыбается. Хочетъ ли онъ этимъ сказать: «я глупъ по-сомуиѣнно, но мнѣ нимало этого не совѣстно», или желаетъ выразить мысль болѣе сложную: «посмотри, какъ я чистъ сердцемъ (у насъ сердечная чистота очень часто считается неизмѣннымъ спутникомъ глупости); а ты?» И начинаешь вдругъ казаться, что этотъ улыбающийся человекъ, при всей его глупости, все-таки себѣ на умѣ; что онъ знаетъ нѣчто болѣе, нежели можно ожидать отъ его простодушія, и знаетъ именно то, что пуще всего хотѣлось бы скрыть... А ну какъ онъ «ляпнетъ»? Умный человекъ—тогда посоветится и не «ляпнетъ», а дуракъ—вѣдь не даромъ же говорить, что дураку море по колено—ляпнетъ онъ, неизмѣнно ляпнетъ!

— Постой, о стихахъ говорить не захѣлъ, — скажаль между тѣмъ Глуховъ:—а вотъ мы лучше о чемъ поговоримъ. Сейчасъ ты промолвилъ, что сего кака-то наука, благодаря которой ты до сорока пяти лѣтъ прожилъ, а все еще тридцатилѣтнимъ мужчиной смотришь. Такъ объясни ты намъ, сдѣлай милость, что это за наука такая?

— Mon cher! Главный секретъ этой науки состоитъ въ томъ, чтобъ начертить себѣ извѣстный *esprit de conduite* и захѣлъ все дѣлать въ свое время и не упускать ни одной подробности изъ того режима, который ты однажды призналъ для себя полезнымъ, — отвѣчалъ Ивносковъ.— Если ты твердо рѣшился слѣдовать этой линіи—твое дѣло выиграно; если же ты хоть однажды что-нибудь пропустилъ или сдѣлалъ не въ-время—все пропало!

— Да, но вѣдь ты понимаешь, что съ однимъ хорошимъ поведеніемъ...

— О! что касается до средствъ, то съ этой стороны мы совершенно обезпечены. Намъ остается только протянуть руку и черпать. Это даже невѣроятно, какіе громадныя успѣхи сдѣлали въ послѣднее время туалетная химія, туалетная механика и туалетная гигиена! Нѣтъ самой ши-

чтожной бездѣлицы, которая не была бы предусмотрѣна; дѣтъ того *cosmétique*, дѣйствию котораго не было бы определено съ величайшею точностью! Конечно, ошибки могутъ быть и здѣсь... Такъ, напримѣръ, въ газетахъ сплошь и рядомъ мы читаемъ объявленія о разныхъ *dentifrices*, *saux de Vénus* и такъ далѣе — ну, разумѣется, къ этимъ средствамъ необходимо относиться съ нѣкоторою предусмотрительностью...

— Какъ же тутъ быть предусмотрительнымъ, — какъ бы недоумѣвалъ Глуховъ: — ну, прочитай, напримѣръ, въ газетахъ: мазь для рощенія волосъ... взять, намазався ею на ночь — анъ на утро у тебя вмѣсто головы голое колѣно!

— Да, ежели ты только эмпирикъ — оно непременно такъ и случится. Я самъ, когда вышелъ изъ школы, тоже стогряча прибѣгнувъ къ одной *crème d'odalisque*, которая, судя по объявленію, должна была сообщитъ моей кожѣ «*une velouté jusqu'ici inconnue*», но на повѣрку вышло, что я цѣлую ночь проспалъ со щеками, вымазанными какою-то мерзостью, а на утро у меня по всему лицу выступили прыщи. Ошибки, мой другъ, неизбежны; но онѣ-то и должны намъ указывать, до какой степени необходимо во всякомъ дѣлѣ быть осмотрительнымъ. Нужно пользоваться этими ошибками, но не для того, чтобы вновь впадать въ нихъ, а для того, чтобы ихъ не повторять.

— Это ты правду сказалъ насчетъ ошибокъ-то. Но легко вѣдь говорить: будь осмотрителенъ, а какъ ты будешь осмотрителенъ, когда перевѣдъ тобой все неизвѣстность и мракъ?

— Откровенно скажу тебѣ, что я въ этомъ случаѣ — консерваторъ! Литераторъ! — обратился оиъ ко мнѣ: — можеть-бытъ, тебя это слово шокируетъ, но ужъ извини меня, душа моя: я вѣдь вездѣ и во всемъ — консерваторъ! Во всемъ, ты понимаешь?. Я революціи не терплю... никакихъ!.. А впрочемъ, объ этомъ поспѣ. Итакъ, я — консерваторъ и потому въ болышей части случаевъ прибѣгаю къ такимъ средствамъ, надежность которыхъ уже испытана. Конечно, я допускаю и новые пути; я не до такой степени упоренъ, чтобы не понимать, *qu'il y a quelque chose à faire*, но на этотъ конецъ я имѣю такихъ субъектовъ, которымъ я плачу и которые на себѣ испытываютъ дѣйствию средствъ, кажущихся мнѣ интересными. Сверхъ того, вездѣ существуютъ такіе шимисты и ижеимисты, которыхъ специальность составляютъ туалетная химія и туалетная ижеина.

И, напримѣръ, имѣю на этотъ предметъ въ Петербургѣ годового доктора, котораго соображенія были всегда для меня драгоценны. Но, кажется, разговоръ нашъ не занимаетъ тебя?—опять обратился онъ ко мнѣ съ тою же глухо-аукавою улыбкой:—вѣдь ты привыкъ говорить о предметахъ возвышенныхъ... о революціяхъ, напримѣръ?

— Помилуй, любезный другъ!—испугался я:—да я и самъ...

— Оставь его!—вступился за меня Глумовъ:—нравится или не нравится ему нашъ разговоръ—какое намъ до этого дѣло! Главное, чтобы намъ правился. Ну-съ, такъ продолжаемъ. И много у тебя времени беретъ эта туалетная гимнастика?

— Да какъ тебѣ сказать?—почти что весь день! Нищиче раздѣленіе труда доведено до такой степени, что каждая часть тѣла служитъ предметомъ особеннаго ухода, особенныхъ порученій. Вотъ хоть бы сегодня. Я всталъ въ восемь съ половиною часовъ и до сихъ поръ—теперь половина двѣнадцатаго—не успѣлъ еще окончить моего туалета. Разумѣется, главное уже кончено, а все-таки необходимо дать послѣдній *суп де майн*. Съ твоего позволенія, господи!

— Сдѣлай одолженіе, мы и во время туалета можемъ вести разговоръ!

Износковъ позволилъ французамъ-лакеямъ и опять отправился къ туалетному столу. Послѣдовалъ обрядъ надѣванія жилета и жакетки, во время котораго Износковъ повертывался передъ зеркаломъ на собственной оси, подергивалъ плечами, слегка постукивалъ пальцами по груди, какъ бы взбивая ее, а французъ-лакей не ходилъ, а какъ-то беззвучно плавалъ вокругъ него, слѣди за всѣми его движеніями и старался удловить на лету великую его мысль. Наконецъ все было слажено, все сидѣло какъ вылитое, хотя ничто не обличало мучительной работы, предшествовавшей послѣднему *суп де майн*. Мы отправились въ столовую, гдѣ ужъ былъ сервированъ завтракъ на три персоны.

— Ну, а насчетъ пиши и интѣи какъ?—интересовался Глумовъ.

— Увы! ты затронулъ самое больное мѣсто моего существованія!—отвѣтилъ Износковъ.—Да, хромаетъ у меня эта часть, сильно хромаетъ! Хотя, конечно, и въ этомъ отношеніи я дѣлаю все, что можно, *tout ce qui est humainement possible!*



— А напримѣръ?

— Вотъ видишь ли, чтобы ты могъ понять меня вполне, я расскажу тебѣ весь свой петербургскій день. Литераторы! это не обезножатъ тебя?

— Да нѣтъ же! Я даже не понимаю, почему ты предполагаешь! — поспѣвши я разувѣрить его и при этомъ улыбнулся такъ глупо, такъ глупо, что, право, кажется, глупѣе самого Износкова.

— Ну, такъ слушайте же меня! — серьезно началъ Износковъ, предварительно наливъ намъ по стакану превосходнаго лафита. — Я пробуждаюсь утромъ всегда въ восемь съ половиной часовъ. Почему въ восемь съ половиной, а не въ восемь и не въ девять — это я вамъ сейчасъ объясню. Во-первыхъ, раньше восьми съ половиной въ Петербургѣ, зимой, рѣдко бываетъ достаточно свѣтло; во-вторыхъ, если-бы я всталъ раньше, мой французъ былъ бы не готовъ, а безъ него я не могу сдѣлать шага; если бы же я всталъ позднее, то самъ непремѣнно бы вездѣ опоздалъ; въ-третьихъ, это — именно тотъ часъ, когда пищевареніе у меня уже совершилось, а въ-четвертыхъ, съ восьми съ половиной часовъ передо мной, по крайней мѣрѣ, два съ половиной часа, въ продолженіе которыхъ никто — вы понимаете: *никто!* — не можетъ мнѣ помѣшать. Затѣмъ, *ceci posé, continuons.* Вставши съ постели, я сейчасъ же сажусь въ ванну. Въ ванну въ двадцать два градуса, ни больше, ни меньше, и съ двумя фунтами *savon dulcifiant*, предварительно распушеннаго въ водѣ. Въ ваннѣ я сижу ровно двадцать двѣ минуты, и въ девять часовъ я уже тамъ, въ той комнатѣ, въ которой вы меня застали. Я начинаю свою работу съ того, что мѣю губкой лицо, руки, чищу ногти, прополаскиваю себѣ ротъ, чищу зубы, языкъ и проч. и, вытеревши себя досуха особаго рода впитывающимъ влажностъ полотенцемъ, прихожу на свой постъ, къ моему туалетному столу. Здѣсь я прежде всего начинаю съ изслѣдованій: внимательно разсматриваю свое лицо, и ежели замѣчаю гдѣ-нибудь прыщъ или красноту, то стараюсь припомнить определенный мною наканунѣ день, чтобы вполне точно опредѣлить причину кожного раздраженія. Кончивши изслѣдованія, сообразивши тѣ средства, которыя мнѣ могутъ потребоваться, и расположивши сляпки такъ, чтобы оны были какъ можно ближе подъ рукою, я начинаю работу практическихъ примѣненій, то-есть дѣлаю все, что нужно, чтобъ получить въ результатѣ лицо вполне приятное. Ма

foi messieurs! если-бъ вы пришли ко мнѣ часомъ раньше, то не ручаюсь, что вы не увидѣли бы меня съ лицомъ, засыпаннымъ пудрою и покрытымъ различными onguents! Загѣмъ, откуда все это сохнетъ, я начинаю отдѣлку ногтей. Ногти, messieurs, то-есть ногти порядочнаго человѣка— вещь очень важная и вполне зависящая отъ пастъ самихъ. Ни носа, ни глазъ, ни даже зубовъ мы ни удлиннить, ни укоротить не можемъ; съ ногтями же мы можемъ сдѣлать все, что только въ состояніи придумать изысканный вкусъ, согласованный съ требованіями современности. Ногти порядочнаго человѣка должны быть ни очень коротки, ни очень длинны (при этомъ изреченіи Износкова я невольно взглянулъ на свои ногти: они были обгрызенны!). Слишкомъ длинный ноготь съ трудомъ поддается обдѣлкѣ и скоро принимаетъ перьялистый роговой цвѣтъ; слишкомъ короткий ноготь придастъ пальцу неприличный мясистый тонъ. Et puis un ongle doit être effilé и имѣть розовый цвѣтъ— вотъ (онъ показалъ намъ свои ногти)! Отдѣлка ногтей беретъ у меня около двадцати минутъ и требуетъ въ практическомъ смыслѣ большой опытности. Я употребляю при этомъ до двадцати названій разныхъ ножницъ, ножичковъ, подпалковъ, щеточекъ— но этому одному вы можете судить о томъ, до какой степени въ этомъ дѣлѣ доведено раздѣленіе труда! Покончивши съ ногтями, я нью свой кофе и терпѣливо ожидаю дѣйствія тѣхъ средствъ, къ которымъ съелъ нужнымъ прибѣгнуть передъ отдѣлкой ногтей. Въ одиннадцать часовъ я умываюсь вновь, обтираюсь съ особенною тщательностью и непременно передъ зеркаломъ. Потому что если-бъ я вытирался не передъ зеркаломъ, то изъ этого могли бы выйти слѣдующія послѣдствія: во-первыхъ, не всѣ части моего лица и рукъ были бы вытерты равномерно и досуха, а во-вторыхъ, я могъ бы допустить недосмотры, которые потомъ было бы гораздо труднѣе поправить, нежели теперь, по горячимъ слѣдамъ. Справившись окончательно съ лицомъ и руками, я начинаю причесываться, приступаю къ одѣванію и завязываю галстука. Здѣсь— опять цѣлая наука. Вотъ эти панталоны— посмотрите, какъ онѣ схватываютъ ляжку и какъ потомъ незамѣтно, почти нечувствительно, спускаются, спускаются и наконецъ... ложатся на сапогъ! Они— отъ Тедески. Въ Петербургѣ есть довольно хорошихъ портныхъ, но что касается панталонъ— это Тедески! Тедески— это вальтеръ, который создастъ ногу почти неожиданно, точно такъ же,

какъ Миссисигъ совѣмъ неожиданно создать памятникъ тысячелѣтню Россіи. Затѣмъ жилетъ и фракъ должны быть отъ Жоржѣ. Но этого еще мало — одѣться! Нужно еще знать, во что одѣться, нужно понимать толкъ въ дѣлѣтахъ. Во всемъ необходима гармонія, и ежели, напримѣръ, при панталопахъ gris perle ты надѣшь зеленый жилетъ, то какъ бы отлично все это ни сидѣло на тебѣ, ты никогда не будешь порядочнымъ человѣкомъ. Все это необходимо взвѣсить и сообразить, и вы поймете, почему я только теперь, въ двѣнадцать съ половиной часовъ, то-есть черезъ четыре часа послѣ пробужденія, могу приять васъ за завтракомъ. Не забудьте, что я опустилъ еще множество интересныхъ подробностей, которыя также требуютъ времени. Такъ, напримѣръ, я утромъ *непрелѣнно* осматриваю весь гардеробъ и распределяю мои костюмы на двѣлиль день; утромъ же я регистрирую мои счеты и т. д. Такъ что, говоря по совѣсти, если-бъ и захотѣлъ исполнить все какъ слѣдуетъ — мнѣ мало было бы и двадцати четырехъ часовъ въ сутки. Но что же дѣлать! à l'impossible nul n'est tenu! Я — человекъ, и имѣю обязанности относительно общества, и потому...

— Ты покоряешься, непягтное дѣло, душа моя! — прервалъ Глумовъ. — Ахъ, голубчикъ! вѣдь то-то въ тебѣ и дорого, что отдѣлка наружности у тебѣ сама по себѣ, а обязанности относительно общества сами по себѣ!

— Благодарю, ты неимяль меня. Есть люди, господа (Износковъ взглянулъ строго, но ни на кого въ особенности), которые думаютъ сами и внушаютъ другимъ, что мы исключительно заняты разными mesquineries; но это доказываетъ только, что пастъ совѣмъ не знаютъ. Но оставимъ это. Итакъ, мы остановились на томъ, что въ половинѣ перваго я завтракаю и принимаю друзей. Въ часть мой завтракъ уже конченъ, и я выхожу дѣлать мою первую прогулку, при чемъ стараюсь какъ можно больше себя утомить. Въ это время въ гостинныхъ не принимаютъ, слѣдовательно итѣть еще большой бѣды, если мое тѣло дастъ и испарину. Въ эти же часы я позволяю себѣ сдѣлать одинъ короткій дѣловой визитъ — одинъ за разъ, никакъ не больше — и въ два съ половиной часа я снова дома.

— Ты говоришь: одинъ визитъ, но отчего не два, напримѣръ? — заинтересовался Глумовъ.

— А потому, мой другъ, что два или больше дѣловыхъ визитовъ утомили бы меня. Вообще это — правило, которое

почти не терпит исключений: дѣловой элементъ долженъ входить въ жизнь лишь настолько, насколько этого требуютъ самыя-самыя пестерлящія обстоятельства.

— Помилуй, душа моя! Какъ же ты-то можешь это говорить, когда ты самъ—можно сказать—мученикъ дѣла, когда ты съ утра до вечера...

— Да, но это—совсѣмъ другое. То дѣло—моя специальность; тутъ я вполне въ своей сферѣ. Тогда какъ подъ «дѣловыми визитами» я разумѣю собственно тѣ, къ которымъ обязываютъ меня общественныя отношенія. Я—человѣкъ партіи, другъ мой! я—консерваторъ, и притомъ одинъ изъ представителей великаго культурнаго слоя Россіи. Одно это званіе уже налагаетъ на меня тѣмъ обязанностей. Лично для себя я не ищу ничего—я не честолюбивъ, я вполне обезпеченъ и люблю свободу; но во мнѣ имѣются пужду люди моей партіи, и тутъ—il faut que je m'exécute!

— Чтѣ и говорить! Тому мѣстечко, другому крестикъ или чинъ—культурные люди должны поддерживать другъ друга, благо обстоятельства сложились благоприятно для нихъ.

— Вотъ это и есть моя мысль. Но ты понимаешь, что всѣ эти ходатайства, просьбы и рекомендаціи не могутъ же быть особенно интересны. Тѣмъ болше, что нерѣдко насъ осаждаютъ такіе шалопаи, которые въслѣдствіи ставятъ въ большое затрудненіе само правительство...

— А ты бы за такихъ не ходатайствовалъ!

— Нельзя, mon cher. Во-первыхъ, я, къ сожалѣнію,—не сердцевѣдецъ, а во-вторыхъ, намъ нужны люди. Необходимо, чтобы ряды наши были наполнены, чтобы мы всегда были въ состояніи противостоять. Но во всякомъ случаѣ эти ходатайства составляютъ одно изъ болыныхъ мѣстъ моего существованія, и потому очень понятно, что относительно дѣловыхъ визитовъ я не могу допустить болѣе одного въ день.

— Однако, братъ, и у тебя... шиши-то, вѣрно, у всякаго есть!

— И какіе еще шиши! На-дняхъ Коля Персіяновъ, нашъ общій товарищъ и человѣкъ, котораго мы вѣнемъ я болше всего на свѣтѣ дорожу, прямо въ глаза мнѣ сказалъ: «Душа моя! ты всегда рекомендуешь или глумишь, или негодуешь! Одинъ изъ твоихъ protégés на-дняхъ у Доминика пирога украсть!» Каково мнѣ было слышать это!

Правда, онъ тутъ же поспѣшнѣе прибавитъ: «а впрочемъ, всѣ эти прекрасные незнакомцы, которые являются къ намъ подлѣ личиной консерваторовъ, — всѣ они большой руки шалопан...» но все-таки мнѣ было очень и очень не-пріятно!

— Еще бы! вѣдь мнѣніе Коли Персѣйнова...

— Ахъ, мой другъ! это — такой человекъ, такой человекъ! Нашъ ровесникъ — и ужъ правая рука! *Ma tante, la comtesse Nakhljostkine*, называетъ его «государственнымъ юношей». *Et avec ça, d'une bonté, d'une prévenance...* ни одинъ проситель не уходитъ отъ него не очарованнымъ! Добръ и то въ же время твердъ, особенно если дѣло коснется принциповъ. Ужъ онъ по шёрсткѣ не погладитъ... ши-ни!

— Ну, о Персѣйновѣ послѣ. Ты такъ интересно рассказываешь свой день, что я, право, заслушался. Продолжай, пожалуйста.

— Къ половинѣ третьяго я возвращаюсь домой. Тутъ я опять освѣжаю собѣ лицо и руки; но, понятно, уже не съ тѣмъ вниманіемъ, какъ утромъ. Истинное достоинство моей системы въ томъ и состоитъ, что утромъ вся главная работа уже сдѣлана, и затѣмъ въ продолженіе дня я отдаюсь одиѣмъ поправкамъ. Освѣжившись, я надѣваю костюмъ, предназначенный для визитовъ, и въ три часа, если погода благоприятствуетъ, выхожу на Невскій — это вторая моя прогулка, которую я дѣлаю, уже не утомляя себя. Тутъ я встрѣчаюсь съ знакомыми, узнаю новости дня и около четырехъ часовъ сажусь въ карету и отправляюсь съ визитами. И такъ какъ главные новости дня мнѣ извѣстны, то понятное дѣло, что недостатка въ *subjects de conversation* не можетъ быть. Но если новости скудны, то у меня всегда есть въ запасъ различныя *impressions de voyage*, которыя очень легко припоминаются и всегда какъ-то новы. Время проходитъ быстро, такъ что и не увидишь, какъ наступитъ половина шестого, моментъ, когда я долженъ быть вновь на своемъ посту, т.-е. дома, за туалетнымъ столомъ. Здѣсь я опять освѣжаю лицо и руки и надѣваю фракъ или сюртукъ, смотря по тому, куда отправляюсь обѣдать. Все это дѣлается быстро, очень быстро, потому что въ шесть часовъ я долженъ быть на мѣстѣ. Вотъ тутъ-то именно и начинаются тѣ затрудненія, о которыхъ я уже говорилъ.

— Насчетъ пищи и питія, что ли?

— Именно. До сихъ поръ я былъ самъ себѣ господиномъ; я распоряжался и своимъ временемъ, и своими дѣйствіями по плану, мною самимъ составленному и обдуманному. Лично — я очень умѣренъ. Мой каждодневный завтракъ вы видите: это — добрый кусокъ мяса, блюдо сладкаго и полбутылка, много бутылка лафита. Этого, конечно, достаточно, чтобъ насытить, но пресыщенія тутъ быть не можетъ. Между тѣмъ вѣкъ дома я уже не завишу отъ себя. Я не пользуюсь достаточной суммой свободы, которая необходима, чтобъ благоразуміе и строго разсчитанная система дѣйствій не переставали служить руководящею нитью моихъ жизненныхъ отиравленій.

Изпосковъ задумался на минуту, потомъ взгрустнулъ и вдругъ впасть въ сентиментальность.

— Да, господа, — сказалъ онъ: — иногда я завидую вамъ! Я завидую той умѣренности, которая такъ просто вамъ достается, завидую тѣмъ скромнымъ обѣдамъ, послѣ которыхъ чувствуется такъ легко на душѣ! Что вамъ! Вы зайдете въ какой-нибудь маленькій рестораникъ, спросите себѣ обѣду въ полтинникъ — и довольны. Вы счастливы, веселы, вы возвращаетесь домой, ни въ какомъ смыслѣ не чувствуя обремененія. Однажды въ Парижѣ я именно такимъ образомъ провелъ мой день. Насъ было трое, и мы условились отобѣдать самымъ простымъ и дешевымъ образомъ. Отправились въ одинъ изъ établissements de bouillou, заказали обѣду въ два съ половиной франка съ чловѣчка, и повѣрите ли — никогда я не чувствовалъ себя такъ хорошо, такъ свободно, какъ въ это памятное послѣ-обѣда! Потомъ мы отправились въ какую-то третью галерею театра Gaité и оттуда въ Jardin Bullier, гдѣ до такой степени развеселились, что незамѣтно кончили ночь au violon. И вотъ тогда-то я сказалъ себѣ: если обстоятельства мои измѣнятся, если я сдѣлаюсь бѣднѣе, comme Job, — я всегда буду жить такимъ образомъ. Да, господа, я вамъ завидую!

— Что и говорить! съ этой стороны мы дѣйствительно обезпечены, — сказалъ Глухой: — разумѣется, лучше имѣть спокойную совесть, нежели переполненное брюхо. А все-таки и еще было бы лучше, если-бъ совесть съ брюхомъ-то какъ-нибудь примирить!

— Да, но мѣръ такъ устроены... Entre nous soit dit, я вѣдь и самъ — немножко социалистъ; я самъ не разъ задумывался объ этой «курицѣ въ супѣ», которую такъ желалъ Генрихъ IV для своихъ вѣрноподданныхъ. Но я убѣ-

дился, что пути Провидѣнія ведутъ человѣчество иначе— и вотъ въ чемъ собственно заключается то громадное различіе, которое существуетъ между мною и распространителями превратныхъ идей. Мы, русскіе, всё болѣе или менѣе социалисты, но я—я борюсь со страстями, а другіе—безпрекословно отдають себя имъ въ плѣнь. Вотъ и все.

— И хорошо дѣлаешь, что борешься. Потому что если каждый день всякому по курицѣ—сколько бы курицъ надо было! А потомъ, пожалуй, и курицами перестали бы удовлетворяться—захотѣли бы бифштеку!

— C'est ce que je me suis toujours dit. Мы, консерваторы, понимаемъ это ясно. Но вотъ... Литераторы! ты какъ объ этомъ думаешь?

— Помилуй! Совершенно такъ же, какъ и ты!

— Là! la main sur la conscience?

— Ну, ей-Богу!—покаялся я.

— Я тебѣ вѣрю. Итакъ, будемъ продолжать. Повторяю: самъ по себѣ и умѣренъ; но, къ сожалѣнію, обѣдъ безъ общества для меня немислимъ. Я охотно обѣдалъ бы въ семействахъ, но—увы!—направленіе нашего вѣка таково, что о семейныхъ обѣдахъ никто нынче не помышляетъ, и даже сами семейные люди находятъ, что эти обѣды годны только для воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній, отпускаемыхъ по праздникамъ домой. Тонкій обѣдъ въ ресторанахъ, обѣдъ съ немногими друзьями, оживленный непринужденнымъ и живымъ разговоромъ—вотъ идеальное наше время. Но понятно, что въ смыслѣхъ менѣ такой обѣдъ долженъ быть совершенствомъ, а это—уже самымъ серьезное дѣло, чтобы можно было положиться единственно на самого себя. Меню обѣда должно быть дебатировано и резонировано, ибо только тогда получится дѣйствительный гастрономическій результатъ. Къ сожалѣнію, такого рода результатъ не всегда согласуется съ результатомъ гигиеническимъ, и вотъ что, по мнѣнію моему, образуетъ ту страшную пропасть, которая раздѣляетъ l'homme de la nature et l'homme civilisé! L'homme de la nature se nourrit de matières premières! Его кухня—вся вселенная. Онъ ловитъ рыбу, птицъ и звѣрей—и съѣдаетъ ихъ почти живыми. En fait de légumes—у него подъ руками безчисленные корни и злаки. И при этомъ онъ ѣсть и пьетъ,—и замѣтьте, пьетъ только воду!—именно столько, сколько ему надо, чтобы утолить голодь и жажду. Но по мѣрѣ того, какъ цивилизація прикасается къ человѣку,

таинственная книга природы мало-по-малу закрывается для него. Уже нашъ мелкій петербургскій чиновникъ съ презрѣніемъ отворачивается отъ внутренностей какого-нибудь оленя и, какъ подспорье къ водѣ, изобрѣтаетъ квасъ. Но питаніе чиновника все-таки еще довольно близко подходитъ къ питанію человѣка природы, потому что главный характеръ его составляютъ умѣренность порцій и преобладаніе воды, хотя бы и замаскированной подъ фирмою кваса. Затѣмъ, чѣмъ ближе человѣкъ подходитъ къ состоянію культуры, тѣмъ больше онъ удаляется отъ первообраза питанія, предлагаемаго природой, и тѣмъ неудержимѣе стремится къ переполненію желудка. Являются комбинаціи, вслѣдствіе которыхъ *matière première* до того измѣняетъ свой интимный характеръ, что дѣлается почти неузнаваемою. Сначала говядина сортируется, при чемъ сорта жесткіе и трудно проглатываемые достаются въ удѣлъ людямъ, питающимся въ греческихъ кухмистерскихъ, а сорта мягкіе и легко проглатываемые—культурному человѣку. Но этого мало: вмѣсто говядины просто вареной или жареной, выступаетъ на сцену бифштексъ, ростбифъ, *languettes de boeuf*, т.-е. говядина идеализированная,—говядина, которая однимъ наружнымъ видомъ свидѣтельствуешь объ усиленіяхъ человѣческаго разума, работающаго надъ ея просвѣтленіемъ. Но и этого недостаточно: наступаетъ эпоха соуса. Соусъ—это высшее выраженіе современнаго кулинарнаго гения; соусъ—это преобразователь по преимуществу. И что всего важнѣе—заслуги его состоятъ не въ пропедшемъ, не въ томъ, что уже имъ совершено, а въ тѣхъ безчисленныхъ перспективахъ, которые онъ позволяетъ предвидѣть въ кулинарномъ будущемъ. Ахъ, *messieurs!* вы не можете имѣть даже приблизительной идеи о томъ, что совершило кулинарное искусство въ послѣднее время! Каравъ былъ великъ и, вѣроятно, не повторится больше, но идея его жива и будетъ жить вѣчно. Ученики его разрабатываютъ эту идею такъ неутомимо и добросовѣстно, что каждый изъ нихъ въ своей специальности непремѣнно представилъ какое-нибудь изобрѣтеніе или пролилъ новый свѣтъ на какое-нибудь блюдо! Впрочемъ, у насъ, въ Петербургѣ, еще нельзя имѣть полного представленія той неизмѣримой высоты, на которой стоитъ современное искусство хорошо ѣсть. Наши рестораны педурны—и только; но надобно быть въ Парижѣ, въ этой благословенной Франціи, которая со всѣхъ концовъ плетъ что-ни-



будь съѣдомое, чтобъ убѣдиться, до какой степени развитія можетъ дойти кулинарный гений. Каждый французъ—природный поварь, каждая французженка—природная повариха, въ самомъ возвышенномъ, благородномъ значеніи этихъ словъ. Ни одинъ французскій король не умеръ, не оставивъ потомкамъ какого-нибудь кулинарнаго изобрѣтенія, и весь народъ стремился подражать ему. Забудьте, что даже революціи имѣютъ у нихъ кулинарный характеръ, потому что всѣмъ хочется попробовать той «курницы въ сунѣ», которую такъ великодушно пообѣщали Генри IV! Каждый разъ, какъ я прибѣгаю въ Парижъ, я не вѣрю глазамъ своимъ. Казалось, что уже найдены были геркулесовы столбы, что зданіе и увѣнчано, и переувѣнчано—ничуть не бывало! Oh! il y a encore immensément à faire! скажетъ вамъ всякій французъ, и скажетъ святую истину, потому что, напримѣръ, то, что вы въ прошломъ году ѣли подъ именемъ *rognois sautés*, уже совсѣмъ не то, что вы ѣдите теперь подъ тѣмъ же именемъ. Въ прошломъ году вы должны были размалывать мясо почки зубами; теперь вы только присасываетесь къ почкѣ языкомъ—и она растаяла. А Бисмаркъ думалъ своими пятью миллиардами раздавить эту страну! Да она одними трюфелями ушатитъ сто такихъ контрибуцій, одними *poulets de Mans* подорветъ всю его жалкую политику! Правда, онъ отѣздалъ у Франціи Страсбургъ... *Strasbourg!*

Она цѣпикъ головой, какъ бы оплакивая участь Страсбурга.

— Да, братъ, Страсбургъ... не видать теперь французамъ страсбургскихъ пироговъ какъ своихъ ушей!—сказала Глуховъ:—но вотъ что, душа моя! Слушаю я тебя и удивляюсь: сколько ты долженъ былъ и поработать, и подумать, чтобы представить себѣ всю эту картину въ такой поразительной ясности! Прогрессъ человечества въ связи съ кулинарнымъ искусствомъ!—какая грандіозная идея! Эти дикіе, которые ѣдятъ животныхъ сырьемъ, эти чиновники, которые питаются въ греческихъ кухмистерскихъ произведеніями кухни, такъ сказать, свайнаго тина, и наконецъ этотъ вѣнецъ созданій божіихъ—культурный человѣкъ, который уже употребляетъ бифштексъ и постепенно возвышается до соуса... Изумительно! Повѣришь ли, и даже сотою части того не подозрѣвалъ, что теперь, послѣ твоего изложенія, такъ ясно мнѣ представляется!

— Да, мой другъ, и поработать я, и подумалъ, а все-

так и в конце концов могу сказать только одно: я знаю, что я ничего не знаю. Или еще точнее: я знаю, что, благодаря развитию кулинарного искусства, у меня иногда в один вечер пропадают целые недѣли упорныхъ гигиеническихъ усилій. Трудно быть осмотрительнымъ, когда все вокругъ приглашаетъ къ неосмотрительности, и хотя я никогда не позволяю себѣ крайностей, но все-таки каждый разъ съ наступленіемъ лѣта чувствую потребность ремонтировать себя въ Карсбадѣ! Но пора ужъ и кончить. Въ изложеніи остального я буду кратокъ, потому что приближается время моей первой прогулки. Вечеръ я обыкновенно провожу въ балетѣ или у французовъ и заканчиваю свой день на раутѣ или на балѣ. Я никогда не ужинаю—это принципъ, отъ котораго я не позволяю себѣ отступить ни на югу. Домой я возвращаюсь отнюдь не позднѣе двухъ часовъ ночи. Ночной туалетъ беретъ у меня не меньше получаса, потому что это—время, когда я привѣваю тѣ средства, которыхъ дѣйствіе продолжительно. Но разъ въ неделю—я засыпаю, какъ убитый. Въ этомъ отношеніи я сумѣлъ такъ дисциплинировать себя, что утромъ всѣ повязки на головѣ и лицѣ оказываются всегда на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, на которыхъ онѣ были съ вечера. Затѣмъ опять начинается утро, и такимъ образомъ идутъ дни за днями, ночи не измѣняясь даже въ подробностяхъ. Зная мой одинъ день, вы знаете всю мою жизнь. Что сказать вамъ еще? Я здоровъ, я мало состарился, мнѣ никогда не бываетъ скучно, и я способенъ даже теперь совершать нѣкоторые exploits, которые вѣроу человеку лишь самой цвѣтущей молодости. Но повторю: все это достается мнѣ далеко не легко.

— Еще бы!—воскликнуть Глуховъ:—каждый шагъ разсчитанъ, каждое притираніе обдуманно,—какая тутъ легкость! Но вотъ что: ты сказалъ сейчасъ, что тебѣ никогда не бываетъ скучно,—дѣйствительно ли это такъ?

— Никогда. L'ennui est l'ennemi de l'utile. Я гоню скуку, потому что она приводитъ за собой дурныя фантазіи. Вотъ вы, господа... Литераторъ! я увѣренъ, наиримѣрь, что ты даже теперь не знаешь, куда дѣваться отъ скуки?

— Теперь нѣтъ, но вообще не могу сказать, чтобъ жизнь была весела.

— Недоволенъ? революцій хочется? Да, à propos! скажи, пожалуйста, правда ли, что ты требовалъ cent mille têtes à couper?

— Опомнись! Христосъ съ тобой!

— Да, да, да; мнѣ сказывали. Я лично по-русски давно ничего не читаю,—я считаю нашу литературу помойной ямой, въ которую сваливаются все общественныя нечистоты,—но знаю изъ достовѣрныхъ источниковъ... Ахъ, голубчикъ! голубчикъ! зачѣмъ ты это дѣлаешь?

— Да что дѣлаю-то? говори!

— Постой! твоя рѣчь впередъ. Неужели ты можешь думать, что *насъ* это меньше заботитъ, нежели тебя?

— Что заботитъ? Ничто меня не заботитъ!

— Неужто ты можешь думать, что мы не видимъ qu'il y a encore immensément à faire? Что мы сами отъ души не желали бы, чтобъ все шло къ общему удовольствію, чтобы эти широкія идеи, toutes ces idées généreuses enfin...

— Да что-жъ это наконецъ! Глумовъ! объясни ему, сдѣлай милость!

Но Износковъ уже ничего не слышалъ.

— Другъ мой!—продолжалъ онъ, беря меня за руки и сильно сжимая ихъ:—я, конечно, не имѣю никакого права... но ради бывшаго нашего товарищества убѣждаю тебя: оставь! Laisse, mon cher! Оставь другому заботу волновать общественное мнѣніе, а ты—будь съ нами! Право, Россія не такъ безобразна, какъ это кажется съ перваго взгляда! А ежели бы она и въ самомъ дѣлѣ была такъ непозволительно дурна, то, право, мы, русскіе, мы, люди культуры, должны пожалѣть объ ней!

Онъ говорилъ это такимъ дурацки-убѣжденнымъ тономъ, что я стоялъ какъ ошеломленный и, ничего не понимая, глядѣлъ ему въ лицо. Но тамъ было все загадочно. Ясно было только то, что въ эту минуту онъ и любилъ меня, и жалѣлъ; любилъ, не зная за что, и жалѣлъ, не зная за что. Наконецъ онъ спохватился и взглянулъ на часы.

— Ба! пять минутъ второго!—воскликнулъ онъ торжественно:—ну, господа, прошу извинить! Надѣюсь, что мы видимся не въ послѣдній разъ! Литераторы вѣдь ты не сердись на меня? Ты понимаешь, что я отъ души... Оставь, мой другъ! Право, жизнь не такъ дурна, какъ это кажется господамъ революціонерамъ, которые по природѣ своей склонны все видѣть въ черномъ свѣтѣ! До свиданія, господа!

Выходя, я готовъ былъ взять Глумова за горло: до такой степени изумила меня послѣдняя сцена.

— Это—все ты!—упрекалъ я его:—ты привелъ меня къ этому шалопая! по твоей милости я наслушался его наста-

вещей! Ты говорил мнѣ: пойдѣмъ на культурнаго человѣка посмотреть, а этотъ культурный человѣкъ, того и гляди...

— Не горячись!—прервалъ меня Глумовъ:—во-первыхъ, бѣды отъ Изюскова не можетъ быть никакой. Онъ ужъ и въ настоящую минуту, вѣроятно, забылъ не только о своихъ наставленіяхъ, но и объ тебѣ самомъ. Во-вторыхъ, ты все-таки въ выигрышѣ, потому что видишь лицомъ къ лицу подлиннаго русскаго культурнаго человѣка и знаешь, какъ онъ относится къ твоему ремеслу.

## Г Л А В А V.

1-й золотарь. Давеча мнѣ дядя Николай говоритъ: „не понимаю я, дядя Павелъ, какъ вы, золотари, это дѣлаете? и должность свою справляете, и хлѣбъ ѣдите“. А я ему: по твоему разуму эта дядька, дядя Николай! зато мы въ день двѣдцать рублей получаемъ, а тебѣ и век цѣна грошъ.

2-й золотарь. Ну, а онъ что на это?

1-й золотарь. Ничего. „Отчаливаемъ“, говорятъ. „Низ и въ правду объ насъ забыть нужно“.

*Изъ неизданной книги: „Жизненные разговоры въ выходной или“.*

Отъ времени до времени наша печать оживляется, и поводомъ для этого оживленія служатъ уголовные скандалы. Много и безбоязненно было писано о матери Митрофанѣ; еще болѣе обильную пищу для литературныхъ изліяній далъ купецъ Овсянниковъ; наконецъ выступилъ на сцену уголовный процессъ г. Кронеберга...

Процессъ этотъ немногосложенъ: г. Кронебергъ свѣкъ свою дочь и давалъ ей пощечины. О существованіи этой дочери онъ узналъ уже спустя значительное время послѣ ея рожденія, и потому первоначально ея воспитаніе было болѣе чѣмъ небрежное. Немедленно по появленіи на свѣтъ, она была отдана своею матерью въ одно крестьянское семейство въ Швейцаріи, гдѣ и нашла се г. Кронебергъ. Затѣмъ онъ отдалъ ее въ семью пастора въ Женевѣ, но и тутъ удовлетворительныхъ результатовъ не получалъ. Оставалось поселить ребенка вмѣстѣ съ собою и лично заботиться его воспитаніемъ, что г. Кронебергъ и исполнилъ. Но, задавшись мыслью сдѣлать изъ своей дочери «женщину не блестящую, но полезную», молодой отецъ съ огорченіемъ замѣтилъ, что въ ребенкѣ уже укоренились нѣкоторыя дурныя привычки, при существованіи которыхъ женщина хотя и можетъ быть блестящею (въ благонамѣрен-

помь мѣръ кокотокъ), но ни въ какомъ случаѣ не имѣть права на названіе полезной. Надлежало воздѣйствовать на эти привычки, устроить такъ, чтобы ребенокъ забылъ о нихъ. Намѣреніе отличное, но, къ сожалѣнію, г. Кронебергъ педагогъ-самоучка, и притомъ человекъ раздражительный, шалкій и самонадѣянный. Онъ сказалъ себѣ: не нужно мнѣ никакихъ совѣтовъ, ничьей помощи, я сдѣлаю все самъ. Но такъ какъ человекъ, не приготовленный къ извѣстнаго рода дѣятельности, можетъ только производить путаницу, то весьма естественно, что самонадѣянный педагогъ на первыхъ же порахъ долженъ былъ сознаться въ своей несостоятельности и, за недостаткомъ времени для изученія новѣйшихъ педагогическихъ системъ, прибѣгнуть къ тѣмъ воспитательнымъ пріемамъ, которые въ ходу въ той средѣ, гдѣ онъ живетъ. А въ средѣ этой педагогика одна: плюхи, ежели дѣло не терпитъ отлагательства, и розги, ежели можно вести дѣло искорененія пороковъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой. И дѣйствительно, розги, пополняемая плюхами, поступили на сцену.

Но система тѣлесныхъ воздѣйствій имѣетъ тройную невыгоду. Во-первыхъ, она дѣйствуетъ медленно, ибо относится къ злой волѣ ребенка не непосредственно, а при участіи нѣкоторыхъ посредствующихъ членовъ, которыми являются: со стороны воспитывающаго—розги и кулакъ, а со стороны воспитываемаго—бренная оболочка безсмертной его души, и преимущественно задняя ея часть. Понятно, что черезъ спину, и притомъ при помощи розги, не имѣющей въ себѣ ничего духовнаго, гораздо труднѣе проникнуть до души, нежели при помощи убѣжденія, которое, какъ начало тонкое, имѣетъ свойство дѣйствовать на душу непосредственно. Во-вторыхъ, тѣлесныя наказанія, не удовлетворяя условіямъ быстроты дѣйствія,—что собственно и ожидается отъ нихъ педагогами-самоучками,—раздражаютъ послѣднихъ и заставляютъ ихъ тѣмъ сильнѣе упорствовать въ избранной системѣ, чѣмъ сомнительнѣе получаемые отъ нихъ результаты. Въ-третьихъ, они вынуждаютъ наказываемыхъ свидѣтельствовать объ испытываемой ими боли болѣе или менѣе громкими криками, которые впоследствии могутъ служить не совсемъ приятнымъ для педагоговъ поводомъ для началія противъ нихъ судебного преслѣдованія.

Это послѣднее обстоятельство въ особенности важно; оно оказалось и въ дѣлѣ г. Кронеберга. Марія Кронебергъ,

такъ сильно и часто кричала, что возбудила состраданіе въ двухъ сердобольныхъ женщинахъ (дворничихъ и кухаркѣ), которыя и заявили въ участкѣ объ *истязаніяхъ*. Педагогическіе эксперименты были прерваны: на сцену явился участковый приставъ, затѣмъ прокуратура, врачъ, судебный слѣдователь, судебная палата и проч. А г. Кронебергъ посмѣшилъ обратиться къ помощи г. Спасовича, о которомъ даже стѣны судебныхъ зданій вопіють: *uir bonus, dicendi peritus*.

Судебное слѣдствіе состоялось и, какъ слѣдовало ожидать, было направлено къ разъясненію слѣдующихъ трехъ капитальныхъ пунктовъ: 1) Не было ли какихъ постороннихъ причинъ, заставившихъ упомянутыхъ выше двухъ сердобольныхъ женщинъ довести до участка дѣло объ истязаніяхъ, или, другими словами: заявили ли онѣ объ этомъ дѣлѣ безкорыстно, или же руководились какимъ-либо личными непохвальными побужденіями? 2) Заслуживала ли Марія Кронебергъ, чтобы на порочную волю ея воздѣйствовали при посредствѣ розогъ и ошейухъ, то-есть обладала ли она такими наклонностями, которыя могли ей въ слѣдствіи воспрепятствовать сдѣлаться полезною женщиной? 3) Выходили ли употребленныя г. Кронебергомъ мѣры и исправленія изъ предѣловъ, очерченныхъ закономъ, настолько, чтобы потребовать внимательства въ формѣ судебного преслѣдованія?

По первому вопросу на возбудительницѣ была накинута сильная тѣнь. Дворничиха была замѣшана въ исторію о пропавшемъ цыпленкѣ, за что подвергнута г. Кронебергомъ вычету изъ жалованья въ количествѣ 80-ти копеекъ. Кухарка тоже состояла съ дѣвочкой въ какихъ-то преступныхъ отношеніяхъ, которыя, однако-жъ, на судовомъ разьясненіи не получили. Вообще этотъ вопросъ былъ поставленъ довольно ребячески, и защита поняла, что опираться на него нѣтъ надобности; но сомнѣніе все-таки было возбуждено, и чистый образъ сердобольной дворничихи значительно потемнѣлъ въ глазахъ людей, которые изъ всѣхъ побужденій, двигающихъ человекомъ, пѣрять только въ побужденіе, заставляющее ради 80-ти копеекъ предать своего ближняго.

По второму вопросу свидѣтельница, докторъ Сулова, показала, что дѣвушка занималась онанизмомъ и не умѣла управлять своимъ естественными нуждами. Да, именно такъ, въ этихъ словахъ и доказалъ докторъ, четко и ясно,

как будто боялся что-нибудь упустить изъ вида. Другіе показывали о «порокахъ» Маріи Кронебергъ уклончиво, какъ бы не желая компрометировать ребенка, и безъ того уже самымъ возмутительнымъ образомъ обвинившаго себя въ воровствѣ и лганьѣ, но докторъ Суелова показывала именно такъ, какъ «передъ Богомъ и страшнымъ Его судомъ показывать о семъ надлежитъ». Тамъ, гдѣ другіе останавливались передъ мыслью, что дѣвочки предстать еще долгое поприще жизни, докторъ Суелова, съ солдатскою, можно сказать, откровенностью, не усомнилась выдать ей аттестатъ на всю жизнь. Затѣмъ, изъ другихъ показаній, хотя и не столь вѣсныхъ, какъ суеловское (ихъ давали: подсудимый Кронебергъ, г-жа Жезингъ и пасторъ Комби, который уже выказалъ свою несостоятельность въ дѣлѣ воспитанія), можно замѣтить, что Марія Кронебергъ позволяла себѣ лгать и однажды даже подала поводъ заподозрить ее въ амброніи присвоить себѣ изъ запечатого помѣщенія (кража со взломомъ) принадлежащій г-жѣ Жезингъ черносиль.

И такимъ образомъ среди присяжными невольно возникла слѣдующая дилемма: ежели уже до начала судебного преслѣдованія Маріи Кронебергъ не умѣла управлять своими естественными надобностями, то не будетъ ли вынесенный подсудимому обвинительный приговоръ кесвеннымъ для нея поощреніемъ и впродъ упорствовать въ томъ же ложномъ направленіи?

По третьему пункту свидѣтели-неученые отчасти показывали, что наказанія были житейскія, отчасти отзывались невѣдѣніемъ. Свидѣтели ученые, т.-е. эксперты-врачи, путались. Врачъ Лансбергъ сначала высказывался не въ пользу г. Кронеберга, но потомъ началъ мало-по-малу отступать и кончилъ тѣмъ, что, собственно говоря, провести границу между легкими и тяжелыми поврежденіями «мы не можемъ», и что иногда и отъ легкихъ поврежденій люди умираютъ, а другіе и отъ тяжелыхъ выздоравливаютъ. Такъ что когда г. Спасовичъ обратился къ нему съ вопросомъ, нашелъ ли онъ на тѣлѣ прорѣзы кожи, или только пятна и полосы (этотъ вопросъ слѣдовало бы вырѣзать золотыми буквами на мраморной доскѣ и повѣсить послѣднюю въ залѣ засѣданій совѣта присяжныхъ повѣренныхъ), то г. Лансбергъ отвѣтилъ уже совсѣмъ темно, что «поврежденія относятся къ тяжелымъ по отношенію наказанія, а не по отношенію нанесенныхъ ударовъ», желая этимъ, вѣроятно, вы-

разить, что солдаты могъ бы вынести такіа поврежденія безъ особеннаго вреда, но для ребенка они могли составить и вредъ. Врачъ Чербиневичъ свидѣтельствовалъ по части рубцовъ и выразилъ то мнѣніе, что поврежденія особеннаго вліянія на здоровье ребенка не имѣли, но рубцы остались на всю жизнь и, судя по формѣ ихъ, произошли не отъ ушибовъ, а отъ ударовъ прутьями. Давность же происхожденія рубцовъ г. Чербиневичъ опредѣлялъ такъ: можетъ-быть, за нѣскольکو лѣтъ, а можетъ-быть, и за три недѣли. Экспертъ Флоринскій тоже отнесъ наказанія не къ тяжкимъ, при чемъ присовокупилъ, что Марія Кроненбергъ принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, у которыхъ раздраженіе кожи бываетъ рѣзче, чѣмъ у другихъ. Наконецъ, экспертъ докторъ Корженевскій выразился, что дѣвочка принадлежитъ къ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ сыняки. Словомъ сказать, экспертиза не только не внесла никакой ясности въ дѣло, но еще болѣе запутала въ лабиринтѣ противорѣчій и оговорокъ. Никто ничего не сказалъ прямо, по-суловски, такъ что для слушателей этого безплоднаго разговора защиты съ экспертами могъ даже возникнуть совѣтъ особаго рода вопросъ: да ужъ не Марія ли Кроненбергъ виновата тѣмъ, что принадлежитъ къ числу такихъ субъектовъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ сыняки! Хотя, съ другой стороны, слушателями, болѣе сообразительными, могъ представиться и такой вопросъ: для чего же однако г. Кроненбергъ предметомъ своихъ педагогическихъ воздѣйствій избралъ дочь, а не солдата, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу котораго назрѣное сыняковъ не произведетъ?

Г. Спасовичъ безподобно воспользовался неопредѣленнымъ характеромъ матеріала, добытаго на судебномъ слѣдствіи. Вообще, независимо отъ талантливости, это самый солидный и дѣльный изъ нынѣ дѣйствующихъ адвокатовъ. Онъ всегда стоитъ на почвѣ фактовъ и прежде всего интересуется не тѣмъ, дѣйствительно ли преступленіе имѣло мѣсто, а тѣмъ, не имѣется ли для него оправданій въ законѣ, и могутъ ли быть опровергнуты представляющіеся въ дѣлѣ улики. Онъ не допускаетъ чувствительности и безилодныхъ набѣговъ въ область либеральнаго бормотанья. Онъ помнитъ, что онъ адвокатъ, только адвокатъ, а не философъ и не публицистъ, и приглашаетъ присяжныхъ засѣдателей помнить объ этомъ. Въ его глазахъ преступленіе не имѣетъ въ себѣ



ничего чудовищного, изумляющего, и онъ мало ожидаетъ, чтобы суды перестали дѣйствовать, за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій. Онъ знаетъ законы со всѣми продолженіями и дополненіями, умѣетъ толковать ихъ и всегда хранитъ про запасъ кассационный поводъ. Свидѣтели онъ изучилъ до тонкости и потому не учитъ его и не надѣдаетъ назойливыми вопросами, а только слегка направляетъ, ибо знаетъ, что свидѣтель, предоставленный самому себѣ, гораздо скорѣе припишетъ ему суицій медь, нежели свидѣтель, котораго адвокатъ беретъ подъ опеку. Присяжныхъ засѣдателей онъ тоже проникъ и нерѣдко упрощаетъ ихъ обязанности, объясняя (обыкновенно въ заключеніи), что о преступленіи уже по тому одному не можетъ быть рѣчи, что и самое судебное преслѣдованіе возбуждено несогласно съ такими-то и такими-то требованіями закона. Сверхъ того, судя по репутаци, г. Спасовичъ принадлежитъ къ числу адвокатовъ, не обуреваемыхъ жаждой легкаго и быстраго стяжанія, что еще больше влечетъ къ нему сердца подсудимыхъ.

Таковъ адвокатъ, выступившій въ роли защитника г. Кронеберга на судоговореніи 23 января.

Сдѣланны доволно краткій, хотя, пужно сознаться, не особенно замѣчательный очеркъ жизни и семейныхъ отношеній подсудимаго, г. Спасовичъ прежде всего приступаетъ къ вопросу: имѣютъ ли право родители наказывать своихъ дѣтей? — и разрѣшаетъ его не на основаніи какихъ-либо произвольныхъ умозаключеній, но ссылкой на статью закона, которая гласитъ прямо, что родители, недовольные поведеніемъ дѣтей, могутъ наказывать ихъ способами, не вредящими ихъ здоровью и не пренебрегающими успѣхамъ въ наукахъ. Отсюда выводъ: да, г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь и имѣлъ на это право, гарантированное ему закономъ. Но, можетъ-быть, онъ злоупотреблялъ этимъ правомъ и пускалъ въ ходъ такіе способы наказанія, которые могли вредить ея здоровью? Чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, г. Спасовичъ входитъ въ подробное, хотя и утомительное разсмотрѣніе качества побоевъ, слѣды которыхъ найдены на тѣлѣ ребенка. Знаки отъ побоевъ раздѣляются на три категоріи. Прежде всего представляются *знаки на лице*, которыхъ такъ много, что, по признанію самой защиты, «если пристально взглянуть въ лицо ребенка, то это лицо точно исписано по всѣмъ направленіямъ тонкими шрами». Но это ничего не значитъ, ибо показанія экспер-

товъ такъ неопредѣлены, что зацитѣ вѣтъ никакого труда вывести заключеніе, что «нѣтъ ни одного знака, о которомъ можно было бы сказать, что онъ произошелъ отъ удара, нанесеннаго отцомъ». Жаль, что подеудимый самъ сознался въ пощечинахъ, а не будь этого признанія, не было бы и пощечинъ, такъ какъ нѣтъ на лицѣ синихъ и синебагровыхъ пятенъ. Но ежели и были синяки, то развѣ присяжнымъ не памятно показаніе доктора Корженевскаго, который удостовѣрилъ, что существуютъ субъекты, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки? Ребенокъ золотушный, изобилующій лимфой — что же тутъ мудренаго, что тѣло его покрыто синяками! Итакъ, знаки на лицѣ есть, но нѣтъ увѣренности, нѣтъ улики и доказательства, что они произошли отъ побоевъ, нанесенныхъ отцомъ. И притомъ эти знаки мелкіе, ничтожные, знали, которыхъ не замѣтила даже докторъ Суслова, замѣтившая, что Марія Кронебергъ не умѣетъ справляться съ естественными надобностями. Затѣмъ слѣдуютъ знаки *на рукахъ и ногахъ*. Что касается до нихъ, то они произошли очень просто: дѣвочку держали за руки и за ноги во время сѣченія. Сѣченіе — было; этого никто не отрицаетъ; самъ подеудимый сознался въ этомъ, и на этотъ разъ сознался кстатн, потому что иначе нельзя было бы объяснить происхожденіе знаковъ на рукахъ и на ногахъ. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde*, сказали нѣкогда Ламартинъ и прибавилъ: *alea jacta est!* т.-е. когда собираешься сѣчь, то имѣй въ виду, что сѣкомаго нудно будетъ держать за руки и за ноги, вследствие чего у него песомѣлно образуются синяки. Дальше, переходъ отъ знаковъ на рукахъ и на ногахъ къ знакамъ *на заднихъ частяхъ тѣла* — самый естественный. Эти знаки тоже есть; но прежде всего самъ экспертъ Лансбергъ засвидѣтельствовалъ, что «прорѣзовъ кожи» не было, а были только синебагровыя пятна и полосы; а коль скоро «прорѣзовъ кожи» не было, то стѣдуетъ ли о подобныхъ знакахъ и толковать! Хотя же, сверхъ полосъ и пятенъ, найдены были на ягодицахъ слѣды струнневъ, то струнья эти, по объясненію эксперта Корженевскаго, суть не что иное, какъ мѣстное омертвѣніе кожи, которая сходилась и замѣнялась новой. Да и самый вопросъ этотъ не медицинскій, а педагогическій, ибо медикъ не можетъ опредѣлить ли предѣлаиъ власти отца, ни силы несправедливаго наказанія (?), — все это могутъ опредѣлить только инспекторы и учителя гимназій. Но на столѣ, въ числѣ вещественныхъ

доказательствъ, тѣмъ не менѣе лежить пукъ розогъ, которыя экспертъ Флоринскій называлъ шницрутенами, и несомнѣнно бывшій въ употребленіи и именно въ рукахъ г. Кронеберга — этого, конечно, отрицать нельзя! Нельзя однако-жъ отрицать и того, что г. Кронебергъ пользовался этимъ педагогическимъ орудіемъ *только одинъ разъ*. Онъ сорвалъ эти рябиновые прутья за нѣсколько дней до наказанія, а срывая ихъ, *быть-можетъ*, не зная, что придется употреблять ихъ въ дѣло. Правда, что случай не заставилъ себя ждать, но до тѣхъ поръ г. Кронебергъ наказывалъ свою дочь только «маленькими вѣтками», да и то раза три, въ промежуткахъ времени довольно значительныхъ. Хотя же нѣкоторые и показывали, что дѣвочка кричала сильно и часто, но она вообще «кричать горазда, кричитъ и тогда, когда ее ставятъ въ уголъ или на кофлинъ».

Итакъ, о происхожденіи знаковъ на лицѣ нельзя сказать ничего вѣрнаго; что же касается до сѣченія, то хотя оно и производилось, но при посредствѣ совсѣмъ «маленькихъ вѣткокъ», за исключеніемъ лишь *одного раза*, когда употреблены были въ дѣло шницрутенны, срыванные за нѣсколько дней до наказанія, но безъ ясно-сознаннаго намѣренія употребить ихъ въ дѣло. Можно ли назвать тяжкимъ это *единократное* наказаніе, не сопровождавшееся даже прорѣзами кожи? — Отвѣтъ на это дастъ кассационная судебная практика, изъ которой до очевидности ясно, что въ настоящемъ случаѣ самое возбужденіе подобнаго вопроса представляется немыслимымъ.

Совсѣмъ иное дѣло вопросъ: была ли достаточная причина для употребленія мѣры домашняго исправленія въ тѣхъ увеличенныхъ размѣрахъ, которые допущены были при томъ единократномъ наказаніи, когда г. Кронебергъ употребилъ шницрутенны? Само собою разумѣется, что была. Нужно отдать справедливость чистосердечности г. Спасовича: онъ ни на минуту не остановился на солдатски-откровенномъ показаніи доктора Сусловой. Но въ этомъ не было и надобности, потому что дѣвочка имѣетъ много другихъ пороковъ, которые требуютъ педагогическаго воздѣйствія: она — лгуныя и воронка... Пропадаетъ сахаръ, черносливы, и наконецъ является похищеніе (слѣдствіемъ, впрочемъ, не подтвержденное) доброты и до денегъ. Равнодушно къ такимъ поступкамъ относиться нельзя. «И полагаю, — сказалъ г. Спасовичъ: — что отъ чернослива до сахара, отъ сахара до денегъ, до банковыхъ билетовъ — путь прямой, —

открытая дорога». Слова сильные, но несомнительные, свойственные тѣмъ островецкимъ педагогамъ, которымъ до того онесть было воспитательное ремесло, что они въ каждомъ воспитываемомъ готовы усматривать будущаго людья. Едва ли также можно согласиться съ мнѣніемъ г. Спасовича, что отецъ, наказывая своего сына (какъ?), избавляетъ его отъ каторжныхъ работъ и поселенія, а наказывая дочь — избавляетъ ее отъ того, чтобъ она не сдѣлалась распутною женщиной; ибо можно указать на множество лицъ, которыя, никогда не бывъ сѣчены ни съ разсѣченіемъ кожи, ни безъ разсѣченія опой, не только не угодили на каторгу, но занимаютъ болѣе или менѣе значительныя общественныя должности. Тѣмъ не менѣе, не смотря на парадоксальность и ребяческую несостоятельность подобныхъ мнѣній, высказывать ихъ въ защитительной рѣчи, обращенной къ присяжнымъ засѣдателямъ, все-таки недурно. Хороню поразить воображеніе присяжнаго, сказавъ: вотъ дѣвочка, которая была на пути къ банковымъ билетамъ, но г. Кронебергъ ее остановилъ! И еще: сѣки твоего сына, ибо это избавляетъ его отъ каторги; сѣки свою дочь, ибо это восреплетствуетъ ей сдѣлаться жертвой распутства! Нужды нѣтъ, что все это вадоръ и галиматья, и что подобныя мнѣнія отзываются не то старческимъ безсиліемъ, не то ребяческими пеленками, — г. Спасовичъ очень хорошо знаетъ, что существуютъ аудиторіи, въ средѣ которыхъ подобныя перспективы пользуются силою почти неограничимою, и покуда эти аудиторіи будутъ существовать, до тѣхъ поръ и онъ будетъ рисовать свои перспективы въ интересахъ подсудимыхъ, которые прибѣгнутъ къ его адвокатской помощи.

Изъ всего изложеннаго выше оказывается, что г. Кронебергъ отнюдь не истязатель, а только плохой педагогъ. Наказывая дѣвочку сильно, больно, такъ что остались слѣды наказанія (вотъ кабы найти такой способъ, чтобы можно было наказывать сильно и больно, а слѣдовъ бы не оставалось!), онъ «сдѣлалъ двѣ логическія ошибки: во-первыхъ, поступилъ слишкомъ рьяно, предположивъ, что можно однимъ ударомъ искоренить все зло, которое годами посябно въ душу ребенка и годами же взрощено, и, во-вторыхъ, онъ дѣйствовалъ не какъ осторожный судья и не вошелъ въ изслѣдованіе обстоятельствъ, которыя склоняли дѣвочку къ кражѣ».

Плохой педагогъ, неосторожный судья — и больше ничего.

Вот если-бъ его за это продали суду, тогда былъ бы другой разговоръ! Тогда его можно было бы даже присудить къ высшей мѣрѣ наказанія, то-есть къ отдачѣ на покаянiе въ педагогическое общество (но тогда можно было бы также доказать, что сужденiе о достоинствѣ той или другой педагогической системы до присяжныхъ не относится), а то—помилуйте!—предать человека суду за истязанiе! Да гдѣ же оно? гдѣ его признаки? Вотъ вамъ сводъ законовъ, вотъ кассационная судебная практика и вотъ, наконецъ, показанiя экспертовъ-врачей! Истязанiя! тяжкия поврежденiя! И это говорится въ виду показанiй, совершенно опредѣлительно установившихъ, что не было даже протѣсненiя кожи!

Однимъ словомъ, какъ адвокатъ, г. Спасовичъ исполнилъ свое дѣло вполне исправно. Съ знанiемъ законовъ и кассационной судебной практики, съ тонкимъ пониманiемъ свидѣтелей и присяжныхъ засѣдателей. Съ своей стороны, и присяжные отнеслись къ его усилiямъ съ полнымъ довѣрiемъ и вынесли г. Кронебергу оправдательный вердиктъ.

Собственно говоря, здѣсь бы и слѣдовало кончить настоящую статью. Въ сдѣлали свое дѣло. Г. Кронебергъ сѣлъ свою дочь, но безъ протѣсненiя кожи; а ежели она кричала, то потому только, что вообще «кричать горазда». Г. Спасовичъ исполнилъ свое провиденциальное назначенiе безподобно, то-есть доказалъ, что клиентъ его наказывалъ не произвольнымъ аллюромъ, но на точномъ основанiи указанiй, представляемыхъ кассационною судебною практикой. Присяжные засѣдатели вынесли оправдательный вердиктъ. Во всемъ этомъ нѣтъ ничего ни необычайнаго, ни удивительнаго. Не удивительно даже и то, что въ такомъ дѣлѣ фигурировалъ г. Спасовичъ, а не адвокатъ чувствительной школы, г. Изяковъ. Въдѣ г. Спасовичъ, помнится, уже заявилъ однажды, что адвокатская дѣятельность должна не посторонними какими-либо соображенiями руководствоваться, но преслѣдовать лишь тѣ чисто-художественно-юридическiя цѣли, которыя непосредственно вытекаютъ изъ свода законовъ и кассационной судебной практики...

Но есть въ защитительной рѣчи г. Спасовича одна сторона, которая какъ-то не клеится съ идеаломъ чисто-художественно-юридическихъ цѣлей, рекомендуемымъ имъ адвокату сословию. Въ началѣ этой рѣчи существуетъ небольшое вступленiе, въ которомъ знаменитый адвокатъ желаетъ какъ бы выгородить свою личную солидарность съ

розгами и пощечинами и внушить слушателямъ, что его личныя понятія насчетъ способовъ педагогическаго воздѣйствія далеко не сходны съ тѣми, которыя исповѣдуетъ г. Кронебергъ. Въ виду такого заявленія, конечно, всего естественнѣе было бы обратиться къ г. Спасовичу съ вопросомъ: если вы не одобряете ни пощечинъ, ни розогъ, то зачѣмъ же ввязываетесь въ такое дѣло, которое слонь состоитъ изъ пощечинъ и розогъ? Но, повидимому, это правдивое и умственное двоясласіе имѣетъ особенную и вполне уважительную причину, а именно: г. Спасовичъ, не будучи лично сторонникомъ пощечинъ и розогъ (и онъ родился въ Аркадіи, и онъ не чуждъ *ностороиннагъ соображеній!*), видитъ въ нихъ, тѣмъ не менѣе, своего рода воспитательный пантеонъ, къ которому надо приближаться съ осторожностью, а всего лучше ожидать съ терпѣніемъ, пока онъ самъ собой рухнетъ. — А не рухнетъ онъ никогда, — невольно проговаривается при этомъ уважаемый ораторъ и адвокатъ.

Вотъ объ этой-то сторонѣ защитительной рѣчи и предстоитъ теперь сказать нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что она значительно подрываетъ солидно-дѣловую, изъятую отъ всякихъ мечтательностей, дѣятельность г. Спасовича, какъ адвоката.

Существуетъ въ Европѣ—и, вѣроятно, въ цѣломъ мірѣ—политическое и философское ученіе, извѣстное подъ именемъ ученія о компромиссахъ и сдѣлкахъ. Сущность этого ученія заключается въ томъ, что человечество должно двигаться впередъ отступая. Нѣкоторые адепты этого ученія еще сохранили память о кое-какихъ идеалахъ и собственно ради ихъ достиженія рекомендуютъ уступки и компромиссы; но другіе до того завертѣлись въ бѣлечьемъ колесѣ компромиссовъ, что уже ничего впереди не видятъ и ничего назадъ не помнятъ, а смотрятъ на жизнь какъ на исторически-организованную игру, въ которой никакой цѣли никогда не достигается, хотя всѣ формы неуклоннаго поступательнаго движенія имѣются налицо. Игра эта бываетъ болѣе или менѣе сложная, смотря по бѣлечьей или мѣншей сложности замысла и большому или меньшему количеству силъ, которыя въ нее введены, но во всякомъ случаѣ она съ избыткомъ наполняетъ досуги людей.

Въ настоящее время въ Европѣ существуетъ какъ бы повѣтріе на компромиссы и сдѣлки. Всюду чувствуется смутная боязнь, и потому всюду раздаются клики: «Осто-

рожайте! Не слышите! Отступайте! Заманивайте! Не раздражайте!» На этой склонности компромисса основанъ союзъ германскихъ національныхъ либераловъ съ Бисмаркомъ, и этимъ же явлениемъ объясняется и то, что происходитъ теперь во Франціи.

Практика компромиссовъ до такой степени втягиваетъ, что заставляетъ забывать прежнія связи и прежнихъ друзей. Люди дѣлаются придирчивыми, подозрительными, приходятъ въ одичаніе и въ концѣ концовъ до такой степени погружаются въ мелочахъ, что начинаютъ все прикидывать на золотники и верники и отъ этихъ вершковъ ставить въ зависимость успѣхъ и неуспѣхъ всякаго движенія въ бѣлищемъ колесѣ. Каждый открытый шагъ друзей-единомышленниковъ кажется компрометирующимъ; каждое слово, разоблачающее дѣйствительныя цѣли стремленій партій, представляется рискованнымъ, преждевременнымъ. Хотѣлось бы достигнуть этихъ цѣлей «потихоньку», не въ смыслѣ болѣе или менѣе медленности процесса достижения, а такъ, чтобы никто не замѣтилъ. Все бы на минуту задремало, а мы бы взяли да и воспользовались. И такъ какъ при такомъ безпокойномъ состояніи ума послѣдній все усиленно направляетъ лишь къ устройству вышнихъ формъ движенія, т. е. къ дисциплинѣ и субординаціи, то нерѣдко случается, что первоначальныя цѣли мало-по-малу стираются и отходятъ очень далеко назадъ. Такъ что не безъ удивленія можно видѣть, что человекъ, который первоначально ни о чемъ не хотѣлъ слышать, кромѣ maximum'a, преспокойно сдѣлаетъ себя на minimum и упорно сидитъ въ повозочной или раковинѣ умѣренности до тѣхъ поръ, пока новая горячая волна жизни не вымоетъ его оттуда.

Въяніе времени, носящееся въ воздухѣ, сказывается до того рѣшительно, что подчиняетъ себя, напимѣръ, даже Луи-Блана, который до сихъ поръ гораздо сочувственнѣе относился къ требованіямъ «мечтателей», нежели къ «политикѣ разсудка» и «политикѣ результатовъ». Въ письмѣ, обращенномъ въ 1875 г. къ избирателямъ XIII округа города Парижа, онъ уже прямо выражается, что уступки необходимы, и что однимъ скачкомъ очутиться у цѣли невозможно...

То же явленіе встрѣчается и въ современной Россіи, хотя и въ иныхъ примѣненіяхъ. У насъ пѣтъ широкихъ интересовъ, волнующихъ Францію и Германію; у насъ человѣческая мысль можетъ отъ времени до времени выска-

зваться лишь по поводу частных случаев, проявляющихся преимущественно на судеговореніяхъ. Поэтому и въ дѣятеляхъ чувствуется некоторая разница: во Франціи проводителями ученія о компромиссахъ являются Гамбетта и Луи-Бланъ, у насъ — г. Спасовичъ. Съ этою оговоркой письмо Луи-Блана безъ всякой патажки можетъ стоять рядомъ съ рѣчью г. Спасовича, и читателю, при сравненіи ихъ, остается только уменьшить размѣры въ той степени, въ какой онъ самъ заблагоразсудитъ.

Изложивъ свою избирательную программу и установивъ тѣ политическіе общественные идеалы, торжеству которыхъ была всецѣло посвящена его жизнь и въ пользу коихъ онъ и впредь обязывается неустойчиво ратовать, Луи-Бланъ вдругъ дѣлаетъ переходъ, въ сущности ничѣмъ не мотивированный, кромѣ смутнаго представленія: а что жежи честный солдатъ Макъ-Магонъ, за такія мои слова объ республиканскихъ идеалахъ, республику прихлопнетъ, а намъ всѣмъ «фельдфебеля въ Вольтеры дастъ»? Вотъ этотъ переходъ: «Мифъ, конечно, не безызвѣстно, любезные сограждане, что въ трудномъ шествіи человѣчества къ царству правды необходимы извѣстныя станціи; что побѣды прогресса не совершаются въ одинъ день; что нужна терпѣніе, нужна осторожность, нуженъ практическій смѣлъ вещей; что, идя впередъ съ излишнею быстротою, человѣчество рискуетъ быть поставленнымъ въ необходимость отступить». То-есть, другими словами: ваше превосходительство! господинъ маршалъ Макъ-Магонъ! Вы слышали, что я сейчасъ говорилъ о рабочемъ вопросѣ, о церкви, о народномъ образованіи, но вѣдь это *Улита идетъ—когда-то будетъ*. Желая всѣмъ сердцемъ реформъ въ моемъ отечествѣ, я однако-жъ понимаю, что на хотѣнье есть терпѣнье, и что въ настоящее время мы уже и тѣмъ совершенно счастливы, что имѣемъ такого снисходительнаго начальника, какъ ваше превосходительство. Успокойтесь же насчетъ нашей благонамѣренности и имѣйте въ виду, что ежели въ 1880 году потребуется устроить для васъ новый сенатъ, мы хотя, быть-можетъ, ради приличія, не будемъ дѣятельно участвовать въ этомъ торжествѣ, но и препятствовать оному не станемъ, такъ какъ идеалы наши трудны, и въ 1880 году пословица: «скорость потребна только блохъ ловить» будетъ существовать въ той же силѣ, какъ и въ настоящую минуту.

То же говорить и г. Спасовичъ въ той скромной сферѣ



сѣченія, въ которой онъ, въ качествѣ адвоката, вынужденъ вращаться. «Я, гг. присяжные, — объясняетъ онъ: — не сторонникъ розги; я вполне понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена, но... нормальныя мѣры употребляются въ нормальномъ порядкѣ вещей». Или, другими словами: хорошо воспитаніе безъ розги, но нужно запастись терпѣніемъ, осторожностью и практическимъ смысломъ вещей, и съ этимъ ждать нормальнаго порядка вещей. А до тѣхъ поръ слѣдуетъ довольствоваться необходимыми станціями, въ числѣ коихъ г. Кропебергъ составляетъ такую, на которой побѣдѣ, стремящейся въ царство правды, останавливается для сѣченія до тѣхъ поръ, покуда объ этомъ не будетъ заявлено въ участіи.

Далѣе Луи-Бланъ продолжаетъ: «Было бы несомнѣнно неблагоуразумно думать, что можно однимъ прыжкомъ очутиться у цѣли путешествія, для совершенія котораго потребно продолжительное время». А г. Спасовичъ, изъ сферы розогъ вступая въ еще болѣе суженую сферу пощечинъ, объясняется такъ: «Остается открытымъ вопросъ о пощечинахъ и о тѣхъ синякахъ, которые были, *можетъ-быть* (г. Спасовичъ твердо держится показанія доктора Корженевскаго о принадлежности Маріи Кропебергъ къ такимъ субъектамъ, малѣйшее прикосновеніе къ тѣлу которыхъ производитъ синяки, и только по страсти къ компромиссамъ допускаетъ, что синяки, *можетъ-быть*, произошли отъ пощечинъ), послѣдствіемъ пощечинъ. Кропебергъ давалъ пощечины ребенку — это вѣрно: онъ самъ признаетъ, что ударилъ дѣвочку по лицу раза три или четыре. *Я признаю, что пощечина не можетъ считаться достойнымъ одобренія способомъ отношенія отца къ дѣтямъ.* Но и знаю также, что есть весьма уважаемые педагоги, которые считаютъ ударъ рукой по щекѣ нисколько не тяжелѣе, а можетъ-быть, и предпочтительнѣе, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, сѣченія розгами. Причины, почему пощечина считается особенно обиднымъ ударомъ, кроются въ нравахъ, въ прошедшемъ. Слѣдя въ исторіи за возникновеніемъ этого понятія, мы отыщемъ его въ тѣ рыцарскія времена, когда рыцари ходили въ шлемахъ съ забраломъ, когда ударять ихъ по лицу въ обыкновенномъ ихъ нарядѣ было невозможно, а подобные удары сыпались только на смердовъ, на виллановъ. Разбирая же власть родительскую, трудно сказать, чтобъ она не доходила ни

въ какомъ случаѣ до пощечины; отъ посторонняго чело-  
вѣка ударъ по лицу можетъ сдѣлаться кровной обидой, но  
не отъ отца». Иными словами, то же самое, что говорить  
и Луи-Бланъ, только переведенное на языкъ пощечины.  
Шествуйте впередъ къ царству, изъятому отъ пощечины,  
но знайте, что васъ ждетъ путь долгій и трудный, уцѣли  
котораго нельзя очутиться однимъ прыжкомъ, и что путь  
этотъ весь усѣянъ пощечинами. Конечно, Луи-Бланъ былъ  
бы очень изумленъ, узнавъ, что существуетъ «открытый  
венеръ» о пощечинахъ, но по нашему мѣсту и это сой-  
детъ съ русь.

Сходство, впрочемъ, на этомъ и оканчивается. Выска-  
завъ изложенныя выше мысли насчетъ уступокъ, Луи-  
Бланъ прибавляетъ: «Но необходимо имѣть идеаль и по-  
когда не терять его изъ вида, даже въ тѣхъ случаяхъ,  
когда допускаются жертвы въ пользу дѣйствительности.  
Неразумно думать, что одинъ прыжокъ достаточенъ для  
того, чтобы достигнуть цѣли долгаго пути, но еще не-  
разумнѣе пускаться въ путь, не зная, куда онъ ведетъ, и  
выбирать окольные дороги, не будучи увѣраннымъ, что онъ  
ведутъ именно къ тому пункту, котораго предполагаешь  
достигнуть». Г. Спасовичъ, напротивъ того, давъ сначала  
понять, что для него вполне понятна система воспитанія  
безъ розогъ и безъ пощечинъ, и что, слѣдовательно, не-  
льзя отрицать возможности и дѣйствительныхъ, вполне без-  
пощечинныхъ отношеній родителей къ дѣтямъ, тѣмъ не  
менѣе относится къ этому идеалу безпощечности мрачно,  
почти безнадежно. «И, — говоритъ онъ: — такъ же мало  
ожидая совершеннаго и безусловнаго искорененія тѣлеснаго  
наказанія, какъ мало ожидаю, чтобы вы (присяжные засѣда-  
тели) перестали въ судѣ дѣйствовать, за прекращеніемъ  
уголовныхъ преступленій и нарушеній той правды, которая  
должна существовать, какъ вола, въ семьѣ, такъ и въ  
государствѣ».

Люди придирчивые могутъ сказать, что послѣднія, под-  
черкнутыя сейчасъ, фразы или затѣмъ только нушены въ  
ходъ, чтобъ сдѣлать гг. судьямъ и присяжнымъ засѣда-  
телямъ комплиментъ, внушивъ имъ, что царствію ихъ не  
будетъ конца, или же представляютъ собой наборъ пустыхъ  
и бессодержательныхъ словъ, высказанныхъ безъ всякаго  
соображенія съ исторіей тѣхъ успій, — исторіей далеко не  
безплодною, — которая дѣлается въ видахъ ежели не окон-  
чательнаго и немедленнаго упраздненія преступленій, то,

по крайней мѣрѣ, значительнаго сокращенія числа ихъ. Есть выраженія готовые, къ которымъ уже истари приучено человеческое ухо и къ которымъ, въ случаѣ отсутствія мысли, можно прибѣгать точно такъ же, какъ прибѣгаютъ къ магазину готовыхъ платьевъ, чтобы выйти оттуда франтомъ. Но пусть будетъ такъ, какъ утверждаетъ г. Спасовичъ: пусть розги не прекратятся; пусть пощечины господствуютъ вѣчно; пусть преступленія умножаются и процвѣтаютъ на утѣшненіе адвокатамъ, *in secula seculorum*; спрашивается: зачѣмъ же было заводить разговоръ о педагогическихъ идеалахъ? Зачѣмъ было говорить: «Я вполне понимаю, что можетъ быть проведена система воспитанія, изъ которой розга будетъ исключена»? Странное дѣло! объявлять себя «не сторонникомъ» розги—и въ то же время вступаться въ дѣло, въ основаніи котораго лежитъ исключительно розга; намекать на возможность какихъ-то безпощечинныхъ педагогическихъ идеаловъ—и вслѣдъ за тѣмъ объявлять, что идеалы эти слѣдуетъ положить въ шкапъ и навсегда запереть на ключи!

Ежели слова о возможности существованія безпощечинной педагогики были высказаны не ради щегольства (чего даже нельзя предположить со стороны г. Спасовича, зная его всегдашнюю трезвость въ этомъ смыслѣ), то ихъ не слѣдовало говорить совсѣмъ, особливо въ виду того, что вся остальная рѣчь представляетъ лишь категорическое опроверженіе этого опростачно выраженнаго афоризма. Правда, жалкія слова имѣютъ еще очень большое значеніе въ современномъ обществѣ, но все-таки туманъ, ими нану-саемый, начинаетъ мало-по-малу разсѣиваться. Ясно, что г. Спасовичъ вышелъ изъ своей роли и сдѣлалъ ошибку. Его умъ, по преимуществу дѣловой, наклонный къ полнѣйшимъ результатамъ, долженъ тщательно отметать отъ себя чувствительныя примѣсы, которыя составляютъ удѣлъ тѣхъ, которые за прогоны готовы посѣтить какую угодно область теоретическихъ общностей. И навѣрное рѣчь г. Спасовича не утратила бы своей цѣнности и не сдѣлалась бы менѣе убѣдительною, если-бъ онъ, не выгораживая своей личности отъ подозрѣній въ солидарности съ пощечниками, выразилъ прямо и просто, чего онъ требуетъ отъ присяжныхъ засѣдателей. Скомпанованная такимъ образомъ рѣчь могла бы имѣть приблизительно слѣдующій видъ: «Гг. судьи! гг. присяжные засѣдатели! передъ вами на скамьѣ подсудимыхъ находится г. Кронебергъ, который обвиняется въ истязаніи

своей дочери. Для того, чтобы вы могли судить правильно, действительно ли г. Кронбергъ виноватъ въ томъ преступленіи, за которое онъ преслѣдуется (всякій опытный адвокатъ долженъ подчеркнуть эти послѣднія слова, чтобы присяжные не смѣшивали: подсудимый можетъ быть и виноватъ, но не въ томъ преступленіи, за которое судится), необходимо разрѣшить три вопроса: 1) имѣлъ ли г. Кронбергъ право подвергать свою дочь тѣлесному наказанію?— отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить такая-то статья свода законовъ, которая вполнѣ это право за нимъ подтверждаетъ; 2) подавала ли Марія Кронбергъ поводъ для педагогическихъ воздѣйствій на тѣлѣ?—на это служитъ отвѣтомъ энергическое показаніе доктора Сусловой, и 3) можно ли назвать употребленные г. Кронбергомъ педагогическіе приемы истязаніемъ?—на это дастъ вамъ отвѣтъ, во-первыхъ, кассационная судебная практика и, во-вторыхъ, достаточно удовлетворительный видъ, который представляли ягодицы Маріи Кронбергъ при освидѣтельствованіи. Я копчилъ».

И только.

Можно быть увѣреннымъ, что эта простая и безыскусственная рѣчь оказала бы на присяжныхъ засѣдателей по малой мѣрѣ такое же вліяніе, какъ и тѣ темные намеки, которые допустилъ г. Спасовичъ, чтобы установить свою личную непричастность къ педагогической практикѣ г. Кронберга.

Кажется, не будетъ ошибкой, ежели сказать, что всѣ указанныя выше оговорки и недомолвки суть плодъ несленныхъ отношеній, въ которыя стала русская адвокатура къ органамъ нашей печати, носящимъ названіе «либеральныхъ». Адвокатура наша по началу довольно горячо заявила о своей солидарности съ вопросами жизни и потому весьма естественно встрѣтила со стороны либеральной прессы самое горячее сочувствіе. Но, симпатизируя защитнику вдовы и сироты, литература, какъ старшая сестра въ либерализмѣ, до того простерла свое усердіе, что, подвергая дѣйствія адвокатовъ неусыпному контролю, заявила претензію держать это сословіе въ постоянной онекѣ. Начались обличенія, взысканія, выговоры, почти угрозы, и долгое время сходило это съ рукъ, потому что въ самой средѣ адвокатовъ не установилось еще совершенно опредѣленныхъ понятій о тѣхъ цѣляхъ, которымъ она призвана служить.

Такое отношеніе литературы едва ли можетъ быть названо правильнымъ. Франція—классическая страна адвокатуры, представители которой со времени первой революціи играли въ ея исторіи очень значительную политическую роль, но и тамъ объ адвокатахъ, какъ объ адвокатахъ, въ литературѣ нѣтъ и рѣчи. Адвокатъ, за очень рѣдкими случаями, никого не занимаетъ, покуда изъ него не образуется политическій дѣятель, а разъ сдѣлавшись министромъ, сенаторомъ, депутатомъ—онъ уже и самъ забывается о первородномъ грѣхѣ, въ которомъ валяется до того времени. Въ послѣднее время, какъ политическіе дѣятели, адвокаты утратили много изъ прежняго обаянія. Переносъ на политическую и административную арену изурядительныя привычки своего ремесла, они никогда не приходили къ дѣйствительно плодотворнымъ результатамъ, а только вертѣлись въ бѣлинчьемъ колесѣ, вслѣдствіе чего въ настоящее время Франція, послѣ четырехъ революцій, и находится подъ начальствомъ у Макъ-Магона. Поэтому на избирательныхъ сходкахъ въ Парижѣ уже слышатся голоса, что адвокатовъ довольно. Но во всякомъ случаѣ, какъ служителей своего ремесла, и литература, и даже публика (кроме нуждающихся въ ихъ услугахъ) ихъ игнорируетъ, и, право, едва ли можно указать на примѣръ, чтобы въ послѣднее время въ какомъ бы то ни было французскомъ органѣ печати было заявлено кому-либо изъ адвокатовъ, что онъ поступаетъ недостойно, защищая французскихъ Овсянниковыхъ и Мвенниковыхъ. Единственное исключеніе составляетъ защита Вазена адвокатомъ Ланпо, но это статья особенная.

У насъ ремесленное значеніе адвокатуры, по-настоящему, должно бы высказаться еще рѣзче, потому что наши адвокаты уже окончательно не имѣютъ никакого отношенія къ политической жизни государства. Не вопросы жизни стоятъ для нихъ на первомъ планѣ, а вопросы, истекающіе изъ свода законовъ и изъ кассационной судебной практики. Ловкое обращеніе съ статьями законовъ—вотъ что имѣется прежде всего въ виду, точно такъ же, какъ въ нѣкоторыхъ ремеслахъ главную роль играетъ ловкое обращеніе съ иглою, шиломъ, заступомъ и т. д. Спрашивается: почему никому не приходило въ голову обвинять въ недостойствѣ башмачника, который шьетъ матери Митрофанѣ башмаки, или поргного, который одѣваетъ Овсянникова, и напротивъ того, отовсюду сыплются обвиненія на адвоката,

второй, видя Овсянникова покрытымъ сажею пожарница, взялся омыть его баюю пакибытія?

Наша печать долгое время не рѣшалась принять этого взгляда, но въ послѣднее время сама адвокатура рѣшилась заявить, что она представляетъ единственное правильное мѣрило, съ которымъ можно относиться къ ней. Опекунскія заманки печати произвели неизбежную реакцію въ той самой средѣ, которая еще такъ недавно увлекалась желаніемъ доказать, что ничто человѣческое ей не чуждо, хотя на самомъ дѣлѣ всегда имѣла въ виду только то, какъ бы «слопать боженку», чтобъ никто этого не замѣтилъ. Возникъ бунтъ; долгое время онъ тѣлѣтъ, такъ что нельзя было разобрать, откуда гремитъ громъ, изъ тучи или изъ павозной кучи, но наконецъ въ адвокатскую похлѣбку попалъ такой жирный кусъ, что долго сдерживаемыя страсти не устояли. Поводомъ къ разрыву съ литературой послужило знаменитое Овсянниковское дѣло, и, помнителъ, г. Спасовичъ (конечно, какъ добрый товарищъ, ибо лично онъ игралъ въ этомъ дѣлѣ роль противо-овсянниковскую) первый поднялъ знамя бунта, сказавши на какомъ-то обѣдѣ, что адвокатура должна шествовать *своимъ* путемъ, независимо отъ внушеній и контроля печати. За нимъ послѣдовалъ и г. Потѣхнинъ, который безъ церемоній обвинилъ русскую литературу въ идиотствѣ.

Вѣроятно, эти случаи измѣняютъ взглядъ нашей печати на русскую адвокатуру и укажутъ, какой долженъ быть характеръ ихъ взаимныхъ отношеній. Во всякомъ случаѣ это не могутъ быть отношенія товарищества, ибо общей почвы для этого здѣсь найти нельзя, кромѣ развѣ того, что и литераторъ, и адвокатъ обладаютъ однимъ и тѣмъ же орудіемъ для достиженія своихъ цѣлей — словомъ. Затѣмъ, и объектъ дѣйствія, и характеръ его — все разное. Литература служитъ обществу, адвокатура — кліенту; честность литературы состоитъ въ разработкѣ идеаловъ и перспективъ будущаго, честность адвокатуры — въ строгомъ согласіи съ дѣйствительностью и подчиненіи идеаламъ, выработаннымъ въ прошедшемъ и вѣрными охранѣмъ положительнаго закона. А что касается до общаго орудія — слова, то вѣдь оно раздается и на Сѣвншій.

Коль скоро адвокатура выказала намѣреніе отмежеваться отъ области общихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ, надо воспользоваться этими ея пополюзовеніями, не навязывать ей общенія и отвести то мѣсто, которое она

должна действительно занимать въ кругу разнообразныхъ ремеслъ. Что адвокатура ничего не выиграетъ отъ этой эмансипации—это несомнѣнно. Тяготѣя все больше и больше къ независимости отъ общихъ интересовъ жизни, она скоро обучится въ томъ же незавидномъ положеніи, въ какомъ еще недавно находились ябедники и строчители просьбъ. То-есть настоящей независимости не достигнетъ, а только переимѣнитъ господина и, вмѣсто литературы, приобрететъ себѣ такого въ лицѣ кліента, который до сихъ поръ сдерживалъ свои инстинкты именно благодаря тому, что думалъ, будто адвокатура и печать солидарны другъ съ другомъ. Что же касается печати, то, освободившись отъ кошмара кліаузы, она несомнѣнно выиграетъ. Кліауза въ послѣднее время отнимала слишкомъ много досуга у публики и заставляла отъ ея глазъ другіе интересы, гораздо болѣе важные. Это не соответствуетъ ей дѣйствительному значенію въ общей экономіи жизни общества, и, къ счастью для человечества, у него на очереди стоятъ вопросы, гораздо болѣе животрепещущіе, нежели вопросъ объ отношеніяхъ адвокатовъ къ кліентамъ и къ суду.

## ГЛАВА VI.

На дворѣ знойно; Петербургъ опустѣлъ и наполнился смрадомъ. Съ «вопросами» тихо; даже еврейскій вопросъ, надѣлавшій-было изряднаго переполоху, — и тотъ словно изнылъ. Но кой-гдѣ еще скребутъ перьями; вѣроятно, это какая-нибудь, невзначай уцѣлѣвшая, коммиссія доскребываетъ свою послѣднюю пѣсню... Ну, что бы стоило окончительно сказать: оботрите перья, спрячьте въ ящикъ бумага, залпите на ключъ и бѣгите, куда глаза глядятъ—какой бы миръ во всѣ души эти простые слова пролили! Такъ пѣть, объ этомъ еще не слышать: не приспѣло, знать, время. А тутъ, вдобавокъ, еще дернула околоточнаго на Петербургской сторонѣ двѣ души загубить! Думашь: пѣшь ли тутъ внутренней политики, и не отразится ли это произшествіе на литературѣ, яко поустительницѣ и укрывательницѣ...

И всѣ эти сомнѣнія рождаются въ такую пору, когда несслыханный зной такъ и прожигаетъ насквозь, когда не только возиться въ вопросахъ, но и фривольнымъ мысли въ головѣ содержать тяжело. Говорятъ, будто въ такой зной хорошо сѣно убирать и хлѣбъ жать, но насколько это спра-

ведливо—сказать не умѣю. Не сѣять, не жать, а только въ ѣдѣ себѣ не отказывать. На-дняхъ, впрочемъ, види, какъ дворникъ Иванъ ловко машетъ косой, обкашивая лужайку передъ дачей, я рискнулъ—таки полюбобытствовать:

— А что, братъ Иванъ, я думаю, что въ такое благоприятное для уборки время и душа радуется косить-то?

По онъ, вмѣсто того, чтобы по душѣ покалякать, процѣдиль сквозь зубы:

— Попробуйте!

Такъ я и не узналъ, радуется или не радуется у чловѣка душа, когда онъ машетъ косой при тридцати градусахъ по Реомюру.

Нынѣшнимъ дѣломъ я не поѣхалъ за границу, а устроился на дачѣ подъ Петербургомъ. Въ сущности, пора бы своей собственной уголь гдѣ-нибудь принасти, но столько нынче во всѣхъ мѣстахъ «вопросовъ» развелось, что поневолѣ беретъ оторопь. На югъ заберешься—тамъ еврейскій вопросъ у всѣхъ въ свѣжей памяти, на сѣверъ—тамъ о какихъ-то аграрныхъ вопросахъ поговариваютъ. Даже въ Петербургѣ нынче своимъ домкомъ завестись жутко: а ну какъ столица-то?.. Катковъ съ Аксаковымъ въ Москву зовутъ, Бузюбанъ—въ Полтаву, а потомъ, глядишь, и въ Саратовѣ свой собственный патриотъ объявится: пожалуйте въ Саратовъ!

Главнымъ образомъ я потому не поѣхалъ за границу, что вѣстей туда изъ Россіи доходить мало, а знать хочется. Думалъ, поселюсь-ка въ сорока верстахъ отъ Петербурга—всего наслушаюсь. И что же! въ сорока-то верстахъ еще меньше извѣстій изъ Россіи, пожелай за границей! Точно она сквозь землю провалилась, голубушка. Тѣ же газетные листы, что и за границей, и тѣ же въ нихъ голые факты. А какія загадки скрываются за этими фактами и какія заговордки готовить они въ будущемъ—молчокъ.

Довольно поболтали. Налгали съ три короба, пасуетились—и будетъ. Теперь попробуемъ, не лучше ли будетъ, если сядемъ и будемъ сидѣть, уставивъ брады. Но какой переходъ!

Какъ опознаться въ этомъ Concertstück, гдѣ мажорные тоны внезапно смѣняются минорными, а минорные—мольными, и наконецъ наступастъ отсутствіе всякихъ тоновъ?..

Паровозы между тѣмъ чуть не ежечасно выбрасываютъ на дачную платформу цѣлыя массы людей, съ портфелями и безъ портфелей, людей, которые ежедневно, въ урочный



часть, убъзають отъ насъ въ Петербургъ и, настряпавши тамъ цѣлые вороха внутренней политики, въ урочный же часъ прѣбъзають обратно—глотнуть дачнаго воздуха. Вяло выльзають эти люди изъ вагоновъ и, лѣживо перебирая по платформѣ ногами, направляются къ извозчикамъ. Глаза померкли, губы запеклись, въ носу залегло, голова пуста... Послѣ, въ портфель, опять все безъ труда отыщется, и опять голова наполнится внутренней политикой, но покуда утренняя стражня взяла всѣ силы, какія только могла взять. А тутъ, какъ на грѣхъ, зной, словно изъ ушата, такъ и льеть на опустѣлую голову...

— Что новенькаго?—слышится гдѣ-то сонный вопросъ.

— А? что?—тоже словно съвозъ сонъ раздается изъ чьей-то утробы.

Однимъ словомъ, предположенная цѣль: остаться въ Россіи, чтобы жить въ оной,—оказывается недостигнутою. Живешь невѣдомо гдѣ, слышишь загадочные звуки, видишь протянутыя веревки, на которыхъ качается масса юбокъ и кальсоновъ (вотъ фюфайка главы семейства, а вотъ кальсоны матери семейства), и отъ времени до времени освѣжаешься мыслью, что, того гляди, явятся прекрасные незнакомцы и потребуютъ: пожалуйста паспорта! Паспорта, паспорта, паспорта—вотъ въ чемъ состоитъ прелесть нынѣшней дачной жизни...

— Кто вы, прекрасные незнакомцы? Дворничъ, слѣдуетъ ли отдавать имъ паспорта?

— Помилуйте, вашескородіе, стало-быть, слѣдуетъ, коли требуютъ!

А впрочемъ, въ послѣднее время наша жизнь уразнообразилась еще слухами о воровствахъ. Здѣшніе воры довольно снисходительны. Придутъ и попробуютъ, подается ли окно, или не подается: ежели подается, то вльзутъ; если же не подается, то, не настаивая, идутъ дальше. На ихъ счастье, дачи ремонтируются рѣдко, и оконные перемысты почти всегда ветхи. Но и въ такомъ случаѣ здѣшніе воры не задерживаются, а возьмутъ первое, что попадется подъ руки, и уйдутъ. Очевидно, что главнымъ мотивомъ тутъ является не ненависть къ людямъ и не протестъ противъ неравномѣрнаго распредѣленія богатствъ, а выпивка. Хочется выпить, а денегъ нѣтъ—вотъ они и пробуютъ, прочны ли оконныя рамы. При этомъ всего чаще достается ложкамъ, которыя вездѣ, въ ягодный сезонъ, валяются неприбранныя. Иногда попадается нѣсколько настоящихъ сере-

бряныхъ ложекъ—тогда воръ радуется и называетъ обворованнаго «хорошимъ господиномъ»; но иногда ложки падаются мельхиоровыя—тогда воръ рожнеть, называетъ обворованнаго обманщикомъ и сравниваетъ его поступокъ съ тою мельхиоровою внутреннею политикою, которая еуетится и сулитъ, но, кромѣ мельхиоровыхъ дѣлъ, ничего послѣ себя не оставляетъ.

Однако покуда не было опубликовано происшествіе на Петербургской сторонѣ, мы не очень тревожились. Но звѣрски-безсмысленный поступокъ околоточнаго Иванова заставилъ и насъ встрепенуться. Сейчасъ же у всѣхъ оконъ появились наружные ставни, сквозь которые просовываются желѣзные болты, и теперь, съ десяти часовъ вечера, мы сидимъ запершись и ничто не боимся. Сверхъ того, я лично, дожась снаги, на каждое окно кладу по ложкѣ и по двѣ, въ расчетъ, что воръ прямо возьметъ, что слѣдуетъ, и затѣмъ ему уже не будетъ надобности убивать. А такъ какъ у насъ околоточнаго нѣтъ, а есть урядникъ, то я и съ нимъ на всякій случай имѣлъ разговоръ.

— Уже вы, Семенъ Пароснычъ, ежели вамъ нужно, лучше спросите.

— Я, вашескорodie, завсегда лучше спрошу!

— Пожалуйста. Я тоже лучше десять, двадцать пять рублей отдамъ, ежели жизни!

Устроившись такимъ образомъ, я сплю тѣмъ спокойнѣе, что на-дняхъ намъ сдѣлалъ сюрпризъ: нанять ночной сторожъ. Сторожъ этотъ слѣпенькій, на оба уха не слышитъ, на одну ногу хромастъ, а другую волочить; однако еще дышитъ. А это все, что нужно, потому что на здѣшняго престодушнаго вора одинъ видъ человѣка движущагося дѣйствуетъ спасительно. Иногда, въ-просонкахъ, я слышу, какъ нашъ сторожъ зѣваетъ, а по временамъ—нѣтъ-нѣтъ, да и потрептитъ въ трещотку: спите, молъ, я тутъ! А я ему въ отвѣтъ:—бди, калѣка, за восемь цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, бди!

Ахъ, этотъ Ивановъ! Мало того, что двѣ души загубилъ, но что еще хуже—цѣлое вѣдомство своимъ поступкомъ скомпрометировалъ. Въместо того, чтобы держать знамя полиціи высоко, а онъ, смотрите, что выдумалъ! И какъ нарочно сряду два такихъ случая. Одинъ съ Ивановымъ, другой съ господиномъ—не помню ужъ фамиліи,—который въ магазинѣ шить байковыхъ платковъ стануль. Поймали, привели къ мировому.

— Кто таковъ?

— Чиновникъ департамента государственной полиціи.

Ахъ!

Къ счастью, оказалось, что онъ совралъ. Никогда онъ въ департаментѣ государственной полиціи не служилъ, а только отъ времени до времени исполнялъ отдѣльные порученія. Исполнить порученію, а вслѣдъ затѣмъ воровать пойдеть; потомъ опять порученіе исполнить—и опять воровать. Дѣлу время, а потѣхъ часъ. А въ департаментѣ, по разсмотрѣніи его порученій, распоряженія идутъ: штандартъ скачетъ, андроны вѣдутъ, паровозъ свистать...

Кто-жъ ему однако-жъ въ душу вѣзеть! Думаи, что онъ просто курицынъ сынъ, а онъ оказался... орелъ!

Какъ бы то ни было, но въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ внутренней политики нѣтъ и слѣда, и тѣ, которые полагаютъ, что здѣсь примѣшанъ вопросъ о расширеніи полицейской компетенціи, очень грубо ошибаются. Равнымъ образомъ заблуждаются и тѣ, которые утверждаютъ, что ничего подобнаго не могло бы произойти при «правовомъ порядкѣ» (псевдонимъ). Ибо псевдонимъ этотъ давно ужъ у насъ существуетъ, только мы, по недоразумѣнію, другими псевдонимами его называемъ. Ничего намъ не нужно: ни реформъ, ни упорядоченій, ни правовыхъ порядковъ. Все у насъ есть. А ежели есть, сверхъ того, и много лишняго, то стѣнть только построже предписать: чтобъ не было—и не будетъ.

Вѣдь справляются же съ литературой. Не писать о соборахъ, ни объ Успенскомъ, ни объ Архангельскомъ, ни объ Исаакіевскомъ—и не лишуть. Вотъ о колокольныхъ (псевдонимъ) писать—это можно, по я о колокольныхъ писать не желаю. Богъ съ вами, съ псевдонимами вообще.

Встарину опытные губернаторы именно такъ и поступали. Прослышнть, бывало, генераль, что въ вѣтреномъ ему краѣ неблагополучно—сейчасъ циркуляръ: «Дошло до моего свѣдѣнія... чтобъ не было!» И разомъ всѣ воровства, грабежи, убійства—все какъ рукой сниметь. А отчего? оттого, что встарину администраторы знали, чего хотятъ, и въ согласность съ симъ требовали; о журавляхъ не разговаривали, а прямо указывали на синицу. Зато ужъ если потребовалъ генераль синицу, то хоть тресни, а подай; а не подай—умри!

А нынче, съ комитетами да съ комиссіями, совсѣмъ мы сплутались. Понадѣлали комиссіи думали, что польза вый-

деть, а выжили псевдоими. Реформа—псевдонимъ, упрямодочене—псевдонимъ, правовой порядок—псевдонимъ. По-настоящему, что никакая комиссия такого множества псевдонимовъ не выдержитъ, и вотъ онѣ нарождаются и умираютъ, умираютъ и опять нарождаются. А мы ходимъ между ними словно по полю, усыпанному мертвыми тѣлами. Идешь и думаешь: почилъ, несправимые празднословы! Смотришь, анъ между ними ужъ кудравые купидоны рѣзвятся и тоже о чемъ-то празднокартавятъ... Ахъ, дѣти, дѣти!

Жалко смотреть на этихъ дѣтей. Едва изъ колыбели, а ужъ не знаютъ никакихъ игрушекъ, кромѣ труновъ! И какихъ труновъ! такихъ, которые завѣдомо сдѣлались ониими отъ руки псевдонимовъ! Въдъ псевдонимный-то ядъ сплелъ; живые труны давно стали мертвыми трунами, а ядъ и теперь вытаетъ надъ полемъ смерти! И молодые легкія вдыхаютъ испарения его и постепенно заражаются ими. Не успеютъ купидонъ подрасти—глядь, ужъ новое мертвое тѣло присовокупляется къ числу прежнихъ таковыхъ... Въдныя, нерасцвѣвшія дѣти!

Въ томъ-то и бѣда наша, что часто мы сами не знаемъ, чего хотимъ. По крайней мѣрѣ въ Москвѣ давно ужъ твердятъ, что только тогда мы будемъ благополучны, когда на фронтисписѣ нашей жизни будетъ написано:  $A=A$ . Вотъ это вѣрно. Все равно какъ въ старые годы кресты на дверяхъ мѣломъ писали, чтобъ холера въ домъ не входила. Но ежели и затѣмъ холера входила, то умирали.

Однако довольно о псевдонимахъ—еще бѣды съ ними наживешь. Поговоримъ лучше объ еврейхъ. Ибо хотя нынче съ этихъ вопросомъ и тихо, но, право, даже теперь, какъ вспоминая, что происходило мѣсяца три-четыре тому назадъ, морозъ по кожѣ подираетъ.

Не такъ давно и въ печати, и въ обществѣ въ большемъ ходу были толки «о народной политикѣ» и о необходимости практическаго ея примѣненія. Но, къ удивленію, эти толки болѣе смущали, нежели радовали.

Не потому смущали, чтобы выраженіе: «народная политика» представляло для кого бы то ни было загадку: у всѣхъ народовъ оно имѣетъ одно и то же значеніе и на всѣхъ языкахъ имѣетъ соответствующій терминъ. Означаетъ оно такую правительственную систему, въ результатѣ которой является здоровый ростъ народа, какъ физическій, такъ и духовный. Прогрѣваніе науки, промышленности, искусства, литературы, общее довольство, обезпе-

ченность и доверіе—вотъ въ нѣсколькихъ словахъ программа «народной политики». Испо, что такого рода явленіе, въ глазахъ всякаго здравомыслящаго человѣка, можетъ быть только желательнымъ.

Но у насъ, вслѣдствіе укоренившейся привычки говорить псевдонимами, понятія самыя простыя и вразумительныя получаютъ загадочный смыслъ. У насъ выраженіе: «народная политика» означаетъ совсѣмъ не общее довольство и преуспеваніе, а, во-первыхъ, «жизнь духа», во-вторыхъ — «духъ жизни» и въ-третьихъ — «оздоровленіе корней». Или, говоря другими словами: мели, Емеля, твою медвѣдя.

Вотъ эта-то «народная политика» и взялась покончить съ еврейскимъ вопросомъ. Она всегда и за все бралась съ легкостью изумительной. И «ключей» требовала, и Востору грозила, и въ Константинополь единство кассъ устроить собиралась, и на кратчайшій путь въ Индію указывала. Но нельзя сказать, чтобы съ успѣхомъ. Если-бъ она меньше хвасталась, не такъ громко кричала, собираясь на рать, поменьше говорила стихами и потрѣзвѣе смотрѣла на свою задачу—быть-можетъ, она чего-нибудь и достигла-бы. Но она всегда продавала шкуру медвѣдя, не убивши его—понятно, что ни «ключи», ни «проливы» не давались ей какъ кладъ. И вотъ, послѣ цѣлаго ряда проказъ по части оздоровленія корней, ей подвертывается пресловутый еврейскій вопросъ.

Читатель, помните ли вы сказку о «Дикомъ помѣщикѣ»? Содержаніе ея очень незамысловатое. Не весьма умный помѣщикъ, огорченный крестьянской реформой и начитавшійся розеказней о бѣлой кости и алой крови, взмолился къ Богу, прося, чтобы Онъ освободилъ его отъ мужика. «Одной только милости прошу,—вопіялъ онъ:—чтобы мужичьимъ духомъ у меня во владѣніяхъ не пахло!» И Богъ вынулъ мольбѣ неразумнаго (конечно, съ тѣмъ, чтобы онъ впоследствии самъ созналъ свое неразуміе): въ одно прекрасное утро поднялся вихрь и, въ глазахъ помѣщика, унесъ изъ его владѣній весь мякинно-мужичій рой...

Какіе плоды вкусилъ помѣщикъ отъ мужичьего исчезновенія—это сюда не относится. Но очевидно, что легенда о легкомъ исполненіи помѣщичьей прихоти увлекла нашихъ народныхъ политиковъ. Стѣняясь еврейскою набоианностью и видя, что тутъ ничего не подѣлаешь ни «жизнью духа», ни «духомъ жизни», ни даже «оздоровленіемъ корней», они

избрали легчайший путь: попробовали примѣнить къ постылымъ евреямъ тотъ же летательный процессъ, какой былъ примѣненъ «дикимъ помѣщикомъ» къ постылымъ мужикамъ. И точно, поднялся вихрь, но при этомъ случилось пѣчто неожиданное: улетѣли пародные политики, а евреи остались. До такой степени остались, что даже на-дняхъ я видѣлъ: ходить еврей у насъ по дачамъ, какъ будто молотно продаетъ, а самъ подслушиваетъ, не наклѣвывается ли гдѣ-нибудь революціи — точь-въ-точь какъ полиправный русский гражданинъ.

Итакъ, евреи остались, но вмѣстѣ съ тѣмъ остался нетронутымъ и еврейскій вопросъ.

Исторія никогда не начертывала на своихъ страницахъ вопроса болѣе тяжелаго, болѣе чуждаго человѣчности, болѣе мучительнаго, нежели вопросъ еврейскій. Исторія человѣчества вообще есть безконечный мартирологъ, но въ то же время она есть и безконечное просвѣтленіе. Въ сферѣ мартиролога еврейское племя занимаетъ первое мѣсто; въ сферѣ просвѣтленія оно стоитъ въ сторонѣ, какъ будто лучезарныя перспективы исторіи совсѣмъ до него не относятся. Нѣтъ болѣе надрывающей сердце повѣсти, какъ повѣсть этого безконечнаго истязанія человѣка надъ человѣкомъ. Даже исторія, которая для самыхъ загадочныхъ уклоновъ отъ свѣта къ тьмѣ находитъ соответствующую поправку въ дальнѣйшемъ ходѣ событій, — и та, излагая эту скорбную повѣсть, останавливается въ безсильи и недоумѣніи.

Очевидно, что въ ненормальномъ положеніи еврейскаго вопроса играютъ фатальную роль такого рода залутанности, которыя съ теченіемъ времени не только не смягчаются, но даже больше и больше обостряются. Въ ряду этихъ залутанностей главное мѣсто, несомнѣнно, занимаетъ преданіе, давно уже утратившее смыслъ, но доселѣ сохранившее свою живость. Затѣмъ къ числу причинъ, содѣйствующихъ незбылемости преданія, слѣдуетъ отнести, во-первыхъ, бессознательныя капризы расоваго темперамента и, во-вторыхъ, совершенно произвольное представленіе объ еврейскомъ типѣ на основаніи образцовъ, взятыхъ не въ трудящихся массахъ еврейскаго племени, а въ сферахъ болѣе или менѣе досужныхъ и эксплуатирующихъ.

Нѣтъ ничего безчеловѣчнѣе и безумнѣе преданія, выходящаго изъ темныхъ ущелій далекаго прошлаго и съ жестокостью, доходящей до идиотскаго самодовольства, изъ вѣка въ вѣкъ переносающаго клеймо позора, отчужденія и

ненависти. Не говоря уже о непосредственных жертвах предания, замученных и обезглавленных, оно извращает цѣлый цикл общественных отношеній и на самую историю палагаста печать изуверской одичалости. Но безчеловѣчїе явится еще болѣе осязательнымъ, если припомнить, что нѣтъ вещи болѣе общедоступной, какъ преданіе, и что, слѣдовательно, послѣднее прежде всего становится достояніемъ толпы, и безъ того обезумѣвшей подъ игромъ собственнаго злосчастїа. Именно этою-го общедоступностью и обладаетъ преданіе, поразившее отчужденїемъ еврейское племя. Когда я думаю о положенїи, созданномъ образами и стонами истонной легенды, преслѣдующей еврея изъ вѣка въ вѣкъ на всякомъ мѣстѣ, — право, мнѣ представляется, что я съ ума схожу. Кажется, что за этой легендой злѣетъ бездонная пропасть, наполненная кипящей смолой, и въ этой пропасти безнадежно агонизируетъ цѣлая масса людей, у которыхъ отнято все, даже право на смерть.

Ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ не найдетъ въ себѣ столько творческой силы, чтобы вообразить себя въ положенїи этой неумирающей агонїи, а еврей рождается въ ней и для нея. Стигматизированный онъ является на свѣтъ, стигматизированный агонизируетъ въ жизни и стигматизированный же умираетъ. Или, лучше сказать, по умираетъ, а видитъ себя и по смерти безрочно-стигматизированнымъ въ лицѣ дѣтей и присныхъ. Нѣтъ выхода изъ кипящей смолы, нѣтъ иныхъ перспективъ, кромѣ зубоваго скрежета. Что бы еврей ни предпринималъ, онъ всегда остается стигматизированнымъ. Дѣлается онъ христіаниномъ — онъ выкрестъ; остается при іудействѣ — онъ пѣстъ смердящїй. Можно ли представить себѣ мучительство болѣе безумное, болѣе бессовѣстное?

Мнѣ скажутъ, быть-можетъ: однако-жъ мы видимъ, что промышленные центры переполнены евреями, которые немало не стѣняются своимъ еврействомъ. Биржи, театры, рестораны, будуары самыхъ дорогихъ кокотокъ — все это кишитъ веселоправными семитами, которые удивляютъ всеобщую наглою расточительностью и лѣзвїю привередливостью прихотей и вкусовъ. Да, такихъ субъектовъ существуетъ достаточно (ихъ-то однихъ мы и знаемъ), но вѣдь въ нихъ еврейство играть уже далеко не существенную роль. Это обыкновенные гуляющїе люди (многіе называютъ ихъ «татами», но я не вижу надобности слѣдовать этой терминологїи), члены той международной аффилиаціи гу-

лящих людей, в которую каждая национальность вносит свой посильный вклад. Об еврействѣ въ этихъ людяхъ говорятъ только нѣкоторыя ухватки, но вѣдь ухватки самыя рѣзкія легко ступениваются въ пучинѣ всевозможныхъ интернациональныхъ утонченностей. Тѣмъ не менѣе можно сказать съ увѣренностью, что даже подобныя личности во временахъ переживаютъ нестерпимо-горькія минуты. Ибо и во снѣ увидѣть себя евреемъ достаточно, чтобы самого неунывающего субъекта заставить метаться въ ужасѣ и посылать безсильныя проклятыя судьбѣ.

Несмотря однако-жъ на это организованное мучительство, евреи живутъ. Какая загадка таится за этимъ фактомъ—это вопросъ трудный. Одни объясняютъ еврейскую живучесть надеждой на отмищеніе, другіе—мудростью, третьи—просто привычкой. Но кажется, что главную роль тутъ играетъ тотъ общечеловѣческій законъ самосохраненія, въ силу котораго племя, однажды сознавшее себя племенемъ, никогда добровольно не налагаетъ на себя рукъ.

Какъ бы то ни было, но уничтожить силу преданія или даже ослабить ее—задача настолько сложная, что даже люди очень убѣжденные отступаютъ передъ нею. Преданіе наслылось вѣками, и каждое новое наслоеніе прибавляло къ нему новую жестокую черту. Да и кто всего упорнѣе хранить эти преданія? Ихъ хранить толпа, которая сама насквозь пронитана злосчастіемъ и въ отношеніи которой всякій укоръ былъ бы несправедливостью и всякое рѣшительное воздѣйствіе—дѣломъ въ высшей степени щекотливымъ. Даже поднятіе общаго уровня образованности, какъ это показываетъ современное антисемитское движеніе въ Германіи, не приносить въ этомъ вопросѣ осязательныхъ улучшеній, потому что до сихъ поръ мы были свидѣтелями только *относительнаго* поднятія этого уровня, которое не обладаетъ достаточной силой для водворенія принципа абсолютнаго равноправія. Следовательно, чтобы упразднить преданіе, необходимо, чтобы человечество окончательно очеловѣчилось. А когда это произойдетъ?

Перспектива безсрочная и тѣмъ болѣе безнадежная, что въ союзѣ съ преданіемъ противъ еврейскаго племени дѣйствуютъ и несознательныя капризы расовыхъ темпераментовъ. Эти капризы, переходя отъ поколѣнія къ поколѣнію, въ свою очередь образуютъ преданіе, столь же компактное и не менѣе неприспособленное всякаго рода баснословіямъ, какъ и изукрашенная вѣками легенда о несмыслимомъ еврейскомъ клеймѣ.

И образъ жизни еврея, и внѣшняя его складка, его манера говорить, ходить, одѣваться—все даетъ пищу для бессмысленной досады, которая проявляетъ себя тѣмъ бездвѣтственнѣе, что выраженіе ее почти всегда сопровождается безнаказанностью. Никто такъ мастерски не боится, какъ еврей; никто не создалъ для себя такого страшнаго внѣшняго облика. Еврей самый солидный напоминаетъ внѣшнимъ своимъ видомъ подростка, путающагося въ отцовскихъ штанахъ. Для темной массы этого вполне достаточно, чтобы видѣть въ еврей всегда готовый источникъ потѣхъ и издѣвокъ. Никому нѣтъ дѣла до причинъ, породившихъ «странности», ибо въ глазахъ черноты ужъ живо мечется грубый фактъ, который заслоняетъ и проклятое прошлое, и презрѣнную обстановку настоящаго. Смѣшиной ламбердакъ, негѣныя пейсы, заячья торопливость, ни на минуту не дающая еврею усидѣть на мѣстѣ,—чего еще нужно? Еврей и ходить не такъ, какъ люди, и говорить не такъ, какъ люди, и смотреть не такъ, какъ люди. Отъ еврея—пахнетъ; еврей не смотритъ, а глаза у него бѣгаютъ; онъ не живетъ, а блудитъ. А какъ смѣшно и даже гнусно онъ шепелявитъ!

— Что, еврей, губами мнешь?

— Дурака шашу!

То ли дѣло Деруновъ съ Колупасвымъ! Никогда они не скажутъ: «шашу», а прямо отчеканятъ: «соу дурака»—и шабашъ. И правильно, и для потѣхи резонномъ нѣтъ: слушай и треници!

Давно ли власть имѣющія лица стригли у евреевъ пейсы и снимали съ нихъ ламбердаки? Давно ли какъ лакомства выслушивались рассказы о веселоправныхъ военныхъ людяхъ, вздвинутыхъ на еврейхъ и верхомъ, и въ экипажахъ, занимавшихся травлей ихъ и не знавшихъ болѣе высокаго наслажденія, какъ подстеречь еврея съ какимъ-нибудь членовредительнымъ сюрризомъ и потомъ покатываться отъ умора при видѣ *смѣшиного* ужаса, который являлся естественнымъ послѣдствіемъ сюрриза. И что же, развѣ это прошлое такъ и кануло въ вѣчность? Нѣтъ, оно только видоизмѣнило формы, а сущность передало неприкосновенною, такъ что въ настоящее время пропаганда еврейской травли едва ли не идетъ шире и глубже, нежели когда-либо.

Говорятъ, будто выраженіе: «дурака шашу» представляетъ девизъ, которымъ опредѣляются отношенія *всякаго*



еврея къ окружающей средѣ. Но въ такомъ случаѣ отчего же не допустить подобнаго же толкованія и для выраженія: «сосу дурака», которое на практикѣ имѣетъ отноше- ние менѣе обширное примѣненіе. По существу, они оба одинаково омерзительны, да и на практикѣ имѣютъ одина- ковое примѣненіе. Но и въ томъ, и въ другомъ видѣ до- ступны совсѣмъ не всякому встрѣчному, а только могущему имѣть.

Сосать простеца или «дурака» (онъ же рохля, ротозѣй, мужикъ и проч.) очень легко, но для этого надо имѣть случай, споровку и талантъ. Деруновъ и Колунаевъ — со- суютъ, а Малавкинъ и Казявкинъ хоть и живутъ съ ними по сосѣдству — не сосуютъ. Первые обладаютъ всѣми нужными для сосанія приспособленіями; вторые — тѣми же приспособленіями обладаютъ наоборотъ. Тотъ же самый законъ имѣетъ силу и въ еврейской средѣ. И между евреями пра- вомъ лакомиться «дуракомъ» пользуются лишь сильныя организмы, а Малавкинъ и Казявкинъ не только не ла- комится, а, напротивъ, представляютъ собой матеріалъ для лакомства.

Вся разница въ томъ, что корешкой Деруновъ, присасы- ваясь къ Малавкину, называетъ его «крестникомъ» и не чуждается прибауткой, въ родѣ: «по-мишу да по-божепки, ты за меня, я за тебя, а Богъ за всѣхъ!» А Деруновъ-еврей сосетъ безъ прибаутокъ, серьезно. Возьметъ дурака двумя пальцами, пососетъ и скорлупу выплюнетъ; потомъ возьметъ другого дурака и опять скорлупу выплюнетъ. Ужасно видѣть это серьезное вымывываніе скорлупокъ, но, право, и прибаутки слушать не сладко.

Кому же однако приходило въ голову указывать на Ра- зуваева, какъ на опредѣляющій типъ русскаго человѣка? А Разуваева-еврея непременно навяжутъ всему еврей- скому племени и будутъ при этомъ на все племя кри- чать: ату!

Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоя- тельство: онъ чаще всего сосетъ вотще. Ибо какъ только онъ начинаетъ насасываться досыта, такъ тотчасъ на него налетаетъ ревизія: показывай, жидъ, что у тебя въ погре- хахъ? И всякій, кому не лѣнь, беретъ оттуда часть. Какъ все-то разберутъ — много ли останется? И какую надобно имѣть силу воли, какую удачливость, чтобы, претерпѣвъ всѣ ревизіи, благополучно вынырнуть въ міръ концессій и банкирскихъ геншефтовъ и тамъ, сбросивши съ себя узы

еврейства, кормить обѣдами тайныхъ соиѣтниковъ, а нѣко- торыхъ изъ нихъ имѣть даже въ услуженіи...

Почему же однако мы съ такою легкостью отождествляемъ еврея сосущаго съ евреемъ не-сосущимъ, почему мы такъ охотно вымещаемъ на послѣднемъ досаду, которую пробуждаетъ въ насъ первый? Не потому ли, что сосущій еврей есть сила, за которою скрывается еще сила, и даже не одна, а цѣлый легионъ? Весьма вѣроятно, что въ этомъ предположеніи есть очень значительная доля правды, хотя это и не приноситъ особенной чести нападающей сторонѣ. Но во всякомъ случаѣ, въ безчеловѣчной путаницѣ, кото- рая на нашихъ глазахъ такъ трагически разыгралась, имѣетъ громадное значеніе то, что нападающая сторона, относительно еврейскаго вопроса, ходитъ въ совершенныхъ потемкахъ, не имѣя никакихъ твердыхъ фактовъ, кромѣ преданія (нельзя же въ самомъ дѣлѣ серьезно преслѣдо- вать людей за то, что они носятъ пейсы и неправильно произносятъ русскую рѣчь!).

Въ самомъ дѣлѣ, что мы знаемъ объ еврействѣ, кромѣ концессионерскихъ безобразій и продѣлокъ евреевъ-аренда- торовъ и евреевъ-шницарей? Имѣемъ ли мы хотя прибли- зительное понятіе о той безчисленной массѣ евреевъ-ма- стеровыхъ и евреевъ-мелкихъ-торговцевъ, которая кишитъ въ грязи жидовскихъ мѣстечекъ и неистово плодится, не- смотря на печать проклятія и на вѣчно присущую угрозу голодной смерти? Испуганныя, доведшія свои потребности до минимума, эти злосчастныя существа молятъ только забвенія и безвѣстности — и получаютъ въ отвѣтъ пору- ганіе...

Даже въ литературу нашу только съ недавняго времени начали проникать лучи, освѣщающіе этотъ агонизирующій міръ. Да и теперь едва ли можно указать на что-нибудь подходящее, исключая прелестнаго разсказа г-жи Орженко: «Могучій Самсонъ». Поэтому тѣ, которые хотятъ знать, сколько симпатичнаго таитъ въ себѣ замученное еврейство и какая неистовая трагедія титотѣетъ надъ его существо- ваніемъ, — пусть обратятся къ этому разсказу, каждое слово котораго дышитъ мучительною правдою. Навѣрное это чте- ніе пробудитъ въ нихъ добрыя, здоровыя мысли и заста- вить ихъ задуматься въ лучшемъ, человѣчпомъ значеніи этого слова.

Знать — вотъ что нужно прежде всего, а знаніе несо- мнѣнно приведетъ за собой и чувство человѣчности. Въ

этомъ чувствѣ, какъ въ гармоническомъ цѣломъ, сливаются тѣ качества, благодаря которымъ отношенія между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознание братства и любовь.

## ГЛАВА VII.

Пришелъ и новый годъ. Пришелъ и, по обыкновенію, новое счастье принесть. Счастье пока еще не опредѣлилось, но надежда и увѣренности — болѣе чѣмъ достаточно. Не было, я полагаю, того угла въ цѣломъ Петербургѣ, гдѣ бы въ ночь съ 31-го декабря на 1-е января не ободряли себя пріятными перспективами. Конечно, и въ прошломъ году въ этотъ моментъ точно такъ же всѣ поздравляли себя съ новымъ счастьемъ и льстили себя новыми надеждами (какъ встарину добрыя дѣти родителямъ писали: «люблю себя, милый папенька, надеждою, что новый годъ принесетъ новое счастье, которое поможетъ намъ многія лѣта въ сей печальной юдоли благополучно провести»), по иныя пожеланія выражались какъ-то настойчивѣе и убѣдительнѣе, такъ что можно было догадываться, что поздравляющіе понимаютъ, съ чѣмъ поздравляютъ другъ друга.

Съ перваго же дня газеты предприняли ревизію стараго года. Разсматриваютъ его во всѣхъ смыслахъ и очень хвалятъ. Многое уже выполнено, а остальное — не замедлить. Во всякомъ случаѣ и того, что сдѣлано, уже достаточно, чтобы считать почву будущаго подготовленною. Все процвѣло и преуспѣло, кромѣ литературы, которой прошлый годъ принесть одаб утраты. И таковы эти утраты, что даже недавній юбилей российской академіи \*) не заставилъ о нихъ позабыть.

Надо сказать правду: тонъ общественнаго мнѣнія за послѣдніе годы измѣнился къ лучшему. Въмѣсто прежнихъ колебаній — солидность, вмѣсто витанія въ эмпирахъ — стремленіе къ «настоящему» дѣлу и увѣренность обрѣсти его. Встрѣчается множество людей, которые еще недавно легкомысленно восклицали: «sursum corda!» и которые теперь видимо озабочены тѣмъ, чтобы ихъ недавніе возгласы были проданы забвенію. И надо думать, что усилія ихъ

\*) Замѣчательно, что редакціи русскихъ журналовъ не были на это торжество приглашены.

увѣнчаются успѣхомъ, потому что у насъ насчетъ возгласовъ просто: сорясаніе воздуха — и больше ничего. Имѣющій уши — ихъ слышитъ и сейчасъ же забываетъ, а не имѣющему ушей хоть всю литургію вървухъ пропой — онъ все равно ничего не услышитъ.

Резонность и солидность — вотъ лозунгъ настоящаго. Это, вѣроятно, и при поздравленіяхъ съ новымъ годомъ имѣлось въ виду. Sursum corda! что это такое? зачѣмъ? по какому случаю? развѣ гдѣ-нибудь горитъ? То ли дѣло: поспѣшишь — людей насмѣшишь! тутъ по крайней мѣрѣ реальній пріемъ слышится. Не воздухомълаваніе, а достовѣрная побѣда вокругъ свѣта на сдѣлочныхъ. Давно ужъ мы эти sursum corda-то слышимъ, да путнаго мало изъ нихъ вышло. Стало-быть, пора и образумиться; пора понять, что при извѣстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать надлежитъ, что маленькая рыбка лучше, нежели большой тараканъ.

Это нынче всѣ говорятъ. И прежде говаривали, но машинально, по привычкѣ, а нынче — съ толкомъ, съ чувствомъ, съ разстановкой. Точно пороухъ выдумали. Иные при этомъ слегка краснѣютъ (но все-таки отчетливо всѣ слова выговариваютъ), но большинство говоритъ прямо, не краснѣючи. Совѣтую, впрочемъ, и первымъ какъ можно скорѣе побѣдить нагубную привычку краснѣть, такъ какъ, чего добраго, ихъ, въ противномъ случаѣ, въ сомнѣніе укрывателей эмпирическихъ витаній зачислятъ. Потому что какъ ни искренне ихъ обращеніе, но все-таки на нихъ, какъ на новообращенныхъ, смотрятъ еще съ нѣкоторою подозрительностью. Все равно какъ съ вотяками бываетъ: есть вотяки «старокрещены» и есть «новокрещены». Въ «старокрещеныхъ» никто не сомнѣвается, но относительно «новокрещена», хоть онъ всякій праздникъ чтѣ слѣдуетъ пону отдастъ, а все-таки кажется: вотъ-вотъ онъ сейчасъ въ кереметь убѣжитъ. И согласно съ снмъ принимаютъ мѣры.

Итакъ, надо «дѣло» дѣлать — вся задача въ этомъ состоитъ. Только «дѣло» можетъ поднять нашъ духъ и возстановитъ насъ и въ собственномъ мнѣніи, и въ мнѣніи нашихъ согражданъ. Объ этомъ и не спорить никто. Спросите въ любой мелочной завѣдѣ: что лучше, дѣло или бездѣлье? — навѣрное вы получите въ отвѣтъ: какъ же можно, бездѣлье или дѣло! И сейчасъ же вамъ назовутъ безчисленное множество дѣлъ, которыя тутъ же, въ стѣ-

нах мелочной лавки, и совершаются. Отвѣшивать, отмѣривать, упаковывать, принимать, отпускать, слѣдить за выручкой, наполовину гнилой лимонъ показать здоровою половиной и пр. Голова кругомъ идетъ. То же самое происходитъ въ кабацкѣ, въ портерной и наконецъ въ каждой Богомъ хранимой хижинѣ. Вездѣ дѣла прямыя, ясныя, осмысленныя. То же самое и намъ, людямъ интеллигентнѣйшимъ, для себя придумать предстоитъ.

Но на бѣду, чѣмъ выше сфера человѣческихъ отношеній, тѣмъ меньше замѣчается точности въ опредѣленіи признаковъ «дѣла». Вместо прямыхъ указаній, въ родѣ: отмѣривать, отрѣзывать (а въ иныхъ случаяхъ даже прямо «производить»), мы встрѣчаемся съ такими же отвлеченностями, какъ *visum corda*, только низменнаго и даже глупаго свойства. Между тѣмъ именно для этой-то высшей сферы и требуется отыскать подходящее дѣло. Именно она, а не сфера хижинъ богохранимыхъ, страдаетъ обиліемъ эмпириевъ, и она же въ послѣднее время заговорила, что видъ дѣла для насъ нѣтъ спасенія. И тутъ-то вотъ, несмотря на всѣми чувствуемую потребность, мы не находимъ ни малѣйшихъ указаній ни насчетъ мѣста нахождения «дѣла», ни насчетъ подлиннаго его названія. Конечно, и здѣсь вы услышите отвѣтъ: «какъ можно сравнить, бездѣлье или дѣло!»—но вслушайтесь въ интонацію голоса, которымъ произносятся эти слова, и вы убѣдитесь, что въ ней звучатъ: «бездѣлье-то, пожалуй, лучше»...

Все затрудненіе оттого происходитъ, что интеллигентный человѣкъ думаетъ, что онъ въ нѣкоторомъ родѣ «правящій классъ», и потому для себя какого-то особеннаго дѣла требуетъ. Даже самые неинтеллигентные изъ интеллигентныхъ такъ о себѣ полагаютъ. Скажу болѣе: чѣмъ глупѣе интеллигентный человѣкъ, тѣмъ онъ сильнѣе за титулъ «правящаго класса» цѣпляется. Слышалъ, что гдѣ-то на теплыхъ водахъ правящіе классы въ свое удовольствіе живутъ, и себѣ того же желаютъ. Но какимъ образомъ попасть въ такіе «правящіе классы», которые въ свое удовольствіе живутъ, не знаетъ. Ежели въ эмпирияхъ витать, такъ опытъ практически доказалъ, сколь сіе вредно; ежели «дѣло» дѣлать—такъ укажутъ, сдѣлайте милость, въ чемъ оно заключается. Вотъ кабы входъ въ крѣпостное право какимъ-нибудь чудомъ опять открылся—сейчасъ бы мы всѣ правящими классами сдѣлались! И «дѣло» тогда само бы собой выскочило, а ты только знай жезломъ помахивай!

Вообще, съ тѣхъ поръ, какъ начались толки о «дѣлѣ», противорѣчій не оберешься. Съ одной стороны несомнѣнно, что витанія и паренія приводятъ къ самообольщенію, но съ другой стороны, какъ только раздумаешься о «дѣлѣ»—вдругъ, словно самъ собою, начнешь парить и витать. Не подъ носомъ у себя «дѣла» ищешь, а въ сторону заглядываешь, и все какъ-то въ сторону «теплыхъ водъ». Эта привычка у насъ еще отъ крѣпостныхъ временъ осталась; и тогда мы были убѣждены, что въ Россіи можно оброки и дани получать, а жить въ свое удовольствіе только на теплыхъ водахъ можно. Но нынче оказывается, что въ подобныхъ заглядываніяхъ спасенія не обрѣтешь. Почему оказывается—объ этомъ опять-таки никто не скажываетъ (скажывать-то, должно-быть, печего)... Оказывается—только и всего. Какъ бы то ни было, но для того, чтобы спастись, нужно не «чужое», не «иностранное»; а «свое собственное» и притомъ «настоящее» дѣло найти... Что бы такое? ну, наприимѣръ?

Такой это интересный вопросъ, что нѣтъ той минуты, чтобы я не думалъ о немъ. И все, что отъ меня зависѣло, въ видахъ его правильнаго разрѣшенія—все я предпринималъ. И къ говору трактирныхъ завсегдатаевъ прислушивался (*vox populi*), и въ участіи справлялся, и съ свѣдущими людьми совѣщался—ничего не поймешь! Задавали одно: «дѣло дѣлать!» Господа! да вѣдь это то же, что «*visum corda!*» только, наоборотъ...

Говорятъ, будто славянофиламъ что-то объ этомъ «самостоятельномъ» дѣлѣ было извѣстно, но они свой секретъ въ могилы унесли. Теперь, на смѣну славянофиламъ, появились какіе-то выморочные бонапартисты, которые могутъ только въ трубы трубить, но секрета не знаютъ.

Говорятъ еще, будто въ газетахъ каждый день о «дѣлахъ» разговариваютъ—ну, да какия ужъ это «дѣла»!

Наконецъ я обратился съ вопросомъ къ моему другу Глумову:

— Не знаешь ли, другъ любезный, какимъ бы самостоятельнымъ «дѣломъ» наши «правящіе классы» угостить?

И что-жъ! онъ въ ту же минуту всѣ мои сомнѣнія разрѣшилъ.

— Какъ «такими!» да вотъ въ однихъ со мной меблированныхъ комнатахъ отставной статскій совѣтникъ Куль-

тыпка живетъ, такъ онъ съ утра до вечера дѣло дѣлаетъ. Утромъ—проекты нравственнаго и умственнаго оздоровленія (да съ картинками, братецъ!) сочиняетъ; среди дня—навіщенія пишетъ, а вечеромъ—по коридору ходитъ и къ дверямъ уши прикладываетъ. Однажды ему даже лобъ нечаянно дверью раскроили. Надѣюсь, что это достаточно «свое собственное» дѣло.

И не успѣлъ я настоящимъ манеромъ его отвѣтъ облудить, какъ онъ продолжалъ:

— А то еще молодой человекъ у насъ живетъ. Утромъ—коричневый галстукъ передъ зеркаломъ повязываетъ; передъ обѣдомъ—черный галстукъ; вечеромъ—бѣлый. Или возьметъ въ руки шляпу и самъ съ собой передъ зеркаломъ раскланивается. Чѣмъ же дѣло?

А въ заключеніе повѣствоваль слѣдующее:

— Что же касается до особъ дамскаго сословія, то о нихъ и забраться нечего. Ихъ существованіе не только наполнено, но даже, можно сказать, биткомъ набито. Утромъ «она» встаетъ—утренній костюмъ надѣваетъ; въ три часа по магазинамъ или гулять ѣдетъ или идетъ—гуляльничій костюмъ надѣваетъ; передъ обѣдомъ—надъ обѣденнымъ костюмомъ думу думаетъ; вечеромъ, ежели въ театр ѣдетъ—театральный костюмъ, ежели на балъ—балльный. И всякій разъ передъ зеркаломъ цѣлая драма происходитъ. То подойдетъ, то отойдетъ, то сядетъ, то какъ ужасная векочитъ. Иная, коли на балъ ѣхать собралась и пуэно определить мѣру декольтѣ, то даже особенную систему зеркалъ устраиваетъ и на колѣнки становится. И сверху, и съ боковъ, и сзади, и спереди—отовсюду разомъ видно. Сверху—это «les messieurs» смотрятъ, съ боковъ—члены общества распространенія грамотности, братчики, отставные дипломаты и проч. А издали, совсѣмъ въ перспективѣ—мужъ. И ему взглянуть хочется. Тутъ, братъ, коли все-то къ точности исполнить, такъ и на балъ, пожалуй, къ шаночному разбору попадешь.

То-то и смотрю: давно ли всѣ на скуку жаловались, а нынче ея и въ поминѣ нѣтъ. Ань оно вонъ что: «дѣло» найдено.

Слухами о сезонныхъ увеселеніяхъ всѣ стогны петербургскіе полны. Извозчики только о томъ и говорятъ, что господя опять веселиться начали. Въ газетахъ пишутъ: у одной дамы на балу, независимо отъ глубокаго декольтѣ,

брильянтовую подкову на спицѣ видѣли. Теперь эта подкова нашихъ статскихъ совѣтницъ съ ума сведетъ. Будутъ онѣ—каждая къ своему статскому совѣтнику—до тѣхъ поръ приставать, покуда цѣлыхъ созвѣздій на спины не получатъ...

Придется-таки статскимъ совѣтникамъ изворачиваться; придется «дѣла» изобрѣтать, свреямъ-гешефтмахерамъ душу продавать. И когда наконецъ ювелиръ вѣнзлитъ въ поясъ статской совѣтницы цѣлое брильянтовое солнце, то въ лучахъ его будутъ играть кавалеры всѣхъ сортовъ оружія и пера, а соответствующій статскій совѣтникъ будетъ въ это время гешефтмахера обучать, какъ наилучшимъ манеромъ любовное отечество подкувыкнуть...

А какая новая эра занятій и дѣлъ для статскихъ совѣтницъ откроется! Ежели вечеромъ на балъ ѣхать, такъ вѣдь съ утра присѣдаться передъ зеркаломъ придется! Солнце-то вѣдь не шутка, умѣючи надо его показать! Сунь на столъ, дѣти вѣтъ просятъ, статскій совѣтникъ копытами землю въ нетерпѣннн роетъ, а статская совѣтница то вскопнить, то опять присѣдеть. «Да скоро ли, матушка?»—кричитъ разъяренный мужъ, стучась въ запертую на ключъ дверь.—«Ахъ, да обѣдайте безъ меня... песносный! я послѣ... одна!» И дѣйствительно, между присѣданій чего-нибудь перехватить, по зато къ одиннадцати часамъ—готова!

Фактъ, повидимому, самъ по себѣ ничтожный, а между тѣмъ по милости его процвѣтаетъ промышленность. Мудрено какъ будто это согласовать, а между тѣмъ оно такъ. Въ Петербургѣ на балу у барона Гинсбурга, напримѣръ, статская совѣтница Коромыслова на брильянтовомъ солнцѣ сидѣла, а у крестьянина деревни Комаринской, Павла Антильева, отъ этого ея дѣйствія въ мопигѣ два съ половиной прибавило. И прибавило совершенно резонно. Еще докторъ Кене, глава физиократовъ и другъ Тюрго, говаривать: «дама, которая покупаетъ шаль, подаетъ милостыню бѣдняку». Вотъ эту-то истину и зарубилъ статскія совѣтницы у себя на носу. Подумайте, въ самомъ дѣлѣ: солнце-то, на которое статская совѣтница Коромыслова села—гдѣ оно сдѣлано? Оно сдѣлано въ мастерской, въ которой сынъ Павла Антильева, комаринскій мужикъ Ивалъ Павловъ, работалъ. На свой пай онъ половину луча этого сдѣлалъ и за это получилъ пять рублей, а изъ нихъ два съ половиной домой въ село Комаринское послалъ. Такъ вотъ.

Но этого мало. Получивъ два съ полтиной, Павелъ Антипьевъ распорядился съ ними такъ: на рубль купилъ у другого комаринскаго мужика сѣна, на рубль—у третьяго комаринскаго мужика—муки, да на полтину у четвертаго комаринскаго мужика—соли. Въ результатѣ оказалось: при-слано было два съ полтиной, а процвѣли на нихъ: во-пер-выхъ, Павелъ Антипьевъ—полностью на все два съ пол-тиной и; во-вторыхъ, трое его односельцевъ—все вмѣстѣ тоже на два съ полтиной. Итого—на пять рублей. То же и съ остальными двумя съ полтиной случилось: во-пер-выхъ, Иванъ Павловъ полностью на все процвѣлъ (про-пилъ), да кабатчикъ, у котораго онъ вино пилъ—тоже на два съ полтиной. Опять на пять рублей. Вотъ она эконо-мистическая арифметика—то какова! пущено въ оборотъ пять рублей, а въ процвѣтаніи оказалось десять. Это относи-тельно только половины луча, а сколько у солнца полныхъ лучей—сочтите! Да фабрикантъ навѣрное вдесятеро, чѣмъ все комаринскіе мужики въ совокупности, процвѣтъ. И все это статская совѣтница Коромылова однимъ движеніемъ поясницы произвела!

Не знаю, шепнуло ли ей объ этомъ солнце, куда она на немъ сидѣла, но знаю, что къ началу шестой фигуры г-жа Коромылова была вполне убѣждена въ цѣлесообраз-ности своихъ поступковъ и дѣйствій.

— Вы не подумайте,—сказала она мѣлвшему подлѣ нея кавалеру:—что я легкомысленничая, садясь на брильян-товое солнце. Я этиа дѣйствіемъ на цѣлое комаринское село благоденствіе изливаю!

Очень возможно, что нѣчто въ родѣ этихъ соображеній приходило въ голову Нерону, когда передъ его глазами пылала Рига. Или купцу Овсянникову, когда горѣла его фабрика. И они, каждый по своему, подавали милостыню бѣдному.

Вотъ почему, когда я вижу, какъ дамочка пэнуряетъ себя передъ зеркаломъ, то никогда не осуждаю ее, но го-ворю: это она промышленность оживляетъ, цѣнность кре-дитнаго рубля поднимаетъ, милостыню бѣдняку подаетъ. Однимъ словомъ, по мѣрѣ своего дамскаго разумія, «дѣло» дѣлаетъ.

Вотъ и адвокатура наша собралась дѣло дѣлать. Правда, что она и прежде себя преимущественно съ этой стороны уже зарекомендовала, но лѣтъ пять-шесть сряду о ней

какъ-то совсѣмъ не было слышно, точно она съвозъ землю провалилась. А теперь опять всплыла.

Я помню, что когда адвокатское сословіе впервые вы-ступило на арену общественнаго служенія, я былъ очень этимъ обрадованъ. Какъ хотите, а чрезвычайно приятно живое слово слышать, хотя бы оно раздавалось по поводу подтопа принадлежащихъ корнету Отлетаеву луговъ мель-ницею купца Подзатыльниковъ. Это слово казалось тогда какъ бы естественнымъ продолженіемъ другого слова, ко-торое, при помощи печатнаго станка, посвящало себя про-бужденію въ сердцахъ добрыхъ чувствъ. Подобно печат-ному тогдашнему слову, и адвокатское устное слово на первыхъ порахъ звучало такою убѣжденностью и страст-ностью, что Отлетаевъ и Подзатыльниковъ ничего не по-нимали, а только чувствовали, что слезы градомъ льются изъ ихъ глазъ; будь же, по выслушаніи стогонъ, въ ве-личайшемъ смущеніи удалялся въ совѣщательную камеру, не зная, кому присудить протори и убытки. И большою частью постановлялъ такия рѣшенія, которые приводили за собой сначала апелляцію, потомъ кассацию, потомъ новое рѣшеніе и такъ далѣе, до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ тяжущихся не пропуститъ срока. Тогда, дѣлать нечего: подтопаяя, купецъ Подзатыльниковъ, отлетаевскіе луга! А ты, Отлетаевъ, впередъ не зѣвай!

Но, озаряя новые суды блескомъ своего краспорѣя, адвокаты, кромѣ того, были осмотрительны какъ въ выборѣ дѣлъ, такъ и въ исходатайствованіи исполнительныхъ ли-стовъ и во взысканіяхъ по нимъ. Этого тогда не было, чтобъ адвокатъ говорилъ кліенту: «вашего дѣла ни по какой статьѣ выиграть нельзя, но попробуемъ: можетъ-быть, кривая вывезетъ!» Напротивъ того, одинъ адвокатъ своему кліенту (истцу) говорилъ: «ваше дѣло вотъ по такой-то статьѣ выиграть можно»; а другой адвокатъ—своему кліенту (отвѣтчику): «ваше дѣло вотъ по какой статьѣ выиграть можно!» И каждый шелъ въ судъ, убѣ-жденный, что его статья побѣдитъ. Да и того тоже не было, чтобы деньги по исполнительному листу получить и въ свою пользу употребить; напротивъ того, все силы-мѣры употреблялись, чтобы все до копѣечки кліенту предоста-вить,—разумѣется, за исключеніемъ процентовъ, заранѣе выговоренныхъ за беспокойство.

А беспокойствъ въ то время не мало набиралось, потому что большихъ баръ въ то время между адвокатами почти



не было, и всякій свою работу самъ дѣлать: и имущество должника сослѣживалъ, и при описяхъ присутствовать; словомъ сказать, въ пользу кліента себя въ струнку вытягивалъ.

Помню я, какъ на моихъ глазахъ одинъ молодой адвокатъ карьеру свою обстроилъ. Выскливалъ онъ съ меня въ то время дождокъ, и выскливалъ, надо сказать правду, чрезвычайно благородно, и до суда не доводилъ, и не тѣснилъ насчетъ уплаты. Есть деньги—возьметъ и расписку дастъ; нѣтъ денегъ—завтра придетъ. Частенько онъ ко мнѣ такимъ образомъ хаживалъ, и когда я совѣтилъся, что такъ много ему безпокойствъ доставляю, то говорилъ: «ничего! это наша обязанность!» Даже отъ моихъ папиростъ отказывался, а вынетъ изъ серебрянаго портсигара («это мнѣ кліентъ подарилъ») собственную папироску и съ удовольствіемъ выкуритъ. Такъ вотъ, бывало, придетъ онъ ко мнѣ, полный рвенія, но блѣдный и утомленный.

— Что вы какъ будто нынче устали?—спросилъ его.

— Да вотъ имущество отвѣтника одного наконецъ сослѣдилъ—отвѣтитъ онъ и по порядку расскажетъ, какую ему Богъ радость послать. Совѣтъ-было на чужую квартиру должника имущество-то переправить, а онъ, адвокатъ, и на чужую квартиру проникъ. Пришелъ, а его тамъ дама встрѣчаетъ: «Какъ вы смѣете, говорить, въ чужой квартирѣ распорядиться! Это мое имущество!» Однако вѣтъ, извините-ся! Вѣдь онъ, адвокатъ, не нахаломъ въ чужую квартиру пришелъ, а на законномъ основаніи. И даже привелъ съ собою свидѣтелей, которые тутъ же и удостоуверили: «Позилуйте, сударыня! Мы не разъ у Моисея Исанча (имя должника) на этомъ диванѣ сидивали!»

И такимъ образомъ онъ искъ своего довѣрителя обезпечилъ, а объ укрывательницѣ-дамѣ составилъ, при содѣйствіи полиціи, протоколъ.

А на другой день послѣ этой удачи опять придетъ, еще болѣе утомленный.

— Неужто вы и сегодня какого-нибудь должника сослѣдили?—спросилъ его.

— Нѣтъ, сегодня я при описи и оцѣнкѣ имущества присутствовалъ. Представьте себѣ, девятьсотъ шесть предметовъ, и между прочимъ тридцать склянокъ изъ-подъ одеколона. А нельзя! Каждую вещь надо особенно въ реестръ занести.

Такъ вотъ каковы были первые христіане... то бишь,

адвокаты! Чувствительные, скромные и притомъ непыющіе. Однако-жъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и тогда ужъ писали, что они основы потрясаютъ; а о томъ, что они въ эмпиреяхъ витаютъ и куда-то далеко уду закидываютъ,—объ этомъ походя во всѣхъ харчевняхъ рассказывали.

Но эта идиллія была непродолжительна. Пришлось мнѣ годъ на полтора за границу уѣхать; возвращаюсь—и первое, что слышу: такія нынче адвокаты дѣла дѣлаютъ, такіе куши рвутъ, что даже еврей-желѣзнодорожники зубами скрипятъ. А чтобы кліенту помочь, какъ прежде бывало, имущество должника сослѣдить—объ этомъ нынче и не заикайся! Самъ ниц!

Дальше—хуже. Подошло Овсянниковское дѣло; разыгралось нѣсколько крупныхъ банковскихъ кражъ. Куши такъ и лились. И тоже торговля процвѣла, но не столько суровекимъ, сколько бакалейнымъ товаромъ. По фунту икры за-разъ съѣдали опытные адвокаты, а неопытные—по ящику сардинокъ. А ужины у Бореля съ котлетками—само по себѣ. Однимъ словомъ, ни одинъ до-реформенный откупщикъ въ цѣлую недѣлю столько не проѣдалъ, сколько проѣдалъ въ одинъ вечеръ какой-нибудь Балалайкинъ.

Ужасно это меня огорчало. Я надѣялся, что, по возвращеніи въ отечество, храмъ славы увижу, а увидѣлъ—помойную яму. Вся литература того времени гремѣла адвокатскими безобразіями, но гремѣла безсилно. И беспиліе это совершенно естественно объяснялось тѣмъ, что адвокатура сознавала себя стоящею прочно на почвѣ «дѣла». Многие адвокаты такъ-таки прямо и заявляли: у насъ свое дѣло есть, а что думаетъ объ насъ литература и общественное мнѣніе—это для насъ безразлично.

Однако же, разъ адвокатура освободила себя отъ контроля литературы и общественного мнѣнія, разъ она признала для себя обязательнымъ только тотъ контроль, который приводитъ за собою болѣе или меньшій размѣръ гонорара,—понятно, что она сдѣлалась съ нравственной стороны неуязвимою. Но въ то же время она утратила способность къ самосовершенствованію въ какой бы то ни было сферѣ, кромѣ процессуальной кляузы.

Загѣмъ слухи о подвигахъ адвокатуры какъ-то вдругъ замолкли. И сами адвокаты попристѣхали, перестали бакалейную торговлю оживлять, да и безмѣрно они всѣмъ своими апелляціями и кассациями надобѣли. Но, главное, обстоятельства такія пристигли, что не до адвокатовъ было.

Но пынче для адвокатовъ опять золотое время пришло. На сцену выступили толки о «дѣлѣ», а у нихъ оно ужь давно готово. Теперь они, вмѣстѣ съ банкирами (купить-продать, продать-купить) и всѣхъ сортовъ оздоровителями, покажутъ намъ, какіе размѣры можетъ принять процвѣтаніе страны, ежели всѣ ея обитатели настоящимъ, трезвеннымъ дѣломъ заняты. Въ эмпиреяхъ они не витають, широкихъ задачъ не преслѣдуютъ, а долбятъ скромненько съ утра до вечера: апелляція-кассация, кассация-апелляція...

И для начала выбрали дѣло о травлѣ городскихъ обывателей въ пользу общества водопроводовъ. Контрактъ, говорятъ, будто бы дозволяетъ обывателей негодной водой отравлять. Что-жъ, коли контрактъ, такъ, разумѣется, приходится пить воду по точному онаго пониманію. Видишь: § такой-то, пунктъ такой-то... читай! И пей отравленную воду, и молчи! Такъ это ясно, точно и даже свято (въ контрактѣ—святость прежде всего), что сказываютъ, будто дѣлое сконище адвокатовъ за общество водопроводовъ горой стоитъ, и, что ради этого дѣла забыты связи дружества и даже узы родства! Еще бы!

Но неужели и теперь еще будутъ говорить, что адвокаты основы потрясають и въ эмпиреяхъ витають?

Такимъ образомъ всѣ «правлящіе классы» постепенно присасываются къ дѣламъ. Адвокаты, дамочки, банкиры, земцы, оздоровители и проч. Одна литература продолжаетъ ни при чемъ состоять. Дѣла для нея рѣшительно не отыскивается, а въ эмпиреяхъ витать—и не ко двору, и не ко времени.

Да и читающая публика нынче равнодушна къ эмпиреямъ стала. Ничего не хочетъ знать, кромѣ газетъ. Прочтетъ кое-какіе столбцы, а остальное время твердитъ: купить-продать, кассация-апелляція...

Впрочемъ, это я о той части литературы говорю, дѣтели которой называются «разбойниками печати» и «мошениками пера» (клички эти непременно надо сохранить въ назиданіе потомству, какъ историческій документъ). Что же касается до остальной литературы (преимущественно газетной), то она, наравнѣ съ прочими оздоровителями, важна для себя «настоящее» дѣло и, повидимому, ведетъ его съ полнымъ усилхомъ.

### ГЛАВА VIII.

А вотъ и еще «дѣло» нашлось.

«Мой собственный корреспондентъ» прислать мнѣ изъ Одессы очень любезное объявленіе. Къ сожалѣнію, онъ не сопроводилъ свою присылку никакимъ объяснительнымъ письмомъ, такъ что я не знаю ни личности самого корреспондента, ни его фамилии, ни того, когда былъ изданъ доставленный имъ документъ. Изъ помѣтокъ, имѣющихся въ концѣ объявленія, видно, что оно разрѣшено къ печатанію полицеймейстеромъ Вуиннымъ и тиснуто въ Одессѣ, въ типографіи «Трудъ» В. Семенова. Ни года, ни мѣсяца, ни числа—не значится.

Во всякомъ случаѣ, документъ этотъ въ педагогическомъ отношеніи настолько поучителенъ, что я рѣшаюсь привести его здѣсь достроено, не измѣняя и нѣсколько произвольной его орфографіи. Вотъ онъ:

#### ШКОЛЬНЫЕ

#### ГИГИЕНИЧЕСКІЕ СТОЛЫ СИСТЕМЫ КУНЦА

и

#### КУШЕТКИ

#### ПО НОВОЙ СИСТЕМѢ.

Эти кушетки имѣютъ преимущество предъ скамьей старинныхъ школъ и въ гигиеническомъ, и экономическомъ отношеніяхъ. Кушетка гигиеническая состоитъ изъ скамьи въ аршинъ ширинною. На одной ея сторонѣ находится подвижной на шалнерахъ деревянный футляръ въ видѣ четвероугольной коробки дномъ къверху. Длина ея 6 четвертей и 4 ширнина съ высотой въ 5 четвертей. Три боковыя наружныя стороны, а также и верхняя состоитъ изъ толстой проволочной рѣшетки съ крупными до 3 кв. в. промежутками. Со стороны, обращенной къ скамьѣ, вмѣсто рѣшетки вставляется подвижная сверху внизъ доска съ дугообразнымъ вырѣзомъ. Съ другой стороны скамьи такой же подвижной ящикъ въ 5 вер. вышины и до 17 длины. Когда подвигается 1-й ящикъ, то онъ закрываетъ голову, грудь и большую часть спины. Опускаемая доска съ вырѣзкой охватываетъ спину и не допускаетъ движеній наказываемого ни впередъ, ни назадъ. Точно также 2-й футляръ прикрываетъ ноги и не допускаетъ свернуться въ сторону. Такимъ образомъ избѣгается вреднаго держанія наказываемого, когда училищная прислуга притискиваетъ обычно-

венно голову наказываемаго мучительнымъ образомъ, такъ что онъ одной щекой и искривленной шеей плотно прижать къ скамью, и вмѣстѣ съ тѣмъ, лакей давить всей силой мускуловъ на нѣжную грудь мальчика. Шея, наискось прижатая въ искривленномъ положеніи, производитъ полудушевіе. Всѣ жилаи головы напичаются кровью. Лицо и бѣлки глазъ краснѣютъ, начинается головокруженіе, а иногда и обморокъ. Этотъ приливъ крови къ мозгу надолго оставляетъ головныя боли и неспособность къ умственнымъ занятіямъ. Держащій сторожъ, конечно, въ это не вникаетъ и, раздосадованный обыкновенно конвульсивными движеніями наказываемаго въ принадлежкахъ жгучей боли въ оконечности позвоночнаго столба, начинаетъ какъ попало надавливать на голову и плечи, сжимая, какъ въ клещахъ, верхнюю часть туловища. Гигиеническая кушетка, оставляя свободнымъ шею, грудь и голову, мѣшаетъ въ то же время движеніямъ средней части тѣла, которую оставляетъ въ полное распоряженіе экзекутора почти неподвижною. Въ экономическомъ отношеніи она избавляетъ заведенія и пансіоны отъ содержанія лишнихъ двухъ человѣкъ прислуги для держанія. Имѣя эту скамью-кушетку, сторожъ каждаго ученища можетъ служить дѣлу.

Удобства также заключаются и въ томъ, что голова наказываемаго закрыта, а то иногда страдальческое и умоляющее выраженіе лица мальчика подкупаетъ сбѣгающаго и онъ невольно облегчаетъ удары и боль, что со стороны правдивой педагогики совсѣмъ нежелательно — напротивъ, наказаніе должно быть соединено съ болѣзненнымъ и продолжительнымъ страданіемъ безъ малѣйшаго послабленія и вниманія къ стонамъ и крикамъ, какъ единственная педагогическая.

**ЦѢНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХЪ КУШЕТОКЪ:**

Ясеняваго дерева, раздвижная, годящаяся для всякаго возраста съ палнерами и винтами изъ никеля и всѣхъ металлическихъ частей работы Фрелиха . . . . .	50 р. — к.
Нераздвижная для младшаго возраста . .	30 » — »
» » старшаго » . . . . .	40 » — »
Для употребленія въ семьяхъ, смотря по отдѣлкѣ, въ ненужное время могутъ забирать шкапы и столы отъ . . . . .	25 » — »
Простыя для народныхъ училищъ и т. п.	20 » — »

Вотъ сколь несправедливы тѣ, которые ропщутъ, что у насъ «дѣла» нѣтъ. Помилуйте! Однѣ гигиеническія кушетки захватываютъ цѣлую массу заинтересованныхъ личностей. Родители, опекуны, попечители, всѣхъ сортовъ воспитатели и воспитательницы, члены общества гувернантокъ, педагоги и педагогички, директора, инспектора, ревизоры и наконецъ сами экзекуторы, или экзекуторы, какъ ихъ вѣжливо величаютъ объявленіе. Ежели всѣ-то какъ слѣдуетъ поймутъ святость лежащихъ въ нихъ обязанностей, тутъ такая уйма «дѣла» найдется, что даже червь неуспѣшнѣйшій — и тотъ придетъ въ отчаяніе. Одни — укладываютъ пациента на кушетку и прилаживаютъ щипки; другіе — воздѣйствуютъ на «среднюю часть тѣла»; третьи — присутствуютъ при воздѣйствіи и приговариваютъ: «шибче!»; четвертые инспектируютъ самое орудіе гигиены, все ли въ исправности и не представляется ли возможности для поправки. Словомъ сказать, хлопотъ полночь ротъ.

Вѣдь если у насъ идетъ плохо воспитаніе дѣтей, то именно потому, что не серьезно сложены отношенія къ тому орудію. Иной родитель или воспитатель и радъ бы сбить, да, кромѣ розогъ, всѣ прочія приспособленія находятся въ такомъ младенческомъ состояніи, что смотрѣть больно. Начать хоть бы съ того: какъ приступить къ дѣлу? Ежели ущемить ребенка между колѣнами, то онъ будетъ биться, не предоставитъ родителю «въ полное распоряженіе средней части тѣла». Ежели позвать на помощь служителей, то, во-первыхъ, не у каждаго родителя такыя обрѣтаются, а во-вторыхъ, служители имѣютъ обычай «мучительнымъ образомъ притискивать голову наказываемаго». А многихъ, кромѣ того, «подкупаетъ страдальческое и умоляющее выраженіе лица наказываемаго». Повозитесь-повозитесь родитель, два-три раза хлеснетъ лозой наудачу (ахъ, да и рубашонку-то Богъ знаетъ какъ подняли) и броситъ: пускай родное дѣтище погибаетъ!

Тогда какъ, съ введеніемъ гигиеническихъ кушетокъ, все разомъ явится къ услугамъ, сложенное, соображенное, очищенное отъ всякихъ случайностей и даже отъ страдальческаго выраженія лица: бери въ руки розги и сѣки. Сѣки шибче, сѣки не смущаясь, ибо все то добро, все то на пользу. Сѣмло шипи всяко лько въ строку, ибо корни сѣченія горьки, но плоды его сладки. И знай, что, приобъгая къ гигиенической кушеткѣ, ты не только дѣтищу своему счастье въ будущемъ уготоваешь, но и для самого себя



создаешь «дѣло», вполне по обстоятельствамъ достаточное.

Объявленіе украшено картинками. Изображена очень красивая кушетка, и ящики нарисованы въ такомъ видѣ, какъ въ моментъ сѣченія ихъ подобаетъ приладить. Только «средней части тѣла» не изображено — ну, да видъ и воображенію почтеннѣйшей публики что-нибудь надо оставить. И дешево. Обыкновенная, «для употребленія въ семействахъ», кушетка стоитъ всего 25 рублей, да притомъ еще можетъ «въ ненужное время» замѣнять шкапы и столы — обѣдать можно. А для народныхъ училищъ и всего-то двадцать рублей за штуку. То-то народное образованіе процвѣтаетъ!

Допустите, что населеніе Россіи простирается до 101.442.242 души («Русскій Календарь» за 1884 г.); предположите, что на это населеніе въ настоящее время, при совершенствѣ современныхъ фабричныхъ средствъ, производится въ день по 500.000 фабричныхъ (по одному человѣку на каждые 200 обывателей — право, немного!), и что каждая фабричная (съ раздѣлками, укладываніями и прочею церемоніей) длится не больше четверти часа, — окажется, что 500 тысячъ фабричныхъ ежедневно требуютъ 125 тысячъ рабочихъ часовъ. Принимая же въ расчетъ, что рабочий день состоитъ изъ десяти часовъ, мы придемъ къ тому выводу, что двѣнадцать тысячъ пятьсотъ человѣкъ имѣютъ опредѣленное «дѣло», которое не дастъ имъ досуга парить въ эмпиреяхъ и тѣмъ навлекать на себя подозрѣніе въ вольномысліи. Это теперь, при отсутствіи гигиеническихъ кушетокъ — что же будетъ, когда, съ введеніемъ кушетокъ, сѣченіе сдѣлается почти общедоступнымъ? Очевидно, что сообразно съ нимъ возрастетъ и охота къ сѣченію, а въ то же время утроится, учетверится — отчего не удесятритится? — и масса людей, запятыхъ опредѣленнымъ дѣломъ, свободныхъ отъ пареній и ко всему равнодушныхъ, кромѣ той «средней части тѣла», которая оставляется «въ полное распоряженіе эскутера почти неподвижно». Почему же однако «почти» неподвижно? почему не «вполнѣ»? Совершенствоваться такъ совершенствоваться. Или, быть-можетъ, въ дѣлѣ сѣченія вредны только впечатлѣнія, производимыя умоляющимъ выраженіемъ лица, а не тѣ, которыя производятся произвольными движеніями «средней части тѣла»?

Но, право, я все-таки очень радъ, что кушетки эти изобрѣлъ Кунцъ, а не Ивановъ. Почему радъ — я и самъ

объяснить не могу; но мнѣ кажется, что если-бъ это изобрѣтеніе принадлежало Иванову, то каторги за него ему было бы мало. А Кунцу — какъ разъ впору. Даже приятно было бы познакомиться. Непр Кунцъ! не угодно ли позавтракать на той самой кушеткѣ (обращенной въ столъ), на которой только сейчасъ Иванова, за неплатежъ подоимокъ, высѣкли?

Но еще больше я радъ тому, что изобрѣтеніе Кунца, несмотря на осязательную пользу, какъ будто у насъ не привилось. По крайней мѣрѣ я лично ничего о кушеткахъ не слышалъ. Должно-быть, думалъ насъ удивить ибмець, а мы взяли да еще больше его удивили: деремъ черезъ пень колоду, какъ въ древности драли, и горюшка намъ мало, такое выраженіе имѣетъ лицо наказуемаго и въ какомъ направленіи двгается «предоставляемая» въ распоряженіе «часть тѣла».

Замѣчательно, но въ то же время и совершенно естественно, что всякій разъ, какъ идетъ рѣчь о розгѣ, воспоминанія дѣтства такъ и встаютъ передъ глазами, словно живыя. Счастливое дѣтство!

Впрочемъ, я не припомню, чтобы лично я много страдалъ отъ розги; но свидѣтелемъ того, какъ терѣла «средняя часть тѣла» за дѣйствія и поступки, совѣмъ не по ея инициативѣ сдѣланные, бывалъ неоднократно. Публичное воспитаніе я началъ въ Москвѣ, въ специально-дворянскомъ заведеніи, задача котораго состояла преимущественно въ подготовленіи «питомцевъ славы». Заведеніе, впрочемъ, имѣло хорошия традиціи и пользовалось отличною репутацией. Во главѣ его почти всегда стояли ежели не отличнѣйшіе педагоги, то люди, обладавшіе здравымъ смысломъ и человѣчностью. Въ первый годъ моего пребыванія въ заведеніи директоромъ его былъ старый морякъ, С. Я. У., о которомъ, я увѣренъ, ни одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ не вспомнитъ иначе, какъ съ уваженіемъ и любовью. О сѣченіи у насъ не было слышно, хотя оно несомнѣнно практиковалось, какъ и вездѣ въ то время. Но, во-первыхъ, практиковалось только въ крайнихъ случаяхъ и, во-вторыхъ, келейно, не задаваясь при этомъ ни теоріей устрашенія, ни теоріей правды и справедливости, якобы вопиющей объ отмщеніи именно на той части тѣла, которую г. Кунцъ именуетъ «среднею». Присутствовалъ ли при этихъ эскутерахъ лично самъ директоръ — не знаю; но

увѣрять, что ежели и присутствовалъ, то не для того, чтобъ кричать: «шибче-съ!» а для того, чтобы своевременно скомандовать: «довольно-съ!»

Черезъ годъ старый директоръ, однако, вынужденъ былъ удалиться. На его мѣсто былъ назначенъ бывший инспекторъ, добрый человекъ, но не самостоятельный, а въ качествѣ инспектора явился молодой человекъ, до тонкости изучившій вопросъ о роли, которую должна играть «средняя часть тѣла» въ дѣлѣ воспитанія юношества. Этотъ молодой человекъ почему-то вообразилъ себѣ, что заведеніе, отданное ему въ жертву, представляетъ собой авгівви конюшни, которыя ему предстоитъ вычистить, и, разъ задавшись этою мыслью, начерталъ для ея выполненія соответствующую программу.

Программа эта немногимъ отличалась отъ всѣхъ вообще воспитательныхъ программъ того времени и резюмировалась въ одномъ словѣ: сѣчь. Но у нея была язвительная особенность, заключавшаяся въ томъ, что она выводила сѣчение изъ его изолированности и дѣлала его нагляднымъ (*à la portée de tout le monde*). Каждую субботу, *по выводу отъ всенощной*, воспитанники выстраивались по обѣ стороны рекреационной залы и въ глубокомъ молчаніи ожидали появленія инспектора. Многие припоминали совершенные за недѣлю грѣхи, шептали молитвы и крестились; напротивъ того, воспитанники «травленные» (въ заведеніи образовался особый контингентъ, какъ бы сословіе, для котораго «субботники» вошли почти въ обычай) держали себя довольно развязно и интересовались только тѣмъ, которому изъ двоихъ урядниковъ въ данномъ случаѣ будетъ поручена экзекуція. Ежели дежурнымъ оказывался урядникъ Кочуринъ, то смотрѣли въ глаза будущему съ довѣріемъ; ежели же дежурнымъ былъ урядникъ Кунцовъ, то даже самые храбрые задумывались. Кочуринъ былъ солдатъ добрый и сѣкъ больно, но безъ вычуръ; Кунцовъ сѣкъ и въ то же время какъ бы метилъ сѣкомому. По срединѣ залы между тѣмъ стояла простая, совершенно не гигиеническая скамейка, около которой ожидали: дежурный сѣкуторъ и двое дядекъ, обязанныхъ держать наказываемаго за плечи и за ноги.

Наконецъ *онъ* появлялся въ глубинѣ залы. Прямой, какъ аршинъ, съ пестигающимися колѣнками и съ заложенными за спину руками, онъ медленнымъ шагомъ подходилъ къ скамьѣ и безстрастнымъ голосомъ выкрикивалъ по списку

имена жертвъ (списокъ хранился въ секретѣ до самаго часа экзекуціи), приговаривая: «за лѣность, за дерзость, за буйство, за воровство!» Вызывалось обыкновенно отъ 8 до 10 человекъ, но почти каждую субботу слышались одѣ и тѣ же фамиліи, и «постороннихъ» бывало немного. Число розогъ опредѣлялось отъ пяти до шестидесяти (за самыя тяжкія вѣны, въ родѣ неслѣженія, воровства, повтореннаго пьянства и т. д.). «Травленные» выступали твердо, сами спускали съ себя штаны и сами ложились, при чемъ нѣкоторые доводили ухарство до того, что просили: «разрѣшите, господинъ инспекторъ, чтобъ меня не держали!» Но все-таки, ложась на скамью, инстинктивно крестились. Напротивъ, «посторонніе» стонали и упирались, такъ что инспекторъ вынуждался напомнить: «хуже будетъ, господинъ таковой-то, ежели я прикажу привести васъ силой!» Затѣмъ дядьки овладѣвали плечами и ногами пациента, сѣкуторъ прицѣплялся, и розги вышолняли свое воспитательное назначеніе. Раздавались пропитательные крики, но выскивались и такіе воспитанники, которые, закусивъ нижнюю губу до крови, не испускали ни звука. Последнихъ называли «молодцами».

Такъ шлся цѣлый годъ, послѣ чего я оставилъ заведеніе и свѣдѣній о дальнѣйшей судьбѣ субботниковъ уже не имѣю.

Не знаю также, что стало съ изобрѣтателемъ субботниковъ; но увѣрять, что ежели онъ еще не пересталъ быть дѣятельнымъ членомъ общества, то навѣрное принадлежитъ къ контингенту тѣхъ, которые настойчиво требуютъ перехода отъ фразы къ дѣлу. Оно, впрочемъ, и естественно: кто съ младыхъ ногтей вращался въ сферѣ «дѣла», тому сфера «фразы» должна быть тяжела и противна.

Но вотъ вопросъ: не присутствовалъ ли, хоть невидимкою, педагогъ Кунцовъ при нашихъ «субботникахъ»? И не тогда ли созрѣла въ немъ идея гигиеническихъ кунетокъ? Ибо, въ сущности, и субботники, и кунетки имѣли одну общую цѣль: сдѣлать сѣчение общедоступнымъ (*à la portée de tout le monde*).

Съ окончаніемъ масленицы, прекратился и сезонъ зимнихъ утѣхъ. Многие опасались, что промышленность опять упадетъ, но опасенія оказались преувеличенными. Торговцы шелковыми и галантерейными товарами дѣйствительно приуныли, но барыни истекшаго сезона помогутъ

нимъ бодро пережить печальные дни великаго поста. Больше всѣхъ, впрочемъ, пострадаетъ Вортъ изъ Парижа (см. газетныя описанія баловъ) да берлинскіе псевдо-Ворты; но съ точки зрѣнія народной гордости это, пожалуй, и не дурно! Пускай иностранцы зазнайки почувствуютъ, что вся ихъ торговля находится въ рукахъ русскихъ женъ и дѣвъ! Но зато несомнѣнно процвѣла торговля грибами и моченою морошкой. Радуйся, Кола! ливуй, Судиславъ! А на Пасху грибамъ и морошкѣ скажемъ шабашъ, а на ихъ мѣстѣ процвѣтетъ торговля лицами, куличами, молочнымъ товаромъ, ветчиной. И такимъ порядкомъ пойдетъ крутой годъ.

Вотъ какъ у насъ просто дѣлается. Тайный совѣтникъ ни со свѣтками вѣтъ—смотришь, кто-нибудь и процвѣтъ; сунула его съ кузеномъ на тройкѣ на Острова поѣхала—опять кто-нибудь процвѣтъ; лакей его барскіе салоты ваксой чистить—и еще кто-нибудь процвѣтъ! И непременно процвѣтъ меньшій братъ, а старшій братъ только жуесть да на тройкахъ катаесть.

При крѣпостномъ правѣ русская интеллигенція строго соблюдала посты, въ особенности великій и усупскій. Многие даже раковъ и устрицъ не ѣли, не зная, какъ ихъ ѣсть, скоромными или постными. Соблюдая посты, правшіе классы и сами очищали души отъ грѣховныхъ помысловъ, и подавали примѣръ воздержанія меньшой братіи. Дни поста бывали днями тишины и успокоенія, и контрастъ между послѣднимъ, безумнымъ днемъ масленицы и чистымъ понедѣльникомъ даже въ столицахъ былъ поразителенъ. Сильные міра смирялись и изобрѣтали грибные соусы; меньшая братія довольствовалась толочкомъ, но въ то же время, подъ вліяніемъ общаго молитвеннаго настроенія, чувствовала приливъ какихъ-то надеждъ.

Ступающіеся крѣпостного права, соблюденіе постовъ—да и то самыхъ кратковременныхъ—стало удѣломъ преимущественно женскаго пола; что же касается до интеллигентныхъ мужчинъ, то они предпочитали отдѣлываться по этому поводу парадоксами. Примѣръ подавать стало некому, а вопросъ о спасеніи души былъ до того затмевъ и запутанъ безыерывными реформами, что даже изъ числа дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ многие сомнѣвались, есть ли у нихъ душа или нѣтъ. При такомъ настроеніи общества постъ сдѣлался какъ бы продолженіемъ масленицы, съ тою лишь разницей, что блины замѣнялись ро-

потомъ на устарѣлость предрасудковъ, мѣшающихъ пользоваться жизнью «по-человѣчески». Грибы осиротѣли; морошка плѣсневѣла и выкидывалась; бѣлозерскіе свѣтки со всѣмъ исчезли съ рынка. Цѣлыя мѣстности, которыхъ процвѣтаніе было тѣсно связано съ процвѣтаніемъ постовъ, увидали себя обездоленными.

Теперь смута устранена. Посты воспріяли прежнее реформенное дѣйствіе, и тѣ же самые дѣйствительные статскіе совѣтники, которые не могли утвердительно отвѣтить на вопросъ, есть ли у нихъ душа,—нынѣ положительно, твердо и ясно восклицаютъ:

Ты правъ, Плутонъ, ты правъ, нашъ духъ не умираетъ!  
Самъ Богъ, живущій въ насъ, въ сей правдѣ увѣруетъ!

Я лично знаю тайнаго совѣтника, который въ теченіе всей первой недѣли поста говорилъ по-славянски, какъ бы опасаясь оскоромиться русскимъ языкомъ. А другой тайный совѣтникъ даже советомъ отъ дара слова отказался и проводилъ время въ томъ, что молча созерцалъ свой пупокъ. Но это, по-моему, ужъ ригоризмъ.

Въ согласность съ этимъ новымъ вѣяніемъ и движеніемъ на улицахъ въ чистый понедѣльникъ значительно сократилось сравнительно съ реформеннымъ временемъ. Оживленіе замѣчалось только около бабъ и вблизи большихъ чиновническихъ центровъ. Давно такъ бойко не торговали банниками, и никогда такъ исправно не посѣщали чиновники своихъ департаментовъ, никогда такъ свято не хранили канцелярской тайны. Привдуть ранѣхонько, возьмутся за перья, сдѣлаютъ свое дѣло, и затѣмъ—молчокъ. Слышно только, что плодомъ этой великопостной ретивости ожидается великое множество отрезвительныхъ проектовъ. Проекты эти къ будущему великому посту будутъ перенесаны на-бѣло, а постомъ 1886 года ихъ поможатъ подъ сукло. *Suum cuique*, или: нѣтъ худа безъ добра. Но, какъ подолорье къ грибамъ, эти проекты неопѣтны; они ожиляютъ умъ и утверждаютъ въ публикѣ убѣжденіе, что страна, въ которой съ такою легкостью принимаются всевозможныя оздоровленія, не оскудѣетъ.

Не только о раугахъ, но даже о простыхъ вечеринкахъ не было слышно въ теченіе цѣлыхъ шести дней, такъ что и вѣмцы отираждовали свою масленицу келейно, безъ публичныхъ оказательствъ. Рѣдко-рѣдко въ какомъ-нибудь маленькомъ огонѣ, да и то скромный, тремещущій, при свѣтѣ котораго ничего другого и дѣлать нельзя, какъ сосредото-

точно смотрѣть себѣ на пупокъ. Сквернословіе, столь обычное на улицахъ въ скоромные дни, уступило мѣсто скромнымъ и солиднымъ афоризмамъ, въ родѣ: «всякъ сверчокъ знай свой шестокъ» и т. д. Московскіе куранты цѣлыхъ два дня сряду появлялись въ Петербургѣ безъ передовой диффамаци.

Однако со второй недѣли уже ощущается довольно замѣтное оживленіе. Освѣщенные окна попадаютъ столь же часто, какъ въ сезонные дни, бани пустѣютъ, портерныя наполняются; выраженія: катанье на тройкахъ, рауть, декольтѣ—слышатся чаще и чаще. Сквернословіе иступаетъ въ свои права; куранты свирѣбуютъ.

Рауть—это самая скучная изъ всѣхъ формъ общенія, участники которой думаютъ только о томъ, какъ бы отъ нея улизнуть. Люди собираются пестрые и подозрительные; разговоры ведутся шаблонные, неискренніе; пересказываются новости дня, которыя всѣми выслушиваются съ удовольствіемъ или негодованіемъ (смотря по содержанию новости), но никто ни въ это удовольствіе, ни въ это негодованіе не вѣрится; старики изрекаютъ приличные обстоятельства афоризмы и стараются проникнуть въ намѣренія Бисмарка; младшіе почтительно съ ними соглашаются, но внутренно думаютъ: да, братъ, порядкомъ-таки ты отъ старости ошалѣлъ! Разносятъ чай, прохладительныя; устроено нѣсколько буфетовъ; тамъ и сямъ разложены карточные столы; по никто ни къ чему не прикасается, точно боясь, что это можетъ задержать лишнюю минуту. Рѣдко кто даже садится, потому что всякому думается, что на ходу ловчѣе можно улетучиться. А хозяйка стѣснена болѣе всѣхъ. Она стоя принимаетъ безпрерывно появляющихся гостей и съ тоскою взглядываютъ на входную дверь, откуда долженъ показаться тотъ «полезный человѣкъ», ради котораго затѣяна вся эта исторія. Но «онъ» не появляется, ибо знаетъ себѣ цѣну, а вмѣсто него дефилируютъ сотни не-полезныхъ и неинтересныхъ людей. Словомъ сказать, всюду царствуетъ дѣланное оживленіе, дѣланый говоръ, дѣланые поученія, дѣланное гостепрѣмство, дѣланная почтительность... И вдругъ среди этой шемящей скуки и безцѣльной суетоки появляется... декольтѣ! Но такое блестящее, ослѣпительное, съ такимъ изумительнымъ вырѣзомъ на спинѣ, что у тайныхъ совѣтниковъ мгновенно спирается въ зобу дыханіе. Смотрите: вотъ еле дышашій старецъ, который за минуту передъ тѣмъ мечталъ, какъ было

бы хорошо намазаться на ночь оподельдокомъ, надѣть на голову бѣлый колпакъ и залечь съ Матреной Ивановной спать. Онъ уже заноситъ ногу, чтобы привести этотъ проектъ въ исполненіе, онъ уже приближается къ лѣстницѣ и мысленно видитъ себя въ шубѣ и тепломъ картузѣ—какъ вдругъ останавливается, какъ вкопанный, и начинаетъ чихать. А ослѣпительное декольтѣ торжествующе смотритъ на это соннице тпето усиливавшихся проникнуть намѣренія Бисмарка мудрецовъ и всѣми своими вырѣзами бросаетъ имъ въ лицо: ага! вы думали, что наступилъ великій постъ?—такъ вотъ же вамъ... масленица!

Но повторяю: рауты сами по себѣ такъ безмѣрно скучны, что даже наиболѣе возбуждающія декольтѣ могутъ сообщить имъ лишь скоротечное оживленіе. Посвѣщаютъ ихъ по преимуществу старцы, которые уже навью сны видятъ, да подростки лѣтъ такъ пятидесяти, изъ которыхъ одни уже овладѣли «дѣломъ», а другіе стараются нетерпѣннѣе завидѣльствовать о готовности перейти отъ фразы къ дѣлу. Для подобныхъ завидѣльствованій рауть самая подходящая арена; но и тутъ все зависитъ отъ того, успѣетъ ли жаждущій подростокъ попасть въ районъ зрѣнія подростка полезнаго, или не успѣетъ. И никакое искусство, никакіе подходы не принесутъ пользы, если не придетъ на помощь удача. Ипой и очень старается, а его или другіе чающіе ототрутъ, или же самъ полезный подростокъ такъ помѣстится, что не видитъ своего обожателя да и шабаль. Другой, напротивъ, не успѣлъ войти, какъ уже сорвалъ банкъ. Смотришь, черезъ четверть часа онъ уже ходитъ съ полезнымъ подросткомъ подъ руку, а прочіе передъ нимъ разступаются и дѣлятъ ихъ глазами. Это интимное ходженіе служитъ поводомъ для безконечныхъ комментариевъ. Стараются угадать его смыслъ и опредѣлить результаты въ будущемъ. А наиболѣе прозорливые прямо прорицаютъ: «теперь только держись!» Если у счастлива-подростка имѣется, кромѣ того, въ запасѣ программа, то комментаторы заранѣе прискиваютъ компромиссы и соглашенія. Если нѣтъ программы или есть маленькая—чего изволите?—то комментаторы говорятъ: «во всякомъ случаѣ, хуже не будетъ». И вдругъ, подъ шумокъ этого переполоха, оба подростка дѣлаютъ внезапное фланговое движеніе, врываются въ толпу и исчезаютъ въ ней. Туда-сюда—растали! Куда они направили бѣгъ свой? что знаменуетъ это внезапное исчезновеніе? какими новыми

загадками развѣршится завтрашній день? Опять комментаріи, комментаріи безъ конца...

Какъ бы то ни было, но положеніе чающихъ подростковъ совсѣмъ незавидное. Удача достается въ удѣль немногимъ, а большинство толчется на одномъ мѣстѣ, ведетъ пустопорожніе разговоры и агонизируетъ. Поэтому нѣкоторые мудрецы предпочитаютъ дѣйствовать посредствомъ своихъ женъ, ежели послѣднія обладаютъ исправнымъ декольтѣ. Такого рода мудрецовъ называютъ дипломатами, и усилія ихъ нерѣдко даютъ хорошіе плоды. Но, по моему мнѣнію, это ужъ подлость.

Гораздо интереснѣе и веселѣе проводится время на протѣхъ интимныхъ вечеринкахъ, которыхъ въ нынѣшнемъ посту особенно много. Здѣсь на первомъ планѣ фигурируетъ молодежь, та особливая нынѣшняя молодежь, которая не страстностью рѣчей и тѣлодвиженій, а солиднымъ образомъ мыслей и скромнымъ поведеніемъ имѣетъ заслужить и довѣріе дѣвъ, и мимолетную ласку женъ, и покровительство мужей и отцовъ. Въ этой молодой средѣ стремленіе къ «дѣлу» и забота объ его осуществленіи являются нынѣ преобладающимъ элементомъ. Чаше всего подъ словомъ «дѣло» здѣсь разумѣется карьера, но карьера, приобретаемая не въ видахъ удовлетворенія эфемернаго честолюбія, а въ видахъ достиженія опредѣленныхъ общественныхъ идеаловъ. Нынче рѣдко можно встрѣтить людей, подобныхъ Кротикову и Козякову, которые еще такъ недавно мечтали о губернаторскихъ и иныхъ мѣстахъ единственно ради цѣлей любознательности, осложненнаго любострастіемъ. Нынѣшніе молодые люди на первомъ планѣ ставятъ общую пользу, а потомъ уже — если время позволитъ — преслѣдуютъ и любовныя подспорья, помогающія не изнемогать подъ бременемъ служебнаго подвига. Подвигъ этотъ не легкій, хотя и не имѣющій реального, обязательнаго содержанія. Дѣло, предстоящее этимъ людемъ, не въ томъ заключается, чтобы самимъ дѣло дѣлать, а въ томъ, чтобы заставить дѣлать дѣло другихъ и, въ случаѣ нужды, облегчить переходъ отъ фразы къ дѣлу. А средства для выполненія этой программы общезвѣстны. Это съ одной стороны неуклонность, а съ другой — строгость. И наоборотъ.

— У меня, дяденька, не зазѣваются! — говорилъ мнѣ на дняхъ одинъ изъ моихъ племянниковъ, молодой человекъ, на котораго можно вполне положиться. И, говоря это,

онъ отлично понималъ, что, имѣя въ запасѣ такое ценное средство, какъ строгость, можно всего достигнуть: и изобилія, и оживленія промышленности, и хорошаго денежнаго рынка, и элеваторовъ, и транзитовъ, словомъ, всего, что смущаетъ воображеніе современныхъ отощавшихъ празднослововъ.

Самую излюбленную принадлежность такихъ интимныхъ вечеровъ представляютъ такъ-называемые спиритическіе сеансы. Напе интеллигентное общество всегда было склонно къ волшебствамъ, но нынѣшнія спиритическія радѣнія имѣютъ совсѣмъ отличный характеръ отъ прежнихъ. Прежде молодые люди по преимуществу вызывали усопшихъ дамъ. Изъ древнихъ — Семирамиду, Клеопатру, Агриппину, Мессалину; изъ позднѣйшихъ — Монтезавиу, Менценомну, Помпадуршу и др. Разумѣется, происходили игриваго свойства colloquium, отъ котораго молодая адептка спиритизма алѣла, но не гнѣвалась, и который адепты сопровождали еще болѣе игривыми комментаріями. Нынче усопшихъ дамъ оставляютъ въ покоѣ, а вмѣсто нихъ вызываютъ лицъ, оказавшихъ услуги благоустройству и благочію. Напримѣръ: Шенковского, фонъ-Фока, Вулгарина. По должно сознаться, что отъ времени до времени тутъ не обходится безъ печальныхъ недоразумѣній.

Вызываютъ, напримѣръ, однажды Шенковского и предлагаютъ ему вопросы. Старикъ, конечно, очень радъ посодѣйствовать, хотя, изъ кокетства, и жалуется на ревматизмъ.

— Всего больше, — говоритъ онъ: — надо избѣгать путаницы. Затѣявши предпріятіе, необходимо зрѣло обдумать оное, не обращая вниманія на подстрекательства темперамента и въ особенности не дозволяя себѣ несвоевременной болтовни. Языкъ мой — врать мой, говорилъ я себѣ всякій разъ, когда собирался въ походъ, и никогда не раскаивался въ томъ, что содержать эту пословицу въ памяти. То же самое нужно сказать и относительно самаго выполненія предпріятій. Никогда не слѣдуетъ спѣшить и суетиться, ибо, спѣша и волнуясь, мы девяносто девять разъ изъ ста рискуемъ попасть пальцемъ въ небо. Конечно, юридическая ошибка сама по себѣ не представляетъ важности, но часто она увлекаетъ насъ совсѣмъ не въ ту сторону, куда надо. Многого даже не бесполезно предоставить времени. Ибо ежели мы дѣйствуемъ благоразумно и притомъ воспитательно, то и время, или, лучше сказать,



духъ онаго постепенно принимаетъ споспѣшествующій характеръ. По крайней мѣрѣ я всегда такъ поступалъ. Всякій разъ, какъ предпріятіе ставило меня втупикъ, я говорилъ себѣ: пускай лучше дѣло полегитъ! И никогда не раскаивался.

Высказавши это, Шешковскій вновь повторяетъ жалобы на ревматизмъ и улетаетъ.

— Какой у этого старика замѣчательный дѣловой смыслъ!—дивятся молодые люди.

— Да, былъ въ старые годы смыслъ, былъ смыслъ!—вздыхаетъ тайный совѣтникъ (изъ рождущихъ), который, за простоту, допущенъ въ среду молодой компаніи.

— Какая отчетливость! какое глубокое знаніе споспѣствующихъ свойствъ времени!

Но въ другой разъ съ тѣмъ же Шешковскимъ случилась цѣлая исторія. Зовутъ его, стучать—не идетъ, да и полно. «Ужъ не позвалъ ли его на партію въ ламушъ графъ Ушаковъ?»—догадываются нѣкоторые, какъ вдругъ появляется урядникъ Купцовъ (не тотъ, который въ тридцатыхъ годахъ стегалъ «нитомцевъ славы», а предокъ его, современникъ и сотрудникъ Шешковского) и докладываетъ, что Шешковского безнадежно ждать, потому что душа у него была смертная и вмѣстѣ съ тѣмъ безъ остатка исцѣла...

Поднимается суматоха; дебатруется вопросъ: кто же является подъ именемъ Шешковского въ прошлый сеансъ? И что же открывается?—что въ прошлый сеансъ разговаривалъ чревовѣдатель, котораго любезный хозяинъ посадилъ въ сосѣднюю комнату.

Въ сей крайности рѣшаются вызвать фонъ-Фока. Последний является и отсырѣлымъ голосомъ объявляетъ, что хотя душа у него и не вполне смертная, но частица ея порядкомъ-таки попорчена...

— Однако какая жестокая будущность!—провозглашаетъ одинъ изъ присутствующихъ.

— Если, впрочемъ, и тутъ опять не замѣшался вантринокъ,—прибавляетъ другой.

Смотрятъ одновременно и подъ столомъ, и въ сосѣднихъ комнатахъ—нѣтъ никого. Очевидно, на сей разъ является подлинный Купцовъ и подлинный фонъ-Фокъ. Остается послѣднее средство: послать за Булгаринимъ. И точно: Булгаринъ является на первый же стукъ и сразу начинаетъ хрюкать:

— Призываетъ меня однажды Леонтій Васильичъ. Прихожу—рветъ и мечетъ. Увидѣлъ меня, вскопчилъ, подбѣжалъ, забрызгалъ.—Бездѣльники!—«Слушаю, отець-командиръ!»—Ренегаты!—«Рады стараться, отець-командиръ!»—Ужъ и на меня ябеды сочинять началъ?—«Виновать, отець-командиръ!»—Пошелъ вонъ, сатана!—«Кубаремъ, отець-командиръ!»

Водворяется молчаніе, во время котораго однако слышится легкій шелестъ. То рветъ надъ собравшимися Булгаринская душа.

— Продолжайте!—предлагаетъ одинъ изъ участниковъ.

— Только и всего.

— Ничего другого вы сказать не имѣете?

— Все въ этомъ родѣ.

— Но было же что-нибудь...

— Вся жизнь—въ этомъ родѣ.

— Однако!

— Ахъ, господа, господа! Посмотрю я на васъ: слышите вы звонъ и не знаете, откуда онъ! Да вѣдь это-то самое и нужно!

Съ этими словами душа Булгарина улетаетъ во-свои, а въ комнатѣ распространяется легкій смрадъ. Большинство въ недоумѣніи оглядывается по сторонамъ, но у нѣкоторыхъ уже снадеетъ съ глазъ слеза.

— «Это-то самое и нужно»,—задумчиво повторяетъ одинъ изъ присутствующихъ (изъ молодыхъ да ранній) и прибавляетъ:—*le vieux cochon a raison... peut être!*

Возвѣщаютъ, что сервированъ ужинъ. Общество поднимается и, въ сладкомъ сознаніи, что вечеръ проведенъ «дѣльно», слѣдуетъ въ столовую.

А въ заключеніе и петербургская городская дума нашла себѣ дѣло. Чествуетъ пріѣздъ въ «здѣшнюю столицу» нѣмецкаго романиста Шнильгагена, а когда получатся окончательныя подробности насчетъ взятія французами Бак-Нина, то, конечно, будетъ чествовать и взятіе Бак-Нина. Вина въ погребахъ много; «уры» накопились въ сердцахъ видимо-невидимо—надо же какъ-нибудь распорядиться и тѣмъ, и другимъ.

Что Шнильгагенъ очень талантливый писатель и въ шестидесятыхъ годахъ имѣлъ значительное вліяніе и на русскую литературу, и на русское общество—это безспорно; но дума-то петербургская тутъ при чемъ?

Шпильгагена чувствуют, а вот про то, что въ Петербургѣ существуетъ общество для пособія русскимъ литераторамъ и ученымъ, которое на-дняхъ втихомолку праздновало свое двадцатипятилѣтіе, — никто знать не хочетъ. А, право, вѣдь это учрежденіе сотни Шпильгагеновъ стоить. Подумайте! оно одно поддерживаетъ (насколько можетъ) интересы пишущаго пролетаріата, одно, которое безъ ужимокъ признаетъ свою солидарность съ русскою литературою! Какихъ еще больше правъ на вниманіе общества!

Бѣдный русскій литературный фондъ! Онъ всецѣло раздѣляетъ судьбы русской литературы. Подобно ей, онъ находится въ забвеніи; подобно ей, влачить унылое и скудное существованіе. Коли хотите, это логично; но какъ-то горько мириться съ этою логикою. Все думается: куда было бы лучше, если-бъ благоденствовала литература и вмѣстѣ съ нею благоденствовалъ бы и литературный фондъ!

Въ русской литературѣ встрѣчаются имена, принадлежащія лицамъ вполне обеспеченнымъ. Литература дала имъ все: и деньги, и славу, а вспомнили ли они о ней! Удѣлили ли они литературному русскому фонду что-нибудь, кромѣ жалкихъ крупицъ! Многие изъ нихъ такъ и сошли въ могилы, не вспомнивъ о своихъ бѣдствующихъ собратьяхъ по литературѣ.

А книгопродавцы? а тѣ, которые на костяхъ литературы создали свои болѣе или менѣе значительныя состоянія? Знаютъ ли они даже, что существуетъ русскій литературный фондъ, который, приходи на помощь къ бѣдствующему литературному дѣятелю, косвенно содѣйствуетъ созданію той самой «книжки», которая легла въ основаніе всѣхъ этихъ капиталовъ въ видѣ многоэтажныхъ домовъ, акцій и облигацій.

Право, лучше *бросить* (вѣдь у насъ иначе жертва и не понимается, какъ въ формѣ *бросанья*) деньги на поддержаніе русскаго литературнаго фонда, нежели на чествованіе Шпильгагена, какъ бы ни почтенна была литературная дѣятельность послѣдняго. Подумайте объ этомъ, милостивые государи, и ежели вы полагаете, что встрѣча, устраиваемая вамъ Шпильгагену, есть въ своемъ родѣ оказательство въ смыслѣ сочувствія къ просвѣщенію, то поймите, что оказательство это выразится гораздо рѣзвительнѣе, ежели оно явится въ формѣ сочувствія къ русскому литературному фонду.

## ГЛАВА IX.

Я съ величайшимъ любопытствомъ слѣзла за тою частью нашей публицистики, которая сама себя приевонила названіе «охранительной». Я знаю, что многие ее не любятъ за ея продѣлки, и даже самъ многиѣ раздѣляли эту нелюбовь. Она недобросовѣстна, назойлива, недальновидна, всегда находится подъ гнетомъ темперамента и любитъ, въ угоду ему, солгать, подсиѣть, подтасовать, извратить самый ясный фактъ. И при этомъ какъ-то безпардонно нагла, такъ что ни одной своей срамоты не скрываетъ: нѣ, смотри! Читать гадко. И все-таки надо читать, потому что это и любопытно, и отчасти даже утѣшительно. Любопытно потому, что извивы лукавой мысли, которая суетливо пѣнится въ пустомъ пространствѣ, сами по себе представляють очень замѣчательное психологическое явленіе; утѣшительно потому, что все успія этой мысли настолько проникнуты легкомысліемъ, что, въ сущности, и обмануть никого не могутъ. Не умѣетъ русская охранительная пресса пить свои диффамачіи иначе какъ бѣлыми нитками; не умѣетъ прятать концы въ воду. Сегодня она пуститъ въ ходъ агитацію по какому-нибудь небезынтересному для нея дѣлу, будетъ ссылаться на ходатайства, постановленія, подписи и т. п., а завтра, натолкнувшись на другую, встрѣчную агитацію (тоже съ постановленіями, ходатайствами и подписями), станетъ утверждать, что агитація вообще ничего не доказываютъ, что онѣ скорѣе вредны, нежели полезны для дѣла. Даже лазейки для себя не будутъ прискивать, а просто отперется, солжетъ. И такъ какъ она каждый день повторяетъ эту исторію, каждый день только что не говоритъ: читатель! все, что я ни предполагаю, можно видѣть только во снѣ! — то понятно, что и самому простодушному профану наконецъ надоѣстъ принимать сновидѣнія за дѣйствительность.

Я понимаю, что можетъ такой казусъ случиться, что, не имѣя за душой ничего, кромѣ праха, поневолѣ приходится имѣть однимъ торговать; но вѣдь и съ прахомъ слѣдуетъ обходиться бережно. Прахъ такъ прахъ; но пуская же онъ будетъ одинъ и тотъ же всегда и вездѣ, ибо только тогда онъ сдѣлается владыкой міра. Отрицайте разумъ, прогрессъ, правду, человѣческое право на счастье — прекрасно. Называйте все это опасной утопией, неточни-

комъ заблуждений и потрясеній — еще того лучше. Утверждайте, что завтрашняго дня нѣтъ, что перспективъ не полагается, а есть только то, что торчитъ подъ носомъ — и это хорошо. Но держитесь этихъ отрицаній твердо и не призывайте разума, человечности и проч. ни на помощь, ни въ свидѣтельство. Совѣсьмъ не произносите этихъ словъ, такъ какъ вы выходите изъ принципа, который признаетъ ихъ праздными. Не пишите въ смыслѣ порицанія: такое-то дѣйствіе противно разуму; ибо, согласно вашей программѣ, это-то и есть дѣйствіе, достойное похвалы. Не угрожайте завтрашнимъ днемъ, потому что вы разъ навсегда установили, что завтрашняго дня нѣтъ, а вмѣсто него зияетъ черная дыра, о которой вы и будете калякать тогда, когда въ ней очутитесь. Проводите вашъ прахъ логично, а не пестрите его поправками, не перескакивайте легкомысленно отъ одного праха къ другому. Ибо ничто такъ не вредитъ возведенію праха въ принципъ, какъ его пестрота.

Вспомните, читатель, что вопіяла охранительная публицистика года три тому назадъ по адресу такъ-называемой интеллигенціи. Всѣ кривды и беззаконія, какія только можно совмѣстить въ наиболѣе извращенной человѣческой личности, она, нисколько не стѣняясь, приурочивала къ интеллигенціи. Приурочивала, надрываясь, волнуясь и кипятясь, не считая даже пужнымъ приписывать какіе-нибудь аргументы. И не къ той интеллигенціи приурочивала, которая умѣетъ въ шить играть, которая устраиваетъ катанье на тройкахъ и пикники и въ этомъ усматриваетъ свое провиденціальное назначеніе, а именно къ той, которая приводитъ какими-либо умственными и нравственными интересами. Именно на эти-то интересы и указывалось, какъ на источникъ всякаго рода пагубы. Этого мало: она не ограничивалась платоническими воплями, но инсинуировала и практическое воздѣйствіе. Столбцы охранительныхъ газетъ пріятно пестрились корреспонденціями простецовъ-обывателей, которые простодушно предлагали топить интеллигентовъ, дѣлать ихъ встряски. И все это говорилось и предлагалось во имя здраваго смысла народа, во имя «исконныхъ русскихъ началъ». Любопытно бы знать: пуская въ обращеніе эти наивныя подстрекательства и ссылаясь на оныя какъ на документъ, спросилъ ли себя кто-либо изъ охранителей-публицистовъ: что же такое онъ самъ? Что онъ причисляетъ себя къ сонмищу интеллигентовъ — въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; что онъ понимаетъ

слово «интеллигентъ» не въ смыслѣ умѣнія играть въ винтъ — это тоже не требуетъ доказательствъ. Ибо какимъ бы прахомъ ни было наполнено его существо, какъ бы мало-интеллигентно ни велъ онъ свое дѣло, все-таки это дѣло и по формѣ, и по существу свойственно только интеллигенціи. А слѣдовательно...

Вотъ до этого-то «слѣдовательно» никогда и не договариваются люди, которые называютъ себя охранителями, а въ сущности охраняютъ только прахъ. Многие думаютъ, что они *не хотятъ* договориться, но я рѣшительно склоняюсь въ пользу выраженія: *не могутъ*. Въ минуты паники они теряютъ и память, и способность дѣлать обобщенія; а часто ли бывають такія минуты, когда бы они не находились подъ гнетомъ паники? Все пробуждаетъ въ нихъ панику, все приводитъ ихъ въ изступленіе. Не только политическая смута, но и спокойное отправленіе правосудія, и дѣйствія акціонныхъ чиновниковъ, и дѣло Зографа, и дѣло Мельницкаго, и элеваторы, и направление желѣзныхъ дорогъ, и транзитъ. Вездѣ они видятъ не сущность дѣла и даже не обстановку его, а какой-то блуждающій огонь, за которымъ скрывается измѣна. И ради этого огня забываютъ все. И себя, и предметъ, на защиту котораго вышли, и примѣненія, и выводы, къ которымъ подають поводъ ихъ вопли.

И все-таки повторяю: это фаталистическое свойство, въ силу котораго прахъ на каждомъ шагѣ изобличаетъ и побуждаетъ самого себя, есть своего рода благо, которое необходимо принимать въ расчетъ. Я знаю, что бойкія слова подкупають, но знаю также, что, пущенныя въ вѣтеръ, утопленныя въ массѣ противорѣчій, они могутъ имѣть успѣхъ лишь минутный. Нельзя вѣрить публицисту, который никогда ни къ какому логическому выводу не приходитъ, который слоняется изъ угла въ уголъ, сегодня говоритъ *за*, а завтра *противъ*, не сознавая даже, что и въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣло идетъ о предметахъ вполне однородныхъ, хотя бы и обозначенныхъ различными рубриками. И дѣйствительно, ему рѣдко кто довѣряетъ, хотя, къ сожалѣнію, еще слишкомъ часто говорятъ: «вотъ вѣдь какое перо!»

По моему мнѣнію, это результатъ далеко не безнадежный. Потому что если-бъ прахъ проводилъ себя вполне логично, какъ въ былыя времена, напримѣръ, въ Китаѣ, тогда нельзя было бы дышать. А теперь все-таки еще



можно, хотя проворство, с которым глаголемые охранители отыскивают прайи и играют ими, во всяком случае дѣлает роль очевидца и современника этих игр довольно тяжелюю.

Но продолжимъ наши воспоминанія. Посылая прямыя и косвенныя укоризны въ догонку интеллигенци, которая и безъ того въ авантажѣ никогда не обрѣталась, охранители указывали на «здравый смыслъ» народа и въ немъ одномъ находили надежное убѣжище противъ подвоховъ растлѣвающей цивилизаціи. Въ народѣ, говорили они, сохранились во всей неприкосновенности исконныя русскія начала, которыя и помогутъ побѣдить уметвенную и нравственную смуту, угрожающую намъ окончательнымъ разложеніемъ. И такова, дескать, живоносная сила этихъ началъ, что, разъ довѣрившись имъ, уже не представится надобности ни въ сложныхъ мѣропріятіяхъ, ни въ обременительныхъ затратахъ, которыя такіа мѣропріятія неизбѣжно за собою ведутъ. Здравый смыслъ народа восторжествуетъ безъ всякой посторонней помощи. Все устроится само собой, мирно, но грозно, безъ притязаній на блескъ, но достаточно внушительно.

Казалось бы, чего лучше? Власть, довѣряющая здравому смыслу народа, и народъ, естественно, безъ предвзятой мысли, идущій навстрѣчу этому довѣрью! Отъ осуществленія такой перспективы, полагать нужно, и либералы не прочь. Никто не видитъ идеала въ антагонизмѣ для антагонизма; никто... кромѣ, быть-можетъ, охранителей, которые никогда не смотрѣли на народъ иначе, какъ на помѣху въ дѣлѣ благоустройства и благочинія. Но на этотъ разъ даже они говорятъ намъ: «да, въ довѣрїи къ народнымъ массамъ—единственное наше спасеніе!» Стало-быть, и дѣйствительно уже неоткуда больше ждать помощи.

Но кто допускаетъ извѣстную цѣль, тотъ, конечно, долженъ допустить и соответствующія этой цѣли средства. Кто возлагаетъ на народъ все упованія, тотъ, хотя бы и притворно, обязывается рисовать его образъ чертами не только вполне сочувственными, но даже съ примѣсью нѣкоторой идилии. Народъ, молъ, — это не какіе-нибудь рядскіе сорванцы, которые способны лишь на то, чтобы по сигналу: взъ-взы! — набрасываться на всякаго встрѣчнаго, потому только, что онъ одѣтъ въ кургузку. Нѣтъ, это собраніе благомысленныхъ мужичковъ (что ни мужичокъ, то хоть сейчасъ въ бурмистры... если-бъ крѣпостное право опять

народилось!), которые за десяткомъ самоваромъ истоиво калякаютъ о мірской прѣстѣянскон правдѣ да о поровѣнкѣ, а о томъ, какимъ образомъ съ мѣшпой поступить—помалчиваютъ. Вотъ это какой народъ!

Нужды, молъ, нѣтъ, что «благомысленные», между прочимъ, и о поровѣнкѣ разговариваютъ — вѣдь это только издали страшно. Сегодня у нихъ поровѣнка въ ходу, а завтра, «глядя по времю», и другіе разговоры найдутся. «На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремать!» — чѣмъ это не разговоръ? Или: «не плачь, казавка, только сокъ выжму!» — хоть какому благомысленному не стыдно! Спала поровѣнку въ ходъ пустимъ, потомъ «сокъ выжмемъ», а потомъ и опять, пожалуй, за поровѣнку примемся! А самовары между тѣмъ со стола не сходятъ. Пьютъ себѣ благомысленные чашку за чашкой, въ утѣ не дуютъ, да мошну поглаживаютъ! Мы, молъ, не горлань; не рядскіе сорванцы, не кулаки, не мірофды, не захребетники — мы «благомысленные»! А ежели, молъ, карась къ щуцѣ въ хайло попалъ, такъ онъ самъ же и выповать: не зѣвай!

О, достолюбезныя дѣти природы! Какъ не довѣриться вамъ, коль скоро вы не только здравый смыслъ и русскія начала въ неприкосновенности сохранили, но при семъ и мошну изъ вида не упустили!

Вотъ въ какомъ видѣ слѣдовало бы консерваторамъ-публицистамъ живописать русскій народъ, если бы они могли вести свое дѣло носѣдовательно. Положимъ, что это вышелъ бы не заправскій народъ, а харчевня, наполненная идилическими мірофдами; но вѣдь русская публика на этотъ счетъ невзыскательна: идилия, въ соединенїи съ поровѣнкой да съ мошною, и до сихъ поръ на нее безъ промаху дѣйствуетъ.

Да, это было бы съ ихъ стороны «очень ловкимъ шагомъ» (спеціальное выраженіе охранителей-публицистовъ, когда они хотятъ охарактеризовать какой-нибудь подвохъ) и сразу отбѣло бы у либераловъ хлѣбъ, на который они расчитываютъ. Ротозѣи! они воображаютъ, что они одни секретомъ «разказовъ изъ народнаго быта» обладаютъ... Милости просимъ! Да мы, охранители, такую по этой части ахянею за назухой держимъ, что въ носъ бросится... да! Мужички, милые! что вы такъ заробѣли-спиртались! Выдѣзайте, не бойтесь! Покажите, какія-такія въ васъ русскія начала сидятъ? Какой-такой здравый смыслъ? Ахъ, хороши здравый смыслъ!

Истинно говорю, что либералы не только остались бы ни при чемъ, но, можетъ-быть, и въ поминѣ о нихъ ужъ давнымъ-давно не было бы!

Но охранители наши не могутъ быть послѣдовательны. Малодушные, всецѣло угнетенные темпераментомъ, то необузданно-ликующие, то сѣющіе безсознательный страхъ, они бросаютъ на вѣтеръ слово и сейчасъ же забываютъ о немъ. Забываютъ, потому что въ данную минуту не видятъ въ немъ надобности; но ежели встрѣтятъ таковую, то и опять вспомнятъ. Увы! не понимаютъ они, что подогрѣтому слову дѣла уже грошъ...

Въ самомъ дѣлѣ, тотъ же самый темпераментъ, который только-что продвиговалъ имъ теорію обарщенія къ здравому смыслу народа, тутъ же, кряду, подкашиваетъ и картины самага несомнѣннаго отсутствія этого смысла. Тотъ народъ, который, за нѣсколько столбовъ передъ тѣмъ, являлся вмѣстительнымъ исконныхъ русскихъ началъ, представляется теперь лишеннымъ всякаго нравственнаго инстинкта, почти безумнымъ. Прислушайтесь, напримѣръ, хоть къ такому рода фактамъ \*).

«Дѣла рубятся безнаказанно, на лугахъ — перекосы и поправки; съ полей воруютъ снопы съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе; поджигаютъ другъ друга; доходить дѣло до того, что начинаютъ отравлять скотину другъ у друга...»

Такъ поѣздуесть охранитель-корреспондентъ изъ нижегородской деревни. Кто же все это дѣлаетъ? не интеллигенты ли? Нѣтъ, это дѣлаетъ тотъ самый народъ, о здравомъ смыслѣ котораго, чуть ли не въ томъ же номерѣ, охранитель-публицистъ начерталъ пространную и убѣдительную передовицу. Таковы понятія *этого* народа о собственности; а вотъ его понятія о справедливости:

«Ничего не подѣлаешь, некуда обратиться за помощью. Въ крестьянское общество? Но въ немъ чинить судъ и расправу провиншася голь деревенская, которая и производить всѣ эти безобразія; степенный мужикъ давно уже потерялъ вѣсъ... хлопочетъ только о томъ, чтобъ его оставили въ сторонѣ... Въ волостной судъ? Но и тамъ сопьютъ съ виноватаго и пустятъ на всѣ четыре стороны... Къ мировому? Но выйдетъ еще хуже, оштрафуютъ на полтину, а конфузу тебѣ на рубль... Слѣдователь отвѣтить на твою

\*) Факты эти или, лучше сказать, разсказъ о нихъ не вымышленъ мною, а заимствованъ въ подлинныхъ выраженіяхъ изъ одной охранительной газеты, которую, впрочемъ, я не вижу надобности называть.

жалобу, что ясныхъ уликъ нѣтъ... И деревенская вольница прекрасно понимаетъ силу своей безнаказанности и неуязвимости... Она такъ набаловалась тѣмъ, что все сходитъ ей съ рукъ, что, не стѣнялась, говорить старшинѣ на сходѣ: развѣ ты не понимаешь, что поивъ вся сила въ насъ! дѣлай намъ въ угоду: насъ, братъ, много! Вдумайтесь въ эти слова: вольница, объединяемая, поддерживаемая и просвѣщаемая кабакомъ, поняла, что съ нею играютъ, за нею ухаживаютъ, и подняла голову».

Таковы понятія «народа» о справедливости. Вотъ такъ подоплека! Но отношенія его къ собственному самоуправленію едва ли еще не любознательнѣе.

«Вотъ, напримѣръ, деревня выбирать старосту. Выборъ падаетъ на мужичонка-ворнишку, который, къ тому же, и деревенскій живодець, и наступитъ крестьянскому стада, словомъ, послѣдній человекъ... Черезъ полгода — начеть въ 60 рублей, удаченіе отъ должности и новый выборъ — на этотъ разъ горькаго пьяницы. Чѣмъ же объясняются эти изумительные выборы? А вотъ чѣмъ. «Новѣ страху стало мало. Въ начальство идти нутному человеку — только казнить; ты съ него податъ собирать, а онъ поспѣваетъ: ничего, говоритъ, за мѣръ поспидишь. Правовъ не стало».

Такъ самоуправляются эти представители здраваго смысла. И замѣтите объясненіе: «страху нѣтъ!» Страхъ — это альфа и омега нашихъ охранителей-публицистовъ. Будь страхъ — и все пойдетъ хорошо. Но вотъ, въ заключеніе, и самый здравый смыслъ налицо. Слушайте. «Нѣтъ, среди горячій дѣловой поры, мѣръ постановляетъ: праздновать три-четыре дня подъ-рядъ. Въ первый день сходить въ церковь, а потомъ начинаютъ гулять. Вѣтеръ выхлестываетъ спѣлую рожь, и заботливый хозяинъ съ грустью смотритъ на свою трудовую ниву, но взять серпъ въ руки не смѣетъ: за нимъ зорко слѣдятъ десятки глазъ и только ждуть, чтобы содрать четверть водки за нарушеніе мѣрскаго приговора. Вотъ другое дѣло «помочь» — тамъ за вино работать можно. Кулакъ, разумеется, и пользуется этимъ; все село потираетъ руки и другъ его, кабатчикъ...»

Итакъ, вотъ каковъ этотъ народъ, который, въ случаѣ нужды, прославляютъ, какъ носителя русскаго смысла и исконныхъ русскихъ началъ, и который, по минованіи надобности, топчутъ въ грязь! Съ одной стороны — единственное убѣжище, оплотъ, купель синоамская, съ другой —

обезумѣвшая отъ водки толпа, сборище воровъ, поджигателей, оравителей, не могущихъ управлять своими дѣйствіями, не имѣющихъ ни малѣйшаго понятія о правдѣ, не понимающихъ даже той простой истины, что безъ пищи нельзя существовать. И все это рядомъ, черезъ нѣсколько столбцовъ, въ одной и той же охранительной газетѣ. Правда, въ послѣднемъ случаѣ народъ не называется народомъ, а говорится о какой-то вольницѣ; но вѣдь это только шутивая кличка, которая позволяетъ подойти къ предмету вольнымъ аллюромъ. Въ сущности эта вольница и есть именно «народъ»; это та самая масса, которая знаетъ, что «попѣй вся сила въ насъ», за которую ухаживаютъ, съ которою заигрываютъ...

Кто ухаживаетъ? кто заигрываетъ?—положительно не кто иной, какъ тѣ самые, которые и вкривь, и вкосъ именуютъ себя охранителями. Ибо невозможно себя представить, чтобы, надѣлая народъ «здравымъ смысломъ», они разумѣли только «степенныхъ» да «лутныхъ». Во-первыхъ, потому, что если даже прибавить къ этимъ «лутнымъ» кулаковъ и кабатчиковъ, то и тогда ихъ будетъ черезчуръ мало, чтобы фигурировать въ качествѣ народа; а во-вторыхъ, и потому, что эти «степенные», по павному сознанию самихъ охранителей, хлопочуть только о томъ, чтобы ихъ оставили въ покоѣ. Какая же корысть обращаться къ здравому смыслу такихъ людей? Вѣдь онъ давно уже превратился у нихъ въ трусливое возжелѣніе покоя, которое, впрочемъ, нимало не препятствуетъ имъ разыгрывать въ своемъ мѣстѣ роль благомысленныхъ сельчанъ.

Нѣтъ, какъ хотите, а все это именно бредъ, ничего кромѣ бреда. И здравый смыслъ, и анти-здравый смыслъ, и «народъ», и вольница—все это сказалось внезапно, незначай, въ угоду темпераменту, безъ разумія. Богъ справедливъ: онъ поражаетъ наглыхъ людей глухотою, слѣпотю, безуміемъ. Если-бъ не это, они несомнѣнно не только ближнихъ своихъ, но и самого Господа Бога давно бы слопали.

Повторю и повторю: хотя противорѣчія, въ которыхъ путается блудливая мысль псевдо-охранительной прессы, въ высшей степени постыдны, но въ данномъ случаѣ они весьма знаменательны, ибо поселяютъ увѣренность, что существуютъ извѣстные предѣлы, за которыми и бойкія слова оказываются просто-на-просто глушостью.

Въ послѣднее время особеннымъ вниманіемъ охранительно-публицистическаго лагеря пользовался вопросъ о расхищеніи власти. До свѣдѣнія публики доводилось, что рядомъ съ законнымъ самодержавіемъ возникло нѣсколько самочинныхъ самодержавій, которыя открыто отрицаютъ авторитетъ власти, пахально провозглашаютъ себя независимыми отъ нея и противодѣйствіе ей распоряженіямъ важнѣйшій себѣ въ обязанность и въ заслугу. Стоитъ заправскому властителю думать засадить Ивана Непомнящаго въ кулузку, какъ самочинный властитель думъ въ ту же минуту вырастаетъ изъ-подъ земли и освобождаетъ Ивана изъ кулузки; и наоборотъ—не успѣетъ заправскій властелинъ поощрить Ивана Благодямѣннаго, какъ самозванецъ уже тащитъ его на скамью подсудимыхъ. И все—нарочно.

Что вслѣдъ, кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ обычнымъ церемоналомъ русской жизни (въ особенности провинціальной), имѣетъ вполне достаточныя свѣдѣнія о явленіи, именуемомъ расхищеніемъ власти,—это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Лѣтописи наши изобилуютъ и преизобилуютъ подобными фактами. Кто не помнитъ цѣлой организованной шайки, благодаря которой произошло уфимско-оренбургское земельное расхищеніе? Кому не извѣстны лугавые рабы, которые, подъ прикрытіемъ обаянія власти, обдѣлывали свои личные дѣлашки? Кто наконецъ еще въ дѣтствѣ не слыхалъ о цѣлой массѣ мелкихъ самоуправцевъ, по милости которыхъ существованіе въ провинціи становится годъ отъ году болѣе и болѣе загадочнымъ? Всѣ эти люди, безъ всякаго сомнѣнія, имѣютъ полное право на кличку расхищителей власти. Они посягаютъ вокругъ себя скудость матеріальную, умственную и нравственную; они вносятъ озабленіе и смуту въ умы; они умерщвляютъ народную силу въ самомъ источникѣ и, совершая все это, въ качествѣ органовъ власти и ея именемъ, неизбѣжно подрываютъ довѣріе къ ней. Они хуже чѣмъ расхищаютъ власть—они безчестятъ ее. Указывать на подобныя расхищенія власти, предлагать способы къ ихъ устраненію—вотъ задача публицистики, сознающей себя дѣйствительно охранительною. Вотъ въ сторону какихъ расхищителей должны быть направлены ся самыя бойкія фразы, если ужъ безъ бойкости нельзя обойтись.

На дѣлѣ однако же видится совершенно противоположное. О подлинныхъ расхищителяхъ охранительная публицистика въ

большинствѣ случаевъ проходить молчаніемъ, а нѣкоторыхъ изъ нихъ—напримѣръ, самоуправцевъ—даже похваляютъ. Названіе же расхитителей власти присвоивается ею тѣмъ учреждениямъ и лицамъ, которые, по самому свойству своихъ обязанностей, не могутъ имѣть никакой прикосновенности ни къ расхищеніямъ при помощи воровства, ни къ расхищеніямъ при помощи самоуправства...

Въ особенности часто прилагается нынѣ это клеймо къ новымъ судебнымъ учреждениямъ. И слѣдная ярость, и клевета, и раскатистый хохотъ—все по ихъ поводу считается пригоднымъ, дозволеннымъ и умѣстнымъ. Не странно ли видѣть, что въ сферѣ охранительной можетъ существовать пресса, которая слово: «легальность» произносить не иначе, какъ съ прибавленіемъ наскуднаго «*grism teneatis, amici?*». А между тѣмъ это не фантазія, а дѣйствительность. Надъ рываютъ охранители жизни со смѣхомъ да и полно. Судей такъ-таки прямо въ лицо и называютъ «несмѣяемыми» и «независимыми», а для присяжныхъ заседателей даже сугубо-уморительную кличку придумали: «непогрѣшимые»! И все вѣдь въ насмѣвку...

Я не къ тому заговорилъ о судахъ, чтобы произносить въ ихъ пользу защитительную рѣчь. Прекде всего я не сознаю себя достаточно компетентнымъ въ этомъ дѣлѣ, а затѣмъ лично нахожу, что какъ бы ни были хороши суды, все-таки лучше совсѣмъ не имѣть въ нихъ хожденія, нежели состоять съ ними въ непрестанномъ общеніи. Такъ что ежели бы ко мнѣ явился адвокатъ Балабайкинъ и сталъ убѣждать, что я безъ всякихъ правъ могу навѣрняка оттягать у сосѣда каменный домъ (какой-нибудь охранительный лудунка навѣрняка сказать бы по этому случаю: Богъ послать!), то я и тогда навѣрное отказался бы отъ представленія нека. Ибо и за всѣмъ тѣмъ, наравнѣ со всѣми неодожимыми «колерамъ» членами русской семьи, я убѣжденъ: во-первыхъ, что судебная реформа исходитъ отъ той самой власти, на защиту которой выходятъ самозваные охранители; во-вторыхъ, что «легальность» не только не подрываетъ власти, но, напротивъ, укрѣпляетъ ее, и что, слѣдовательно, если оба эти выраженія употребляются рядомъ, то слѣдующее въ этомъ ничего нѣтъ; и въ-третьихъ, что въ практикѣ новыхъ судебныхъ учреждений, со времени ихъ преобразованія, рѣшительно ничего такого не произошло, что угрожало бы опасностью государству или вызвало бы хохотъ. Такъ что даже кличка «непогрѣшимости»,

присвоенная суду присяжныхъ, есть, въ сущности, только паясничество, ибо нигдѣ и никогда судъ присяжныхъ не признавался символомъ непогрѣшимости, а считался только выразителемъ извѣстнаго уровня общественнаго и пароднаго самосознанія.

Вотъ если-бъ охранительная публицистика хлопотала о поднятій этого уровня—это было бы съ ея стороны заслугой. Но въ томъ-то и дѣло, что интересы ея заключаются совсѣмъ не въ этомъ (пожалуй, чѣмъ ниже уровень, тѣмъ даже лучше, покойнѣе, благочиннѣе), а въ томъ, чтобы учинить подтасовку, которая помогла бы подлинныхъ расхитителей власти подмѣнить расхитителями мнимымъ.

Подтасовка эта совершенно въ правахъ нашей охранительной публицистики и могла бы представлять серьезную опасность, если-бъ послѣдняя не умѣрялась значительно примѣсью педомыслия и безтолковости. Благодаря этому обстоятельству, читатель наиболѣе напившій и терпѣливый начинаетъ уже видѣть въ подтасовкахъ только дурную прищипку и больше ничего.

Въ сущности, по поводу вопроса о расхищеніи власти происходитъ такое же столпотвореніе, какъ и по поводу обращенія къ исконнымъ русскимъ началамъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ извергаются только бойкія слова, и мало не вяжущіеся съ предметомъ, о которомъ заведена рѣчь. О выводахъ или о пожеланіяхъ нѣтъ и въ поминѣ. Людямъ болѣе или менѣе подозрительнымъ можетъ показаться, что вотъ-вотъ сорвется съ языка что-нибудь рѣшительное, въ родѣ «закрѣпощенія» или возстановленія старой судебной волокиты—отнюдь не бывало! Даже этихъ немудрыхъ словъ нѣтъ. Вообще никакихъ словъ, кромѣ бойкихъ, да и бойкія-то слова вырываются какъ-то внезапно, исключительно подъ вліяніемъ вполонившагося темперамента. И въ результатѣ—ни шестви впередъ, ни возврата назадъ, ничего, кромѣ божесодержательной пропаганды ципки.

Если-бъ охранительная публицистика была способна формулировать свои вождельвія, если-бъ она ясно и отчетливо произнесла тѣ слова, вокругъ которыхъ она нынѣ только бессмысленно мечется,—она навѣрное выполнила бы свое назначеніе съ успѣхомъ. У нея нашлись бы адепты—не особенно много, но кучка порядочная (вѣдь и до сихъ поръ встрѣчаются старички, которые обливаются при воспоминаніи о старыхъ порядкахъ),—съ помощью которыхъ она,

чего добраго, провела бы въ жизнь и закрѣпощеніе, и судебную волокиту. Словомъ сказать, она могла бы принести вредъ дѣйствительный, грандіозный, могла бы уязвить не того или другого изъ своихъ противниковъ, а всѣхъ, всѣхъ вообще... Всѣхъ, кто носитъ человѣческій образъ, или, по крайней мѣрѣ, мыслитъ и чувствуетъ, какъ человѣку мыслить и чувствовать надлежитъ.

Къ счастью, этого нѣтъ. Какъ ни безпредѣльно злопыхательство охранительной прессы, но безсиліе ея мысли таково, что послѣднее непремѣнно положитъ конецъ и бойкимъ словамъ, и распространенному ими ошеломленію. Не передъ разумомъ сложитъ оружіе злопыхательство, а передъ собственною безмыслицей. Это настолько вѣрно, что тѣ изъ адептовъ, которые лучше другихъ понимаютъ, чѣмъ мяско кошка съѣла, начинаютъ уже недоумѣвать и сердиться.

— Точнѣе на одномъ мѣстѣ златоустъ-то нашъ—ни назадъ, ни впередъ!—жаловался мнѣ на-дняхъ одинъ старичокъ, который съ 1862 года все ждетъ, что Богъ его проститъ:—мы было надѣялись, что онъ «возвѣститъ», а онъ только знай захлебывается.

Кстати о публицистикѣ. Въ одной изъ газетъ я вычиталъ, что въ одномъ изъ «Попехонскихъ разсказовъ» изображена «довольно темная аллегорія, въ которой, между прочимъ, дѣйствуетъ «газетчикъ», отыскивающій революціонеровъ для представленія по начальству».

Это положительно невѣрно. Аллегорія разсказа, о которомъ идетъ рѣчь (если тутъ есть аллегорія), заключается въ томъ, что попехонцы, застигнутые затрудненіями, не находятъ другого выхода, кромѣ личныхъ репрессалій, распри и взаимныхъ пререканій заднимъ числомъ. Вѣроятно, они предполагаютъ, что если достаточно другъ друга перекантчатъ, то у нихъ, по щучьему велѣнію, явится и *panis*, и *circenses*. Однако же ничего, кромѣ исконныхъ пустыхъ щей (*panis*) и синиковъ на тѣтѣ (*circenses*), не получаютъ, и не получаютъ по той простой причинѣ, что ни изъ разгромленія, ни изъ опустошенія, ни изъ калѣченія (спухъ излюбленныхъ попехонскихъ панацей) никакого приварка не извлечешь, а извлечешь только безлюдье и всеобщую одичалость.

Эта особенность попехонскихъ оздоровительныхъ приемовъ и попехонскаго міросозерцанія извѣстна не со вчерашняго дня: всѣ лѣтописные разсказы наполнены примѣ-

рамъ усобицъ и пререканій. Искони попехонцы любили заниматься разслѣдованіемъ корней и нитей, то-есть переканкой отдѣльныхъ персонъ, и искони же уклонялись отъ выясненія самимъ себѣ дѣйствительныхъ, а не персональныхъ причинъ постигнутаго затрудненія. И потому-то, быть-можетъ, какъ они ни надсаживаются, подсаживая другъ друга, а пустыя ни и до сегодня не сходятъ у нихъ со стола.

Безспорно, что отыскать для жизни новыя, болѣе плодотворныя основанія гораздо труднѣе, нежели дать ближнему оплеуху; но вѣдь, съ другой стороны, оплеуха, съ какой стороны на нее ни взгляни, все-таки не болѣе, какъ оплеуха. А дальше что?

Говорятъ, будто попехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новыхъ основаніяхъ для жизни, такъ надо же, дескать, въ ожиданіи лучшаго, хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да вѣдь есть же наконецъ честность, есть здравый смыслъ! Допустимъ, что безъ серьезной подготовки на прочное строительство надѣяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы пронавести что-нибудь болѣе прочное, нежели этотъ паскудный обманъ оплеухъ, который и заушалоуцхъ, и заушаемыхъ одинаково доводитъ до полного нравственнаго растлѣнія.

Вотъ мысль, которая положена въ основаніе разсказа о фантастическомъ попехонскомъ отрезвленіи. Если это аллегорія, то необходимо допустить, что и вся вообще попехонская жизнь есть не что иное, какъ аллегорія.

Что же касается до «газетчика», то онъ привлеченъ къ разсказу вовсе не въ качествѣ «отыскивателя революціонеровъ для представленія по начальству», а въ качествѣ подстрекателя въ томъ бесплодно-самоубѣдномъ направленіи, благодаря которому попехонцы мечутся, изнуряются и все-таки живутъ впроголодь. Хотя типъ такого газетчика и не встрѣчается въ попехонскихъ лѣтописяхъ, однако-жь и онъ не представляетъ животрепещущей новості. Развѣлось этихъ газетчиковъ очень достаточно и муть отъ нихъ большая идетъ.

Право, безполезно напоминать литературѣ (особливо въ виду неравнобѣрной растяжимости правила: «*audiatur et altera pars*»), что сдержанность для нея обязательна, что существуютъ задачи болѣе ей приличествующія, нежели злая и притомъ явно-бесплодная травля однихъ посред-



ством других. Кругомъ то и дѣло раздаются вопли: «довольно фразы! за дѣло пора, за дѣло!»—а вслушайтесь-ка попристальнѣе въ смыслъ этихъ воплей, и вы убѣдитесь, что, въ сущности, кромѣ травли, никакого дѣла и не предвидится. Стало-быть, что-нибудь одно предстоитъ: или дознаться, въ чемъ же именно состоитъ это пресловутое, безпрерывно возмущаемое «дѣло», или же положить предѣлъ лицемерному галдѣнью.

Я знаю, впрочемъ, что ни «разказами», ни вообще литературнымъ воздействием ни того, ни другого добиться нельзя. Газетчики того типа, о которыхъ идетъ рѣчь, никогда ничего не скажутъ о сущности «дѣла», потому что они сами этой сущности не знаютъ, и никогда не перестанутъ галдѣть, потому что галдѣнне составляетъ ихъ ремесло. Но вѣдь рѣчь писателя имѣеть значеніе скорѣе воспитательное, нежели непосредственно-практическое. Онъ обращается къ обществу не за тѣмъ, чтобы пристегнуть такое-то лицо или такое-то дѣйствіе, а съ цѣлью воздѣйствовать на общественную совѣсть, на общественное самосознаніе.

Чтеніе газетъ наводитъ иногда на мысли совершенно неожиданныя, но въ то же время и не безполезныя. Въ жизни встрѣчается великое множество явленій, которые пропускаются безъ вниманія единственно потому, что ужъ очень всѣмъ примелькались. И вдругъ о чемъ-нибудь въ этомъ родѣ начинаютъ разговаривать газеты. Разговариваютъ строго, съ насосомъ, съ примѣсью такъ-называемой аттической соли (нѣтъ, благодаря безакцизности, она дешева) и даже какъ бы съ заганеннымъ опасеніемъ. Съ перваго взгляда никакъ не поймешь, что именно случилось, и, только пристально вдумавшись, догадаешься: ба! да вѣдь это оно самое и есть!

Возьмемъ для примѣра хоть такой фактъ: какимъ образомъ зачинались наши Помехонья? какъ и по какой причинѣ возникли въ нихъ каланчи? Много ли найдется любителей этихъ людей, которыхъ интересовали бы подобныя вопросы? Я не крайней мѣрѣ никогда, до послѣдняго времени, не думалъ о нихъ. Проѣзжая мимо того или другого Помехонья, я освѣдомлялся у ямника, какъ оно называется, и, получивъ удовлетворительный отвѣтъ, мѣнялъ на станціи лошадей и слѣдовалъ дальше, по направленію къ слѣдующему Помехонью. Проѣзжая мимо каланчи, я

манинально, восклицать: вотъ она, каланча-матушка!—и не давалъ этому восклицанію ни особливаго значенія, ни дальнѣйшаго развитія. И такимъ образомъ, чего мудреваго, я и въ могилу сошелъ бы, не давши себѣ отчета въ собственныхъ впечатлѣніяхъ и восклицаніяхъ...

По необъяснимой случайности, вопросъ о происхожденіи русскихъ Помехоній и о постройкѣ въ нихъ каланчей съ особенною настоятельностью предсталъ передо мной послѣ прочтенія газетныхъ статей о дѣлѣ волчанскаго исправника Зографа. Читаль-читаль—и вдругъ мысль: да кто же кому предшествовалъ, Зографъ ли Волчанску, или Волчанскъ Зографу? Вопросъ былъ поставленъ мною неправильно и даже неподлежательно (слѣдовало бы спросить такъ: Волчанскъ ли для Зографа существуетъ, или Зографъ для Волчанска?—тогда навѣрное было бы ясно: конечно, съ одной стороны, Волчанск... но, съ другой стороны, несомнѣнно, что и Зографъ...), и потому весьма естественно, что въ бодрственномъ состояніи я отвѣта на него дать не могъ. Тогда, поневолѣ, пришлось прибѣгнуть къ сповидѣнію, и вдобавокъ аллегорическому.

Прилежь, и такъ какъ дѣло было къ спѣху, то сейчасъ же увидѣлъ сонъ. И вотъ какую аллегорію развернуло предо мной сповидѣніе.

Вначалѣ, будто бы, появился исправникъ (точнѣе было бы, по-старинному, сказать: городничій, но во снѣ за историческую точностью не утоняешься) и, памятуя, что ему предстоитъ, съ одной стороны, пожары тушить, а съ другой—бунты, съ помощью пожарной трубы, усмирять, выбралъ мѣстечко на берегу рѣки. Который исправникъ въ рубашкѣ родился—выбралъ рѣку многоводную, съ стерляжкой ухой, съ нагруженными хлѣбомъ расшивами, съ расколбиками; который безъ рубашки, въ одномъ видномудирѣ родился—удовольствовался рѣчкой Гиллушкой, въ надеждѣ, что малая рѣка, при усердіи, большой процентъ дастъ. Не успѣлъ онъ умомъ-разумомъ раскинуть—смотреть, а въ у него ужъ, по шучьему вѣдѣнью, помощникъ родился. А немного погодя—частный приставъ, а еще немного спустя—пара квартальныхъ. Сотворили совѣтъ и на вопросъ: какъ въ семь случаевъ поступить?—въ одинъ годъ съ отвѣтами: выстроить каланчу! И только-что они это слово вымолвили—глядь, а въ каланча ужъ готова! Стоить, сердечная, и сама собой пожарные сигналы выкидываетъ.

Обрадовался исправникъ, взбѣжалъ на вышку и, вспомнивъ Пушкина, произнесъ:

Отсеяль грозить мы будемъ Шведу...

И погрозилъ...

И что-жь, какъ только онъ погрозилъ, такъ со всѣхъ сторонъ налетѣли полицейскіе и пожарные нижніе чины и зачали кругомъ каланчи городъ завивать. А исправникъ засѣлъ въ каланчѣ, сидитъ да, подобно древнему Девкалиону, изъ окошка камешками пошвыриваетъ. Побольше камень бросить — вскочитъ купчина и начнетъ торговать; поменьше — вскочитъ мѣщанинъ и начнетъ воровать. Наконецъ цѣлую глыбу выкатилъ — выродился «вѣнецъ созданій Божіихъ», откупщикъ. И тутъ же поздравилъ исправника съ окладомъ: тысяча рублей въ годъ — само собой; а четыре ведра водки въ мѣсяцъ — само собой.

Словомъ сказать, не прошло безъ году недѣли, а городъ ужъ во всѣхъ статьяхъ такъ и играетъ на солнышкѣ. И казначейство, и суды, и всякія управленія, и кабаки, и гостинный дворъ, и кутузка — чего хочешь, того просишь. И вдругъ исправникъ спохватился.

— А у кого же мы по праздникамъ пироги будемъ ѣсть? — обратился онъ къ сослуживцамъ.

— То-то что градского голову приходится сдѣлать...

Сказано — сдѣлано. Взялъ исправникъ глины комъ, замѣсилъ съ соломешной рѣзкой, дунулъ, плюнулъ — вышелъ голова! «Что, братъ, не чайль? — ласково молвилъ ему исправникъ: — то-то! смотри у меня! Я тебя изъ праха воззвалъ, я же тебя и обратно въ оный погрозилъ!»

Сдѣлавши все какъ слѣдуетъ, пошелъ исправникъ съ помощникомъ своимъ по городу гулять. Гуляеть и не радуется. Взойдетъ въ бакалейную лавку, зачерпнетъ въ пригоршню изюму и ѣсть; взойдетъ въ суконную лавку — себѣ на мундиръ сукна отрѣжетъ, а женѣ на пальто драпу; зайдетъ къ откупщику — спросить: «скоро ли же на балъ звать будете? Надо, сударь, общество веселить!»

Долго ли, коротко ли такъ дѣло шло, только началъ исправникъ мечтать.

— А знаете ли, Иванъ Ивановичъ, — сказалъ онъ однажды помощнику: — какую я штуку придумать?

— Не могу знать, вашескородіе!

— Угадайте!

— И угадать не могу, вашескородіе!

— И не угадаете. А я между тѣмъ самую простую

штуку придумать. Доселѣ я ихъ — создавалъ, а отнынѣ начну ихъ... уничтожать!

Помощникъ весь превратился въ слухъ. Стоитъ и не шелохнется. Зналъ онъ, что у исправника ума палата, но такой премудрости, признаться сказать, даже отъ него не чаялъ.

— На какой же собственно... предметъ? — очнулся онъ наконецъ.

— Какъ на какой предметъ! — разсердился исправникъ: — на службѣ вы, милостивый государь, состоите, а самыхъ элементарныхъ вещей не понимаете; sic volo, sic jubeo — вотъ на какой предметъ! Исправникъ я или нѣтъ?

И, затѣмъ, призвавъ градского голову, сказалъ ему такіа слова:

— Я сей градъ, ради нѣкакой надобности, воздвигнулъ; я же его, ради той же надобности, и разрушить хочу.

Но голова хотя и одолженъ былъ исправнику жизнью, однако-жь на сей разъ не понялъ.

— На какой же собственно... предметъ? — осмѣлился онъ заикнуться.

— Не для того я тебя призвалъ, чтобы твои смѣха достойныя слова слушать! — разсердился на него исправникъ: — ступай и выполняй! Съ завтрашняго же дня обяжутся обыватели сами себя постепенно расточать, и когда всѣхъ расточать до единаго, тогда я и о тебѣ промыслию.

Дѣйствительно, на другой же день городъ оживился, точно во время дворянскихъ выборовъ. Насилю успѣвалъ секретарь думскій приговоры о расточеніи сочинять, насилу успѣвали полицейскіе тѣ приговоры по домамъ да по кабакамъ, для подписи, разносить! Обыватели подписывали ходко, не отиѣвлялись.

— Мы люди привычныя, — говорили они: — насъ хоть со щами хлѣбай, хоть съ кашей ѣшь!

Даже откупщикъ на первыхъ порахъ обрадовался, потому что расточаемыхъ провожали родные, и каждыя проводы сопровождался немалой выпивкой. «Пуцай расточаютъ другъ дружку, — говорилъ себѣ откупщикъ: — исправникъ изъ щербинки опять мнѣ цѣлую ҫиму льяницъ надѣлаетъ!» Но когда городъ замѣтно опустѣлъ, и когда притомъ оказалось, что Девкалионовъ секретъ исправникомъ былъ уже при закладкѣ города безъ остатка истраченъ, тогда и откупщикъ встрепенулся: ежели всѣхъ льяницъ расточить — кто же въ кабакахъ водку пить будетъ? И шепнулъ онъ

стрипачему: *caveant consules!* какъ бы-де для казны ущербу отъ исправницкой затѣи не произошло? А у стрипача два бѣа были, изъ конихъ одно—недреманное. До сихъ поръ онъ въ недреманномъ окѣ подобности не видѣлъ, а теперь вдругъ вздумалъ: дай-ка, посмотрю! И посмотрѣлъ.

И вотъ, когда ужъ обывателей осталась самая малая горсточка, и городской голова съ грустью подумывалъ о томъ, что въ недалгомъ времени ему придется расточить самого себя, вдругъ, по доносу стрипача, раздаея трубный звукъ:

— Подъ судъ исправника.

И прослѣдовалъ исправникъ изъ города имъ созданнаго и имъ же расточеннаго прямо подъ судъ; прослѣдовалъ тихо, смиренно, благородно. И кто ни встрѣчалъ его на пути къ суду—всякій говорилъ:

— Неужто сей человекъ прегрѣшилъ?

И начали его судить...

Но тутъ я, конечно, прослулся и дальнѣйшаго развитія этой исторіи не знаю. Равнымъ образомъ не знаю и того, что сталося съ расточеннымъ городомъ. Явился ли туда новый Девкалионъ и населилъ его новыми планицами, или такъ до-днесь и остается онъ въ родѣ древней Ниневіи. Тамъ и сямъ встрѣчаются изящные портныи, великолѣпныя колоннады, памятники и проч., а между тѣмъ базарная площадь, какъ была въ послѣдній базарный день, такъ и посейчасъ невыметенная стоитъ.

Мартъ мѣсяцъ ознаменовался тѣмъ, что адвокатское сословіе получило неожиданной репримандъ. Печальную эту обязанность принять на себя навѣтный юристъ и въ то же время членъ прокурорской семьи, П. А. Неклюдовъ. Частые оправдательные вердикты, благодаря которымъ преступленія, несомнѣнно содѣянные, остаются ненаказанными, обратили на себя его просвѣщенное вниманіе. Но въ особенности, повидимому, повліяли на его рѣшимость вопли охранительной печати, направленные противъ судебной реформы. По разсмотрѣніи оказалось, что во всемъ виноваты адвокаты. Они вводятъ въ заблужденіе присяжныхъ засѣдателей; они сознательно извращаютъ факты; они—*распинаютъ законъ*...

Г. прокуроръ говорилъ горячо и убѣжденно, и притомъ при открытыхъ дверяхъ, въ присутствіи уголовного касса-

доннаго департамента правительствующаго сената. Жаль, что онъ не упомянулъ при этомъ, не распинали ли, при случаѣ, закона и прокуроры. Вѣдь и на нихъ въ этомъ смыслѣ киваетъ наша охранительная печать.

Вопросъ о гланѣ на судѣ очень существенный. Но что касается до меня, то я далеко не убѣжденъ, можно ли разрѣшить его «съ пылу, съ жару, по пятаку за пару». Страшно подумать, что исходъ дѣлъ, съ которыми неразрывно связываются честь и доброе имя обвиняемыхъ, зависитъ отъ того, кто кого переложитъ, но въ данномъ случаѣ и самыя крупныя слова едва ли могутъ что-нибудь разяснить. Гораздо было бы полезнѣе отнестись къ дѣлу виоліѣ серьезно и обстоятельно. Но тутъ опять бѣда: нѣтъ въ насъ живого мѣста, къ которому мы могли бы прикоснуться безъ ощущенія боли. Непремѣнно какой-нибудь «неокрѣпшій молодой институтъ» задѣнешъ. И пойдутъ потомъ аханья: «ахъ, что вы!» да «неужели же вы не понимаете?» Вотъ почему такъ много встрѣчается людей, которые на все махнули рукой и говорятъ: «а коли такъ, то процвѣтайте, какъ знаете, сами собой... институты!»

Адвокаты возражали г. Неклюдову печатно. Возраженіе было небезосновательное, хотя черезчуръ растапанное. Любопытно однако-жъ, могли ли бы адвокаты сдѣлать возраженіе на судѣ столь же горячо и откровенно, какъ это сдѣлалъ г. Неклюдовъ?

### ГЛАВА X\*).

Насхальные праздники на время заслонили внутреннюю политику. Но такъ какъ общій складъ жизни за послѣдніе годы приобрѣлъ характеръ серьезный, то и праздники вышли серьезные. Пили и ѣли, быть-можетъ, даже болѣе, нежели когда-либо, но не ради угожденія мамонъ (объ этомъ нѣтъ и не помышляеть никто!), а ради оживленія промышленности и поддержки курсовъ. Многіе безшабашные совѣтники насильно заставляли себя сѣдять по нѣскольку десятковъ крутыхъ лицъ въ день, лишь бы пустить въ народное обращеніе нѣсколько лишнихъ рублей. У всѣхъ на умѣ были: отечество, деревня и мужичокъ. «Деревню поддерживать надо, мужичка!»—раздавалось вездѣ, гдѣ зрѣтьѣ солидная мысль и ведется солидные разговоры

\* Эта глава осталась недоконченною.



о переходѣ отъ фразы къ дѣлу. Даже неисправимые пьяницы — и тѣ вынѣ какъ бы сознають, что на нихъ лежитъ какая-то серьезная обязанность, а потому пьютъ не для того, чтобы весело было, а чтобы поскорѣе остолбенѣть и тѣмъ принести пользу винокурению. Я нѣсколько лѣтъ сряду живу противъ портерной и, слѣдовательно, имѣю полную возможность наблюдать за проявленіями алкоголизма. Прежде, бывало, выйдетъ пьяница изъ портерной и сейчасъ же начнетъ пѣсни пѣть, къ прохожимъ приставать, писать мыслете; нынче, смотрю, въ самый первый день праздника, вынетъ пьяница изъ дверей — и сейчасъ же легъ на тротуаръ. Съ четверть часа онъ лежалъ на пятахъ, какъ на пуховикѣ, не возбуждая ни въ комъ удивленія, пока не появилась въ воротахъ дома дворникова кума и не внесла ее руками. Тогда приставъ дворникѣ, поднимая пьяницу и, приклонивъ его къ стѣнѣ — точно это былъ не человекъ, а деревянный шестъ, — не торопясь, отправилась за городомъ. А городской въ это время съ подчаскомъ христосовался, и когда кончилъ, то оказалось, что пьяница ему не подсуденъ, а подсуденъ вонъ тому кавалеру... вонъ, который подъ козырекъ дѣлаеть... Покуда городные разрѣшали вопросъ о подсудности, откуда-то прибѣжалъ прокурорскій надзоръ, а слѣдомъ за нимъ — адвокатъ, и еще больше дѣло залутали. А пьяница все стоялъ у стѣны, стоялъ солидно и трезвенно, не сгибая колѣнъ и какъ бы сознавая, что ежели начальство прислонило его къ стѣнѣ, то онъ всѣмъ трезвымъ долженъ подавать примѣръ.

Но ежели пьяницы вели себя съ такимъ достоинствомъ, то безшабашные совѣтники тѣмъ больше должны были сознавать себя обязанными служить образцомъ для своихъ гражданъ. Я знаю цѣлѣхъ троицъ, которые заранѣе соглашались приятно провести праздники, и дѣйствительно, провели ихъ такъ благородно, какъ дай Богъ всякому. Первые два дня, разумеется, посвятили поздравленіямъ, а остальные — тихимъ удовольствіямъ. Вставши утромъ, бесѣдовали за кофеемъ каждый со своею кухаркой, объясняя имъ, въ чемъ заключается различіе пасхальныхъ яицъ отъ обыкновенныхъ, а также почему въ теченіе пасхальной недѣли ѣдать куличи и пасхи, — а кому дозволяется средства, то и ветчину, — а съ Фоминой недѣли начинается ѣда обыкновенная. Наговорившись до-сыта, лавчинвали на шен новые орденскіе знаки и отправлялись на Николаевскій

мостъ смотрѣть, какъ ломаетъ на Невѣ ледъ. Тамъ всѣ трое сходились и, объяснивъ другъ другу, что теперь идетъ ледъ невскій, а не дѣли черезъ двѣ пойдетъ ладожскій, шли на балаганы, гдѣ смотрѣли шесу: «Ермакъ Тимофеевичъ или покореніе Сибири», и ощущали подъемъ чувствъ. Выйдя изъ балагана на площадь, обсуждали видѣнное и слышанное примѣнительно къ современнымъ обстоятельствамъ.

— Какъ вы думаете, вѣшество, если-бъ Ермакъ Тимофеевичъ да въ теперешнее время эту самую Сибирь покорилъ, сдобровать бы ему? — спрашивалъ безшабашный совѣтникъ, отличавшійся большею противъ другихъ пытливостью ума.

— Чтѣ ужъ ее покорять, и безъ того чуть жива! — уклончиво отвѣтствовалъ другой безшабашный совѣтникъ.

— Однако если бы?

— Полагаю, что предварилки бы не миновать, — отзывался третій. — А можетъ-быть, впрочемъ, подъ манифестъ бы подвели!

— То-то вотъ и оно. Съ одной стороны, конечно... отъ Петербурга до Верхнекамчатска въ два мѣсяца на курьерскихъ не доѣдешь — лестно этакой чертъ заполучить!.. Но съ другой стороны — строптивость... А, впрочемъ, государи мои, такъ какъ съ третьей стороны Ермакъ Тимофеевичъ волею Божіею помре, то я полагаю бы о поступкѣ его сужденія не имѣть, Сибирь же приобщить къ числу прочихъ Россійской короны недвижимыхъ имуществъ... И затѣмъ шествовать въ Палкинъ трактиръ, гдѣ и совершить приличное сему случаю возліаніе. Такъ-ли я говорю?

Неожиданность этого заключенія всѣхъ приводила въ восхищеніе. Безшабашные приходили къ Палкину, выпивали по рюмкѣ анисовки и заѣдали килькою. При чемъ пытливыи безшабашный совѣтникъ объяснялъ буфетчику, съ которыхъ поръ и по какой причинѣ возникъ обычай красить яйца въ красную краску. Закусивши и полюбившись плавающимъ въ сажалкѣ стерлядями, друзья отправились на Невскій и молча дѣлали два-три конца взадъ и впередъ, отъ Аничкина моста до Адмиралтейской площади. На всѣхъ троицъ были новенькія ватныя пальто и новал шляпа отъ Чурилина (безъ наушниковъ); у всѣхъ въ рукахъ было по тросточкѣ. Шли они и всему дивились: и серебрянымъ рублямъ, выставленнымъ въ витринахъ мѣняль, и выставкѣ модныхъ и ювелирныхъ товаровъ, но

всего больше—книжнымъ магазинамъ. Слышала они, якобы книгопечатаніе прекратилось, а между тѣмъ...

— Вотъ, говорятъ, что у насъ свободы нѣтъ!—припоминалъ по этому случаю пылливый тайный совѣтникъ:—вотъ онѣ, книги-то... конни-ка въ нихъ какъ слѣдуетъ!

Въ заключеніе заходили къ Елисееву, покупали по апельсину и возвращались съ гостинцемъ каждый къ своей кухаркѣ домой, гдѣ ихъ ожидалъ готовый обѣдъ. Выспавшись послѣ обѣда, вспоминали происшествія дня, перебирали лица, получившихъ къ праздникамъ чины и ордена, напѣвали приличнымъ случаю пѣсни и терзались сомнѣніями, ежели къ кухаркамъ приходили въ гости земляки. А въ одиннадцать часовъ—спать.

Такъ провели праздники всѣ благонамѣренные и благородные люди. Такъ что ежели и въ будни дѣло пойдетъ столь же солидно, то можно сказать навѣрное, что мирное развитіе наше вскорѣ будетъ вполне обезпечено. Пусть всякій выполняетъ свой долгъ по силѣ-возможности, дѣлаетъ своимъ избыткомъ съ меньшимъ братомъ, не обѣдаясь, но и не отказывая себѣ въ лакомомъ кускѣ. Недостаточные пускай сѣбдаютъ по одному куличу въ день, средняго состоянія люди—по два, богатые—по три и соответственно этому янцъ, пасхи и ветчины,—и увидите, что рубль самъ собой взыграетъ, и никакихъ вѣнскихъ займовъ не потребуется.

И тоже всѣмъ мѣрами старался выполнить эту программу я, кажется, успѣлъ въ этомъ. Правда, что съ поздравленіями я не ходилъ, но не потому, чтобы восхищенное мое сердце не ощущало въ томъ потребности, а потому единственно, что бѣдить не къ кому. Въ послѣднее время одиночество—пожалуй, даже заброшенность—до такой степени охватило меня, что я почти исключительно разговариваю съ одними читателями. Ихъ я и поздравляю:—Христосъ воскресъ! подблудемтесь!

Когда-то это было удивительно пріятный для меня праздникъ. Я говорю не про дѣтство, когда весь смыслъ праздника заключался въ томъ, что я катакъ съ лунки яйца, качался на качеляхъ и скакалъ съ доски, а про позднѣйшее время, когда на первомъ планѣ стояли уже не яйца и будничн, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крѣпостной до мозга костей, я, рабъ отъ верхняго конца до нижняго, въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ чувствовалъ себя свободнымъ отъ узъ... И могу засвидѣтельствовать, что чув-

ство это столь прекрасно, что можетъ сравняться только съ тѣмъ, которое испытываетъ человѣкъ, создающій себя свободнымъ, кромѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія, и въ прочіе дни. И замѣтите, что я ощущалъ это сладкое чувство, имѣя на плечахъ мундиръ, сбоку—шпагу и подъ мышкой—треуголку.

Лучшую пору моей жизни я размышлялъ по губерскимъ городамъ и съ особенною живостью припоминаю насхальный церемоніаль. Нигдѣ такъ весело и такъ торжественно не служится великая утренняя; нигдѣ такъ охотно не христосуются, такъ безкорыстно не радуются празднику. Правящіе классы радуются предстоящему недѣльному отдыху; управляемые—тому, что въ теченіе восьми дней о нихъ не будутъ имѣть сужденія. Въ церкви читается слово Златоуста, *всегда* призывающее къ жизни, *всегда* предлагающее вкушать «теляца унитанна». Въ позднѣйшее время власти стали какъ будто побаиваться этихъ призывовъ—какъ бы, дескать, не вышло превратныхъ толкованій; но до-реформенныя власти не ощущали еще двоегласія въ своемъ міросозерцаніи и потому относились къ церковнымъ поученіямъ гораздо проще. Я помню, какъ при упоминаніи о «теляцѣ унитанномъ» у губернатора Набрюшниковъ ротъ самъ собой раскрывался до ушей, и онъ торжествующе озирался, въ увѣренности, что рѣчь идетъ именно о той телятинѣ, которую весь официальный губернский міръ будетъ ѣсть у него послѣ ранней обѣдни. И не видѣлъ онъ ничего зазорнаго въ томъ, что въ такой великій день *всѣ* пренебрежуются ликованіемъ, *всѣ* будутъ вкушать (разумѣется, ежели предшествующій годъ былъ урожайный). Напротивъ, онъ и городничимъ, и неправящимъ вкушать: «не пренятствуйте! показывайте примѣръ!» И всѣ начальники отдѣльныхъ частей оказывали ему содѣйствіе, почтительно соревнуя и даже соперничая. Ежели у губернатора были изумительную телятину, то у управляющаго палатою государственныхъ имуществъ подавали двѣнадцать сортовъ сосисокъ и диковинное малороссійское сало, у председателя казенной палаты—фаршированныхъ кандуновъ, а начальникъ внутренней стражи откармливалъ къ празднику на батальонномъ дворѣ цѣлое стадо свиней. Однимъ словомъ, всѣ чины дѣйствовали въ предѣлахъ предоставленной имъ власти, и сами были достаточно, и другихъ потчивали, не предвидя никакихъ превратныхъ толкованій.

Къ счастью, нынче начинается вновь поворотъ въ этомъ

смыслъ. Продолжительное ожиданіе превратныхъ толкованій оказалось настолько бесплоднымъ и до того всёмогуще, что даже безшабашные совѣтники начинаютъ понимать, что сытость не только въ праздники, но и въ будни ничего угрожающаго не представляетъ. «Только тѣ народы счастливыми почитаться могутъ, кои тучны», сказалъ, не помню, какой-то законодатель, — Соломонъ или Драконтъ, — и сказать такую истину, которая у всѣхъ на глазахъ входитъ въ міровой административный обиходъ. А ежели прибавить къ этому изреченію, что всякій сѣданный окорокъ вѣтчины есть косвенная милостыня, подаваемая богатымъ бѣдному, то вотъ вамъ и цѣлая административная система готова. Хоть какому угодно директору департамента не стыдно.

.....

## УБѢЖИЩЕ МОНРЕПО.

(1878—1879 гг.).

## I. — Общій обзоръ.

— Вы, конечно, на лѣто уедаетесь  
въ свое Мюнхен?

— Разумѣется! надо же отдохнуть!

*Свинскіе діалоги.*

Отъ чего отдохнуть, это—вопросъ особый; но уѣхать на лѣто во всякомъ случаѣ надо. Лѣтомъ города населяются дубеями, радимичами, вятчанами и проч., въ образѣ каменщиковъ, штукагуровъ, мостовниковъ, совместное жителство съ которыми для культурнаго человѣка по многимъ причинамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время ѣздилъ по лѣтамъ въ подмосковную. Измѣніе это я пріобрѣлъ тотчасъ вслѣдъ за уничтоженіемъ крѣпостнаго права и кунить, надо сказать правду, довольно безобразно. Во-первыхъ, осматривалъ имѣніе зимой, чего никто въ мірѣ никогда не дѣлаетъ; во-вторыхъ, лапалъ на продавца-старичка, который въ церкви, во время литургіи вѣрныхъ, приходилъ въ восторженное состояніе, и я повѣрилъ этой восторженности. Старичокъ служилъ когда-то по провіантскому вѣдомству и потому былъ благодушенъ и гостепріименъ. Зазвалъ меня обѣдать, накормилъ настоящимъ малороссійскимъ борщомъ и угостилъ кіевскою наливкою. Потомъ самъ поѣхалъ со мной осматривать усадьбу, гдѣ велѣлъ сварить супъ изъ курицы и зажарить карасей въ сметанѣ, при чемъ говорилъ: «курица эта здѣшняя, караси тоже изъ здѣшняго пруда, а въ рѣкѣ, кромѣ того, водятся язи, окуни и вотъ этикіе лини!» Затѣмъ начался осмотръ. Выйдя на крыльцо господскаго дома, онъ показалъ пальцемъ на синющій вдали лѣсъ и сказалъ: «вотъ какой лѣсъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а?» Повелъ меня въ сѣнной сарай, дергалъ и мялъ въ рукахъ сѣно.

словно желая убедить меня въ его добротѣ, и говорилъ при этомъ: «этого сѣна хватитъ до новаго, съ излишкомъ, а сѣно-то какое—овса не нужно!» Повесть на мельницу, которая, словно нарочно, была на этотъ разъ въ полномъ ходу, дѣйствуя всѣми тремя поставами, и говорилъ: «здѣсь сторона хлѣбная—никогда мельница не стоитъ, а ежели еще маслوبيку да крупорушку устройте, такъ у васъ такая толпа всегда будетъ, что и не протерешься!» Сдѣлалъ, вмѣстѣ со мной, по сугробамъ, небольшое путешествіе вдоль по рѣкѣ и говорилъ: «а рѣка здѣсь какая—ве-се-ла-я!» И все съ молитвой. Скажетъ и перекрестится, и зрачками вверхъ поведетъ, и губами пошевелитъ, словно на вся и на всѣхъ призываетъ благословеніе Божіе. Только въ заключеніе разсердился. Погрозила кулакомъ на крестьянскій поселокъ, населенный новоспеченными временно-обязанными, и приговорила: «Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, подлещи, кажется, ни въ жизнь бы изъ этого рая не выѣхалъ!»

Словомъ сказать, очаровала меня искренностью и—что еще больше мнѣ понравилось—слабыхъ сторонъ имѣнія не скрыть. «Вотъ службы—лѣгонькія! это—такъ! и озимое, по милости подлоцовъ, незасѣянное осталось, это—тоже скрыть не могу!» Но при воспоминаніи о «подлещихъ»—опять разсердился и приговорила: «Впрочемъ, дѣло о нихъ уже въ уголовной палатѣ рѣшено; вотъ какъ шестьдесятъ человѣкъ березовой кашей вспыренуть, такъ до новыхъ вѣнчиковъ не забудутъ!» \*).

При каковомъ осмотрѣ присутствовалъ и мѣстный сельскій батюшка, который скромно пощипывалъ бородку, не подтверждая, но и не отрицая.

Я былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйственнымъ дѣламъ прикосновеннымъ не состоялъ. Случились въ карманѣ довольно большія деньги (впрочемъ, данныя взаимны), но я какъ-то и денегъ не понималъ: все думалъ, что конца имъ не будетъ. Словомъ сказать, произошло нѣчто въ родѣ сновидѣнія. Только одно, повидимому, я зналъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, слѣдовательно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ то время даже печатно въ этомъ родѣ расчеты дѣлались.

\*) Всего въ имѣніи числилось 160 ревнскихъ душъ (ревізія была въ 1859 году), въ томъ числѣ, разумѣется, наполовину подростковъ и малолѣтнихъ. Рѣшеніе московской уголовной палаты, дѣйствительно, состоялось въ этомъ родѣ, но сенатъ его отменилъ, и дѣло, кажется, кончилось ничѣмъ.

Замѣчательно, что я родился и выросъ въ деревнѣ. До десяти лѣтъ я жилъ въ деревнѣ безвыѣздно; потомъ, когда начались странствованія по казеннымъ заведеніямъ, ежегодно на лѣтнія вакаціи прѣзжалъ въ побывку домой. Я зналъ, что такое лѣсъ, и множество разъ даже хаживалъ туда: за грибами и ягодами; я умѣлъ отличить ячмень отъ ржи, рожь отъ овса; я видѣлъ, какъ возять навозъ на поля, какъ пашутъ, боронятъ, сѣютъ, жнутъ, молотятъ, косятъ. И за всѣмъ тѣмъ—рѣшительно ничего не понималъ. Воистину это была не дѣйствительность, а сновидѣніе, отъ котораго задержались въ сознаніи только липянные всякой связи обрывки.

Родители мои слыли въ своей сторонѣ за очень опытныхъ и рачительныхъ хозяевъ. Они «сами во все входили», чего въ то время было совершенно достаточно, чтобъ заслужить репутацію «хозяина». Каждый вечеръ староста приходилъ въ барскій домъ съ отчетомъ объ успѣхѣхъ произведенныхъ въ теченіе дня работъ; каждый вечеръ шли безконечные разговоры, предположенія и сѣтованія, отдавались приказанія на слѣдующій день, слышались тоскливыя догадки насчетъ ведра или дождя, раздавались выраженія: «поголовно», «братъ на брата» и другіе сельско-хозяйственные термины въ крѣпостномъ вкусѣ. Я очень часто присутствовалъ при этихъ переговорахъ и, помнится, даже интересовался ими, тѣмъ болѣе, что рядомъ съ ними шли распоряженія и насчетъ домашнихъ запасовъ, которые, въ видѣ варенья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множествѣ. Передъ моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеминутно происходилъ тотъ кропотливый процессъ, при помощи котораго создается такъ называемая полная чаша. Я видѣлъ эту полную чашу во всѣхъ проявленіяхъ: въ амбарахъ, наполненныхъ всякаго рода хлѣбомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скотномъ дворѣ, въ плодовыхъ садахъ и проч. Вездѣ, по всей усадьбѣ, словно въ муравейникѣ, съ утра до ночи копошились люди и все припасали. А ночью около полной чашки похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску. Все это я видѣлъ, зналъ наизусть и могъ даже своими словами все разсказать; однако и за всѣмъ тѣмъ ничего не понималъ. Очевидно, тутъ былъ какой-то изъянъ. Я зналъ формы, въ которыхъ проявлялось созиданіе полной чашы, но не понималъ внутренняго содержанія этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилій, физическаго

труда, изнеможеній, пота, ропота и отчаяній, которыми сопровождалось устройство лодной чаши. Кажется, что я думалъ такъ: «стоитъ папенькѣ съ маменькой только приказать старостѣ Лукьянычу—и у насъ будетъ и рожь, и овесъ, и сѣно...»

Поэтому, когда я кончилъ съ вопросомъ о подмосковной, то-естъ совершить купчую крѣпость и вступилъ во владѣніе, то сонное видѣніе еще въ некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сейчасъ же обнаружались факты, которые должны были бы самаго заспаннаго человѣка заставить придти въ себя. А именно: густой и высокій лѣсъ, на который мнѣ указывалъ пальцемъ старичокъ-продавецъ, оказался чужой, а мой лѣсъ былъ низенькій и рѣдкій; вмѣсто полныхъ сѣнныхъ сараевъ оказались некусно выведенныя изъ сѣна стѣнки, за которыми скрывалась пустота; на мельницѣ помолу обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сѣно на лугахъ «временемъ—родится», а «временемъ—нѣтъ», да и сѣно—«съ осечкой». Одно вышло справедливо: службы были легонькія, то-естъ совсѣмъ ветхія, а рѣчка дѣйствительно веселая, излучистая, сверкающая и вся въ зеленыхъ берегахъ.

Тѣмъ не менѣе я не видалъ въ умнѣе и началъ дѣятельно приспособляться въ своемъ новомъ гнѣздѣ. Сонныя видѣнія дѣтства, отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по себѣ и нѣчто такое, что залегло во мнѣ довольно прочно. А именно: они положили основаніе убѣжденію, что всякій человѣкъ имѣетъ какъ естественную потребность въ своемъ собственномъ углѣ. Тамъ онъ сосредоточитъ все завѣтное, пригрѣтое, приголубленное, туда онъ придетъ послѣ изнурительныхъ скитаній по бѣлу-свѣту, чтобъ успокоиться отъ жизненныхъ обидъ; тамъ онъ взлелеетъ своихъ дѣтей и дастъ имъ возможность проникнуться впечатлѣніями настоящей, ненасурмленной дѣйствительности: тамъ онъ почувствуетъ себя свободнымъ отъ всяческой подлой зависяности, отъ занаскивалій, отъ унижительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словомъ сказать, представленіе объ этомъ собственномъ углѣ было всегда до того присуще мнѣ, что когда жить за родительскимъ хребтомъ сдѣлалось уже неловко, а старое, насиженное гнѣздо, по волѣ случая, не дошло до рукъ, то мысль объ обрѣтеніи новаго гнѣзда начала преслѣдовать меня, такъ сказать, по нитамъ...

И, какъ сказано выше, я это гнѣздо обрѣлъ.

Я не буду рассказывать здѣсь исторію моихъ хозяйственныхъ похожденій. Это было что-то фантастическое. Неудача во всемъ. Хлѣбъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ амбарѣ его дошло мало («стало-быть, при молотбѣ не доглядѣли», объяснили мнѣ «умные мужички»); клеверъ и тимощевка выскочили по полю махрами («стало-быть, неровно сѣяли: вотъ здѣсь посѣяли, а вотъ здѣсь пролепили»). Два года, однако-жъ, и упорствовалъ, то-естъ сѣялъ и жалъ, но на третій—смирился. Или, говоря другими словами, началъ смотрѣть на свое имѣніе, какъ на дачу для двухъ-трехъ-мѣсячнаго лѣтняго пребыванія. Нарушилъ всѣ хозяйственныя загѣи, а такъ-называемую «угоду», за исключеніемъ усадьбы, сдать крестьянамъ за такую годовую плату, которой не доставало даже для удовлетворенія скромныхъ издержекъ по управленію и сторожѣ, и самъ удралъ въ Петербургъ.

При такомъ упрощенномъ взглядѣ дѣло шло кое-какъ ровно пятнадцать лѣтъ. Я ѣздилъ по лѣтамъ въ свое собственное Монрепо и не безъ удовольствія взиралъ на «веселую» рѣчку, которая сверкала передъ самыми окнами господскаго дома. По временамъ на островокъ, образумый мельничною зарудой, налеталъ соловей и грохоталъ и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольствіе, хотя и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ *непрельмно* подкарауленъ и изловленъ фабричными изъ сосѣдняго села. Во всякомъ случаѣ, я жилъ безъ мучительныхъ мыслей о дождѣ или вѣдрѣ, безъ легкомысленныхъ догадокъ о томъ, что въ данную минуту происходитъ въ полѣ: произрастаетъ или не произрастаетъ. Ничего «своего» у меня не было, такъ что за каждой бездѣлицей я посылалъ въ Москву, и, къ удивленію, все выходило и лучше, и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Былъ у меня, правда, небольшой огородецъ, каждую весну засаживаемый неумѣлыми руками; но и онъ не заставлялъ моего сердца сжиматься, такъ какъ я съ перваго же года понималъ, что овощи въ этомъ огородѣ будутъ посѣивать какъ разъ ко дню моего выѣзда изъ деревни въ городъ.

Напослѣдокъ, однако-жъ, обнаружилось, что и съ упрощеннымъ взглядомъ безконечно жить невозможно. Появилась цѣлая серія фактовъ довольно страннаго свойства. Лѣсъ (хоть и не тотъ высокій, который мнѣ рекомендовалъ старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ лѣсъ) пересталъ произрастать. Березовая роща, которую я засталъ



въ качествѣ «опушечки», такъ и осталась опушечкой черезъ пятнадцать лѣтъ. Основная роца, которую я самъ срубилъ, въ чаини, что осина идетъ ходко, представляла, черезъ пятнадцать лѣтъ, голое мѣсто, усыпанное пельями («стало-быть, коровъ по ѣмъ пасуть», объяснили «умные» мужички, они же и арендаторы). Поля загрубля; луга, дававшие когда-то мягкое сѣно, начали давать почти исключительно острецъ. Таковы были послѣдствія крестьянской аренды и моего упрощеннаго взгляда на пмѣніе. Въ самомъ домѣ оказывались изысканія, которые предвѣщали въ ближайшемъ будущемъ очень серьезный расходъ. Въ паркѣ дорожки до того заросли, что для расчистки ихъ тоже требовалась цѣлая уйма денегъ. Къ довершенію всего, такъ какъ усадьба отстояла отъ крестьянскаго поселка не близко, и какъ, съ нарушеніемъ хозяйства, прислуги при усадьбѣ содержалось мало; то ночью брала неволью оторонь. Правда, что въ нашей сторонѣ обѣ «лихихъ» людяхъ слуховъ еще не было, но верстъ за десять, за двѣнадцать, около станціи желѣзной дороги, уже «пошаливали». Припоминая стародавнія русскія поговорки, въ родѣ «неровень часть», «береженаго Богъ бережетъ», «плохо не клади»; и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредоточенная около станціи желѣзной дороги, начинаеть подходить къ намъ все ближе и ближе (одинъ грекъ привезетъ за собой десять грековъ, одинъ еврей—сотню еврей), я непримѣтно сталъ впадать въ задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. Въ короткий пятнадцатилѣтній періодъ моего владѣнія подмосковной почти весь землевладѣльческій составъ кругомъ меня измѣнился. Въ ближайшей ко мнѣ старинной княжеской усадьбѣ, съ вѣковыми лѣсами, съ знаменитыми орапжерейми и съ прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, въ теченіе двухъ лѣтъ перемѣнилось два владѣльца, изъ коихъ одинъ—еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли люди, прикосновенные къ постройкѣ храма Христа Спасителя; пришелъ адвокатъ, выигравшій какое-то возшебное дѣло и сейчасъ же посвѣшавшій сдѣлаться «бариномъ»; наконецъ появился грекъ, который, поселившись въ верстѣ отъ меня, влѣзъ въ нашу скромную сельскую церковь и выстроилъ себѣ что-то въ родѣ горняго мѣста, дабы воѣ видѣнъ, какъ онъ, Самсонъ Дюбековичъ, своего Бога почитаетъ. Остались неизблемыми только два старинные и замѣчательно крупные землевладѣльца, изъ тѣхъ,

которыхъ ужъ никакіе пзьяны застать врасплохъ не могутъ.

Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. Пришельцы-сосѣди устраивались по-новому и проявляли по-прежнему жить шумно и весело. Среди этой вдругъ закипавшей жизни, каждое движеніе которой говорить о шальной деньгѣ, мой бѣдный, заброшенный пустырь былъ какъ-то совсѣмъ не у мѣста. Ветшая и упадая, онъ какъ бы говорилъ мнѣ: бѣги сихъ мѣсть; унылый человѣкъ!

И я внялъ этому голосу, хотя и не безъ внутренняго волненія. Въ окна, главное, дуло, да и о кухлѣ или слухи, что скоро совсѣмъ тамъ готовить кушанье будетъ нельзя. Приходилось или злѣ погибнуть, или уйти.

Я выбралъ послѣднее и льщу себя надеждой, что въ самую пору.

Но въ ту минуту, какъ я уходилъ, старинное стремленіе къ гнѣзду вдругъ опять закопошилось во мнѣ. «Какимъ же это образомъ?—думалось мнѣ:—ужели и такъ-таки и останусь безъ собственнаго Монрепо?»

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство можетъ приносить барыши,—сами же займемся разрѣшеніемъ вопроса: чтѣ такое культурный человѣкъ и чего, собственно, онъ можетъ ожидать отъ деревни?

Культурный человѣкъ вообще есть личность, въ значительной степени пользующаяся досугомъ, имѣющая болѣе или менѣе отчетливыя представленія о комфортѣ и жизненныхъ удобствахъ, охотно дѣлающая экскурсіи въ область эстетики и спекулятивнаго мышленія, но очень рѣдко обладающая прикладными знаніями, то-есть тѣмъ именно орудіемъ, которое болѣе всего необходимо, чтобъ быть дѣятелемъ-земледѣльцемъ. Не даромъ генералъ Шаягарнъ, приглашая однажды французское національное собраніе разойтись, по случаю каникулярнаго времени, рисовалъ картину успокоенія на лонѣ природы, съ экогами Виргилія въ рукахъ. Хотя рѣчь почтеннаго генерала возбудила въ извѣстной части собранія смѣхъ, но въ сущности онъ вполне правильно охарактеризовалъ отношенія культурнаго человѣка къ сельской природѣ. Не полководство нужно культурному человѣку, а только общій видъ полей. Ему нужны: прогулка, отдыхъ, много воздуха, отсутствіе волнецій, беззаботность, по временамъ дружеская бесѣда съ единомышленными людьми, по временамъ—одиночество, пожалуй,

хоть съ *Виргилиемъ* въ рукахъ. Не труда ищетъ онъ въ сельскомъ убѣжищѣ, а безмятежнаго растительнаго существованія, которое служило бы поправкой прятностямъ, изнурившимъ его въ городѣ.

Нашъ русскій культурный человѣкъ почитъ на себѣ тѣ же родныя черты, какъ и западно-европейскій. Разница только въ томъ, что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажденіи классицизма, по русскій культурный человѣкъ, въ дѣлѣ знакомства съ древними классиками, и нынѣ едва ли идетъ дальше басенъ *Федра*, имѣя которыя въ качествѣ настольной книги нѣсколько, впрочемъ, свѣдѣно. Поэтому онъ *Виргилія* замѣняетъ какою-нибудь другою умственною пищею, смотря по степени личнаго развитія каждаго, отъ *Дарвина* и *Молешотта* до *Вола* и *Ксавье де-Монтенена* включительно.

Я вполнѣ понимаю потребность, ощущаемую русскимъ культурнымъ человѣкомъ — воспользоваться двумя-тремя лѣтними мѣсяцами, чтобъ возстановить себя на лонѣ природы, и не нахожу ее ни незаконною, ни достойною осмѣянія.

Зима, проводимая большею частью въ городѣ, дѣйствуетъ изнурительно. Я не говорю уже о снѣрномъ воздухѣ въ помѣщеніяхъ, снабженныхъ двойными рамами и нагрѣваемыхъ усиленной топкой печей — этого одного достаточно, чтобы при первомъ удобномъ случаѣ бѣжать на просторъ; но, кромѣ того, у каждаго культурнаго человѣка есть особенное занятіе, специальная задача, которую онъ преслѣдуетъ во время зимняго сезона и выполненіе которой иногда значительно подкашиваетъ силы его. Какого рода эти задачи и есть ли отъ нихъ какой-нибудь прокъ? — это другой вопросъ; но такъ какъ онъ не считается противозаконнымъ, то для большинства этого совершенно достаточно. У насъ есть прежде всего цѣлая армія чиновниковъ, которые съ утра до вечера скребутъ перьями, посылаютъ въ пространство всякаго рода отношенія и депешенія и вообще не разгибаютъ спины — очевидно, имъ отдыхъ нуженъ, хотя бы для того, чтобы очнуться отъ тѣхъ «милостивыхъ государей», съ которыми они девять мѣсяцевъ сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. Затѣмъ есть масса дѣльцовъ: адвокатовъ, биржевиковъ, сводчиковъ, концессионеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шестнадцать часовъ въ сутки мелькаютъ и мечутся — очевидно,

отдыхъ нуженъ и имъ. Наконецъ существуетъ много людей, которые утромъ занимаютъ дѣланьемъ визитовъ, а вечеромъ посѣщаютъ театры, цирки, балы, шницбалы, игорные дома, рестораны — и имъ тоже необходимъ отдыхъ, потому что иной однимъ культивированьемъ коготокъ такъ себя за зиму ухлопаетъ, что поневолѣ запросится вошь изъ города.

Я знаю, что всѣ эти книжныя и мелькающія — грошова, а иногда даже и вредныя; но такъ какъ люди, находящіеся на стражѣ, ничего противъ нихъ не имѣютъ, то тѣмъ менѣе могу имѣть противъ нихъ что-нибудь и, которому вообще ничего и ни отъ кого оберегать не предоставлено. Я могу только констатировать фактъ изнуренія — и дѣлаю это.

Само собою разумѣется, что большинство культурныхъ людей, изъ тщеславія, а также и ради того, чтобы не прервать соприкосновенія съ зимними напастями, стремятся по преимуществу въ *Павловскъ*, въ *Петергофъ*, въ *Озерки* и т. д. Что они тамъ обрѣтаютъ, какую природу, какой возмѣшляющей воздухъ, какое питаіе — я этого не знаю. Я отъ роду не бывалъ въ этихъ мѣстахъ и, надѣюсь, никогда жить не буду, какъ ни соблазнительны описанія озерковскихъ шницбаловъ, съ оркестромъ *Главача* и кухней *Ломача*. Въ счастью, не всѣ *Заманиловки* подверглись разрушенію, а потому есть еще достаточно большая масса культурныхъ людей, которые, не заглядывая въ *Озерки*, устремляются къ стариннымъ «собственнымъ» пенелницамъ. Одни ѣдутъ поневолѣ, потому что хоть и расплылась эта *Заманиловка*, а все-таки своя, и надо за ней присмотрѣть, чтобъ окончательно ее не расхитили; другіе — потому, что и въ самомъ дѣлѣ не понимаютъ лѣтняго житья иначе, какъ въ настоящей деревнѣ, съ настоящими полями и настоящимъ лѣсомъ.

Надо, впрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ прожить въ современной *Заманиловкѣ* три-четыре мѣсяца кряду, требуется нѣкоторая храбрость. Очень ужъ нынче тамъ глухо и непривольно. Во-первыхъ, пусто, потому что домашній персоналъ имѣется только самый необходимый; во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья и ѣды, потому что полезныя домашнія животныя упрямые, дикія, вѣдѣтвіе истребленія лѣсомъ, эмигрировали, караси въ прудѣ выловлены, да и хорошаго печенаго хлѣба, пожалуй, нельзя достать; въ-третьихъ, плохо и по части газетной пищи, сжени *Заманиловка*, по очень счастливому случаю,



не расположена вблизи станции желѣзной дороги (это было въ особенности чувствительно во время послѣдней войны); въ-четвертыхъ, не особенно весело и по части сосѣдей, ибо ежели таковыя и есть, то разносоловъ у нихъ не полагается, да и ѣздить по сосѣдямъ, признаться, не въ чемъ, такъ какъ каретные сараи опустѣли, а бывшіе заводскіе жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, наконецъ, въ каждой Заманиловкѣ культурный человѣкъ непременно встрѣчается съ вопросомъ о бѣшеныхъ собакахъ. Какъ ни неключительнымъ представляется этотъ послѣдній вопросъ, но онъ очень существенъ. Каждое лѣто непременно откуда-то (откуда—никто даже опредѣлить не можетъ) забѣжитъ желтенькая, сивенькая и черненькая собачка, худая, съ помутившимися глазами и опущеннымъ хвостомъ, перекусаешь на деревнѣ цѣлую уйму собакъ, а затѣмъ подниметь переполохъ и на городской усадьбѣ. И долго потомъ эта сивенькая собачка живетъ въ воображеніи дѣтей и женщинъ, заставляя ихъ озираться во время прогулокъ и мѣшая рискнуть забраться куда-нибудь подальше отъ жилья—въ луга, въ лѣсъ.

Я уже не говорю о развлеченияхъ амурныхъ, хотя и не безъ вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивѣйшаго и художественнѣйшаго описателя нашихъ бывшихъ «дворянскихъ гнѣздъ», у котораго на каждыя помѣщичья (молодого и образованнаго) непременно приходилась соответствующая помѣщича.

Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляетъ необходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или ради пріобрѣтенія яснаго представленія о рваномъ русскомъ мужикѣ), охотно примиряются со всѣми неудобствами за тѣ воистину возстановляющія (физически и умственно) блага, которыми она изобилуетъ. Но для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ ту сумму обновленныхъ силъ, которая нужна для бодрого перенесенія предстоящихъ въ зимній сезонъ задачъ (въ чемъ бы онѣ ни состояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы собой картину покаяна и невозмутимаго безмятежія. А отсюда—первая и главная обязанность: немедленно, всецѣло и навсегда удалить отъ себя всякія сельскохозяйственныя распоряженія и предпріятія. Эти послѣднія волнуютъ и изнуряютъ пуще всѣхъ огорченій, которыя испытываетъ культурный человѣкъ во время длиннаго зимняго сезона, потому что они не даютъ ни отдыха,

ни срока, преслѣдуютъ ежеминутно и производятъ тѣмъ большую досаду, что въ сущности цѣна каждой изъ нихъ, взятой въ отдѣльности,—грошъ. Въ эту самую минуту, когда я пишу эти строки, въ окна моей комнаты барабанилъ дождь, а между тѣмъ теперь самое горячее время для уборки сѣна, котораго вездѣ подкошено множество. Благо тому культурному человѣку, у котораго нѣтъ ни сѣна въ лугахъ, ни хлѣба въ поляхъ, потому что будь все это—онъ непременно бы мучился. Онъ думаетъ бы: «ахъ, сѣно сгниетъ! ахъ, рожь прорастетъ!» и, несмотря на морозопогодину, выбѣжалъ бы на улицу. Затѣмъ бы онъ выбѣжалъ? что могъ бы сказать или пріосовѣтовать?—онъ и самъ навѣрное не отвѣтилъ бы на эти вопросы, но выбѣжалъ бы несомнѣнно, потому что его подстрекнулъ бы къ тому демонъ собственности. И въ результатѣ оказались бы потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ сѣна, ржи и овса, онъ можетъ спокойно, «въ надеждѣ славы и добра», посматривать въ окно и думать: «а вотъ сейчасъ разгуляется, и я, какъ обсохнутъ дорожки (лѣтомъ земля сохнетъ изумительно быстро), пойду въ паркъ...»

Что сельскохозяйственныя заботы тиранятъ ежеминутно—это аксіома, которая, я полагаю, не требуетъ доказательства. Природа дѣйствуетъ огню не по писанному и почти всегда всѣ людскія предположенія переворачиваетъ вверхъ дномъ. Но все-таки скажу, что культурнаго досужаго человѣка эти заботы тиранятъ не въ примѣръ сильнѣе, нежели заправскаго землевладѣльца. Для культурнаго человѣка—все новость, все сюрпризъ; и при этомъ, ежели у него, съ одной стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, съ другой стороны, ровно столько же досуга онъ имѣетъ и для того, чтобы тиранить себя. Для настоящаго землевладѣльца нѣтъ времени мучить себя; для него нѣтъ сюрпризовъ, онъ ко всему привыкъ и всего ожидаетъ. Онъ знаетъ, что какъ бы ни велико было количество сюрпризовъ, онъ, землевладѣлецъ, въ концѣ концовъ все-таки «управится», то-есть одолѣетъ личнымъ трудомъ все, что въ данную минуту одолѣть можно. А культурный человѣкъ—что онъ знаетъ? Онъ глядитъ на непросвѣтлое небо и думаетъ: «ахъ, все погибло!» Сверхъ того, онъ видитъ, что «хамово отродье», нанятое для собиранія плодовъ земныхъ въ житницы, сидитъ, мокрое, подъ навѣсомъ и бьетъ баклуши, и это опять волнуетъ его...

Культурный человѣкъ безконечно легковѣренъ и притомъ

въ высшей степени одаренъ художественными инстинктами. Вотъ почему для него выгодно совѣтъ не родиться па свѣтъ, нежели возгорѣть страстью къ полеводству. Будучи по воспитанію совершенно чуждъ прикладныхъ знаній, онъ обыкновенно приступаетъ къ сельскохозяйственному дѣлу съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ читаетъ эту книжку не глазами обыкновеннаго смертнаго, а глазами воображенія, забывая, что ничто такъ легко не поддается подкуну, какъ воображеніе, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображеніе рисуетъ ему урожай самъ-десять и самъ-двѣнадцать (въ «книжкѣ» они доходятъ и до самъ-двадцать); оно рисуетъ ему коровъ, не тѣхъ тонкихъ фараоновыхъ, которыя въ дѣйствительности питаются мякиннымъ ухвостомъ на господскомъ скотномъ дворѣ, а тѣхъ альгаускихъ и девонширскихъ, для которыхъ существуетъ урочное положеніе: полтора ведра молока въ день; оно рисуетъ молотилки, вѣялки, жатвенныя машины, сѣпворотилки, плуги и пр.—и все непременно самое прочное и достигающее именно тѣхъ самыхъ результатовъ, которые значатся въ сельскохозяйственныхъ руководствахъ, а иногда и просто въ объявленіяхъ братьевъ Буенонш. Въ результатѣ происходитъ радостный сельскохозяйственный апоозъ. Культурный человѣкъ не принимаетъ въ расчетъ ни ведра, ни дождя, ни вѣтровъ, ни черви, ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный день у привода молотилки вдругъ не окажется ремня, а у самой молотилки—двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было цѣло и вдругъ за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычисленіяхъ самъ-десять и самъ-двѣнадцать онъ снзойдетъ до припятія въ соображеніе заработной платы сѣрму человѣку, приводящему въ движеніе все эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислить аккуратно, какъ написано въ книжкѣ; десятину луга скосить—косцовъ столько-то, сѣно сушить—бабъ столько-то. Короче сказать, онъ видитъ барыши и не предполагаетъ ушербовъ. Сѣнокосъ у него всегда сопровождается ведромъ съ легкимъ попрыскиваньемъ дождичка по утрамъ (надо же и природѣ что-нибудь уступить, да и коса влажную траву бойче беретъ); сѣвъ никогда не обходится безъ благоприятнаго дождя; машины дѣйствуютъ безостановочно и безъ ремонта, ремни никогда не пропадають и т. д.

Вѣрить «книжкѣ» культурный человѣкъ безусловно. Не потому вѣрить, чтобы понимать сущность изложеннаго въ

ней, а потому, что она, такъ сказать, предупреждаетъ его желанія. Онъ читаетъ «книжку», какъ романъ или, вѣрнѣе, какъ поваренную книгу, въ которой описываются самыя лакомыя блюда. Читаетъ и, останавливаясь на процессѣ производства лишь настолько, чтобы не утратилось впечатлѣніе общей сельскохозяйственной картины, съ радостнымъ нетерпѣніемъ пересказываетъ къ конечному результату (собираніе плодовъ въ житницы), который, разумѣется, всегда оказывается благоприятнымъ. Онъ не хочетъ знать, что книжку писалъ человѣкъ, обладающій подлинными знаніями (иногда, впрочемъ, и просто рутинеръ-шарлатанъ), который можетъ и неудачу предусмотрѣть, и даже свою собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный человѣкъ, ты, воспитанникъ Федра, что ты можешь? Вѣдь ежели ты, на свою бѣду, вычиталъ въ книгѣ «ошибку», то ты не только не исправилъ ея, а, напротивъ, еще больше будешь на ней настаивать, проведешь се до конца, потому что эта ошибка обѣщаетъ тебѣ самъ-десять. И тогда что станется съ тѣмъ эфемернымъ зданіемъ, которое создало твое разлакомившееся на барыши воображеніе?

Понятно, что при такой степени возбужденія художественныхъ инстинктовъ всякое вмѣшательство силъ природы, мало-мальски не соответствующее заранѣе облюбованнымъ результатамъ, кажется посягательствомъ и случитъ новодомъ для мученій и проклятій. Забывъ ведро? зачѣмъ дождь?—вотъ тѣ несомѣнно глупые вопросы, которые съ утра до вечера раздаются въ тѣхъ изъ помѣщичьихъ гнѣздъ, гдѣ еще не созрѣло убѣжденіе, что надо все оставить, бросить. Вопросы эти тѣмъ глупѣе, что культурному человѣку заранѣе извѣстно, что они навѣрное останутся безъ отвѣта, такъ какъ онъ не имѣетъ даже средствъ завернуться или приспособиться къ тому, что онъ называетъ неожиданностями и подвохами. Сѣрый человѣкъ— тотъ во всякое время, при всякихъ условіяхъ найдеть для себя подходящее дѣло, которое прямо или косвенно тому же полеводству принесетъ пользу. Но культурный человѣкъ, при всякомъ сюрпризѣ, измѣняющемъ его планъ, становится итуникъ, не зная, гдѣ и какъ ему возмѣститъ затрату, сдѣланную именно на тотъ, а не на иной предметъ. И велико бываетъ его изумленіе, когда онъ, утѣшавшій себя мыслью (да, онъ до того озлобленъ, что даже можетъ себя утѣшать неудачами другихъ), что и у дру-

гихъ сѣно почернѣло и сгнило, вдругъ видить цѣлыя массы совершенно зеленого сѣна, приготовленнаго заботливymi руками меньшого брата, который не иралъ противъ рожна въ дождь, но нашель другое приличествующее занятіе: горюдиа горюдбу, починаяа клѣтъ или наконецъ и просто отдыхаль.

Я живо помню первые годы, послѣдовавшіе за эмансипаціей крестьянъ. Въ то время, какъ разъ кетати, г. Бажановъ издалъ книгу о плодомеремѣнномъ хозяйствѣ вообще, а г. Совѣтовъ—книгу о разведеніи кормовыхъ травъ. Обѣ читались вѣласть, какъ романъ, и находилось много людей, которые серьезно думали, что теперь стѣягъ только дѣйствовать по-писанному, чтобы на землевладѣльцевъ по-пался золотой дождь. Закипѣла дѣятельность. Во-первыхъ, въ помѣщичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде никогда въ деревняхъ не жывали, люди преимущественно молодые (старики благоразумно устранились или продолжали доскрпывать вѣкъ съ урочнымъ барщиннымъ положеніемъ), оставившіе службу и другія занятія и полные вѣры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, закуплено было множество орудій, о которыхъ до тѣхъ поръ имѣлись только смутныя представленія, какъ о чемъ-то рѣдкомъ и недоступномъ. Въ-третьихъ, начался обмѣнъ мыслей о томъ, что пристойнѣе: самъ-десять или самъ-двѣнадцать. Въ-четвертыхъ, наконецъ, приступлено было и къ дѣйствительнымъ распоряженіямъ по Бажанову и Совѣтову. Богатые люди жертвовали при этомъ своими избытками, а люди недостаточные отказывали себѣ въ привычномъ комфортѣ и смотрѣли сквозь пальцы на упадокъ своихъ жилищъ, ради того, чтобы купить лучшихъ сѣмянъ, лучшихъ плуговъ, плужковъ, скоронапекъ и проч. (у Бажанова были и рисунки всего этого приложены). Но съ первыхъ же шаговъ (увы!—рѣшительность этихъ шаговъ была такова, что, сдѣлавши одинъ, т.-е. закупивъ сѣмянъ, орудій, скота, переломавши поля и т. д., уже трудно было воротиться назадъ, не испивши своей чаши сѣвооборота до дна) хозяйственная практика выставила такіе вопросы, разрѣшенія на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Совѣтовъ.

Помнитеа, у Бажанова говорится, что двое рабочихъ, при двухъ исправныхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ день казенную десятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ съ этимъ быть? Доказывать ли, съ Бажановымъ въ рукахъ, что священныи долгъ каждаго рабочаго — вспахать

не менѣе полудесятны?—но они отвѣтятъ на это: «и такъ не гуляли». Броситься ли на тунейда съ распротертыми дѣланми и сквернымъ словомъ на устахъ?—но онъ, какъ человекъ, сознающій себя геросомъ вольнаго труда, пожалуй, самъ дастъ сдачи. Судиться ли?—но передъ какимъ судомъ и гдѣ взять критеріумъ для судебной оцѣнки? Рассчитать ли наконецъ неисправнаго или небойкаго работника?—но завтра же другой герой вольнаго труда не допашетъ ровно столько же, а быть-можетъ, и больше. Приходится смириться и сообразно съ симъ дѣлать поправки въ расчетахъ. А такъ какъ это поправки безконечныи, то въ концѣ концовъ изъ нихъ образуется цѣлая паутина, въ которой человекъ будетъ биться, куда не опостылѣетъ все: и выкладки, и затѣи, и поля, и дуга, и люди, которые пашутъ и не допахиваютъ, косятъ и не докашиваютъ. А сколько было когда-то обмѣна мыслей по поводу словъ: «легко вспахать полудесятны». Легко? То-есть, вѣроятно, вспашутъ и больше? Но положимъ, что только полудесятныи слѣдовательно... А кончилось тѣмъ, что хоть бы и не смотрѣть, какъ онъ тамъ на одномъ мѣстѣ топчется! Надоѣло, надоѣло, надоѣло.

«Надоѣло» — это слово очешъ вѣское и рѣшительное въ человѣческой жизни вообще и въ особенности въ жизни культурнаго русскаго человека, изумительная художественная воспримчивость котораго требуетъ пищи безпрестанной и разнообразной. Но еще рѣшительнѣе звучитъ оно, когда человекъ начинаетъ прозрѣвать (все съ помощью тѣхъ же художественныхъ инстинктовъ), что не столько ему все надоѣло, сколько онъ самъ всѣмъ надоѣлъ. Тотъ же Бажановъ, напримѣръ, говорить, что землевладѣльческія орудія слѣдуетъ держать въ нарочито выстроеномъ сараѣ и что по окончаніи дневной работы необходимо ихъ вытереть, потому что иначе желѣзо ржавѣетъ, и инструментъ не прослужитъ и половины урочнаго срока. Ничего не можетъ быть справедливѣе этого совѣта и законнѣе основаннаго на немъ требованія. Но бѣда въ томъ, что у вольнонаемнаго рабочаго правила о содержаніи инструментовъ въ опрятности и до сихъ поръ еще не выжжены на срикзалихъ сердца огненными буквами. Во-первыхъ, у него совѣмъ не болятъ сердце по хозяйскомъ добрѣ; во-вторыхъ, дома у него такія рабочія орудія, съ которыми онъ никогда не имѣлъ надобности церемониться, а слѣдовательно и вытирать ихъ до-суха привычки не приобрѣлъ.

Онъ просто не думаетъ о рабочихъ инструментахъ и потому не считаетъ ухода за ними входящимъ въ кругъ его обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть-можетъ, и не допахалъ противъ урока, по все-таки время свое выстоялъ и порядкомъ-таки усталъ. Онъ снѣшить влпрячь лошады, чтобы скорѣе отужинать и лезь спать, — досугъ ли ему съ инструментомъ возжаться? Слѣдовательно предстоитъ нарочито напоминать ему о священной обязанности содержать хозяйскія орудія во всегдашней исправности. Напомните одинъ разъ — онъ, конечно, выполнитъ съ грѣхомъ пополамъ вану *прихоть*. Напомните въ другой разъ — услышите отвѣтъ: «не чтѣ ему (или ей) сдѣлается за ночь!» Напомните въ третій разъ — отвѣта не поспѣдеетъ, но на лицѣ прочтете явственно: «ахъ, распостылый ты человекъ!» Напомните въ четвертый разъ... но въ четвертый разъ врядъ ли вы и сами рѣшитесь напомнить. Вы уже чувствуете, что вы надобнн, намозолили глаза и вамъ совѣстно.

Вотъ чего не предусмотрѣли ни Бажановъ, ни Совѣтовъ, а между тѣмъ такого рода недоумѣнн встрѣчаются чуть не на каждомъ шагѣ. Вездѣ культурный человекъ видитъ себя лишнимъ, вездѣ онъ чувствуетъ себя въ положенн того мужа, у котораго жена мучилась въ потугахъ рожденн, а онъ сидѣлъ у ея изголовья и покряхтывалъ. Вездѣ, во всѣхъ лицахъ, во всѣхъ отвѣтахъ, онъ читаетъ и слышитъ одно слово: надобн! надобн! надобн!

И вотъ, когда онъ убѣждается, что бажановскаго урочнаго положенн ему поддержать нечѣмъ, что инструментъ рабочнй, на прнобрѣтенн котораго онъ пожертвовалъ своимъ личнымъ комфортомъ, вочню приходитъ въ пегодность, что ескѣ содержитсяъ псопрнтно, смерднтъ («не кадилѣ») — ворчнтъ скотница на сдѣланное по этому поводу напомннанн) и обнщаетъ въ ближайшемъ будущемъ всеѣмъ выроднтся, что самъ онъ наконецъ всеѣмъ надобн, потому что вездѣ «суется», а «настоящаго» ничего сказать не можетъ, — тогда на него вдругъ нападаетъ то храброе малодушне, которое даетъ человекъ рѣшнмость въ одну минуту плюнуть на все плоды многолѣтняго долготерпѣнн. И онъ, сломи голову, обнситъ въ объятн земскнхъ учреждений, мирового ннститута, полицн и проч., которыя, по крайней мѣрѣ, дадутъ ему средства хоть оконнныя рамы новыя сдѣлать въ расшатавшейся съверху до низу Замашиловскѣ.

Говорятъ, что у культурныхъ людей нѣтъ достаточныхъ капиталовъ, которые давали бы имъ возможность съ терпѣннемъ выжидать результатовъ ихъ сельскохозяйственныхъ предприятий. Капиталовъ нѣтъ, дѣйствительно, въ этой средѣ немного, но едва ли умѣстно ссылаться на это обстоятельство. Во-первыхъ, вскорѣ послѣ крестьянской реформы, капиталовъ, благодаря выкупнымъ свѣдѣтельствамъ, было болѣе, нежели достаточно, а куда они дѣвались? Положимъ, что хорошая доля ихъ застряла въ трактирахъ Новотроицкомъ и Московскомъ, но, князусь, цѣлая масса была ухлопана и въ землю, для исполненн прихотей Бажанова и Совѣтова. И чтѣ же изъ этого вышло? Во-вторыхъ, хотя капиталъ и дѣйствительно полезная вещь въ сельскомъ хозяйствѣ, но все-таки надо знать, куда и какъ его употребнтъ. Вотъ Энгельгардтъ и безъ капиталовъ достигъ хорошихъ результатовъ (я нимало въ этомъ не сомнѣваюсь), а у культурнаго человека хоть и цѣлая уйма денегъ на рукахъ, да онъ не знаетъ, куда ее пвырнуть. Ежели онъ броснтъ ее въ отходную яму — вырастутъ ли на днѣ ея розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полеводство можетъ приносить барышн; мы же, люди культурной массы, мы, представители бюрократн, адвокатуры, инпцбаловъ и проч., будемъ отдыхать пнждѣ подъ смоковницею своею, съ баснями Федра въ рукахъ (все какъ будто классицизмомъ принашивается). Я самъ съ величайшимъ наслажденнмъ читаю Энгельгардта (особенно лѣтомъ въ деревнѣ), потому что никто такъ отчетливо не воспроизводитъ картину деревни, какъ онъ; но я увлекаюсь его писаннмъ съ чисто художественной точки зрѣнн и воздерживаюсь отъ всякой практической дѣятельности въ подражанн ему. Онъ расчнщаетъ «ляда», онъ сѣетъ ленъ и мечтаетъ о травостяннн, объ альгаускомъ бычкѣ — все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я же не стану ни «ляда» расчнщать, ни льна сѣять, потому что въ самомъ благопрнптномъ случаѣ эти занятн явятся лишь пустымъ препровожденнмъ времени; въ неблагопрнптномъ же случаѣ...

Паче всего культурный человекъ долженъ избѣгать волненнй и огорченнй. Деревня нужна ему не ради перспектнвы копеечныхъ избытковъ, но ради возстановленн подточенной зимнмъ сезономъ бодрости. Онъ долженъ помнить, что ежели возможны сельскохозяйственные прнбытки,

то они возможны, во-первыхъ, для человѣка, обладающаго знаніемъ, и, во-вторыхъ, для человѣка хотя и рутинера, но постоянно живущаго въ деревнѣ и не видящаго изъ нея выхода даже въ земскія учрежденія. Въ большинствѣ случаевъ, культурный русскій человѣкъ не подходит ни подъ одно изъ этихъ условій. Знаній у него нѣтъ, а въ деревнѣ онъ хочетъ жить лишь тогда, когда садъ его цвѣтетъ и благоухаетъ, и когда въ сосѣдней рощѣ гремитъ соловей. Стоить ли при такой постановкѣ дѣла гнаться за какимъ-нибудь двугривеннымъ, котораго, вдобавокъ, еще и не поймашь? Стоить ли, ради этого двугривеннаго, испытывать волненія и разочарованія, которыя, повторяю, никогда не кончаются, а только видоизмѣняются, переходятъ въ новыя формы волненій и разочарованій?

Нѣтъ спора, что и въ городахъ бываютъ огорченія: обойдутъ человѣка чиновъ; проиграетъ онъ, въ качествѣ адвоката, процессъ или получить въ танцклассѣ затрещину. Но огорченія эти, въ большинствѣ случаевъ, имѣютъ свой коррективъ. Обойдутъ чиновъ—стоитъ только потрафить, пошше поклониться, чинъ придетъ своимъ чередомъ; проиграетъ адвокатъ процессъ—можно взять другой и выиграть; получить затрещину... но что такое затрещина для человѣка, который, быть-можетъ, понятие о танцклассѣ смѣшиваетъ съ понятіемъ объ отечествѣ? Словомъ сказать, изъ всякаго городского огорченія можно выйти безъ особенно чувствительнаго ущерба. Тогда какъ для огорченій сельскохозяйственныхъ рѣшительно нѣтъ выхода. Они сначала мелькаютъ передъ глазами въ видѣ несуществующихъ двугривенныхъ, но чуть только человѣкъ не остергается, то непременно выразятся въ крупномъ кушѣ, брошенномъ въ отходную яму, на днѣ которой не вырастаютъ розы.

Но—скажутъ мнѣ—все эти Заманиловки не созданы нами, а дошли до насъ въ томъ самомъ составѣ и въ тѣхъ же размѣрахъ, въ какихъ онѣ представляются и нынѣ, то есть со всеми Тараканихами, Летесихами и другими пустошами, въ которыхъ растетъ бѣлоусъ. Какъ же поступить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою за нихъ земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ вырастетъ ленъ?

Отвѣтъ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, очень простъ. Если уже существуетъ убѣжде-

ніе (а у человѣка хладнокровнаго, осторожнаго не можетъ оно не существовать), что раскинутость Заманиловокъ служитъ лишь источникомъ огорченій, то, разумѣется, необходимо принять самыя быстрыя мѣры, чтобы Тараканихи и Летесихи не обременяли памяти пустою поменклатурой. Надо отдѣлаться отъ нихъ непременно и безотложно, хотя бы задаромъ. Придетъ сѣрый человѣкъ въ эту самую Тараканиху, гдѣ нынѣ растетъ бѣлоусъ, и прольетъ тамъ свой потъ. И, можетъ-быть, бѣлоусъ дастъ мѣсто болѣе доброкачественнымъ злакамъ... А культурный человѣкъ ощутитъ отъ этого перемѣщенія ту несомнѣнную выгоду, что освободится отъ платежа земскихъ сборовъ за вмѣстѣ лица бѣлоуса.

Я убѣжденъ, что первое, что необходимо для культурнаго человѣка—это сокращать и суживать границы своихъ земельныхъ владѣній. Дача, какъ вмѣстѣлице возста-новляющаго воздуха полей—вотъ все, что нужно. И притомъ дача не съ ветхими оконными рамами и колеблющимися полами, а со всеми удобствами, которыя легко могутъ быть созданы на деньги, предназначенныя для отходной ямы. Если есть при дачѣ «свѣжащаяся» лужа—это хорошо; если есть роща, въ которой весной поетъ соловей—еще того лучше. Излучистая рѣка, тѣнистая аллея, пѣніе соловья—вотъ идеалы культурнаго человѣка, но отнюдь не нажити, не лѣса и не такъ-называемыя угоды. Для истребленія лѣсовъ существуютъ лѣсники; для пахоты, бороньбы и косовъ существуетъ цѣлый классъ людей, именуемыхъ земледѣльцами. Summum cuique, какъ говорятъ Гераций, а можетъ-быть, Федръ или даже самъ Кошанскій. Культурный человѣкъ долженъ помнить, что онъ—произведение города! тамъ онъ свѣтъ и жечь, что ему свѣтъ и жечь надлежитъ. Оклады жалованья, пенсін, аренды, коллессіи, гонорары за сводничество, полстимины и построчныя платы—все тамъ. А на лѣто онъ наѣзжаетъ въ деревню совсѣмъ не для того, чтобы страдать ради двугривенныхъ, а для того, чтобы на досугѣ обдумать, какія предстоить принять зимой мѣры, чтобы упомянутые оклады и гонорары не утратить, но приумножить и сохранить. И пусть обдумываетъ. Пускай знаетъ свой домъ, свой садъ, свой свѣжащаяся лужа, свою рощу. А ради сохраненія сельскаго колорита онъ можетъ завести трехъ-четырехъ коровъ и успокоиться на этомъ. Въ результатѣ онъ будетъ свободенъ отъ огорченій и никому не надобенъ. И сѣрый человѣкъ,



глядя на него, скажетъ: «вотъ и видно, что настоящій баринъ—живеть и ничего не дѣлаетъ!»

Тѣмъ не менѣе я не могу не сознаться, что жить въ деревнѣ и не дѣлать деревенскаго дѣла, а только вдыхать ароматы полей, слѣдить за полетомъ ласточекъ, читать братьевъ Гонкуровъ и ушныивать себя для предстоящихъ зимнихъ подвоховъ—ужасно совѣстно. Сѣрый человѣкъ хоть и выражается о такомъ субъектѣ: «вотъ настоящій баринъ!» но онъ говоритъ это только до поры до времени. Сѣрый человѣкъ покуда еще ужасно задавленъ, и въ дѣствіе этого обѣщаніе «на водку» дѣйствуетъ на него магически. А «настоящій баринъ» даетъ на водку часто и щедро. Онъ охотно собираетъ въ господской усадьбѣ по праздникамъ сосѣднихъ мужиковъ и бабъ, предоставляя имъ пѣть, плясать и величать себя, «настоящаго барина», и угощаетъ за это пивомъ, водкой и ломтями чернаго хлѣба, а иногда, подъ веселую руку, даже бросаетъ въ толпу разъяренныхъ бабъ приторшни гривенниковъ. Я положительно не знаю ничего паскуднѣе этого развлечения (имъ по преимуществу злоупотребляютъ разноплеменные хищники, отдыхающіе лѣтомъ въ своихъ виллахъ), но сѣрый человѣкъ еще охотно фигурируетъ въ немъ въ качествѣ увеселителя. Изъ чести человѣчества надо думать, что наступитъ же наконецъ моментъ, когда онъ очнется и пойметъ, какой омерзительный смыслъ заключается въ паскудномъ выраженіи: «на водку», въ которомъ теперь онъ видитъ нѣчто въ родѣ подспорья.

Повторимъ: жить въ деревнѣ только въ качествѣ «хорошаго барина» все-таки совѣстно, и потому я былъ очень обрадованъ, когда узналъ, что у культурнаго русскаго человѣка и помимо сельскохозяйственныхъ загѣй можетъ существовать вполнѣ деревенское дѣло, а именно: дѣло совѣты, разъясненія, просвѣщенія и посильной помощи. Сѣрый человѣкъ измываетъ въ тенетахъ круговой поруки—надо объяснить ему, что задача круговой поруки совѣтъ не въ томъ заключается, чтобы изпувать, а въ томъ, чтобы представить очень существенныя гарантіи. Сѣрый человѣкъ погибаетъ подъ игомъ невѣжественности—надо пролить свѣтъ знанія въ эту погибающую среду, надо стараться о разбѣяніи предрассудковъ, страховъ и предубѣжденій. Сѣрый человѣкъ изнемогаетъ отъ нищеты, поборова, недостатка питанія, тѣсноты жилищъ—надо сдѣлать для него

доступнымъ дешевый кредитъ и при этомъ дать послѣднему такое направленіе, чтобы помощь его была чувствительна не для однихъ волостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и міробѣдовъ, но и для массы дѣйствительно нуждающихся.

Я называю здѣсь очень немного задачъ, но заранѣе соглашаюсь, что ихъ наберутся сѣбѣя массы, и притомъ гораздо болѣе существенныхъ. Сказать человѣку толкомъ, что опъ человѣкъ—на одномъ этомъ предпріятіи можетъ изойти кровью сердце. Дать человѣку возможность различить справедливое отъ несправедливаго—для достиженія этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъясненія громады и почти непреступны, но зато какіе изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывнаго горѣнія существованіе!

Позвольте однако-жъ. Я говорю здѣсь совѣтъ не о сподвижничествѣ, а о другомъ. Я говорю о самыхъ обыкновенныхъ представителяхъ культурной массы, о тѣхъ исчадіяхъ городской суеты, для которыхъ деревня составляетъ, наравнѣ съ экипажемъ, хорошимъ поваромъ и проч., одну изъ принадлежностей комфорта или общепризнанныхъ условій приличія—и ничего больше.

Я говорю исключительно объ этихъ людяхъ, потому что покажется это—единственный разрядъ культурныхъ дѣятелей, состоящій «въ законѣ», и, стало-бытъ, единствєнный, котораго дѣйствія и помыслы могутъ быть свободно изслѣдуемы. Все остальное закрыто для насъ завѣсою, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, того гляди, или кого-нибудь введешь въ соблазнъ, или нѣчто потрясешь.

Поэтому останемся же и мы «въ законѣ» и будемъ бесѣдовать лишь о томъ, что доступно нашимъ изслѣдованіямъ.

Я охотно допускаю, что и въ заурядныхъ представителяхъ культурной массы можетъ зародиться жажда просвѣтительнаго деревенскаго дѣла. Добрыхъ, страдающихъ и вообще порядочныхъ людей и въ этой массѣ найдется достаточно. Но дѣло въ томъ, что, по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ преданій, обстановки, воспитанія, культурный человѣкъ на этомъ поприщѣ прежде всего встрѣчается съ вопросомъ: что скажетъ о моей просвѣтительной дѣятельности становой (само собой разумѣется, что здѣсь выраженіе «становой» употреблено не въ буквальномъ смыслѣ)? Я знаю, что вопросъ этотъ смѣшной, и что даже довольно близкіе наши потомки будутъ удивляться самой возможности его постановки, но тѣмъ не менѣе онъ несо-

миѣнно существуетъ, и человекъ, «въ законѣ состоящій», отнюдь не можетъ его миловать. Его постоянно тревожитъ мысль: своевременно или преждевременно? и потому ежели онъ и приступитъ на дѣлѣ къ выполнению своихъ просвѣтительскихъ пополюженій, то или проведетъ ихъ не особенно далеко (по губамъ помажетъ), или же будетъ при-способлять свои дѣйствія ко вкусамъ и идеаламъ станого. И вотъ, вмѣсто того, чтобы узнать, откуда идуть на него тѣ бичи, которые отъ колыбели до могилы подъядаютъ его существованіе, въ видѣ мірошдовъ, кабатчиковъ, засухъ, градобитій, моровыхъ повѣтрій и проч., сѣрый человекъ услышитъ изъ устъ культурнаго человека не особенно мудрое и не чуждое сквернословія поученіе о томъ, что первал и главная обязанность есть исполненіе приказаній, а все остальное приложится. Но вѣдь онъ и безъ того слышитъ эти проповѣди ежечасно, ежеминутно и отъ волостного старшины, и отъ сотскаго, и даже отъ кабатчика. И однако до сихъ поръ они не накормили его до-сыта, не дали ему человеческого жилища и ни на одинъ волосъ не увеличили его матеріальнаго и духовнаго благосостоянія.

Положимъ однако, что культурный человекъ настолько самолюбивъ, что не будетъ справляться со взглядами станого и захочетъ дѣйствовать самостоятельно, даже независимо отъ соображеній, своевременно или преждевременно; но развѣ это отреченіе отъ идеаловъ станого не будетъ съ его стороны только пустою формальностью? Увы!—онъ и самъ весь начиненъ азбучными истинами, онъ и самъ ничего не знаетъ, кромѣ произвольныхъ, на песокъ построенныхъ афоризмовъ произносившей морали. Стало-быть, ежели слова его и будутъ иныя, то дѣло все-таки окажется то же.

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культурному человеку, взлелеянному на лонѣ эстетическихъ преданій, всегда присуща некоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себѣ происхожденіе лохмотьевъ и безкормицы не особенно трудно, но очень трудно повзысаться до той сердечной боли, которая заставляетъ отождествиться съ мірской нуждой и нести на себѣ грѣхи міра сего. Тутъ и художественные инстинкты, столь могущественные въ другихъ случаяхъ, не помогаютъ. Или, вѣрнѣе сказать, помогаютъ наоборотъ, то-есть вселяютъ инстинктивный страхъ и непреодолимое желаніе избѣжать зрѣлища нищеты. Обыкновенно это послѣднее желаніе формулируется болѣе или менѣе прилично: вѣтъ, дескать, не поможешь и всей массы

бѣдности не устранишь! Но понятно, что это—только отговорка, на которую возможенъ одинъ отвѣтъ: «пробуй, дѣлай, что можешь, или уйди, не блазни, не подавай камня тамъ, гдѣ нуженъ хлѣбъ».

Можетъ, впрочемъ, случиться и такъ, что культурный человекъ какимъ-нибудь чудомъ все эти препятствія устранить, то-есть сумѣетъ одновременно упразднить и идеалы сотскихъ, и эстетику. Однако и за всеѣмъ тѣмъ останется обстоятельство, которое ни подъ какимъ видомъ обойти нельзя. Обстоятельство это заключается въ томъ, что главная задача его жизни совсѣмъ не въ деревнѣ, а въ городѣ. Говоря такимъ образомъ, я вовсе не имѣю въ виду просвѣтителей пшицбаловъ, но и людей дѣйствительно воодушевленныхъ наилучшими наміреніями и преслѣдующихъ самыя почтенныя интеллектуальныя цѣли. И для нихъ деревня представляетъ только временную арену дѣятельности, къ которой, вдобавокъ, они, въ большинствѣ случаевъ, не имѣютъ никакой практической подготовки. Атмосфера, которою они дышатъ, совсѣмъ не та, которою дышитъ деревня; языкъ, которымъ они говорятъ, не тотъ, которымъ говоритъ деревня; мысли, которыя они мыслятъ, не тѣ, которыя мыслятъ деревня. Поэтому, прежде нежели приступитъ къ подлинному деревенскому дѣлу, сколько нужно труда, чтобы опознаться въ условіяхъ дѣятельности, очистить почву, приспособиться, найти отправной пунктъ! Но вотъ наконецъ точка опоры отыскана, а тутъ, какъ на грѣхъ, подкралась осень, и культурный человекъ волей-неволей обижывается оставить случайныя задачи, чтобы всецѣло отдаться задачамъ кореннымъ, а деревня остается въ положеніи той помпадурши, которая, при извѣстїи о назначеніи своего краткосрочнаго помпадура, восклицала: «глупушка! нашла и ухалась!»

Нѣтъ, просвѣтительная дорога—не наша дорога. Это—дорога трудная, тернистая, о которой древле сказано: *блюдите да опасно ходите*. Чтобы вступитъ на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, препоясать чресла и, подобно раскольникамъ-«бѣгунамъ», идти впередъ, *вышляно града зыскаю...*

Два лѣта кряду я живу въ своемъ новомъ углу, на берегу Финскаго залива, почти въ виду кронштадтскихъ твердынь. Живу, руководствуясь сейчасъ вышеказанными соображеніями, то-есть не зная ни сельскохозяйственныхъ

затѣй, ни просвѣтительныхъ задачъ. Въ первомъ отношеніи я вполне рассчитываю на сѣраго человѣка, который самъ не добѣтъ, а насъ не оставитъ безъ провіанта; во-второмъ—полагаюсь на земскія управы, которая, по соглашенію съ начальствомъ, полегоньку да потихоньку, павѣрное, когда-нибудь устроятъ судьбу сѣраго человѣка въ безпечальномъ концѣ. Я же, засѣвъ въ своемъ углу, наслаждаюсьhalbлюю съ кронштадтскихъ твердынь, которая потрясаетъ окна моего Монрепѣ и которая, собственно говоря, составляетъ единственное здѣсь развлеченіе.

Жизнь моя здѣсь течетъ въ уединеніи и полномъ безмятежии. Сѣна — мало, жита — и того меньше; зато есть благоустроенный паркъ, въ которомъ родится множество бѣлыхъ грибовъ и въ которомъ можно гулять даже немедленно послѣ дождя. Сверхъ того, есть порядочный сосновый лѣсъ и рѣка, на которой устроена мельница, а слѣдовательно существуетъ и запруда. Однимъ словомъ, было бы даже очень хорошо, если-бъ капельку побольше краснаго солнышка и поменьше вѣтра со стороны «хладныхъ финскихъ скалъ». Помните: въ цѣлое лѣтнее лѣто я не видалъ стрѣлку флюгера обращенною на югъ, а все на сѣверъ, или еще того хуже—на западъ, потому что ежели сѣверный вѣтеръ приприситъ намъ больше, чѣмъ нужно, прохлады, то западный гонитъ намъ тучи, которымъ илногда по цѣлымъ недѣлямъ конца не видать.

Мѣстность, въ которой расположено сказанное Монрепѣ—обыкновенная мѣстность ближайшихъ окрестностей Петербурга. Нельзя сказать, чтобъ живописная, чтобъ веселая, но зато несомнѣнно веселоправная. Справа у меня—деревенскій поселокъ, при въѣздѣ въ который стоитъ столбъ и на немъ значится: душъ 24, дворовъ 10. На это не особенно громадное населеніе существуетъ два кабака, которые очень рѣдко пустуютъ. Сверхъ того, съ небольшимъ въ полуверстѣ отъ меня,halbлюю, рядомъ съ моей границей, воздвигнутъ третій кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой мѣстности посчастливилось. Когда я ѣду на станцію желѣзной дороги, то на пространствѣ четырнадцати верстъ до шессы (на которомъ уже начинаются высокопоставленныя дачи, и, стало-быть, кабаковъ нѣтъ) встрѣчаю еще четыре кабака. А между тѣмъ мѣстность эта вполне пустынная, и только въ одномъ мѣстѣ, въ сторонѣ, виднѣется довольно большое село, которое, конечно, обладаетъ своими собственными кабаками.

Населеніе здѣсь смѣшанное. Большинство—чухны, меньшинство—не скажу, чтобъ совсѣмъ русскіе, а скорѣе какалито-помѣсь. Чухны пьютъ довольно, русскіе—много. Сверхъ того, здѣсь пролегаетъ зимній трактъ въ Кронштадтъ, который тоже не мало способствуетъ процвѣтанію кабаковъ.

Кабакъ—это что-то въ родѣ установленія, омерзительнаго котораго трудно что-нибудь себѣ вообразить. Вокругъ кабака растетъ одичалое племя, которое отдастъ кабатчику всю свою душу и которому положительно ни до чего нѣтъ дѣла. А у насъ цѣлыхъ три кабака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный коррективъ! Да и нынѣштво здѣсь—какое-то необыкновенное: не шумное, не экзальтационное, а сосредоточенное и унылое. Какъ будто исполняется торьякая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. Идетъ человѣкъ по дорогѣ и вертитъ зрачками: это значитъ, что онъ еще бодрится. Прошелъ нѣсколько шаговъ, споткнулся и ужъ хрипитъ. Былъ у меня въ прошломъ году мельникъ изъ чухонъ, констативъ честный и добропорядочный человѣкъ. Видя, что онъ отъ времени до времени вертитъ зрачками, я пробовалъ его уговорить и, повидимому, даже успѣлъ. Цѣлыхъ два мѣсяца и видѣлъ его постоянно трезвымъ, но вотъ пришла осень, и малый не вытерпѣлъ. Осень здѣсь ужасная, темная, слезливая, завывающая: точно падъ кладбищемъ стоишь стоишь. Однимъ вечеромъ мельникъ урвался кратчайшимъ путемъ, по лавамъ, брошеннымъ черезъ рѣчку, въ кабакъ и тамъ выполнилъ свою задачу серьезно и безшумно. Возвращаясь тѣмъ же путемъ на мельницу, онъ уже не попалъ на лавы, а шагнулъ прямо въ рѣчку и утонулъ. Мѣсто это отстоитъ отъ мельницы въ нѣсколькихъ шагахъ, но никто не слыхалъ криковъ о помощи. Вѣроятно, несчастный даже не понималъ, что тонетъ, а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ принципъ, омерзительнѣе, но при этомъ оговариваюсь: можетъ-быть, оно такъ надобно. Нужно, быть-можетъ, чтобъ люди вертели зрачками и не понимали, куда они ложатся—въ постель или въ рѣчку. Почему такъ нужно—этого, конечно, мы не можемъ знать: не наше дѣло.

Благо невѣдущимъ. Знаніе, говорятъ, старитъ, а мы каждочасно молодѣемъ. «Изба моя съ краю, ничего не знаю»—услоконительнаго этого девиза выдумать нельзя. Особливо ежели жить съ умомъ, то можно даже деньги при



помощи этого девиза нажить. Вотъ, напримѣръ, владѣлецъ двухъ кабаковъ, которые держатъ меня въ осаду справа и слева,—тогъ только и говорить: «не нашего, сударь, это ума дѣло». Говорить — и стелеть да стелеть кругомъ паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись въ усадьбѣ; зажимаю носъ и уши, замуриваю глаза и твержу: не наше дѣло! не наше дѣло! Это — слова могущественныя и отлично разбиваютъ не только сердечную скорбь, но и всякую мысль. Натвердившись вдоволь, можно и на улицу выйти, и уже безъ малѣйшаго волненія смотрѣть, какъ взадъ и впередъ сплываютъ подводки, нагруженные бочками, боченками, бутылками и бутылочками. О чемъ тутъ скорбѣть? На что негодовать? Гораздо пристойнѣе видѣть въ этомъ маятномъ движеніи боченковъ и бутылей только виды внутренней торговли и накопленія богатствъ: хоть сейчасъ садись и пиши статистику. И статистика выйдетъ не бесплодная, по полнаго поучительныхъ выводовъ, изъ которыхъ можно усмотрѣть вполне ясно, гдѣ таятся истинные источники нашего параднаго веселья, нашей силы и мощи: все тамъ, все въ этихъ боченкахъ и бутылкахъ. Не даромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчикъ-столпъ потчивалъ «гостей» водкой подъ названіемъ «потресивческая», а другой кабатчикъ-столпъ, соревнуя первому, утвердилъ на «выставкѣ» бутылъ съ надписью: «на страхъ врагамъ». И всѣ, которые пили обѣ эти водки, дѣйствительно чувствовали, что имъ море по колено...

Да, эти «столпы» знаютъ тайну, какъ содѣлывать людей твердыми въ бѣдствіяхъ, а потому имъ и книги въ руки. Поймите, вѣдь это — тоже своего рода культурные люди, и притомъ не безъ нахальства говорящіе о себѣ: «мы сами оттуда, изъ Назарета, мы знаемъ!» И дѣйствительно, они знаютъ, потому что у нихъ нервы крѣпкіе, взглядъ острый и умъ ясный, не расшатанный вольнодумными софизмами. Это даетъ имъ возможность отлично понимать, что по настоящему времени самое подходящее дѣло — это перервать горло.

Одного только не вѣдаютъ: можетъ ли срastись разъ перерванное горло, и ежели не можетъ, то какъ съ этимъ быть?

Не наше дѣло.

Продолжаю начатую матерію о Монрепѣ. Имѣние это служитъ нагляднымъ примѣромъ производительности культурнаго труда и тѣхъ выгодъ, которыя можно изъ него извлечь.

Нѣкогда оно принадлежало такъ-называемому «хозяину» и, вдобавокъ, еще инженеру, стало-быть, человѣку, не лишеному хотя нѣкоторыхъ прикладныхъ знаній. Владѣлецъ этому, очевидно, имѣлъ намѣреніе сдѣлать изъ своего имѣнія «золотое дно». Онъ положилъ основаніе господской мызѣ, выстроилъ не особенно изящный, но крѣпкій и помѣстительный домъ, снабдилъ его службами и скотнымъ дворомъ, развелъ паркъ, плодовый садъ, затѣялъ обширный огородъ (вѣроятно, хотѣлъ изумить міръ капустой и огурцами), устроилъ мельницу, прорѣзалъ всю дачу безчисленными канавами, вследствие чего она получила видъ шахматной доски, и заключающіеся между канавами участки земли поднялъ и засѣялъ травой. Хлѣба у него высѣвалось тоже достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной риги, остатки которой уцѣлѣли и понынѣ, а въ особенности по чугуннымъ трубамъ, съ помощью которыхъ нагрѣвалась сушильня и которыя вальются и поднесъ. Получалъ ли какіе-нибудь доходы съ этого имѣнія заботливый хозяинъ-землевладѣлецъ — это неизвѣстно; но вѣроятнѣе всего, что не получалъ, а все устраивался и устраивался. Но что несомнѣнно извѣстно — это то, что онъ истратилъ на имѣніе «многія тысячи». И не крѣпостнымъ трудомъ истратилъ, а чистоганомъ, потому что крѣпостной трудъ какихъ-нибудь 24-хъ душъ даже замѣтнымъ подспорьемъ не могъ служить въ такомъ значительномъ предпріятіи. Затѣмъ основатель усадьбы умеръ, и имѣніе начало переходить изъ рукъ въ руки, при чемъ никто продолжительно имъ не владѣлъ. Пестрѣдній владѣлецъ, отъ котораго мыза, наконецъ, дошла ко мнѣ, тоже, какъ говорить, потратился: усовершенствовалъ паркъ, меблировалъ домъ, пытался расчистить нѣкоторыя канавы и проч. Вѣроятно, и тутъ дѣло не обошлось безъ «многихъ тысячъ». А сколько одновременно съ этими «многими тысячами» было потрачено легкомыслия, сколько видѣла эта бѣдная мыза претерпѣнія и ропота, сколько слышала она хульныхъ словъ!..

Мнѣ она досталась, съ расходами по купчей крѣпости и съ издержками по подворенью, въ суммѣ приблизительно до пятнадцати тысячъ рублей. Вотъ чѣмъ разрѣшились и «многія тысячи», и многолѣтнія претерпѣнія. Кажется, краснорѣчивѣе этого факта нельзя себѣ ничего вообразить.

А сколько, сверхъ того, было ухвачено крѣпостныхъ пониниъ при переходахъ имѣнія изъ рукъ въ руки! сколько

было расцорено дснэгъ на свѣдчиковъ и маклеровъ, сколько употреблено сусы и бѣготни при отыскиваніи покупателя—этого, навѣрное, ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать.

Мнѣ могутъ возразить, что бывшіе владѣльцы все-таки кое-чѣмъ воспользовались, и именно лѣсомъ (нынѣшній лѣсъ не особенно старъ, лѣтъ 30—35-ти, не больше, а есть участки и моложе). Дѣйствительно, громадные пни, встречающіеся на каждомъ шагу, свидѣлствуютъ, что лѣсу сведено достаточно; но, во-первыхъ, большая его часть была несомнѣнно употреблена на нужды самого пашинъ, а во-вторыхъ, ежели двое-трое изъ кратковременныхъ владѣльцевъ (сдва ли даже они жили въ имѣніи) и урвали что-нибудь, то, право, сущую бездѣлицу.

Люди, которымъ всегда «до зарѣзу» нужны рублѣи 100—200, не особенно слѣдятъ за процессомъ ихъ добычанія, лишь бы «зарѣзъ» былъ поскорѣе удовлетворенъ. Тамъ было и тутъ, о чемъ даже существуютъ анекдоты, въ которыхъ фигурируютъ, съ одной стороны, культурные люди, съ другой—столпы, удовлетворяющіе этому «зарѣзу», не безъ болыи для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это—уголокъ довольно благоустроенный, хотя и не безъ важныхъ недостатковъ, а именно:

Недостатокъ первый: солнце здѣсь такое же скудное, какъ и въ Петербургѣ. Оба проведенныя мною лѣта были въ этомъ смыслѣ очень неудовлетворительны. Въ прошломъ году залили дожди, въ нынѣшнемъ—27-го іюля ударилъ первый морозецъ. Можно ли ожидать въ будущемъ лучшаго лѣта—не знаю, потому что въ Петербургѣ вообще имѣютъ смутное понятіе о благопріятствіи воздуха. Были, впрочемъ, и для здѣшняго края, очевидно, лучшія времена. Это доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вымерзаніе которыхъ довершилось лишь недавно. Стало-быть, когда-то здѣсь было возможно разводить яблоки. А пуще, судя по послѣднимъ двумъ годамъ, скоро и простой огурецъ сдѣлается оранжерейнымъ растеніемъ.

Второй недостатокъ: все еще черезъ-чуръ много земли (всего около 160 десятинъ). Конечно, большинство ея находится подъ лѣсомъ, но есть, къ сожалѣнію, и такіе участки, которые «ахъ, кабы эту землю къ рукамъ—кажется, лопатой бы деньги загребалы!» Какъ ни велико мое

воздержаніе отъ сельскохозяйственныхъ предпріятій, а все-таки нѣтъ-нѣтъ да и поддашься на лъстивыя рѣчи. То канавку прочистишь, то поднимешь участочекъ, потому что ежели совѣмъ бросить, то земля мохомъ прорастетъ, и траву косить будетъ негдѣ. А сѣно можно, такъ какъ на скотномъ дворѣ стоитъ штукъ до десяти травяныхъ.

Третій недостатокъ: мельница. Въ нынѣшнемъ году я вынужденъ былъ всю плотину выстроить вновь, и это обошлось мнѣ ровно тысячу рублѣи, кромѣ бревенъ, которыя были вынелены изъ своего лѣса. Теперь всѣ лобуются плотинкой и говорятъ: «денегъ не пожалѣли, зато она у васъ на двадцать лѣтъ безъ поправки пойдетъ!» Но извѣстно мнѣ, что года три тому назадъ бывшій владѣлецъ тоже «значительно исправилъ» плотину, и, вѣроятно, ему тоже говорили: «теперь она на двадцать лѣтъ пойдетъ!» А доходъ съ мельницы двойкій: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходовъ «не сличимъ много»; ежели осень сухая, то въ очистку приходится—нуль.

Четвертый недостатокъ: слишкомъ просторенъ огорокъ. Поднять его, сдѣлать гряды и потомъ нѣсколько разъ въ лѣто прополоть послѣднія—стоитъ одной поденщиной, не считая настоящихъ мызныхъ работниковъ, въ малой мѣрѣ двѣсти рублѣи. Да навозу пойдетъ цѣлая уйма, да садовнику въ годъ надо заплатить 360 рублѣи. А къ концу лѣта получаютъ и плоды этихъ затратъ. Огурцы, напримеръ, «принялись-было весело», но вдругъ сдѣлазось «сиверко», и въ тотъ самый моментъ, когда въ Петербургѣ вся Сѣльная завалена огурцами,—у васъ нѣтъ ничего. То же самое и съ цвѣтной капустой: въ августѣ ее вскапъи столоначальникъ въ Петербургѣ вѣтъ, а въ Монренѣ показывается въ это время только зародыши и зрѣеть надежда, что въ сентябрѣ четыре-пять кочней выйдутъ «влоли!» Остаются, стало-быть, капуста да картофель, овощи серьезные, не боящіяся непогоды,—но слыханное ли дѣло съѣсть этого добра на пятьсотъ, шестьсотъ рублѣи въ годъ!

Однимъ словомъ, происходитъ нѣчто въ высшей степени странное. Земля, мельница, огорокъ—все, новидному, предназначенное самою природою для извлеченія дохода—все это оказывается не только лишнимъ, но и прямо убыточнымъ...

Поэтому истинное пользованіе «своимъ угломъ» и истинное деревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будетъ ни луговъ, ни лѣсовъ, ни огородовъ, ни мель-

пиць. Скотный дворъ можно упразднить, а молоко покупать и лошадей напимать, что обойдется дешевле и притомъ составитъ расходъ, который заранее можно опредѣлить, а слѣдовательно и приготовиться къ нему. Можно упразднить и прилегу, а держать только сторожа и садовника, необходимаго для увеселенія зрѣнія видомъ расчлѣненныхъ дорожекъ и изяцію убранныхъ цвѣтами клумбъ.

Когда все это будетъ достигнуто, культурный человѣкъ можетъ наслаждаться и отдыхать по всей своей волѣ. А ежели надобно ему отдыхать, то можетъ и запяться тѣмъ дѣломъ, которое ему по душѣ.

Но какое же это дѣло?—вотъ въ чемъ попросту.

Странная вещь, но когда встрѣчаешься съ этимъ вопросомъ—дѣлается не только просто совѣстно, но почти то-скливо-совѣстно.

Объясненіе этой тоски, я полагаю, заключается въ томъ, что у культурнаго русскаго человѣка бываютъ дѣла личные, но нѣтъ дѣлъ общихъ. Личныя дѣла вообще несложны и рѣшаются быстро, безъ особыхъ головоломныхъ думъ; затѣмъ впереди остается громадный досугъ, который рѣшительно нечѣмъ наполнить. Отсюда — скука, незнаніе, куда, чѣмъ занять праздную мысль, куда избыть праздную жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое пространство, то дѣлается понятнымъ даже отчаяніе.

Повторяю: въ массѣ культурныхъ людей есть уже достаточно личностей вполне добропорядочныхъ, на которыхъ пасильственное бездѣйствіе лежитъ тяжелымъ ярмомъ и которыя тѣмъ сильнѣе страдаютъ, что не видятъ конца снѣдающей ихъ тоскѣ. Чувствовать одиночество, сознавать себя лишнимъ на почвѣ общественныхъ интересовъ, право, нелегко. Отъ этого горькаго сознанія можетъ закружиться голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничитъ и съ полнѣмъ равнодушіемъ.

Чтобы читать книжку, слѣдить за наукой, литературой и искусствомъ—для всего этого нѣтъ никакой надобности въ своемъ собственномъ углу, и въ особенности на берегу Финскаго залива. Гораздо болѣе удобствъ въ этомъ смыслѣ представляютъ Эмса, Вадень-Вадени, Трувили, Буживали, Лозаны и проч.

Для чего культурному человѣку изнывать въ какихъ-то еумерахъ, лишенныхъ свѣта и тепла, когда тѣ задачи, преслѣдованіе которыхъ ему доступно, онъ можетъ вполне

удобно переносить съ собою въ такія мѣстности, въ которыхъ вдоволь и тепла, и свѣта? Для чего онъ будетъ носить въ своей Заманиловкѣ тѣмъ темъ всякаго рода лишній и неудобствъ, когда при тѣхъ же матеріальныхъ затратахъ онъ можетъ «въ другомъ мѣстѣ» прожить безъ мучительной заботы о томъ, позволить ли подослѣвннй сѣнокосъ послать завтра въ городъ за почтой?

Человѣкъ—животное общественное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается временно одичать; человѣкъ—животное много-людное, а въ Заманиловкѣ онъ обязывается сдѣлаться отчасти млекопитающимъ, отчасти травояднымъ. Наконецъ Заманиловка заставляетъ его нуждаться въ услугахъ множества лицъ, что въ высшей степени несприятно чекочетъ совѣсть. И къ довершенію всего, передъ глазами—пустое пространство.

Внимайте въ это положеніе, и вы должны будете сознаться, что оно поистинѣ мрачно. Есть натуры очень строптивыя и упорно-любивыя, въ которыя червь равнодушія заползаетъ лишь послѣ долгой борьбы, но и тѣ въ концѣ концовъ уступаютъ. Капля точитъ камень.

И вотъ передъ этими людьми встаетъ вопросъ: искать другихъ небось. Тамъ они тоже будутъ чужіе, но зато тамъ есть настоящее солнце, есть тепло, и уже рѣшительно не нужно думать ни о свѣтѣ, ни о жнгѣ, ни объ огурцахъ. Гуляй, свободный и безмятежный, по зеленымъ паркамъ и лѣсамъ, и ежели есть охота, то рѣнай въ голубѣ судьбы человѣчества.

Я высказываю здѣсь далеко не все, что можно было бы сказать объ этомъ предметѣ; я поднимаю только малѣйшій уголъ завѣсы, скрывающей безкопечную перспективу, но увираю—отъ одной мысли объ этой перспективѣ становится холодно.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ успѣхъ почему-то оказывается фиктивнымъ. Двоусловіе очевидно, и оно невольно заставляетъ предполагать, что рядомъ съ успѣхомъ идетъ нѣчто такое, что тутъ же, сейчасъ же подрываетъ его.

Въ немъ же однако-жь бѣда? откуда она идетъ и почему надъ нами стряслась?

Но тутъ я докажеть поставитъ точку и закончить словами, которыя докажутъ на всякій вопросъ представляютъ наиболее подходящій отвѣтъ, а именно: не наше дѣло.

## II.—Тревоги и радости въ Монрепо.

Мы живемъ среди полей  
И хлѣбъ дремучихъ...

Милѣншней осенью, живя въ Монрепо, я былъ неожиданно взволнованъ: въ наше село переводили столовую квартиру...

Въ деревнѣ подобныя извѣстія всегда производятъ переполохъ. Хорошо ли, худо ли живется при извѣстной обстановкѣ, но все-таки какъ-нибудь да живется. Это «какъ-нибудь»—великое дѣло. У меньшей брати оно выражается словами: «живы—и то слава Богу!» у культурныхъ людей—сладкою увѣренностью, что чаша бѣдствій выпита ужъ до дна. И вдругъ: нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! наготовѣ и еще цѣлый ушатъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?

Въ настоящемъ случаѣ поводы радоваться несомнѣнно существовали. До сихъ поръ мы жили совсѣмъ безъ начальства, какъ овцы безъ пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особенно намъ, культурнымъ людямъ, приходилось плохо. Работникъ загуляетъ или заспоритъ въ расчетѣ—какъ съ нимъ разсудиться? Въ хлѣбъ пропадетъ дерево или въ огородѣ срѣжутъ кочанъ капусты—къ кому звать объ отмщеніи? А съ мальчишками сельскими такъ просто сладу нѣтъ: обнеситесь отъ нихъ рѣшеткой—они подъ рѣшеткой лапы сдѣлаютъ; обройтесь канавой—черезъ недѣлю вся канавка изукрашена тронами. Какъ тутъ быть? Мировой судья судитъ отъ насъ въ двадцати пяти верстахъ; становой приставъ живетъ гдѣ-то ужъ совсѣмъ за болотами, такъ что легче въ Парижъ съѣздить, чѣмъ до него добратся. Сотскіе—мирволить; волостной старшина—тогъ на всѣ жалобы только икаетъ: «мигъ, дескать, до васъ, культурныхъ людей, дѣла нѣтъ!» Въ виду всего этого мигъ и самому не разъ-таки приходило въ голову: «вотъ кабы становой былъ поближе, тогда...» Стало-быть, теперь, когда желаніе мое было осуществлено, я имѣлъ, повидимому, полное основаніе считать себя довольнымъ и осчастливленнымъ.

Но были поводы и для опасеній, и прежде всего—неизвѣстность. Конечно, я имѣлъ о становомъ достаточно отчетливое понятіе, но о становомъ до-реформенномъ, котораго и въ глаза, и за глаза называли «куроцаломъ». Въ мѣст-

ностяхъ, изобиловавшихъ культурными людьми, это было существо вполне жалкое, въ потертомъ вицмундирѣ съ дрожжащими сзади фалдочками, съ воспаленными отъ дорожной пыли глазами, съ физиономіей, замасленной какъ блины и не имѣвшей никакого иного выраженія, кромѣ готовности во всякую минуту проглотить рюмку водки. И какъ дополненіе къ нему—становиха, сухая какъ щепка, вслѣдствіе непрерывныхъ беременностей, но и за всѣмъ тѣмъ беремонная. Такого станового, разумеется, опасаться было нечего. Но вѣдь съ тѣхъ поръ много воды утекло. Говорятъ, будто становымъ новые мундиры понесли, и съ тѣхъ поръ будто бы они приняли въ свое завѣдываніе основы и краеугольные камни. И еще говорятъ, будто они, «яко боги», получили даръ читать въ сердцахъ человѣческихъ, и что, вслѣдствіе сего, ежели прочтутъ въ чьемъ сердцѣ обращенное къ нимъ слово «куроцалъ», то сейчасъ же дѣлаютъ соответствующее распоряженіе. А наконецъ нѣкоторые утверждаютъ, что они самымъ названіемъ «становой приставъ» уже начинаютъ титоваться, признавая его не исчерпывающимъ всего содержанія ихъ дѣятельности, и ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ былъ такой титулъ, который прямо говорилъ бы о сердцевѣдннн, и чтобы въ сообразность съ нимъ было, разумеется, увеличено и самое содержаніе. Я не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ вѣроятія, но если вѣрно изъ нихъ хоть одно то, что становымъ дали новую обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Что будетъ, если «онъ», вмѣсто того, чтобы ограждать мон дуга отъ потравы, начнетъ читать въ моемъ сердцѣ? Прочтеть одну страницу, помуслитъ палецъ, перевернетъ, прочтеть другую и такъ далѣе до конца?

Въ виду этихъ сомнѣній я припоминалъ свое прошлое—и на всѣхъ его страницахъ явственно читалъ: куроцалъ! Затѣмъ я обращался къ настоящему и пробовалъ читать, что *теперь* написано въ моемъ сердцѣ; но и здѣсь ничего, кромѣ того же самаго слова, не находилъ! Какъ будто все мое міросозерцаніе относительно этого предмета выразилось въ одномъ этомъ словѣ, какъ будто ему суждено было не только заполнить прошлое, но и на мое настоящее и будущее наложить неизбежную печать!

Я испугался. Уныло ходить я по аллеямъ своего парка и инстинктивно перебиралъ въ умѣ названія различныхъ, болѣе или менѣе отдаленныхъ, городовъ. Потомъ пошелъ на мельницу, но и тамъ шумъ бѣгущей воды навѣялъ на

меня упыллы мысли. «Жизнь человеческая,—думалось мнѣ:— подобна этой водѣ. Сейчас мы видимъ ее заключенною въ бассейнѣ, а черезъ моментъ она уже устремляется въ пространство... куда?» Потомъ пошелъ по рѣкѣ къ тому мѣсту, гдѣ вчера еще стояла полуразрушенная бесѣдка, и, увидѣвъ, что за ночь вѣтеръ окончательно разметалъ ее, воскликнулъ: — Вѣтъ-можетъ, подобно этой бесѣдкѣ, и моя полуразрушенная жизнь...

Однимъ словомъ, какая-то неопредѣленная тоска овладѣла всѣмъ моимъ существомъ. Иногда въ умѣ моемъ даже мелькала кощунственная мысль: «а вѣдь безъ начальства, пожалуй, лучше!» И что всего несноснѣе: чѣмъ усерднѣе я гналъ эту мысль отъ себя, тѣмъ назойливѣе и образнѣе она выступала впередъ, словно дразнивая: лучше! лучше! лучше! Наконецъ я не выдержалъ и отправился на село къ батюшкѣ, въ надеждѣ, что онъ не оставитъ меня безъ утѣшенія.

Батюшка уже былъ извѣщенъ о предстоящей переимѣнѣ и какъ разъ въ эту минуту бесѣдовалъ объ этомъ дѣлѣ съ матушкой. Оба не знали за собой никакой вины и потому не только не сомнѣвались, подобно мнѣ, но прямо радовались, что и у насъ на селѣ заведется свой *jeune homme*. Такъ что когда я, послѣ первыхъ привѣтствій, нарисовалъ передъ ними образъ становаго пристава въ томъ видѣ, въ какомъ онъ сложился на основаніи молвъ до-реформенныхъ воспоминаній, то они даже удивились.

— Помилуйте! да вы о комъ это говорите?— воскликнулъ батюшка:— навѣрно про Савву Оглавскаго (былъ у насъ, въ древности, такой становой, который вполне заслужилъ это прозвище) вспоминаете? Такъ что при царѣ Горохѣ было, а нынче не такъ! Нынѣшняго становаго отъ гвардейца не отличишь— вотъ какъ я вамъ доложу! И мундирчикъ, и кеплѣ, и бѣлье! Одно слово, во всѣхъ статьяхъ драгунскій офицеръ!

— А какой у нашего новаго становаго образъ мыслей?— томово присвокупили матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не безъ волненія слушалъ эти похвалы, потому что онѣ подтверждали именно то, чего я боялся. Въ особенности напоминаніе объ «образѣ мыслей» встревожило меня.

— Говорятъ, будто онъ будетъ въ сердцахъ читать?— робко спросилъ я:— правда ли это?

— Вѣснѣе-премѣнно-сѣ.

— Помилуйте! да что же онъ тамъ прочтетъ? Что написано, то и прочтетъ. Ежели у кого написано: «не похваляется»— онъ и въ ремарку такъ занесетъ; а ежели у кого въ сердцахъ видется токмо благое послѣшніе— онъ и въ ремаркѣ напишетъ: «аттестуется съ похвалою!»

— Батюшка! да какъ же это? вѣдь онъ куроцалъ... Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже слегка помычалъ.

— Это прежде куроцалы были, а по нынѣшнему времени такихъ титуловъ не полагается,— холодно замѣтилъ онъ.— Но ежели бы и доподлинно такъ было, то для имѣющаго чистое сердце все равно, кому его на разсмотрѣніе предъавлять: и «куроцалъ», и «не-куроцалъ» одинаково найдутъ его чистымъ и одобренія достойнымъ! Вотъ ежели у кого въ сердцахъ свило себѣ гнѣздо злоумышленіе...

Батюшка остановился: онъ понялъ, что не великодушно добывать колкостями и безъ того уже убитаго человѣка, и съ видимымъ участіемъ спросилъ:

— Развѣ чувствуете какую-либо вину за собой?

Вопросъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мелькалъ онъ передо мной, но какъ-то въ туманѣ; теперь же, благодаря категорическому напоминанію батюшки, онъ вдругъ предсталъ во всей своей наготѣ.

— Бывало...— отгѣтилъ я уклончиво.

— Напримѣръ?

— Да вообще... вся жизнь... Вотъ хоть бы «филантропія» эти... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... Занимался. Какъ вы думаете, повредить это мнѣ?

— Смотри по тому. Разныя «филантропіи» бываютъ: и доброкачественныя, и недоброкачественныя. За первая— похвала, за вторыя— высканіе.

— То-то и есть, что я самъ своихъ «филантропій» не разберу. Прежде мнѣ казалось, что онѣ доброкачественныя, а вотъ теперь... Напримѣръ, такая мысль: хотя свобода есть драгоценнѣйшій даръ Творца, но она можетъ легко перейти въ анархію, ежели не обставлена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ будущемъ — взносомъ выкупныхъ платежей. Эту мысль я зарубилъ у себя на носу еще во время освобожденія крестьянъ и, я помню, былъ даже готовъ принять за нее мученичскій вѣнецъ. Какъ вы полагаете, каковъ эта «филантропія»? доброкачественная или недоброкачественная?



— По-моему — доброкачественная! Только вот «свобода»... Небольшое это слово, а разговору изъ-за него много бывает. Свобода! гм!.. что такое свобода? То-то вот и есть... Не было ли и еще чего в этомъ родѣ?

— Было и еще. Когда объявили свободу виноу, я опять не утерпѣлъ и за филантропію принялся. Проповѣдывалъ, что съ виномъ слѣдуетъ обходиться умненько: сначала въ день одну рюмку выпивать, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканъ, до тѣхъ поръ, пока долговременный опытъ не покажетъ, что пьяному море по колына. Въ то время кабатчики очень на меня за эту проповѣдь роптали.

Батюшка слегка поморщился.

— Какъ вамъ сказать? — произнесъ онъ: — большой недоброкачественности и въ этомъ не видится, а есть однако... Откровенно вамъ доложу: на вашемъ мѣстѣ я бы кабатчиковъ не трогалъ. Почему бы не трогать? — а потому, сударь, что кабатчикъ, по нынѣшнему времени, есть столпъ. Прежде были столпы-помѣщики, а нынче столпы-кабатчики. Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

— Но вѣдь по существу...

— По существу — это точно, что особенной вины за вами нѣтъ. Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода и что опю достигается? Въ какой мѣрѣ и на какой концѣ? Во благовременіи или не во благовременіи? Откуда и куда? Вотъ сколько вопросовъ предстоитъ разрѣшить! Начин-ка ихъ разрѣшать — пожалуй, и въ Сибири мѣста не найдется! А ежели бы вы, въ то время, вмѣсто «свободы»-то просто сказали: «улучшеніе, молъ, быта» — и дѣло было бы понятное, да и вы бы на замѣчаніе не попали!

— Но кто же могъ это предвидѣть? Кто могъ думать, что когда-нибудь становые будутъ читать въ сердцахъ?

— Мудрый все предвидитъ. Мудрый такъ поступаетъ: что ему нужно — выскажетъ, а себя подсадитъ — не допуститъ. Мудрый, доложу вамъ, даже отъ слова «филантропія» воздержится, а просто скажетъ: «благое, съ дозволенія начальства, поспѣшеніе» — и конченъ балъ!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то съ участіемъ покачалъ на меня головой.

— Впрочемъ, — продолжалъ онъ: — ежели настоящимъ мацеромъ разъяснить и притомъ съ раскаяніемъ...

— Да вы, батюшка, со становымъ-то знакомы? — ухватился за эту мысль я.

— Знакомъ достаточно. Малый отличѣйшій! Молодой человекъ, кенѣ и все такое... Строгонекъ, конечно, по... съ понятіемъ.

— Тамъ вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка вѣдь тутъ вся штука въ томъ, чтобъ дѣло было представлено въ надлежащемъ видѣ.

Къ моему удовольствію, батюшка согласился на мою просьбу. Онъ не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но обѣщалъ защитить меня отъ злостныхъ преувеличеній, къ которымъ навѣрное не усомнятся прибѣгнуть кабатчики, чтобы очернить меня передъ начальствомъ. Съ своей стороны, я вспомнилъ, что нынѣшней осенью мнѣ прислали сотню кустовъ какой-то неслыханной земляники, и предложилъ матушкѣ въ будущемъ году отдѣлить нѣсколько молодыхъ отростковъ для ея огорода.

На селѣ, видимо, ждали. Кабатчики числился и старались сообщить своимъ выставкамъ изысканный видъ. Однажды, проходя мимо меня, кабатчикъ Прохоровъ (онъ же по воскресеньямъ и праздникамъ открывалъ у себя сельскій танцклассъ) бойко приподнял картузь и поздравилъ:

— Съ начальствомъ-съ!

— Не боитесь?

— Напротивъ-съ. Даже съ надеждою ожидаемъ.

Я достаточно на своемъ вѣку встрѣчалъ новыхъ губернаторовъ и другихъ сильныхъ міра, но никогда у меня сердце не было такъ, какъ въ эти дни. Почему-то мнѣ вдругъ показалось, что здѣсь, въ этой глуши, со мной все можно сдѣлать: посадить въ холодную, выворотить наизнанку, истолочь въ ступѣ. Разумѣется, предварительно завинивъ въ измѣнѣ, что, при умѣннй бойко читать въ сердцахъ, сдѣлать очень нетрудно. Поистинѣ никогда я такого сквернаго чувства не испытывалъ.

Я понималъ, что я — російскій дворянинъ, по и только. Затѣмъ я искалъ кругомъ себя тына или ограды, къ которымъ можно бы, въ случаѣ нужды, прислониться — и не находилъ. Я не состоялъ на службѣ — слѣдовательно съ этой стороны защиты не имѣлъ. Я не пользовался громкимъ титуломъ — слѣдовательно никого не могъ пугнуть высокопоставленными связями. Я не былъ особенно богатъ — слѣдовательно никто не надѣялся, что я, подъ веселую руку, созову у себя во дворѣ толпу мужиковъ и

бабь, заставляю их пѣть и водить хороходы, и первымъ поднесу по стакану водки, а вторыхъ—одѣлю пряниками. Кромѣ того, я никого не ограбилъ, контрактовъ на продовольствіе арміи и флотовъ не заключалъ, пичьимъ имуществомъ насильственно не завладѣлъ и даже ни у кого ничего на законномъ основаніи не оттягалъ—слѣдовательно никому не внушилъ ни страха, ни уваженія. Это было до такой степени омерзительно, что многимъ казалось даже страшнымъ: зачѣмъ я живу? И уже навѣрное всякому думалось: «вотъ кабы на мѣсто этого разслабленнаго да поселился въ Монрепѣ лихой купчина Разуваевъ (мой соседъ по имѣнію), то-то бы веселье у насъ пошло!» Но этого мало. вмѣсто того, чтобы какъ можно безповоротнѣе позабыть, что я російскій дворянинъ, я съ удивительною назойливостью объ этомъ помнилъ. Я сохранилъ вкусъ къ разведенію садовъ и парковъ, что уже само по себѣ свидѣтельствуетъ о закоснѣлости; но, сверхъ того, я не «якшася» и—говорить даже—выказывалъ наклонность «задирать носъ». Существовалъ ли этотъ послѣдній фактъ въ дѣйствительности—по совѣсти, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но, вѣроятно, въ самой моей отчужденности («неякнаніи») было что-нибудь такое, что давало поводъ обвинять меня и въ «задраніи носа». И, разу мѣется, это еще больше раздражало: «мразь, а тоже, какъ мышь на круну надувается!»—въ одинъ голосъ твердили столпы-кабатчики.

Отлѣпавшій, отживающій, больной, я сидѣлъ въ своемъ углу, мысленно разрѣшая вопросъ: можетъ ли существовать положеніе болѣе апатическое, нежели положеніе російскаго дворянина, который на службу не состоитъ, ни княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ не обладаетъ, не заставляющаго бабь водить хороходы и, въ довершеніе всего, не имѣетъ достаточно денегъ, чтобы переселиться въ городъ и тамъ жить припѣваючи на глазахъ у вышшаго начальства.

Я ни въ земство, ни въ мировой институтъ не попалъ, и не только не попалъ, но ни разу даже не полюбоствовалъ, что дѣлается на съѣздахъ. Какъ-то всегда мнѣ казалось, что не зачѣмъ мнѣ тамъ быть, что я ни курить оимѣять, ни показывать кукишь въ кармапѣ, ни устраивать мосты и перевозки—однаково неспособенъ, а стало-быть...

Повторяю: никто не могъ ясно себѣ представить, зачѣмъ

я живу, и вслѣдствіе этого многіе думали и думаютъ, что я злоумышляю.

За всѣмъ тѣмъ, я не только живу, но и хочу жить, и даже, мнѣ кажется, имѣю на это право. Не одни умные имѣютъ это право, но и дураки; не одни грабители, но и тѣ, коихъ грабятъ. Пора наконецъ убѣдиться, что ежели отвѣять право на жизнь у тѣхъ, которыхъ грабятъ, то въ концѣ концовъ некого будетъ грабить. И тогда грабители вынуждены будутъ грабить другъ друга, а кабатчики—самодично выпивать все свое вино.

Я хочу жить, несмотря на то, что каждую минуту пахожусь въ ожиданіи, что вотъ-вотъ меня пѣчто слопасть. Что именно слопасть—я даже не стараюсь догадываться, а прямо огуломъ думаю: «все можетъ слопать». Ожиданіе это держитъ меня въ хроническомъ безпокойствѣ, заставляя смотреть на существованіе, какъ на что-то до крайности постылое, и все-таки не убиваетъ во мнѣ жажды жизни. Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ образомъ она такъ крѣпко укореняется въ человѣкѣ—я рѣшительно не понимаю, но хочу жить, хочу! Все думается, что какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу возможность приходить въ разрушеніе постепенно, самъ собою, въ силу естественнаго хода вещей... (Какой, однако-жъ, идеаль!) А еще больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладкаго трепета думается), что когда-нибудь купецъ Разуваевъ, введенный изъ терифія задраниемъ моего носа, вдругъ вынетъ изъ кармана кукишъ и скажетъ: «получай и уйди съ глазъ долой!» Господи! вотъ кабы... Какъ бы однако-жъ Разуваеву при этомъ невзначай не пагубить—вѣдь онъ, каналья, самолюбивъ! Онъ—самолюбивъ, и я—самолюбивъ; онъ потребуетъ, чтобы я колѣнно передъ нимъ выкинулся; а я—за это ему въ шею! Нѣтъ, ужъ такъ и быть, вытерплю! все вытерплю, даже колѣнно выкину, лишь бы... И тогда, заплучивъ кукишъ, уйду, уйду навсегда поселись въ городѣ, записнусь членомъ въ клубъ и буду каждый вечеръ забавляться въ табельку по четверти копейки за пунктъ.

Весь преданный тревогѣ въ ожиданіи начальства, я недольно спрашивалъ себя: «почему же *прежде* никогда этого со мной не бывало? почему я *прежде* не сомнѣвался въ себѣ, а *теперь*—сомнѣваюсь? почему я *прежде* не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло меня слопать, а *теперь*—не только предполагаю, но и вѣчно того ожидаю?» И, по вѣломъ размышленіи, долженъ былъ дать такой от-

вѣтъ: «потому что прежде не было раздѣленія людей на благонамѣренныхъ и неблагонамѣренныхъ, на благонадежныхъ и неблагонадежныхъ».

Понятій такихъ не было: а потому и лицъ, которымъ удобно было бы взвалить на плеча качества, соединенныя съ этими понятиями, не существовало. Была одна маркировка.

Никто не могъ себѣ представить, чтобы на всемъ лицѣ российской имперіи нашелся человекъ, которому можно было бы сознательно присвоить титулъ неблагонамѣреннаго или политически-неблагонадежнаго лица. Не упоминалось ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ камняхъ, а слѣдовательно не могло быть и рѣчи ни о подкапываніяхъ, ни о потрясеніяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ мѣстѣ, что никому не приходило даже въ голову полюбопытствовать, чтѣ тутъ такое стоитъ. Не было повода любопытствовать, да и прихотливыхъ людей почти совсѣмъ не существовало. Всякій проходилъ мимо самыхъ несомнѣнныхъ краеугольныхъ камней точно такъ же бездумно, какъ бездумно проходитъ любой маленькій чиновникъ свой ежедневный крестный путь отъ Несковъ до Главнаго Штаба или Сената. Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой онъ проходилъ вчера, существуетъ и нынѣ, и что она, по вчерашнему же, съ обѣихъ сторонъ ограничена домами — стало-быть, нѣтъ резона не существовать ей и завтра, и послѣ-завтра, и такъ далѣе безъ конца.

Бывали, правда, и въ то время базнокрады, вымогатели, взяточники, бывали даже люди, позволявшіе себѣ посить волосы болѣе длинныя, чѣмъ нужно. Но это были лишь отдѣльныя разповидности одной и той же семьи, существованіе которыхъ не компрометировало ни основу, ни краеугольныхъ камней. Или, лучше сказать, это были случайныя носители «злой воли», которые и наказывались, сколько кому надлежитъ, ежели не умѣли хоронить концы въ воду. «Ты казнокрадъ—шестувъ въ Сибирь; ты отростилъ гриву—садись на гаутвахту». Но о краеугольныхъ камняхъ не упоминалось, обобщеній не дѣлалось, и стремленія группировать людей на какія-то мнимыя сословія («охранителей» и «прогрессистовъ», какъ нѣкогда выразился академикъ Везобразовъ)—не существовало.

Понятно, что при такой простотѣ воззрѣній за-глаза достаточно было и куроцановъ, чтобы удовлетворять всѣмъ

потребностямъ благоустройства и благочинія. Въ ихъ вѣдѣніи была маркировка; а такъ какъ въ то время все было такъ подстроено, что всякій маркировалъ самъ собой, то куроцаны не суетились, не нюхали, но просто взимали дани, а въ прочее время шли безъ просыпу.

Но по мѣрѣ нашего соціальнаго и интеллектуальнаго развитія глаза палии все больше и больше раскрывались. И наконецъ раскрылись до того широко, что мы всю Россію подѣлили на два лагеря: въ одномъ — благонамѣренные и благонадежные, въ другомъ — неблагонамѣренные и неблагонадежные. А такъ какъ это дѣленіе происходило не на основаніи твердыхъ фактическихъ изслѣдованій, а просто явилось отгвѣтомъ на требованіе темперамента, взбудораженнаго преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, что на первыхъ же порахъ произошла путаница.

Наружныхъ признаковъ, при помощи которыхъ можно было бы сразу отличить благонамѣреннаго отъ неблагонамѣреннаго — нѣтъ; ожидать поступковъ — и мѣшкотно, и скучно. А между тѣмъ взбудораженный темпераментъ не даетъ ни отдыха, ни срока, и все подсказываетъ: ищи! Пришлось сказать себѣ, что въ этой крайности имѣется одинъ только способъ выйти изъ затрудненія — это сердце-вѣдѣніе.

Явился запросъ на сердце-вѣдѣніе — явились и сердце-вѣды. Мало того, явились и помощники сердце-вѣдовъ изъ числа охочихъ людей, публицисты, кабатчики, мелкіе торговцы, старшины, писаря, церковники...

Все это я выяснилъ себѣ очень хорошо, но, къ сожалѣнію, никакой пользы отъ этихъ разъясненій для себя не извлекъ. Главное, у меня не было увѣренности, что я самъ-то благонамѣренный. То-есть, я-то собственноручно очень твердо понималъ себя таковымъ, но не зналъ, какъ оно выйдетъ передъ судомъ сердце-вѣдѣнія.

Что я имѣлъ поводъ литать въ этомъ отношеніи сомнѣнія — въ этомъ убѣждалъ меня батюшка. Даже и онъ отозвался обо мнѣ какъ-то на-двоя. Сначала сказалъ: «доброкачественно», а потомъ присовокупилъ: «только вотъ свобода...» Только? И это, такъ сказать, съ перваго взгляда, а чтѣ же будетъ, если поискать вплотную? Да, «мудрый» такъ не поведетъ дѣла, какъ я его велѣи «Мудрый» покажетъ, чтѣ нужно — и сейчасъ въ кусты! А я? Впрочемъ, чтѣ же я, въ самомъ дѣлѣ, такое сдѣлалъ?



И ничего, и очень много—какъ посмотрѣть! И пятнадцать лѣтъ тому назадъ, и какъ будто только вчера—тоже какъ посмотрѣть. Тысяща лѣтъ яко день одинъ—для такихъ проказъ, пожалуй, и давности не полагается. «Свобода!»—право, даже смѣшно! Какъ это языкъ у меня повернулся? какъ онъ не отсохъ? А главное, какъ мнѣ не пришло въ голову замѣнить «свободу»—улучшеніемъ быта? А теперь расплачивайся!

И вотъ, несмотря на обнадеживанія батюшки, я безпокойно скитался по аллеямъ своего парка—и сравнивалъ. Сравнивалъ прошедшее съ настоящимъ, маршировку съ сердцевѣдвіемъ. И дошелъ наконецъ до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконецъ, однажды, поздно вечеромъ, ко мнѣ на мызу приѣхала батюшка и повѣстала: «привѣхалъ!»

Явился вопросъ объ этикетѣ: кому сдѣлать первый шагъ къ сближенію? И у той, и у другой стороны правъ были почти одинаковы. У меня было богатое дворянское происхожденіе, но зато настоящее было плохо и выражалось единственно въ готовности во всякое время слѣдовать, куда глаза глядятъ. У «него», напротивъ, богатое настоящее (всемогущество, сердцевѣдвіе и проч.), но зато прошлое резюмировалось въ одномъ словѣ: куроцанъ! Надо было устроить дѣло такъ, чтобы ничьему самолюбію не было нанесено обиды.

Но всестороннею обдуманіемъ, мы остановились на слѣдующемъ планѣ. И я, и «онъ» сойдемся въ домъ батюшки. Завтра, въ одиннадцать часовъ утра, я, какъ будто гуляя, зайду къ батюшкѣ, а въ то же время и «онъ», какъ будто гуляя, придетъ туда же. И такимъ образомъ произойдетъ пріятный сюрпризъ.

Вотъ именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пререканій, легко, пріятно. Батюшка былъ правъ: наше становой не только не напоминалъ собой Савву Оглашеннаго, но даже и на станового почти совсѣмъ не походилъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, сухощавый, легкій на ногу, съ манерами настолько добродѣтельными, что, казалось, онъ даже понятія не имѣлъ о бквернословіи. Мундирчикъ (совсѣмъ неожиданнаго для меня покроя) сидѣлъ на немъ какъ вылитый, дѣлая на талии ловкій перехватъ; мнѣ показалось даже, что онъ стукнулъ шпорами, когда я вошелъ. По-французски онъ не говоритъ, но нѣкоторыя русскія

слова произносили въ носъ и этикъ вводилъ въ заблужденіе. Сверхъ того, онъ помазилъ волосы и—что всего трогательнѣе—назывался Миліемъ Васильевичемъ Граціановичемъ.

Отнесся онъ ко мнѣ отлично; выразился, что давно искалъ случая со мной познакомиться, и хотя условно, но все-таки призналъ за мной нѣкоторыя литературныя заслуги. Но при этомъ, разумѣется, слегка пожурился за то, что я, въ первое время моей литературной дѣятельности, слишкомъ обобщилъ понятіе о куроцанствѣ и даже приписывалъ ему какое-то почти должностное значеніе.

— Быть-можетъ, и въ настоящую минуту, види меня, ты мысленно восклицаете: «вотъ куроцанъ!»—прибавилъ онъ, словно угадывая, что происходило въ глубинахъ моего сердца.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ, такъ что если бы онъ задумалъ дать своему вопросу дальнѣйшее развитіе, то я навѣрное бы во всемъ сознался. Но онъ очень мило скользнулъ по моей душевной ранѣ и перешелъ къ другимъ предметамъ. Чрезвычайно умно и тонко отзываясь о распорядкахъ губернскаго начальства, но не раболѣпствовалъ заочно, а, напротивъ, заявилъ, что само начальство «отъ насъ» раболѣпства не требуетъ. Сообщишь, что, по инициативѣ исправника, становые разъ въ мѣсяцъ собираются въ уѣздный городъ для обмѣна мыслей. На собраніяхъ этихъ, разумѣется, прежде всего читаются указы и предписанія и обсуждаются мѣры къ быстрому, точному и единообразному ихъ выполненію, но, кромѣ того, возбуждаются и нѣкоторые теоретическіе вопросы. Такъ, напримеръ, на послѣднемъ съѣздѣ разсуждалось о томъ, что могутъ означать слова закона: «съ скоростью и строгостью», и было рѣшено, что это значитъ: немедленно и не послабляючи. На будущемъ же съѣздѣ предполагаютъ прочитать рефератъ о томъ, какъ слѣдуетъ понимать выраженіе: «по точному оному разумѣнію».

— Вообще, я полагаю такъ: мы, становые, обязываемся держаться не буквы, а смысла,—прибавилъ онъ:—и въ этомъ именно заключается отличіе нынѣшней становой системы отъ прежней. Свободы больше! Свободы! Чтобы руки не были связаны чтобы для мѣропріятій было больше простору! Воздуху! Воздуху больше!

Разумѣется, я только качалъ головою и моргалъ глазами въ знакъ единомыслія, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно народному трибуну, восклицалъ: «свободы больше! сво-

боды!»—я такъ и думалъ, что голосъ его дрогнетъ. Однако онъ не только произнесъ эти слова совершенно безбоязненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжалъ свою profession de foi. Заявилъ, что читаетъ «Правительственный Вѣстникъ» какъ романъ и въ восторгѣ отъ «Сенатскихъ Вѣдомостей» («только надо уметь владѣть этимъ орудіемъ», сказалъ онъ), и затѣмъ нѣсколько неожиданно перешелъ къ перечисленію своихъ губернскихъ начальниковъ и при каждомъ имени незамѣтно, но несомнѣнно привставалъ на стулѣ, побуждая и насъ дѣлать подобное же движеніе. Потомъ опять перешелъ къ своему личному положенію и отозвался, что хотя онъ и маленький человекъ въ служебной иерархіи, но что и на маленькомъ мѣстѣ можно небольшую пользу государству принести, какъ это уже и предусмотрѣнно мудрой русской пословицей, гласящей: «лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой тараканъ». Что нынче, впрочемъ, различіе между малыми и большими должностями мало-по-малу стирается, и всѣ начинаютъ уже понимать, что въ сущности и большіе чины, и малые—всѣ составляютъ одну семью.

— Конечно, откуда это еще идеалъ, — прибавилъ онъ скромно:—но первые шаги къ осуществленію его уже сдѣланы. Не далѣе, какъ недѣлю тому назадъ, встрѣтилъ я на станціи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Фарафонтова, который прямо сказалъ мнѣ: «ты, братъ, не смущайся тѣмъ, что ты только становой! всѣ мы подъ Богомъ ходимъ!»

Высказавши все это, онъ умолилъ, и батюшка мигнуть мнѣ, что теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но такъ какъ въ выслушанной мною исповѣди заключалось еще нѣсколько не совсемъ ясныхъ для меня пунктовъ, то я и рѣшился предварительно предложить нѣкоторые вопросы.

— Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной становой системы, — сказалъ я. — Откровенное отношеніе къ начальству; быстрое, точное и притомъ однородное исполненіе предписаній; разъясненіе недоумѣній, возбуждаемыхъ выраженіями, въ родѣ: «по точному онаго разумѣнію»; стремленіе къ расширенію свободы мѣропріятій—это картина несомнѣнно грандіозная, достойная кисти великаго художника. Тѣмъ не менѣе это все-таки только идеалы или, лучше сказать, свѣточки, освѣщающіе становой путь... Къ сожалѣнію, на этомъ пути встрѣчаются общи-

тели, для которыхъ собственно эти идеалы и сочпляются. А такъ какъ къ числу обывателей принадлежу и я, то естественно меня должно интересовать, какъ относятся становая практика къ этимъ общими людямъ, которые, нѣрѣдко сами того не сознавая, могутъ представлять весьма серьезные преткновенія для самыхъ непоколебимыхъ становыхъ идеаловъ? Чего требуете вы отъ нихъ?

— Что касается до меня, — отвѣтилъ онъ:—то я понимаю свои обязанности къ обывателямъ такъ: во-первыхъ, образовывать въ средѣ управляемыхъ мною вѣрныхъ исполнителей предначертаній и, во-вторыхъ, — укоренять въ нихъ любовь къ труду. Только и всего.

— Понимаю. Такова, безспорно, воспитательная сторона становой практики. Но рядомъ съ нею, къ сожалѣнію, мы прѣбодимъ и сторону пресѣкательную. Встрѣчаются по временамъ субъекты, которые намѣренно... а впрочемъ, большею частью непамѣренно... ускользаютъ отъ воспитательнаго воздѣйствія и, разумеется, навлекаютъ этимъ на себя гнѣвъ... Какимъ образомъ, то-есть съ какою степенью строгости предполагаете вы поступать относительно нихъ?

Онъ на мгновеніе ввернулъ въ меня испытующій взоръ, но, не желая, вѣроятно, для перваго знакомства, подвергать меня замканию, — отвѣтилъ сурово:

— Я полагаю сихъ вредныхъ членовъ отсѣкать-сь.

— Совершенно понимаю. Но вѣдь для того, чтобы отсѣчь какъ слѣдуетъ, необходимо предварительно ихъ уличить...

— Сумѣемъ и это-сь.

— Стало-быть, вы будете ожидать поступковъ?

— Не думаю-сь.

— Будете читать въ сердцахъ?

— Вселенпремѣнно-сь.

Тогда произошло во мнѣ вѣчто чудное и торжественное: я вдругъ почувствовалъ, что все мое существо сладко заволновалось. И не скажу, чтобы это было раскаяніе—нѣтъ, не оно! — а скорѣе всего какое-то безграничное, неудержимое, почти дѣтское довѣріе! Приди и виждь!

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ предъявить вамъ мое сердце! — воскликнулъ я, устремляясь впередъ и чуть не захлебываясь отъ налива чувства.

— Я высказалъ это такъ искренно, что батюшка нѣсколько разъ сряду одобрительно кивнулъ мнѣ головою, а у матушки даже дрогнули на глазахъ слезы. Онъ самъ не

выдержалъ, взялъ меня за руку и, ничего еще не видя, крѣпко сжалъ ее.

— Проще всего, — продолжалъ я: — сознаюсь въ ниже-  
сѣдующемъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ я занимался  
«благими послѣдствіями» и при этомъ неподдежательно и  
дерзостно призывалъ мѣньшую братівъ къ общенію.

— Почему же «неподдежательно»? — перебилъ онъ меня  
мягко и какъ бы успокаивая. — По-моему, и «общеніе»...  
почему же и къ нему не прибѣгнуть, ежели оно, такъ ска-  
зать... И мѣньшаго брата можно приласкать... Ну, а на-  
до было — не прогнѣвайся! Вообще я могу васъ успокоить,  
что ничье словъ не боится. Даже сквернословіе, доложу  
вамъ — и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено  
въ приличной и почтительной формѣ. Дѣло не въ словахъ  
собственно, а въ тайныхъ намѣреніяхъ и помысленіяхъ,  
которые слова за собою скрываютъ.

— Вы слишкомъ добры, — отвѣтилъ я. — Я самъ прежде  
такъ думалъ, но нынѣ разсудилъ, что даже такое выра-  
женіе, какъ «кимвалъ бряцающій» — и то можетъ быть упо-  
требляемо лишь въ крайнихъ случаяхъ и съ такою при-  
томъ осмотрительностью, дабы не вводить въ соблазнъ!  
Вотъ какъ мой нынѣшній образъ мыслей!

— Вообще это правило, конечно, заслуживаетъ полного  
одобренія, но въ частности я нахожу, что и въ похваль-  
ныхъ чувствахъ необходимо соблюдать извѣстную сдержан-  
ность и не угаивать отъ начальства выраженій, сокрытіе  
которыхъ, съ одной стороны, могло бы поставить его въ  
недоумѣніе, а съ другой — свидѣтельствовало бы о недо-  
статкѣ къ нему довѣрія. Напримѣръ, вы сказали сейчасъ:  
«кимвалъ бряцающій» — какое это прекрасное выраженіе!  
а между тѣмъ, благодаря недостатку откровенности, очень  
можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвѣстно!  
А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чемъ  
заключались ваши филантропическія зацѣпы. Прошу про-  
должать — я весь вниманіе.

— Во-первыхъ, я, ничего не понимая и безъ всякаго  
па то уполномочія, ежесекундно, ежеминутно болталъ о  
свободѣ...

— О свободѣ-съ? зачѣмъ-съ? — переспросилъ онъ меня  
пѣсколько удивленно, но, впрочемъ, и на этотъ разъ, ради  
перваго знакомства, удержался отъ взысканія.

— Да, о свободѣ. И это происходило какъ разъ во  
время крестьянской эмансипаціи. При семъ я однако-жь

присовокуплялъ, что истинная свобода должна быть огра-  
ничена: въ настоящемъ — уплатой оброковъ, а въ буду-  
щемъ — вносомъ выкупныхъ платежей. И что ежели все это  
не будетъ выполняемо своевременно и безусловно, то свобода  
перейдетъ въ анархію, а анархія — въ военную экзекуцію!

— Что-жь! по-моему, это толкованіе «свободы» пра-  
вильное, и я думаю, что его приличнѣе назвать даже «со-  
дѣвіемъ»... Съ своей стороны, я готовъ доложить госпо-  
дину исправнику...

— Не въ томъ дѣло. Я и самъ знаю, что лучше этого  
толкованія желать нельзя! Но... «свобода»! вотъ въ чемъ  
вопросъ! Какое основаніе имѣлъ я (не будучи развращенъ  
до мозга костей) прибѣгать къ этому слову, коль скоро  
есть выраженіе, вполне его замѣняющее, а именно: улуч-  
шеніе быта?

— «Улучшеніе быта»? — вопросительно повторилъ онъ и  
затѣмъ ласково посмотрѣлъ на меня и махнулъ рукой,  
какъ бы говоря: твоя наивность приведетъ меня въ восхи-  
щеніе! — Продолжайте, пожалуйста! — предложилъ онъ.

— И еще я, тоже не понимаючи, утверждалъ, что не-  
обходимо дать дѣлу такое направленіе, чтобы, съ одной  
стороны, крестьянинъ сейчасъ же почувствовалъ, а съ  
другой — помѣщикъ сколь возможно меньше ощутилъ.

— Ну, такъ что-же-съ? — перебилъ онъ уже совсѣмъ  
изумляясь.

— Извините меня, но *теперь* я совсѣмъ не такъ думаю.  
Теперь, напротивъ, я убѣжденъ, что необходимо такъ дѣй-  
ствовать, чтобы ни крестьянинъ, ни помѣщикъ — никто не  
почувствовалъ и не ощутилъ! вотъ мой образъ мыслей —  
*теперь!*

Онъ на минуту сдѣлался серьезенъ; потомъ протянулъ  
мнѣ руки и сказалъ:

— Вы правы. Вы угадали мою мысль.

— Очень счастливъ. Но ежели за мой тогдашній зацѣпъ  
мнѣ суждено отвѣтствовать по всей строгости законовъ, то  
могу ли я, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что настоящая  
перемѣна въ моемъ образѣ мыслей будетъ принята во вни-  
маніе?

— Ежели эта перемѣна искренняя, то несомнѣнно бу-  
детъ. Въ этомъ я вамъ ручаюсь! я доложу и даже, въ  
случаѣ надобности... Но продолжайте, прошу васъ.

— И еще я утверждалъ, что необходимо поднять духъ  
обывателей...

— Затѣмъ-съ?

— Затѣмъ, во-первыхъ, дабы содѣлать этотъ духъ способнымъ къ воспринятію начальственныхъ мѣропріятій, и, во-вторыхъ, затѣмъ, чтобы, закончивъ опыты, сообщить ему ту пенкоколебимость, которая необходима въ видахъ перенесенія бѣдствій.

— Вы и теперь настаиваете на этой мысли?—спросилъ онъ, какъ бы опечаленный неожиданнымъ открытіемъ, которое въ ближайшемъ будущемъ, быть-можетъ, поставитъ его въ необходимость дѣйствовать относительно меня съ осторожью и строгостью.

— Итъ, и настаиваю,—отвѣчалъ я:—ахъ, да и могу ли я на чемъ-нибудь настаивать! Чтѣ мы такое? Временные путники въ этой юдоли—и больше ничего! Итъ, я не настаиваю, хотя признаюсь откровенно, что предметъ этотъ и теперь не настолько для меня ясенъ, чтобы я не нуждался въ начальственныхъ указаніяхъ. Вотъ объ этихъ-то указаніяхъ я и прошу васъ, при чемъ, конечно, заранее даю обязательство, что съ полнымъ довѣріемъ подчинюсь всякому рѣшенію, которое вамъ угодно будетъ произвести.

— Въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: лучше не поднимать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намѣренія ваши не были вполне противозаконны, но, знаете ли, самое слово: «поднять»... «Поднять»—всяко можно... понимаете: поднять! Итъ, ужъ покажется! пускай это праздное слово не омрачаетъ воспоминанія о свѣтлыхъ минутахъ, которыя мы провели при первомъ знакомствѣ съ вами! Выкиньте его изъ головы!

— Выкину и никогда къ нему не возвращусь!

— И съ Богомъ. Дальше-съ.

— И еще я утверждалъ—это происходило, когда объявили свободу вину,—что съ полугаромъ надо обращаться осмотрительно, не начинать прямо съ цѣлаго штофа, но постепенно готовить себя къ оному, сначала выпивая рюмку, потомъ двѣ рюмки, потомъ стаканы и т. д. Не смѣю скрыть, что этой филантропической выдумкой я возбуждалъ противъ себя неудовольствіе всѣхъ господъ кабатчиковъ.

— Гм!.. кабатчиковъ... Это, я вамъ доложу, серьезно!

— Неужели даже серьезно, нежели...

— Да-съ, серьезно. Не думайте однако-жъ, чтобы я покровительствовалъ пьянцамъ—пѣтъ, я имъ не потал-

чилъ! Но кабатчики—это совсѣмъ другое дѣло! Вы, господа обыватели, смотрите на вещи съ точки зрѣнія слишкомъ исключительной! вы моралисты—и ничего больше. Мы, становые, поставлены въ этомъ случаѣ въ положеніе болѣе благоприятное: мы относимся къ явленіямъ съ точки зрѣнія государственной. Но, сверхъ того, мы имѣемъ и нѣкоторыя особливныя указанія. Поэтому вы можете смѣло повѣрить мнѣ на-слово, если я вамъ скажу: не раздражайте! не раздражайте господъ кабатчиковъ, ибо въ настоящее время на нихъ покоится все наше упованіе!

— Вотъ и я имъ тоже говорилъ, что раздражать не слѣдуетъ,—откликнулся съ своей стороны батюшка.

— Не раздражайте!—продолжалъ Граціановъ, постепенно возвышая голосъ:—потому что даже я не могу поручиться, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ привести подобный необдуманннй образъ дѣйствія. Не раздражайте, потому что наконецъ я не имѣю права потерять, чтобы въ районѣ моего вѣдомства кто бы то ни было потрясалъ силу и авторитетъ магента! И не потерплю-съ.

Онъ не выдержалъ и, поднявъ вверхъ указательный палецъ, слегка помахавъ имъ около моего носа.

— Надѣюсь, что вы раскаяваетесь?—продолжалъ онъ, нѣсколько понизивъ тонъ, но все еще строго.

— Раскаиваюсь,—отвѣчалъ я:—но боюсь, что репутація моя въ глазахъ господъ кабатчиковъ настолько уже подорвана, что самое раскаяніе мое...

— Это я берусь устроить,—сказалъ онъ уже совсѣмъ снисходительно:—насъ, представителей правящихъ классовъ общества, такъ немного въ этой глуши, что мы должны дорожить другъ другомъ. Мы будемъ собираться и проводить вмѣстѣ время—и тогда сближеніе совершится само собою. Ну, а затѣмъ-съ... Не знаете ли вы и еще чего-нибудь за собою?

— Кажется, все. Но, впрочемъ, если бы что-нибудь упустилъ или совсѣмъ изъ вида упустилъ, то заранее каюсь во всемъ грѣшенъ.

— А я—заранѣе разрѣшаю и отпускаю...

Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже осмѣлился прямо поставить вопросъ такъ:

— Стало-быть, я могу надѣяться, что жизнь моя не будетъ неожиданннмъ образомъ прервана?

Онъ подумалъ немного, но затѣмъ твердымъ и рѣшительнымъ голосомъ сказалъ:

— Можете!

Это было даже больше, нежели я желалъ. Послѣ того разговоръ уже продолжался только для проформы.

Въ заключеніе онъ крѣпко пожалъ мою руку и даже чуть-чуть не поцѣловалъ меня. Но, поколебавшись съ минуту, казалось, сообразилъ, что еще недостаточно испыталъ меня, и потому отложилъ выполнение этого обряда до болѣе благоприятнаго времени.

— А теперь прощайте, господа!—сказалъ онъ, вставая:—и да хранитъ васъ Богъ. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрѣнія на предстоящія мнѣ обязанности, также какъ и на ту роль, которая отведена въ этихъ воззрѣніяхъ обывателямъ вѣрснаго мнѣ стана, то прошу пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ станovou квартиру. У меня будетъ приемъ урядниковъ.

Разумѣется, мы съ радостью согласились и затѣмъ, вмѣстѣ съ батюшкой, проводили его до квартиры. Я чувствовалъ, что съ моей души скатилось бремя, и потому весело и проворно шагалъ по грязи. Мысль, что нашъ путь лежитъ мимо кабака купца Прохорова, и что послѣдній увидитъ насъ дружески бесѣдующими, производила во мнѣ иѣчто въ родѣ сладкаго опьяненія. Наконецъ я не выдержалъ, и изъ глубины души моей вылетѣлъ вопросъ:

— Миліи Васильичъ! да скажите же наконецъ, въ какомъ заведеніи вы получили воспитаніе?

На что онъ скромно отвѣтилъ:

— Я получилъ воспитаніе очень недостаточное и именно въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей. Но по выпускѣ изъ онаго я поступилъ въ губернаторскую канцелярію и тамъ, видя ежедневно чиновниковъ особыхъ порученій его превосходительства, сумѣлъ воспользоваться этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вотъ, какъ видите... Что же касается до моихъ воззрѣній на жизнь и міръ, то я почерпалъ ихъ изъ предписаній и циркуляровъ моего начальства.

— Не можетъ быть! извините меня, но, право, глядя на васъ, я думалъ: навѣрное онъ получалъ воспитаніе... ну, но малой мѣрѣ, въ заведеніи Марцинкевича!

Онъ выслушалъ это предположеніе съ удовольствіемъ, но при этомъ очень мило погрозила мнѣ пальцемъ, какъ бы говоря: лжетецъ!

Вотъ рѣчь, которую онъ произнесъ, въ нашемъ присут-

ствіи, урядникамъ, собравшимся на другой день утромъ на дворѣ становой квартиры:

«Господа урядники! я собралъ васъ здѣсь, прежде всего, чтобы заявить во всеуслышаніе, что горжусь вами. При чемъ, конечно, ожидаю, что и вы, въ свою очередь, будете мною гордиться».

«Только взаимное и непрерывное горженіе другъ другомъ можетъ облагородитъ насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ; только оно можетъ сообщить соответствующій блескъ нашимъ дѣйствіямъ и распоряженіямъ. Видя, что мы гордимся другъ другомъ, и обыватели начинаютъ гордиться нами, а со временемъ, быть-можетъ, перенесутъ эту гордость и на самихъ себя. Ибо ничто такъ не возвышаетъ духъ обывателей, какъ видъ гордящихся другъ другомъ начальниковъ!»

«Въ этомъ заключается весь секретъ исторіи!»

«Затѣмъ я считаю великимъ изложить передъ вами краткѣ мой взглядъ на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внимательно».

«Во-первыхъ, вы должны знать *все*, что дѣлается въ вашихъ сотняхъ, потому что, только зная *все*, вы получите возможность обо *всемъ* доводить до моего свѣдѣнія. Я же обязанъ знать *все*, потому что, въ противномъ случаѣ, многое осталось бы мнѣ неизвѣстнымъ, чего я ни подъ какимъ видомъ допустить не могу».

«Чтобы знать *все*, нѣтъ никакой необходимости во вѣдѣтельности какихъ-либо сверхъестественныхъ или волшебныхъ силъ. Достаточно имѣть острый слухъ, восприимчивый не менѣе острымъ зрѣніемъ—и ничего больше. Въ Западной Европѣ давно уже съ успѣхомъ пользуются этими драгоценными орудіями, а по примѣру Европы и въ Америкѣ. У насъ же, при чрезвычайной простотѣ устройства нашихъ жилищъ, было бы даже непростительно пренебречь сими дарами природы».

«Но тамъ, гдѣ слухъ и зрѣніе оказались бы недостаточными, несомнѣннымъ подспорьемъ можетъ послужить цѣлесообразная и строго обдуманная система вопросовъ, которую я называлъ бы системою вопрошенія. Такъ, напримеръ, ежели вы встрѣчаете идущаго по улицѣ односельца, то первый и самый естественный вопросъ долженъ быть таковъ: куда идешь? Если же вы встрѣчаете на улицѣ не односельца, но лицо неизвѣстнаго происхожденія, то, кромѣ этого вопроса, надлежитъ предлагать еще слѣдующіе: от-



куда? зачѣмъ? гдѣ быть вчера? покажи, что несешь? кто въ твоей мѣстности сотскій, староста, старшина, господинъ, становой приставъ? И замѣтите, господа, нѣшто не вправѣ уклониться отъ отвѣтовъ на ваши вопросы, ибо фактъ уклоненія уже самъ по себѣ составляетъ неповиновеніе властямъ. Но, кромѣ того, онъ означаетъ и косвенное признаніе не виности чистыхъ намѣреній уклоняющагося. Невинный человѣкъ отвѣчаетъ немедленно, не ожидая подзатыльника; отвѣчаетъ быстро, порывисто, отчетливо, твердо, звонко. Напротивъ того, человѣкъ, за которымъ водятся грѣшныя, даже и по полученіи подзатыльника, путается, отвѣчаетъ уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью говорить: не твое дѣло! Таковыхъ надлежитъ, безъ потери времени, взявъ за караулъ, представлять по начальству, для изслѣдованія.

«Господа! я не безъ намѣренія остановился на этомъ предметѣ больше, чѣмъ нужно, ибо онъ есть фундаментъ, на которомъ зиждется наша станова я внутренняя политика. Съ помощью системы вопрошенія, а также при посредствѣ слуха и зрѣнія... а быть-можетъ, и обонянія... мы получаемъ такой богатый запасъ свѣдѣній и матеріаловъ, который стѣбитъ только надлежащимъ образомъ обработать, чтобы передъ нами предстала картина современнаго быта, такая картина, которая заставитъ содрогнуться начальственные сердца. Итакъ, сначала напишемъ эту картину—и чѣмъ смѣлѣе, тѣмъ лучше—а затѣмъ, разумеется, подумаемъ и о томъ, какъ слѣдуетъ поступить, дабы превратить ся неблагонамѣренное содержаніе въ благонамѣренное. Имѣя ее въ виду, мы бодро пойдемъ на встрѣчу злоумышленію, и ежели находящаяся въ нашихъ рукахъ ариаднина нить приведетъ насъ къ дверямъ логовища, то ужъ, конечно, не для того, чтобы осрамиться въ пемь, но для того, чтобы несомнѣнно и неминуемо обрѣсти личное!»

«Вторая ваша обязанность заключается въ слѣдующемъ: вы должны употребить все усилія, чтобы обыватели содѣйствовали вамъ. Чтобы достигъ этого, вы можете воспользоваться всеми имѣющимися у васъ преимуществами власти, начиная съ утѣщаній и кончая требованіями, не терпящими возраженій. Вы можете, въ случаѣ надобности, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содѣйствіе, о которомъ я говорю, намъ безусловно необходимо. Какъ это ни больно для нашего самолюбія, но должно со-

знаться, что если мы не будемъ имѣть прислѣпниковъ въ обывательской средѣ, то не исполнимъ и малой доли тѣхъ задачъ, кои намъ предстоятъ. Это одна изъ тѣхъ печальныхъ истинъ, съ которыми мы сразу должны примириться, съ тѣмъ, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Но, называя этотъ фактъ печальнымъ, я въ то же время имѣю право назвать его и радостнымъ, потому, во-первыхъ, что онъ вводитъ насъ въ общеніе съ обывателемъ, а во-вторыхъ, и потому, что дѣлаетъ сего послѣдняго нашимъ соучастникомъ. Я согласенъ, что онъ умаляетъ тотъ ореолъ всемогущества, которымъ мы были бы окружены, если бы обладали таковымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ограждаетъ насъ отъ злорѣчія и гласитъ во всеуслышаніе о чистотѣ нашихъ намѣреній. И, вдобавокъ, даетъ намъ случай дѣлать полезныя наблюденія и надъ самими содѣйствующими

«Но содѣйствіе, о которомъ идетъ рѣчь, можетъ быть тройкаго рода. Во-первыхъ, содѣйствіе дѣйствительное, плодотворное и безусловно полезное; во-вторыхъ, содѣйствіе не особенно полезное, но и не вредное; и въ-третьихъ, содѣйствіе положительно вредное.

«Дѣйствительнаго и истинно плодотворнаго содѣйствія вы можете ожидать по преимуществу отъ господъ кабачниковъ. Я говорю это прямо и смѣло, хотя и знаю, что у насъ принято называть это занятіе зазорнымъ. Я не раздѣляю этого предубѣжденія и слѣдовательно не могу допустить, чтобы его раздѣляли и вы. На свѣтъ нѣтъ зазорныхъ ремеселъ, ибо всякое ремесло вызывается насущною потребностью въ немъ. Господа кабачники, независимо отъ ихъ личной и всегда несомнѣнной благонадежности, драгоценны еще и въ томъ отношеніи, что они находятся въ непрерывномъ и тѣсномъ общеніи съ представителями самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ кабачкѣ стрелается все. Туда идетъ и добродѣтельный человѣкъ, и злодѣй, и мирный земледѣлецъ, и храбрый воинъ, и помѣщикъ, и золотарь. Выпивши добрую рюмку водки, человѣкъ дѣлается наклоннымъ къ общительности, а выпивши двѣ таковыхъ, онъ уже мало-по-малу начинаетъ давать этой наклонности ходъ. Еще стаканъ—и онъ готовъ. Спрашиваю васъ: кто изъ присутствующихъ при этихъ метаморфозахъ можетъ быть названъ достовѣрнымъ ихъ свидѣтелемъ?—и съ увѣренностью отвѣчаю: кабачникъ и только кабачникъ! Все кругомъ пьяно; даже сотскій, скромно

туть же сидицій, не всегда находится на высоте своего призванія; одинъ кабатчикъ всегда и неизменно трезвъ. Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять разнообразнымъ требованиямъ потребителей; онъ трезвъ, потому что такова задача его занятія. Однимъ словомъ, онъ трезвъ. Онъ одинъ имѣетъ возможность трезвенно проникать въ глубины человеческихъ сердецъ; онъ одинъ твердою рукою держитъ всѣ нити злоумышленій, какъ приведенныхъ уже въ исполненіе, такъ и проектируемыхъ въ ближайшемъ будущемъ. Вотъ почему мы такъ часто находимъ въ кабакахъ цѣлыя склады краденыхъ вещей. Но потому же самому мы обязаны отъ времени до времени прощать кабатчику его поношествованія къ обыту таковыхъ вещей и видѣть въ немъ дарованное намъ орудіе, которое, при добромъ руководствѣ, можетъ не только облегчить намъ трудъ неожиданными откровеніями, но и сообщить изысканіямъ нашимъ совершенно непредвидѣнное направленіе.

«Не особенно полезного, однако-жь и не вреднаго содѣйствія вы можете ожидать отъ господъ бывшихъ помѣщиковъ, нынѣ скромно именующихъ себя землевладельцами. Свѣдѣнія, добываемыя этимъ путемъ, представляютъ по преимуществу плодъ досужей говорливости и потому должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчивостью. Но, будучи очищены отъ того, что въ нихъ есть неожиданнаго и явно невозможнаго, и они могутъ по временамъ проливать лучъ свѣта на такіа извѣданыя человеческаго сердца, которыя, безъ легкомысленнаго указанія, могли бы остаться навсегда закрытыми для нашего наблюденія.

«Затѣмъ остается еще третьяго рода содѣйствіе, о которомъ я говорю лишь съ болью на сердцѣ и которое я уже ранѣе назвалъ прямо вреднымъ. Господа! я не нахожу достаточно словъ, чтобы предостеречь васъ отъ услугъ и предложеній сихъ содѣйствователей, и, дабы вы умѣли отличить ихъ, скажу всратцѣ объ ихъ происхожденіи. Въ послѣднія пятнадцать-двадцать лѣтъ, вмѣстѣ съ успѣхами наукъ и развитіемъ формъ общенія, у насъ появился особенный классъ злонамѣренныхъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ газетчиковъ и сочинителей. Профессія эта, главнымъ образомъ, направлена къ тому, чтобы разнообразными путями вводить стеновыхъ приставовъ въ заблужденіе, съ цѣлю испантанія ихъ способностей, а также и для осмѣя-

нія ихъ правовъ вообще. Люди эти иногда очень серьезно сообщаютъ намъ различныя какъ бы полезныя указанія и даже предлагаютъ проекты реформъ и законоположеній, которыя мы тоже, по чистотѣ нашей, принимаемъ за полезныя, но на днѣ которыхъ—увы!—лежитъ одна жестокая насмѣшка. Въ большей части случаевъ они дѣйствуютъ на насъ не прямо, а посредствомъ опубликованія аллегорій, но тѣмъ успѣшнѣе увлекаютъ въ соблазнъ и опутываютъ насъ своими сѣтями. Есть множество сочиненій, написанныхъ единственно съ цѣлю обмана, но притомъ съ такимъ сатанинскимъ искусствомъ, что чины, дѣйствующіе вдали отъ административныхъ центровъ и, такъ сказать, предоставленные самимъ себѣ, ничего не въ состояніи различить. Увлекаясь прескраснымъ слоюзомъ сихъ книгъ, они съ точностью слѣдуютъ злодѣйскимъ совѣтамъ, въ нихъ изложеннымъ, и ожидаютъ за сіе отъ начальства награды. Каково же бываетъ ихъ горестное изумленіе, когда, вмѣсто награды, изъ губерніи получается переводъ въ другую станцію, а иногда и предложеніе подать просьбу объ отставкѣ! Къ сожалѣнію, я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ двукратно былъ вводимъ подобнымъ образомъ въ заблужденіе. Однажды, когда, прочитавъ въ одномъ сочиненіи составленный якобы нѣкоторымъ городничимъ «Уставъ о печеніи пироговъ», я въ подражаніе оному написалъ: «Правила о томъ, въ какіе дни и съ какимъ масломъ надлежитъ вкушать блины», и въ другой разъ, когда, прочитавъ, какъ одинъ городничій на всѣ представленія единообразно отвѣчалъ: «не потеряю!» и «разорю!»—я, взявъ онаго за образецъ, тоже упродизилъ словесныя изысканія и замѣнилъ оныя звукоподражательностью. И въ оба раза, вмѣсто награды, я получилъ отъ начальства выговоръ, съ такимъ притомъ влупленіемъ, что книжками этого рода слѣдуетъ пользоваться лишь для того, чтобы поступать какъ разъ въ противоположность содержащимся въ нихъ указаніямъ! Вотъ почему я и предостерегаю васъ, господа урядники! Будьте вообще осторожны въ выборѣ вашихъ руководителей, но въ особенности опасайтесь льстивыхъ сочинительскихъ приманекъ, потому за конми можетъ ревностнаго урядника довести до изступленія!

«Третья ваша обязанность заключается въ наблюденіи за цѣлостью и неприкосновенностью нашихъ краугольныхъ камней. Вы знаете, о чемъ я говорю. Многие утверждаютъ, что камни сіи суть лишь недавнее изобрѣтеніе.

становыхъ приставовъ, но вѣдь для насъ важно не то, когда и кѣмъ что изобрѣтено, а то, что изобрѣтенное получило надлежащій ходъ и что, слѣдовательно, сила его для всѣхъ обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обладаете собственностью, сами имѣете семейства, чтите начальство, ходите въ храмъ Божій, такъ что если-бъ вы не были урядниками, то я сказалъ бы вамъ: идите, добрые люди, съ миромъ, и Богъ да поддержитъ васъ въ вашихъ похвальныхъ начинаніяхъ! Но въ качествѣ урядниковъ вы не имѣете права довольствоваться личнымъ исполненіемъ предписаній долга, но обязываетесь требовать, чтобы и другіе съ тою же мужественною непоколебимостью шли по стезѣ добродѣтели. Потому я приглашаю васъ, а въ крайнемъ случаѣ даже приказываю дѣйствовать въ этомъ смыслѣ съ неукоснительностью и неуклонностью. Само собою, однако-жь, разумѣется, что если бы въ районѣ вашихъ дѣйствій находились лица, не имѣющія собственности, то пѣтъ пужды заставлять ихъ приобрѣтать земли или дома, но вы можете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взаимно обладая собственностью, утѣшали себя уваженіемъ таковой.

«Въ-четвертыхъ, я желалъ бы, чтобы вы какъ можно дѣятельнѣе спосились между собою и сообщали другъ другу результаты вашихъ личныхъ наблюдений. А еще лучше бы, если бы вы, хотя разъ въ мѣсяцъ, собирались здѣсь, у меня, для совместнаго обсужденія возникающихъ въ вашей практикѣ вопросовъ и для полученія отъ меня обязательныхъ для васъ разрѣшеній и наставленій. Господа! я самъ ничего больше, какъ первый урядникъ вѣреннаго мнѣ стана, и хотя въ качествѣ становаго пристава стою во главѣ вашей дружины, но пользуюсь моимъ титуломъ лишь для того, чтобы, подобно недавно петрѣвинуемому со мной на станціи генералу Фарафонтьеву, объявить вамъ: и я, и вы—одна семья! Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ, всѣ тщетно спрашиваемъ себя: что сей сонъ значитъ? Будемъ же дѣйствовать единодушно и единомысленно и встанемъ грудью противъ общаго врага!

«За сямъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу васъ дать мнѣ время осмотрѣться, прежде нежели я рѣшу, какъ съ ними поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели *благонамѣренные* и есть *неблагонамѣренные*, есть *благонадежные* и есть *неблагонадежные*. Подобно тому, какъ и государства: бываютъ государства *благоустроенныя*,

но бываютъ и совсѣмъ разстроенныя. Все это, конечно, выяснится по мѣрѣ ознакомленія моего съ мѣстностью; а до тѣхъ поръ предлагаю вамъ одно: дѣйствуйте неукоснительно, но приберегите рѣшительный патиктъ, куда я, обнаживъ мечъ, не встану передъ вами съ кличемъ: горе строптивымъ!

«Вотъ все, что я имѣлъ вамъ сказать для перваго знакомства. Кажется, не забыть ничего. Но если бы вы встрѣтили въ моихъ словахъ поводъ для превратныхъ толкованій, то прошу обращаться ко мнѣ за разъясненіями: двери моей квартиры всегда будутъ открыты для васъ. Мнѣ даже пріятно будетъ васъ видѣть сколь возможно чаще, потому что урядникъ, въ ожиданіи разъясненій, можетъ помочь моей прислугѣ нарубить дровъ, поносить воды и вообще оказать услугу по домашнему обиходу.

«Прощайте, господа! Передайте мой привѣтъ отескимъ, и да благословитъ Богъ наши общія начинанія!

«Господа разсыльные! покажите примѣры!»

По этому слову произошло нѣчто умиленное. Разсыльные, въ числѣ шести человекъ, взяли за руки и стройно зашли «ура»; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиковъ), стоявшіе тутъ въ качествѣ постороннихъ зрителей, тоже увлеклись, и, взявши другъ друга за руки, съ нѣмымъ «ура», три раза прошлись взадъ и впередъ по селу.

Въ этотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозмездно угощалъ урядниковъ огурцами и квасомъ.

Замѣчательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со мною и памякая на то мѣсто въ рѣчи становаго пристава, гдѣ говорилось о тройкаго рода содѣйствіи, сказалъ:

— А васъ, господинъ, по второму номеру зачислили!

— А можетъ случиться, что и по третьему!—не безъ схиждства присовокунили присутствовавшій при этомъ другой кабатчикъ, купецъ Колупаевъ.

Хотя мнѣнія кабатчиковъ и не имѣли въ данномъ случаѣ официального характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мнѣ почудилась въ нихъ цѣлая программа. «Въ самомъ дѣлѣ,—думалось мнѣ:—по какому номеру зачислили меня Граждановъ: по второму или по третьему?» На первый номеръ я, конечно, и самъ не претендовалъ—куда ужъ мнѣ за кабатчиками гнаться,—но вотъ во второй... ахъ, хорошо, кабы во второй понасть! И вдругъ—въ третій!!!



Правда, онъ самъ далъ мнѣ слово, что жизнь моя не будетъ неожиданнымъ образомъ прервана, но вѣдь не даромъ гласить исторія, что по нуждѣ и закону переменна бываетъ—кто же можетъ поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?

Подъ вліяніемъ этой горькой мысли я началъ задумываться и хирѣть, и все чаще и чаще обращалъ взоры въ ту сторону, гдѣ благоденствовалъ безпечальный купецъ Разуваевъ. Вотъ кабы сбыть ему Монрепо и со всѣми потрохами: и съ земскимъ цензомъ, и съ политическимъ будущимъ, и съ перспективою пользоваться дружескимъ расположениемъ сталогого пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между тѣмъ Граціановъ не только не лишалъ меня своего покровительства, но все больше и больше обближался со мною. Обыкновенно онъ приходилъ ко мнѣ обѣдать и въ это время обмѣнивался со мной мыслями по всѣмъ отраслямъ сердцевѣдѣнія, при чемъ каждый разъ обнадеживалъ, что я могу смѣло быть съ нимъ откровеннымъ и что вообще, покуда онъ тутъ, я не имѣю никакого основанія тревожиться за свое будущее.

Я долженъ сказать правду, что собесѣдникъ онъ былъ вообще чрезвычайно пріятнымъ. Не вдругъ раскрылъ онъ мнѣ свою душу, но все-таки сразу далъ понять, что онъ либераль, а иногда даже обнаруживалъ такое пареніе, что я подлинно изумлялся смѣлости его мыслей. Такъ, напримѣръ, однажды онъ спросилъ меня, какъ я думаю, не пора ли переименованіе квартальныхъ надзирателей въ околоточные распространить на всѣ вообще города и мѣстечки имперіи, и когда я отвѣтилъ, что нахожу эту мѣру преждевременною, то онъ съ большою силою и настойчивостью возразилъ: «а я такъ думаю, что теперь именно самая пора». Въ другой разъ онъ какъ бы мимоходомъ спросилъ меня, какого мнѣнія я насчетъ фаланстеровъ, и когда я выразился, что опытъ военныхъ поселеній достаточно доказалъ непригодность этой формы общежитія, то онъ даже не далъ мнѣ развить до конца мою мысль и воскликнулъ:

— А я, напротивъ того, полагаю, что если бы военные поселенія и связанныя съ ними школы военныхъ кантонистовъ не были упразднены, такъ сказать, на разсвѣтѣ дней своихъ, то Россія давно ужъ была бы покрыта цѣлою сѣтью фаланстеровъ, и мы были бы и счастливы, и богаты! Да-съ!

Разумѣется, я слышалъ эти разсужденія и радостно из-

умлялся. Не потому радовался, чтобы самыя мысли, высказанныя Граціановымъ, были мнѣ сочувственны—я такъ себя, страха ради іудейска, вышколилъ, что мнѣ теперь на все наплевать,—а потому, что онѣ исходили отъ станогого пристава. Но по временамъ меня вдругъ ослѣпила мысль: «зачѣмъ однако-жъ онъ предлагаетъ мнѣ столь несвойственные своему званію вопросы?»—и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня пашквою.

Однажды онъ засидѣлся у меня послѣ обѣда дольше обыкновеннаго и, начавъ съ утопическихъ мечталій о томъ, какъ было бы хорошо, если бы въ обществѣ не существовало раздѣленія на богатыхъ и бѣдныхъ, кончилъ, разумѣется, тѣмъ, что далъ полный ходъ своей искренности.

— Скажу вамъ откровенно, — сознался онъ: — горѣть не могу я этихъ буржуа, хотя по обязанностямъ службы и долженъ ихъ поддерживать. Деньжищъ у нихъ пропасть—это правда, но ни благородныхъ манеръ, ни благородныхъ чувствъ, ни порядочныхъ привычекъ—ничего! Даже ѣдятъ безобразно. Зазвалъ меня, напримѣръ, па-дняхъ къ себѣ кабатчикъ Колупаевъ обѣдать и, представьте, чѣмъ угостилъ! Во-первыхъ, подали щи съ солониной, во-вторыхъ—лапшу, въ-третьихъ—ушине изъ баранины, потомъ крошечку изъ огурцовъ и кусочковъ корепной рыбы съ квасомъ и—наконецъ палушникъ съ медомъ... И въ довершеніе всего—ни вилокъ, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство такъ угощаютъ, то можно себѣ вообразить, какъ они ѣдятъ, когда у нихъ нѣтъ гостей! И что всего прискорбнѣе, нашъ милый батюшка, который тоже присутствовалъ на этомъ обѣдѣ, не только ѣлъ за обѣ щеки, но даже, какъ мнѣ кажется, спрягалъ кусокъ палушника за пазуху.

Не скрою, что и на меня перечисленіе сейчасть приведеннаго обѣденнаго меню подѣйствовало болѣзненно; но такъ какъ при этомъ, очевидно, не безъ преднамѣренности, проводилась связь между кушаньями и представленіемъ о политической роли буржуазіи, то обстоятельство это невольно налагало на меня известную осторожность.

— Съ своей стороны, я нахожу, что обѣдъ былъ хотя и простой, но сытный,—сказалъ я:—и это, по моему мнѣнію, главное. Единственный серьезный недостатокъ, въ которомъ можно упрекнуть поречисленное вами меню—это обиліе суповъ, сообщающее трапезѣ однообразіе и даже пѣкаторую унылость. Но недостатокъ этотъ вовсе не присущъ бур-

жуазин, а зависит преимущественно от того, что Колупаевъ живетъ въ захолустѣ, гдѣ не имѣется въ виду образцовъ.

— Но вы? вы сами? вѣдь вы въ томъ же захолустѣ живете, а между тѣмъ...

— Я... что-жъ я? Не забудьте, Милій Васильчъ, что я получилъ воспитаніе въ высшемъ учебномъ заведеніи. Поэтому я, конечно, понимаю, что суть обязательна только въ единственномъ числѣ, и что затѣмъ существуютъ еще сосы, жаркія, пирожныя и т. д. Но можно надѣяться, что въ недалекомъ будущемъ все эти представанія будутъ не чужды и буржуазин. Я даже думаю, что и нынѣ, по мѣрѣ приближенія къ центрамъ дивинизаціи, буржуазин ведетъ себя нѣсколько иначе, нежели Колупаевъ. Такъ что, напримѣръ, Поляковъ, Кокоревъ, Губонинъ—ну, я готовъ держать пари, что Поляковъ сморкается не въ горсть, а въ платокъ, и притомъ не въ клѣтчатый бумажный, а въ настоящій батистовый, быть-можетъ, даже вспрыснутый духами!

— Можетъ-быть... можетъ-быть-съ!—сказалъ онъ задумчиво, но потомъ съ живостью продолжалъ:—нѣтъ! далеко кулику до Петрова дня, купчинѣ до дворянина! Дворянинъ и маленькую рыбку подастъ, такъ сердце не нарадуется, а купчина тридцатинудовую бѣдугу на столъ выводитъ—смотреть омерзительно! Да-съ, обидѣли! обидѣли въ ту пору госнодъ дворян!

Увы! при этомъ воспоминаніи я чуть-чуть не выдалъ себя. Есть у меня зияющая рана, прикосновеніе къ которой всегда находитъ меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана—воспоминаніе о дворянской обидѣ.

— Ахъ, какъ обидѣли!—воскликнулъ я, простирая руки... Но, взглянувъ на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.

— То-есть, лучше сказать, не обидѣли,—продолжалъ я уже спокойнѣе:—а каждому воздали должное. Прежде у насъ была одна опора—дворяне, нынче двѣ опоры—дворяне и буржуа. Стало-быть, мы не потеряли, а приобрѣли.

— А про мужичка-то и позабыли?

— И мужичокъ—тоже опора,—согласился я.

— Нѣтъ-съ, не «тоже опора», а самая настоящая опора—вотъ какъ-съ! Потому что мужичка въ какую сторону хочешь, туда и поверни.

— И съ этимъ согласенъ.

— По секрету скажу вамъ, хоть это и не входитъ въ кругъ моихъ обязанностей, но по убѣжденіямъ моимъ и—демократъ! А вы?

— Что касается до меня, то я никогда объ этомъ не думалъ. Вообще я живу не думая—такъ по нынѣшнему времени удобнѣе. Но ежели начальству угодно...

— Начальству! Но развѣ начальство гдѣ-нибудь когда-нибудь сознавало свои истинныя пользы!

Это было уже слишкомъ. Я почувствовалъ, что еще мнѣ—и мы вступимъ на такую покатость, съ которой легко можно спуститься въ самую преисподнюю. Поэтому я рѣшилъ пресѣкъ недостойный разговоръ, съ силой воскликнувъ.

— Нѣтъ! Съ этимъ я никогда не соглашусь! Слышите, Граждановъ! Никогда! Никогда!

Я помню, послѣ этого разговора я цѣлый вечеръ былъ безпокоенъ и все испытывалъ себя, не провалился ли я въ чѣмъ-нибудь. И хотя совѣсть моя оказалась совѣстью чистою, по все-таки я долго ночью ворочался съ боку на бокъ, прежде нежели сонъ смежилъ мои очи.

Но—увы!—чѣмъ чаще мы сходились, тѣмъ скабрзистѣе и скабрзистѣе дѣлалась наша собесѣдованія. Ни одного красугольного камня не оставилъ онъ безъ изслѣдованія и обо всеѣхъ отозвался съ одинаковымъ ехидствомъ. О бракѣ, согласно съ опредѣленіемъ присяжнаго повѣреннаго Пржвальскаго, выразился, что это могила любви; о собственности сказалъ, что область ея «въ настоящее время» слишкомъ сужена, что надо расширить ея предѣлы, допустивъ притокъ свѣжихъ элементовъ, хотя бы, напримѣръ, казнокрадства, при чемъ указывалъ на хуца Разуваева, который поставкою гнилыхъ сухарей приобрѣлъ себѣ блаженство, и т. д. О религін пробормоталъ что-то такое, отъ чего у меня уни разомъ завяли, а о начальствѣ...

Хотя мое положеніе, во время этихъ разговоровъ, было очень выгодное, потому что мнѣ приходилось только защищать, но наконецъ мнѣ такъ наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословіе, что я рѣшился, въ свою очередь, испытать его.

— Скажите, пожалуйста, Милій Васильчъ,—обратился я къ нему:—отчего же вы въ рѣчи, обращенной къ урядникамъ, утверждали совершенно противное?

— Странный вопросъ!—отвѣтилъ онъ мнѣ, нимало не смущаясь:—но развѣ я имѣю право быть откровеннымъ съ урядниками? Я откровененъ съ начальствомъ—потому что

оно пойметъ меня; я откровененъ съ вами—потому что вы благородный человекъ... Но съ урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

— Хорошо-съ. А помните, когда я исповѣдывался передъ вами при батюшкѣ?..

— И тогда существовали тѣ же самыя причины. «При батюшкѣ!» Но что такое батюшка?

— Извольте, согласенъ я съ этимъ. Но надѣюсь, что теперь вы убѣдились, что я совсѣмъ не раздѣляю тѣхъ воззрѣній, которыя, повидимому, исповѣдусте вы?

— Да-съ, убѣдился-съ... хотя и съ болью въ сердцѣ... но убѣдился-съ!

— Ахъ, Милій Васильичъ! Какъ хотите, голубчикъ, а вы для меня сфинксъ!

— Къ сожалѣнію, я совсѣмъ не сфинксъ, а только ставной приставъ!—отвѣчалъ онъ печально, какъ бы подразумѣвая при этомъ: «будь я сфинксъ, давно бы ты узналъ, какъ Кузькину мать зовутъ!»

— Но замлинаю васъ именемъ всего священнаго! Отвѣйте мнѣ откровенно: врите вы или нѣтъ?—воскликнулъ я, почти не помня себя отъ страха.

— Вы меня оскорбляете наконецъ!—отвѣтилъ онъ, взвиваясь во всю длину своего роста:—хоть я и не что иное, какъ ставной приставъ, но скажу вамъ отъ души: для благороднаго человека это даже больно... «Врите вы или нѣтъ»!.. Ахъ!

Нѣсколько дней онъ какъ будто будировалъ и не ходилъ ко мнѣ. Въ это время изъ кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я не безъ удивленія узналъ, что они извлекаются какимъ-то вольнопрактикующимъ незнакомцемъ, Увы! Этотъ загадочный для меня человекъ настолько коротко сошелся съ моею прислугой, что не только ѣлъ и пилъ, но даже по временамъ почевалъ у меня на кухнѣ... И я ничего не зналъ объ этомъ! Разумѣется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грациановъ, послѣ недѣльной разлуки, опять, въ обѣденный часъ, явился въ моей столовой.

— Слушайте!—обратился я къ нему:—у меня въ кухнѣ поселился какой-то незнакомецъ... Скажите, могу ли я, по крайней мѣрѣ, запретить ему играть на гармоникѣ? Я не виновъ этого инструмента.

— Кто же это?—удивился онъ.

— Вфронтно, вы очень хорошо знаете, и кто, и зачѣмъ.

— Зачѣмъ?—повторилъ онъ за мной и вслѣдъ зачѣмъ зализалъ добродушнымъ смѣхомъ:—да очень понятно, зачѣмъ? Навѣрное у насъ на кухнѣ лишніе куски остаются, такъ вотъ... Ахъ, всё мы говядину любимъ!—прибавилъ онъ со вздохомъ:—но, разумѣется, ежели вы протестуете...

— Нѣтъ, я не протестую. Говядина и даже теллытина... не въ томъ дѣло! Но я желаю улеснить себѣ слѣдующее: не долженъ ли я считать пребываніе посторонняго человека въ моей кухнѣ за нарушеніе неприкосновенности моего очага?

— Нисколько.

— Очень радъ, что таково ваше мнѣніе. Садитесь, пожалуйста, и будемъ обѣдать.

— Но, можетъ-быть, вы еще сомнѣваетесь?—успокаивалъ онъ меня:—въ такомъ случаѣ скажу вамъ слѣдующее: человекъ, о которомъ вы говорите, есть не что иное, какъ простодушнѣйшее дитя природы. Если вы его попросите, то онъ самъ будетъ бдительно охранять неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! Потребуйте отъ него какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ какимъ удовольствіемъ онъ выполнитъ всякое ваше приказаніе!

Однимъ словомъ, онъ вновь успокоилъ меня. Наши отношенія возобновились, и я тѣмъ скорѣе забылъ недавнія недоразумѣнія, что по части краугольных камней я, въ сущности, не уступилъ бы самому правовѣрному изъ ставныхъ приставовъ. Въ одномъ только я опять не остерегся—это по вопросу о дворянской обидѣ.

— Обидѣли!—восклицалъ я:—такъ обидѣли, что даже въ исторіи не бывало примѣровъ болѣе горькой обиды! Въ исторіи—понимаете?—въ исторіи, которая потому только и признается научительною, что она сплошь изъ однихъ обидъ состоитъ!

Зачѣмъ я закусывалъ удила и начиналъ доказывать. Доказывалъ горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, насъ не спросили; во-вторыхъ, насъ не вознаградили за самое главнѣе... за наше право! въ-третьихъ, насъ поставили на одну доску... съ кѣмъ!!! въ-четвертыхъ, намъ любезно предоставили ликвидировать запни Обзупаевымъ и Разуваевымъ; въ-пятыхъ, насъ живьемъ отдали въ руки Колупаевымъ и Разуваевымъ; въ-шестыхъ...

Хорошо однако-жъ, что я, въ силу доказательствъ, имѣю привычку отъ времени до времени взглядывать на моего

собесѣдника. И вотъ, однажды, поднѣвъ глаза на Граціанова, я увидѣлъ, что все лицо его свѣтится улыбкою.

— Чему вы смѣетесь?—воскликнулъ я на этотъ разъ довольно грубо, потому что рѣшился наконецъ вывести эти улыбки на свѣжую воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.

— Тому я смѣюсь, что наконецъ-то и вы убѣдились!—сказалъ онъ.—Помните нашъ недавній разговоръ? Я говорилъ, что обидѣли господъ дворянъ, а вы утверждали, что не обидѣли, а только воздали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мѣрѣ, хоть теперь...

Но я уже не гнѣвался коварнымъ оправданіямъ и съ заискивающею отвѣтностью:

— Нѣтъ, нѣтъ! Не тому вы смѣялись, а совѣмъ другому... Вы думаете, что я наконецъ проговорился... Ну, такъ что-жь? Ну, обидѣли! Допустимъ даже, что я сказалъ это! Ну, и сказалъ. Ну, и теперь повторяю: обидѣли!.. что-жь дальше? Это мое личное мнѣніе—понимаете! Мнѣніе, а не поступокъ—и ничего больше! Надѣюсь, что мнѣніе... не наказуемо... чертъ побери! Развѣ я протестую? Развѣ я не доказалъ всею своею жизнью... Вотъ незнакомецъ какой-то ко мнѣ въ кухню влѣзъ, а я и то ни слова не говорю.. живи!

Однимъ словомъ, неумѣстною своею горячностью я чуть-было не довелъ дѣло до размолвки. Къ счастью энъ выказывалъ въ этомъ случаѣ замѣчательное самообладаніе и вмѣсто того, чтобъ обидѣться моими подозрѣніями, началъ очень мило и ловко меня урезонивать. Говорилъ ласковыми словами, и притомъ не на дьячковскій манеръ, — безъ знаковыхъ прещипанія, а тепло, сердечно, съ очевиднымъ участіемъ. Просилъ довѣриться ему, убѣждалъ, что хотя лично и не имѣлъ чести называться дворяниномъ, но всегда сочувствовалъ дворянской обидѣ... И вдругъ, въ то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться на встрѣчу его рѣчамъ, онъ совершенно неожиданно присо-вокупилъ:

— А что, не протестовать-то, чай, все-таки хочется?

Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я не выдержалъ.

— Никогда!—отвѣтилъ я рѣшительно и холодно.

— Чего ужъ тамъ: никогда!—по глазамъ вижу, что хочется! хочется! хочется!

— Повторяю вамъ: никогда!!!

— Но почему же наконецъ?

— Потому, во-первыхъ, что протестъ несочувственъ для меня лично, а во-вторыхъ, потому, что онъ не согласуется съ нашими традиціями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться другъ съ другомъ, могли выщипывать другъ у друга бороды по волоску, но протестовать... не могли! нѣтъ! никогда!

Я не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился въ кабинетъ, оставивъ его на досугъ размыслить, насколько имѣла успѣха, по отношенію ко мнѣ, его пресловутая «система вопрошенія».

И вотъ, однажды, онъ пришелъ ко мнѣ утромъ и, не говоря худого слова... поцѣловалъ меня!

— Давно ужъ я выжидаю этого момента и наконецъ теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желаніе!—воскликнулъ онъ, облизывая губы.

Разумѣется, я смотрѣлъ на него испуганными глазами.

— Не удивляйтесь,—продолжалъ онъ:— и выслушайте меня. При самомъ вступленіи моемъ въ должность, услышавъ отъ бабюшки о вашихъ опасеніяхъ, я сразу принялъ въ васъ самое горячее участіе. Послѣ того вы лично подтвердили мнѣ эти опасенія, при чемъ чистосердечно во всемъ сознались, и это еще больше меня тронуло. Я рѣшился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобъ вы не могли имѣть никакихъ сомнѣній насчетъ ея непрерывности. Но, разумѣется, по долгу службы, я долженъ былъ предварительно убѣдиться, что вы дѣйствительно этого заслуживаете. Съ этою цѣлю я, по обыкновенію, прибѣгнулъ къ системѣ вопрошенія и теперь, послѣ мѣсячнаго испытанія, могу, полагаю руку на сердце, свидѣтельствовать: вы не только удовлетворили всѣмъ моимъ требованіямъ, но даже предъявивъ нѣсколько болѣе, чѣмъ я ожидалъ. Я прикидывался ненавистникомъ буржуазіи, но вы доказали мнѣ, что послѣдняя имѣетъ несомнѣнные права на существованіе. Я облыжно называлъ себя демократомъ, но вы благородно мнѣ отказали въ нашемъ сочувствіи по этому предмету. Я кощунственно утверждалъ, что начальство само не сознаетъ своихъ пользъ, но вы съ негодованіемъ отвергли самое предположеніе о такомъ несознаніи. Когда же я съ притворнымъ участіемъ отнесся къ дворянской обидѣ, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этомъ выказывали такую беззащитную покорность судьбѣ, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиленія. Наконецъ—со-

знаться ли до конца?— и командировалъ къ вамъ на кухню особаго довѣреннаго человѣка, съ тѣмъ, чтобы онъ собралъ водъ рукой вѣрнѣйшя о вась свѣдѣнйя, и добытый этимъ изслѣдованіемъ результатъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: никогда, въ цѣломъ околоткѣ, не вдали столь твердаго въ бѣдствіяхъ землевладѣльца, какъ вы! Самые кабатчики—и тѣ о томъ съ умиленіемъ засвидѣтельствовали. Итакъ, отнынѣ всѣ недоразумѣнйя кончены. Вы—нашъ, и мы—ваши!

Высказавши это, онъ, конечно, ожидалъ, что я брошусь въ его объятія; но я молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

— Забытъ. Вы даже мнѣ лично оказали неоцѣненную услугу, разъяснивъ разницу, которая существуетъ между помыслами обывателей и ихъ поступками. Это въ значительной степени упрощаетъ задачи внутренней политики, хотя, съ другой стороны, въ такой же степени умаляетъ ихъ блескъ. Во всякомъ случаѣ... благодарю!

Онъ протянулъ ко мнѣ обѣ руки, но я съ самаго начала этой сцены до того растерялся, что руки эти такъ и остались протянутыми въ пространство. Тогда онъ фамильярно потрепалъ меня по плечу и произнесъ:

— Привыкнете, мой другъ, привыкнете!

Въ тотъ же день кабатчикъ Колупаевъ пригласилъ меня къ себѣ на вечерку, предупредивъ, что у него соберется вся наша сельская интеллигенція для игры въ ступокку.

И я былъ тамъ, игралъ съ Граціановымъ и другими гостями въ ступокку, проигралъ цѣлую уйму пятаковъ, говорилъ комплименты кабатчицѣ Колупаевой, ухаживалъ за ея дочкой, пилъ водку, закусывалъ рыжей икрой и на ушкиномъ вѣзъ говяжьей студень съ хрѣномъ. Вообще, по оказанному мнѣ радушному приему, я убѣдился, что кабатчики наконецъ примирились со мной и допустили меня въ свою среду. Нѣтъ сомнѣнйя, что я былъ обязанъ этимъ Граціанову.

Послѣ этого у насъ началось настоящее веселье, и Граціановъ оказался истиннымъ мастеромъ по части соединенія общества. Вечера слѣдовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потомъ у другого кабатчика, Осмушниковова, а наконецъ я и самъ задать пиръ на весь міръ. Мало того: когда Граціановъ, по секрету, сообщилъ мнѣ, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принялъ участіе въ сватовствѣ и очень довко вывѣдалъ у родите-

лей, что за невѣстой будетъ дано пятьсотъ рублей деньгами и, кромѣ всякаго платья, лисій «могтонъ», четыре перины, два самовара и мериносовый платокъ.

Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидалъ, что Граціановъ опять поцѣлуетъ меня. Не то, чтобы мнѣ были антипатичны собственно административныя поцѣлуи, но, будучи характера нелюдимаго и малообщительнаго, я вообще не имѣю къ поцѣлуямъ пристрастія.

И вотъ я вспомнилъ, что въ губернн служилъ, въ качествѣ очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ товарищей по школѣ, и отправился въ городъ съ цѣлью, во что бы то ни стало, разъяснить себѣ вопросъ: имѣетъ ли право Граціановъ цѣловать меня по своему усмотрѣнію? Мой старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю исторію моихъ сношеній съ Граціановымъ и всѣ дѣйствія послѣдняго нанель въ высшей степени легкомысленными. Во-первыхъ, онъ не имѣлъ права принимать мою исповѣдь и, во-вторыхъ, еще меньшее право имѣлъ подвергать меня испытанію. Онъ просто-на-просто долженъ былъ ожидать поступковъ.

— Что же касается до поцѣлуевъ, — прибавилъ мой другъ:—то я ничему другому не могу приписать это, какъ дурной привычкѣ, приобретенной имъ, вѣроятно, еще въ училищѣ для дѣтей канцелярскихъ служителей.

Но этого мало: онъ убѣдилъ меня, что въ настоящее время порядочный человѣкъ не только не имѣетъ причинъ опасаться внезапныхъ жизненныхъ метаморфозъ, но даже обязывается жить для славы своего отечества.

— Ты самъ виноватъ, душа моя, — сказалъ онъ: — съ одной стороны ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи, а съ другой—черезчуръ ужъ смиренъ и не выказываешь ни малѣйшей самостоятельности. Будь тверже, голубчикъ, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще можетъ быть полезною.

И я живу.

### III.—Монрепо-усыпальница.

Мало-по-малу тревога, возбужденная во мнѣ появленіемъ на нашемъ сельскомъ горизонтѣ Граціанова, улеглась. Да ежели говорить по правдѣ, и тревожнаго тутъ ничего не



было, и только исключительныя условія, составляющія мою личную особенность, могли содѣйствовать возведенію такого пустого факта на степень перенолоха. Дѣло въ томъ, что у меня съ малыхъ лѣтъ напугано воображеніе, и напуганно, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я ничего другого не видѣлъ передъ собою, кромѣ начальниковъ; всю жизнь мнѣ твердили: туна ариеметика, косноязычна грамматика, ежели нѣтъ въ сердцѣ спасительнаго начальственнаго трепета. Сначала я смотрѣлъ на родителей, какъ на начальство; потомъ поступилъ въ завѣдываніе воспитателей, которые тоже надувались и говорили: «мы — вѣне начальство», а наконецъ и вправду попалъ начальству въ руки. Ну, натурально, испугался. Наносилъ дѣхъ спрятался въ Монренд и думалъ: ужъ тутъ-то меня не постигнетъ начальственный взоръ, — и вдругъ Граціановъ!..

Lui, toujours lui!

Но въ сущности, повторяю, всѣ эти тревоги — фальшивыя. И ежели отрѣшиться отъ мыслей о начальствѣ, ежели побѣдить въ себѣ потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать себѣ: за что же начальство съ меня будетъ взыскивать, коли я *ничего не дѣлаю*, и ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и стаповые, и урядники, — все это нѣчто эфемерное, скоропреходящее, на нескѣ построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться въ губернію), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни отъ кого запрета нѣтъ...

А умирать — пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, гдѣ слышался голоса только безчисленнаго множества темпераментовъ, гдѣ падающіе не знаютъ, на кого они падаютъ, а защищающіеся — отъ кого они обороняются, гдѣ нѣтъ рѣчи объ идеалѣ, а мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы — въ такой суматохѣ ничего лучшаго не придумаешь, какъ схорониться въ укромномъ мѣстѣ и тамъ — пачать умирать.

«Тамъ», то-есть въ Монренд. Нигдѣ не найдется для самаго прихотливаго умиранія такого простора, такой тишины, такой безусловной изолированности; нигдѣ нельзя такъ незамѣтно и естественно окупнуться въ области неизвѣстнаго. И ежели я говорю, что въ качествѣ усыпальницы Монрендъ представляетъ собою нѣчто ни съ чѣмъ несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей

совѣсти, а совѣсть не въ видѣ рекламы. Мало того: я вполне искренно утверждаю, что наши фрондирующіе помѣщики слишкомъ мало принимаютъ въ расчетъ это свойство принадежащихъ имъ Монренд и только поэтому такъ дешево сбываютъ ихъ всевозможнымъ хищникамъ новѣйшей формаціи, которые спѣшатъ обратить ихъ въ кабаки.

Прежде всего, какъ на отличительную особенность Монренд, я могу указать на полнѣйшее отсутствіе угнетеній медицины. Я не отрицаю заслугъ врачебной науки и ея служителей, но мнѣ кажется, что ежели разъ человѣкъ рѣшилъ, что жить довольно, то при извѣстной дозѣ порядочности даже не совсѣмъ прилично обороняться отъ смерти. Пускай люди, исполненные цвѣтенія и силъ, мечтаютъ о жизни — это ихъ право; человѣкъ умирающій, въ видахъ собственнаго огражденія, долженъ забыть и о цвѣтеніи, и о силѣ, и вообще о какихъ бы то ни было правахъ на жизнь. Единственное баловство, которое ему разрѣшается, — это по возможности устроить удобную обстановку для предстоящаго умиранія. А въ этомъ смыслѣ, опять-таки повторяю, Монренд неопѣвально. Въ городѣ никакъ не выдержишь, непременно начнешь обороняться. Обратишься къ человѣку науки, который затормозитъ естественный процессъ умиранія, подольеть въ лампаду чего-то не настоящаго, а «замѣняющаго», и заставить ее лишній срокъ чадить. Въ Монренд подобное малодушіе уже по тому одному немислимо, что тамъ нѣтъ ни мужей науки, ни «замѣняющихъ» снадобьевъ. Обитатель Монренд потухаетъ самъ собою, естественно, неизбежно. Потухаетъ съ отраднымъ убѣжденіемъ, что послѣдній его мерцаніе не отравилъ окрестности запахомъ злouxальной гари, которая, при другихъ, менѣе благоприятныхъ условіяхъ, непременно въ конецъ измучила бы человѣка, замѣнивъ подлинную лизлѣдѣтельность искусственнымъ калѣчествомъ.

Но, сверхъ того, истинно «сладкое» умираніе возможно только подъ условіемъ полной и невозмутимой тишины. И этого условія ни въ городѣ, ни даже въ деревнѣ не добудешь, а найдешь въ одномъ Монренд. Вездѣ царитъ либо рабочая суета, либо разгулъ; наконецъ вездѣ отыщутся друзья, люди, принимающіе участіе, любознательные. Только въ Монренд пѣтъ ни работы, ни разгула, ни друзей, ни любознательныхъ — развѣ это не блаженство? Ничто не шлохнется кругомъ, ни одинъ звукъ не помѣшаетъ есте-

ственному потуханию. Особенно зимой. Монреид. потопу-  
внее в сугробах снѣга—да это земной рай!

Природа оцѣневѣла; домъ со всѣхъ сторонъ сторожить садъ, погруженный въ непробудный сонъ; прислуга забралась на кухню, и только смутный гудъ напоминаетъ, что гдѣ-то далеко происходитъ галдѣніе, выдающее себя за жизнь; въ барскихъ покояхъ или шороха; даже мыши — и тѣ беззвучно перебѣгаютъ изъ одного угла комнаты въ другой. Сидишь себѣ въ креслѣ одинъ-одинешенекъ, или бродящъ усталыми ногами взадъ и впередъ по заустѣлой анфиладѣ — и чувствуешь, ясно чувствуешь, какъ постепенно внутри у тебя таетъ и погасаетъ. Но совѣсти говорить: слаще этого чувства нѣтъ. Къ нему можно пристраститься до упоенія, съ нимъ можно возмыслиться до одичалости. Даже провинціонная привилегія — и та не можетъ идти въ сравненіе съ этой прекраснѣйшей привилегіей постепеннаго умирания среди сладчайшей тишины.

Память, людямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и иныхъ годовъ, это въ особенности понятно, потому что съ нами въ послѣднее время случилось нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Все-то мы жили да жили и вдругъ потеряли что-то самое нужное и разумъ сдѣлалась неспособными принимать участіе въ дѣлахъ и вещахъ современности. Я знаю, что и между нами найдутся личности, которыя не прочь еще похорохориться, устроить недоразумѣніе и погарцовать передъ застигнутой врасплохъ толпой, въ качествѣ заправскихъ дѣятелей; но большинство отлично понимаетъ, что является въ публичку съ запасомъ забытыхъ словъ — именно значить только длить безплодные недоразумѣнія. Положимъ, что эти выщипанія слова въ былое время были полны содержанія и освѣщали жизнь, но какое дѣло до нихъ современности? Въ былое время они были и хороши, и необходимы, а теперь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она представляется мнѣ не иначе, какъ въ видѣ ящичка съ двойнымъ дномъ. Въ которомъ днѣ обрѣтается «настоящая штука» — поди, угадай! Да и какая еще «штука» — можетъ-быть, райская птица, можетъ-быть, крокодилъ? И помолже, половчѣе насъ люди — и тѣ не угадываютъ, а только поневолѣ какъ-нибудь изворачиваются, наудачу хватаются за первое, что подѣ руку попадетъ. Именно поневолѣ, потому что эти люди уже фаталистически «обречены» жить, а стало-быть и изворачиваться. А мы обре-

чены умирать и слѣдовательно отъ угадываній свободны. Но, по-моему, это-то именно и есть настоящее благо. Это тѣмъ болѣе благо, что, вемогрѣвши пристальнѣе въ проносающуюся мимо насъ сутолоку современности, но совѣсти нельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна должна быть роль дѣятеля среди этой жизни съ двойнымъ дномъ!

Да, такая жизнь болѣе нежели мучительна — она по-стыдна. Передъ глазами мечется какая-то безконечно-фантастическая сказка: не разберешь, что тутъ дѣйствительность и что — сонное видѣніе. Навреальнѣйшіе съ перваго взгляда факты — и тѣ являются въ сопровожденіи такихъ подозрительныхъ околичностей, которыя отнимаютъ у нихъ всѣ признаки подлинной реальности. Все окружающее, вся жизнь — все служитъ источникомъ самыхъ извѣстныхъ вопросовъ, и что всего мучительнѣе — ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ вы не найдете нигдѣ вполне вразумительнаго отвѣта. Я могъ бы назвать здѣсь цѣлую свиту вполне несомнѣнныхъ и доказательныхъ фактовъ, которые несомнѣнно подтвердили бы и объяснили мою мысль, и тѣмъ не менѣе не называю ихъ. Почему же я не называю ихъ? А потому именно, что всечасно и всеминутно ощущаю себя зацементированнымъ между двойнымъ дномъ. Въдѣ все равно, — говорю я себѣ: — изъ моихъ указаній ничего не выйдетъ, такъ лучше ужь я... ахъ, какая масса тутъ малодушія, предательства, лганья!

Но ежели немислѣмы опредѣленные отвѣты, то очевидно, что не мыслимы ни правильныя наблюденія, ни вполне твердыя обобщенія. Ни жить, стало-быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. Вездѣ — двойное дно, въ виду котораго именно только изворачиваться можно или идти невѣдомо куда съ завязанными глазами. Представьте себѣ, что вы нечаянно попали въ комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество Эзоповъ, которые ведутъ оживленный разговоръ — и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти съ ума.

И вотъ, для того, чтобы не быть обязаннымъ ни жить, ни понимать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дѣло — это затвориться въ Монреид. А если при этомъ и самая охота къ жизни пропала, то это ужь и совсѣмъ хорошо. Правда, что есть у насъ, культурныхъ людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые все-таки болѣе или менѣе препятствуютъ полному забвенію жизни;

но тут уже необходимо принять героическія мѣры. А именно: разомъ прекратить доступъ для всего, что напоминаетъ о книгопечатаніи и сопряженныхъ съ нимъ учрежденіяхъ. Въ противномъ случаѣ двойное дно проникнетъ и въ Монрепо.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ дномъ, и литература не можетъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. Газеты, напиримѣръ, положительно могутъ измучить. Помѣщая на столбцахъ своихъ факты, повидимому, самые обыденные, онѣ будутъ ежедневно пробуждать въ отшельникѣ цѣлый рой томительныхъ сповидній. Произвели, напиримѣръ, коллежскаго совѣтника Растопырю за отличие въ слѣдующій чинъ—кажется, что можетъ быть проще, обыденнѣе этого извѣстія? А между тѣмъ\* вдумайтесь въ него, и вы удивитесь, какой безконечный рядъ томительнѣйшихъ вопросовъ поднимется передъ вами по его поводу! Во-первыхъ, вопросы высшаго порядка. Подлинно ли Растопыря заслужилъ производство въ слѣдующій чинъ? Не было ли тутъ интриги, nepотизма, лакоинства, не скрывается ли за этимъ фактомъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это—вопросы важные, существенные, ибо при утвердительномъ отвѣтѣ на нихъ («да, по ходатайству Гулакъ-Артемовской») воображенію представляется картина развращенія правовъ, а при отвѣтѣ отрицательномъ—картина чистоты правовъ. Согласитесь, что для патриота своего отечества это далеко не безразлично. Затѣмъ опять вопросы: сумѣетъ ли Растопыря въ новомъ чинѣ заслужить то довѣріе начальства, которое онъ умѣлъ заслужить въ старомъ чинѣ? какихъ облегченій вправѣ ожидать отъ него отечество, буде онъ и впредь съ такою же неуклонностью будетъ подвигаться по лѣстницѣ почестей и отличій? А наконецъ и вопросы порядка низшаго, личнаго. Какимъ образомъ, милостивымъ или немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепо и скрывающагося въ немъ отшельника? не найдетъ ли онъ, что самый фактъ отшельничества есть фактъ подозрительный, вѣскущій за собой лишеніе хотя и не всѣхъ,—у Растопыри доброе сердце,—то хотя нѣкоторыхъ правъ состоянія? И ежели это фактъ подозрительный и вѣскущій, то... И такъ далѣе, и такъ далѣе.

Какію отвѣты я найду на эти вопросы въ газетахъ? положительно никакихъ! Такъ зачѣмъ же мнѣ знать объ этомъ производствѣ? зачѣмъ и буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, гдѣ этотъ скромно вы-

глядывающій съ газетнаго столбца Растопыря, быть-можетъ, явится въ такомъ угрожающемъ видѣ, который все мое существо наполнитъ испугомъ? И что всего важнѣе—испуготъ напраснымъ, ибо я знаю навѣрное, что Растопыря—малый доброжелательный, который если и позволитъ себѣ лишнить меня нѣкоторыхъ правъ состоянія, то не иначе, какъ въ видахъ моей же собственной пользы.

А потомъ пойдутъ газетные «слухи»... ахъ, эти слухи! Ни подать руку помощи друзьямъ, ни летѣть навстрѣчу врагамъ—нѣтъ крыльевъ! Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Сиди въ Монрепо и понимай, что ничто человеческое тебѣ не чуждо и; стало-быть, ничто до тебя не касается. И не только до тебя, но и вообще не касается (въ Монрепо, вслѣдствіе изобилія досуга, это чувство некасавости какъ-то особенно обостряется, дѣлается до болѣзненности чувтвмъ). А ежели не касается, то изъ-за чего же терзать себя?

Нѣтъ, все это надобно прекратить. Не нужно ни журналовъ, ни газетъ,—тѣмъ больше не нужно, что нынче въ любомъ деревенскомъ кабацѣ, въ любой «портерной» найдется эта отравка, такъ что совѣтъ отъ жизни все-таки не убѣжишь. Пойдетъ въ кабацъ кто-нибудь изъ присныхъ и непремѣнно или самъ что-нибудь вычитаетъ, или вдоволь наслушается. Потомъ расскажетъ въ людской, а напоследокъ проберется въ комнаты и тамъ начадить. Но мнѣнню моему, этимъ путемъ получать вѣсти изъ міра живыхъ, во всякомъ случаѣ, менѣе мучительно, нежели сообщаться съ нимъ посредствомъ книгопечатанія. Ибо, слушая, какъ сынъ природы несетъ ахинею, вы все-таки имѣете возможность хоть тѣмъ утѣнить себя, что, можетъ-быть, онъ и перенравъ.

Именно такъ я прошлой зимой и поступилъ. Еще 31-го декабря я чувствовалъ себя въ компаніи баснописцевъ, и вдругъ съ 1-го января наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, которое еще вчера съ такимъ безцѣльнымъ гвалтомъ буживало въ берегахъ, сегодня улеглось какъ бы по манію волшебства. Картины, волновавшія кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ вѣтянская интрига, потомъ еще интрига, а наконецъ и слухи о предстоящемъ финансовомъ возрожденіи... Последніе, впрочемъ, держались нѣсколько упорнѣе, потому что вѣдь и умирать не совѣтъ ловко, когда не умѣешь ясно отвѣтить на вопросъ: что такое рубль? Стало-быть, съ этой



стороны, то-есть со стороны мира живых, я совѣмъ квитъ. Мнѣ скажутъ, можетъ-быть, что отсутствіе памятниконъ книгопечатанія представляеть очень важный пробѣлъ въ человѣческомъ существованіи, потому что и т. д. Но, во-первыхъ, газета «И шло брестъ»—развѣ это памятникъ? а во-вторыхъ, я вѣдь не о «существованіи» и рѣчь повелъ. Я говорю объ умираюи, объ одномъ умираюи; а съ этой точки зрѣнія, право, лучше не надо.

Вмѣстѣ съ прочими, отравляющими жизнь, представле-ніями постепенно начало сглаживаться и представлеіе о Граціановѣ. Очевидно, моя побѣдка въ губернію смутила его... Онъ сдѣлался сдержаннѣе, при встрѣчахъ не дѣлалъ мнѣ ручкой, но молча приглядывался подъ козырекъ, при чемъ съ явно-утрированной почтительностью выгибалъ шею и откидывалъ назадъ поясницу. А главное, не только пересталъ меня испытывать, но даже совѣмъ ко мнѣ не приходилъ. Только отъ времени до времени я пригнѣчалъ изъ окна, что онъ меланхолически бродилъ по моему парку, напѣвая какой-то романсъ, — вѣроятно, «Черный крѣтъ». Очевидно, онъ хотѣлъ дать мнѣ почувствовать этимъ, какъ онъ могъ бы любить, если бы и только захотѣлъ, и какъ много я терялъ, устранившись отъ его ласкъ... Я это очень хорошо понималъ и, грѣшный человѣкъ, иногда даже готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастью, то-лось разсудка и соблазнительная картина непотыднаго умираюи восторжествовали надъ легкомысленными угры-зеніями совѣсти.

Кабатчики выказали себя нѣсколько упорнѣе и не такъ-то легко предоставили меня моей судьбѣ. Благодаря Граціанову, въ періодъ моего легкомысленнаго переполоха, я завязалъ съ ними очень крупныя связи. У всѣхъ вообще—палъ водку, игралъ въ суюконку и закусывалъ студнемъ, а въ частности, съ нѣкоторыми вступилъ даже въ духовное родство. У Осмушниковъ крестилъ дочку, у Колунаева разыгрывалъ роль свата, у Прохорова — едва не свелъ со двора жену (разумѣется, этого на дѣлѣ не было, а были «насмѣшки», въ которыхъ я фигурировалъ въ качествѣ соблазнителя). Не могу сказать, чтобы я чувствовалъ себя особенно пріятно, когда, бывало, Осмушниковъ, еще гдѣ завидѣвъ меня, крикнетъ: «здорово, кумы!» или Прохоровъ: «здорово, своякъ!»—но повуда для меня было неясно, имѣеть или не имѣеть Граціановъ право читать въ моемъ сердцѣ,

я дрѣлся и молчалъ. Теперь, когда начальство меня раз-убѣрило, и когда мои отношенія къ Граціанову опредѣли-лись вполне, я, конечно, смелъ первымъ долгомъ дать от-поръ всѣмъ кумовьямъ и своякамъ. Но они уже сами не соглашались регироваться. Въ особенности же Прохоровъ долго донималъ меня своими дружескими «насмѣшками». Только-что, бывало, я расположусь «умирать», только-что сомкнутся мои вѣжды и слухъ начнетъ наполняться тихими шопотами непотыднаго угасанія, какъ онъ ужъ тутъ какъ тутъ, словно изъ-подъ земли выростъ. Сначала наполнить домъ звуками одышки, потомъ грузно сидеть въ кресло, расправить пятерней кудри, оботреть клятчатымъ платкомъ потное лицо, заналить напирскую, дохнетъ свухой и на-чнетъ шутки шутить.

— Усталъ, — скажетъ: — инда задохся. Туковъ много внутри скопилось. Ну, а ты, своякъ, что носъ повѣсилъ?

— Да такъ...

— Чего «такъ»? Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?

— Когда же это...

— Нѣтъ, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня жену хотѣлъ со двора свести? а?

— Но послушайте же наконецъ...

— Нѣтъ, ты постой! погоди! ты вотъ мнѣ на что отвѣтъ: развѣ это резонъ? Резонъ ли мужнюю жену на любовь съ собою склонять? Какъ эти поступки въ замовѣдяхъ назы-ваются? слыхалъ? а?

— Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...

— То-то «я!» Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты—ты! Ты бы вотъ радъ-радостью въ чукомъ саду яблочко стѣсть, даже и сейчасъ у тебя отъ одного воображенія глаза крас-кось попли—да на тотъ грѣхъ я самъ при семь состою! Ну, миръ, что ли! пошутимъ! давай руку—будетъ съ тебѣ!

Но въ ту минуту, когда я мнилъ, что онъ серьезно по-даетъ мнѣ руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ мнѣ шишъ, а иногда и просто бралъ подъ-мышки и, бу-дучи четверо сильнѣе меня, увлегалъ въ непроволь-ный галонъ, при чемъ задыхался, хрипѣлъ и свистѣлъ на весь домъ.

Это было ужасно мучительно, но я долго терпѣлъ и ни на что не рѣшался. Наконецъ однако-жъ рѣшился и одна-жды, когда онъ приблизился, чтобъ взять меня подъ-мышки, я совершенно серьезно плюнулъ ему въ самую лахань.

Только тогда онъ понялъ, что я — человекъ соизданный и «независимый». Онъ скромно вытеръ платкомъ лицо, произнесъ: «однако!» — и съ тѣхъ поръ ко мнѣ ни ногой.

Я сознаюсь, что это былъ съ моей стороны очень дурной и наглый поступокъ, но клянусь, что въ ту минуту онъ вышелъ самъ собой. Защита какъ-то неволью приняла ту самую форму, въ которую съ давнихъ поръ облекалось нападеніе. Прохоровъ насильственно водворялся въ моему дому, насильственно заставляя меня выслушивать свои «насмѣшки», насильственно хваталъ меня подъ-мышки и увлекалъ въ галопъ — и вотъ я въ той же насильственной формѣ далъ ему отпоръ. Сверхъ того, я позволяю себѣ думать, что поступокъ этотъ скорѣе свидѣтельствуетъ о моей деликатности (съ большою, впрочемъ, примѣсью робости и слабохарактерности), нежели о прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень и даже черезчуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъ и даже поддакиваютъ именно изъ опасенія обидѣть, задѣть чужое самолюбіе. Поддакиваютъ даже тогда, когда уже началось хватаніе подъ-мышки. И вдругъ глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое чувство начинаетъ пропизывать все существо. Но, къ сожалѣнію, все это обнаруживается лишь тогда, когда дѣло уже мучительно обострилось. И вотъ...

Во всякомъ случаѣ, я отнюдь не оправдываюсь, а только констатирую, какъ неприятно и ненадежно положеніе русскаго культурнаго человека, который помнитъ, что когда-то онъ занимался «филантропіями», и понимаетъ, что по нынѣшнему времени это составляетъ неизбываемый грѣхъ. Онъ помнить, понимаетъ и боится. Чего именно боится — онъ самъ опредѣленно сказать не можетъ; но вѣдь чѣмъ неопредѣленнѣе подобное чувство, тѣмъ оно тяжелѣе. Главнымъ образомъ однако-жъ онъ боится своей беззащитности, неприкрытости, и вслѣдствіе этого совершенно искренно вѣрить, что и Граціановъ, и Осъмушниковъ, и Прохоровъ могутъ во всякое время свободно войти къ нему въ домъ и полюбопытствовать: а что, молъ, ты тамъ въ одиночку каверзничаешь? И вотъ, когда сумма этихъ унизительныхъ страховъ накинется до нес plus ultra, когда чаща до того переполнится, что новой капль ужъ помѣстится негдѣ, и когда среди невыносимо подлой тоски вдругъ голову освѣтитъ мысль: а вѣдь, собственно говоря, ни Граціановъ, ни Колупаевъ заѣхъ ко мнѣ въ душу ни отъ кого не упол-

номочены — вотъ тогда-то и является на выручку дикая реакція, то-есть сквернословіе, мордобитіе, плеваніе въ лажань, однимъ словомъ — все то, что при спокойномъ, хоть сколько-нибудь нормальномъ теченіи жизни мирному гражданину даже на мысль не придетъ.

Какъ бы то ни было, но я безмѣрно обрадовался, что наконецъ меня охватила со всѣхъ сторонъ безконечная тишина. Подъ влияніемъ этой радости я совсѣмъ утерялъ изъ вида, что эти люди необходимо должны злобствовать на меня. Главная цѣль была достигнута: я очутился одинъ — это было самое существенное. Но этого мало: я сдѣлался почти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ у меня сидитъ Граціановъ, но опять вспомнилъ старое и бросился въ филантропіи. Началъ мечтать, сочинять «промежду себя» реформы, и все такія, чтобы всѣ разомъ почувствовали и въ то же время никто ничего не ощутилъ. Сначала, разумеется, мечталъ робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ смѣлѣе, и наконецъ, «въ надеждѣ славы и добра», пустилъ такими букетами, что даже стѣны, слушавшія меня — и тѣ смекнули, чѣмъ пахнутъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваетъ человека, какъ мечтанія. Сначала заведется въ мозгахъ не больше горошины, а потомъ начнетъ расти и расти, и наконецъ вырастетъ цѣлый дремучій лѣсъ. Вырастетъ, станетъ передъ глазами, залумитъ, загудитъ, и вотъ тутъ-то именно и начнется настоящая работа. Всего здѣсь найдется: и величіе Россіи, и конституціонное будущее Болгаріи, и Якубъ-ханъ, достопреступно шествующій по стопамъ Ширъ-Али, и, ужъ само собой разумеется, выигрышъ въ двѣсти тысячъ рублей. Что понравилось, то и выбирай. Ежели загорѣлось сердце величіемъ Россіи — займись; ежели величіе Россіи прискучило — переходи къ болгарамъ или къ Якубъ-хану. Мечтай безпрепятственно, сочиняй цѣлыя передовыя статьи — все равно ничего не будетъ. Если хочешь критиковать — критикуй; если хочешь требовать — требуй. Требуй смѣло, такъ прямо и говори: долго ли, молъ, ждать? И если тебѣ внимаютъ туго, или совсѣмъ не внимаютъ, то пригрозись: объ этомъ, дескать, мы поговоримъ въ слѣдующій разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!

Говорю по совѣсти: возможность удовлетворять потребности мечтанія составляетъ едва ли не самую сладкую принадлежность умирающаго. Мечта отуманиваетъ и слѣдова-

тельно устраняетъ изъ процесса умирания все, что могло бы встревожить пациента слишкомъ назойливою ясностью. Мечта не ставитъ въ упоръ именно *такой-то* вопросъ, но всегда хранитъ въ запасѣ цѣлую свиту быстро мелькающихъ вопросовъ, такъ что мысль, не связанная обязательнымъ сосредоточеніемъ, скользнетъ отъ одного къ другому совершенно незаметно. Даже послѣдательность въ работѣ ея не замѣчается, хотя связь несомнѣнно существуетъ. Но она скрывается въ тѣхъ моментахъ забытья, въ которое человекъ непроизвольно погружается подъ влияніемъ мысленныхъ мельканій. Это забытье совсѣмъ не пустоножее, какъ можно было бы предполагать, и въ то же время очень пріятное. Мельканье одинъ предметъ, остановить на себѣ минутное вниманіе и почти вслѣдъ за тѣмъ погрузить мысль въ какую-то массу полудремотныхъ ощущений, которыя невозможно уловить—до такой степени они быстро смѣняются одно другимъ. Затѣмъ вынырнуть другой предметъ, и непременно вынырнуть въ послѣдующемъ порядкѣ, но такъ какъ этому появленію предшествовало «забытье», то опредѣлить, въ чемъ заключается «порядокъ» и что именно обусловило перемену декорацій, представляется невозможнымъ. Повторяю: ужасно это пріятно. Ходишь, думаешь, навѣрное знаемъ, что нѣчто думаешь, по что именно—не скажешь. Какая открывается при этомъ безграничная перепектива приволья, свободы, безответственности не только передъ самимъ собой (это-то не штука), но и передъ начальствомъ! Поймите, какъ это хорошо! Тяжело вѣдь вѣчно такъ жить, чтобы за все и про все отвѣтъ держать; нужно хоть немного и такъ позлить, чтобы ни за что и ни передъ кѣмъ себя виновнымъ не считать. Хочу—умныя мысли мыслю, хочу—легкомысленничать... кому какое дѣло!

Тѣмъ не менѣе, какъ ш мало опредѣленны были мои земныя мечтанія, я все-таки нѣкоторые пункты могу здѣсь намѣтить. Чаще и упорнѣе всего, какъ и слѣдуетъ ожидать, появлялся вопросъ о выигрышѣ двухсотъ тысячъ, но такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ пустякахъ почему-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по-моему, самое это культурное мечтаніе), то я упоминаю объ этомъ лишь для того, чтобы не быть въ противорѣчьи съ истиной. Затѣмъ выступали и вопросы серьезные, между которыми первое мѣсто, разумѣется, принадлежало величію Россіи. Я считаю великимъ изложить здѣсь главные тезисы моихъ

мечтаній по этому вопросу, заранѣе, впрочемъ, извиняясь передъ читателемъ въ той неудовлетворительности, которую онъ навѣрное примѣтитъ въ моемъ изложеніи. Ураганъ и дѣлать поръ не могу вмѣстѣ съ свободой и тѣмъ, что въ вѣдѣствіе этого иногда черзчуръ храбрись, но въ болѣе ишей части случаевъ—черзчуръ робко.

Я знаю, есть люди, которые въ скромныхъ моихъ мечтаніяхъ усматриваютъ не только патріотическія и идеологическія, но даже значительную долю злорадства, въ смѣхѣ патріотизма. По совѣсти объявляю, что это—самая наглая ложь. Я уже не говорю о томъ, что обвиненіе это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менѣе въ этомъ виноватъ. Я люблю Россію до боли сердечной и даже не могу помыслить себя гдѣ-либо, кромѣ Россіи. Только разъ въ жизни мнѣ пришлось выжить довольно долгій срокъ въ благодравственныхъ заграничныхъ мѣстахъ, и я не упомиаю минуты, въ которую сердце мое не рвалось бы къ Россіи. Хорошо тамъ, а у насъ... положимъ, у насъ хоть и не такъ хорошо... но, представьте себѣ, все-таки выходитъ, что у насъ лучше. Лучше, потому что большій. Это совсѣмъ особенная логика, но все-таки, и именно—логика любви. Вотъ этотъ-то культъ, въ осознаніи котораго лежитъ сердечная боль, и есть истинно-русскій культъ. Болитъ сердце, болитъ, но и за всѣмъ тѣмъ всеминутно къ источнику своей боли устремляется...

Но этотъ же культъ, вѣроятно, и служитъ предлогомъ для обвиненій, о которыхъ идетъ рѣчь. Есть люди (въ послѣднее время ихъ даже много развелось), которые мертвыми дланями стучатъ въ мертвые перси, которые сухондымъ языкомъ выкликаютъ: «звонъ побѣды раздавался!» и злыми глазами, вмѣсто глазъ, выглядываютъ окрестъ: кто не стучитъ въ перси и не выкликаетъ вмѣстѣ съ ними? Это—дѣлое постыдное ремесло. По моему мнѣнію, люди, занимающіеся этимъ ремесломъ, суть иезуиты. Разумѣется, иезуиты русскіе, лыкомъ шитые, вскормленные на почвѣ крѣпостного права и сопряженныхъ съ нимъ: лганья, двосудушія, коварства и проч. Это—люди необыкновенно злые, мстительные, снабженные воиничнымъ самолюбіемъ и злою, долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно тогда лишь спастись, когда они вмѣстѣ съ безконечною злобой соединяютъ и безконечную алчность къ ловленію рыбы въ мутной водѣ. Тогда можно отъ нихъ откупиться, можно бросить имъ кость въ глотку. Но если они съ ад-

ской злобой соединяют, и адское безкорыстие, и ежели при этомъ свою адскую ограниченность возводятъ на степень адскаго убѣжденія—тогда это уже совершенныя исчадія сатаны. Они пастроятъ мертвыми руками безчисленные ряды костровъ и будутъ бессмысленными, *пустыми* глазами слѣдить за предсмертными конвульсіями жертвы, которая, подобно имъ, не стучала въ *пустыя* перся...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицемѣровъ и клеветниковъ и возвратимся къ Мопренд и навѣвасмымъ имъ мечтаніямъ.

Я желалъ видѣть мое отечество не столько славнымъ, сколько счастливымъ—вотъ существенное содержаніе моихъ мечтаній на тему о величій Россіи, и если я въ чемъ-нибудь виноватъ, то именно только въ этомъ. По моему мнѣнію, слава, поставленная въ качествѣ главной цѣли, къ которой должна стремиться страна, очень многимъ стѣбитъ слезы; счастье же для всѣхъ одинаково желательно и въ то же время само по себѣ составляетъ прочную и немеркнущую славу. Какой вѣнецъ можетъ быть болѣе лучезарнымъ, какъ не тотъ, который сотканъ изъ лучей счастья? Какой народъ можетъ съ бѣльшимъ правомъ назвать себя подлинно славнымъ, какъ не тотъ, который сознаетъ себя подлинно счастливымъ? Мнѣ скажутъ, быть-можетъ, что общее счастье на землѣ недостижимо, и что вотъ именно для того, чтобы восполнить этотъ недостатокъ и сдѣлать его менѣе замѣтнымъ и горькимъ, и придумана, въ качествѣ подспорья, слава. Слава, то-есть «насъ возвышающій обманъ». Но я—человѣкъ скромный; и не дипломатъ и даже не публицистъ, и потому просто не понимаю, для чего нужны обманы, и кого собственно они обманываютъ. Я думаю, что это пустое и вредное клеузничество—и ничего больше. Ужели человѣкъ, смотрящій на міръ трезвыми глазами и чувствующій себя менѣе счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ—ужели этотъ человѣкъ утѣшится тѣмъ только, что начнетъ обманывать себя чѣмъ-то замѣняющимъ, не подлиннымъ? Нѣтъ, онъ не сдѣлаетъ этого. Онъ просто скажетъ себѣ: ежели я въ данную минуту не столь счастливъ (а стало-быть, и не столь славенъ), то это значитъ, что необходимо употребить извѣстную сумму усилій, дабы законнымъ путемъ добыть ту сумму счастья и славы, которая, по условіямъ времени, достижима. Вотъ и все. А насколько будутъ плодотворны или бесплодны эти усилія—это ужъ другой вопросъ.

Руководясь этими скромными соображеніями, я и въ

мечтаніяхъ никому не объявлялъ войны и не предпринималъ ни малѣйшей дипломатической кампаніи. А следовательно не одержалъ ни одной побѣды и никого не огоршилъ дипломатическимъ сюрпризомъ. Вообще моя мысль не задерживалась ни на арміяхъ, ни на флотахъ, ни на подрядахъ и поставкахъ, и даже къ представленіямъ о гражданскомъ мундирномъ шитьѣ прибѣгала лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда, по издревле установленнымъ условіямъ русской жизни, безъ этого ужъ ни подъ какимъ видомъ нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не можемъ быть безъ того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ вопросъ: а какъ же въ семь случаевъ поступали господа чиновники? Но тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачественность моихъ мечтаній. «Что дѣлали господа чиновники?» спрашивалъ я самъ себя и тутъ же, послѣ кратковременнаго «забытія», отвѣтствовали: «ходили въ мундирахъ и больше ничего». Этимъ простымъ отвѣтомъ, мнѣ кажется, исчерпывалось все. И идея необходимости чиновниковъ (ибо благополучіе на ихъ глазахъ создавалось, и они благоосложно допустили его), и идея не-необходимости чиновниковъ, ибо, говоря по сущей совѣсти, благополучіе могло бы совершиться и безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности моей, я болѣе склонялся на сторону первой идеи. Да и картина выходила совсѣмъ особенная, русская. Ходятъ люди въ мундирахъ, ничего не создаютъ, не оплодотворяютъ, а только не пренебрегаютъ—а на повѣрку оказывается, что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ... Какое занятіе можетъ быть легче и какой удѣлъ—слаще?

Но ежели разъ воинственные и присоединительныя упражненія устранимы, то картина благополучія начертывалась уже сама собой. Въ самомъ дѣлѣ, что нужно нашей дорогой родинѣ, чтобы быть вполне счастливой? На мой взглядъ, нужно очень немного, а именно: чтобы мужикъ русскій, говоря стихомъ Державина, «ѣлъ добры щи и пиво пилъ». Затѣмъ все остальное приложится.

Если это есть—значитъ, у мужика земля приноситъ плоды сторицею. Если это есть—значитъ, страна кипитъ медомъ и медомъ и вездѣ чувствуется благораствореніе воздуха и изобиліе плодовъ земныхъ. Если это есть—значитъ, деревни въ изобиліи снабжены школами, и мужикъ вѣрному познать, что ученіе—свѣтъ, а неученіе—тьма. Если это есть—значитъ, казна государева ломится подъ тяжестью серебра и золота, и нѣтъ надобности ни въ «выбиваніяхъ»,

ли, въ бласкуцияхъ для пополненія казенныхъ сборовъ. Если это есть—значитъ, въ массахъ господствуетъ трудолюбіе, добръ къ законности, потребность тихаго житія; значитъ, массы дѣйствительно повинуются не токмо за страхъ, но и за совѣсть. Если это есть—значитъ, за границу везутся заправскіе избытки, а не то, что приходится сбывать во что бы то ни стало, вслѣдствіе горькой нужды: вынь да положь.

Если это есть—значитъ, у мужика есть досугъ; значитъ, онъ ведетъ не прекратительную жизнь подъяремнаго животнаго, а здоровое существованіе разумнаго существа; значитъ, онъ плодится и множится. Если это есть—значитъ, курное логовище уступило мѣсто подлинному жилищу, согласованному съ человѣческими потребностями. Если это есть—значитъ, правда и милость царствуютъ въ судахъ; значитъ, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ зубами, а судьи являются въ мѣста служенія лишь для получения присвоеннаго имъ содержанія. Если это есть—значитъ, монополія не вываляется когтями въ беззащитную жертву и не рветъ ея внутренностей. Если это есть—значитъ, государственная казна не расточается, а государственное имущество охраняется и процвѣтаетъ. Если это есть—значитъ, рубль равенъ рублю.

Вотъ сколько отличившихъ представленій заключаетъ въ себѣ такой простой фактъ, какъ общедоступность «добрыхъ щей»! Спрашивается: ужели въ цѣломъ мірѣ найдется народъ, болѣе достойный названія «славнаго», нежели этотъ, вкушающій «добрыя щи» народъ?

Кажется, что мечтать на эту тему—ничего? Даже Граціановъ—и тотъ, думается мнѣ, не найдетъ тутъ «возбужденія пагубныхъ страстей»? Пагубныхъ страстей—къ чему? Къ «добрымъ щамъ»?

Итакъ, я мечталъ на тему о величій Россіи. Я всѣмъ желалъ всего добраго, всего лучшаго. Чиновнику—чиновъ и крестовъ съ надписью: «за вдохновеніе»; куницу—хорошихъ торговъ и медалей; культурному человѣку—бутылку шампанскаго и вышедшее въ тиражъ выкупное свидѣтельство; мужику—«добрыхъ щей». И при этомъ, какъ человѣкъ, одаренный художественными инстинктами, я такъ живо представлялъ себѣ благополучіе этихъ людей, что они металась передъ моими глазами, какъ живые. Всѣ были поперекъ себя толще, у всѣхъ лица лоснились подъ вліяніемъ хорошаго житія и внутренняго ликовація. Но въ

особенности хорошъ былъ мужикъ, такъ хорошъ, что я по цѣлымъ часамъ велъ съ нимъ мысленную бесѣду.

— Ну что, милый человѣкъ,—спрашивалъ я—бунтовать большаго не будешь?

— Помилюйте, вашескородіе,—отвѣчалъ онъ—ужъ ежели мы во время сѣвковъ—и то, значитъ, со всѣмъ нашимъ удовольствіемъ, такъ теперича и подавно нашь за эти самыя бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало «забытсе» (зри выще), и дальнѣйшія слова мужика ступовывались, но когда мысленная дѣятельность вновь вступала въ свои права, то я видѣлъ передъ собою такое довольное и добродушное лицо, что невольно говорилъ себѣ: да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! Недомысли въ себѣ него сложены, подушная подага предана забвенію... чего еще пужно! И онъ славословить во истину; не такъ, какъ культурные люди, когда получаютъ подачку—съ расшаркиваніемъ и цѣлованіемъ въ щечку,—а скромно и истово, а именно: вѣтъ «добрыя щи» во свидѣтельство, что сердце въ немъ играетъ подъ бременемъ благодарности и ликовація.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему—ничего!

Даже свое Монрсид — и его я какъ-то сумѣлъ пристегнуть къ мечтаніямъ о величій Россіи. Представьте себѣ, что вдругъ, по щучьему велѣнію, по моему хотѣнію, случился такой анекдотъ. Мой лѣсъ изъ дровянаго неожиданно сдѣлался строевымъ; мои болота внезапно осушились и начали производить не мохъ, а настоящую сѣдобную траву, мои пески я утилизировалъ и обработалъ подъ картофельныя плантаціи, а небольшая запашка словно взбѣсилась—начала родить самъ-двадцать \*). (Увы!—въ мечтахъ и не такія метаморфозы возможны!). Развѣ это «не величіе Рос-

\*) Одинъ екатеринославскій землевладѣлецъ увѣрилъ меня, что у него пшеница постоянно родитъ самъ-двадцать, и, въ виду моего удивленія по этому поводу, присовокупилъ, что это происходитъ отъ того, что у нихъ въ Екатеринославѣ не земля, а все цѣлина. Замѣчательно, что этотъ самый землевладѣлецъ эту самую землю уже лично двадцать лѣтъ наметъ, но и за всѣмъ тѣмъ не только въ объявленіяхъ газетныхъ иному, продается столько-то десятинъ «цѣлинныя», но и самъ, повидному, вѣрять въ подлинность этой «цѣлинныя»! Точь-въ-точь какъ та легендарная дѣвица, дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, которая будто бы въ одно и то же время и сокровище сохранила, и капиталъ приобрѣла. Но развѣ это правдоподобно?



сип»? И къ довершенію всей этой чертовщины, въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ моего крыльца прошла желѣзная дорога, которая возитъ — не вывезетъ произведенія Монрепо. Капуста, которую ѣдятъ петербургскіе чиновники, — это все моя; бѣлосѣбная телятина, которою щеголяетъ англійскій клубъ по субботамъ, — тоже моя. Огурцы, морковь, рѣпа, прессованное сѣно, молочные скоты, кормныя индѣйки — всего пропасть и все мое. А дрова? а рыба, въ изобиліи извлекаемая изъ Финскаго залива? а прочія произведенія природы, ихъ же имена Ты, Господи, вѣси? Что, если и во всѣхъ другихъ Монрепо идетъ такая же волшебско-производительная галматѣя, какъ и въ моемъ? что, если вдругъ воспрянули отъ сна всѣ Проплѣванцыя, всѣ Погорѣловки, Пенабѣдовки, всѣ взапуски принялись рожать, и нѣтъ на дорогахъ проѣзда отъ массы капусты, огурцовъ, рѣпки и проч.?

Возгордимся мы или не возгордимся тогда? вотъ вопросъ! Я думаю однако-жъ, что не возгордимся, потому что, во-первыхъ, вѣдь ничего этого на дѣлѣ нѣтъ, а ежели нѣтъ ничего, то, стало-быть, и во-вторыхъ, и въ-третьихъ, все-таки ничего нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ, повторяю вновь: мечтать на эту тему — ей-Богу ничего!

Ничего? но кто же сказать это? Кто же удостовѣрять, что «ничего»? А можетъ-быть, это-то и есть самое оно... А можетъ-быть, тутъ-то, въ этихъ безпардонныхъ мечтахъ, и кроется «возбужденіе пагубныхъ страстей»? Кто сказалъ: ничего? Тяпкинь-Ляпкинь сказалъ? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкинь-Ляпкинь, сказали: «ничего»? И такъ далѣе.

Прекрасно. Стало-быть, это — не ничего? Такъ и запишемъ. Нельзя мечтать о величій Россіи — будемъ на другія темы мечтать, тѣмъ болѣе, что по культурному нашему званію намъ это ничего не значитъ. Напримѣръ, конституціонное будущее Болгаріи — чѣмъ не благодарнѣйшая изъ темъ? А при обиліи досуга даже тѣмъ болѣе благодарная, что для развитія ея необходимо прибѣгать къ посредничеству телеграфа, то-есть посылать вопрошенія телеграммы и получать отвѣтыя. Анъ время-то, смотришь, и пройдетъ.

Сказано-сдѣлано. Посылаю телеграмму № 1-й: «Митрополиту Анѣмю. Настоятельно прошу отвѣтить: будетъ ли у васъ конституція?» Черезъ четверть часа получень отвѣтъ:

«Братолюбивому господину Монрепо. Конституція, сирѣчь уставъ о предупреденіи и пресѣченіи — будетъ. Анѣмъ».

Не удовольствовавшись этимъ объясненіемъ, посылаю телеграмму № 2-й: «Благородному господину Балабанову. Экзархъ Анѣмъ увѣдомляетъ, будетъ-де у васъ конституція, сирѣчь исправительный уставъ. Правда ли?» Черезъ четверть часа отвѣтъ: «Благородному господину Монрепо. На то похоже. Коллежскій ассессоръ Балабановъ».

Тогда, чтобъ убѣдиться окончательно, посылаю телеграмму № 3-й: «Благородному господину Занкову. Что же наконецъ у васъ будетъ?» И черезъ новыя четверть часа получаю новый отвѣтъ: «Будетъ, что Богъ дастъ. Губернскій секретарь Занковъ».

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопросъ о конституціонномъ будущемъ Болгаріи исчерпаннымъ и посылаю четвертую, общую телеграмму: «Митрополиту Анѣмю. Пью за болгарскій народъ!» А черезъ четверть часа получаю отвѣтъ: «Братолюбивому господину Монрепо. Не ходимъ словъ выразить, сколь для болгарскаго народа сѣлестно. Анѣмъ».

И такимъ образомъ въ какой-нибудь часъ времени — все кончено.

Кажется, что на эту тему мечтать — ничего?

Но если бы и тутъ оказалось не «ничего», то, дѣлать нечего, возьмемъ за бока Афганистанъ. Ужасно меня съ нѣкоторыхъ поръ интригуетъ Якубъ-ханъ. Коварень, какъ всякій восточный человѣкъ, и въ то же время, подобно знаменитому своему отцу, склоненъ къ присвоенію государственной африканской казны. Пойдетъ онъ или не пойдетъ по слѣдамъ Ширъ-Али относительно коварнаго Алъбіона? Ежели пойдетъ, то рано или поздно быть ему дворевнымъ въ губернскомъ городѣ Рязани. Ежели не пойдетъ, то и тутъ Рязани ему не миновать. Въ первомъ случаѣ — въ знакъ гостепримства, во второмъ — въ знакъ забвенія бунтовъ. Но во всякомъ разѣ онъ предварительно вывезетъ изъ своего мѣста безчисленное множество лаковъ рушій и доставитъ ихъ въ то мѣсто, которое ему будетъ назначено для гостепримства. Рязань украсится, онедождется и въ нѣсколько мѣсяцевъ сдѣлается неузнаваемою. Въ соборѣ заблагоустроитъ новый колоколь, на пожарномъ дворѣ явится новая пожарная труба, а что касается до дамочекъ, то онѣ изобрѣтутъ, въ пользу Якубъ-хана, такое декольтѣ, отъ котораго содрогнутся въ гробѣ кости Ширъ-

Али. Словомъ-сказать, весь обрядъ гостепрѣимства будетъ выполненъ въ точности. Но что же затѣмъ? Затѣмъ, разумеется, все пойдетъ обычнымъ порядкомъ. Сначала явится разбитой малой изъ мѣстныхъ культурныхъ людей и дастъ рупіямъ приличествующее назначеніе; потомъ начнется по этому случаю судоговореніе, и въ Рязань прибудетъ адвокатъ и проклянетъ часъ своего рожденія, доказывая, что назначеніе рупіямъ дано вполне правильное и согласное съ волей самого истца; а наконецъ Якубъ-хапу, въ знакъ окончательнаго гостепрѣимства, будетъ дозволено переѣхать въ Петербургъ, гдѣ онъ и поступитъ въ ресторанъ Бореля, въ качествѣ служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что русскіе интересы будутъ при этомъ такъ строго соблюдены, что даже «Московскія Вѣдомости» — и тѣ останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать — ничего?

Но ежели и это не «ничего», то къ услугамъ мечтатели найдется въ Монрепо не мало и другихъ темъ, столь же интересныхъ и ужъ до такой степени безопасныхъ, что даже покойный цензоръ Красовскій — и тотъ съ удовольствіемъ подписалъ бы подъ ними: «мечтать дозволяется». Во-первыхъ, есть цѣлая область исторіи, которая представляется такой неисчерпаемой источникъ всякаго рода комбинацій, сопряженныхъ съ забытьемъ, что само мечтательный Погодинъ — и тотъ не могъ вычерпать его до дна. Возьмите, напримеръ, хоть слѣдующія темы:

Что было бы, если-бъ древніе повгородцы не послѣдовали совѣту Гостомысла и не пригласили варяговъ?

Гдѣ былъ бы центръ тяжести, если-бъ вѣщій Олегъ взялъ Константинополь и оставилъ его за собой?

Какими государственными соображеніями руководились удѣльные князья, ведя другъ съ другомъ безпрерывныя войны?

На какой степени гражданского и политическаго величія стояла бы въ настоящее время Россія, если-бъ она не была остановлена въ своемъ развитіи татарскимъ нашествіемъ?

Кто былъ первый Мжедмитрій?

Если-бъ Цетръ Великій не основалъ Петербурга, въ какомъ положеніи находилась бы теперь мѣстность при впадѣніи Невы въ Финскій заливъ, и имѣла ли бы Москва основаніе завидовать Петербургу (известно, что зависть къ Петербургу составляетъ историческую миссію Москвы въ теченіе болѣе полутора вѣковъ)?

Почему, несмотря на сравнительно меньшую численность населенія, въ Москвѣ больше трактировъ и питейныхъ домовъ, нежели въ Петербургѣ? Почему въ Петербургѣ немислимъ трактиръ Тѣстова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, и вы увидите, что и ваше существо, и Монрепо, и вся природа — все разомъ переполнится привидѣніями. Со всѣхъ сторонъ поволокутъ шопоты, таинственныя дуновенія, мельканія, словомъ сказать, вся процедура серьезнаго историческаго, истинно-погодинскаго изслѣдованія. И въ заключеніе тѣнь Красовскаго произнесетъ: «мечтать дозволяется».

О, тѣнь возлюбленная! не ошибкой ли однако высказала ты разрывистую формулу? повтори!

Во-вторыхъ, имѣется другая, не менѣе обширная область — кулинарная. Еще Владиміръ Великій сказалъ: «веселіе Руси пити и ясти» и въ этихъ немногихъ словахъ до такой степени вѣрно очертилъ русскую подоплёку, что даже и донныи русскій человекъ ни на чемъ съ такимъ удовольствіемъ не останавливаетъ свою мысль, какъ на ѣдѣ. А такъ какъ объектомъ для ѣды служитъ все разнообразіе природы, то не трудно себѣ представить, какое безчисленное количество механическихъ и химическихъ метаморфозъ можетъ произойти въ этомъ безграничномъ мірѣ чудесъ, если хозяиномъ въ немъ явится мечтатель, охотникъ похрустать!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-пятыхъ... я, конечно, не буду утомлять читателя дальнѣйшимъ перечисленіемъ подходящихъ сюжетовъ и темъ. Скажу огуломъ: міръ мечтаній такъ великъ и допускаетъ такое безграничное разнообразіе сочетаній, что плѣтъ той навозной кучи, которая не представляла бы повода для интереснѣйшихъ сопоставленій.

Итакъ, я мечталъ. Мечталъ и чувствовалъ, какъ я умираю, естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ въ жизни я наслаждался сознаніемъ, что ничто не нарушитъ моего вольнаго умиранія, что никто не призоветъ меня къ отвѣту и не напомнитъ о какихъ-то обязанностяхъ, что ни одна душа не потребуетъ отъ меня ни совѣта, ни помощи, что мнѣ не предстоитъ испуга събѣжать, объ чемъ-то бесѣдовать и что-то предпринимать, что ни одинъ органъ книгопечатанія не обольетъ меня помоями еквернословія. Однимъ словомъ, что я забытъ, совсѣмъ забытъ.

Внутри дома царилла пустота, тишина и одиночество. Видъ дома—то же одиночество и та же пустота. По временамъ паркъ заволакивался, словно сѣтью, падающими хлопьями снѣга; по временамъ деревья какъ бы сбрасывали съ себя иго опѣившія и, колблемыя вѣтромъ, оживали и шелелились; по временамъ изъ лѣсной чащи даже доносился грозный гулъ. Но зорь и слухъ скоро привыкали и къ этимъ картинкамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа даже и въ гнѣвѣ какъ-то безоружна,—разумѣется, для тѣхъ, которыхъ нужда не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вотъ въ полѣ, въ лѣсу—тамъ, должно-быть, страшно. Можно сбиться съ дороги, подвергнуться нападению волковъ, замерзнуть. Но въ комнатѣ, гдѣ градусникъ показываетъ всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, гдѣ и тепло, и свѣтло, и уютно, всѣ эти морозы и вьюги могутъ даже подать поводъ для благодарныхъ сопоставленій.

И не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ сопоставленій. Ибо если хорошо быть совсѣмъ обезпеченнымъ отъ морозовъ и вьюгъ, то еще большее наслажденіе долженъ ощущать тотъ, кто, испытать морозъ и вьюгу, кто, проплутовавъ до истощенія силъ по сугробамъ, вдругъ совсѣмъ неожиданно обрѣтаетъ спасеніе въ видѣ жилья. Представьте себѣ этотъ почти волшебный переходъ отъ холода къ теплу, отъ мрака къ свѣту, отъ смерти къ жизни; представьте себѣ эту радость возрожденія, радость до того глубокую и яркую, что для нея дѣлаются уже тѣсными предѣлы случая, ее породившаго. Да, это—радость совсѣмъ особенная, лучезарная, ни съ чѣмъ несравнимая. Не одинъ этотъ случай освѣтила она своими лучами, но разомъ втянула въ себя цѣлую жизнь и па все прошлое, на все будущее наложила печать избавленія. Въ эту блаженную минуту нѣтъ мѣста ни для опасенія, ни для тревогъ. *Всѣ* опасности миновали, *всѣ* тревоги улеглись; *все* больное, шемящее упрямилось—навсегда. Во всемъ существѣ разлилась горячая струя жизни, во всѣхъ мысляхъ царить убѣжденіе, что отнынѣ жизнь уже пойдетъ не старую горькую колею, а совсѣмъ новымъ, радостнымъ порядкомъ. Конечно, все это волшебство дѣлится какую-нибудь одну минуту, но зато какая это минута... Воже, какая минута!

Истинно говорю, это—наслажденіе великое, и съ теоретической точки зрѣнія отсутствіе его въ жизни людей, проводящихъ время въ теплыхъ и свѣтлыхъ комнатахъ, представляетъ даже очень значительный пробѣлъ.

Между прочимъ, я мечталъ и объ этомъ, и это были мечтанія поистинѣ отрадныя. Сначала я душевно скорбѣлъ, рисуя себѣ картину путника, выбивающагося изъ силъ; но такъ какъ я человекъ добрый, то, разумѣется, не оставлялъ его до конца погибнуть и въ критическую минуту посилъ на помощь и предоставлялъ въ его распоряженіе неприхотливое, но вполне удовлетворительное жильё. И глубока была моя радость, когда встѣдъ затѣмъ передъ мои глазами постепенно развертывалась картина возрожденія...

Однимъ словомъ, я мечталъ, мечталъ безъ конца, мечталъ обо всемъ: о прошломъ, настоящемъ и будущемъ, мечталъ смѣло, въ сладкой увѣренности, что никто объ моихъ мечтахъ не узнаетъ и слѣдовательно никто меня не подкузьмитъ. И, проводя время въ этихъ мечтаніяхъ, чувствовалъ себя удивительно хорошо. До усталости ходилъ по комнатѣ и ни на минуту не уличилъ свою мысль въ бездѣятельности; потомъ садился въ кресло, закрывалъ глаза и опять начиналъ мысленную работу. Даже такъ-называемыя «хозяйственные распоряженія»—и тѣ вскорѣ привили у меня мечтательный характеръ. Придетъ вечеромъ, передъ снатьемъ, въ комнату старикъ Лукьянычъ и молвить:

— Ну, нынче—зима!

— Ты говоришь: зима?

— Да, зима нынче. И ежели теперича лѣто съ примѣтами сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не будетъ!

— Ты думаешь?

— Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только сторону сѣномъ набили, а въ нынѣшнемъ придется, пожалуй, и на чердаки на скотномъ сѣно таскать.

— Гм!.. это бы...

— Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то зима у меня на памятихъ всего разъ случилась, когда мнѣ еще пятнадцать лѣтъ было. И что въ ту пору хлѣба важали, что сѣна накосили—страсть!

— Богъ, братецъ...

— Само собой, Богъ! захочетъ Богъ—полны сусѣки хлѣба насыплетъ, не захочетъ—ни пера земля не родитъ! это что говоритъ!

Молчалие.

— Распоряженіемъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?



— Нѣтъ, что ужт...  
— Покойной ночи-съ!

И все въ домѣ окончательно стихаетъ. Сперва на скотномъ дворѣ потухаютъ огни, потомъ на кухнѣ замираетъ послѣдній звукъ гармоникки, потомъ сторожъ въ послѣдній разъ стукнулъ палкой въ стѣну и забрался въ сѣни спать, а наковонецъ ложусь въ постель и я самъ...

Но и сонъ приходитъ какой-то особенный. Мечтанія канувшаго дня не прерываются, а только быстрее и отрывочѣе слѣдуютъ одни за другими. Вотъ и опять «величіе Россіи», вотъ «Якубъ-ханъ», вотъ «историческіе вопросы», а вотъ и «ну, ужъ пыиче зима!..» Не разберешь, гдѣ кончилось бодрствованіе, и гдѣ начался сонъ...

Но въ этой-то невозможности что-нибудь «разобрать» именно и заключается та обаятельная сила, которая заставляетъ умирающаго человѣка стремиться въ Монрепо, чтобы тамъ обрѣсти для себя усыпальницу.

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали вкрадываться смутныя опасенія. Прилѣтели грачи и наполнили паркъ гамомъ; почернѣла дорога. На большомъ трактѣ, отдѣляющемся отъ моего дома лишь небольшимъ клочкомъ парка, появились тройки съ катающимися, которыхъ, благодаря отсутствію листвы, я могъ видѣть совершенно отчетливо. Это были наши портерныя и питейныя дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составляетъ, по изстари заведенному обычаю, единственное великопостное развлеченіе. Повидимому, имъ было очень весело, также какъ и Граціанову, неизмѣнно сопровождавшему дамъ на бѣговыхъ санкахъ. Но въ особенности шумнымъ дѣлалось это веселіе противъ моей усадьбы. Тройки замедляли ходъ; дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хохотали такъ громко, что даже черезъ двойныя оконныя рамы до меня долетали ихъ ликующіе голоса; при этомъ Граціановъ объяснялъ имъ, должно-быть, нѣчто очень уморительное. Можетъ-быть, онъ въ смѣшномъ видѣ пересказывалъ испытаніе, которому меня подвергалъ; можетъ-быть, подмѣтилъ кое-что изъ моихъ привычекъ и тоже возводилъ въ перлъ созданія.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило помѣхой для моего умиранія. Но однажды я замѣтилъ нѣчто не совсѣмъ обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка совсѣмъ особенная, охотниц-

кая. На пошевняхъ, покрытыхъ ковромъ, сидѣлъ купецъ Разуваевъ, самъ правилъ лошадьми и завивалъ пристяжныхъ въ кольца. Какъ только показалась эта тройка, Граціановъ передалъ свою одиночку близъ-стоящему сотскому и пересѣлъ въ Разуваевскія пошевни. Затѣмъ, пропустивши мимо дамскій поѣздъ, друзья остановились прямо противъ окна моего дома. Разуваевъ жестикулировалъ, Граціановъ что-то доказывалъ; оба отъ времени до времени хохотали. Я видѣлъ, какъ Разуваевъ поманилъ пальцемъ стараго Лукьяныча, сидѣвшаго на лавкѣ у воротъ, какъ послѣдній неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сплюнулъ въ сторону, и затѣмъ оба друга опять захохотали. Черезъ четверть часа улица опустѣла, и гуляющіе, очевидно, разошлись по кабакамъ. Но, когда начали спускаться сумерки, Разуваевская тройка съ двумя сѣдоками, по крайней мѣрѣ, разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась взадъ и впередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ комья грязи и рыхлаго снѣга и возбуждающая угомонившихся въ гнѣздахъ грачей.

Передъ спаньемъ Лукьянычъ имѣлъ по этому поводу со мной объясненіе.

— Разуваевъ мимо насъ сегодня озоровалъ.

— Видѣлъ.

— Стало-быть, ему можно?

— Стало-быть.

— Стало-быть, если онъ ночью... испугаетъ, навѣкъ уродомъ сдѣлаетъ... и это можно?

— Вѣроятно, можно.

Лукьянычъ только головой мотнулъ на мой отвѣтъ.

— Давеча меня поманилъ: «правда ли, говоритъ, что Матрена-скотница (Матрена — почтенная женщина лѣтъ подъ шестьдесятъ) въ грѣхѣ состоитъ?»

— Съ кѣмъ? сказывалъ?

— Известно, съ кѣмъ.

— Со мной?

— Стало-быть.

Молчаніе.

— А потомъ опять подѣхалъ. «Колн, говоритъ, Матрена не виновата, такъ чѣмъ же твоей баринѣ питается?» И это, значитъ, можно?

— Должно-быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговаривашь...

— А я что же могу! Я думалъ, онъ объ дѣлѣ хочетъ

говорить, а онъ вонъ что! По-моему, ему бы за это въ шею пакласть—вотъ и все.

— А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?

— Это, чай, и безъ спросу можно. При папенькѣ при нашемъ, царство небесное, коли бы такой случай вышелъ...

— Тѣ было при папенькѣ, а тѣ теперь.

— Такъ, значить, и пушай озоруютъ?

— И пушай!

— Покойной ночи-съ!

Нѣсколько дней сряду повторялось это дикое гикалье, и однажды даже, какъ предсказалъ Лукьянычъ, Разуваевъ угостилъ меня имъ въ глухую ночь. Проскакалъ несчетное число разъ мимо моей усадьбы во весь опоръ, крича: «карауль! рѣзутъ! пожаръ!» И во всѣхъ этихъ parties de plaisir неизмѣнно участвовалъ Граціановъ. Я повялъ, что противъ меня затѣяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. Вездѣ кругомъ кабаки, вездѣ веселье идетъ, одинъ я занеря отъ всѣхъ и умиряю. И при этомъ какъ-то странно и неестественно себя веду, такъ что и приноровиться ко мнѣ невозможно. Сперва не «якшался» и задиралъ носъ, потомъ смалодушничалъ и началъ «якшаться», и вотъ, въ ту самую минуту, когда всѣ сердца понеслись мнѣ навстрѣчу, когда всѣ начали надѣяться, что я буду приглашать деревенскихъ дѣвокъ водить хоробы у себя передъ домомъ и одѣлять ихъ пряниками, я вдругъ опять залерся и пересталъ «якшаться». Даже батюшка скандализировался моимъ поведениемъ и, дабы не преогорчить своихъ прочихъ духовныхъ дѣтей, сталъ избѣгать свиданій со мною. Ясно, что Разуваевъ былъ въ этомъ мѣстѣ гораздо богѣе ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ роци и отправлялъ въ городъ барки съ дровами. Сверхъ того, онъ занимался и другими операціями, объектомъ которыхъ обыкновенно служилъ мужикъ. И онъ былъ веселый, и жена у него была веселая. Домъ ихъ, небольшой и невзрачный, стоялъ у лѣсной опушки, такъ что изъ оконъ никакого другого вида не было, кромѣ громаднаго пространства, сплошь усѣянаго пнями. Но хозяева были гостеприимные, и пированье шло въ этомъ домишкѣ великое.

Ко времени, о которомъ идетъ рѣчь, доходилъ срокъ арендуемыхъ Разуваевымъ рощахъ. И вотъ онъ началъ задумываться. Капиталъ свободный есть, торговый связи

тоже заведены, а главное, мѣсто насижено и облюбовано. Бѣдетъ онъ по селу улицей—всѣ шапки снимаютъ; прїѣдетъ въ церковь къ обѣднѣ—станетъ съ супругой впереди у крылоса, подтыгиваетъ дьячку и любуется на пожертвованное имъ паникадило; послѣ обѣдни подойдетъ ко кресту первымъ послѣ Граціанова и получитъ отъ батюшки за здравную просвиру. Всѣмъ съ нимъ повадно, всѣмъ по себѣ, потому что онъ на всѣ руки; и выпить не дуракъ, и пошутить охочъ, и сплясать можетъ. Батюшка сколько разъ мнѣ говорилъ: «Вотъ у Разуваева икру подають—бѣлаужью, настоящую! А однажды изъ города конченую стерлядь привезъ—даже и до часа сего забыть не могу!» А матушка, вздохнувъ, прибавляла: «По здѣшнему мѣсту, только и полакомиться, что у Разуваевыхъ!» Даже такъ-называемая чернядь—и та какъ полоумная сбѣгалась со всѣхъ сторонъ, когда на село прїѣзжалъ Разуваевъ. Потому что онъ вдругъ, того и гляди, велитъ пѣсни пѣть и начнетъ въ народъ гривенники ва драку бросать!

Однимъ словомъ, всѣми онъ былъ любимъ, для всѣхъ желателенъ. Мужикъ онъ былъ не то чтобы молодой, но въ порѣ, статный, широкоплечій, лицо имѣлъ русское, круглое, румяное, глаза веселые, бороду пушистую, свѣтлорусую. И жена у него была такая же, русская: круглолицая, бѣлотѣлая, полногрудая, румяная, съ веселыми, слегка безстыжными глазами на выкатъ. Охотники были оба пѣсни попѣть и пѣли мастерски, особенно хоробья, подблюдныя.

Давно уже до меня доходили слухи, что Разуваевъ ищетъ купить себѣ усадьбу, но только чтобы непременно за грошь. Думалъ-было онъ сначала на порожнемъ участкѣ новый домъ взбороздить, но разсчиталъ, что за грошь новаго заведенья никакъ устроить нельзя. Да поди еще жди, когда еще оно въ настоящей видѣ придетъ, а до тѣхъ поръ торчи на тычкѣ, жарься лѣтомъ на припеckѣ, а зимой слушай, какъ вѣтеръ воесть. Начнешь парки разводить, сады сажать—смотришь, ашь изъ десяти деревъ одно принялось, а прочія посохли. Хорошо было этими парками тогда заниматься, когда крѣпостные были. Тогда ни одно дерево не пропало, а шло все въ высь и въ ширь, словно по чудному велѣнью. Тогда-то и было положено начало всѣмъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не до парковъ. Такъ вотъ такую бы готовую старинную усадьбу подыскать, чтобы и паркъ при ней былъ, и пруды

бы въ паркахъ, и карасы бы въ прудахъ водились, и пло- довый садъ чтобы тутъ же находился, а въ бочку бы харчевенку съ продажей распивочно и на выносъ поста- вить. Да за грошъ бы, непременно за грошъ.

Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабынхъ слезъ эти парки видѣли—Разуваевъ объ этомъ не хочетъ и знать. До сихъ поръ старики поминуютъ: «вошь въ этомъ мѣстѣ трясина была, такъ мы мѣшками землю та- скали—смотри, какъ горюху взбодрили!»—но Разуваеву и до этого дѣла дѣло. Онъ знаетъ только, что современному помѣщику все это не къ рукамъ, да и самъ помѣщикъ, по нынѣшнему времени, тутъ не ко двору. Помѣщикъ—онъ человекъ невѣрный, а нужны люди постоянные, вѣроятные, то-есть либо кабатчики, либо оголтѣлые мужики. А сверхъ того, Разуваевъ имѣетъ простодушно-наглое убѣжденіе, что стоить только помахать у помѣщика подъ носомъ ассигна- ціей, чтобы онъ сейчасъ же, отъ одного ассигнаціоннаго запаха, впалъ въ изнеможеніе.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и сознанию беззащитности съ другой, мое сладкое умираніе было самымъ нахальнымъ образомъ прервано. Уже съ са- маго начала открытія непріязненныхъ дѣйствій, съ по- явленіемъ первыхъ гиканій, я смутно почувствовалъ, что мое дѣло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я долженъ буду уступить силѣ обоготельства. Въ самомъ дѣлѣ, что я могъ предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? Жаловаться на него—куда? И притомъ что-нибудь одно: или умирать, или утруджать начальство просьбами, а одно- временно заниматься и тѣмъ, и другимъ—развѣ это съ чѣмъ-нибудь согласнo? Если же прибѣгнуть къ партику- лярнымъ мѣрамъ взыскапія, то и тутъ ничего не подѣ- лаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо—онъ утретъ, своре- тишь ему скулу—онъ въ баню сходить и опять ее на ста- рое мѣсто вправить... Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступишь—онъ неуязвимъ. Пожалуй, еще запоетъ: «Веселися, храбрый россия!» и заставитъ слушать себя стоя...

Въ одно прекрасное утро, взглянувъ въ окно, обращен- ное въ паркъ, я увидѣлъ, что въ одной изъ расчищен- ныхъ для моихъ прогулокъ аллей ходятъ двое мужчинъ, посматриваютъ кругомъ хозяйскимъ глазомъ, мѣряютъ ша- гами пространство и даже деревья пересчитываютъ. Вгля- дѣвшись пристальнѣе, я узналъ въ посетителяхъ Разуваева

и Граціанова. Вотъ они скрылись въ чащѣ, вотъ опять выглянули, подошли къ пруду, при чемъ Разуваевъ сплю- нулъ на посинѣвшій ледъ; вотъ подошли къ рѣшеткѣ, от- дѣляющей огородъ отъ сада, и что-то высчитываютъ— должно быть, сколько тутъ грядъ можно обработать, и съ чѣмъ именно. Вотъ наконецъ они возвращаются, опять останавливаются и толкуютъ, вотъ подходятъ къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...

#### IV.—Finis Монрепо.

Когда продавецъ недвижимаго имущества входитъ въ сноше- нія съ покупателями, то советуемъ первому не только не утаи- вать недостатковъ продаваемаго имѣнія, но объяснять оные съ полною откровенностью. Само собою, впрочемъ, разумеется, что умный продавецъ никогда не скажетъ, что имѣніе его ничего не стоитъ, но сошлетъ или на недостатокъ капита- ловъ, или на собственные свои, владѣльца, нечестиво и не- радиность. Такая откровенность почти всегда удается, ибо всякій покупатель непременно мнитъ себя агрономомъ, а ежели у него, вдобавокъ, есть нѣсколько лишнихъ тысячъ рублей, то къ такому самоимѣнію обыкновенно присоединится увѣ- ренность, что, по мѣрѣ развѣта крупныхъ ассигнацій на медки, негодное имущество будетъ постепенно превращаться въ золотое дно. Одинъ нашъ знакомый, напримѣръ, такъ ре- комендовалъ свое Монрепо лицу, интересовавшемуся приобрѣ- теніемъ оного:

«Земля у меня,—писалъ онъ,—отчасти хуторонная, отчасти изъ песковъ состоящая, но ежели приложить трудъ, уміе и капиталъ, то... Баженовъ пишетъ: извѣстно, что даже змбучіе пески, сжечь... Советовъ пошлетъ: ежели змбучіе пески... Но въ особенности рекомендую нѣкотория подозрительнаго свойства залежи, которыхъ въ имѣніи очень достаточно и ко- торыя, по недостатку капиталовъ, не были, къ сожалѣнію, подвергнуты изслѣдованію. Судя, однако-жъ, по жалачикѣ, по- крывающей воды и растущіе злаки, можно предположить...»

И что же! откровенность эта имѣла самый позный успѣхъ! Промдло очень немного времени, какъ въ Монрепо уже раз- гуливалъ новый владѣлецъ и, въ свою очередь, обдумывалъ наилучшую для оного рекомендацію!

Иль нежданнаго сощненіи: «Советы благоразумія при продажѣ земельныхъ недвижимыхъ имуществъ».

Разуваевъ предсталъ передо мной радостный, румяный, свѣтлый. Онъ увѣренно протянулъ мнѣ руку, держа ее ладо- нью вверхъ.

— Ну, баринъ, по рукамъ!—воскликнулъ онъ, увиди-

тому, не питая ни малѣйшаго сомнѣнiя, что именно эти самыя слова ему сказать надлежитъ.

— По какому случаю?

— Да такъ ужъ, хлопай! въ накладѣ не будешь! Хорошее слово услышишь!

— Покуда что услышу, а до тѣхъ поръ лучше было бы, кабы вы безцеремонность-то посократили.

Разуваевъ взглянулъ на меня, слегка подбоченился и грустно покачалъ головой.

— Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я на васъ, баръ, — все-то вы артачитесь!

И затѣвъ, вынувъ изъ кармана большой и туго набитый бумажникъ, присовокупилъ:

— Вотъ!

Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. Въ последнее время русское общество выдѣлило изъ себя нѣчто на манеръ буржуазии, то-есть новый культурный слой, состоящий изъ кабатчиковъ, процентщиковъ, жезънодородниковъ, банковыхъ дѣльцовъ и прочихъ казнокрадовъ и миробѣдовъ. Въ короткiй срокъ эта празднопатающая тля успѣла опутать все наши палестины, въ каждомъ углу она сосетъ, точитъ, разоряетъ и, вдобавокъ, пахальничаетъ. Въ большихъ центрахъ она теряется въ массѣ прочихъ празднопатающихъ и потому не слишкомъ бьетъ въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ особенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это — ублюдки крѣпостного права, выбивающiеся изъ всѣхъ силъ, чтобы возстановить оное въ свою пользу, въ формѣ менѣе разбойнической, но несомнѣнно болѣе воровской.

Помѣщикъ, еще недавнiй и полновластный обладатель силъ мѣсть, исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, струсилъ и потому или бѣжалъ, или сидитъ, спрятавшись, въ ожиданiи, что вотъ-вотъ сейчасъ побѣжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа-миробѣдъ смотритъ такъ, что только не говорить: а вотъ я тебя сейчасъ слопаю; даже пошь—и тотъ не идетъ къ нему славить по праздникамъ, ни о чемъ не докучаетъ, а при встрѣчахъ впадаетъ въ учительный тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовалъ при составленiи уставныхъ грамотъ и не безъ грѣха утянулъ отъ крестьянскихъ надѣловъ, помѣщикъ не знаетъ, что съ ними дѣлать, какъ ихъ сберечь. Видитъ самъ, что онъ къ дѣлу не подготовленъ, на выдумки не гораздъ, да

притомъ и лѣнивъ, и что, слѣдовательно, что бы онъ ни предпринялъ—ничего у него не выйдетъ. Между тѣмъ надо жить. И жить не власть имѣющимъ, не привилегированнымъ, а зауряднымъ партикулярнымъ человекомъ. И прежде былъ онъ негораздъ и неретивъ, но прежде у него былъ подъ руками «вѣрный человекъ», который и распоряжался и присматривался за него, а ему только денежки на столъ выкладывалъ: пей, ѣшь и веселись! Увы! скоро исполнится двадцать лѣтъ, какъ «вѣрнаго человека» и слѣдъ простылъ. «Нѣтъ вѣрныхъ людей! пропасть, изворовался вѣрный человекъ!»—вопиютъ во всѣхъ концахъ разсѣянные остатки стариннаго барства, и вопиютъ не напрасно, ибо каждому изъ нихъ предстоитъ ухититься развращающагося гнѣздо, да и въ домашнемъ обиходѣ дворянскiй обычай соблности, то-есть имѣть чай, сахаръ, водку, табакъ. На все это потребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его добыть тому, кто «вѣрнаго человека» лишился и не успѣлъ проникнуть ни въ земство, ни въ мировыя учрежденiя?

А «вѣрный человекъ» притаился тутъ же подъ бокомъ и обрастаетъ да обрастаетъ себѣ полегоныку. Помѣщикъ, Сидоръ Кондратычъ Прогорѣловъ, вѣкогда звали его Егоркой, потомъ сталъ звать Егоромъ Ивановымъ, потомъ—Егоромъ Ивановичемъ, а теперь уже и прямо произноситъ полный титулъ: Егоръ Ивановичъ господинъ Груздѣвъ. Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратыча нѣсколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ—опуталъ ими деревню; Егоръ Ивановичъ съѣздили въ городъ, узналъ, гдѣ раки зимуютъ, и открылъ кабакъ, а при ономъ и лавку, въ качествѣ подспорья къ кабаку; а господинъ Груздѣвъ ужъ о томъ мечтаетъ, какъ бы ему «банку» устроить и въ конецъ родную палестину слопать. Тщетно Сидоръ Кондратычъ изъ глубины взволнованной души вопиеть: «давно ли Егорка при мнѣ въ прохвостахъ состоялъ!»—на эти вопли Егорка совершенно резонно ему возражаетъ: «одни это съ вашей стороны, Сидоръ Кондратычъ, нестоящiя слова!»

Однако-жъ и Егорка выстунаетъ на арену дѣятельности не Богъ знаетъ съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и невѣжественъ, и онъ ретивъ только гадать да зубы заговаривать. Но у него есть готовность кровопийствовать—и это значительно помогаетъ ему. Готовность эту онъ выраблталъ еще въ то время, когда въ «подломъ видѣ» состоялъ, но тогда онъ употреблялъ ее за счетъ своего патрона, и

за это-то именно и получить титуль «вѣрнаго челоуѣка». Теперь онъ пользуется ею ужъ «для себя» и пользуется, разумеется, шире, рискованнѣе. Но, сверхъ того, у него есть и еще поделорье: онъ совсѣмъ не думаетъ о томъ, что ожидаетъ его впереди. Можетъ-быть, изъ него выйдет *господинъ* Груздѣвъ, а, можетъ-быть, онъ угодитъ въ острогъ. Разумеется, лучше сдѣлаться *господиномъ* Груздѣвымъ, но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живутъ. Не выгорѣло—только и всего; а чтобы совѣстно было или больно—ни капельки. Попятно, что, заручившись двумя столь драгоценными качествами, онъ всякую мысль, всякую букашку, въ травѣ ползущую—все видитъ.

И вотъ наконецъ совершилось. Мировавши чудеснымъ образомъ каторгу, Егорка откуда-то добываетъ себѣ шитый мундиръ и окончательно дѣлается Егоромъ Ивановичемъ господиномъ Груздѣвымъ. Онъ пьетъ кровь уже вьявъ и въ то же время сознаетъ себя «столпомъ». Все кругомъ «подражаетъ» ему, занскиваетъ, льститъ. Увѣдныя власти завязываютъ къ нему и по пути, и безъ пути пьютъ въ его домѣ, закусываютъ и, въ случаѣ административныхъ затрудненій, прибѣгаютъ къ его помощи. Кто купитъ педомщицкій скотъ?—Егоръ Ивановичъ. Къ кому обратиться съ приглашеніемъ о пожертвованіи?—къ Егору Ивановичу. А глядя на властей, и помельче сонка чувствуетъ, какъ раскинается у нея сердце усердіемъ къ Егору Ивановичу. Батюшка обѣдни не начинаеть до прѣзда его въ храмъ; волостной старшина совмѣстно съ писаремъ контракты для него сочиняютъ, конми закрѣпляютъ въ пользу его степенства всю волость, а сотскіе и десятскіе всѣ глаза проглядѣли, не покажется ли гдѣ Егоръ Ивановичъ, чтобы броситься впереди и разгонять на пути его чернядь.

Видя такое общее «подражаніе», Егорка начинаетъ больше и больше входить въ азартъ. Онъ уже не разъ видѣлъ себя въ мечтахъ поребравшимся въ Петербургъ и оттуда дѣлающимъ эскурсіи «для дебаширства» въ Парижъ, Ниццу, Баденъ-Баденъ и проч.; но покуда это—еще идеаль болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго. Покажется ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ Кондратьичъ, словно бѣльмо на глазу, у него торчитъ. Струсилъ онъ, захудалъ, а все-таки помнить, что Егорка въ прохвостахъ у него состоялъ. Да и гнѣздо у него такое насижено, какъ будто бы именно тутъ, а не въ иномъ

мѣстѣ «господину» быть надлежитъ. Знаетъ Егорка, что все это, въ сущности, пустыяки, что не въ преданіяхъ пропала сила — и все-таки кинутися: какъ-ни-какъ, а надо Сидора Кондратьича изъ здѣшняго мѣста выкурить, надо гнѣздомъ его завладѣть. Ибо тогда и только тогда онъ воистину *господинъ* Груздѣвъ будетъ.

Сказано—сдѣлано. Предпринимается цѣлый рядъ подвоховъ. Еще будучи въ «подломъ видѣ», Егорка-вѣрный челоуѣкъ до тонкости вызвалъ Сидора Кондратьича и очень хорошо понимаетъ, на какой струнѣ надлежитъ играть, чтобы его заставить лѣзть на стѣну или свергнуть въ уныніе. И вотъ не проходитъ и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, какъ бывшій властелинъ сихъ мѣстъ видитъ себя лишеннымъ огня и воды и дѣлается притчей во языцѣхъ. Рабочіе къ нему не идутъ, поля у него не рожьютъ, коровы его не доятъ, овцы чихаютъ... дурррааа! Даже чернядь, которая специально рождена для того, чтобы слезы лить, и та весело гогочетъ, слушая анекдоты объ егоркиныхъ подвохахъ и прогорѣловскомъ простодушіи. А ежели не донимаютъ простые подвохи, то пускаются въ ходъ подвохи сложные, какъ-то: доносы, напонтыванья, раздаются слова: «книжки читаешь», «народъ смущаешь», «соблазнъ заводитъ». Долго не вѣритъ Сидоръ Кондратьичъ ушамъ и глазамъ своимъ, но наконецъ убѣждается, что надо бѣжать, бѣжать безъ оглядки, сейчасъ...

Я не утверждаю, разумеется, что все написанное выше составляетъ общее правило. Есть и тутъ исключенія, но ихъ такъ мало и они такъ своеобразны, что большинству, состоящему изъ простыхъ смертныхъ, трудно и мечтать о томъ, чтобы попасть въ ряды счастливицевъ. Вотъ эти исключенія. Во-первыхъ, дѣлатели земскихъ и мировыхъ учреждений, потому что они сами всегда могутъ притѣснить; во-вторыхъ, землевладѣльцы изъ числа крупныхъ петербургскихъ чиновниковъ, потому что они могутъ содѣйствовать груздѣвскимъ предпріятіямъ и, сверхъ того, служить украшеніемъ груздѣвскихъ семейныхъ торжествъ, какъ-то: крестинъ, свадебъ и проч.; въ-третьихъ, землевладѣльцы изъ ряда воиъ богатые, считающіе за собой земли десятками тысячъ десятинъ, которые покуда еще игнорируютъ Груздѣвыхъ и отсылаютъ ихъ для объясненій въ конторы; и въ-четвертыхъ, землевладѣльцы не особенно вліятельные, но обладающіе атлетическимъ тѣлосложеніемъ и способные произвести ручную расправу. Вотъ единствен-

ныя лица, передъ которыми новоявленный русскій буржуа до поры до времени не нахальствуетъ.

Повторяю, это совсѣмъ не тотъ буржуа, которому удалось неслыханнымъ трудолюбіемъ и пристальнымъ изученіемъ профессіи (хотя и не безъ участія кровопивства) завоевать себѣ положеніе въ обществѣ; это—просто праздный, невѣжественный и притомъ лѣнивѣйшій забулдыга, которому, благодаря слѣпой случайности, удалось уйти отъ каторги и затѣмъ слопать кипація вокругъ него массы «рохлей», «ротозвѣвъ» и «дураковъ».

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ сказать, на ланіи Грудѣвыхъ. По крайней мѣрѣ идея грабежа была ужъ вполне имъ усвоена. Я зналъ его очень давно, еще въ то время, когда онъ состоялъ дворовымъ человѣкомъ моего сосѣда по прежнему имѣнію, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваевъ, молодой и красивый парень, пользовался довѣріемъ корнетши Отлетаевой, а камеристка послѣдней, Аннушка, тоже молодая и красивая дѣвица, пользовалась таковымъ же довѣріемъ со стороны самого корнета. Года два или три эти люди жили безмятежно, довольные собой, какъ вдругъ эмансипація все это счастье перевернула вверхъ дномъ. И Анатошка, и Аннушка тотчасъ же настрѣвъ отказались отъ наперсничества, хотя корнетъ и корнетша доказывали, что имѣютъ право еще въ теченіе двухъ лѣтъ пользоваться ихъ услугами. Дѣло не обошлось безъ формальнаго разбирательства, но по тогдашнему либеральному времени кончилось тѣмъ, что возмущившимся «хамамъ» выданы были увольнительныя свидѣтельства. Немедленно послѣ этого момента чета вступила въ законный бракъ, а затѣмъ и навсегда исчезла изъ родовыхъ палестинъ. И вотъ, спустя пятнадцать лѣтъ, я вновь встрѣтился съ ними, и встрѣтился какъ чужой, потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движеніемъ не выдалъ, что когда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но въ эту минуту нахальство Разуваева какъ-то неприятно на меня подѣйствовало. Къ сожалѣнію, ежели я способенъ понимать (а стало-быть, и оправдывать) извѣстныя жизненные явленія, то не всегда имѣю достаточно выдержки, чтобы относиться къ нимъ объективно, когда они становятся ко мнѣ лицомъ къ лицу. Поэтому я вмѣсто отвѣта указавъ Разуваеву на дверь, и онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же послѣдовалъ моему молчаливому приглашенію.

Но тутъ-то именно и начались для меня глупѣйшія испытанія. Вечеромъ того же дня явился Лукьянычъ и вмѣсто того, чтобы, по обычаю, повздыхать да помолчать, вступилъ въ собесѣдованіе.

— Разуваева-то вы давеча прогнали?

— Я его къ себѣ не приглашалъ, а стало-быть, и отъ себя не прогонялъ. А такъ какъ онъ ворвался ко мнѣ нахаломъ, то, разумѣется, я...

— Про то я и говорю, что прогнали.

Лукьянычъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, переступилъ съ ноги на ногу и какъ-то особенно пошевелилъ плечами. Значить, будетъ продолженіе.

— А онъ къ вамъ за дѣломъ прѣзжалъ.

— Да, показывалъ бумажки; вотъ за это-то я и указалъ ему на дверь.

— Угоду онъ у васъ купить охотится—оттого и бумажки показывалъ. Чтобъ, значить, сумлѣнія вы не имѣли.

— А коли дѣло хочетъ дѣлать, такъ долженъ говорить по-человѣчьи, а не махать бумажникомъ у меня передъ глазами.

— Такъ-то око такъ.

Опять минута молчанія и опять переступаніе съ ноги на ногу.

— Нехорошо въ здѣшнемъ мѣстѣ, нескладно.

— Что такъ?

— Народу настоящаго нѣтъ. Мелкій народъ, гадѣвокъ. Глаза бѣлые, лопочуть по-своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, ни отъ него резонъ выслушать... право!

— Такъ вѣдь это не со вчерашняго дни.

— То-то, говорю; нехорошо здѣсь. Сидишь, молчишь—того гляди, остатній умъ промолчишь.

— Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что ли, разговаривалъ?

— А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по себѣ, а я самъ по себѣ.

— Ну, хорошо; продать такъ продать. А куда потомъ дѣваться? надо же гдѣ-нибудь помраться?

— Я въ свое мѣсто уйду, къ Успенью-матушкѣ.

— А я куда уйду?

— Неужто-жъ мѣстовъ не найдется!

— То-то вотъ и есть, что нынче нигдѣ притаиться нельзя. Только-что затворишься—смотришь, анъ кто-нибудь и заглянулъ.



— Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорилъ я тогда: не нужно мужикамъ Свѣтлички отдавать—нѣтъ, отдали. А пустошпочка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинокъ—въ самую могуу! И мѣсокъ березовый по ней, грибовъ сколько, все бѣлье. Все село туда за грибами ходить. Выстроили бы тамъ домѣкъ, въ пропорцію, какъ захотѣли, такъ и жили бы.

— Да ты къ чему это говоришь? уйти, что ли, отъ меня хочешь?

— Уйти мнѣ отъ васъ никакъ невозможно. Я покойному вашему паленькѣ образъ снималъ, чтобы быть, значить, завсегда при васъ. А только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо здѣсь.

— Стало-быть, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно

— И опять искать?

— И опять сыскать можно. Только ужъ надо съ умомъ. Чтобы Разуваевыхъ, значить, не было. Вонъ онъ и теперь свищетъ да гамитъ по ночамъ, а лѣтомъ, пожалуй, и вовсе въ трубу трубить будетъ... Попржнему, по-старинному, въ шею бы ему за это накласть, а нынче, вишь, не дозволено.

— Чудаки! да вѣдь и тамъ, и во всякомъ мѣстѣ свой Разуваевъ найдется!

— На что такое мѣсто выбирать? Надо такое избрать, чтобы никѣмъ-никого oprичъ своихъ. Живемъ, значить, здни, ни мы никого не замаемъ, ни насъ никто не замай. Вотъ какое мѣсто искать нужно.

— Ну, прощай покуда.

— Спокойной ночи-съ.

Всю ночь я не могъ заснуть. Все мнѣ представлялся вопросъ: въ самомъ дѣлѣ, что я буду дѣлать, если Разуваеву вздумается по ночамъ въ трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще всякому. Должно-быть, ужъ это судьба такая: насчетъ чтепствъ строго, а въ трубу трубить у сосѣда подъ ухомъ—можно. Весь арсеналъ воздѣйствій, кажется, во всякое время налично: и ежовыя рукавицы, и бараний рогъ, и злаячя мѣста—а кому они служатъ защитой? Хорошо еще, что не все знаютъ, что осоруживать свободной—иначе все, у кого мало-мальски досугъ есть, непременно затрубили бы въ трубы. Какъ тутъ быть? неужто приносить жалобы, подавать прошенія, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто наконецъ бѣжать?

И на другой день утромъ голова моя была полна этими мыслями. Уныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени поглядывалъ въ окно, словно желая удостовѣриться: все ли стоитъ на старомъ мѣстѣ и не бѣжало ли къ Разуваеву? Мартъ подходилъ уже къ концу, время стояло хмурое, хотя въ воздухѣ все-таки чувталась близость весны. Деревья въ паркѣ стояли обнаженные, мокрыя; на цвѣтникахъ, передъ домомъ, снѣгъ посинѣлъ и, весь источенный, долеживалъ послѣдній срокъ; дорожки по мѣстамъ пестрѣли желтыми пятнами; нѣсколько поодаль, на огородѣ видѣлись совсѣмъ черныя гряды, а около парниковъ шла усиленная дѣятельность. За зиму рабочій людъ отдохнулъ и приготавлился къ серьезному труду. Вотъ и я за зиму отдохнулъ и приготавлиюсь продолжать отдыхать и лѣтомъ. Какой отдыхъ прятнѣе: зимній или лѣтній?—оба въ своемъ родѣ хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ туфляхъ изъ комнаты въ комнату; лѣтомъ хорошо отдыхать, бродя по аллеямъ и внимая пѣвнью зяблунковъ и чижей. Но ежели все сложилось такъ хорошо—зачѣмъ же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И какое право онъ имѣеть прямо или косвенно заявлять, что я кому-то мѣшаю и что вообще я здѣсь не ко двору?

Среди этихъ сѣтованій явился давно небывалый гость: батюшка. На вопросъ: чѣмъ потчивать? онъ только горько усмѣхнулся, какъ бы вопрошая: а какіе теперь дни? забыть?

— Не полагается?

— То-то, что не полагается. И изъ мірянъ благочестивые—и тѣ ни вина, ни елея не держаютъ.

Мы оба нѣсколько минутъ помолчали, слегка удрученные.

— Выль я у васъ на мельницѣ,—началь батюшка:—полезное заведеніе!

— Выгоды мало приноситъ, батюшка.

— И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помольцевъ мало, самимъ по осени, въ дешевое время, зерно можно скупать, а весной, въ дорогое время, мукѣй продавать—убытка не будетъ. Вотъ тоже огородъ у васъ. Мѣсто обширное: сколько одной овощи посадить можно, окромя ягодъ и всего прочаго!

— И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной выгоды. Сами, должно-быть, потребляемъ, а на сторону мало продаемъ.

— И на сторону можно бы продавать, коли съ разумѣ-

ниемъ. Возьмемъ хотя бы ягоды: земляника, малина, смородина,—на все покупщикъ найдется.

— Кабы былъ покупщикъ—отчего бы не продать!

— Искать, сударь, надо—и найдется. Толчите и отверзется. По здѣшнему мѣсту да покупщика не сыскать! Да тутъ на одномъ огурцѣ фортуна сдѣлать можно.

Однако-жъ воспоминаніе объ овощахъ (особенно ежели съ елеемъ), повидимому, подѣйствовало на батюшку раздражительно. Онъ слегка повернулся, провелъ рукою по волосамъ, какъ бы отгоняя «мечтаніе», потомъ вздохнулъ и перешелъ къ знакамъ.

— Вотъ тоже луга у васъ. Мѣсто здѣсь потное, доброе, только ума требуетъ. А вы сѣете-сѣете, и все у васъ кислица замѣсто тимосеевки родится.

— Такъ, стало-быть, Богу угодно, батюшка.

— Знаю, что безъ Бога нельзя. Прогнѣвлять Его не слѣдуетъ—вотъ чтó главнѣе всего. А затѣмъ и самому необходимо заботу прилагать, дабы Богъ на наши полезные труды благосерднымъ окомъ взиралъ. Вотъ тогда будетъ родиться не кислица, а тимосеева трава.

— Что-жъ, батюшка, кажется, я ничего такого не дѣлаю, за что бы Богу гнѣвается на меня.

— То-то и есть, что «не дѣлать»-то мы всѣ мастера, а нужно «дѣлать», да только такъ «дѣлать», чтобъ Богу пріятно было. Тогда у насъ будетъ кормовъ изобиліе: и сами будемъ сыты, и скотины не изобидимъ. Скажемъ, на примѣръ, о картофелѣ. Плантаціи вы завели значительныя, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а между прочимъ добрую половинку свиньямъ скормили. Свиньи же, по немнѣнью борова, плода не принесли.

Послѣднее замѣчаніе поразило меня. Въ самомъ дѣлѣ, меня преслѣдуетъ неудача особаго рода. На скотномъ дворѣ у меня мужской плодъ положительно не въ авантажѣ. Третій годъ, на примѣръ, мы ищемъ селезня для утокъ, и чтó ни купимъ—опять окажется утка. И вотъ, вслѣдствіе этого преобладанія женскаго элемента надъ мужскимъ, куры не несутся, коровы доятъ мало и телятся не ежегодно. А одна корова такъ положительно добродѣтельная. Въ теченіе четырехъ лѣтъ всего одинъ разъ телналась, да и то самымъ необыкновеннымъ образомъ. Никто ничего не подозревалъ, а она между тѣмъ однажды вечеромъ не пришла со стадомъ домой, а на утро, только солнышко встало, слышимъ: мычитъ, умница, у воротъ, а за нею теленочекъ. Радо-

стямъ и изумленіямъ не было конца. «Вотъ умница, вотъ красавица! и гдѣ это она?» сыпалось на нее со всѣхъ сторонъ, и всякій спѣшилъ чѣмъ-нибудь порадовать умную коровку. Радовался и я, и подарилъ «Умницѣ» «Домашнюю Бесѣду» за двѣлтый годъ. Но съ тѣхъ поръ «Умница»—ни гугу. Покушаетъ, ляжетъ, взглянетъ на небо, зажмуритъ глаза—и только. Не разъ я спрашивалъ у Лукьяныча, чтó за причина такая? Но у него всегда одинъ отвѣтъ: либо—«стало-быть, пѣтухи свое дѣла не понимаютъ», либо—«стало-быть, быкъ не солдѣцъ попался». Прекрасно; но кто же долженъ за этимъ наблюдать?!

Разумѣется, въ виду этихъ фактовъ я ничего дѣльнаго на укоризны батюшки возразить не могъ.

— Опять же лѣсъ,—продолжалъ между тѣмъ батюшка:—съ тѣхъ поръ, какъ имѣніе къ вамъ перешло, онъ даже въ ростѣ прибавляться пересталъ. Мужики въ немъ жерднякъ рубятъ, бабы—вѣнники рѣжутъ. А ежели бы этотъ самый лѣсъ да въ надежныя руки—онъ бы процентъ принесъ!

Я молчалъ, потому что сознавалъ батюшкину правду, какъ она ни была для меня обидна. А батюшка все больше и больше хмурился брови и началъ даже разжигаться.

— Куры не несутся,—говорилъ онъ негодующимъ голосомъ:—коровы молока не даютъ, поля не родятъ, мельница издержекъ не окупаютъ, лѣсъ надлежащаго прироста не даетъ—по-вашему, какъ это называется?

Я такъ и ждалъ, что онъ вынетъ изъ кармана листокъ «Московскихъ Вѣдомостей» и закричитъ: «измѣна!»

— А по-моему,—продолжалъ онъ:—это и для правительства прямой ущербъ. Правительство источниковъ повыхъ не видитъ, а стало-быть, и въ обложеніяхъ препоны находитъ. Въ случаѣ, на примѣръ, войны—какъ тутъ быть? А окромѣ того и мѣстность здѣшняя терпитъ. Сколькимъ сирымъ и немнущимъ было бы существованіе обезпечено, если-бъ съ вашей стороны приличное направленіе сельскохозяйственной дѣятельности было дано! А вѣдь и по христіанству, сударь, грѣшно сирыхъ не призирать.

Батюшка опять-таки былъ правъ; но такъ какъ онъ разсердился, то, по закону возмездія, счелъ нужнымъ разсердиться и я.

— Ну-ну, батя!—сказалъ я:—увѣщевать, отчего не увѣщевать, да не до седьмого пота! Куры яицъ не несутъ, а онъ правительство приплетъ... ишь вѣдь! Вотъ я



намедлясь въ газетахъ читаль: такой же батя, какъ и вы, опасеніе выражалъ, дабы добрыя сѣмена не были хищными птицами позобаны. Хоть я и не приравниваю себя къ «добрымъ сѣменамъ»—гдѣ ужь!—а сдается, будто вы съ Разуваевымъ сзбать меня собрались.

— Что вы! Христось съ вами!—смягчился батюшка:— я вѣдь для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ благопопѣшенія нѣтъ, думаю: кому же, какъ не пастырю, о семъ предстательствовать!

— Нѣтъ, вы лучше прямо скажите: Разуваевъ васъ ко мнѣ подослалъ?

Батюшка слегка крикнулъ и ужь совсѣмъ было сконфузился, но сейчасъ же, впрочемъ, оправился.

— А хоть бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него препорученія не принять, ежели изъ того обоюдная польза произойти должна? Въ сихъ случаяхъ пастырю даже въ обязанность вмѣняется...

— Позвольте, да развѣ я въ газетахъ публиковалъ или кому сказывалъ, что дачу продаю?

— Объ этомъ, конечно, не слыхать, а только для всѣхъ видимо. Призору пастоящаго нѣтъ, предпріятій тоже не видится— вотъ и сдается, словно бы дѣло къ недалекому концу приближается.

— Вы такъ полагаете?

— Вѣстѣ съ прочими и я. Нерѣдко мы съ понадеей про васъ поминаемъ: совсѣмъ не такъ господинъ устроился, какъ ему надлежитъ! Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, гдѣ, сударь, вамъ за экой угодой самимъ вездѣ усмотрѣть?

— А какъ бы, по-вашему, мнѣ устроиться надлежало?

— Да такъ думается: десятники двѣ-три, не больше; домикецъ небольшой, садикъ при немъ, аллея для прохладности... чисто, аккуратно! А изъ живности: курочекъ съ пятокъ, ну, коровка, чтобъ молочко свое было.

— За этимъ, значить, я буду въ состояніи усмотрѣть?

— Гдѣ и сами присмотрите, а гдѣ и Лукьянычъ поможетъ. Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтобъ за курами да за коровой ходила.

Именно это самое говорилъ мнѣ вчера Лукьянычъ. Да я и самъ—развѣ я, въ сущности, когда-нибудь мечталъ о другомъ! Пять курочекъ и одна коровка— вотъ все, что мнѣ нужно, съ чѣмъ я могу справиться! Да и это нужно совсѣмъ не для того, что оно въ самомъ дѣлѣ «нужно», а только для того, чтобъ около дома не было ужь через-

чуръ безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, кудахтало. Взятъ бы я въ товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слушалъ бы, какъ они, съ утра прикончивъ съ дѣлами, взапуски зѣваютъ и чешутся спинами объ дверные косяки. И мнѣ было бы хорошо, и всѣмъ было бы хорошо. Правительство находило бы новыя источники, а Разуваевъ призиралъ бы сирыхъ и немущихъ, предоставляя имъ пахать землю, полоть гряды въ огородѣ и проч. Тѣмъ не менѣе я не рѣшился въ эту минуту сознаться передъ батюшкой, что онъ отгадалъ мои тайныя помышленія!

— Благодарю за предиду,—сказалъ я:— но откровенно сознаюсь, что таковыя бывають пріятны лишь во благовременіи. Такъ и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка взаправду огорчился и даже слегка побѣлѣлъ въ лицѣ. Онъ поспѣшно засучилъ рукава своей ряски, взялъ шляпу и сталъ искать глазами образа.

— Образокъ-то маленькій!—сказалъ онъ:— сразу и не отыщешь!

Онъ произнесъ это съ улыбкой, что, впрочемъ, не мѣшало мнѣ прочесть на его лицѣ: «МАТЕРІАЛЫ!!!» Правительству новыхъ источниковъ дохода не предоставляетъ— первое; пастырей духовныхъ не чтить и совѣтами ихъ небрежеть—второе.

— Говѣть-то будете?—спросилъ онъ уже совсѣмъ умилешнымъ голосомъ.

— Я, батюшка, въ городѣ...

Онъ радушно пожалъ мнѣ руку на прощанье, но увѣренію моему вѣры не далъ, и на лицѣ его я прочиталъ по-ловый «матеріаль»: «утверждаетъ, якобы говѣлъ въ городѣ, но наврядъ ли—третье».

Распростившись съ батюшкой, я вышелъ изъ дому и направился въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидѣлъ садовникъ Артемій, порядочно навеселѣ, и ронталъ.

— Какой это навозъ?—вопіялъ онъ:— развѣ на такомъ навозѣ можетъ настоящая обонь вырасти?

Съ этими словами онъ нагнулся, зачерпнулъ изъ парника рукой и поднесъ горсть къ самому моему лицу.

— Вотъ, сударь, извольте смотрѣть!

И затѣмъ, не выжидая моего отвѣта, продолжалъ:

— Навозъ для парниковъ долженъ быть конскій, чистый... одно чтобы кака! А у насъ какъ? Я говорю: давай мнѣ навозу чистаго, чтобы, значить, все одно, какъ печь, а Лукьянычъ: «стунай въ свиной хлѣвъ, тамъ

про тебя много принашено!» Развѣ такъ возможно... ахъ-ахъ-ахъ!

— Ну, старикъ, какъ-нибудь...

— Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и васъ за эти самыя слова похвалить нельзя. Потому я — садовникъ, и всякій, значить, беретъ это въ разсужденіе. Теперича вы, напримѣръ, усадьбу свою продавать задумали... хорошо! Приходитъ, значить, покупатель, и первымъ дѣломъ: садовникъ! какъ парники! Что я ему покажу? А почему, скажете, въ парникахъ у тебя ничего не растетъ? А?

Но я уже шелъ дальше, на скотный, и только слышалъ, какъ въ догонку мнѣ укоризненно раздавалось:

— Я вышилъ: это дѣйствительно! да вѣдь не на ваши, а на свои... ахъ, господинъ, господинъ!

На скотномъ меня ждала радость: «Умница» опять отелась.

— Телочку принесла... пестренькую, — радовалась старуха Матрена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и прибавила: — а по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

— Отчего такъ?

— Все равно рѣзать велите: бычка не такъ бы жалко.

— Почему же ты думаешь, что я рѣзать велю?

— Такъ неужто-жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, толстомясаго, и старыхъ коровъ. Вонъ и Машка поросится собралась — стало-быть, и поросятъ для Разуваева беречи будете?

Рѣшительно, даже кругомъ меня, и въ домѣ, и во дворѣ, все въ заговорѣ. Положимъ, это не злостный заговоръ, а, напротивъ, унылый, жалбующій, но все-таки заговоръ. Никто въ меня не вѣритъ, никто отъ меня ничего солиднаго не ждетъ. Вотъ Разуваевъ — другое дѣло! Этотъ подтяпеть! Онъ свинной навозъ въ конскій обратитъ! онъ заставитъ коровъ доить! онъ такого пѣтуха предоставитъ, что куры только ахнутъ!

Всѣ боятся Разуваева, никто не любитъ его, и въ то же время всѣ сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода, какъ рабочіе мои предчувствуютъ это и въ моихъ глазахъ самымъ заискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая мою экскурсію, прихожу къ сѣнному сараю; тамъ работники: первый Иванъ да другой Иванъ прошлогоднее сѣно перебиваютъ и для чего-то съ одной стороны на другую его перетаскиваютъ.

— Что это вамъ задумалось?

— Одетъ Лукьянычъ велѣтъ.

— Зачѣмъ?

— У насъ спереди-то съ гнильцой сѣно лежало, а сзади зеленое, вѣдренное; такъ теперь похуже-то сѣно къ стѣнѣ переложимъ, а хорошее будетъ впереди.

— Сами себя, стало-быть, тѣшить хотите?

— Нѣтъ, а на случай ежели примѣрно покупатель...

Я прекращаю разговоръ и спрашиваю:

— Гдѣ Лукьянычъ?

— Съ Андреемъ за рѣку въ лѣсъ пошелъ.

— Зачѣмъ же Андрея взялъ?

— У насъ въ прошломъ году за рѣкой порубочка была, такъ хворостку пошли на это мѣсто покидать, чтобъ покупателю, значить...

Я поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ. «Неужто же я въ самомъ дѣлѣ продаю? — спрашиваю я себя. — Ежели продаю, то какимъ же образомъ я какъ-будто не сознаю этого? ежели же не продаю, такъ вѣдь это просто разоренье: никто никакой работы не дѣлаетъ, а всѣ только дыры замазываютъ да приготавливаютъ кому-то показать товаръ лицомъ».

— Стагнулись, что-ли, вы съ Разуваевымъ? — нагнулся я на Лукьяныча, какъ только увидѣлъ его.

— Зачѣмъ съ Разуваевымъ! Свѣтъ ле клиномъ сошелся; можетъ, и окроми покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой увѣренностью, что мнѣ ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумѣется, молчать — самое лучшее. Но какъ молчать, когда булавки со всѣхъ сторонъ такъ и впиваются въ васъ? какъ молчать, ежели комнаты не тонлены, ежели вы ежедневно рискуете остаться въ положеніи чловѣка, выброшеннаго на необитаемый островъ, ежели самыя обыкновенныя жизненные удобства ежеминутно грозятъ сдѣлаться для васъ недоступными?

Я знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но развѣ я одинъ? Развѣ такія руины, какъ я, не считаются тысячами, десятками тысячъ? руины, жалобно вымирающія по своимъ угламъ? руины, питающіяся круинцами, оставшимися отъ трапезы мірѣдовъ? руины, ежеминутно готовыя превратиться въ червонныхъ вилетовъ?

Предположите, что я представляю собой типъ старокультурнаго чловѣка средняго пошиба, не обладающаго

сильными материальными средствами, но и не совѣмъ обдѣленным; человѣка, помнящаго крѣпостное право съ его привилегіями; человѣка, смолоду выработавшаго себѣ потребности известныхъ удобствъ; человѣка, ни къ какому дѣлу не приготовленнаго (ибо и дѣла въ то время не предвидѣлось), и—что важнѣе всего—человѣка, совершенно неспособнаго къ физическому труду. Сей человѣкъ ни въ чемъ не можетъ лично помочь себѣ; онъ не можетъ сдѣлать шагу въ жизни безъ того, чтобы не потребовать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно нѣсколько человѣкъ, которые постоянно заботились бы о томъ, чтобы онъ былъ накормленъ, одѣтъ, обутъ, не задохся отъ собственныхъ мѣзмовъ, не закоченѣлъ отъ холода. Чтобы связать эти постороннія существованія съ своимъ, онъ долженъ имѣть «наготовѣ» приманку, то-есть деньги, и эти деньги, въ большинствѣ случаевъ, опять-таки добыты при помощи постороннихъ людей. Но развѣ эти люди, которыхъ онъ заманиваетъ деньгами, не понимаютъ, что они существуютъ не для себя? развѣ есть возможность устроить такой миражъ, который заставлялъ бы ихъ думать, что, соблюдая мою выгоду, ходи и покой меня, они не мою выгоду соблюдаютъ, а свою, не меня покоятъ и холятъ, а себя?

Даже при крѣпостномъ правѣ такого миража нельзя было устроить, а теперь уже стало и совѣмъ ясно, что только нужда можетъ заставитьъ посторонняго человѣка принять участіе въ холеніи другого человѣка, хотя бы и «барина». А ежели нужда, то, стало-быть, надлежитъ удовлетворять ей вотъ до этой черты и ни на волосъ больше. И вотъ затѣвается борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая игра въ прятки, въ неохоту, въ нехотѣніе. Допустимъ, что подневольный человѣкъ въ этой борьбѣ ничего не выиграетъ, что онъ все-таки и впередъ останется прежнимъ подневольнымъ человѣкомъ: но вѣдь онъ и безъ того никогда ничего не выигрываетъ, и безъ того онъ осужденъ «слезы лить» — стало-быть, какой же ему все-таки резонъ усердствовать и пострадать? А культурный человѣкъ проигрываетъ положительно. Не говоря уже о материальныхъ ущербахъ, чего стоить нравственные страданія, приключаемыя вѣчно-присущимъ страхомъ безпомощности?

Сапоги не чищены, комнаты не топлены, обѣдъ не готовленъ — вотъ случайности, среди которыхъ живетъ культурный обитатель Моиренѣ. Случайности унижительныя и таинныя, но для человѣка, но могущаго ни въ чемъ себѣ

помочь, очень и очень чувствительныя. И что всего мучительнѣе—это сознаніе, что только благодаря тому, что подневольный человѣкъ еще не вполне уяснилъ себѣ идею своего превосходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Затѣмъ, какъ человѣкъ, возлежавшій на лонѣ крѣпостного права и штавшійся его благостынями, я помню, что у меня были «права», и притомъ въ такихъ безграничныхъ размѣрахъ, въ какихъ никогда самая свободная страна въ мірѣ не можетъ надѣлать палубеннѣйшихъ дѣтей своихъ. Ибо что можетъ быть существеннѣе, въ смыслѣ экономическомъ, права распоряжаться трудомъ посторонняго человѣка, распоряжаться легко, безъ предназначенныхъ подвоховъ, просто: «подойди и сработай то-то!» Или что можетъ быть дѣйствительнѣе, въ смыслѣ политическомъ, какъ право распоряжаться судьбой посторонняго человѣка, право по усмотрѣнію воздѣйствовать на его физическую и нравственную личность? Насколько подобныя «права» нравственны—это вопросъ особый, который я охотно разрѣшаю въ отрицательномъ смыслѣ, но несомнѣнно, что правъ существовали и что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравственности известнаго жизненнаго строя суть вопросы высшаго порядка, которые и патурамъ свойственны высшимъ. Только абсолютно-чистыя и высоко-нравственныя личности могли, въ пылу «пользованія», волноваться такими вопросами и разрѣшать ихъ радикально. Средній же культурный человѣкъ, даже въ томъ случаѣ, ежели чувствовалъ себя кругомъ виноватымъ, считалъ дѣло удовлетворительно разрѣшеннымъ, если ему удавалось въ свои отношенія къ подневольнымъ людямъ ввести такъ-называемый патриархальный элементъ и за это заслужить кличку «добраго барина». Онъ никогда не былъ героемъ и ясно понималъ только одно, что за предѣлами крѣпостного права его ожидаетъ неумѣлость и безпомощность. И потому старался отвѣчать на запросы совѣсти не прямыми разрѣшеніями, а лукавыми поддѣлками. Поддѣлки эти отнюдь не обѣляли его, а скорѣе обнаруживали безхарактерность и слабость; но даже и за эту безхарактерность онъ держался цѣпко, какъ за что-то оправдывающее или, по крайней мѣрѣ, смягчающее. И съ этою же безхарактерностью остался и теперь, когда на практикѣ увидѣлъ свою безпомощность, неумѣлость и сиротливость.

Мнѣ скажутъ, что это типъ вымирающій — это правда,

по—увы!—онъ еще не вымеръ. И еще скажутъ, что это типъ несимпатичный—и это правда, но и это не мѣшаетъ ему существовать. Притомъ же онъ далъ отпрыскъ. Я надѣюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ нѣсколько иного характера, но покуда онъ еще не настолько опредѣлился, чтобы заключать объ его пригодности къ жизни въ тѣхъ хищническихъ формахъ, въ какихъ она сложилась въ послѣднее время. Мнѣ кажется даже, что то характеристическое условіе, которое мы привыкли связывать съ представленіемъ о культурности, то-есть отсутствіе возможности обойтись безъ посторонней услуги, существуетъ и для отпрыска въ той же силѣ, какъ и для стараго, отживающаго дерева.

Но знаю, какъ кому, а на мой взглядъ, ежели по обстоятельствамъ нѣтъ другого выбора, какъ или быть «рохлей», или быть «кровопивцемъ», то я все-таки роль «рохли» нахожу болѣе приличною.

Какъ культурный человѣкъ средняго пошиба, я мирно доживаю свой вѣкъ въ деревнѣ. Я выбралъ деревню, во-первыхъ, потому, что городская жизнь для меня неподручна, во-вторыхъ, потому, что я имѣю привязанность къ «своему мѣсту», и, въ-третьихъ, потому, что я имѣю склонность къ унынію и нигдѣ такъ полно не могу удовлетворить этой потребности, какъ въ деревнѣ. Затѣмъ, какъ человѣкъ старокультурный, я никому не нуженъ и даже ни для кого не понятенъ. Я не имѣю достаточно денегъ, чтобы призирать спрыхъ и немущихъ, и тѣмъ менѣе—чтобы веселить сердца Осьмушниковыхъ и Колунаевыхъ, забирая у нихъ на книжку водку и колониальный товаръ. Я не имѣю достаточно знаній, чтобы подѣлиться ими и выказать свое превосходство и полезность. Наконецъ я говорю совсѣмъ другимъ языкомъ и, вдобавокъ, оказалась даже недостойнымъ принять участіе въ земскихъ и мировыхъ учрежденіяхъ. Все это ставитъ меня въ совершенно невозможность что-нибудь предпринять и въ какомъ бы то ни было смыслѣ играть дѣятельную роль. И я, дѣйствительно, не только не «дѣйствую», а просто-напросто сижу и ничего не дѣлаю. Имѣю ли я право на это?

Въ глазахъ закона я это право имѣю. Я знаю, что было бы очень некрасиво, если-бы вдругъ всѣ стали ничего не дѣлать; но такъ какъ мнѣ достоверно извѣстно, что существуютъ на свѣтѣ такіе неусыпающіе черви, которымъ никакъ нельзя «ничего не дѣлать», то я и позволяю себѣ маленькую льготу: съ утра до ночи отдыхаю одѣтымъ, а

съ ночи до утра отдыхаю въ одномъ нижнемъ бѣльѣ. Поиндѣмому, и закону все это отлично извѣстно, потому что и онъ съ меня за мое отдыханіе никакого взыска не полагаетъ.

Оказывается однако-жъ, что и ничегонедѣланіе представляетъ своего рода угрозу. «Ничего-то не дѣлать всѣ мы мастера,—говорить батюшка:—а надобно дѣлать, и притомъ такъ, чтобы Богу было приятно». И при этомъ умилненнымъ гласомъ вопрошаетъ: «а говѣть будете?» Ахъ, батюшка, батюшка! да какъ же мнѣ быть, ежели я иначе жить не умѣю, ежели съ пеленокъ все говорило мнѣ о ничегонедѣланіи, ежели это единственный грузъ, которымъ я успѣлъ запасть въ жизни и съ которымъ добрелъ до старости? И не сами ли вы, батюшка, при крѣпостномъ правѣ возглашали: «рабы, господамъ повинуйтесь и послужите имъ въ веселіи сердца вашего»? Да наконецъ съ которыхъ же поръ нищие духомъ, ротозѣи, рохли, простофили, дураки начали стоять на счетѣ враговъ отечества?

А Граціановъ такъ даже положительно подозрѣваетъ, что если я «ничего не дѣлаю», то это значитъ, что я фрондирую. Или, въ переводѣ на русскій языкъ: фордыбачу, артанусь, фыркаю, хорохорюсь, пѣтушусь, кажу кукишъ въ карманѣ (вотъ какое богатство синонимовъ!). И все это, какъ истинно лукавый и опасный человѣкъ, дѣлаю «промежду себя». Допустимъ, что я дѣйствительно «недоволенъ» и съ своей личной точки зрѣнія, и съ болѣе общей, философской. Допустимъ, что я, возлека на одрѣ, читаю Кабѣ, Маркса, Прудона и даже—horribile dicta!—такую заразу, какъ «Впередъ» или «Набатъ». Но развѣ быть недовольнымъ «промежду себя» воспрещено? Развѣ гдѣ-нибудь написано: вмѣняется въ обязанность быть во что бы то ни стало довольнымъ? Наконецъ развѣ погибнуть государство, общество, религія оттого, что я... кажу кукишъ въ карманѣ?

Граціановъ думаетъ, что погибнуть, а вслѣдъ за нимъ такъ же думаютъ: Осьмушниковъ, Колунаевъ, Разуваевъ. Всѣ они, вмѣстѣ взятые, не понимаютъ, что значатъ слова: государство, общество, религія, но трепетать готовы. И вотъ они бродятъ около меня, киваютъ на меня головами, шепчутся и только-что не въ глаза мнѣ говорятъ: уйди!

Да, трудно себѣ представить, какая существуетъ масса людей средняго пошиба, людей, ничѣмъ не прославившихся, но и ни въ чемъ не проштрафившихся, которымъ жить тошно. Къ приращенной безпомощности, неумѣлости

и спротивности въ последнее время присоединились еще намеки и попреки. Можно ли предоставить себѣ существованіе менѣ защищенное? Конечно, можно, скажутъ мнѣ—и укажутъ на мужика. Но, по моему мнѣнію, мужикъ уже до того незащищенъ, что тутъ самая незащищенность почти равняется защищенности. А вѣдь культурному человѣку сызмала говорили: «ты—краса вселенной, ты—соль земли!»—и вдругъ является какой-нибудь уроженецъ ретиряднаго мѣста и безъ околичностей говорить: «уйди... сочувствитель!»

«Сочувствитель» — это новое модное слово, которое стремится затмить «нигилистовъ» и которое исключительно имѣетъ въ виду людей культуры. Вмѣсто обвиненія въ фактъ является обвиненіе въ сочувствіи—и дешево, и сердито. Обвиненіе въ фактъ можно опровергнуть, но какъ опровергнуть обвиненіе въ «сочувствіи»? Желаніе понять и выяснитъ известное явленіе въ ряду условий, среди которыхъ оно народилось—сочувствіе ли это? Да, выискиваются люди, которые утверждаютъ во всеуслышаніе, что все это—сочувствіе. Кто же эти люди?—это граждане ретирядныхъ мѣсть, которые, благодаря смутѣ, вышли изъ невзбывающаго заключенія и, всѣ пропитанные вонью его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, которымъ необходимо поддерживать смуту и питать нпами челоуѣко-ненавистничества, ибо они знаютъ, что не будь смуты, умолчки пенависть—и имъ вновь придется сдѣлаться гражданами ретирядныхъ мѣсть.

Я очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо вымирающихъ людей старокультурнаго закала. Я знаю, что жизнь сосредоточивается теперь въ окрестностяхъ штейнаго дома, въ области объегориванья, среди Осьмушниковыхъ, Колунаевыхъ и прочихъ столповъ; я знаю, что на нихъ покоятся всѣ упованія, что съ ними дружить все, что не хочетъ знать иной почвы, кромѣ непосредственно дѣловой. Я знаю все это и не протестую. Я недостойнъ жить и умираю. Но я еще не умеръ—какъ же съ этимъ быть?

Есть у меня одна претензія: безъ утѣшенія прожить послѣдніе дни. Конечно, я не могу въ точности опредѣлить, сколько осталось этихъ дней счетомъ, но неужто-жъ нельзя имѣть сколько-нибудь терпѣнія? И что же! оказывается, что даже для осуществленія этой скромнѣйшей претензіи необходима «протекція». Я долженъ припомнить

старинныя связи, долженъ утрусдать напоминаніемъ о своемъ забытомъ существованіи, долженъ обращаться къ просвѣщенному содѣйствію. Конечно, въ этомъ содѣйствіи мнѣ не будетъ отказано, и въ концѣ концовъ я получу—такъ право безнаказанно «артачить» и «показывать кулаки въ карманѣ», но ради Бога, развѣ нельзя отъ одной мысли объ этой предварительной процедурѣ сойти съ ума?

Свѣтлая недѣля прошла на селѣ очень весело. Много было пѣсенъ, довольно и дракъ. Колунаевъ, Осьмушниковъ и Прохоровъ давно такъ бойко не торговали; батюшка ходитъ по избамъ, поздравляя хозяевъ съ праздникомъ и собираетъ крутыя яйца; даже въ мое уединеніе доносились клики ликовапія, хотя по случаю праздника Монрепо было пустыньѣ, нежели въ обыкновенные дни. Вся прислуга точно съ цѣпи сорвалась; появлялась въ домъ лишь на минуту, словно для того только, чтобы узнать, живъ ли я, и затѣмъ вновь бѣжала бѣгомъ на село принять участіе въ общемъ веселіи. Даже Лукыничъ и никакъ не могъ дозваться, хотя и слышалъ, что гдѣ-то недалеко кто-то зѣваетъ; потомъ оказалось, что и онъ, по-своему, соблюдалъ праздничный обрядъ, то-есть сидѣлъ, пока свѣтло, за воротами на лавкѣ и смотрѣлъ, какъ пьяные, проходящіе мимо усадьбы, теряли равновѣсіе, падали и барахтались въ грязи посередѣ дороги.

Всѣ сельскіе нотабли носѣтели мяса, пили водку, бѣли ветчину и крутыя яйца. И, какъ мнѣ казалось, съ какимъ-то напряженнымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома—точно старались запомнить, гдѣ что стоитъ. Колунаевъ даже провелъ рукой по обоямъ залы и сказалъ:

— Обои-то, кажется, новенькіе поставитъ собирались?

— Собирался.

— И купили, сударь?

— Купить.

— Такъ-съ. Въ сохранности, стало-быть, лежать?

— Лежать.

Однимъ словомъ, повидному, начали уже подозревать, не замыслию ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или въ другое мѣсто потихоньку перевезти.

Въ началѣ недѣли Граціанова не было дома: онъ ѣздилъ въ городъ христосоваться съ полицейскимъ управленіемъ. Въ серединѣ недѣли однако-жъ вернулся и привезъ свѣжій

политическія новости. Новости эти, впрочемъ, заключались единственно въ томъ, что отнынѣ никому ужъ спуску не будетъ (помнится однако-жь, что и послѣ новогодней побѣдки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого чтобъ ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаетъ или неприлично званію себя ведетъ—сейчасъ въ кутузку и... флюты! Въ концѣ недѣли побѣтилъ и меня, и при этомъ выказалъ такой величественный видъ, что я даже удивился, какъ это онъ меня удостоилъ.

— Откровенно вамъ скажу,—начать онъ послѣ обычныхъ пасхальныхъ привѣтствій:—очень меня моя княгиня побѣда въ городъ порадовала.

— Награду получили?

— Насчетъ награды: исправникъ поцѣловалъ—только и всего. А главное: наконецъ-то за умъ взялись!

— Новенькое что-нибудь?

— Да-съ; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И нашему брату приходится ухо востро держать, а что касается до иныхъ прочихъ...

— Ну, слава Богу!

Повидимому, однако-жь, онъ не ожидалъ съ моей стороны такого восклицанія. По крайней мѣрѣ онъ взглянулъ на меня и чуть замѣтно ухмыльнулся.

— Что вы улыбаетесь?—полюбопытствовалъ я.

— Да такъ, знаете... А впрочемъ...

— То-то «впрочемъ!» А я вамъ на это скажу: иногда мы ищемъ, думая острое гнѣздо обрѣсти, а вмѣсто того обрѣтаемъ сокровище! Имѣйте это въ виду.

— Превосходно-съ!

Мы оба на минуту замолчали и, кажется, оба мысленно воскликнули: «однако!»

— Вы, я слышалъ, имѣніе-то продавать хотите?—начать онъ вновь.

— И я со стороны слышалъ объ этомъ, но самъ ничего не знаю.

— Отчего бы и не продать?

— А отчего бы продать?

— Выгоды для васъ держать въ здѣшнемъ мѣстѣ имѣніе нѣтъ—вотъ что. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянычъ—старь. На вашемъ мѣстѣ я совсѣмъ бы не такъ поступилъ.

— А какъ, напримѣръ?

— Да купить бы рощицу десятинки въ двѣ, въ три, выстроить бы домикъ, садикъ бы развелъ. коровку,

курочекъ съ пятокъ... Все передъ глазами — любезное дѣло!

— Представьте себѣ, что ужъ дѣлый мѣсяцъ я эти со-вѣты выслушиваю.

— А, по-моему, благіе со-вѣты всегда выслушивать при-ятно. Да-съ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, давно пора! А все гордость путаетъ: мы, дескать, интелли-генція—а гдѣ ужъ!

— Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?

— Нельзя; всё-мъ заниматься приходится, наша долж-ность такая. Вотъ въ «Вѣдомостяхъ» справедливо пишутъ: вся наша интеллигенція—фальшивъ одна, а настоящій-то государственный смыслъ въ Москвѣ, въ Охотномъ ряду обрѣтается. Тамъ, дескать, съ основаніи Россіи не чищено, такъ сколько одной благонадежности накопилось! Разу-мѣется, не буквально такъ выражаются, своими словами я пересказываю.

— Вѣрно, что своими словами.

— Такъ вотъ и дѣльнѣе бы было въ виду этого себя ограничивать. Собственность-то подъ силу, значить, выби-рать, да и вообще... Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой машиной усмотрѣть?

— Да я и не претендую на это.

— А найдись ловкій человекъ—тотъ усмотритъ. Надъ тѣмъ и мужики не подумаютъ озоровать. Это чтобы луга травить или лѣсъ рубить—сохрани Богъ.

— Кто-жь этотъ «ловкій»? Разуваевъ, что ли?

— А хоть бы и Разуваевъ.

— Надо-ль онъ мнѣ—вотъ что!

— Первымъ дѣломъ, устроилъ бы онъ въ здѣшнемъ паркѣ гулянье, а между прочимъ вотъ тамъ на уголку тор-говлю бы прохладительными напитками открылъ...

— Да, хорошо это... Гм!.. такъ вы думаете, что отнынѣ спуску ужъ не будетъ?

— Да-съ, не дадутъ-съ, подтянуть-съ!

— Слава Богу! а то совсѣмъ было распустили!

— Теперь—конецъ!

— Всему вѣнецъ! Вонъ изъ Москвы пишутъ: «умни-ковъ»-де въ рѣкѣ топить надо...

— Тсс...

— Да! Такъ вы, кажется, объ Разуваевѣ начали что-то говорить?

— Просилъ онъ узнать, не примете ли вы его?



— Быть вѣдь онъ у меня... И такой страстный: вынулъ изъ кармана бумажникъ и началъ передъ глазами махать имъ. А, впрочемъ, день-на-день не приходится. Я вообще трудно рѣшаюсь, все думаю: можетъ, и еще Богъ грѣхамъ потерпитъ! И вдругъ выдается часъ: возьми все и отстань!

— Значить, такъ ему и сказать?

— Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вѣрнаго, молъ, еще нѣтъ, а на то похоже!

— А какъ бы для васъ-то было хорошо!

Наконецъ Граціановъ ушелъ; и же, по обыкновенію, началъ терзать себя размышленіями. «Умникъ» я или «неумникъ»? спрашивалъ я себя. Самолюбіе говорило: умникъ; скромность и чувство самосохраненія подсказывали: нѣтъ, неумникъ. А что, ежели въ самомъ дѣлѣ умникъ?—вѣдь здѣсь не только рѣка, но и море, пожалуй, не далеко! Долго ли умника утопить?

Какая однако-жъ странная эта московская тонительная программа! Какъ понимать ее? Кто будетъ рассортировывать умниковъ отъ неумниковъ, первыхъ ставить ошулю, а вторыхъ—одесную? Вотъ, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагадять, насмердятъ—не продохнешь!

Въ прежніе времена процедура рассортировки умниковъ отъ неумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь изъ лицъ, на заставахъ команду имѣющихъ, выстроить всѣхъ въ шеренгу и кликнуть: «зачинщики (по нынѣшнему—«умники»), впередъ!» Сейчасъ это выйдутъ впередъ зачинщики, каждый получить, что ему по расчисленію полагается—и правъ. Всякій знаетъ, что, получивъ надлежащее, онъ спокойно можетъ смѣшаться съ массою заурядныхъ смертныхъ, и что до слѣдующаго раза его тревожить не будутъ; въ слѣдующій же разъ, можетъ-быть, и совсѣмъ Богъ помилуетъ.

Нынче, съ упраздненіемъ заставъ, распорядиться такимъ образомъ некому. Некому выкликать кличъ, некому дѣлать расчисленія, некому воздавать надлежащее: стало-быть, поневолѣ рассортировка «умниковъ» и «неумниковъ» должна быть предоставлена молодцамъ изъ Охотнаго ряда, а гдѣ такового не имѣется—Осѣмушниковымъ, Колупаевымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ возлежащимъ. Какой же возможенъ для нихъ критеріумъ для расцѣпки! Критеріумъ этотъ одинъ: кто въ книжку читаетъ, кто чисто ходитъ, въ кабаки не заглядываетъ (но

изъ Дону), походитъ не сквернословитъ (но потихоньку и по-французски), кто не наглядываетъ, но надриваетъ—тотъ и «умникъ!» Но вѣдь и московскіе сочинители тонительныхъ программъ тоже и въ книжку читаютъ, и даже перомъ балуютъ—стало-быть, и они «умники»? Или быть-можетъ, они только полуумники?

И еще: немного говорилъ Граціановъ, да много сказалъ. Ишь вѣдь: «ведетъ себя несвойственно званію»—какъ это понимать? Напримѣръ, хоть бы я. Земли я лично не пашу, ремесломъ никакимъ не занимаюсь, просто сижу и совсѣмъ ничего не дѣлаю—кажется, что это званію моему не несвойственно? А между тѣмъ несомнѣнно, что, говоря свои жестокия слова, онъ имѣлъ въ виду именно меня. Ужъ не унылость ли моя ввела его въ заблужденіе? Имѣетъ, дескать, постоянно унылый видъ и этимъ другихъ не только отъ дѣла, но даже отъ пищи отбиваетъ... Господи помилуй! Да послѣ того какъ меня «обидѣли», какой же видъ болѣе приличествуетъ моему званію, какъ не унылый! Меня «обижаютъ», а я буду суетиться, предлагать услуги и ликовать... Ни за что! На зло буду слезы лить—глядя!.. Однако и это вещь поправимая, если умиленько со мной поступить. Я уныль, по могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и «Самоновѣйшій пѣсенникъ», и когда Колупаевъ, въ сопровожденіи подносчиковъ и иныхъ кабацкихъ чиновъ, придутъ топить меня, яко «умника», я предъявлю ему вещественныя доказательства и возглашу: я совсѣмъ не «умникъ», но такой же курицынъ сынъ, какъ и вы все! И при этомъ, пожалуй, такое еще слово вымолю, что они шапки передо мной снимутъ! Что нужно, чтобы произвести во мнѣ подобное превращеніе?—нужно очень немногое: приказать. Прикажете унылый видъ прекратить—и я прекращу.

Вообще я не понимаю, изъ чего Граціановъ тревожитъ себя и хлопочетъ. Въмѣсто того, чтобы гнѣваться, полемицировать, ссылаться на свидѣтельство гражданъ ретиранныхъ мѣсть и даже «подъ рукой» скрежетать зубами, объявилъ бы прямо: «веселися, храбрый россия!»—давнымъ бы давно я трепака отхватывалъ. Да и этого не надо, совсѣмъ ничего не надо. Просто надлежитъ отставить меня въ жертву унылости—только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и въ самомъ дѣлѣ уныlostью мою я хотѣлъ намякнуть, что «хорохорюсь», «кажу куклишъ въ карманѣ»—эка важность! Кажу такъ кажу, хорохорюсь такъ хорохорюсь—пушай!

Изъ всего вышесказаннаго всякій можетъ заключить, что я и самъ не весьма отличнаго о себѣ мнѣнія. Ибо что же можетъ быть менѣ лестно: человекъ «артачится», «фордыбачить», а его не токмо за это не бьютъ, но даже и вниманія никакого на это не обращаютъ? Однако-жь и тутъ загвоздка есть. Говорятъ, будто бы это «не-отличное мнѣніе» касается не столько самого меня, сколько тѣхъ тенетъ, въ которыхъ я отъ рожденія путаюсь. Вотъ, молъ, какая тутъ затаенная мысль. Но ежели это и такъ—эка важность! Были бы тенета, а тамъ, какъ я о нихъ «про-между себя» полагаю—это потомъ какъ-нибудь на досугъ разберется. А покуда: «веселися, храбрый россия!» — и шабашъ.

До меня даже такіе слухи доходятъ, какъ будто бы Граціановъ почей изъ-за меня не шить. Говорятъ, будто онъ такъ выражается:—Кабы у меня въ стану все такіе «граждане» жили, какъ Колунаевъ да Разуваевъ—я былъ бы поперекъ себя толще, а то вотъ принесла нелегкая эту «заразу»... И при послѣднихъ словахъ будто бы заводитъ глаза въ сторону Монрепо...

А я, признаюсь, на его мѣстѣ все бы спалъ. Спать бы да тучнѣлъ, да во снѣ отъ времени до времени бредилъ: «веселися, храбрый россия!» И достаточно.

Самъ себя человекъ изпуряетъ, самъ развращаетъ свою фантазію до того, что она начинаетъ творить неизгаголемая, самъ сны наяву видитъ—да еще жалобы приносить! Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, кто ты таковъ, и нужно бы сказать, а боюсь—какихъ еще доказательствъ нужно для безпрятственности снанья?

Ничтожный я! ничтожій! ничтожный! Ваше благородіе! господинъ Граціановъ! какъ вы полагаете, легко ли съ такимъ эпитетомъ на свѣтѣ жить?

«Ничтожный» — это подлежащее. А сказуемое — фюнты! Связки — не полагается. Вѣдь вонъ онъ, мой синтаксисъ-то, каковъ! А ваше благородіе еще почивать не извоите! Изволите говорить: зараза! Ахъ-ахъ-ахъ!

Нѣтъ, лучше бѣжать. Но вопросъ: куда бѣжать? Желалъ бы я быть «птичкой вольной», какъ говоритъ Катерина въ «Грозѣ» у Островскаго, да вѣдь Граціановъ, того гляди, и канарейку слопаегъ! А кромѣ какъ «птички вольной», у меня и воображенія не хватаетъ, кѣмъ бы другимъ быть пожелать. Ежели конемъ степнымъ, такъ Граціановъ заарканитъ и начнетъ подъ верхъ муштровать. Ежели буй-ту-

ромъ, такъ Граціановъ будетъ для бифштексовъ воспитывать. Но что всего замѣчательнѣе — животнымъ еще все-таки вообразить себя можно, но человѣкомъ — никогда.

Человѣкъ — это общипанный пѣтухъ. Такъ гласить анекдотъ о человекѣ Платона, и этотъ анекдотъ, возведенный въ идеаль, преподавъ, яко руководство, и въ наши дни.

Но бѣжать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хотя въ червя подзучаго, все-таки надо бѣжать. Двѣ-три десятинки, коровка, пять курочекъ — все въ одинъ голосъ такъ говорятъ! Мнѣ—двѣ десятинки; Осмуниниковымъ и Разуваевымъ — вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да вѣдь новье-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ Граціановъ!

Не малодушіе ли это однако-жь съ моей стороны, не преувеличеніе ли?—Вѣдь жилъ же я до сихъ поръ—живъ смѣ и жива душа моя!—вѣроятно, ежели и впредь буду жить—и впредь никто меня не съѣстъ. Допустимъ, что все это такъ. Но, во-первыхъ, развѣ такъ живутъ люди, какъ я до сихъ поръ жилъ? А во-вторыхъ, какой горькій искустъ нужно вынести на своихъ плечахъ, чтобы дойти до подобнаго малодушія, до подобныхъ преувеличеній. Вѣдь и малодушіе не по произволу является, но сходственно съ обстоятельствами дѣла. Легко указывать на человека и восклицать: «вотъ рабъ лукавый!» — но что же ему дѣлать, если у него, кромѣ лукавства, услады иной въ жизни нѣтъ?

Чуть ли не съ Кантемпры начиная, мы только и дѣлаемъ, что жалуемся на «дурныя привычки». Распушенность, разнузданность, равнодушіе, лѣность, малодушіе, лукавство, лицемеріе, лганье — вотъ каковы багажъ. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли можетъ чѣмъ-либо заявить себя со стороны производительности, а скорѣе обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонамъ. Но для того, чтобы дурныя привычки исчезли, надобно прежде всего, чтобы онѣ сдѣлались невыгодны. Рамки такія нужны, въ которыхъ даже невзначай не представилось бы повода для проявленія этихъ привычекъ. А гдѣ эти рамки взять?

Обратить строгое вниманіе на выборъ подчиненныхъ—



отлично: Строжайше соблюдать законъ—превосходно. Не менѣе строго соблюдать экономію—лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это такъ и будетъ. И вотъ, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тѣхъ поръ—и радъ бы, да не могу.

Впрочемъ, я однажды ужъ оговорился, что мой личный казусъ ничтоженъ. Повторяю это и теперь. Что я такое—«ихѣ»! Одно только утѣшительно: вѣдь и всѣ остальные—ихѣ, всѣ до единого. Но какое страшное утѣшенье!

Разуваевъ явился ко мнѣ на другой день и на этотъ разъ былъ удивительно милъ. Расчесалъ кудри, тщательно вымылся, надѣлъ новый сюртукъ и штаны на-выпускъ. Вообще, повидимому, понял, что пришелъ не въ харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянулъ и съ благодарностью отозвался при этомъ о корнетѣхъ Отлетаевой.

— Кабы онѣ въ тѣ поры не зачинали суда, а честью попросили,—сказалъ онъ:—я, можетъ, и посейчасъ бы вѣрный слуга для нихъ былъ.

— Ну, гдѣ ужъ!—усомнился я.

— Вѣрное слово, вашескорodie, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихній рабъ состоятъ.

— Что ужъ о старыхъ дѣлахъ вспоминать, лучше о нынѣшнихъ потолкуемъ. Торгуете?

— И нынче дѣла нельзя похвалить, надо правду сказать. Народъ нынче очень ужъ оплошалъ, такъ, значить, только случая опускать не слѣдуетъ.

— Частелько-таки я въ послѣднее время такія слова слышу, но... признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народъ оплошалъ, да еще вы случаевъ упускаете не будете—вѣдь: этакъ онъ, чего добраго, и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надѣетесь?

— Ахъ, вашескорodie! Нѣтъ доста-а-нетъ!

Онъ сказалъ это съ такой невозмутимой увѣренностью, что мнѣ несколько пришло на мысль: что же такое однако-жь намъ въ дѣтствѣ твердили о курицѣ, несшей золотыя яйца? Какъ извѣстно, владѣлецъ этой курицы, накучивъ получать по одному яйцу въ день и желая заразъ воспользоваться всеми будущими яйцами, зарѣзалъ курицу и, разумеется, не только обманулся въ своихъ мечтаніяхъ, но утратилъ и прежній скромный доходъ. Легенда эта (въ смыслѣ результата) всегда казалась мнѣ достойною вѣроятія, и я вполнѣ искренно думалъ, что человекъ, зарѣ-

завшій драгоценную курицу, былъ глупый человекъ и совершенно правильно за свою глупость пострадалъ.

И вотъ теперь Разуваевъ объявляетъ прямо, что все это вздоръ. Судя по его словамъ, курица не перестаетъ нести золотыя яйца, даже если она съѣдена. Это какая-то вѣчная, дважды-волшебная курица, которую ничто нейдетъ, ничто доканать не можетъ. Это—курица-мнѣ, курица-без-смыслица, но въ то же время курица, подлинное существованіе которой можетъ подтвердить такой несомнѣнный экспертъ куриныхъ дѣлъ, какъ Разуваевъ. И мнѣ кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно опѣиваютъ этотъ фактъ, ибо въ противномъ случаѣ они не разглагольствовали бы ни о сокровищахъ, въ недрахъ земли скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемыхъ экспедиціей заготовленія-бумагъ; а просто-на-просто объявили бы: ежели въ одномъ карманѣ пусто, въ другомъ ничего, то распорѣ курицѣ брюхо, выотроши, сварь, съѣшь, и пускай она продолжаетъ нести золотыя яйца попрежнему. И она будетъ нести въ этомъ порукою Разуваевъ.

«Нѣтъ доста-а-нетъ!» Просто, глупо—и между тѣмъ изумительно глубоко. Эту фразу слѣдовало бы золотыми буквами начертать на всѣхъ пантеонахъ, ибо, въ сущности, на ней одной издревле всѣ экономисты и финансисты висятъ.

— Однако вы, какъ я вижу, и финансистъ!—похвалилъ я.

— Я-то-съ? — помяните, вашескорodie! такъ маленько мерекоемъ\*), а чтобы настоящимъ манеромъ произойти—такого разума отъ Бога еще не удостоены-съ.

— Ахъ, Анатолий Ивановичъ, Анатолий Ивановичъ! да вѣдь и всѣ мы, голубчикъ, только мерекоемъ!

— Нѣтъ-съ, вашескорodie,—слыхалъ я, что бываютъ и настоящие по этой части ходяки. Прожженые, значить. Взглянуть—и сразу все нутро высмотритъ.

— Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что онъ нутро видитъ, а въ дѣйствительности онъ то же самое усматриваетъ, что и мы съ вами. Только мы съ вами мерекоемъ кратко, а онъ пространно. Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, а намерекать могу съ три кокоба—вотъ и разгадка вся.

\*) Для незнакомыхъ съ этимъ выраженіемъ считаю нелишнимъ пояснить, что «мерекать» значить кое-что понимать, на бобахъ разводить. Первоначальнымъ корнемъ этого выраженія былъ, очевидно глаголъ «мерещиться». Мерещится знаніе, а настоящего нѣтъ.

— Это такъ точно-съ.

— Одинъ придетъ, померекаетъ; другого завидки возьмутъ—придетъ и неизново померекаетъ. И все одно и то же выходитъ. А мы, простецы, смотримъ издали, какъ они сами себѣ хвалятъ слагаютъ, и думаемъ, что и пивѣсть какой свѣтъ ихъ осилитъ.

— И это истинная правда-съ.

— И ежели по правдѣ говорить, такъ вы ужъ черевчуръ скромнаго о себѣ мнѣнія. Именно вы-то и не мерекаете, а самое нутро видите. «Идти достанетъ!» Ахъ, голубчики! неужто же вы не понимаете, что вы финансистъ?

Не знаю, насколько понялъ меня Разуваевъ, но знаю, что онъ остался польщенъ и доволенъ. Разумѣется, онъ воспользовался моею словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти къ дѣйствительному предмету своего посѣщенія.

— Главная причина,—сказалъ онъ:—время теперь самое подходящее. Весна на дворѣ, огородъ работать пора, къ посѣву приготовляться. Ежели теперь время опуститъ—послѣ его ужъ не наверстать.

— Но почему же вы думаете, что я упусти?

— Вашескорodie! позвольте вамъ доложить! Ну, какая же есть возможность вамъ за всемъ усмотрѣть-ся!

— Однако шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.

— Какъ-нибудь—это такъ точно-съ. А намъ надо не какъ-нибудь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескорodie! позвольте вамъ доложить! Совсѣмъ бы я на вашемъ мѣстѣ... ну, просто совсѣмъ бы не такъ я эту линію повелъ!

— Что же бы вы сдѣлали?

— Очень просто-съ. Купилъ бы двѣ-три десятинки-съ, выстроилъ бы домикекъ по пропорціи, садикекъ для прохладности бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... Мило, благородно!

Стало-быть, и онъ. Все какъ одинъ, почти слово въ слово: должно-быть, однако-жъ, частенько-таки они обо мнѣ бесѣдуютъ. Вотъ онъ, vox populi—теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди такъ увѣренно идутъ—стало-быть, они имѣютъ къ тому основаніе; ежели они съ такою тщательною подробностью опредѣляютъ, что для меня нужно, стало-быть, они положительно знаютъ, что я сижу не на своемъ мѣстѣ, что здѣсь я помѣха и безобразіе, а вонъ тамъ, на двухъ десятинкахъ, я придуся какъ разъ въ самую мѣру. И что всего важнѣе—это же са-

мое сознать я и самъ. Давно ужъ сознать, да самолюбіе, должно-быть, мѣшало вступить на новый путь, а можетъ-быть, и просто лѣнь...

Вѣроятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побесѣдовалъ съ Разуваевымъ, но ни своей дѣлн ему не объявить, ни объ его дѣлѣ не спросить. Словомъ-сказать, ни на чемъ не покончилъ. Однако-жъ видимо было, что Разуваевъ, уходя отъ меня, былъ значительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинулъ мою обстановку, какъ бы желая запечатлѣть ее въ своей памяти, и на прощанье долго и умышленно смотрѣлъ мнѣ въ глаза. Онъ понималъ, что я все еще «артачусь», и былъ такъ любезенъ, что взглянулъ на эту слабость свиходительно. Въ самомъ дѣлѣ, не Богъ же знаетъ что съѣсть человѣкъ, ежели и подождать двѣ-три недѣли, а онъ между тѣмъ жалованье рабочимъ за мѣсяцъ заплатитъ... Во всякомъ случаѣ я почти убѣжденъ, что отъ меня онъ побѣжалъ къ своимъ единомышленникамъ, и что тамъ все единогласно уже рѣшено и скомпоновано. Можетъ-быть, и Лукьянычъ тамъ, вмѣстѣ со всеми, совѣты подаетъ...

— Лукьянычъ! А Лукьянычъ! гдѣ ты?—испугался я.

— Здѣсь я,—отозвался голосъ изъ передней.

— Разуваевъ-то вѣдь въ сурьезъ покушать приходитъ.

— Неужто-жъ въ шутку!

— Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоящимъ манеромъ невозможно.

— Чего «настоящимъ манеромъ»? Аирѣль въ половинѣ, пахать пора, а гдѣ у насъ навозъ-то?

— Такъ неужто за зиму не накопилось?

— Спросите у садовника, куда онъ его дѣвалъ.

— Такъ, значить, продать?

— Это какъ вамъ будетъ угодно.

— Да ты-то, ты-то что думасишь! Чай, не дѣлами у тебѣ языкъ скованъ—шевели!

— И то умаляю, еще при напеченкѣ при ванномъ шевеливши. Говорилъ въ то время: не покупайте, зачѣмъ вамъ!—нѣтъ, купили...

— Ну, ступай!

Но прошла Святая, прошла Фомина недѣля, а я все еще артачился и недоумѣвалъ. Вонъ выѣхалъ Иванъ старшій съ сохой на полосу противъ усадьбы, перекрестился и пошелъ ковырять. Ишь ковыряетъ! даже изъ оконъ видно, какъ онъ на каждомъ шагу пропанку за пропанкой дѣлаетъ... такъ

бы и налетѣть! Смотрю, ая и Разуваевъ стоитъ на дорогѣ и тожъ на пашню любитъся: только понапрасну, молъ, земля болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерпѣлъ, крикнулъ: «а ты бы, Иванъ, сохой-то не все надуто, а и въ землю бы попадай!» И Иванъ повялъ, что это не напрасный окрикъ, что когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и началъ въ землю сохой попадать. «Но-но, милыя! Ну... стерво!» слышатея мнѣ черезъ полуотворенное окно поощренія, посылаемыя имъ рыжему мерину.

Главное препятствіе для окончательной развязки представила, повидимому, мысль: наступастъ лѣто — куда дѣваться? Ежели въ Петербургъ или въ Москву ѣхать — унаси Богъ! Тамъ теперь такіе фундаменты закладываются и такія создаются зданія, что того и гляди задавятъ. Ежели за границу ѣхать — не лежитъ у меня сердце къ этой «за-границѣ». Во-первыхъ, англичанъ на каждомъ шагу встрѣчаешь: ходятъ прямо, надменно, и у каждого на лицѣ: «Afghanistan — jamais!» Это, то-есть, настъ, русскихъ, они такъ дразнятъ. Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ уже норъ вы твердите: jamais да jamais, а мы между тѣмъ, не торюясь да Богу помолясь, смотрите-ка, куда забралесь! Одно пехорство: объяснить имъ это прямо нельзя — того гляди, проитрафитесь. Онъ говоритъ: jamais! а я отвѣтить ему не могу. Почему я знаю, что по обстоятельствамъ дѣла и въ согласность съ высшими соображеніями слѣдуетъ въ данную минуту говорить? Можетъ-быть: peut être, а можетъ-быть, и — jamais. Такъ ужъ лучше пусть онъ одинъ дразнится, а мы помолчимъ — вотъ оно, положеніе-то, каково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей нѣтъ. Коли хотите, цѣлые города (курорты) существуютъ, гдѣ, кромѣ лакеевъ, и людей другихъ не найдешь, а все-таки подлиннаго, «своего» лакея нѣтъ. Тамашній лакей жадный, прожженный, онъ всякому служить готовъ, а потому ни настоящей сноровки, ни преданности съ него спросить нельзя. А намъ нуженъ лакей постоянный, чтобъ съ утра до вечера все одного и того же человѣка шпынять. Въ-третьихъ, за границей очень ужъ чисто. Вычистить съ утра и хотять, чтобы цѣлый день чисто было. А намъ это невозможно. Помню, я въ прошломъ году людскія помѣщенія на скотномъ дворѣ вычистить собрался; нанять поденщицъ (на свою-то прислугу не повадѣлся), самъ за чистойю наблюдалъ, чистить-день, чистить другой, одного убиеннаго и ошпареннаго клопа цѣлый ворохъ на полосу вывезъ — и

вдуть-вику, смотреть на мои хлопоты старшій Иванъ и только-что не въявъ говоритъ: дай срокъ! я завтра же всю твою чистоту въ лучшемъ видѣ загажу. Такъ-то и всё. Нельзя намъ чисто жить, недосугъ. Да и приспособленій у насъ не заведено. За границей машинами улицы поливаютъ, а мы — ковшикомъ! за границей громадными щетками грязь вычищаютъ, а мы — метелками. И не то чтобъ мы не понимали, что хорошо, что худо; спросите у первого встрѣчнаго: что лучше, въ чистотѣ ли жить, или въ грязи барахтаться — навѣрное всякій скажетъ: «какъ можно: въ грязи или въ чистотѣ?» Но черезъ минуту непременно прибавитъ: «ахъ, баринъ, баринъ!»

Словомъ сказать, ни въ столицѣ, ни за границей — нигдѣ жить охоты нѣтъ. Кунить бы гдѣ-нибудь въ Проплѣванскомъ уѣздѣ, на берегу рѣки Гиллушки, двѣ-три десятинки — именно такъ, ни больше, ни меньше — да вѣдь, пожалуй, въ поискахъ за этимъ альдorado все лѣто пройдетъ...

Очень возможно, что я долго бы такимъ образомъ недоумѣвалъ, если-бъ не пришелъ ко мнѣ на помощь неожиданный случай и не ускорила развязку.

Сейчасъ послѣ Оюмной я получилъ письмо отъ стариннаго моего пріятеля и школьнаго товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилія и очень древняя: и въ Смоленскѣ Косушкины сидѣли, и въ Тушинѣ бѣгали, но нигдѣ «косушки» не забывали и тѣмъ прославились). Письмо гласило слѣдующее:

«Соломенное Городище, 26-го апрѣля.

«Ау, дружище! гдѣ ты и какъ живешь? Ежели въ Монрепѣ унываешь, то брось все, продавай за грошъ и кади сюда! Ибо лѣта наши приходятъ преклонныя, и слѣдовательно закатъ дней своихъ намъ не унывающе, но веселіе провести надлежитъ.

«Скоро будетъ два года, какъ я поселился здѣсь, поселился, повидимому, случайно, а на повѣрку выходитъ, что навсегда. Вотъ краткая повѣсть о моемъ переселеніи.

«И я родился въ Аркадіи, и у меня было свое Монрепѣ; но въ послѣднее время такъ оно мнѣ оностыгло, что я, какъ номѣшанный, сложился изъ угла въ уголъ. Дѣло въ томъ, что покуда были палицы — разные Евдокимычи, да Климьчи, да Аксѣионычи, жилось хоть и ен особенно сладко, но все-таки жилось. Жить и я. Никто не тревожилъ меня, никто «распоряженіями» не донималъ.

Придетъ кто-нибудь насчетъ покосца переговорить—ступай къ Евдокимычу; дровецъ не продадите ли—ступай къ Климычу; маслаца вѣтъ ли залишняго—ступай къ Аксиньюшкѣ. Какъ ужь они тамъ дадились—не знаю, но денегъ на расходы не требовали и даже меня отъ времени до времени кушниками побаловывали. Но что важнѣе всего—я былъ увѣренъ (да и теперь вѣрю), что дѣло у насъ идетъ среднимъ ходомъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смиренно, честно, благородно... И вдругъ, среди этакой-то тишины и во всемъ благомъ поспѣшеніи, налетѣлъ на насъ вихрь: стали старики помирать. Сначала умеръ Евдокимычъ, потомъ Климычъ, а наконецъ и Аксиньюшка.

«Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недѣли двѣ морщится, скучный ходитъ (Евдокимычъ говорилъ: «въ первую холеру я съ покойнымъ палежкой вашимъ въ рощенель въ Москву вѣзиль—съ тѣхъ самыхъ цоръ ноги можжатъ), потомъ влѣзаетъ на печку и ужь не слѣзаетъ оттуда: значитъ, смерть идетъ. И дѣйствительно, не пройдетъ и мѣсяца—смотришь, плюютъ за священникомъ. Причастится, особоруется и совѣмъ ужь притихнетъ. А къ вечеру икостъ—и пѣтъ его. Тяжелѣе другихъ умирала Аксиньюшка: все каялась мнѣ, что «еще при покойницѣ матушкѣ вашей новинку утаила», и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или въ порывѣ предсмертнаго самобичеванья наклепала на себя—сказать не могу; но, вспоминая матушкинъ «глазокъ-смотрокъ», сдастся мнѣ, что врядъ ли отъ ея вниманія могла укрыться цѣлая недостающая новинка.

«Не думай однако-жъ, что я пишу идиллію, и тѣмъ паче, что люблюсь ею. Отлично я понимаю, какимъ образомъ сложился типъ крѣпостного пѣстуня, и почему всѣ эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у нихъ ногъ ужь не было, чтобъ бѣжать, а во-вторыхъ, отъ отца съ матерью они навѣрное и безъ ногъ бы ушли, потому что тѣ были господа настоящіе и хотя особенно блестящихъ хозяйственныхъ подвиговъ не совершали, но любили игру «въ каторгу», то-есть съ утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а, стало-быть, сумѣли бы и со стариковъ «спросить». Ну, а мнѣ все равно: живите, только меня не трогайте!

«Когда всѣ перемерли, я остался одинъ лицомъ къ лицу съ Монрепо. Ужасно это тяжелое чувство; въ первый разъ въ жизни напалъ на меня страхъ. Спать по ночамъ не

могъ; все чудилось: зачѣмъ же Монрепо-то не умерло? и кто меня теперь успокоитъ? кто добро мое сбережетъ? Пришлось нанимать чужака.

«Явился чуженинъ и говоритъ: «Филаретъ Семеновъ Перевѣжниковъ, здѣшняго города мѣщанинъ; надѣюсь вашей милости заслужить». Что-жъ, очень радъ; вотъ ключи, вотъ планы; съ остальнымъ сами постепенно познакомитесь. Но на первыхъ же порахъ началъ меня этотъ человѣкъ огорчать. Прежде всего охалъ распоряженія Евдокимыча и даже попытался набросить на нихъ неблаговидную тѣнь. Потомъ сталъ каждый вечеръ ходить, спрашивать, какое на завтрашній день распоряженіе будетъ (да еще цѣлыхъ два ему выложи: одно на случай, коли сжели ведро, а другое на случай, коли сжели Богъ дождинка пошлетъ). А я почему знаю? Кому видѣе, какъ по обстоятельствамъ дѣла поступать надлежитъ, мнѣ или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человѣку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и плечѣмъ распоряжаться не могу... Вотъ я распорядился, распорядился, да и затосковалъ.

«А къ этому вскорѣ присоединилось и еще обстоятельство: прислали къ намъ въ уѣздъ новаго начальника. Глаза какъ плоски, усы какъ у таракана, изъ устъ пахнетъ «Московскими Вѣдомостями». Старого-то—отличный былъ, царство небесное!—сѣбѣ за то, что все въ городѣ сидѣлъ сидѣлъ (кстати, онъ мнѣ потомъ жаловался: «вѣдь и Илья-Муромецъ говоритъ, сколько лѣтъ сидѣлъ сидѣлъ, однако когда понадобилось...»). Такъ новый, какъ дорвался до мѣста, такъ и похалъ. Вѣднѣе, братецъ, по проселкамъ и все людей выдергиваетъ да въ лѣвнѣ уводитъ. Завелся, видишь ли, «духъ» какой-то въ нашихъ палестинахъ, такъ вотъ по этому случаю. У меня не былъ, а прохалъ мимо не разъ. Смотрѣлъ я на него изъ окна въ бинокль: сидитъ въ телѣгѣ, обернется лицомъ къ усадьбѣ и вытаращитъ глаза. Думать я, думать: никогда у насъ никакого «духа» не бывало, и вдругъ завелся... Кого ни спросишь: что, молъ, за духъ такой?—никто ничего не знаетъ, только говорятъ: строгость пошла. Разумѣется, затосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мнѣ этотъ «духъ» есть? и меня, въ преклонныхъ моихъ лѣтахъ, въ лѣвнѣ уведутъ!

«Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактирщикъ тутъ у насъ близости на пристани процвѣлъ—онъ и купилъ. Въ немъ ужь навѣрное никакого «духа», кромѣ грабительства,

пѣть, стало-быть, ему честь и мѣсто. И сейчасъ, на моихъ глазахъ, покуда я пожитки собиралъ, онъ и распорядиться началъ: птицу на скотномъ перерѣзать, карасей въ прудѣ выловить, скотъ ужалъ... «А потомъ, говорить, начну домъ распродавать, зѣсь рубить, въ два года выручу два капитала, а наконецъ и пустое мѣсто за-дешево продамъ».

«Признаюсь однако-жъ, что на первыхъ порахъ тоскливо было. Во-первыхъ, страшно съ непривычки такія фразы слышать: «а подевичничекъ-то вы, кажется, съ собой нашъ уложили?» или: «тутъ полотенчикъ прежде висѣло, такъ какъ прикажете, ваще оно или наше будетъ?» А во-вторыхъ, продать-то я продалъ, а какъ съ собой поступить — не знаю. На всякій случай однако-жъ отправился въ «губернiю», думаю: тамъ моя невинность видѣе будетъ. Проѣзжаю мимо Соломеннаго Городища, смотрю и не вѣрю глазами: волшебство! При самомъ въѣздѣ въ городъ, безъ конца тянется заборъ, а за заборомъ зелени, зелени — цѣлое море! И домъ большой, и развалины какія-то въ сторону. Спрашиваю на станицѣ: что за штука? — отвѣчаютъ: жилъ-былъ здѣсь откупщикъ, и водочный заводъ у него былъ (это развалины-то), а теперь, дескать, домъ съ землей продаются. Сейчасъ же побѣжать смотреть. Мѣсто — двѣ десятины; въ самый разъ, значить, и то, пожалуй, за всемъ не усмотришь; заборъ — поднять, а мѣстами даже повалился, падо новый строить; домъ, ежели маленько его поправить, то хватить надолго; и мебель есть, а въ одной комнатѣ даже ванна мраморная стоитъ, въ которой жидовинъ-откупщикъ свое тѣло бѣлое иѣжилъ; руина... ну, это, пожалуй, «пнторескъ» и больше ничего; однако существуетъ легенда, будто по почтамъ здѣсь собираются сирые и немущие, лижутъ кирпичи, иѣкогда обагрившіеся сивухой, и бьются пьяны. Но садъ — волшебство! Ни цвѣтничковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это «онъ» все на «предметъ настоекъ» разводилъ! И все запущено, разрослось, переплелось... Словомъ сказать, такъ мнѣ вдругъ захотѣлось тутъ умереть, что сейчасъ же я поскакалъ въ Москву и въ два дня кончить.

«И ко всему этому — здѣшній начальникъ оказался смиренный. Любезнательный, но смиренный. Приѣхалъ ко мнѣ на новоселье, посидѣлъ, побесѣдовалъ и вдругъ задумался. «Такъ вы, — говорить, — къ намъ...» — Совѣмъ, говорю. — «Аттестатъ у васъ есть?» — Вотъ онъ. — Посмотрѣвъ, пере-

листовать: служилъ тамъ-то и тамъ-то, аттестовался собственнымъ и достойнымъ, въ походахъ не бывалъ, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ... Вдохнулъ. — «А знаете ли, — говорить: — я, воля ваша, этого не понимаю: къ вамъ... совѣмъ... что такое значить?» — Да просто значить, что къ вамъ совѣмъ — и больше ничего. — «Помилуйте... что же такое у насъ?.. никто къ намъ... никто, никогда... и вдругъ!» — Да вѣдь надо же гдѣ-нибудь жить? — «Такъ-то такъ... а все-таки... ну, какую вы здѣсь прелесть нашли! городничко самый пустой, благаго хлѣба не сыщешь... никто къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!» Это было такъ мило, что я не выдержалъ и расцѣловалъ его. И вотъ съ тѣхъ поръ мы друзья. Чтобъ окончательно его успокоить, я отвелъ въ домъ квартиру для полицейскаго чина, истребилъ все книги, вмѣсто газетъ выписалъ «Московскія Вѣдомости» и купилъ гитару. Все прошлое лѣто, днемъ и ночью, я держалъ окна настежь: приходи и выжди!

«Итакъ, бросай свое Монренѣ и приѣзжай сюда. Ничего кромѣ ношеннаго платья не привози, но гитарой запасись непременно: это придастъ шикъ благонамѣренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, въ родѣ моего Евдокимча, то также привози, потому что это придастъ нашему сожителству шикъ респектабельности: авторитеты, значить, признаемъ. По исполненіи сего, заживемъ отлично. Будемъ вдвоемъ сидѣть у открытаго окна, брацать на струнахъ и пѣть:

Ахъ, что кому до насъ!  
Когда праздничекъ у насъ,  
Мы зароемся въ солому,  
И никто не пойдетъ насъ!  
Тируинь! тируинь! тируинь!

«Помнишь?»

«Загѣмъ жму твою руку и жду. Vale.

*Иванъ Косыкинъ.*

«P. S. Забылъ сказать: при домѣ есть сажалка и въ ней караси. Караси, да ежели въ сметанѣ... это что же такое!»

Первою мыслью по прочтеніи этого письма было: такъ вотъ онъ, двѣ десятины, о которыхъ мнѣ цѣлый мѣсяцъ твердятъ! Загѣмъ, черезъ часъ я уже былъ у Разуваева, и мы въ два слова кончили. Finis Монренѣ!



## V. — Предостережение.

Посвящается кабатчикам, мѣняламъ, подрядчикамъ, железнодорожникамъ и прочимъ миробесныхъ дѣль мастерамъ.

Я, отставной корнетъ Прогорѣловъ, никогда крѣпостныхъ дѣль мастеръ, впоследствии оголѣлый землевладелецъ, а нынѣ пропащій человекъ — я обращаю къ вамъ рѣчь мою!

Вся цивилизованная природа свидѣлствуетъ о скоромъ пришествіи вашемъ. Улица ликуетъ, дома терпимости прихорашиваются, половые и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожиданіи мѣютъ, даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ — и тѣ рѣзвѣ играютъ въ водѣ, словно говорить: слава Богу! кажется, скоро начнутъ есть и насъ! Но всей веселой Руси, отъ Мѣщанскихъ до Кунавица включительно, раздается одинъ кличъ: идетъ чумазый! Идетъ и на вопросъ: «что есть чумазый?» твердо и неукоснительно отвѣтить: «распивочно и на выносъ!»

Присутствіе при этихъ шумныхъ предвзвѣщеніяхъ будущаго распивочнаго торжества, пропащіе люди жмутся и ждуть... Они понимаютъ, что «чумазый» придетъ совсѣмъ не для того, чтобы «новое слово» сказать, а для того единственно, чтобъ показать, гдѣ раки зимуютъ. Они знаютъ также, что именно на нихъ-то онъ прежде всего и обрушится, дабы впоследствии уже безъ помѣхи производить опыты упрощеннаго кровопивства; но неотразимость факта до того ясна, что имъ даже на мысль не приходитъ обороняться отъ него. Придетъ «чумазый», придетъ съ ногой до головы наглый, съ цѣпкими руками, съ песытой угробой — придетъ и слопасть! Только и всего.

И не одна безсознательная кунавинская природа привѣтствуетъ ваше пришествіе; нѣтъ, слухи о васъ проникли даже къ ту среду, которая уже привыкла формулировать свои предвидѣнія и чаянія. И эта среда вмѣстѣ съ Кунавинымъ спѣшитъ всѣмъ возвѣстить ваше пришествіе, какъ вѣрнѣйшій залогъ грядущаго обновленія.

Прежде всего привѣтствуютъ наши «охранители». Пропащіе люди, которыхъ они когда-то изъ всѣхъ силъ старались пристроить, нынѣ до смерти надоѣли имъ. Сентиментальничаютъ, роняютъ, не то просятъ прощенья, не то грубаютъ. Что-то псевдитное происходитъ, не поймешь, гдѣ тутъ слава и гдѣ стыдъ. И въ довершеніе всего, до того обнажились, что даже на табакъ подчаску не изъ чего

дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Какимъ чудомъ случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ пропащихъ людей?

Исторія этого превращенія для охранителей представляется какую-то непонятную загадку. Но еще болѣе загадочнымъ кажется то, что, несмотря ни на какія умертвія, пропащій человекъ все-таки еще живъ состоитъ. Жизнь съ пассивнымъ упорствомъ держится въ этомъ распатанномъ организмѣ, держится наряду съ живымъ оголѣніемъ... И кто знаетъ? можетъ-быть, именно благодаря этому упорству, была одна минута, когда казалось, что вотъ-вотъ все русское общество вступитъ на стезю абсолютнаго и безповоротнаго безстолбія... Да, было и такое время, было! все въ русской жизни было! Такое было время, когда все смѣшалось, когда самые несомнѣнные столпы, казалось, потонули въ зияющей безднѣ, чтобы не выплынуть изъ нея никогда! Хорошо, что Богъ пронесъ мимо эту дурную фантазмагорію; но охранители и донинѣ не могутъ забыть о краткомъ періодѣ этого «чуть-чуть не безстолбія» и, разумеется, вспоминаютъ о немъ не только съ тоскою, но и съ омерзѣніемъ... Было такое время... га!

Да, слово «столпы» не пустой звукъ, но одна изъ тѣхъ живыхъ и несомнѣнныхъ конкретностей, временное исчезновеніе которыхъ производитъ замѣтную пустоту въ кодекѣ благоустройства и благочинія. Столпы — это выдающиеся пункты, около которыхъ ютится мелкота, иногда ропшущая, но въ большинствѣ случаевъ безнадежно изнемогающая. Столпы даютъ тонъ этой мелкотѣ, держатъ ее въ изумленіи, не допускаютъ обрести. Однимъ своимъ присутствіемъ они съ большимъ успѣхомъ устраняютъ вредныя мечтанія, нежели самымъ дѣятельнымъ разслѣдованіемъ корней и нитей. Разслѣдованіе налетитъ и исчезнетъ; столпы же всегда тутъ, безотлучно... вплоть до изгоя. Мелкота съ суевѣрнымъ страхомъ взираетъ на ихъ неизбежность и инстинктивно понимаетъ, что совмѣстное существованіе неизбежности и мечтаній — дѣло не только невымыслимое, но и прямо противоестественное. Едва рожденная, вредная мечтательность тутъ же немедленно и умираетъ. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только отъ времени до времени запоеются въ видѣ эффектнаго слуха со стороны, не поселяя въ столпахъ ни малѣйшей тревоги своимъ эффектнымъ появленіемъ...

Вот почему столпы считаются существеннейшимъ подспорьемъ, и вот почему, когда наступаетъ моментъ испытания, благоразумные охранители заранее подстерегаютъ этотъ моментъ и дѣлаютъ нужные приспособленія, дабы старые, подгнившіе столпы были немедленно замѣнены новыми...

Мнѣ, къ безмѣрной радости охранителей, пробѣлъ, причиненный вратковременнымъ безстолбіемъ, пополненъ. «Чумазый человѣкъ» — въ виду у всѣхъ; человѣкъ свѣжій, непреклонный и расторопный, который навѣрное освободитъ охранителей отъ половины гневушей ихъ обузы. Итътъ нужды, что онъ еще недостаточно поскоблился, что онъ не тронуть наукой и равнодушенъ къ памятникамъ искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: расливочно и на выносъ... Охранитель видитъ въ этомъ не препятствіе, но залогъ. Чѣмъ меньше бродитъ въ обществѣ превьспренности, тѣмъ прочнѣе оно стоитъ — это истина, которая мнѣ бьетъ въ глаза даже будочникамъ. Что такое «общество»? — это фикція и больше ничего. Объ этой фикціи отъ времени до времени упоминается, потому что совѣтъ забыть о ней какъ-то совѣстно, но въ сущности... Ахъ, тѣмъ-то вѣдь и дорогъ «чумазый человѣкъ», что, нябси его, подъ рукою, о всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно. Ему ни «общество», ни «отечество», ни «правда», ни «свобода» — ничто ему доподлинно неизвѣстно! Ему извѣстенъ только грошъ. — ну, и пускай онъ надѣлаетъ изъ него пятаковъ!

Слѣдомъ за охранителями привѣтствуютъ чумазаго человѣка и публицисты. Никогда не было потрачено столько усилий на разъясненіе принциповъ собственности, семейственности и государственности, никогда съ такою настойчивостью, съ такими угрозами не было говорено о необходимости огражденія этихъ принциповъ. Знаете ли, ради чего поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно понадобилось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? — все ради васъ, кабатчики и мѣнялы! все ради того, чтобъ для васъ соответствующую обстановку устроить и ваше пришествіе приличнымъ образомъ объяснить.

Въ старое время и въ обществѣ, и въ литературѣ было насчетъ этого болѣе нежели просто. Люди наиболѣе заинтересованные столь же мало думали о вопросахъ собственности, семейственности и государственности, какъ мало

думаетъ человѣкъ, которому приходится періодически совершать одинъ и тотъ же путь, о домахъ и заборахъ, стоявшихъ по обѣимъ сторонамъ этого пути. Зачѣмъ мнѣ, крѣпостныхъ дѣлъ мастеру, было напоминать о существованіи какихъ-то «принциповъ» собственности, семейственности и государственности, когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этимъ принципамъ? Зачѣмъ мнѣ было подстрекать самого себя на достиженіе какихъ-то усложненій, когда стоило только протянуть руку, чтобъ безъ всякаго постиженія получить желаемое? Всѣ эти «принципы» я не имѣлъ надобности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать ихъ, потому что они представляли собой стихію до такой степени мнѣ родную, что я только весело плавалъ въ ней, какъ рыба въ водѣ. Мнѣ и на мысль не приходило, что я могу захлебнуться или потопить въ ней (знаю, что подъ конецъ я захлебнулся-таки, но вѣдь зато и наплавался же!). Ничѣмъ она не угрожала мнѣ, а только таскала и пѣжила.

И вдругъ все измѣнилось. Но вѣдь судьба, настала періодъ безстолбія и всѣхъ напугалъ. Начали рыться, доискиваться причинъ, и наконецъ пришли къ такому заключенію, что даже и въ родной стихіи нельзя безрочно плавать, не понимая, что дѣлаешь. Умозаключеніе это прямо противорѣчило исторической практикѣ, побѣдоносно доказавшей, что столпы именно до тѣхъ поръ и стоятъ крѣпко, пока крѣпко стоитъ безсознательность; но такъ какъ безстолбіе одолевало, то приходилось довольствоваться хотя какимъ-нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явленія. Понадобилось уяснить составныя части стихіи, указать наилучшіе способы управленія ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публицистика. Она объяснила, что жизнь совѣтъ не такъ проста, какъ это казалось намъ, крѣпостныхъ дѣлъ мастерамъ, что, напротивъ того, она представляетъ сплошную цѣль большихъ и малыхъ «принциповъ», которые постоянно и ревниво надлежитъ держать передъ глазами, дабы благополучно провести свою ладью къ желанной пристани.

Но коль скоро однажды объявилась необходимость «принциповъ», то, само собой разумѣется, потребовались и знаменосцы для нихъ. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, не могли быть таковыми, во-первыхъ, потому, что людей, однажды уже ославленныхъ въ качествѣ высудившихъ грошъ, было бы странно вновь привлекать къ дѣлательному

столпослуженію, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я уже сказалъ выше, надъ всей нашей крѣпостной жизнью тяготѣть только одинъ рѣшительный принципъ: какъ только допущены будутъ разъясненія, расчлененія и разслѣдованія, такъ тотчасъ же все мы пропали! Требовались люди болѣе подходящіе, такіе, которые зубами вцѣплялись бы въ врученныя имъ знамена и всечасно наматывали, что плошать въ дѣлѣ держанія знаменъ — отнюдь не допустится. Такими людьми оказались — вы, кабатчики, желѣзнодорожники, мѣнялы и прочіе міровскихъ дѣлъ мастера! Публицисты отлично угадали, что цѣпче васъ въ настоящее время людей не найти, и въ восторгѣ отъ этой находки воскликнули: «долой безтолбіе! вотъ они, новоявленные наши столпы!»

И точно: безтолбіе какъ-то вдругъ кануло, и ежли о немъ изрѣдка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, чтобы съ нылающими отъ стыда щеками воскликнуть: «ужели когда-нибудь былъ этотъ позоръ?» Отнынѣ на васъ, кабатчики и мѣнялы, покоится все упованія. Вы совершите то, что не сумѣли свершить даже мы, ваши distinguished предшественники; вы съ неумолимою логикою проведете принципъ умиротворенія посредствомъ обездоленія. Мы, крѣпостныхъ дѣлъ мастера, какъ-то задумывались передъ громадностью этой задачи. Не скажу, чтобы насъ останавливали на этомъ пути какія-нибудь соображенія высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что если начать обездоливать вилотную, то изъ этого, чего добраго, въ концѣ концовъ произойдетъ обездоленіе нашей собственной утробы. Вы и въ этомъ отношеніи поставлены гораздо выгоднѣе, нежели мы. Арена вашего обездоленія такъ безконечна и такъ загадочна, что даже при самой несповѣдимой наглости всегда будетъ казаться, что еще не все вычерсано; что затерялся еще гдѣ-то уголокъ, въ которомъ процессъ обездоленія не совершилъ всего своего круга.

Въ виду столь несомнѣнныхъ свидѣтельствъ и я, Протерѣловъ, не имѣю возможности сомнѣваться: да, вы грядете — это не тайна и для меня. Но, признаюсь откровенно, увѣренность эта не наполняетъ моего сердца какой надеждой, но, напротивъ, заставляетъ меня съ нѣкоторымъ трепетомъ приподнимать завѣсу будущаго и стыскивать тамъ всевъ не гдѣ ликующіе тоны, которые общаются наши охранители и наши публицисты.

Не думайте однако-жъ, кабатчики и мѣнялы, что я стограло къ вамъ завистью, и что именно это дурное чувство препятствуетъ мнѣ пригѣтствовать васъ. Нѣтъ, тутъ всевъ не то. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ сряду, какъ я состою въ званіи пропащаго человѣка, и мнѣ кажется, что этого періода времени вполне достаточно, чтобы пролить бальзамъ забвенія на какіе угодно сердечные ропоты. На первыхъ порахъ я дѣйствительно волновался и представлялъ изъ себя не то певнино-надпного, который уснѣлъ-таки припрятать въ укромномъ мѣстѣ кой-какія уцѣлѣвшія крохи, не то человѣка, приведеннаго въ восторженное состояніе отъ непрерывной молотбы по головѣ. Подъ влияніемъ свѣже-нанесенной обиды я или ехидствовалъ, или извергалъ цѣлые потоки ропотовъ, при чемъ такъ безтолково кричалъ, что не только не выикалъ въ смыслѣ собственныхъ рѣчей, но, въ большинствѣ случаевъ, за гвалтомъ не умѣлъ даже хорошенько разслышать ихъ. Но вдругъ промелькнула свѣтлая минута. Я вслушался, вникъ и... покраснѣлъ. Я понялъ, что мой ропотъ былъ чѣмъ-то недѣлимъ по существу и безконечно неуложимъ по формѣ; что по существу я обнаруживалъ только голую аличность, а по формѣ — только безавѣтнѣйшую невѣжественность. Съ тѣхъ поръ я смирился и замолчалъ. Изрѣдка, правда, и теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ тѣхъ тихихъ пріютовъ, которые извѣстны подъ именемъ земскихъ учрежденій, но сболтну неуверенно и какъ-то невнятно, съ пропусками. Точь-въ-точь какъ органчикъ, котораго валъ, отъ времени и жестокаго обращенія, утратилъ три четверти своихъ колышковъ.

И знаете ли что еще! Съ тѣхъ поръ, какъ я покраснѣлъ и созналъ, что титулъ пропащаго человѣка прикрѣпленъ за мной безповоротно, — я полюбилъ это скромное званіе. Иногда мнѣ даже сдается, что оно близко граничитъ съ званіемъ человѣка вообще, что въ этомъ качествѣ ему предстоитъ хорошая и прочная будущность, и что ежли для увѣковѣченія родовъ пропащихъ людей не будетъ завведено бархатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы люди сіи не были того достойны, а потому, что, разъ испытавъ тщету увѣковѣченій, они и сами едва ли пожелають ихъ возобновленія. Повторяю: я до того примирился съ мыслью, что я пропащій человѣкъ, что воспоминанія минувшей славы уже не пробуждаютъ во мнѣ ни безплодной горечи, ни несбыточныхъ надеждъ. Я знаю, что исторія



назадъ не возвращается, что даже гнусное не повторяется въ ней въ однихъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и что, стало-быть, Прогорѣловымъ — какъ бы они ни вопіяли — повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержать) не суждено. Одно меня заботитъ въ моемъ новомъ положеніи: сумѣю ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться вѣистину порядочнымъ, прощадимъ человѣкомъ, то-есть человѣкомъ долга, добра, чести и труда?

Итакъ, не по чувству зависти я воздерживаюсь отъ поздравленія васъ съ прѣздомъ, а просто потому, что меня беретъ оторопь. И не за себя я боюсь — чего ужъ! изъ меня все, даже страхъ вынули! — но за отечество.

Какъ ни безшабашно прона моя жизнь, однако по-малая-таки я на своемъ вѣку, а тѣмъ временемъ кое-что и пристало ко мнѣ. Я, Прогорѣловъ, грамотень — вотъ въ чемъ суть. Преимущество ли это мое, или злосчастіе — всяко можно судить. Это преимущество, потому что грамота помогла мнѣ непостыдно и безболѣзненно (по крайней мѣрѣ относительно) перекочевать изъ категоріи столбовъ въ категорію пропавшихъ людей; это злосчастіе — потому что грамота же помѣшала мнѣ всецѣло отдаться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота — нельзя сказать, чтобы чрезчуръ ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивавшій внутренний міръ и въ то же время внушила мнѣ вкусъ къ нѣкоторымъ нелицитымъ наблюденіямъ и оцѣнкамъ.

Благодаря этимъ наблюденіямъ, я знаю, напимѣръ, что независимо отъ клейменныхъ русскихъ словарей въ нашей жизни выработался свой собственный подопленный словарь, имѣющій очень мало сходства съ клейменными. И представь себѣ, Разуваевъ, что когда рѣчь идетъ о выраженныхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы, напимѣръ: интеллигенція, культура, дирижирующие классы и проч., то я положительно предпочитаю послѣдній первымъ. Я истинно чувствую, что клейменные словари фаталитически обречены на повтореніе задовъ. Ихъ міросозерцаніе — мое міросозерцаніе; условности, которыя связываютъ ихъ, суть тѣ же, которыя связываютъ и меня;

словомъ-сказать, словари эти несомнѣнно сочинены самимъ мной, еще въ ту эпоху, когда я какъ сыръ въ маслѣ катался. Такъ что если-бъ я руководствовался только ими, то положительно все сомнительное и неясное такъ навсегда и осталось бы для меня сомнительнымъ и неяснымъ. Но, по счастью, рядомъ съ клейменными словарями существуетъ толковый интимно-обывательскій словарь, который провидитъ и отлично объясняетъ смыслъ даже такихъ выражений, передъ которыми клейменный словарь стоитъ, уставясь дѣломъ въ стѣну. Вотъ къ этому-то неизданному, но превосходящему словарю я всегда и обращаюсь, когда мнѣ нужно вложить персты въ язвы.

Возьмемъ хоть бы данный случай. Вездѣ кругомъ говорятъ: грядутъ кабатчики, мѣнялы, желѣзнодорожники и прочіе міровѣдскихъ дѣлъ мастера. Желая объяснить себѣ это явленіе, я прежде всего обращаюсь къ обывательскимъ наблюдательнымъ реестрамъ и вижу, что вы значитесь въ нихъ тако:

«*Разуваевъ*, Анатолий, бывший халуй (понимаю). Занимается кабаками, а нынѣ, сверхъ того, и *интеллигентскай* (не понимаю).

«*Губошлеповъ*, Юпа, бывший цѣловальникъ (понимаю). Занимается поставкой для арміи и флотовъ гнѣлыхъ сухарей (еще бы не понимать!), а нынѣ, сверхъ того, *дирижирующий классъ*» (не понимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистовъ, подчасковъ и прочихъ экспертовъ науки подчеркнуты мною опредѣленія вполне ясны, но для меня — человѣка только потревоженнаго наукой — нѣтъ. Поэтому я по старой привычкѣ беру сначала: клейменный словарь и сиѣшу справиться въ немъ: что сей сонъ значить? Но — увы! — никакихъ утѣшеній въ немъ не обрѣтаю, кромѣ того, что интеллигенція есть интеллигенція, а правящій классъ есть тотъ, который правитъ. Тогда я припоминаю, что у насъ есть еще неизданный интимно-обывательскій толковый словарь, мысленно развертываю его и читаю слѣдующее:

«*Интеллигенція*, или кровопивство...

«*Правящій классъ*, или шайка людей, втихомолку отъ начальства объекторивающая...»

Дальше я уже не читаю: съ меня довольно. Искомая язва глядитъ мнѣ прямо въ глаза, сияющая, обнаженная, вполне достоверная. Нѣтъ нужды, что прочитанныя опредѣленія противорѣчатъ бессознательной номенклатурѣ, усвоен-

ной мною съ пеленок: то, что открылось передь мной, такъ прозрачно-ясно, что я забывала все пеленки, заподозрѣваю все клеимые словари и вѣрю только ему одному, нашему единственно правдивому и единственно прозрачному подонечному толковому русскому словарю!

И затѣмъ цѣлый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свойства, такъ и роится въ моей головѣ.

Горе—думается мнѣ—тому граду, въ которомъ и улица, и кабаки безнужно скулятъ о томъ, что собственность священна! Навѣрное въ градѣ семъ имѣеть произойти неслыханнѣйшее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вполнотъ, что семейство—святыня! Навѣрное надъ этой весью педологъ разразится колоссальнѣйшее предободѣйство!

Горе той странѣ, въ которой шапка шалонаевъ во все трубы трубить: «государство, mon cher!—c'est sacré!» Навѣрное въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожий пирогъ!

А работа воображенія не только не отстаетъ отъ работы мысли, но, по обыкновенію, даже опережаетъ ее. Картины слѣдуютъ за картинами... ужасы! Представьте себѣ эту несусыпающую свару, въ которой отнятіе перегибало съ предободѣйніемъ и терзаніемъ лирога! Осуществите ее въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостыжанія и любострастія; заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина болѣе потрясающая? Бѣжать отъ нихъ! бѣжать! бѣжать!—вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ при видѣ этихъ озлобленныхъ, обсеповатыхъ существъ. Но куда бѣжать?

Вотъ чего я, Прогорбловъ, боюсь и чего—увы!—я не могу не провидѣть въ ближайшемъ будущемъ. Воистину говорю: никогда ничего подобнаго не бывало. Ужасно было крѣпостное мучительство, но оно имѣло опредѣленный районъ (каждый мучительствовалъ въ предѣлахъ своего гнѣзда) и потому было доступно для надзора. Ваше же мучительство, о мѣрѣды и кровопійственныхъ дѣлъ мастера, есть мучительство вселенское, неуличимое, не знающее ни границъ, ни даже ясныхъ опредѣленій! Ужели это про-

грессъ, а не нагное вырожденіе гнусности меньшей въ гнусность сугубую?

Интеллигенція! дирижирующие классы! И при семъ въ скобкахъ: «слюезь замечтовать съ французскаго!» Слыханное ли это дѣло! И какъ отвѣтъ на эти запросы—«Разуваевъ, бывшій халуй!» Разуваевъ, заспанннй и пахучій, буйный, безшабашный, безвременно опьянннй, съ отяжелѣвшеею отъ виннаго угара головой и съ хмельною улыбкою на устахъ. Подумайте! да опъ—въ ту самую минуту, какъ вы, публицисты, призываете его: «иди и володѣй нами!»—даже въ эту торжественную минуту опъ пукаетъ враскосъ плава, высматривая, не лежитъ ли гдѣ плохо!

Знаетъ ли опъ, что такое отечество? слыхалъ ли опъ когда-нибудь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему-то вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, непередающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человека—вотъ какое значеніе имѣеть это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падалъ, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственнымъ дѣлъ мастерамъ.

Но да свершится. История имѣеть свои повороты, которые невозможно измѣнить, а тѣмъ менѣе устранить. Это, конечно, не слѣпой фатализмъ, передъ которымъ не остается ничего другого, какъ преклониться, и не произволь, которому люди подчиняются, потому что за нимъ стоитъ цѣлый легионъ темныхъ силъ; но все-таки это законъ, и именно законъ послѣдовательнаго развитія однихъ явленій изъ другихъ. Явленія приходятъ на арену исторіи какъ бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки—вотъ почему они, въ большинствѣ случаевъ, кажутся намъ внезапными или произвольными. Но подготовка эта несомнѣнно существовала—только мы, ошеломленные пѣконной репутацией несмѣяемости, которою пользовались явленія предшествующія, проглядѣли ее. Такъ что когда новыя вѣщи, новые порядки и новыя дѣла явятся во всеружкѣ совершившагося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для борьбы съ ними, но и для смягченія бесполезныхъ наглостей подкраивающаго торжества.

Увы! мѣрѣдскій періодъ, очевидно, еще не исчерпалъ всего своего содержанія. Ему еще предстоитъ сказать рѣшительное слово, и тѣмъ ближе къ концу будетъ приходить его рѣчь, тѣмъ жестче и неумолимѣе выскажется это послѣднее слово. Жизнь выработала извѣстную сумму при-

манокъ, имѣющихъ несомнѣнно кровопролитный характеръ, и покуда эти приманки носятъ названіе утѣхъ, къ нимъ все-таки не перестанутъ устремляться завистливые взоры тѣхъ, кто не боится рисковать или кто суевѣрно надѣется на свою счастливую звезду. Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду устранения жизненныхъ огорченій человеческое естество необходимо упразднить, а на мѣсто его водворить и утвердить естество воляче, до тѣхъ поръ всякій могущій вмѣстить будетъ прямо или косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципъ утѣхъ — великій принципъ, которому суждено вѣчно плѣнить человеческія сердца, и ежели тутъ есть бѣда, то не въ томъ, что люди желаютъ наслаждаться утѣхами, а въ томъ, что по обстоятельствамъ эти утѣхи нерѣдко получаютъ характеръ звѣриный и человеконенавистнической. Вотъ когда жизнь выработаетъ новаго сорта утѣхи, тогда самъ собою изноетъ и мироудскій періодъ. А покуда, повторяю, придется еще много услышать жестокихъ и безчеловѣчныхъ словъ и долго оставаться безмолвнымъ свидѣтелемъ всякаго рода безстыжествъ и исключимостей.

Какъ бы то ни было, но я взялся за перо совсѣмъ не съ тѣмъ, чтобы протестовать. Я только намѣренъ высказать нѣсколько благожелательныхъ соображеній, которыя, по мнѣнію моему, вамъ, новоявленнымъ столпамъ, въ видахъ собственной пользы, нелишне было бы приять къ свѣдѣнію.

Я самъ, пропащій человекъ Прогорѣловъ, былъ въ свое время столпомъ и самъ безчисленно прегрѣшалъ. Я былъ и отнимателемъ, и прелюбодѣемъ, и измѣнникомъ казеннаго интереса, и не только не полагать въ томъ грѣха, но и вполне искренно былъ убѣжденъ, что именно на этихъ трехъ китахъ міръ стоитъ. Только теперь, когда меня безповоротно произвели въ чинъ пропащаго человека, я понялъ, что никакихъ тутъ китовъ нѣтъ. Во всякомъ случаѣ тѣ, что мнѣ предстаетъ сказать по этому поводу, будутъ плодомъ моего собственнаго опыта и моей собственной долготѣней мироудской практики. Стало-быть, вѣрно.

Начнемъ съ отечества. Отвѣтъ, Разуваевъ! знаешь ли ты, что такое отечество?

Сдѣлавши этотъ вопросъ, я натурально стараюсь уловить, какое онъ произвелъ на тебя впечатлѣніе. И долженъ сказать, что впечатлѣніе это, по мой взглядъ, не весьма удовлетворительное. Прежде всего ты изумленъ и таранишь

глаза, словно спрашиваешь: и зачѣмъ ему это слово понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себѣ «филантропію»... Потомъ однако-жъ ты пачинаешь шутки шутить, зубы заговаривать: «кто же, молъ, такого пустяка (ты употребляешь не это слово, а другое, но я изъ учтивости о немъ умалчиваю) не знаетъ!» По наконецъ, прижатый къ стѣнѣ, ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гдѣ имѣетъ квартиру становой приставъ Граціановъ.

Твой кивокъ въ сторону Граціанова убѣждаетъ меня, что ты смѣниваешь отечество съ начальствомъ, или, по малой мѣрѣ, ставишь представленіе о первомъ въ зависимость отъ представленія о послѣднемъ. Исполнять приказанія начальства—вотъ, по-твоему, что значитъ быть истиннымъ сыномъ отечества. Ясно, что ты ровно ничего не понимаешь.

Тогда я за тѣми же разъясненіями обращаюсь къ твоему публицисту (онъ тебя провидѣлъ, облюбовалъ, онъ же, стало-быть, обязывается и отвѣчать за тебя), въ чаинѣ, что этотъ шустрый малый сумѣетъ яснѣе формулировать то, что ты въ столбовой своей необрѣзанности только бормочешь. Но—увы!—и отъ него ничего, кромя бормотанія, въ отвѣтъ не слышу. Онъ легкомысленно перебѣгаетъ отъ одного признака къ другому; онъ упоминаетъ и о географическихъ границахъ, и о расовыхъ отличіяхъ, и о равной для всѣхъ обязанности законовъ, и о присягѣ, и объ окраинахъ, и о необходимости обязательнаго употребленія въ присутственныхъ мѣстахъ русскаго языка, и о господствующей религіи, и объ арміи и флотахъ, и въ концѣ концовъ все-таки сводитъ вопросъ къ Граціанову. Словомъ сказать, онъ тоже смѣниваетъ отечество съ государствомъ и правительствомъ, подчиняя представленіе о первомъ представленію о двухъ послѣднихъ.

Смѣю тебя увѣрить однако-жъ, что представленія эти совершенно различныя, и что смѣшеніе ихъ можетъ привести къ такимъ занутанностямъ, которыя на практикѣ бывають равносильны бѣдствіямъ.

Итакъ, въ чемъ же тутъ различіе?

Прежде всего отечество—привлекаетъ; государство—обязываетъ; начальство—приказываетъ. Все это функции, конечно, очень почтенныя, но и за всѣмъ тѣмъ совершенно различныя. Дальше. Представленію объ отечествѣ соответствуетъ представленіе о нравахъ и обычаяхъ, объ играхъ,

и́сьняхъ и пляскахъ, о примѣтахъ и суевѣрїяхъ, о пословицахъ, поговоркахъ, притчахъ и сказкахъ и наконецъ о томъ неслыханномъ, но несомнѣнно ходячемъ словарѣ, о которомъ я упомянулъ уже выше. Представленію о государствѣ соответствуетъ представленіе о законахъ, о комиссіяхъ, издающихъ сто одинъ томъ трудовъ, о географическихкихъ границахъ, объ арміяхъ и флотахъ, о податяхъ и повинностяхъ, о казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, о дипломатическихкихъ погахъ и о клейменныхъ словаряхъ. Представленію о начальствѣ соответствуетъ представленіе о департаментахъ, канцеляріяхъ и штабахъ, о предписаніяхъ, подтвержденіяхъ и о тщетныхъ ожиданіяхъ на сн предписаній отвѣтовъ, о маршрутовкахъ и обмундировкахъ, о наградахъ, новышеніяхъ, увольненіяхъ и перемѣщеніяхъ и наконецъ паки о предписаніяхъ и подтвержденіяхъ.

Отечество говоритъ тебѣ кратко: «живи!» даже не прибавляя при этомъ: играй, пои и́сьни, пляши, сказывай сказки и проч. Оно знаетъ, что и безъ его напоминанія все сіе тебѣ свойственно. Государство тоже говоритъ: «живи!» но прибавляетъ: «и повинуйся закону». Начальство выражается такъ: «живи, но ожидай предписаній и подтвержденій!»

Ужели и теперь не ясно, что это функции совершенно другъ отъ друга отличныя?

Но будемъ продолжать наши сравненія.

Отечество есть тотъ таинственный, но живой организмъ, очертанія котораго ты не можешь отчетливо для себя опредѣлить, но котораго прикосновеніе къ себѣ ты непрерывно чувствуешь, ибо ты связанъ съ этимъ организмомъ непрерывною пуповиной. Онъ, этотъ таинственный организмъ, былъ свидѣтелемъ и источникомъ нервныхъ впечатлѣній твоего бытія; онъ надѣлялъ тебя способностью мыслить и чувствовать; онъ создалъ твои привычки, далъ тебѣ языкъ, ирваніи, литературу, онъ обогрѣлъ и пріютилъ тебя, словомъ сказать, сдѣлалъ изъ тебя существо, способное жить. И всего этого онъ достигъ безъ малѣйшаго насилія, однимъ теплымъ и безконечно любовнымъ къ тебѣ прикосновеніемъ. Онъ сдѣлалъ больше того: неуслышно обвиняя тебя своею любовью, онъ и въ тебѣ зажегъ свещенную некру любви, такъ что и тебѣ нигдѣ не живетъ такая полная, горячая жизнь, какъ подъ сѣнью твоего отечества. Ты слово скажешь — въ отечествѣ тебя понимаютъ; ежели это слово умное — возвеличать и воздвигнуть

монументъ; ежели оно глупое — забранять и простягъ. Ты сдѣлаешь движеніе — въ отечествѣ сразу угадываютъ, куда оно клонится; ежели это движеніе осмысленное — скажутъ: «даже жестъ у него умный и благородный!»; ежели оно пѣльное и противоестественное — опредѣлятъ въ актеры въ Александринскій театръ: играй съ Новиковымъ и Петипал! Всякій поступокъ твой въ отечествѣ оцѣнятъ, не прикидывая къ нему абсолютныхъ критеріумовъ, а довольствуясь правиломъ: «по здѣшнему мѣсту и такъ сойдетъ». Самый плохой человѣкъ — и тотъ пойдетъ въ своемъ отечествѣ массу такихъ же плохихъ людей, которые будутъ вмѣстѣ съ нимъ на бобахъ разводиться, вмѣстѣ жсть печатные приники, вмѣстѣ горевать и радоваться. Даже мерзавецъ — и тотъ обрищеть цѣлую уйму сомерзавцевъ, съ которыми можетъ по дули поговорить. Нигдѣ на чужбинѣ ты ничего подобнаго не найдешь; ни сочувствія, ни снисходительности, ни даже порицаній. Вездѣ, кромѣ своего отчества, ты чужой; ни тебѣ никто въ земскія учрежденія не выберетъ, ни ты никого въ земскія учрежденія не выберешь. Только въ отечествѣ тебѣ до всего дѣло, даже въ такомъ отечествѣ, гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: «не суйся! не лѣзь впередъ! не твое дѣло!» Пускай говорятъ! ты все-таки всѣмъ существомъ своимъ сознаешь, что дѣла у тебя по горло, и что, если-бъ ты даже желалъ послѣдовать совѣту о песованіи носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что дѣло само такъ и подступаетъ къ твоему носу. Словомъ сказать, только тутъ, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь себя способнымъ къ жизни существомъ, хозяиномъ «своего дѣла», человекомъ, котораго понимаютъ и который въ то же время самъ понимаетъ.

Всѣ эти блага наполняютъ твое существо такую полною довольства, какой ничто другое не можетъ тебѣ дать. А довольство, въ свою очередь, полагаетъ начало другому не менѣ сладкому чувству — чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его въ чемъ-нибудь конкретномъ и въ этихъ поискахъ прежде всего наталяиваешься на своихъ соотечественниковъ. Кто далъ тебѣ это чувство довольства? кто далъ тебѣ славу, ежели ты силенъ, и снисхожденіе, ежели ты слабъ? Кто окружилъ тебя почетомъ или накрылъ покровомъ забвенія, смотря по тому, чѣ ты заслужилъ? Кто сказалъ тебѣ: потъ въ чемъ твоя заслуга и воль въ чемъ твой стыдъ? Все это дали и сказали тебѣ

твой соотечественники. Во всякомъ другомъ мѣстѣ, отъ всѣхъ другихъ людей ты слышала только одинъ разговоръ: столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только здѣсь, въ отечествѣ, съ тобой разговаривали по-человѣчьи, только здѣсь признали въ тебѣ существо, которое можно хвалить или порицать и котораго дѣйствія во всякомъ случаѣ слѣдуетъ считать обязательно-вмѣляемыми. Какъ же тебѣ не быть безконечно признательнымъ этимъ людямъ, которые ни разу не проглядыли въ тебѣ челоуѣка, которые могли любить, непавидѣть, даже презирать тебя, но одного не могли: остаться къ тебѣ равнодушными? Какъ тебѣ не считать себя солидарнымъ съ ними, какъ всеминутно отъ глубины благодарнаго сердца не восклицать: о, плоть отъ плоти моей и кость отъ костей моихъ! — когда и у нихъ при видѣ твоемъ дыханіе спирается въ зобу? Какъ не броситься въ огонь и въ воду ради приносяхъ твоихъ? какъ не принять смерть, мучительство, позоръ ради другихъ твоихъ? О, Разуваевъ! едѣлай милость, пойми меня! вѣдь они, они одни признали въ тебѣ подлиннаго челоуѣка, они они напояли тебя и радостью, и мучительствомъ, и позоромъ — какой же вышей награды можно желать?

Вотъ отчего говорится, что нѣтъ отечества краше собственного отечества; вотъ отчего ни о чемъ не болитъ сердце такую острую болью, какъ объ отечествѣ. Люди изнываютъ подъ непосильнымъ бременемъ этой боли, сходятъ съ ума, рѣшаются на самоубійство. Стоитъ одинокій челоуѣкъ гдѣ-нибудь на берегу Средиземнаго моря, среди залитой лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля по каплѣ истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ дѣлается, въ этихъ дорогихъ сердцу палестинахъ, гдѣ «С.-Петербургскія» и «Московскія Вѣдомости» издаются (wo die Citronen blühen)? Чай, Оденъка Неугодовъ закусьиваетъ, Петръ Толстолобовъ цыркаетъ... ахъ, такъ бы и летѣть туда! хоть невидимкой посидѣлъ бы въ томъ заведеніи комисіи, когда она, издавъ сто одинъ томъ трудовъ, сама наконецъ приходитъ къ заключенію, что все земное ею свершено, и что затѣмъ ей ничего другого не остается, какъ разойтись! Да, хочется и туда! не для смѣха хочется, а потому что нутро горитъ по приносямъ и другимъ, потому что память о нихъ даже въ лучахъ этого горящаго солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство неразрывности съ отечествомъ даже въ плохихъ людяхъ, доказательствомъ

тому можетъ служить слѣдующій, правда, довольно банальный пригѣръ. Колеситъ гулящій русскій челоуѣкъ по бѣлу свѣту, сыплетъ марками и франками, уплачиваетъ трингелды и пурбуары — и все ему почета ни отъ кого нѣтъ. Наконецъ наступаетъ рѣшительный моментъ: жизнь въ обществѣ кельнеровъ, гарсоновъ и метрателей накутила, франки приходятъ къ концу — айда домой! Начинаются расчеты: столько-то на разставанье съ Парижемъ, столько-то — на ознакомленіе по пути съ садомъ Кроя, столько-то — на дорогу... И представь себѣ, Разуваевъ! такова сила инстинктивной вѣры въ привычающія свойства отечества, что ежели нѣтъ совѣмъ завалищихъ денегъ, то гулящій челоуѣкъ въ своихъ путевыхъ расчетахъ какъ-то совѣмъ забываетъ Россію. Только бы до Эйдукуна доѣхать, а тамъ какъ-нибудь... вѣдь тамъ ужъ Россія! И дѣйствительно, доѣхали до Вержболова, а здѣсь ужъ давно ждутъ: пожалуйте по этапу! Ну, что-жъ! по этапу, такъ по этапу! Бывали! видали!

Я знаю, Разуваевъ, что разъясненія эти утомили тебя, но я остановился на нихъ потому, что надо же тебѣ знать, что такое отечество и почему такъ естественно его любить. Вѣдь ты грядешь съ тѣмъ, чтобы играть роль, ты даже въ обывательскихъ книгахъ въ графѣ «чѣмъ занимается» отмѣчаешь: «дережирующій классъ» — надо же, чтобы ты понимала, что именно разумѣли наши предки, говоря: земля наша велика и обильна, по порядку въ ней нѣтъ. Но, сверхъ того, я и не для тебя одного пишу. Понми тебя, на свѣтѣ существуютъ легіоны вертопраховъ, которые слишкомъ охотно говорятъ о прекращеніяхъ и вовсе не думаютъ о томъ, что отечество не прекращать, а любить надлежитъ. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай скажутъ себѣ: «да, оны правы! если мы приносяхъ своихъ предадимъ расточенію, то съ кѣмъ же сами останемся? кто будетъ насъ красавцами называть?»

Идея отечества одинаково для всѣхъ плодотворна. Честнымъ она внушаетъ мысль о подвигахъ, бесчестныхъ — предостерегаетъ отъ множества гнусностей, которыми безъ нея посомнѣнно были бы совершены. Есть еще и другая идея, въ томъ же смыслѣ плодотворная — это идея о судѣ потомства; но такъ какъ она непосредственнаго дѣйствія не оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщеній, — тогда какъ мысль о томъ, какъ будетъ принятъ тотъ или другой поступокъ въ средѣ соотечественниковъ, бьетъ прямо въ чувствительное мѣсто и отчасти имѣетъ даже угро-



жающий характер. Ибо итъ презрѣннѣ существиѣе того презрѣннѣ, который пользуется человекъ отъ своихъ соотечественниковъ.

Но, можетъ-быть, ты скажешь на это: «вѣдь самъ же ты, за нѣсколько страничекъ выше, утверждалъ, что и мерзавцу въ своемъ отечествѣ веселѣе, потому что онъ найдетъ тамъ массу вполне однородныхъ сомерзавцевъ, съ которыми ему можно душу отвести; стало-быть, дескать, и я: подберу подходящую компаню, и будемъ мы вкушн сомерзавствовать, а до прочаго намъ дѣла нѣтъ». Прекрасно; дѣйствительно, ты можешь такую компаню обрѣсти. Но вѣдь ежели я рисовалъ тебѣ подобную перспективу, то, право, не для того, чтобы ты непремѣнно въ ней искалъ себѣ успокоенн, а только на случай крайности. Не спорю, можно такъ искусно нырнуть въ шайку спеціалнстовъ, что ею, такъ-сказать, отъ всего остального свѣта себя загородить; но не забывая, что въ такой шайкѣ тебѣ предстоитъ только бражничать да по душѣ калаять, а вѣдь тебѣ, главнѣйшимъ образомъ, надо обегоривать и дѣла дѣлать. Вотъ эти-то послѣднн функции и вынудятъ тебя отъ времени до времени выѣзжать изъ шайки и обращаться къ прочимъ партикулярнымъ людямъ. Теперь представь себѣ слѣдующее. Допустимъ, что въ виду заслѣя, которое ты вяляе, партикулярные люди не поемѣютъ совершенно уклониться отъ сношенн съ тобою; но такъ какъ имъ известно, что ты несомнѣнный кровопивецъ, то они непремѣнно хотъ частнцу сокровища да утаятъ отъ тебя. Если же имъ о кровопивствѣ твоёмъ неизвѣстно, если ты сумѣлъ—не скажу: сдѣлаться честнымъ человекомъ, но по крайней мѣрѣ прикинуться таковымъ, то они не только все свое сокровище, но и тѣла, и души—все полностью тебѣ препоручатъ. Не ясно ли, что даже въ такомъ дѣлѣ, какъ обманывашье, быть кровопивцемъ загадочнымъ выгодиѣе, нежели неприкрытымъ нахаломъ, который всею своею физиономн только-что не говоритъ: что-жъ ты задумался, не плюешь на меня? плюй!

Осторожность и загадочность—вотъ школа, которую ты обязываешься пройти, если хочешь, чтобы въ тебѣ воистину видѣли «дирижирующн классъ». Ибо обыватель простодушенъ, и ежели видитъ, что на него наступаютъ съ тѣмъ, чтобы горло ему перекусить, то уклоняется. Но когда его потихоньку невѣдомо гдѣ сосутъ, онъ только перевертывается.

Теперь—о государствѣ. Эта идея тоже плодотворная, но только въ другомъ родѣ и въ другой степени. Но ты и ее смѣшиваешь съ Граціановымъ, а публицисты твои—съ цезарнымъ вѣдомствомъ; а потому надо и въ данномъ случаѣ кое-что тебѣ пояснить. Скажемъ такъ: отечество—отъ Бога, государство—дѣло изобрѣтательности человѣческаго ума. Вотъ главное и существенное различн между отечествомъ и государствомъ; остальные подробности ты можешь сообразить самъ по тому же масштабу. Необходимо, впрочемъ, помнить еще слѣдующее: въ представлени о государствѣ ты не встрѣтишься ни съ подблюдными, ни съ свадебными пѣснями, ни съ сказками, ни съ быльями, ни съ пословицами, словомъ—сказать—ни съ чѣмъ изъ всего цикла тѣхъ пѣжачихъ явленнй, которые обдають тебя рептомъ, когда ты мыслншь себя лицомъ къ лицу съ отечествомъ. Ничего подобнаго государство тебѣ не дастъ, но у него имѣется въ рукахъ громадная привилегн; оно властно обезпечить или не обезпечить твоему отечеству спокойное пользование этими благами. Это обстоятельство очень важно, и ты отнюдь не долженъ упускать его изъ вида, если хочешь умненько вести дѣла свои. Такъ что ежели, напримѣръ, ты сдуру будешь молить Бога, чтобы государство не обезпечивало хороводовъ и игръ, не воспрещало и преслѣдовало оныя, то, во-первыхъ, молитва твоя не будетъ удобна Богу, а во-вторыхъ, ты самъ же первый почувствуешь на себѣ ея неблагоприятныя послѣдствн, если Провидѣнне допуститъ осуществленн ея. Знай, Разуваевъ, что только народы веселые и хороводолюбивые къ обегориванню ласковы; народы же угрюмые, узаконеннми несильно, изнуряемые, даже для самыхъ изобрѣтательныхъ кровопивцевъ даютъ мало нищи. Отданные въ жертву унылости, они безмолвно изнемогаютъ безъ малѣйшей надежды когда-нибудь нагулять приличное тѣло. Кости да кожа—понятн съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя! Это не я говорю, а исторн.

Не менѣе плодотворна и идея о начальствѣ. Идея эта тебѣ неизбежна—этого отрицать нельзя, но все-таки скажу, даже и ее ты какъ-то неблагоприятно представляешь себѣ. Начальство представляется тебѣ чѣмъ-то такимъ, что наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ баранка въ бумажекѣ. Нѣтъ, это не такъ; это идеалъ, уже вышедшн изъ употребленн, и притомъ такой, который не за что было бы любить. Но не

любить начальства нельзя, такъ какъ и оно, совмѣстно съ государствомъ, для того установлено, дабы наидѣйствительнѣйше обеспечивать неприкосновенность хороводовъ и игръ. А потому, ежели ты будешь въ молитвахъ своихъ упоминать о начальствѣ (это бесполезно: «да тихое житіе поживемъ»), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ распоряженіяхъ было больше снисходительности и менѣе настоятельности, и чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, начальство въ то же время намятовало, что и оно, яко изъ человѣковъ состоящее, прегрѣшать можетъ. Именно такъ и молись, ибо въ противномъ случаѣ результатъ одинъ: кожа да кости, съ его неизбежнымъ послѣдствіемъ въ формѣ постепеннаго закрытія заведеній, гласящихся: распивочна и на выносъ.

Итакъ, три главныхъ объекта предстоятъ для твоей, Разуваевъ, любви:

Во-первыхъ, отечество, которое ты обязываешься любить—будемъ говорить кратко—за то, что оно твое отечество и его тебѣ далъ Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради отечества, дабы послѣднее не впало въ униженіе и свойственные ему нынѣ и смѣху неповрежденными схоронило.

Въ-третьихъ, начальство, которое ты долженъ любить тоже ради отечества и по той же причинѣ.

Какъ видите, во всѣхъ трехъ случаяхъ отечество стоитъ на первомъ планѣ. Я знаю, что для себя это сущій сюрпризъ, но что же дѣлать, мой другъ! я бы и самъ радъ всѣхъ поровнять, но такъ ужъ выходитъ.

Повторяю: все сейчасъ изложенное я высказалъ по собственному опыту. Когда я былъ столпомъ, то такъ же, какъ и ты, Разуваевъ, ровно ничего не понималъ. Для меня это было еще постыднѣе, потому что я грамотенъ. Граповскаго слушалъ, Вѣлинскаго читалъ, восторгаясь, трепетая отъ умиленія—и, представъ себѣ, всѣ эти восторги и умиленія я словно во снѣ или въ фантастическомъ представленіи продѣлывалъ! Отелушася, бывало, Граповскаго, а черезъ часъ, какъ ни въ чемъ не бывало, думаешь: «а что, кабы кто у меня душу купилъ!» Какимъ образомъ происходилъ чудодѣйственный процессъ этого жизненнаго двоегласія—объ этомъ, цѣлые томы психологическихъ изслѣдованій можно написать; но ояъ происходитъ несомнѣнно, и я былъ въ немъ дѣйствующимъ лицомъ: И безъ умолку болталъ о любви къ отечеству—и въ минуту опасности

жертвовалъ на алтарь отечества чужія тѣла; я требовалъ, чтобы отечественный культъ былъ объявленъ обязательнымъ, но лично на встрѣчу врагу не шелъ, а напималъ за себя пропойца. И въ довершеніе всего я снабжалъ пожертвованныхъ и нанятыхъ мною «защитниковъ» сапогами на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога побѣды и одолѣній, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на картонныхъ подошвахъ мои ратники... И вотъ за это теперь я—пропойцѣй человѣкъ.

Я говорилъ себѣ: отечество—святыня! объ этомъ во всѣхъ стихотвореніяхъ упоминается. Но ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ прямую зависимость отъ процвѣтанія отечества, то пускай оно остается святыней, а я буду процвѣтать особо. Правда, въ моей головѣ иногда мелькала мысль, что этотъ выводъ лукавый и постыдный, что, сѣдѣя Граповскому и Вѣлинскому, его надлежало бы какъ разъ выворотить наизнанку, то-есть сказать: ежели мое личное процвѣтаніе не поставлено въ зависимость отъ процвѣтанія отечества, то я самъ, по совѣсти, обязанъ устроить эту зависимость; но я какъ-то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предпочиталъ оставаться при первоначальной редакціи. И срывалъ пѣвцы удовольствія, а соотечественники мои унывали; я праздновалъ, а соотечественники мои повинны бѣша работѣ; я былъ изъять отъ тѣлесныхъ наказаній, а соотечественники мои были палаты отъ наградъ. И въ то же время я слушалъ Граповскаго, восторгаясь, восклицая: «отечество—святыня!» И вотъ за это теперь я—пропойцѣй человѣкъ.

Прорывались однако-жъ минуты, когда мнѣ думалось: а вѣдь, несмотря на процвѣтаніе, все-таки въ моемъ существованіи есть что-то непрочное и какъ бы неблагозвонное. Куда бы я ни сунулъ свой носъ, вездѣ навстрѣчу мнѣ раздавался крикъ: «чего съ жиру бѣсишься! твое дѣло не лѣзть, а другимъ примѣръ подавать!» «Подавать примѣръ»—это, по тогдашнему времени, значило: собственнымъ тѣломъ такую филантропію пронагадировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совалъ. И что же! первого крика было вполне достаточно, чтобы я убѣдился. Мнѣ какъ-то сразу сдѣлалось ясно, что дѣйствительно я съ жиру бѣнусь, а не по настоящей внутренней нуждѣ дѣйствую, что, въ сущности, для меня даже выгоднѣе не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не сунетъ. И, заручившись этою столбовою мудро-

стью, я ни за себя, ни за других—ни за кого пальцем не шевельнул. Ни за кого не заступился, никого не загородил грудью, и в то же время умаялся и восклицал: «отечество—святыня!» И вот за это теперь я — пропавший человек.

Какъ въ былое время мнѣ ни до кого не было дѣла, такъ теперь никому дѣла до меня. Никто ко мнѣ не устремляется, никто отъ меня ничего не ждетъ, никто даже въ толкъ не можетъ взять, хочу ли я чего-нибудь, или просто благу. А я между тѣмъ... понялъ! Я понялъ, что такое отечество, понять, почему оно вправе требовать отъ смельчачей своихъ жертвъ и даже самоотверженія, и—увылъ—понялъ даже и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ, ни самоотверженія не требуетъ: оно лучше меня самого знаетъ, что и дать ему ничего не могу. Оставленный всѣми, отжившій, выдохшійся, я обязывался пинывать въ отчужденіи, улаживая себя лишь надеждой, что когда-нибудь мой сынъ или внукъ утопятъ званіе пропавшаго человека въ званіи человека вообще и сына отечества въ особенности. То-есть тогда, когда даже потроховъ моихъ въ поминѣ не будетъ. Скажи, можно ли представить себѣ боль, горючую этой!

Вотъ отъ этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваевъ. Не иди по стопамъ моихъ, и ежели достигнешь производства въ столпы, то не понимай этого званія въ чересчуръ буквальный смыслъ, но потишисъ изъ недвижимаго имущества превратиться въ движимое. Люби отечество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не чрезъ посредство насмичковъ; не процвѣтай особо, совмѣстно съ твоими соотечественниками, не утопай въ бездѣлничествѣ и равнодушіи, но стой грудью за други своя, жертвуй своими интересами, своею личностью, самоотвергайся! Ежели тебѣ жалко поступиться рублемъ, то поступи хоть двугривеннымъ. Все это для тебя даже необходимо, ежели для меня. Мы, Прогорьловы, столповали въ такое тугое время, когда люди больше глазами хлопали, ежели понимали; тебѣ, Разуваевъ, предстоитъ столповать въ такое время, когда даже и малкотѣ приходится на умъ: «а что, ежели этотъ самый кусъ, который онъ къ устамъ подноситъ, взять да вырвать у него?» И вырвать — не сомнѣвайся, а тебя произведутъ въ пропавшіе люди, и все это произойдетъ тѣмъ легче, что на твое мѣсто давно ужъ самъ себя намѣтилъ новый столпъ: содержатель дома тер-

пимости Ротозѣвъ... Вотъ сколько вась тамъ, въ щеляхъ, пригнались... столповы!

Однимъ словомъ, люби отечество — и вѣрь, что убытка не будетъ. А затѣмъ мнѣ остается условиться еще насчетъ нѣкоторыхъ подробностей, и задача моя будетъ кончена.

По поводу вашего появленія было поднято много разнаго принципиальнаго разговора. Собственность, семейство, государство—вотъ триада, которую, по мнѣнію охранителей и публицистовъ, вы призваны защитить и навсегда утвердить. Прекрасно: постараемся же сговориться, въ какой мѣрѣ и какъ ловчѣе все это осуществить.

«Собственность» — ты понимаешь достаточно, то-есть вѣсть своимъ лутомъ. «Все,—говоришь ты,—что я уснѣлъ опустить въ *свой* карманъ, помѣстить въ *своей* квартирѣ, запереть въ *свою* шкатулку, все, что я могу, по личному усмотрѣнію, перенести въ другое мѣсто и въ случаѣ банкротства спрятать—все это есть собственность движимая. Домъ же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной цѣнности, поджечь, а вторые, исключивъ отъ установленныхъ баснописцевъ залоговыя свидѣтельства (съ вынѣтками и картинками), заложить въ кредитномъ учрежденіи—это собственность недвижимая». То же самое говорить и твои юристы и публицисты, только съ несравненно меньшей ясностью, что, впрочемъ, и вполне естественно, ибо на неясности почить ихъ право на полученіе гонорара.

Все это однако-жъ относится къ собственности уже осуществившейся, то-есть опущенной въ карманъ, запертой въ шкатулку или полученной отъ нотариуса подлежащую санкцію. О томъ же, какимъ образомъ произвести процессъ этого осуществленія, тутъ вовсе умалчивается, а мнѣ сдается, что съ точки зрѣнія принципиальностей это-то именно и важно. Какимъ образомъ зачухался въ твоёмъ карманѣ рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запугавшіеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты наконецъ воскликнуть: «а теперь пойдёмъ къ нотариусу и постараемся опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ недвижимаго имущества?»

Ежели ты дѣйствительный поборникъ принциповъ, ежели ты вѣстину призванъ оградить и утвердить оныя, то ты поймешь мое безпокойство. Прямо тебѣ говорю: какъ насадитель и оградитель принципа собственности, ты дол-



жесть такимъ образомъ вести свои дѣла, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ пріобрѣтенія. Но крайней мѣрѣ я, Прогорѣловъ, былъ въ старыя годы вполне на этотъ счетъ чистосердеченъ. «Все, что вы видите—говорилъ я—все это перешло ко мнѣ отъ паленки и маменьки (были и исключения, но очень немнога), я же только одно усовершенствованіе въ дошедшемъ имуществѣ допустилъ: заложилъ опосъ въ опекуновскомъ совѣтѣ». По моему мнѣнію, не меньшее чистосердечіе въ этомъ смыслѣ обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покровъ давности (тоже, братъ, принцип!), на другое—покровъ коммерческой тайны. А юристы и публицисты твои, такъ тѣ даже прямо говорятъ, что такъ какъ въ данномъ случаѣ истцовъ въ виду не имѣется, то и надѣжнѣ въ требованіи чистосердечнаго отчета отказать. И отказываютъ—что будешь дѣлать! И даже правильно отказываютъ, потому что допустить вась подноготную развораживать, вы и сами исключаетесь, и другихъ до смерти заклязываете.

Однако для партикулярнаго человѣка это не резонъ, ибо онъ не юристъ и не публицистъ, а простой сынъ отечества. Какъ только онъ замѣчаетъ, что отвѣтчикъ начинаетъ ссылаться на отсутствіе истцовъ, такъ тотчасъ начинаетъ подозрѣвать: а вѣдь отсутствующій-то истецъ, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человѣкъ!

Допустить, чтобъ эта мысль утвердилась въ немъ—очень невыгодно, потому что, развивая, провѣряя и дополняя ее, онъ можетъ придти къ выводамъ поистинѣ поразительнымъ. Какъ юристъ, ты ясно понимаешь, чѣмъ ты вправѣ «воспользоваться», что вотъ это ты можешь «оттягать», а вотъ это—просто «отнять»; но партикулярный человѣкъ, какъ сынъ отечества, во всемъ этомъ сомнѣвается. Какъ юристъ, ты говоришь: «какъ взялъ, такъ и отдай!»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты поступиай по-божески!» Какъ юристъ, ты говоришь: «своими ли глазами ты смотрѣлъ? своими ли руками бралъ?»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «и все-таки ты меня обманулъ, зубы мнѣ заговорилъ!» Какъ юристъ, ты его убѣждаешь: «ты пропустилъ всѣ сроки, не жаловался, не апеллировалъ, на кассацию не подалъ, кто-же виноватъ, что ты прозѣвалъ?»—а онъ, какъ сынъ отечества, возражаетъ: «гдѣ же это видано, чтобъ изъ-за какихъ-то кляузъ

у меня мое отнимать?» Какъ юристъ, ты говоришь: «я за своей собственностью блюду, а ты за своей блюди!» а онъ, сынъ отечества, возражаетъ на это: «воръ!»

Конечно, всѣ эти возраженія ничтожны и будутъ оставлены безъ послѣдствій; но когда живешь среди сыновъ отечества, то надобно заранее приготовить къ тому, чтобы и ничтожныя возраженія выслушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и въ довершеніе всего каждый изъ нихъ наввно думаетъ: своего-то вѣдь жалко. Очень можетъ быть, что это и предрассудокъ; но что же дѣлать, мой другъ! онъ настолько живучъ, что не принять его къ свѣдѣнію—просто нельзя.

Я думаю, впрочемъ, что ты до известной степени удивлетворишь этому предрассудку, если признаешь совѣстное существованіе своей собственности и чужой. Это будетъ и просто, и благородно. Неусынно стеречь свою шкатулку и въ то же время не подбирать ключа къ шкатулкѣ сосѣда; держаться обѣими руками за рубль, запутавшійся въ карманѣ, и въ то же время не роптать, ежели видишь такой же рубль въ карманѣ прислаго... что можетъ быть величественнѣе этого зрѣлища! Вотъ задачи, которыя предстоитъ осуществить истинному радѣтелю принципа собственности, и, по-моему, это задачи очень хорошия; особенно ежели выраженіе о подбораніи ключа не принимать въ исключительно буквальномъ смыслѣ, но стараться какъ можно шире распространять его дѣйствіе. Не пренебрегай ими, Разуваевъ! Не разоряй, не грабь и на вопросъ: кого же ты будешь донекать носѣ того, какъ въ конецъ донечешь обывателя?—не отвѣчай съ нахальствомъ: «яенъ доста-а-нетъ!» Нѣтъ, когда-нибудь наступитъ минута, что и онъ не достанетъ, ибо всякому доставанію положенъ предѣлъ, а слѣдовательно положенъ предѣлъ и твоимъ допеканьямъ.

Человѣкъ ни къ чему не относится съ такою чувствительностью, ничего такъ ревниво не оберегаетъ, какъ ту совокупность матеріальныхъ удобствъ, которыми онъ усигъ обставить свою жизнь. Малѣйшій ущербъ, приводящій къ стѣсненію этой обстановки, заставляетъ его роптать и искать глазами, гдѣ обидчикъ? И такъ какъ обидчика имя рекъ никогда палицо не оказывается, то онъ пельвольно переходитъ къ необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься тѣхъ торжѣхъ послѣдствій, ко-

торыя неизбежно должны произойти изъ подобныхъ обобщеній?

Итакъ, будь умѣренъ и помни, что титулъ диктирующаго класса, который ты стремишься восхитить, засчетъ за собой не одни права, но и обязанности. Обязанности эти, въ томъ, что касается принципа собственности, гласящаго такъ: «не укради!» А такъ какъ по обстоятельствамъ времени такая редакция представляется чересчуръ уже строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца обездоливай, но непременно оставляй обывателю столько, чтобы изобрѣтательность его и вредъ находила для себя поводъ процвѣтать. Если ты изъ рубля отнимешь половину—это, я полагаю, будетъ вполне прилично; если ты отнимешь изъ рубля восемь гривенниковъ, то это будетъ уже кровопийственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!

Затѣмъ на очереди стоитъ принципъ семейственности, который тоже обязываешься ты ограждать. Сознаюсъ откровенно: мы, Прогорьбловы, достаточно-таки пораспатали этотъ принципъ, или, лучше сказать, до того его обнажили, что въ концѣ концовъ въ немъ ничего не осталось, кромѣ вѣзжаго салона, въ которомъ во всякое время происходили разговоры объ улучшеніи быта милой бездѣлицы. И вотъ, когда дѣти перестали поздравлять родителей съ добрымъ утромъ и цѣлованіемъ родительскихъ ручекъ, выражать волнующія ихъ чувства по поводу сѣдennаго обѣда, когда самоваръ, около котораго когда-то ютилась семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ буфетную, откуда чай, разлитый рукою пасмыка, разносился по закоулкамъ квартиры, когда дни именинъ и рожденій сдѣлались пустою формальностью, служащею лишь поводомъ для выпивки, — только тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожаетъ дѣйствительная опасность. Начали думать, соображать, какъ этому дѣлу помочь, и, разумеется, прежде всего бросились за справками. Оказалось, что вездѣ было такъ. Во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра, гдѣ Прогорьбловы завѣдывали дѣлами культуры, вездѣ они низвели семейный вопросъ до уровня милой бездѣлицы. Изъ драмы сдѣлали оперетку, изъ совѣстнаго скитанія—изъ спальни въ дѣтскую, изъ дѣтской на кухню, потомъ въ столовую, гостиную и обратно черезъ всѣ инстанции въ спальню—вольное катанье на тройкахъ въ трактиръ «Самаркандъ». И вездѣ же на смѣну ослабѣ-

вшимъ Прогорьбловымъ явились люди свѣжіе, неспорченные, которые тѣмъ съ большей готовностью подняли брошенныя въ грязь знамена, что въ совершенствѣ поплыли, какую службу они могутъ сослужить. У всѣхъ на памяти, какъ ловко подняла, въ тридцатыхъ годахъ, знамя семейственности и домашняго очага западно-европейская буржуазія и какъ крѣпко она держалась за него, пока вѣчно достойная памяти Наполеонъ III, при содѣйствіи Оффенбаха, Шнейдерли и пинѣшней неутѣшной вдовы, не увлекъ ее въ сторону милой бездѣлицы.

Въ виду столь рѣшительныхъ справокъ предполагалось, что то же самое произойдетъ и у насъ. Сначала Прогорьбловы распатаютъ, а потомъ кабатчики и мѣнялы утвердятъ. Первая часть этой программы уже выполнена, но будетъ ли выполнена послѣдняя — это еще вопросъ.

Мнѣ кажется, что наиболѣе существеннымъ препятствіемъ въ этомъ смыслѣ явится родъ вашихъ занятій. Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживаньямъ и сводничествамъ. Въ согласность этому и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что большую ея часть вы проводите въ домахъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какихъ же принципахъ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?

Очевидно, что публицисты, возложившіе на васъ обязанность утвердить принципъ семейственности, совсѣмъ проглядѣли эту обстановку. Ихъ ввела въ заблужденіе ваша грубость, которую они приняли за патриархальность. Въ то время, когда у западно-европейскаго буржуа наполеоновскаго образца «l'eau vient à la bouche» — у васъ «текутъ слюни»; въ то время, какъ у того же буржуа изъ устья вылетаетъ цѣлый фейерверкъ милыхъ мерзостей — изъ вашей утробы извергается какое-нибудь односложное пащество; въ то время, какъ западный буржуа разговариваетъ, убѣждаетъ, умоляетъ, — вы, «глядя по товару», выкладываете болѣе или менѣе крупную ассигнацію, кратко присовокупляя: «Машка, пошевельвайся!» Не спорю, съ точки зрѣнія ясности намѣреній, ваши «слюни» сравнительно менѣе паскудны, нежели французское «l'eau à la bouche», но спрашивается: чтѣ же однако общаго между кунавинскими «слюнями» и семейственностью? О какомъ тутъ «утвержденіи» можетъ идти рѣчь?

Поэтому, въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь. Но такъ какъ на тебя обращены всѣ взоры, и такъ какъ, въ качествѣ новоявленной «интеллигентки», чапа сія ни въ какомъ случаѣ не минетъ тебя, то, по мнѣнію моему, ты только тогда успѣешь... ну, хоть притвориться поборникомъ чистоты семейнаго очага, когда радикально измѣнишь родъ своихъ занятій. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводничай, сократи до минимума экскурсіи въ Кунавино, производи, а не маклери—это до известной степени осадитъ тебя, утретъ твои «слюни» и приведетъ въ порядокъ твои утробныя урчанія. Но будетъ ли и за всѣмъ тѣмъ принципъ семейственности тобой утвержденъ — на это, я полагаю, и прогнѣванный изъ публицистовъ утвердительно отвѣта не дастъ. Да и отвѣтить тутъ можно только одно: не будетъ, навѣрное не будетъ — вотъ и все.

Въ заключеніе еще одинъ вопросъ: о неоставленіи присныхъ безъ заступленія, или же — что то же самое — о непримѣненіи къ нимъ принципа предательства.

Я, Прогорѣловъ, совершенно некомпетентенъ по этому вопросу. Всю жизнь я столповалъ за свой собственный счетъ, а о присныхъ слышалъ только за обѣдной въ церкви. Тѣмъ не менѣе, возобновляя въ памяти процессъ моего переименованія изъ столповъ въ пропавшіе люди, я долженъ сознаться, что въ числѣ причинъ этого превращенія немало важную роль играло и то, что я процвѣталъ независимо отъ процвѣтанія моихъ соотечественниковъ, что я ни за кого не поревновалъ, никого своей грудью не заслонилъ. Стало-быть, ежели ты желаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не долженъ брать примѣровъ съ меня (къ чему ты, мимоходомъ сказать, черезчуръ наклоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать совершенно наоборотъ. Я равнодушествовалъ — ты сострадай; я бездѣйствовалъ — ты хлопочи; я держался правила: носы изъ мурьи не совать — ты выбѣгай изъ мурьи какъ можно чаще, суй свой носъ, суй! Хлопочи о концессіяхъ, но не забывай и о соотечественникахъ. Это хорошо зарекомендуетъ тебя въ ихъ глазахъ и ихъ самихъ заставить надѣяться и вѣрить въ лучшие дни. Выйдетъ ли что-нибудь изъ этихъ хлопотъ, надеждъ и вѣрованій — это вопросъ другой, и ежели ты хочешь, чтобъ я отвѣтилъ на него по совѣсти, то изволь, отвѣчу! не выйдетъ ничего, потому что

у тебя и на умѣ ничего такого — чтобъ что-нибудь выпло — шло. Но все-таки старайся, радѣй, хлопочи!

За снѣгъ мой рѣчь кончена. Вкратцѣ она можетъ быть резюмирована такъ:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникамъ.

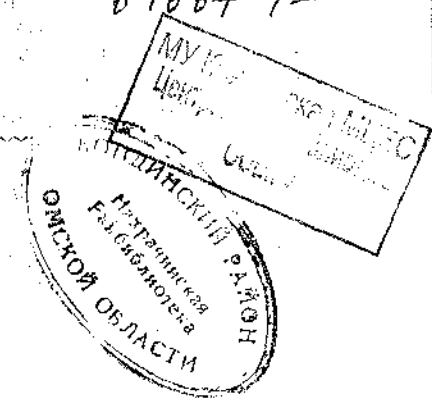
Блуди свою собственность, но не отказывай и присному твоему въ правѣ имѣть таковую.

О Купавинѣ по возможности позабудь.

А главное все-таки люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта дастъ тебѣ силу и все остальное безъ труда совершитъ.

2459

— 64667-7 —



50 p

# Оглавление

## VI ТОМА.

	стр.
<b>Пестрыя письма.</b>	
(1884—1886 гг.)	
Письмо первое . . . . .	5
Письмо второе . . . . .	13
Письмо третье . . . . .	26
Письмо четвертое . . . . .	50
Письмо пятое . . . . .	83
Письмо шестое . . . . .	109
Письмо седьмое . . . . .	132
Письмо восьмое . . . . .	150
Письмо девятое . . . . .	172
<b>Недоконченныя бѣсѣды.</b> (1873—1884 гг.) . . . . .	187
<b>Убѣжище Монрепо.</b>	
(1878—1879 гг.)	
I. Общій обзоръ . . . . .	311
II. Тревоги и радости въ Монрепо . . . . .	372
III. Монрепо-усыпальница . . . . .	407
IV. Finis Монрепо . . . . .	435
V. Предостереженіе . . . . .	472